

ИЗДАТЕЛЬСТВО
И. ИВАНОВИЧЕНКО
1917



И. Ивченко



ДЕРЖАВНЕ
ВИДАВНИЦТВО
ХУДОЖНЬОЇ
ЛІТЕРАТУРИ

Т. Г. ШЕВЧЕНКО

ТВОРИ

В ТРЬОХ ТОМАХ



ДЕРЖАВНЕ ВИДАВНИЦТВО
ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ
КНІВ 1955

Т.Г. ШЕВЧЕНКО

ТОМ ДРУГИЙ

ПОВІСТІ



ДЕРЖАВНЕ ВИДАВНИЦТВО
ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ
КИЇВ 1955

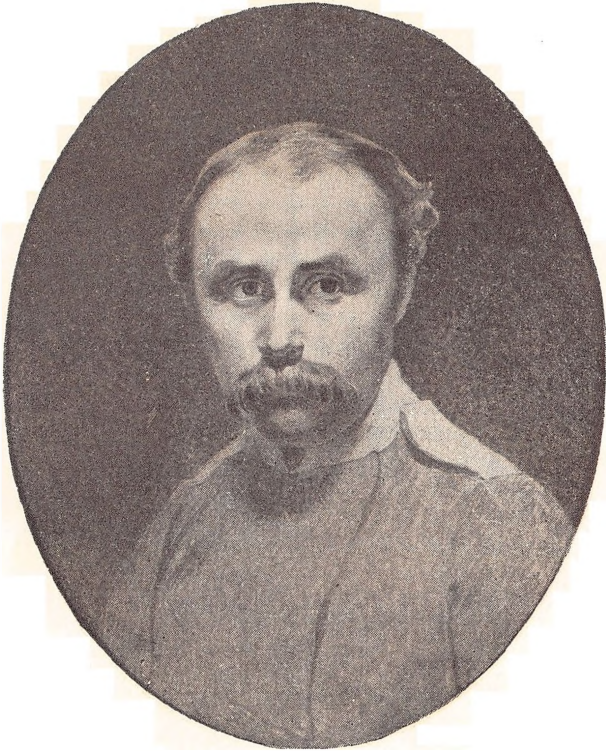
Тексти друкуються за виданням:

Тарас Шевченко, Повна збірка творів в трьох томах, т. II.

Держлітвидав, 1949, звіреним з виданням:

Тарас Шевченко, Повне зібрання творів в десяти томах, тт. III, IV.

Видавництво Академії наук, 1949.



Автопортрет, 1849 р. (сепія).

НАЙМИЧБА





Между городом Кременчугом и городом Ромнами лежит большая транспортная, или чумацкая, дорога, называемая Ромодановым шляхом¹. Откуда она взяла такое название, это покрыто туманом неизвестности; чумаки же рассказывают вот какую былицу.

Жил в городе Крюкове (что за Днепром, против Кременчуга), так в этом городе Крюкове жил богатый, неисчислимо богатый чумац Роман. Каждое божие лето отправлял он две валки, по крайней мере возов в двадцать каждая, одну на Дон за рыбою, а другую в Крым за солью. К первой пречистой чумаки, его наймиты, возвращались в город Крюков. Часть добра сваливалась в его коморах, а с другою половиною добра он уже сам отправлялся в город Ромен со своею валкою. А шел он вот какую дорогою: сначала на Хорол, так что ему Золотоноша оставалась вправо, а Веселый Подол влево, потом из Хорола на Миргород, из Миргорода на Лохвицу, а из Лохвицы уже в Ромен. Так посудите сами, какой он круг всегда давал! И для почтаря это чего-нибудь да стоит, а про чумака и говорить нечего. Вот он однажды, продавши нароздриб и частку гуртом свое добро в городе Ромнах, думал было возвращаться домой, да приостановился ненадолго около корчмы, около той самой корчмы, что и теперь стоит уже за городом Ромнами, под вербами, на лохвицкой и зиньковской дороге и на Ромодановом шляху.

А тут уже под вербами около корчмы стояло деся-

ток-другой чумацких возов распряженных, а кой-где под возами сидят себе люди добрые да горилку кружат. Вот он остановился со своею худобою, снял шапку, помолился богу и, обратившись к чумакам, сказал:

— Благословите, панове молодцы, волы попасаты!

Чумаки ему отвечали так:

— Боже благословы, вельке поле! — и принялись за свое дело. А он, оставя волы в ярмах, пошел в корчму, говоря: — Я только четвертку выпью.

Заходит в корчму, а там шинкарочка точно на картине намалёвана, будто шляхтянка какая. Чумак Роман был уже хотя и не молодой чумак, одначе в нем сердце заиграло, глядя на такую кралю. Краля это смекнула да, усмехнувшись, и спрашивает его:

— А чего вам хорошего надобится, господа чумаче?

Она таки умела и по-московски слово закинуть.

— А вот чего мне надо, моя добродейко: кварту горилки, да две кварталы меду, да сама сядь коло мене.

— Добре,— сказала шинкарка и, наливши ему кварту водки, пошла в лёх с поставцом и принесла меду.

Сидит чумак Роман в конце стола, закутивши свою чумацкую люльку, а около него сидит молодая шинкарочка да смотрит на его седые усы своими голубиными глазками. Пьет чумак Роман, кружит он серебряною чарою горилку горькую, а шинкарочка молодая золотым кубком мед сладкий. Долго они вдвоем себе сидели, пили, разные песни пели. На дворе уже стемнело, а они сидят себе, пьют и поют. Уже и темная ночь на дворе, уже бы чумаку и в дорогу пора, а он сидит себе да пьет. Уже и полночь на дворе, а он все-таки сидит и пьет, а шинкарочка знай наливает, а волы бедные в ярмах стоят. Вот уже и Чепига, и Волосожар за гору спрятались, и зорница взошла. Чумак Роман как бы опомнился, взял шапку, люльку и вышел из корчмы, лег в воз, накрылся свитою и едва проговорил: — Соб, мои половые! — Волы двинулись, взяли соб и пошли чистым полем, а не лохвицкою дорогою. Неизвестно, долго ли они так шли и долго ли чумак Роман спал, только он проснулся уже в городе Кременчуге. По его следу поехали другие чумаки, и пробили широкую дорогу, и назвали ее

Романовым шляхом. А почему его зовут Ромоданом, этого чумаки не знают.

Таково слово в слово сказание народа о Ромодановской дороге. Не улыбайтесь добродушно, мой благосклонный читатель, я и сам плохо верю этому сказанию, но, по долгу писателя, должен был упомянуть о сем досужем вымысле народа.

Ближе к истине полагать можно вот что о происхождении Ромодановского шляху. Не был ли его пролагателем князь Григорий Ромодановский², который в 1686 году водил московскую рать под Брусяную гору, чигиринскую резиденцию неукротимого гетмана Петра Дорошенка?³ Я думаю, это будет правдоподобнее.

Но кто бы ни проложил эту дорогу, нам, правду сказать, до этого дела нету. А заговорили мы о ней потому, что описываемое мною происшествие совершается по сторонам ее.

Но чтобы вы полное имели понятие о Ромодановской дороге, то я прибавлю вот что.

Примечательна эта дорога тем, что, начиная от Ромна и до Кременчуга, не касается она, на расстоянии 300 верст, ни одного города, ни местечка, ни села, ни даже хутора. Лежит себе чистым, ровным, злчным полем. Только кой-где стоят корчмы с огромными стодолами и глубокими колодезьями, построенными собственно для русских извозчиков,—наши чумаки никогда не останавливаются в корчмах. А по сторонам ее часто встречаются земляные укрепления разной величины и формы, поросшие перием. Нередко виднеются и курганы, совершенно круглые, сажень 50 в диаметре,—есть и больше, и меньше,—всегда с выходами: двумя, тремя и четырьмя, смотря по величине кургана. Их простой народ называет просто могилами. Есть и такие насыпи (и это самые большие), которых и форму определить нельзя,—это валы разной величины и в разных направлениях. Думать надо, что форма этих шанцев впоследствии испорчена корыстолюбивым и любопытным потомством. Не помню, кто именно пробовал добывать селитру из Орельских земляных укреплений, или так называемой

линии ⁴, построенной Петром Первым между Днепром и Доном, на берегу реки Орели, но результаты оказались совсем неудовлетворительны. То может быть, что и описываемые мною курганы были пробованы каким-нибудь любителем селитры — Ходаковским в некотором роде. Не знаю, пускай про то ведают антиквариин.

Нужно еще прибавить, что все эти так называемые могилы имеют свои названия, как-то: Няньки, Мордачевы, Королевы и т. д. Последние, быть может, окопы Карла XII ⁵, потому что он в этих местах когда-то шлялся со своими синекафтанными шведами.

Я иначе во зло употребляю терпение моих благосклонных слушателей: разносился со своим Ромоданом, как дурень с писаною торбой, наговорил, что твоя перекупка с бубликами, а о самом-то деле не сказал еще ни слова.

Недалеко от Ромодановского шляху, по правую сторону (едуци из Ромен), лежит широкая прекрасная долина, окруженная невысокими холмами, уставленными, как будто сторожами, столетними дубами, липами и ясенями; вдоль широкой долины извилисто вьется белой блестящей полосой Сула. По берегам ее стоят, распустя свои зеленые косы, старые вербы и бересты. Вдоль берега Сулы растянулось большое село, закрытое темными зелеными садами; только кой-где из густой зелени прорезывается белое пятнышко, — это белая хата с соломенною крышею. Таков вид всех почти сел в Малороссии, с большим или меньшим количеством ветряных мельниц. И как приветливо они машут своими крылами утомленному путнику, предлагая гостеприимный отдых в своих зеленых благоухающих садах.

Солнце близилось к горизонту и золотило своим желтобагровым светом и без того золотые, уставленные копнами поля благодатного села. Широкая долина покрылася прозрачным светлофиолетовым туманом и спрятала прекрасную линию своего горизонта в тумане. Сула зарделася матовым румянцем, как загоревшая на солнце молодая жница при встрече с

милым косарем своим. По желтому пурпуровому мату извилистой Сулы кой-где тянутся за рыбацким челноком светлые блестящие струйки. Тянутся — и пропадают в темнозеленом очерете. Вербы и вязы еще ниже склонились к воде, как бы оплакивая умирающий день.

В такую-то вечернюю пору возвращались в село с поля молодые прекрасные жницы. И как в этот день жнива были окончены, то они, каждая для себя и для освящения в церкви, сплели венок из колосьев пшеницы, жита и васильков и, увенчавшись венком, возвращались с песнями ввечеру в село, выбрав сначала из среды себя царицу, чтоб было кому песни припевать.

Впереди всех их, тихо выступая, шла прекрасная царица свята; стыдливо, как бы от тяжести венка, опустила на грудь свою прекрасную смуглую голову, укрытую золотистым венком и распущенною черною косою; в руках у нее был серп и небольшой сноп жита, перевитый зеленою березкою, — настоящая Церера⁶. За нею шли девушки и пели в честь ее свои заунывные песни; за девушками шли молодые косари с косами — они косили отаву на Суле — и скромно вторили им.

И вся эта картина была освещена заходящим раскаленным солнцем.

Прекрасная, умилительная картина!

А подойдите вы к этой картине поближе, всмотритесь в нее повнимательнее, и вы увидите на ее светлом розовом фоне такие пятна, что невольно отворотитесь и на унылые мелодические песни этих прекрасных жниц вы горько улыбнетесь и закроете уши.

Живуча и деятельна натура человека!

С утра до вечера на солнце, без малейшей тени, с утра до вечера, согнувшись, жнет бедная жница. И что же? Настал вечер — идет домой, поет, а дома не успела повечерять, опять на улице или в саду, и опять поет и поет, не умолкая, до рассвета. С рассветом опять за серп и на ниву, и снова целый день на солнце, согнувшись целый день, как ни в чем не бывало.

О агрономы-филантропы! Выдумайте вы вместо серпа какую-нибудь другую машину. Вы этим окажете

величайшую услугу обреченному на тяжкий труд человечеству.

Группа косарей и жниц со своею прекрасною царицей, отраженные в светлых струях Сулы, медленно приближались к селу. Навстречу им выбежали дети и вышли с грудными младенцами матери, встречая и поздравляя взрослых детей своих с благополучным окончанием озимых жнив.

Мать же своей прекрасной царицы со слезами благодарила девушек за оказанную честь ее дочери и просила всех до своей хаты на вечерю.

Девушки, войдя в село, значительно переглянулись между собою, а молодые косари нахмурили свои черные брови. Что бы это значило?

А вот что! И те и другие заметили около некоторых ворот вихи.

Какое же им дело до вих? — вы скажете. — О, им великое дело до этих зловещих маяков!

Когда вы въезжаете в малороссийское село и видите у ворот на высоком шесте несколько соломенных кисточек, это значит, что в селе не пехота, а кавалерия квартирует. Виха означает конюшню, а число соломенных кисточек — число лошадей на конюшне. В описываемое мною село пришли еще только квартирьеры, назначили квартиры и расставили вихи для конюшен.

Вздригнуло сердце не одного чернобрового косаря при виде этих зловещих вих.

Не один из них припомнил страшные, трагические рассказы про бесталанных покрыток.

А жницы! О мои родные жницы! Никакие кровавые драмы вас не научат! Новина — ваш проклятый идол новина, перед которым вы кладете всё, часто честь, а за нею и жизнь свою бесталанную!

С поклоном и честью встретил жниц седоусый Влас, отец прекрасной Лукии, и просил их милостиво зайти к нему в оселю и повечерять, что бог дал.

Жницы с песнями вошли на двор, а на дворе уже, на зеленом шпорыше, была разостлана большая

белая скатерть. Девушки, по приглашению хозяина и хозяйки, сели вокруг скатерти. А царица святая, снявши золотой тяжелый венок свой и завернув круг головы кое-как свою роскошную черную косу и засучив широкие рукава своей рубахи, приняла от матери графин с водкою и начала потчевать своих подруг.

В продолжение ужина отец и мать Лукии сидели на призбе и любовались своей единственной прекрасной дочерью. Через край полною счастья жизнью их сердце билось, глядя на свою Лукию.

А она, как приветливая хозяйка и услужливая работница, угощала подруг своих со всею прелестью наивной простоты.

После вечери девушки, помолясь богу и поблагодарив хозяина и хозяйку и свою молодую подругу за вечерю и взявши венки, чинно вышли на улицу.

А на улице под частоколом и под вербами ждали их их чернобровые косари.

— Иды и ты, моя доненько, на улыцю, поспивай з дивчатамы.

— Не хочеться мени, моя мамо!

— Чому ж тобі не хочеться, мое серденько? Може, ты утомилася, то ляж, засны.

— Я ляжу спать, мамо.

— Пострывай же, я тобі постѣлю постелю.

И мать постлала постель своей утомленной дочери и, перекрестя, уложила ее спать.

Лукия, утомленная дневным трудом и вечерним счастьем, немного повертевшись на постели, заснула.

А усталые подруги ее всю ночь простояли со своими чернобровыми косарями под вербами и под калинами, припевая:

Вийди, Грицю, на улыцю
І ти, Коваленку,
Постоїмо під вербою
Вкупочці тихенько.

Если бы на завтрашний день не вступили уланы в село, то вся бы эта история могла и кончиться одной идиллией, а уланы, только что вступили, сейчас завязали драму. Вследствие чего и прошу моих слу-

шателей пропустить мимо ушей по крайней мере год и обратить снисходительное внимание на картину следующего содержания.

Верстах в пяти, а может быть и больше, по левую сторону Ромодановского шляху (из Ромен же едучи), как раз против описанного мною села, лежит пологая широкая равнина, такая широкая и длинная, что горизонт ее в тумане теряется, а в летние жаркие и тихие дни то бывают и миражи, как будто бы в необитаемых бесплодных и безводных степях киргизских. Вся эта долина испещрена разноцветными нивами и уставлена темными могилами, формою и величиною похожими на те могилы, что между Киевом и Васильковом, на Белокняжем поле. Я это говорю потому, что из Киева в Одессу более проехало людей, интересующихся отечественными древностями, нежели из Ромен в Кременчуг. Ромодановским шляхом, как известно, ходят только одни чумаки, а чумаки простой человек, какое ему дело до каких бы то ни было могил? Он может только задать себе вопрос: — Чиим то трупом вас начинено? — или, задумчиво глядя на темные могилы, запоеет однозвучно, монотонно.

Так вот на этой-то равнине, между угрюмыми могилами и пестрыми нивами, зеленеет небольшой гай (роща), как бы оазис в пустыне аравийской (красно сказано!). Это хутор богатого козака Якима Гирла.

Подойдем же мы ближе к хутору и посмотрим на красоту его безыскусственную и на жизнь его хозяина. Для нас это путешествие тем более необходимо, что на этом уединенном хуторе будет продолжаться предлагаемая драма.

Весь хутор с фруктовым садом и гаем занимает не более пяти квадратных верст и окопан глубоким и широким рвом, а ров усажен вокруг всего хутора крыжовником. Ворота не дощатые, как это бывает у постоянных русских дворов, а обыкновенные, простые; по сторонам их дубовые массивные столбы и по несколько частоколин. Да у глухого конца ворот старая широковетвистая верба, как бы заслоняющая от недо-

брого глаза благодатный хутор. Войдя на двор хутора, вы увидите с правой стороны большую клуню, обставленную полускирдами разного хлеба; по левую сторону ворот — загороды с сараями для разной скотины, а за клунюю невядалеке, под старыми берестами, две дубовые коморы и возивня. Напротив комор лёх с железными дверями, а в самом конце двора, под липами, белеет хата, снопками крытая на польский лад. За хатою идет уже сад — с разными породами яблонь, груш, слив, вишен, черешен и даже три старых дерева грецких орехов, вывезенных из Крыма еще дедом Якима Гирла. Посередине саду колодезь с колесом и навесом. А за садом, в гаю, на небольшой поляне, пасика с куренем и погребом для пчел. А там уже дубы, липы, березы и всякое дерево до самого рва. А за рвом уже был небольшой ставочек и около него огород, окруженный небольшим рвом и посаженный кукурузою и подсолнечниками, а баштан был немного подалее в поле.

Так такой-то благодатный хутор у старого козака Якима Гирла.

А каким добром наполнены его дубовые коморы и лёх, и рассказать нельзя.

А чумаки его — где они на свете ни ходят! И в Крыму, и на Дону, и в Одессе, а про Киев и говорить нечего.

Раз было взялся он поставить песок сахарный в самую Москву. Только Москва шутить не любит с нашим братом хохлом. Так что он едва с парой волов домой пришел. И с тех пор, если ему ненароком кто скажет слово про Москву, то просто из хаты выгонит, а если в гостях услышит такое слово, то наденет шапку и, не прощаясь с хозяином, уедет на свой хутор. Яким Гирло, как видно, был человек не так себе, не всякому давал себе ступить на пяты.

• Это было в августе месяце, в воскресенье, так около полудня. Яким Гирло вышел из хаты и сел на призбе. Он был человек уже не молодой, но свежий и здоровый, усы и чуб были не то что седые, а серые. Рубаха на нем чистая, белая, шаровары тоже белые,—

он не любил разных московских китаек, а носил всё белое; сапоги на нем добрые, юхтовые. Взглянувши на него раз, то можно было сказать, что это человек достаточный: в лице что-то есть такое.

Вскоре за ним вышла и жена его Марта, женщина лет сорока, а может и больше, чисто и хорошо одетая, в желтых юхтовых сапогах, в плахте и шелковой красной юпке,— хоть бы и не старухе, так было бы к лицу.

Вынесла Марта сначала скамейку, покрытую килымком, и поставила ее перед мужем, а потом уже вынесла миску с варениками и тарелку со сметаной. И все это поставила на временном столе перед мужем и сама села около него.

— Нумо полудновать, Якиме! — сказала она мужу.

Яким, перекрестясь, сказал:

— А полудновать, так и полудновать. Господи благослови!

И с этим словом расправил свои серые усы и взял вареник.

После вареников Марта вынесла миску слив и желтую душистую дыню; покушали и слив и дыни немного. После полдника Марта убрала всё и села опять на призбе около своего мужа. Долго они сидели молча; наконец, Марта заговорила:

— Что-то долго не видать чумаков наших с рыбою.

— Да, что-то долго не видать.

И Яким замолчал. Ему как бы не хотелось продолжать разговора. Впрочем, он вообще был неговорлив.

Немного погодя Марта опять заговорила:

— Я все думаю, Якиме: кому то мы после себя добро свое оставим? Не даровал нам с тобою господь ни дочери, ни сына. Так и померемо одиноки!

— Так что ж, что померемо? Люди добрые похоронят, а добро поживут!

— Конечно, поживут, никуды оно не денется, а все-таки лучше, если б было свое родное дитя.

— Так где же его взять, коли господь прогневался на нас за грехи наши?

— Да, прогневали мы милосердного господя, не утешил он ледачую старость нашу! Так и гробовой доской покроемся, и некому будет од души заплакать, и

некому будет помянуть наши души грешные! Знаешь что, Якиме? Поеду я завтра в Бурта да отвезу отцу Нилу на сорокоуст⁷ и за твою, и за свою душу. Пускской отслужит, когда помремо.

— Ты заговоришь всегда такое, что просто не слушал бы тебя. Ну, скажи-таки, умная ты голово, кто, живой человек, по своей душе сорокоусты правит?

— Нету, Якиме! Не по живой душе, а по усопшей. А это я думаю сделать для того, чтобы после не остаться без поминовения.

— Бог милостивый, не останемся. А я вот что думаю: что-то наша челядь из села долго не возвращается.

— Цыть, цыть, Якиме! Чуешь!.. О, ще раз!

— Что там ще раз?..

— Чуешь!.. Дытына плаче...

— Так и есть, за воротами...

— Пойдем, посмотримо, Якиме.

— Ходимо.

И не по летам бодро встали с призбы и пошли к воротам. Кто же расскажет радость старой Марты и Якима, когда они увидели под перелазом дитя, окутанное старой серой свиткой,— и головка прикрыта зеленым широким лопухом.

— Якиме! — только могла проговорить старая Марта, всплеснув руками.

А старый Яким, снявши брыль, молился богу.

— Якиме! — сказала Марта, взявши ребенка на руки.— Посмотри, какое здоровое да хорошее!

Яким взял ребенка на руки и сказал:

— Пойдем в хату,— оно, бедное, голодное.

И они пошли в хату со своею дорогою ношею.

Пришедши в хату, Яким положил младенца бережно на стол, достал с полки псалтырь (он был грамотный) и, перекрестясь трижды, прочитал псалом «Живый в помощи вышняго». Потом взял младенца в руки и, передавая его Марте, сказал:

— Паче ока береги его!

Марта, перекрестясь, приняла его и положила на подушку.

— Посмотри за ним, Якиме, пока я молока принесу.

Принесши молока, Марта принялась кормить младенца. А Яким вышел на двор, нашел в сарае н о ч в ы и стал прилаживать к ним веревки. Через полчаса принес он в хату, к немалому удивлению Марты, готовую колыску. Остаток дня прошел для них незаметно. К вечеру, когда ребенок заснул в своей скоро-спелке-колыске, Марта, забыв, что было воскресенье, достала тонкого полотна из бодни и принялась кроить маленькие рубашки.

Возвратившаяся из села челядь рассказывала, что они видели на могиле какую-то молодницу.— Сначала она пела какую-то песню, а [потом] заплакала, а когда мы перекрестились, то она исчезла. Должно быть, нечистая сила, и в могилу провалилася,— так зак[он]чила свой рассказ Мартоха, девка не робкого десятка.

На другой день до восхода солнца Яким заложил в бричку пару добрых коней, помостил в бричке сена и покрыл его килымом, сел в бричку и поехал в село Бурта за отцом Нилом.

Проезжая мимо могилы, он увидел в утреннем тумане на могиле женщину. Она была лицом обращена к его хутору.

Он посмотрел на нее, остановил коней и громко сказал:

— День добрый, молодыце!

— Спасыби,— отвечала женщина.

— Что ты тут делаешь, молодыце?

— Вчера корову загубыла, так смотрю сегодня, не пасется ли где.

— Ну, добре, оставайся здорова!

— Спасыби.

Яким дернул вожжами, и добрые кони понесли его шляшком через поле.

К обеду Яким возвратился на хутор с отцом Нилом и с отцом диаконом. Отдохнувши немного под хатую и освежившись закрепленным березовым соком, отец Нил вошел в хату, сначала прочитал младенцу молитву и нарек его Марком. Потом с отцом диаконом совершил обряд святого крещения. Восприемниками были Яким и счастливая Марта.

До самой субботы гостил отец Нил и диакон у Якима на хуторе, да и не они одни, а много-таки добрых людей набралось на Марковы крестины.

Прошел месяц после крестин Марочка (так называла сго Марта), и на хуторе Якима Гирла ничего особенного не случилось, разве только, что вскоре после крестин чумаки пришли из Дону; но это происшествие весьма обыкновенное, хотя, правду сказать, наблюдательный ум и в этом обыкновенном случае наберет много пищи, как на ничтожном цветке трудолюбивая пчела. Особенно в первые дни послушать досужего чумака, как он примется рассказывать за чаркою горилки, какие он бесконечные степи проходил, из каких бездонных крыныць волю поил, по сколько суток сам без воды и хлеба пропадал, какие города видел, какие на какой реке переправы имел, какие где народы видел,— просто волосы дыбом станут, когда слушаешь.

Но у Якима Гирла не было такого досужего чумака, следовательно, не было и повествования о мудреных чумацких приключениях.

Сентябрь месяц проходил и, проходя через хутор, красил своим дуновением зеленый гай разными золотыми и красными красками. Так издали ежели посмотреть на гай, то кажется, как будто он покрыт дорогим разноцветным ковром, особенно при закате или при восходе солнца.

На могиле близ хутора почти каждое утро и вечер челядь видела таинственную молодицу, и начали поговаривать, что это что-нибудь не просто. А оно было очень просто: бедная эта молодица была не кто иной, как простая покрывка и мать маленького Марочка. Она, сердечная, не могла оторваться от того места, [где] выросло ее бедное, ее прекрасное дитя. Сколько раз она приходила по ночам к самому хутору, обходила кругом его, проводила ночи бессонные во рву, или по воскресеньям, когда челядь уходила в село, она невидимкою подкрадывалась к самым воротам, чтобы услышать хотя один звук своего милого

дитяти. Сколько раз она покушалась взойти на двор и выпросить назад или, наконец, украсть свое дитя, потому что ей без него не можно было жить на свете, без него хлеб не елся, вода не пила, солнце божие не светило и не грело.

После измены своего улана-обольстителя вся любовь ее, все нежнейшие чувства униженной матери были сосредоточены на нем одном, на своем сиротедитяти.

А оно, бедное, в чужих людях, на чужих руках засыпает, чужой грудью питается, без любви, без сердечного материнского поцелуя.

Любовь матери превозмогла и страх и стыд; она решилась во что бы то ни стало войти на хутор, решилась и дождала только воскресенья, когда людей меньше будет на хуторе.

В воскресенье, пообедавши и, разумеется, отдохнувши, Яким Гирло сидел за столом в своей светлице и читал из псалтыря «Не ревнуй лукавнующим, ниже завидуй творящим беззаконие», а Марта, убаюкавши Марочка в новой колыске, стояла над ним долго задумавшись и, вздохнувши, сказала:

— А что я думаю, Якиме?

— А бог тебя знает, что ты там думаешь?

— Я думаю, прости меня господи, что если наш Марочко, боже нас сохрани, умрет, что мы тогда делать будем?

— Я так и думал! Ну, не грех ли тебе такое всё скверное в голову забирать!

— Нету, Якиме, когда я на него смотрю сонного, то мне всегда такое в голову лезет.

— Молися богу, Марто, бог милосердый не попустит такого великого несчастья.

— Еще я думаю, Якиме: коли, даст бог, доживем до покровы, то поедем в церковь, запричастим нашего Марочка, ему тогда будет как раз шесть недель.

— Поедем, это дело христианское.

— А там я думаю заодно уже расспросить, не найдется ли хорошая наймишка, потому что теперь, сам видишь, нам одной наймишки мало.

— Что ж! Что нужно, я от того не прочь.

— Да если б бог дал, чтобы и хозяйство таки знала, тогда я бы себе няньчилась с Марочком, а она бы по хозяйству поралась.

Марта, вздохнувши, замолчала. А Яким, перекрестясь, начал снова «Не ревнуй лукавнующим».

Через несколько минут дверь осторожно отворилась, и в хату вошла бедно, но опрятно одетая молодая женщина. Она робко остановилась на пороге и, поклонясь, едва проговорила:

— Боже помогай!

— Спасыби, небого! — сказал Яким. — Садитесь просымо!

Она молча села на лаву у порога и молча пристально [смотрела] на колыску и на Марту.

Много было нужно ей душевной силы перенести эту минуту и не показать виду, что она самое близкое существо спящему Марочку.

— Что же ты нам скажешь хорошее, небого? — спросил ее Яким.

— Я зайшла у вас спросить, не нужно ли вам будет наймички?

— Нужно, голубочко, и страх нужно. У нас теперь, дал бог, малая дытына, так я все с нею няньчуся, а хозяйство совсем заброшено.

— Так я бы у вас найнялася.

— Наймись, наймись, голубочко, у нас тебе худа не будет.

— А издалека ли ты, небого?

— Из-под Ромен, дядюшка.

— Добре! А что же ты возьмешь платы за год?

— А что вы платите другим, то и мне дайте!

— Добре! Ми платымо Мартоси пятнадцать на ассигнации, новую белую свиту и шкапови чоботы.

— Добре, и я так наймуся.

— Добре! Дай вже нам, Марто, чо-нибудь поплудновать.

Марта, уходя, сказала Якиму:

— Посмотри на Марочка. Ежели оно проснется, то поколыши его.

Яким передвинулся на другой конец стола, поближе к колыбели.

Марта прибавила из-за дверей: — Та не бери его на свои железные руки. Я сама сейчас вернуся.

— Разносилась со своими панскими руками,— проворчал Яким и ласково прибавил: — Садись, небого, на ослон, поближе к столу.

— Спасыби вам! — И наймичка подошла к столу и посмотрела на колыбель, переменилася в лице, и две крупные слезы скатилися с ее исхудалых щек. Яким заметил это и спросил:

— Что, небого, може, и у тебе дытына е?

— Было, да господь себе взял.

— Так, так. Значить ты, небого, вдова?

— Ни, московка... — проговорила сквозь слезы наймичка.

— Так, так... А как тебе зовуть, небого?

— Лукия...

В это время проснулся ребенок и заплакал. Старый Яким принялся колыхать, припевая:

Е... е, люлі,
Чужим дітям дулі,
А нашому калачі,
Щоб спало вдень і вночі.

Бедная Лукия! потому что это была она, та самая счастливая прекрасная царица непорочного сельского праздника. Бедная! чем отдалися в твоём сердце звуки твоего милого единого дитяти? Бедная! ты сама чуть не зарыдала и не запела вместе с Якимом. Но ты силою любви твоей удержала порыв восторга и только тихими слезами утишила его.

Марта возвратилась с полдником, поставила его кое-как на столе и бросилась к колыбели.

— Цыть, цыть, мое серденько! Ну тебя со своим волчьим голосом, только моего Марочка перепугал. Цыть, моя птащечко! Я тобі мозючок дам! — И она сунула ребенку рожок с теплым молоком и обратилась к Якиму: — Чему же ты не просишь полудновать? А коли хочешь яблоч или дуль, то сам сходи в лёх. Та заодно наточи и грушевого квасу, а я от дытыны не отойду, поки воно не засне, сердешнее! Ишь, как напугал, и до сих пор еще слезки у бедного на щечках. Годуйся, годуйся, мое серденько!

Яким, помолясь богу, сел за стол, пригласил и Лукию с собою садиться. После нескольких вареников он заговорил, как бы сам с собою:

— Видишь, какая на свете правда. Отдать бедного одинокого человека в москали, а жену, сироту убогую, пустить по миру. Нехорошо меж людьми делается! Добро, что она еще богобоязненная, ищет себе кусок хлеба трудами честными. А другая бы на ее месте и при ее красоте и молодости пропала! С душою и телом пропала навеки.

— Разве Лукия московка? — спросила Марта, вслушавшись в слова Якима.

— Московка, — ответил Яким, не подымая головы.

— Бесталанная! А может, муж твой, Лукие, пьяница, ледащо було?

— Ледащо! — ответила Лукия.

Яким поднял голову, посмотрел на Лукию и сказал:

— Так туда ж ему и дорога.

— И я так думаю, Лукне! — сказала Марта. — Боже сохрани и заступи, пресвятая дево, нашу бедную сестру от лихого да ледачого мужа! Мы вот с Якимом, благодаря бога, часточку прожили-таки на свете; правда... ну, да смолоду чего иногда не случается...

— Ну, завела теперь свои гусла... — сказал Яким полушутя, полусурово. — Да вашу сестру если б не попомять хорошенько, то и добра не видать.

— Ну да, вы хороши. Негде правды спрятать... Отак всегда заговорюся с ним и не вижу, что мой Марочко давно заснул.

Она бережно закрыла его чистою простынкою и присела, перекрестясь, к столу около Лукии, сказавши:

— Годуйся, Лукие! Ты не смотри на него! Он у меня всегда что-нибудь ворчит. Такой уж зародился никчемный.

И она взглянула, ласково усмехаясь, на мужа. Яким и виду не показал, что заметил ее улыбку, только погладил усы рукою.

Полдник кончился, все встали из-за стола, помолились богу, и Марта, собирая со стола посуду, сказала Лукии:

— Ты бы, Лукне, пошла в другую хату та отдохнула с дороги; теперь там никого нету, все ушли в село на музыки.

— Спасыби вам. Я не очень устала.— А ей, бедной, весьма нужен был покой или, по крайней мере, уединение.

— Ну, где же таки не устала, ведь, шутка сказать — от Липового до нас будет, я думаю, верст сорок. Как ты думаешь, Якиме?

— Сорок будет,— ответил Яким.

— Я в Ромне переночувала.

— Ну, та хоть и переночувала, а спочить тебе все-таки не пошкодить,— сказала Марта, как бы инстинктом угадывая душевную усталость Лукии.

— То я пойду и одпочину немного,— сказала Лукия, отступая к порогу.

— Постой же, я тоби покажу хату,— сказала Марта и вышла в темные сени. Потом отворила противоположную дверь светлицы и ввела Лукию в просторную чистую хату.

— Ляж отут на полу или на лави та отдохни немного, Лукие.

— Спасыби вам,— сказала Лукия. А Марта вышла из хаты, притворивши за собою двери.

Лукия, оставшись одна, кругом оглянулася, как бы уверяясь, что она одна в хате. Упала на лаву, закрыв лицо руками, тихо и горько зарыдала. Она плакала не от горя и неведения, ее прежде пожиравшего, но от полноты душевной радости. Она уверилась, что дитя ее здорово и что люди, принявшие его,— люди добрые!

— Господи! — она проговорила.— Благодарю тебя, святая мать божия! Благодарю тебя, святая заступнице! Благодарю тебя, моя единая утешительнице! — И она снова залилась слезами. Приходя в себя, она ходила по хате, тихо плакала, ломая свои исхудалые загорелые руки.

— А как ты думаешь, Марто? — сказал Яким своей жене, оставшись одни в светлице.— Я думаю, что наша новобранка честного, хорошего роду дочка.

— И я думаю, Якиме,— сказала Марта, вытирая

миску,— что она честного роду: худого человека сразу угадаешь. Та видишь, она такая сумная. А може, это так, с дороги.

— Ни, не с дороги, я думаю, а она бесталанная, и сама знает свое бесталанье. Когда ты выходила за полуднем, то она взглянула на Марочка и заплакала. Я спрашиваю: — Чего ты плачешь? — А она мне и говорит: — И у меня было дитя, та бог прибрал.— Так вот оно что.

— Бедная! Ей только и радости, что дитя оставалось на свете, и того бог лишил. А не говорила, хлопчик чи дивчина?

— Хлопчик,— сказал Яким и задумался.

Марта, поставивши миску в миснык, села на лаве и тоже пригорюнилась. Через минуты две молчания, вздохнувши, Марта спросила у Якима:

— А как ты думаешь, Якиме, отдавать ли нам Марочка в школу или нет?

— Разумная голово! Подумала ли ты, что говоришь — теля еще бог знает где, а ты уже и довбню готовишь,— сказал Яким почти сердито.

— Ну, вот уж и рассердился,— я так только сказала.

— То-то вы все так говорите, цокотухи, а того не подумаешь, что еще бог пошлет завтра. Школа, школа — вещь, коли ты хочешь знать, не малая. Вот, например, у Таранухи учили, учили сына, а вышло что? Пьяныця и любостяжатель.

— Ну, ты уже когда рассердишься, то с тобою и рады нету! — сказала Марта, вставая со скамьи.— У тебя и спросить ничего нельзя. Ну, коли не хочешь отдавать в школу, то сам учи.

— Я-то буду учить его письма, сколько сам, грешный, разумею. А вот чтобы ты его сначала научила!

— А я его чему научу? Нехай соби здоров росте та щасливый буде! Мое дело женское, чему я его научу?

— Чему? Тому, чего ты и сама не знаешь: всему доброму! Вот что! Ты теперь у него мать, так учи его, когда он, даст бог, заговорит, молиться богу. А я,

посмотревши, как он будет молиться, и письма святого выучу, и псалтырь ему свою святую, умираючи, передам.

— Насилу договорил до краю! Цыть, цыть, мое серденько! — В это время проснулся Марко. Марта подбежала к колыске и, убаюкивая Марка, бессознательно запела:

Ой жила вдова
Та на край-села,
Вигодувала сина,
Сина Івана.
Вигодувавши, до школи дала;
А з школи взявши,
Коня купила.

И, взявши на руки малютку, ходила, приговаривая:

— Вот если бы лето, то в садок бы пошли, зашли бы в пасику. А там сидит старый дид,— у! какой страшный! Вон он! вон он! посмотри, какой странный! — И она показала на Якима, сидящего за столом. Яким молча улыбнулся.

Знаешь ли ты, видишь ли ты, бесталанница, свое родное, счастливое дитя?

Видит и знает. Она, не прислушиваясь, слышала каждый звук, произнесенный старою Мартою и старым Якимом. Она в глубине души своей прозревала будущее своего дитяти и от полноты сердечной радости благодарила всемилосердного бога за ниспосланное ей счастье!

Следующий и последующие дни текли на хуторе обыкновенным чередом. Новая наймица вскоре освоилась со всею челядью и всем полюбилась,— она ко всем равно была внимательна и ласкова равно со всеми. Хозяйка и хозяин были ею особенно довольны, особенно за любовь ее к маленькому Марку. И действительно, он ни засыпал, ни просыпался без нее; она всегда находила предлог присутствовать при его колыбели. Приносила ему пеленки теплые, чистые

такие, что хоть бы и паньчу какому, так не в стыд. Она как бы чуяла его пробуждение, и к этому времени всегда у ней было готово подогретое свежее молоко. Старая Марта не могла надивиться усердию и заботливости своей новой наймички.

Еще прошел месяц, и Лукия, к немалой обиде старшей наймички, овладела всем домом. Сама хозяйка уступила ей все хлопоты и распоряжения по хозяйству, а наконец, и ключи от комор и лёху отдала ей. Себе только оставила ключ от скрыни, и то потому, что, ей казалось, неприлично хозяйке не иметь ключа.

Сам старый Яким, на что уже человек серьезный и несловоохотливый на похвалу кому бы то ни было, и тот, бывало, наедине с Мартою иной раз не утерпит, скажет:

— Что за благодать нам господь послал в этой Лукии!

— Я и сама, встаючи и ложася, молюся богу за благодать его святую. Ты посмотри только, Якиме! Где она ни поворотится, что ни сделает, только смотри та любуйся, а уж до Марочка какая щирая, так я и не надивлюся. Хоть бы и прошедшую ночь. Марочко проснулся, и заплакало, бедное; я сплю себе как убитая, а она, и бог ее знает, как она услышала из другой хаты. Когда я проснулася, то она ему уже рожок с молоком подавала, да еще и мне же говорит: — Не турбуйтеся, я и сама его присплю.— Спасибо ей, такая добрая да щирая. И вот уже который месяц она у нас, а хоть бы раз тебе в село сходила. Я как-то ей раз в воскресенье говорю: — Да ты бы, Лукие, хоть до церкви в село сходила! — И дома,— говорит,— можно помолиться богу, лишь бы усердие было.— Такая, право, щирая та усердная, дай ей бог здоровье. Я просто паную за ее плечами.

— Да, и такое добро бог посылает какому-нибудь ледачому человеку.

— И не говори, Якиме! Я иногда смотрю на нее, та аж заплачу. Чему бы тебе, милосердый боже, не послать ей талану та радости в сей жизни! Хоть бы когда-нибудь тебе усмехнулась или пожартовала, разве только с Марочком. А то всегда такая смутная та невеселая.

Подобные разговоры часто повторялись между хозяевами. Дивилися ее постоянной задумчивости, но им, простодушным, и в голову не приходила настоящая причина ее. Они видели достаточную причину быть московкою, чтобы быть бесталанною. О роде и племени ее они как бы боялись с нею речь заводить, инстинктивно понимая, что у несчастного не должно спрашивать о его прежнем счастье.

Поклон вам, грубые, простые люди! Вы бы своими расспросами заставляли ее врать и, значит, вдвойне страдать, потому что она не рождена была выдумывать небывалые исповеди своего сердца. Она была простое, натуральное, умное и прекрасное дитя природы. Она полюбила всей чистотою своего сердца уланского офицера за красоту его и ласковые речи. И когда он, ею наигравшись, бросил, как ребенок игрушку, то она, неразумная, только заплакала и долго, и до сих пор не может себе растолковать, как может человек божиться и после соврать. Для ее простой, девственной души это было неудобовразумимо. А между людьми более или менее цивилизованными это вещь самая простая. Это всё равно, что взять и не отдать.

На рождественских святках хозяева поехали в село навестить своих знакомых, в том числе и отца Нила, и отца диакона, и весь причет церковный. Она осталась одна в доме; челядь тоже отправилась в село на музыки, кроме старого наймита Саввы, который и дневал и ночевал в загороде с волами.

Ее счастье было полное: она была одна, одна со своим счастливым сыном.

Первое, что она сделала, проводивши хозяев и затворивши за ними ворота,—осмотрела внимательно весь двор, вошла в хату и засунула засовом двери. Марко в это время спал; она подошла к его колыбели, открыла простынку и смотрела на него, пока он проснулся.

Потом взяла ребенка на руки и нежно, глубоко нежно поцеловала; ребенок, как бы чувствуя поцелуй родной матери, обвил ее сухую шею своими пухлыми ручонками. Потом она одной рукой сняла со скрини

килым и разостлала его на полу, посадила на килым Марка и, отойдя шага на два от него, плакала и улыбалася на свое прекрасное дитя; потом села на ковер и взяла на руки Марка, нежно прижимая к груди своей.

О, как она в этот миг была прекрасна, как счастлива, какая чудная, торжественная радость была разлита во всем существе ее!

Что, если бы мог в это мгновение взглянуть на нее ее обольститель? — Он бы пал перед нею на колени и помолился, как перед святою.

Нет, его очерствелой, грязной душе недоступно подобное чувство.

Долго она играла с ним, подымала его выше головы своей, ставила на пол, опять подымала и опять ставила, разговаривала с ним, смеялася, целовала его, плакала и опять смеялася; словом, она играла с ним, как семилетняя девочка, пела ему песни, сказывала сказки, называла его всеми уменьшительными сердечными именами, и дитя, как бы симпатизируя радости своей счастливой матери, в продолжение дня ни разу не заплакало. И какое оно прекрасное было! Карие большие глазенки блестели, как алмазы, и в них много было сходства с глазами его прекрасной матери. Их оттеняли черные длинные ресницы, что и придавало им какое-то недетское выражение.

Лукия и не заметила, как наступил вечер. Что ей делать? Нужно вечерять варить, а Марко и не думает о колыске, разыгрался так, что его и до ночи не уложишь. Хоть бы скорее кто из села пришел, а то придут хозяева, — что они скажут? Подумают, что она проспала весь день и весь вечер.

Ворота заскрипели, и на двор въехали хозяева. Она отворила им двери, жалуясь на Марка, что не дает ей печи затопить.

— Что же он делает? Всё плачет? — спросила Марта.

— Какое плачет! Целый день хоть бы скривился. Все пустуе.

— Ах ты, волоцюго, волоцюго! — сказала она, подходя к Марку. — Да ты ему еще и килым постлала?

— Не лежит в колыске, — все просится на руки.

— Ах ты, непосидящий, постой, вот я тебе дам!— И, снявши кожух и свиту, она взяла его на руки и сунула ему в ручонки позолоченный медяник, гостинец отца Нила.

Лукия принялася затоплять печь, а через несколько минут вошел и Яким в хату, обивая арапником снежную пыль с смушевой новой шапки.

— Добрывечир! — сказал он, войдя в хату.

— Добрывечир! — отвечала Лукия.

— От мы, благодарить бога, и додому вернулись, — сказал он, крестясь. — А что наш хозяин дома поделявает? Плачет, я думаю, для праздника?

— Где там тебе плачет! Целый день покою не дал бедной Лукии. Пустое, и целый день пустое.

— Ах ты, гайдамака! Смотри, как он обоими ручищами медяник загарбав!

И, положивши на стол узел, снимая свиту и кожух, заговорил как бы сам с собою:

— Горе мне с этой матушкою Якилыною. На дорогу-таки та й на дорогу! Вот тебе и надорожився. — А тут еще и диаконица, и тытарша со своею сливянкою. Ну, что ты с ними будешь делать? Сбили с панталыку, окаянные, та й годи! — Лукие, покинь ты свою печь к недоброму! Иди-ка сюда.

— А что ж вы будете вечерять, когда я печь покину? — обратясь к нему с рогачом в руках и усмехаясь, сказала Лукия.

— Не хочу я вечерять сёгодня, та и завтра не хочу вечерять, и послезавтра. Та и стара моя тоже вечерять не хоче. Правда, Марто?

— Вот видишь, какой разумный! Хорошо, что сам сытый, то думает, что и все сыты, а Лукия, может быть, целый день, бедная, ничего не ела.

— Ну! ну! и пошла уже. С тобою и пожартувать нельзя.

— Хорошие жарты выдумал!

— Та ну вас, варить хоть три вечера разом, а я добре знаю, что не буду вечерять.

— Ото завгорыть! Нам больше останется.

— Пускай вам остается, — сказал Яким, садясь за стол. — А засвети, Лукие, свечку!

Лукия засветила свечу и поставила на стол. Яким, развязывая узел, запел тихонько:

Та виріс я в наймах, в неволі,
Та не було долі ніколи.

Та гей!..

Ой, виріс я в наймах, в дорозі,
При чужому возі, в дорозі.

Та гей!..

Та чужії вози мажучи,
Та чужії воли пасучи.

Та гей!..

— Лукие! Брось ты там свою печь,— сказал он, развертывая большой красный платок.— Возьмы соби, дочко моя, бессталаннице; возьмы та носы на здоровье. А вот и на очипок, а вот на юпку и на спидныцю. Возьмы, возьмы, дочко моя, та носы на здоровья. Ходы ты у нас не так, як сырота, а ходы ты у нас так, як роменская мещанка, как нашего головы дочка. Это поносишь, другого накуплю, потому что ты у нас не наймичка, а хозяйка; мы с старою за твоими плечами як у бога за дверьми живемо.

— Возьмы, возьмы, Лукие! — прибавила Марта.— Возьмы! Это мы для тебя у московских крамарей купили.

— Да на что же вы покупали такое добро? — сказала Лукия.— Зачем было напрасно только деньги тратить!

— Не твои, дочко, гроши, божи — бог дал, бог и возьмет.— И он передал ей гостинцы.

Лукия, принимая подарки, кланялась и сквозь слезы говорила:

— Благодарю! благодарю вас, мои родные, мои благодетели.

— Вот так лучше! — говорил весело Яким.— Ты нам уже, Лукие, послужи на старости, а мы, даст бог, понемногу с тобою рассчитаемся. Ты видишь, мы вже люди старые; бог знает, что завтра будет. А у нас, ты видишь, дытына малая, одинокая. Ну, боже сохрани, моеи старои не стане, куда оно денется!

— Перекрестися! Что ты там, как сыч на комори, вищуешь?

— А что ж, все в руце божий.

Марта, укладывая Марка в колыбель, тихо проговорила:

— Не слушай его, Марку, это он так от тытаревой сливянки.

— Что?..— сказал протяжно Яким.— Как дам я тебе сливянку, так ты меня будешь знать!

— Вот уж нельзя и слова сказать.

— Нельзя.

И в хате воцарилась тишина. Только Марта шопотом напевала колыбельную песенку, изредка поглядывая на сердитого Якима. Вскоре собрались все домочадцы; вечеря была готова. Уселись все за стол в противоположной хате, кроме Якима, повечеряли и положились спать. Через минуту на хуторе все спало.

Не спал только старый Яким; он сидел в светлице за столом, склонив свою серую голову на мощные жилистые руки.

Долго он сидел молча, потом зашел едва внятно:

Ой воли мої та половії,
Та чому ви не орете?

Окончивши песню, он заговорил сам с собою:

— Пойду! Непременно пойду чумаковать! Да и в самом деле, что я дома высижу с этими бабами! Кроме греха, ничего! То ли дело в дорози. Товариство, степ, могилы, города, а в городах храмы божии, базары, купечество! Подходит к тебе бородач пузатый:— Почем,— говорит,— чумаче, рыба? или соль? — По тому и по тому, господа купець.— А меньше не можна, братець-чумак? — Ни,— говоришь,— господа купець! — Ну, когда нельзя, так быть по сему.— И гребешь собі червончики в гаман.

— Эх, чумацтво! чумацтво! Когда-то я тебе забуду? Нет, конечно, иду чумаковать, только дай бог дождать лета, а то я отут с бабами совсем прокисну.

И, вставши из-за стола, он долго еще ходил по хате, потом остановился перед образами, помолился богу, достал псалтырь и прочитал псалом «Господь просвещение мое, кого убоюся». Потом начал сапоги снимать, приговаривая:

— От бесталанье, некому и сапоги снять!

Снявши сапоги, он погасил свечу и лег спать, читая наизусть молитву «Да воскреснет бог».

Однообразно прошла зима на хуторе. Настал великий пост, отговелися, и пост проводили, и велькодня святого дождали. На праздниках, когда хозяева уехали к отцу Нилу в гости, Лукия со своим сыном наедине повторила ту же самую сцену, что и на рождественском празднике, с тою разницею, что она теперь надела в первый раз новую юпку, спидницу и на голову повязала шелковый платок: всё это подарки, как уже известно, старого Якима.

Да еще после полудня на хутор зашел венгерец с разными кроплями и постучал в окошко, чем немало напугал увлеченную разговором с сыном Лукию. Она вскоре оправилась, отворила засов и впустила венгерца в хату.

Венгерец, как известно, был в шляпе с широкими полями и сферической тульей, в широком синем плаще, с коробкою за плечами, с палкою длинною в руке и с длинными усами.

Лукия пригласила его сесть на лаву, что он исполнил нецеремонно, сначала снявши коробку с плечей. А Лукия тем временем уложила своего Марушечка в колыбель и прикрыла простынею, бояся недоброго глаза. Потом обратилась к венгерцу и спросила:

— Какие же у вас лекарства есть?

— Лекарства? О, у меня всякие, разные есть кропли: и на зубы, и на голова, и на рука, и на нога,— всякие, всякие кропли есть. Только, хорош фрау, денга будешь не жалеть? — сказал венгерец, довольно нахально улыбаясь.

— Ну, хорошо, а есть ли у тебя такое лекарство, чтобы от всяких болезней ребенку помогало?

— О, как же! От разной болезни есть, разное, всякие кропли есть.

И он раскрыл свою коробку, показывая ей пузырек за пузырьком с разноцветною жидкостию.

— Вот эта от зуба, эта — голова, эта — лихорадка, эта — рука, эта — нога, эта — брушка немножко.

— А нет ли у тебя семибратней крови? Она одна ото всех болезней помогает.

— Есть, есть, зараз ищу!

И он вскоре достал из коробки завернутую в бумажке семибратнюю кровь. Это небольшие кусочки чего-то окаменелого, вроде мелкого ракушника, тем-норозового цвета. А почему оно называется семибратней кровью, то этого и сами венгерцы не знают.

— Что же будет стоить этот кусочек?

— Этот два рубля и одна полтина.

— А боже ж мой, что же мне делать? У меня только три копы.

— Только один рубль и одна полтин. Нельзя, немножко мало. Разве еще, хорошей фрау, румочка шнапс, понимаешь — водка, и немножко кушать.

— Хорошо, и водки дам, и кушать дам, только уступите мне, ради бога, за три копы.

— Хорошо, хорошо, отдаю,— и он подал ей кусочек волшебного медикамента.

Она взяла его с благоговением, завернула в хустку и спрятала за образ. Достала медные деньги из сундучка, расплатилась с венгерцем и посадила его за стол, достала из мисныка восьмиугольную размалеванную пляшку с водкой и поставила перед ним. Поставила пасху, холодное порося и пирожки с сыром и со сметаной. Уставивши все это порядком, положила ему ручник белый, вышитый по концам красной заполючью, на колени и отошла к колыбели.

Венгерец, хотя просил немножко шнапсу, однако выпил две рюмки залпом, а третью — после первого куска поросенка. Окончивши всё, что было на стол поставлено, он вежливо раскланялся с Лукией, потом попросил огня, закурил свою фарфоровую трубку с кривым чубуком и начал собираться в дорогу. Взваливши коробку на спину, плац на плечи, палку в руки, шляпу на голову, он еще раз раскланялся с Лукией и вышел из хаты.

Лукия, проводивши венгра за ворота, возвратилась в хату, подошла к колыбели, открыла простыню и, увидевши, что Марко спит, перекрестила его и едва

коснулась губами его разгоревшейся щечки, бояся поцелуем разбудить его.

— Теперь я, слава богу, спокойна, — говорила она про себя. — Теперь я хорошо знаю, что мой Марочко будет жив и здоров. Теперь у меня есть лекарство от всяких немочей. А про счастье его я уже не сомневаюсь. Я вымолю у бога ему и век долгий, и долю добрую. Сказать ли ему когда-нибудь, что я его родная мать? Или никогда не говорить? — И она задумалась. — Нет, не скажу, никогда не скажу! Разве перед смертию на исповеди попу покаюсь, а то никому в свете не скажу.

И, говоря это, она убрала со стола после трапезы венгра, подошла к колыбели, посмотрела на сына, стала на колени перед образами и молилась со слезами о жизни и счастья возлюбленного сына.

Солнце уже закатилось, домочадцы с песнями возвратились домой. Наконец, ворота растворились, и сами хозяева возвратились домой.

— А мы, Лукие, на дороге венгра встретили, — говорила Марта, входя в хату, — и я у него купила семибратней крови для нашего Марочка. Бог его знает, а може, что и случится, так вот у нас и лекарство есть. Что, он спит? — сказала она, понизив голос.

— Спит, — отвечала тихо Лукия. — И здесь венгер был, и я тоже купила семибратней крови.

Ой, гоп по вечері,
Запирайте, діти, двері,
А ти, стара, не журись
Та до мене прихились.

Так припевал веселый Яким, входя в хату.

— Цыть!.. пьяный лобуре! — проговорила шопотом Марта, показывая на колыбель.

Яким замолчал и, как бы испугавшись, снял шапку и начал креститься перед образами, потом молча разделся и лег на постель.

— Ай да отец Нил, а бодай же ёго...

— Цыть... — прошипела Марта.

Яким замолчал, опустил голову на подушку, и вскоре заснул. Не замедлило и все живущее на хуторе последовать примеру Якима.

Весна быстро развивала зеленые ветви в Якимовом гаю; черешни, вишни и все фруктовые деревья сверх зелени покрылись молочным белым цветом, а земля разноцветным рясом. Начались полевые работы, Яким выпроводил с пшеницею чумаков своих в дорогу, но сам не пошел чумаковать, бояся положить где-нибудь свои старые кости на чужине, в степи при дороге, как это нередко случается с записными чумаками.

Проводивши чумаков, он усердно и смиренно принялся за свою пасику, говоря:

— Где мне уже теперь по дорогам шляться та с купцами торговаться! Вот мое дело — вертоград та пчелки божи. Нехай молодые чумакуют.

И он почти поселился в пасике. Раз в день заходил он в хату, и то только пообедать. Когда в пасике все было уставлено и убрано как следует, а пчелы еще не роились, то он раскроет себе псалтырь и читает вслух с утра до ночи, от доски до доски, а когда язык устанет, то он доделывает новый улей, еще прошедшее лето начатый, или починивает старую серую свиту. Иногда приходила к нему в пасику старая Марта с Марком, и это был для него торжественный праздник: вынималась часть меду из лучшего улья и со всеми ласками угощался дорогой гость, т. е. Марко.

С наступлением весны Лукия с другою работницею неумоимо приготавливала гряды на огороде за гаем. И когда гряды были готовы и огородные овощи посеяны и посажены, она вскопала две грядки в гаю между деревьями, посадила цветов и каждый вечер поливала.

Настало лето, настали жнива, настал, наконец, и день рождения Марка, ей одной известный.

В тот памятный день она до рассвета пошла в свой цветник, нарвала самых лучших цветов, свила

из них венки и, тихо вошедши в хату, так что и Марта не слышала, положила венки на головку спящему Марку. Дитя от прикосновения свежих и влажных цветов проснулось и заплакало. Марта проснулась и увидела над колыбелью испуганную Лукию.

— На что ты его разбудила? — спросила Марта.

— Я не будила, оно само проснулось, я только венки ему принесла, потому что оно сегодня... — И она чуть-чуть не проговорила.

— На что ему твой венок? Только ребенка перепугала. Возьми его, повесь перед Варварою великомученицею.

Лукия молча взяла венки и повесила перед образом.

В тот день был какой-то большой церковный праздник. Она позычила рубль денег у другой наймички и отпросилась у Марты в первый раз в село сходить, оделась в свою юбку, сподницу, повязала на голову шелковый платок, посмотрела в зеркальце, в стене вмазанное, и покраснела от удовольствия. И правду сказать, несмотря на пролитые ею слезы и претерпенное горе, сердечное и физическое, она все еще была красавица. Она все еще живо напоминала собою ту увенчанную пшеничным венком, ту счастливую царицу праздника — Лукию. Простясь с Марком и Мартою, она пошла в село.

Еще и во все звоны не звонили, когда она вошла в церковь. В церкви уже народу было довольно, и все до единого заметили незнакомую молодницу. Девушки и женщины шопотом спрашивали одна у другой: — Чья это такая хорошая молодница?.. — Она же, не обращая ни на кого внимания, поставила перед местными образами по свечечке и подала на часточку о здравии младенца Марка.

После обедни она заказала молебен о здравии рабов божиих Якима, Марты и младенца Марка. После обедни отец Нил вручил ей просфирку и просил зайти к нему пообедать.

Она зашла. Матушка Якилына привитала ее, как свою родственницу, много расспрашивала о хуторах, в особенности о Марке: здоров ли он, большой ли он вырос? вырезались ли у него зубки? и т. д.

После обеда Луккия простилася с отцом Нилом и матушкой Якилыною и пошла на хутор.

В селе долго об ней молва ходила между парубками и молодыми девушками, но никто не доведалься, откуда она и кто такая.

Возвратясь на хутор, она отдала поклон от бабушки и от матушки старой Марте и Якиму, положила просфирку за образ до завтрашнего дня, полюбовалась на спящего Марка, сняла с себя праздничную одежду, затопила печь в другой хате и принялась варить вечерю.

Так прошел первый год пребывания Луккии на хуторе, так или почти так прошел и второй год без особенных приключений, разве только, что Марко начал произносить довольно явственно слово «мама». И, боже мой, сколько общей радости было! Его, бедного, как попугая, попеременно заставляли повторять магическое слово. По прошествии недели или двух старый Яким добился до того, что Марко начал выговаривать слово «тато». Старый Яким был в детском восторге. Он уже хотел его начать грамоте учить, только, к великому его горю, оказалось, что Марко не мог выговорить ни одной буквы. А Марта каждый день ему мылила серую голову за то, что он понапрасно мучит бедную дытыну.

Еще в конце того же года, как-то в воскресенье, после обеда, сидели они все трое под хатою и пробовали краснобокие спасовские яблоки, а Марко перед ними ползал на шпорыше. Только они себе, пробуя яблоки, заслушались Якима, а он им рассказывал уже в сотый раз, как он раз, идучи с Дону, у заднего воза колесо и лучшую потерял. Они заслушались и не видят, что Марочко, вставши на ножки, дыбаёт к ним, протянувши ручки и улыбаясь, произнося слова «мамо», «тату». Какая же радость их была, когда они увидели идущего к ним Марка!

Луккия затрепетала от восторга и бросилась к своему Марочку, взяла его за ручонку и подвела к внезапно ошастливленным старикам.

Тут они принялись поочередно водить его около хаты и довели до того, что Марко заплакал и сквозь слезы проговорил: — Мама кака.

Старый Яким в восторг пришел от Маркового изречения.

— Так их, так, сыну,— говорил он,— ишь, старые бабы, замучили бедную дытыну.

Хотя он первый неумоимо мучил его первым уроком хождения.

Да в этом же году осенью, по первой пороше, охотники, гоняся за зайцем, подскакали к самому хутору, и так как бедный заяц спрятался от собак на хуторе в гаю, то неистовые псаря решились не оставлять бедного зверька и в гостеприимном хуторе.

На этом основании они, подъехавши к воротам, стали громко требовать, чтобы им отворили ворота.

Накинувши тулуп, вышел к ним сам Яким и спросил, снявши шапку, что им нужно.

— Отворяй ворота, тебе говорят, старый хохол!

Яким надел шапку и, не говоря ни слова, пошел обратно в хату.

— Что там такое за воротами? — спросила его Марта.

— Татары подступили,— отвечал он спокойно.

Ворота, кроме засова, были замкнуты еще тяжелым шведским замком. Охотники, полагать надо, что были немного намоча морду (термин из их же словаря).

Спешились и начали ломать ворота; но труд был не по силам и только привел их в пущее бешенство. Яким вышел во второй раз, а за ним не утерпела, вышла Марта и Лукия.

Один из охотников вскочил на двор через перелаз и бежал с поднятым арапником к Якиму. Но вдруг остановился, как вкопанный, и арапник опустил.

Это был красивый, стройный юноша с едва пробившимися усами.

Это был бездушный обольститель бедной Лукии. Он увидел ее и руки опустил в изумлении. Когда же пришел в себя, то вежливо сказал Якиму:

— Ну, добрый старичок, когда не хочешь нас пу-

стить на свой хутор поохотиться, то пусти, пожалуйста, в свою избу немного обогреться.

— Милости просимо,— сказал Яким приветливо.

— Пожалуйте на двор, господа! — крикнул он своим товарищам.

Лукия узнала его по голосу, быстро воротилась в светлицу, взяла спящего Марка из колыски и вынесла в другую хату.

— Что ты делаешь? — спросила ее Марта.

— Они пьяные войдут в светлицу и разбудят его, бедного.

Лукия не ошиблася: охотники вошли с шумом и огромной оплетенной бутылью в хату. Спросили довольно нахально закуски, уселись за столом и принялись мочить морды.

Молодой корнет выпил только два стакана и больше не хотел пить. Он вопросительно осматривал хату и, наконец, спросил у Марты:

— Почтенная старушка, я с тобой на дворе видел еще одну женщину,— кто она у вас такая?

— Это Лукия, наша наймичка.

— Так это колыбель, должно быть, ее ребенка?

— Нет, это наша дытына.

— Куда же спряталась твоя работница? Ведь мы не звери, чего она испугалась?

Так спрашивал чернобровый, со вздернутым фиолетовым носом и длинными усами, охотник. Это был эскадронный командир уланского полка.

— Она в другой хате порается.

— Нельзя ли, голубушка, взглянуть на твою работницу? Она, кажется, недурна собою,— сказал тот же ротмистр, покручивая усы.

— Такая же, как и другие люди. Да ей теперь и некогда,— отвечала Марта.

— Закуримте трубки, господа, да марш! Я думаю, кони порядочно продрогли. Старушка, одолжи-ка нам огонька.

Марта зажгла им свечу; охотники закурили разнокалиберные трубки и вышли из хаты. За ворота проводил их Яким и, пожелав им счастливого полювань, возвратился в хату.

Лукия, по уходе непрощенных гостей, тоже вошла с плачущим Марком, уложила его в люльку, укутала и стала качать, тихонько напевая какую-то песню. Марко замолчал и вскоре заснул.

Яким долго молча сидел за столом, облокотясь на руки, и наконец едва внятно заговорил:

— Бог его святой знает, когда эти уланы от нас уйдут? Прогневали мы милостивого господя; вот уже четвертый год стоят да и стоят. Как будто навеки тут поселились. И что тот дурень турок думает, хоть бы войну скорее начал. А там бы, может, бог дал бы, и улан от нас вывели на войну, а то даром только хлеб едят, благо дешевый. Ну, да хлеб бы еще ничего, у нас его, слава богу, немало. А то грех да и только с ними! Теперь хоть бы и наши Бурта,— велико ли село? А люди добрые говорят, что уже третью покрытку покрыли.

Лукия вздрогнула.

— Да, третью покрытку! Шутка ли? Каково же отцу и матери бесталанной? А им, горемычным? Пропашие, пропащие навеки!

Лукия тихо заплакала.

— Плачь, моя доню! Плачь! Ты еще, слава богу, хоть московка, все-таки не покрытка. У тебя еще осталася хоть добрая слава! А у них, бедных, что осталося? Позор, и до гроба позор!

В продолжение всего этого монолога Марта сидела на скрыне, подперши старую голову руками; потом и она заговорила:

— Так, Якиме, так. Вечная наруга. Вечное проклятие на земли. А на том свете что? Огонь неугасимый! Сказано — блудница!

— Ото-то и есть, что ты глупая баба, стоишь в церкви, а не слышишь, что отец диакон в евангелии читает!

— А что ж он там читает?

— А то, что господь прощает всех раскаявшихся грешников, даже и блудницу.

— Правда! Правда, Якиме! А вот и Мария египетская...⁸ как ты читаешь в житии...

— Вот то-то и есть, а преподобилась же? Не плачь,

дочко Луккие! Тебе нечего плакать. Ты мужнина жена, пускай плачут да молятся вот те бесталанницы. А уж ты и без мужа найдешь кусок честного хлеба... А и в самом деле, давайте пообедаем, а то за тумы уланамы и пообедать не удастся.

Лукия молча накрыла стол чистой скатертью, поставила солонку и положила хлеб и нож на стол. Яким, перекрестясь, начал резать хлеб на тонкие куски, сначала сделав ножом крест на хлебе. Богу помоляся, [села] за стол Марта, а Лукия стала наливать борщ в миску.

Заяц, на беду свою, выскочил из хутора в поле в то самое время, как Яким затворял калитку и желал охотникам доброго полеванья. Охотники, увидя косо-го врага своего, закричали: — Ату его! — и помчались вслед за борзыми. Только снежная пыль поднялась.

Один охотник, проскакав немного, отстал от товарищей, остановил коня, постоял недолго, как бы раздумывая о чем-то, потом махнул нагайкою и поворотил коня по направлению к Ромодановскому шляху.

Охотник этот был молодой корнет, которого мы видели в хате пьющего водку стаканом. Но это в сторону: можно и водку пить, и честным быть. Одно другому не мешает. Молодому корнету, как кажется, вино (а может быть, и воспитание) помешало быть честным (потому что он по породе благородный).

Долго он ехал молча, как бы погружаясь в думу.

О чем же он думал, сей благородный юноша? Верно, он вспомнил прошлое, бывшее; верно, он вспомнил свой проступок перед простою крестьянкою — и совесть мучит молодую и уже испорченную душу.

Ничего не бывало! Он по временам говорил сам с собою вот что:

— Фу ты, чорт ее побери, как она после родов хорошела! Просто бель-фам⁹. — (Молчание). — Жаль, не видал мальчугана, а должен быть прехорошенький. Я помню его глазенки, совершенно как у нее. — (Опять молчание). — А что, если на досуге начать снова? Да-

леко, чорт возьми, ездить — верст 30 по крайней мере! А чертовски похорошела! И зачем она, дура, бежала из своего села? Смеются... Эка важности! Посмеются, да и перестанут.— (Опять молчание).— Ба! Превосходная идея! Эскадрон один в этих двух селах! Решено! Жертвую Мурзою ротмистру, пускай меня переведет в третий взвод, а он квартирует в этом селе, как бишь его — Гурта, Бурта, что ли? Bravo! Превосходная мысль! Я тогда могу бывать каждый день на хуторе. Превосходно! Ну, моя чернобровая Лукеюшка, закутим! Вспомним прежнее, бывшее! Марш, нечего долго раздумывать! — И он пустился в галоп.

Проскакав версты две, он дал лошади перевести дух и опять заговорил:

— Хорошо! А как же я расстануся с братьями-разбойниками? Ведь день-другой, пожалуй неделю, можно поест рябчиков, а там захочется и куропатки! Впрочем, я могу каждую неделю, по крайней мере, навещать свою удалую братию один раз. Оно будет и разнообразнее, и, следовательно, интереснее. Решено! Ведь в этих случаях жертва необходима! Неси меня, мой борзый конь.

И он сильно ударил нагайкою по ребрам своего борзого коня. Конь полетел быстрее и быстрее, почуя близость знакомого села. И в широкой, покрытой снегом долине показалась синяя полоса. Это было село, родное село Лукии.

Он проехал шагом царину и легкой рысью въехал в село. Первый живой предмет, попавшийся ему на глаза, это был пьяный мужик, едва державшийся на ногах. Корнет узнал в нем отца Лукии.

— Здравствуй, почтеннейший! — сказал корнет, приостанавливая коня.

— Здравствуйте, ваше благородие, — едва проговорил мужик, снимая шапку.

— А я ведь отыскал твою Лукеюшку!

— Она теперь не моя, а ваша, ваше благородие.

И сказавши это, нахлобучил свою порыжелую шапку на глаза и побрел, шатаясь, к своей давно уже не беленной хате.

Корнет посмотрел вслед ему и проговорил:

— Глупый мужик, а туда же рассуждает.

И, подбоченясь, поехал шагом вдоль села.

А глупый мужик, не рассуждая, пришел в свою нетопленную хату, посмотрел на голые стены и, как бы отрезвясь, снял шапку, перекрестился три раза и лег на дубовой, давно уже не мытой лаве, говоря как бы сквозь сон:

— Вот тебе и постеля, старый дурню! Не умел спать на перине — теперь на лаве! под лавою! в по-мыйныщи! на смитныку! в калюже с свиньями спи, стара пьянице! О господи! Господи, твоя воля! А кажется, такая тихая, такая смиренная была! А вот же одурила, одурила мою седую голову!

И он, не подымая головы, навзрыд заплакал.

В хате было пусто, холодно, под лавами валялись разбитые горшки и растрепанный веник. От стола и ослона только остатки валяются по хате. А от другой лавы и остатков не видно, кочерги, макогона и рогача тоже не видно около печи, а в печи зола инеем покрылася.

Пустка! совершенная пустка! А недавно была веселая, белая, светлая хата.

Куда же девалась скромная прелесть простой мужицкой хаты?

Посрамления своего единого дитяти, своей Лукии, не пережила престарелая мать; она плакала, плакала, потом захворала и вскоре умерла. Старик, похоронивши свою бедную подругу, не устоял против великого горя, начал пить и в два года пропил всё свое добро, уже добивался до самой хаты.

Такие-то бывают иногда последствия минутного увлечения.

Старик долго еще бормотал, полусонный, и наконец замолк. Немного погодя мышь из норки выбежала на середину хаты, повертела головкой и, вероятно, заметила спящего на лаве хозяина, повернулась назад, еще раз осмотрелась и скрылася в норку.

На хуторе дни проходили без особых приключений. Марко вырастал не по дням, а по часам. У него про-

резались зубки без особых припадков, как это бывает с другими детьми; он стал уже ходить по хате без помощи ослона или лавы, и, целые часы глядя на его походку, любуясь, старый Яким давал ему разные названия, как-то: гайдамака, чумак, запорожец, и однажды нечаянно назвал его уланом, отчего Лукия вздрогнула, побледнела и вышла из хаты, а Марта, не замечая смущения Лукии, вскрикнула на Якима:

— Перекрестися, божевильный! Какой он у тебя улан? — И, взявши Марка на руки, целовала его, крестя и приговаривая:

— Укрой и сохрани тебя мать божия от всякой злой напасти.— И, лаская, укладывала его в люльку.

Лукия возвратилась в хату, Марко уснул, и тишина водворилась в хате.

Неделю спустя после описанной нами сцены, после обеда Яким по обыкновению отдыхал, Марта тоже на печи дремала, а Марко, вооружась арапником, нарочно для него сплетенным Лукиею, бегал от стола до порога и от порога до стола, размахивая своим арапником. Лукия молча любовалась своим сыном. Она с чувством тихого восторга смотрела на него и не знала предела своему счастью.

Ей послышалось, что наружная дверь заскрипела. Она вздрогнула. Через минуту отворилась дверь в хату, и вошел в охотничьем наряде корнет.

Лукия вскрикнула, схватила Марка и выбежала из хаты. Он выбежал за нею, но не мог ее догнать. Лукия спряталась в клуне, куда он побоялся войти, потому что там были молотники.

Походивши немного по двору, он вышел за ворота и, севши на коня, поскакал в поле.

Дремавшая Марта соскочила с печи и, не видя в хате ни Марка, ни Лукии, переполошилась.

За нею проснулся и Яким, и оба, не понимая, что случилось, смотрели друг на друга.

— Где Марко? — спросила Марта.

— Не знаю! — отвечал Яким.

— Кто тут кричал в хате?

— Не знаю! — отвечал Яким.

— Ты никогда ничего не знаешь! — почти крикнула Марта и вышла из хаты.

— А ты так хорошо знаешь, когда едят да тебе не дают,— сказал Яким, медленно подымаясь с постели.

Марта вошла в другую хату, и там нету ни Марка, ни Лукии; она вышла на двор и встретила из клуни идущую перепуганную Лукию.

А Марко, бедняжка, посинел от холода и прегромко плакал.

— Ты бога не боишься, Лукие?— кричала Марта.— Ну, как таки можно бедное дитя выносить на такой холод? Видишь, как оно, сердечное, посинело. Дай его мне. И что это тебе в голову пришло, скажи ради матери божой?

— Я испугалась,— едва проговорила Лукия.

— Какого ты там рожна испугалась?

— У нас был в хате...

— Кто там у нас был в хате?

— Улан, кажется,— шопотом проговорила Лукия.

Они вошли в хату.

— Что там такое случилось с вами? — спросил Яким.

— Лукия говорит, что у нас улан был в хате!

Яким засмеялся и спросил:

— А волка не было с уланом?

Лукия на его острогу не отвечала.

Марка кое-как успокоили, и старый Яким снова, усмехаясь, заговорил:

— Ну, скажи, Лукие, какой это к нам улан приходил: рудый, серый и волохатый? А бодай же тебе, Лукие. От насмешила, так так!

И он простосердечно захохотал.

Лукия молча улыбалась, а Марта, качая люльку, шопотом говорила:

— Цыть! Дытыну разбудишь своим проклятым хохотом. Оно, бедное, только что глазки закрыло.

— Да как же тут не смеяться? Вовкулака или тот, как его, улан рудый в хату заходил.

— Та пускай себе и заходил, только ты замолчи,— сказала Марта, не переставая качать люльку.

Не проходило дня, чтобы старики не подтрунили

над бедною Лукиєю, и это продолжалось до тех пор, пока не посетил их корнет в другой раз.

А это случилось ровно через неделю.

Старики и Лукия тешились Марком, как он таскал за собою повозочку, Лукиєю же сделанную из редьки, и погонял сам себя нитяным арапником. И только что он прошел от стола до дверей, как дверь отворилась и в хату вошел корнет и чуть не свалил с ног чумака Марка.

Лукия бросилась к ребенку, схватила его и бросилась из хаты. Марта выбежала за нею, а корнет, снявши шапку, поздоровался с Якимом.

— Доброго здоровья, — отвечал Яким, вставая.

— Что это они у тебя такие дикие?

— Да что, добродию! Сказано — бабы. А бабы и козы всё равно, скачут, когда завидят человека. Дуры хutorяне, никакого звычаю не знают.

— А я сегодня поохотился немного да и тебя, старина, навестил, — сказал он, садясь на лаву.

— Покорно благодаримо, просимо — садитесь. Не угодно ли будет пополудновать у нас по-простому? Вы, я думаю, на своей охоте проголодались?

— Да, весьма не помешало б. Я таки порядочно голоден. С утра ничего не ел.

— Ото-то ж! Посидите ж часть времени, а я пойду отыскивать своих диких хutorянок.

И он вышел из хаты.

Корнет, оставшись наедине, прошелся раза два по хате и остановился около люльки.

— Ба! Превосходная мысль! — прошептал он и, вынув из кошелька червонец, положил под подушку в люльку, и только что уселся на прежнем месте, как вошла Марта в хату, молча поклонилась гостю, достала чистую скатерть, накрыла стол и начала молча готовить полдник. Через несколько минут вошел Яким в хату, говоря:

— Хоть кол на голове теши, не хочет войти в хату, да и только!

— Кто это не идет в хату? — спросил охотник.

— Да наша наймичка, такая глупая, как будто людей отродясь не видала.

— А не идет, так и пускай себе не идет,— сказала Марта,— мы и без нее управимся.

Приготовивши всё для полдника, она вышла из хаты.

— Прошу вашей милости, садитесь за стол та полудните, что бог дал! — сказал Яким, садясь на ослоне.

— Ах да, я и забыл. Ведь у меня есть роменская кизлярка!

И он вынул из охотничьей сумы бутылку с водкой и поставил на столе.

— Не извольте трудиться, ваша честь! У нас, правда, есть и своя, да мы с старою мало употребляем, то и добрых людей иногда забываем потчевать.

И он хотел встать, но охотник удержал его.

— Постой! постой, дядя! Ведь у вас не такая, у меня ведь настоящая кизлярка! — И он вынул серебряную чарку из сумы.

— Не знаю, не случалось пивать такой. А всякие вина перепробовал на своем веку.

— Так вот попробуй, дядя,— сказал охотник, подавая старику чарку.

— Попробуем, что там за кизлярка! — сказал он, принимая чарку и крестясь.— Господы благословы!

Выпивши водку, он немного помолчал и проговорил:

— Нечего сказать, хорошая водка. А дорога?

— По целковому бутылка.

— О, цур же ей, когда так! У нас на карбованецъ видро купыш.

— Купишь, да не этакой!

— Э, всё одинаково, лишь бы на завтра голова болела.

И они молча принялись закусывать колбасу и холодное свиное сало, до которого, впрочем, охотник не прикасался. Невежа не знал, что холодное свиное сало лучше всякого патефуа¹⁰. А впрочем, о вкусах спорить нельзя.

Охотник кстати привел поговорку, что по одной не закусывают. Потом другую, что без тройцы дом не строится. Потом еще и еще поговорку, а за поговор-

кой, разумеется, наливалась и выпивалась чарка, так что не прошло часа, а в бутылке уже было пусто, как у пьяницы в кармане.

Они стали говорить громче и быстрее. Охотник наговорил Якиму много любезностей, почти великосветских, и между прочим вот какую:

— А ты мне, дядя, с первого раза понравился. Помнишь?

— Помню,— отвечал Яким.— А вы мне так попросту совсем тогда не понравились. А теперь так вижу, что ты человек хороший.

— Вот то-то и есть! Ты раскуси-ка меня, дядя, так не то увидишь!

— Нет, я кусать тебя не буду, а знаёматься милости просимо.

— Ведь я, правду тебе сказать, для тебя и в ваше село на квартиру перешел, чтобы только к тебе в гости ездить.

— Благодаримо, благодаримо! Марто! — крикнул он, вставая со скамьи.— Пряжи яешню с колбасою! Давай ведро выстоялки! Не знаешь, старая бабо, какой у нас человек сидит!

— Полно, полно, ничего не надо, дядя! Я сейчас уеду.

— Уедешь, только не сейчас, я тебе еще покажу нашего Марка.

— А кто это такой ваш Марко?

— А наша дытына. Разве ты и не знаешь, что у нас и сын есть? — И он пошел к двери, бормоча: — Вот я вам дам, вражи бабы! — И он вышел за двери.

Через минуту он внес на руках в хату плачущего Марка, а за ним вошла и Марта.

— Посмотри! посмотри! — говорил он.— Какое нам добро господь на старости послал! На, забавляй его по-своему,— и он передал Марка Марте.

— Иды, иды, гайдамака ты, сякий сыну такой! — И он рассказал охотнику историю успокоившегося Марка.

Охотник рассеянно выслушал рассказ Якима [и] сказал:

— А кто же его настоящая мать?

— А бог ее знает! Уповать надо, покрытка какая-нибудь, бесталанница!

— У тебя всё покрытки! А может, и честная женщина, только бедная,— сказала Марта.

— А может, и честная, бог ее знает. Куда же вы? — сказал он, обращаясь к охотнику.— Погостите, бога ради, вы у нас и то редко бываете. Стара! Выстоялки! Яешни!

— Благодарю тебя, дядя. Буду часто бывать, только сегодня не держи: не могу, дома есть дело.

— А коли дело, так и дело. Как волите, сами лучше знаете. А хорошо б попробовать еще нашей выстоялки.

— Нет, благодарю, в другой раз. Прощай, дядя!

И он вышел из хаты.

Яким, проводивши за ворота дорогого гостя и в сотый раз повторив просьбу не минать их хутора, возвращался в хату, бормоча про себя:

— Притча во языцех! Вот тебе и москаль! Вот тебе и улан! Та дай бог, чтоб и крещеные люди такие росли на божьей земле. Молодец, нечего сказать! Я где он такую дорогую водку покупает? Говорит, в Ромнах. Надо будет поехать в Ромен та достать такой водки, чтоб не стыдно было, когда в другой раз заедет. Так, я думаю, не достанешь. Паны всю выпили. Ну, уж за этими панами нашему брату просто некуда деваться! А что ж, ведь и он тоже пан, хоть и московский, а человек хороший, очень хороший человек. Хоть бы и у нас таких панив насыать. А что, на Москве тоже растут паны?

И, задавши себе такой хитрый вопрос, Яким, шатаясь, вошел в хату.

Лукия, перестилая ввечеру постельку Марка, нашла под подушкою червонец и сейчас догадалась, что это было дело его нежного папаши, взяла его в руки и не знала, что с ним делать; подумавши немного, она опустила его в пазуху и молча продолжала свое дело.

Охотник сдержал свое слово: он каждую неделю исправно два и три раза посещал хутор, только без

всякого со стороны сердечной поощрения. Поил Якима кизляркою, а Яким его потчевал десятилетней выстоялкою. Тем и кончались его визиты. Лукия всегда убегала из хаты, когда его только завидит, а он был до того скромн или лукав, что никогда ни слова не сказал старикам про их наймичку, как будто он ее никогда и не видал.

Любовался всегда своим Марком, как совершенно для него посторонний, привозил ему всегда пряники, а иногда и другие гостинцы, чем и успел приласкать к себе дитя. Так что, бывало, когда он входил в хату, то оно бежало к нему навстречу, протягивая ручонки, и кричало:

— Да-да.

В великом посту, когда старики говели и с пятницы на субботу остались ночевать у отца Нила, чтобы не проспять заутрени, корнет перед вечером приехал на хутор. Он знал, что старики в селе и ночевать не будут дома. Оставил с денщиком своего коня, а сам прокрался, как вор, на двор и потом в хату.

Лукия в это время играла с Марком и, когда увидела его в хате, то вскрикнула и чуть ребенка из рук не уронила.

Они молча остановились друг перед другом. Марко протянул к нему ручонки и сказал свое обычное «да-да». Но «да-да» не отвечал ни слова на привет Марка, а Лукия схватила его ручонки и прижала к себе.

Долго продолжалось молчание, наконец, он заговорил:

— Скажи, Лукеюшка, за что ты меня не любишь, зачем ты от меня прячешься всякий раз, когда я сюда приеду?

Лукия молчала.

— Я мучуся! Я страдаю! Я умираю без тебя, цветочек мой прекрасный, мой розан ненаглядный. Проговори хоть одно слово, хоть взгляни на меня!

Она взглянула на него, но не проговорила ни слова.

— За что я тебе вдруг немилым стал? Вспомни ты темный сад и те короткие сладкие минуты, что мы проводили с тобой.

Она опять взглянула на него, и из прекрасных ее карих очей покатались крупные слезы.

— Чего ты плачешь, моя прекрасная? Или тебе стало жаль прошлого? Что ж, от тебя зависит, начнем снова.

Она плюнула ему в глаза.

— Не сердися, моя крошечка, я тебе всего, всего себя, всю жизнь свою тебе отдам.

Лукия с омерзением отвортилась от него, подошла к двери и, отворивши дверь, громко крикнула:

— Катре!

— Не зови никого, побудь со мною наедине, я тебе всю правду, всю истину скажу. И ежели есть у тебя хоть искра чувства, ты извинишь меня!

Между тем вошла в хату, со скалкою в руках, дюжая Катря.

— Катре, голубочко, побудь с этим паном, а я вынесу Марка в другую хату, а то он его боится и плачет.

И с этим словом она вышла из хаты. Через минуту она возвратилась, держа в руке червонец, подошла к нежному своему обожателю и, подавая ему червонец, сказала:

— Марко и без твоих червонцев богат, возьми.

Он отодвинул ее руку. Она бросила ему червонец на пол и вышла из хаты.

Он поднял червонец, повертел его в руке, как бы раздумывая, что с ним делать.

— Вот тебе, голубушка,— сказал он Катре, подавая ей червонец.— Только ты пособи мне ее уломать.

Катря, взявши червонец, проговорила:

— Какой хорошенький дукачик! Что ж это у него дырочки нету? Как же его носить? Вот теперь если б доброе намисто!

— И монисто куплю, только ты уломай ее.

— Добре, уломаю.

И он вышел из хаты.

— За что это он ломать просил? — спросила Катря у входящей Лукии.

— Не знаю,— ответила она.

— Посмотри, какой хорошенький он мне дукачик подарил.

Лукия взглянула на червонец и не сказала ни слова. Катря вышла, а Лукия осталась в светлице и всю ночь проплакала.

В субботу после вечерни старики возвратились домой и не могли нахвалиться гостеприимством своего знакомого охотника. Он их после обеда от отца Нила зазвал к себе на квартиру, и чем уж он их не угощал! И чаем, и сахаром, и всякою всячиною, так что всего и не упомнишь. Одно только Марте не понравилось, что у него везде табак: и на столе табак, и на окнах табак, и на лаве табак — везде табак. Она думала, что у него и чай из табаку, а потому-то съела кусочек сахару, другой спрятала для Марка, а до чаю и рукой не прикоснулась. Еще две вещи ей сильно не понравились: это собака на постели и денщик, такой старый, оборванный, грязный, на руках грязи, что и в и х т е м не отмоешь. И еще чудно: он уже сытый, а он ругает и всё кричит: «Эй, малый!» А может, это по их московскому обычаю так и следует, бог там их знает!

Посещения его продолжались попрежнему, и попрежнему без успеха. Он часто дарил разные безделушки дебелий и простоватой Катре. А та по простоте своей говорила ему, что Лукия каждый день и ночь за ним плачет и что даст бог велькодня дожждаться, тогда можно будет просто в церковь да и «Исаия, ликуй»¹¹.

Пост был в исходе, нужно было и Лукии отговорься. Как же ей быть? Он теперь квартирует в Буртах, он не даст ей и богу помолиться, а не то что отговорься. Подумавши, она попросилась у своих хозяев навестить своего отца и заодно отговорься в своем селе.

Старики охотно согласились и предложили ей сани и лошадь. Она отказывалась, но не могла отказаться. А на говенье, кроме платы за службу, [Яким] дал ей карбованец.

После обеда в воскресенье на шестой неделе она выехала из хутора на маленьких саночках прямо на Ромодановский шлях.

Не хотелось ей, бедной, ехать в свое село, но любовь дочери поборола в ней стыд покрытки. Она уже третий год не имела никаких сведений о своих родных.

С трепетом въехала она в свое родное село. Подъехала к воротам своим и вскрикнула в ужасе.

Ворота были разобраны, частокол повалился, соломенная крыша на хате ветром разорвана, и черные стропила виднелися, как ребра из полуистлевшего чудовища.

Привязала лошадь к оставшейся около ворот вербе, а сама вошла в хату. Пустка и снаружи, и внутри пустка!

— Куда же они делися, неужели умерли? — спросила она сама себя и вышла из хаты.

У кого же она теперь приютится?

У нее давно когда-то, года три тому назад, была знакомая край села, старая московка, у которой прежде собирались вечерницы. Она к ней и направила свою лошадку.

У этой старой московки почти на выгоне было не то, что называют хатой, а вернее то, что у нас называют куренем, т. е. ежели смотреть издали, то это скорее похоже на кучу навозу, нежели на жилище человека. Вблизи же она была, как говорится (и говорится справедливо), живописна, и живописна до такой степени, что я, хотя и не любитель подобных живописных вещей, беруся однако же нарисовать — того для, чтоб показать моим почти сонным слушателям, что я не лгу, как какой-то курьер.

Ахнули в селе люди добрые, когда увидели около куреня московки клячу и едва заметные санишки.

— Откуда она взяла такое добро? — все в селе вскрикнули. — Ведь у нее давно уже вечерницы не собираются!

Пошли по селу толки, — такие точно толки, как бывают в уездном городе, когда проедет по его единственной улице жандарм на тройке [1—2 нрзб.].

Лукия, распрягнув лошадь, привязала ее к санному полозу и, бросивши ей сенца, вошла в москалихин курень (это было в сумерки). Войдя, помолилася и едва-едва нащупала свою старую знакомую. Нашупавши, она сказала:

— Добровечир!

— Добровечир! — едва отвечало ей что-то.

Лукия ощупала тряпки, а в тряпках завернуто что-то живое.

— Нездужаю; стара, погана, погана стала.

— Чи нема у вас лою? Я б каганець засвистыла.

— Ничого нема! И печь нетоплена. Я позавчера ходила в гости, воротилася до дому та й занедужала.

— Что же у вас болыть?

— Все болыть, моя голубко.

Лукия оставила ее и через полчаса возвратилася с дровами, затопила полуразвалившуюся печь, нашла где-то под прыпичком с обитыми краями горшок и, положи в него снегу, приставила к огню.

— Спасыби тобі,— проговорила больная.

Пока растаивал снег и потом грелася вода, Лукия вышла на двор, посмотрела на клячу, на сани и говорила сама с собой:

— Господы, у мене хоть чужие добри люды есть! А у нее никого нету, настоящая сирота.

Она подошла к саням, вынула из них торбу с паляныцами и молча вошла в хату. Вода в горшке уже кипела; она его отставила от огня и спросила хозяйку:

— Чи нема у вас какой-нибудь мисочки?

— Есть, голубко, на печке посмотри. Мне на днях Майчиха прислала рыбки, дай бог ей доброе здоровье, так мисочки я ей еще не относила.

Лукия, действительно, нашла глиняную небольшую чашку, вымыла ее, налила горячей воды и, подавая больной, сказала:

— Выпей ты горячей воды немного та зыж хоть кусочок паляныцы, те[бе] лучше станет. Если б можно было достать шавлии, то оно бы еще лучше было.— И, говоря это, она отломил кусок белого хлеба

и подала больной. Больная выпила воду, съела немного хлеба и благодарила свою лекарку.

— Тебя сама мать божия послала ко мне!

— Лежи, не вставай, я тебя укрою.— И она укрыла ее своим тулупом.

Между тем печка истопилась. Она закрыла трубу. Больная начала дремать. Зазвонили к повечерне. Луккия надела белую свиту, осмотрела еще раз свою больную, вышла из хаты.

Она пошла к повечерне. Как она войдет в церковь? Ведь на нее все пальцами покажут. Все скажут ей в глаза, что она свою мать и отца в гроб свела.

— Пускай показывают на меня,— думала она себе,— пускай смеются, говорят, знущаются, я все вытерплю, все выстрадаю, я должна выстрадать, я великая грешница. Об одном только прошу тебя, милосердый боже мой, пошли ты здоровье и добрую долю моему единому сыну.

Опасения ее насчет насмешек были напрасны: народу было в церкви мало, и ее никто не заметил. Она же себе остановилась у самых дверей, а в церкви никто назад не обращается (по крайней мере, так делается в наших селах).

Уже в сумерки она возвратилась в хатку и, увидя, что больная все еще спит, тихонько вышла из хаты, сводила свою лошадку к Суле, напоила ее и, приведя обратно, подложила ей сена и обошла кругом хаты, выбирая место, где бы приютить свою лошадку. Хотя на дворе уже был март, но все-таки на случай ветру не помешало б приютить, но приюта совершенно никакого не было.

— Господи, какая она бедная! — сказала она.— Хоть бы тебе тынок какой, хоть бы хлевушка какой,— таки совершенно ничего! Как же она живет, горемычная?

И, проговоря это, она вошла в хату. Больная уже проснулась и хотела подняться с постели, чтобы достать воды. Луккия подала ей простывшей воды, уложила ее в постель и в потемках села на полу около ее постели. Больная заговорила:

— С меня как рукою сняло. Если бы не ты, то я

не знаю, что бы со мной и было. Благодарю тебя, пускай бог тебе заплатит.

Лукия молча вздохнула.

— Чего ты так тяжело вздыхаешь?

— Так, — отвечала Лукия.

— Может быть, ты тоже нездужаешь?

— Нет, слава богу, здорова!

— Ах ты, моя бесталаннице! — сказала больная с чувством. — Я и забыла, при моей немощи, про твое тяжелое бесталанье! Ну, скажи ж мени, моя горлыце, живо ли оно, здорово ли оно, моя рыбочко?

— Слава богу, здорово.

— Как же его зовут, моя галочка?

— Марком, — неохотно ответила Лукия.

— О горе мое, тяжкос горе! — помолчав, заговорила больная снова. — Что же мы с тобой будем вечерять? Ведь у меня ничего нету.

— У меня паляныця есть.

— У тебя... у тебя... да у меня ничего нету.

— Даст бог, и у тебя будет.

— А где же мы свитла возьмемо? — через минуту проговорила больная.

— Сегодня и так повечеряем. — И она ощупью нашла мешок с хлебом, подала кусок больной и себе другой отломилла. Поужинавши, чем бог послал, Лукия наведалась к лошади и, возвратясь в хату, помолилась богу и легла на полу спать. Словоохотная старуха пробовала с нею заговаривать, но Лукия, пожелавши ей доброй ночи, вскоре заснула или притворилась заснувшею.

На другой день поутру Лукия, возвратясь от заутрени, нашла свою пациентку на ногах. Она уже затопила печку и что-то приставила в горшке к огню. Увидя входящую Лукию, она быстро обратилась к ней и сказала:

— Добрыдень! Добрыдень, моя голубка! А я уже и печь затопила.

— Добрыдень вам! — сказала Лукия.

— А ты еще краше стала, как прежде была. Ей-богу, правда. Да у тебя и лошадь есть!

— Лошадь не моя, добрые люди позычили.

— Добрые люди, спасыби им! Побудь ты, моя голубочко, недолго дома, а я сбегаю тоже к добрым людям, не добуду ли чего к обеду. Ведь ты знаешь, как я живу — где день, где ночь.

— Возьми у меня денег, за деньги скорее достанешь, нежели выпросишь.

— Правда! Правда твоя, голубко сыза,— и она взяла у нее копу грошами.— От теперь можно и на свежую рыбку рассчитывать, и на олию, и на всё доброе. Хозяйнуй же, моя рыбка, я духом вернуся.

И она выбежала из хатки.

Зазвонили к часам,— хозяйка не возвращается в свою господу. Уже на шестый и на девятый звонят,— ее все нету. Лукия хотела замкнуть хатку и итти в церковь. Но, горе, и засунуть нечем, не то чтобы замкнуть. Делать нечего, нужно дожждаться, хату нельзя так оставить. Хоть, правду сказать, вору там совершенно нечего было делать. Наконец, далеко уже за полдень, пришла и хозяйка. Правда, она принесла, кроме съестных припасов, четыре свечи и даже кое-что из посуды, как-то: две ложки и что-то вроде черепка. И несмотря на все эти покупки, и сама еще была навеселе. Бедняжка таки не утерпела, забежала к своей щирой приятельке-шинкарке.

— Вот тебе, моя голубка сыза,— сказала она скороговоркою,— вот тебе и всё наше господарство. Теперь заходымся варить обедать.

— Вари вже ты без мене,— сказала Лукия, улыбувшись.— Вари, а я пойду до церкви.

— Разве уже звонили?

— Скоро зазвонят.

И действительно, вскоре стали благовестить к повечерне. Лукия оделась и ушла в церковь. Хозяйка осталася одна и принялася за стряпню, тихо припевая:

Упилася я,
Не за ваші я —
В мене курка неслася,
Я за яйца впилася.

Не знаю, как назвать подобные явления в семье человечества: жалкими или счастливыми. Я думаю, скорее, счастливыми, потому что они на всякое

житейское горе почти смеются, и это, не думайте, чтоб было от недостатка того, что мы называем чувством, совсем нет: они чувствуют по-своему. Вот хоть, например, и эта бедная поющая старушонка. Бог ее знает, быть может, песня эта у нее выражает самый злой сарказм, а, может быть, и самую чувствительную элегию. Или она готова рассказать вам свое грустное похождение в Казань и обратно с непритворным смехом, а на чужое полугоре готова зарыдать и сию же минуту утереть слезы, как ни в чем не бывало.

По-моему, счастливы подобные натуры.

Когда Лукия пришла из церкви, у ней уже готов был смиренный ужин. Вместо стола накрыла свою пустую бодню, поставила на нее зажженную свечу, поставила свежую рыбу и поставила четверточку водки.

От водки и рыбы Лукия отказалась по той причине, что она говеет.

— Не хочешь, то як хочешь, моя голубко сыза, а я на старости выпью.

— Выпый на здоровья.

После вечери они долго еще просидели — Лукия за работою, а хозяйка за рассказами да расспросами. Лукия шила своему сыну к празднику обнову — жупанок из красной китайки и белую рубашечку с мережанным комиром.

— Так ты его с тех пор и не видала, голубко сыза?

— Ни.

— Его недавно вывели из нашего села в какое-то другое село на квартиру. И что же ты думаешь? Найшлася така дура, что и туда за ним пошла. Может быть, знала Одарку Норивну, так вот она самая. Та й лыхо ж он с нею здесь и выделывал! Да и то правда, с одной ли ею!

При этом рассказе Лукия то бледнела, то краснела. Бедная женщина, неужели злость или ревность прокрадывается в твою смиренную душу? Забудь его, не стоит он твоего воспоминанья.

Так или почти так проводили они вечера в продолжение недели. Отговорившись, Лукия заложила лошадку, простилася с хозяйкою и выехала за село. В поле снегу уже почти не было, оставался кой-где по до-

роге, и то почерневший. Кое-как дотащи́лася она до Ромоданового шляху, а там оставила свои санишки, а лошадь повела за повод на хутор.

В селі довго говорили
Дечого багато,
Та не чули вже тих речей
Ні батько, ні мати.

Уланы же, когда узнали о полюбовнице своего командира, то, глядя на нее, идущую из церкви, только улыба́лись и усы крутили.

Сердобольные кумушки-соседушки, когда узнали, что она еще у московки квартировала, тогда и рукой махнули.

Лукия, возвратя́сь на хутор, не могла налюбоваться на своего Марочка. Она еще никогда на целую неделю с ним не разлучалась. В радости хотела было и сшитые ею обновы на него одеть, но поудержалась. Старики за радость ей объявили, что, когда она уехала говеть, в тот самый день приезжал к ним улан-охотник, брал Марка на руки, целовал его, любовался им и обещал к празднику такое ему подарить, что мы все здывуемся.

Лукия даже не улыбнулась, чем старики были недовольны. И когда она вышла из хаты, то Марта, лаская Марка, проговорила:

— Да ей-то что до тебя, моя дытыно! Ты для нее чужой, то ей и б а й д у ж е.

— Ну, ты вже пойдешь прибирать,— проворчал Яким, надел шапку и пошел на двор.

До праздника не посещал их улан-охотник по случаю распутицы, зато на праздники не проходило дня, чтобы он не посетил хутора и каждый раз не говорил, что почта не пришла еще из Петербурга, должно быть, по случаю распутицы. Случалось иногда, он заставлял Лукию наедине, и тут меры не было его клятвам, что он ее полюбил пуще прежнего. Она уже на него почти не сердилась.

Подлый ты, лукавый человек! Чего ты от нее хочешь? Ужели для мгновенного скотского наслаждения ты возмущаешь ее едва успокоенное сердце?

Бедная ты, слабая ты женщина! Ты опять готова слушать его хитрые дьявольские речи. Ты опять готова впутаться в его ядовитую паутину. Ты готова забыть свое собственное прошедшее горе, горе отца и матери и даже их могилы!

Она и забыла бы (дьявол же искусил святого), она опять упала бы в бездну, и, может быть, упала б невозвратно, но, к счастью ее, уланам на фоминой неделе назначен поход в другую губернию. И это только обстоятельство спасло ее.

Каких усилий, какого тяжкого труда ей стоило переломить себя! И только одна благородная, возвышенная любовь матери спасла тебя от разверзавшейся в другой раз перед тобою пропасти. Без высокой любви своей к детищу, пошла бы ты за эскадром, как ходят тысячи тебе подобных. Сначала твой мылый-чорнобрывый остриг бы тебя и одел мальчиком (как сердечную Оксану) ¹², чтобы скрыть твой пол от товарищей, а через месяц он перестал бы тебя и скрывать, а на другой — играла бы тобою пьяная молодежь на бивуаках. На третий — ты бы для них устарела и опротивела, потому что ты опять забеременела, и возили б тебя вместе с дорогими собаками в телеге, потому что от тебя отвязаться нельзя, а тебе приютиться негде, кроме уланского обоза. И вот ты родила ночью под телегою. И только одна безмолвная луна — святая свидетельница твоих физических страданий, а милосердый бог один утешитель и успокоитель твоей сердечной горести. Ты успокоилась немного, отерла слезы, прислушиваешься, — кругом всё тихо, только едва слышно издали фырканье коней да вблизи чириканье кузнечика. Младенец твой молчит. Ты едва поднялася на ноги, берешь его и крадешься тихонько в степь из обоза и, вышедши на дорогу, ты снова с нее своротила, потому что ты дороги боишься. Ты опять в степи и, уже далеко от дороги и обоза, кладешь свое дитя на душистую траву, и как волчица роет нору для своих будущих волчат, так ты,

иступленная, роешь могилу для своего детища. Остановися! Оно плачет, но ты не слышишь, тебе чудится вой волков в степи. Ямка готова, ты судорожно схватываешь дитя свое, бросаешь в яму, и у тебя недостало духу покрыть его землею,— ты, как сумасшедшая, бежишь в степь. О, какое благодеяние было б теперь для тебя помешательство! Но ты в изнеможении [падаешь] в траву и вскоре, как после страшного сна, пробуждаешься, и пробуждаешься на горе. Ты смутно, но всё вспомнила и от изнеможения не можешь встать на ноги,— силишься, силишься и все напрасно. Так тебя и рассвет, и утро застаёт. Так тебя и полдневное [солнце] печет. Смерть близится к тебе. Но смерть грешников люта. Вечер освежает тебя, и ты, собравши остаток силы, ползешь в траве и, на свое горькое горе, выползаешь на дорогу. Тебя полуживую подняли чумаки и привезли в село, сдали добрым людям на руки, и ты медленно оживаешь. Выздорабливаешь, и полунагая отправляешься в корчму. Ты припомнила: когда тебя уланы вином поили, тебе было весело и ты забывалася. Но кто теперь тебе, нищей, подурневшей, вина даст? Ты у жида в корчме нанялася носить воду за четвертку вина. Но увь! вино не помогло, а злее еще напомнило тебе, что ты детоубийца! И разгоряченное воображение твое представляет бесконечный ряд страданий.— Что мне делать? — ты в иступлении кричишь, а дьявол шепчет тебе на ухо: — Утопись! — И ты, послушная сатане, бежишь, быть может, к твоей родной Суле и топишься. Косари тебе помешали. Ты рассказала им свое преступление. Тебя в сельскую расправу, потом в тюрьму, потом в село твое родное да, не снимая кандалов, и на кобылу¹³. А с кобылы прямехонько в Сибирь.

Могло случиться и иначе. Ты могла бы и подружиться с добрыми уланами — и попутешествовала б себе за их эскадронами во всякую погоду, как едиnorodная мать Энея¹⁴ (у Котляревского):

боса,
Задрипана, простоволоса...

И часто, часто бедная богиня Пафоса ¹⁵ —

В шинелі сірій шеголяла,
Манішки офіцерам прала,
Горілку з перцем продавала и т. д.

Так, может быть, и тебе бы пришлось коротать свою поруганную, грешную, безраскаянную жизнь. Но ты спасена; ты ангелом прекрасным, ты своим сыном спасена, и будущность твоя хотя и горькая, печальная, но не преступная и безотрадная.

В понедельник на фоминой неделе старик со старухой поехали в село родителей поминать, Лукия и за своих дала им на часточку.

— От что, Якиме,— сказала Марта,— запишемо и ее отца и мать в свою граматку, та пускай так укупи и поминают: ведь она у нас как наша дочь родная.

— А что ж, и хорошо, запишемо.

И Лукия, простясь со стариками, засунула изнутри двери, вошла в хату, остановилась над колыбелью, долго смотрела на спящего Марка и, наконец, проговорила:

— Господы милосердый, и укрипы и спасы мене! Где я на всем свете найду таких людей, которые б меня дочерью звали и отца моего, и мать мою в свою граматку записали?

И она тихо заплакала и стала молиться. В это время проснулся Марко и, протягивая к ней ручки из колыбели, пролепетал к ней: — Мамо! — Она, как бы испуганная, обратилась к нему. Взяла его на руки и, целуя его, залилася слезами, едва выговаривая:

— Сыну мий! Сыну, моя ты дытыно!

А Марко, как бы понимая ее слова, охватил пухлыми ручонками ее прекрасную шею и лепетал:

— Мамо! Мамо!

Придя в себя, она стала на колени перед образом, перекрестилась, потом взяла Марка за ручонку, сложила его розовые пальчики и начала учить его креститься, говоря и плача:

— Молись, сыну, молись, моя дытыно, молись, ангеле божий, за мене, за мене, грешницу, молись!

До обеда Лукия утешалась своим сыном в хате, а после обеда укутала его и пошла в сад рясту рвать. Погулявши в саду и нарвавши рясту, она возвращалась в хату и уже было взялась за ручку у дверей; вдруг слышит — ее зовут. Она оглянулась и вздрогнула: за воротами стоял ее возлюбленный. Она хотела скрыться в хату, но он снова позвал ее.

— Да отвори ворота, мне не хочется с коня слезить.

Лукия как бы невольно подошла к воротам, но не отворила их,

— Что же ты стоишь? Или не отворишь, выйди сюда, я тебя поцелую.

Лукия не вышла.

— Что же, на тебя столбняк, что ли, напал? Готова ли ты, или опять раздумала?

— Раздумала.

— Фу ты, несносная! Полно дурачиться, одевайся скорее, за хутором тебя телега дожидает.

— Пускай себе дожидает.

— Да не беси же ты меня! Скажи, пойдешь ли ты или нет?

— Ни.

— Проклятая! Да ведь я без тебя жить не могу!

— То не живи!

— То не живи? Тварь ты бездушная! Что же мне — давиться, что ли, из-за тебя?

— Давись.

— Шутишь ты, что ли, со мною? Скажи, последний раз я тебя спрашиваю, пойдешь ты или нет?

— Нет, не пойду.

— Дура же ты, дура. А я тебе добра желал, хотел тебя счастливою сделать!

Лукия грустно посмотрела на него. Он продолжал:

— Хотел в Ромне перевенчаться с тобою.

Лукия еще раз взглянула, отворотилась и хотела было итти в хату.

— Остановися, одно слово!

Она остановилась.

— Подойди ближе!

— Ну, говори, что ты там такое скажешь? — И она подошла к воротам.

— Ну, скажи, глупая, разве тебе лучше мужичкой быть?

— Лучше!

— Да пойми ты меня! Ведь ты будешь офицерша!

— Не хочу я быть офицершей. Я мать офицерского сына, с меня довольно!

И она снова отвортилась.

— Вот же тебе, упрямая хохлячка! — И он ее ударил по голове нагайкой, проговоря: — Проклятая! — Поворотя коня, он ускакал в поле. Лукия посмотрела ему вслед, спустила дитя на землю и тихо пошла с ним в хату. Но в хату не могла войти. Села на призыве, бледная и изнеможенная, выпустила из рук Марочка и лицо закрыла руками. Долго она сидела в таком положении, а Марочко между тем уселся у ног ее и уже увядший ряст рассыпал вокруг себя.

Лукия, наконец, проговорила шопотом:

— Офицерша... Бреше... За что же он меня ударил? Что я ему сделала? Сына привела!

И она горько, горько заплакала. Марочко, глядя на нее, и себе заплакал. Она взяла его на руки, поцеловала, встала и молча пошла в хату.

Старики, возвратяся ввечеру из села, рассказывали ей, смеясь, как уланы выходили из села и как одна уже т я ж к а я дивчина пошла за повозкою их знакомого охотника.

— Як-бо ии зовуть? — заговорила Марта. — Постой... постой... вот же и забыла... те, те, вспомнила: Одаркою!

Лукия вздрогнула.

— Только из какого-то другого села, а не буртянская.

— Что же это нашего знакомого не видно было меж уланами?

— Да, не видно было. А я нарочно его выглядела, да нет, не видно было.

— Должно быть, вперед уехал.

— Должно быть!

Мирно и безмятежно текли часы, дни, месяцы и годы на благодатном хуторе Якима. Коморы его начинялись всяким добром, волы и коровы его и всякая другая худоба множилась и тучнела, чумаки его каждое божие лето возвращались с дороги с великою лихвою, пчелы его по трижды в одно лето роились, так что одного меду продавал он ежегодно рублей сот на пять, если не больше, не говоря уже про воск. Садовой овощи, правда, он не продавал, а то и тут бы не одну лупнул сотнягу. — Пускай, — говорит, — добрые люди поживут, спасибо скажут! — Словом, к Якиму на хутор со всех сторон добро лилося, как будто сама фортуна коловратная¹⁶ на его хуторе поселилась в лице Лукии и Марка. И то правду сказать, что Лукия была хозяйка невсыпущая и распорядительная.

— И бог его знает, где это она всему так научилась? — бывало, глядя на ее дела, говорит старая Марта. — Вот тебе и московка! Поди ты с нею! Благодать божия, да и только, — верно, разумного отца дытына.

Старикам оставалось только смотреть на нее и молиться богу, — они таки и не забывали бога. Марта ежегодно ходила в Киев на поклонение святым угодникам печерским, а Яким хотя и не ходил, зато дома в продолжение года молебствовал: то крыныцю в саду посвятит, то пасику посвятит, то так пригласит отца Нила помоллебствовать о здравии и долгоденствии, а сам всё себе сидит в пасике, рои снимает да псалтырь читает.

Так-то счастливо проходили дни, месяцы и годы на хуторе. А Марку между тем кончался седьмой годочек. И что же это за дитя выросло! Прекрасное, тихое, послушное, несмотря на то, что всё его чуть на руках не носили, особенно Лукия. Бывало, в воскресенье, когда старики уедут в село до церкви, оденет его в жупанок, в красные сапожки и сивую крымских смушек шапочку, поставит его перед собою и любителю на него, как на малёваного. А между тем она ему и виду никогда не показала, что она ему мать. Для чего это она делала, бог ее знает — может быть, она боялась старых, а может быть, и так.

Старики часто поговаривали, что пора Марка в школу отдать, но всё дожидали, пока ему исполнится семь лет.

И вот ему исполнилось семь лет. Это случилось как раз на зеленых святках, в воскресенье. Из церкви прямо на хутор привезли отца Нила, и отца диакона, и весь причет церковный. После молебствия и водоосвящения в саду вернулись в облачении в хату. А окропивши святою водою оселю, сины и коморы, вернулись снова в хату. Тогда отец Нил взял Марка за руку и, поставив его на колени перед святыми образами, а сам раскрыв псалтырь и перекрестясь трижды, прочитал псалом: «Боже, в помощь мою в оном и». По прочтении псалма, сложив с себя ризы, сел за стол и спросил у Якима букварь. Марта достала из скрыни букварь (он у нее хранился, потому что она его принесла из Киева) и подала Якиму, а Яким уже отцу Нилу.

— Приступи ко мне, чадо мое, — сказал он Марку. Марко подошел.

— Говори за мною! — И Марко робко повторял: аз, буки, веди и т. д. По прочтении азбуки отец Нил закрыл букварь и сказал:

— Корень учения горек, плоды же его сладки суть. Сегодня пока довольно, а на будущее время и вящше потрудимся. А теперь пока, отдавши богово богови, отдаймо и кесарево кесареви!¹⁷

Яким, как сам тоже человек грамотный, тотчас смекнул, к чему говорит отец Нил из писания. Моргнул Марте и Лукии, а сам побежал в комору, сказавши:

— З-за позволения вашего, прошу, батюшка, садовитесь за стол.

Через минуту стол был уставлен яствами и напоями, разными квасами фруктовыми и наливками, а кроме всего этого, Яким посередине стола поставил хитро сделанный стеклянный бочонок с выстоялкою. Отец Нил, прочитавши «Отче наш» и «Ядят у бозии и насытятся», поблагословил ястие и питие сие и сел за стол. Его примеру, перекрестясь, последовали и другие (окроме Марты и Лукии) и молча начали воздавать кесарево кесареви.

После обеда отец Нил и весь причет церковный вышли в сад и сели на траве под старою грушею около крыныцы — и отец Нил отверз уста своя, в притчах глаголя. И чего он тут не глаголал? И о Симеоне Столпнике¹⁸, и о Марии египетской, и о страшном суде. И только было начал «Отолсте сердце их», а тут явилася Лукия с ковром, а Марта со стеклянным бочоночком, только уже налитым не выстоялкою, а сливянкою. Отец Нил, увидя их, воскликнул:

— Хвалите, отроци, господа! И господыню,— прибавил он, ласково улыбаяся Марте.

Лукия между тем разостлала ковер, а Марта поставила на него барыльце с сливянкою и, поклонившись, просила: — Батюшка, благословить.— Батюшка, возвыся глас свой и осеня барыло крестным знамением, возгласил:

— Изыди из тебе душе нечистый и вселися в тебе сила Христова и яви чудеса миру.

В это время старый Яким подошел к ним, держа в руках на малёванной тарелке свежие большие яблоки.

Отец Нил, увидя яблоки, сказал:

— Благ муж щедрая и дая! Только скажите вы мне, бога ради, Якиме, каким образом вы их сохранили?

— А вот как покушаете, то тогда и скажу,— говорил Яким, ставя яблоки на ковер.

— Хорошо, и покушаемо. Да где наш новый школяр? Пускай бы он нас хоть сливянкою попотчевал,— говорил отец Нил, протягивая руку к яблоку. В минуту Лукия привела в сад и Марка.

— А ну-ка, новый школяр,— говорил Яким, смеясь,— попотчуй батюшку сливянкою, а воны тебе когда-нибудь березовую кашею попотчуют.

— Корень учения горек,— весьма кстати проговорил отец Нил.

Лукия взяла бочонок, а Марко рюмку и стали потчевать гостей. Когда поднёс Марко рюмку отцу диакону, то тот, принимая рюмку, проговорил:

— Не упивайтесь вином, в нем же есть блуд.

— Та блуд таки, блуд,— скороговоркою сказала

Марта,— а вы, отче Елисею, выпейте еще одну рюмочку нашей слывяночки.

Что отец Елисей и исполнил.

Сидели они под грушею до самого вечера и слушали отца Нила. А отец Нил договорился до того, что начал выговаривать вместо «пророк Давид» — «пророк Демид». А потом всё духовенство запело хором: «О всепетую мати», потом «Богом избранную мати, деву отроковицу», а потом «О, горе мне, грешнику сушу». Тут уже и Яким не утерпел, подтянул таки тихонько басом.

— Эх, если бы тимпан и органы¹⁹, или хоч гусли доброгласны! — воскликнул отец Нил.— О, тут бы мы воскликнули господеви. А что, не послать ли нам за гуслиями?

— Послать! Послать! — закричали все в один голос.

— А послать, так и послать,— говорил Яким.— Лукие, скажи Сыдорови, нехай коней запрягае, я сам поеду. А тымчасом, отче Ниле, прошу до госпóды. И вы, отец Елисей, и вы, и вы,— сказал он, обращаясь к причетникам.— На дворе и темно, и холодно.

И компания отправилась в хату, а что там было в хате, бог его знает. Знаю только, что Яким за гуслиями не поехал.

К л е ч а л ь н о е воскресенье продлилося до вторника. Во вторник, уже по с н и д а в ш и, гости поехали домой, а Яким и Марта, провожая их, весь [час?] жалкували, что они не остались еще на г о д ы н о ч к у, т. е. на два дня.

В следующее воскресенье рано поутру одели Марка в самый лучший его жупан, засунули ему граматку за пазуху, посадили его на повозку и повезли в село, якобы до церкви. Обманули бедного Марка: они повезли его в школу.

Лукия хотя и не плакала при расставаньи с сыном, но ей все-таки жаль было расставаться с ним.

Грустно, неохотно расставалась Лукия со своим сыном, со своею единою утехой, но она не останавлива-

ла, не отговаривала, как это делала старая Марта. Марта сквозь слезы выговаривала Якиму:

— Ну, скажи! Скажи ты мне, где ты видел, чтоб из школы добро вышло? Так, выйдет какой-нибудь пьянычка, а может, еще и вор, боже обороны; от только дытыну испортят.

— Замолчи ты, пока я не рассердился! — говорил Яким, надевая на Марка сверх жупанка новую свитку.

— Ну, куда ты его кутаешь?

— Куда? В дорогу! Ведь он там останется, так не возыть же за ним свыту.

Так снаряжали Марка в далекую дорогу. Лукия молча смотрела на всё это и, слушая доводы Марты, почти соглашалась с нею. Но когда Яким, помолясь богу и выходя из хаты, сказал: «Учение — свет, а неучение — тьма», то Лукия вполне с ним согласилась, говоря:

— По крайней мере, выучится хоть богу помолиться.

И, проводя их за ворота, долго стояла она и смотрела вслед удалявшейся повозке. А когда повозка скрылась, она перекрестила воздух в ту сторону и, возвращаясь в хату, говорила:

— Пошли тебе господи благодать свою святую.

Вечеру Марта рассказывала Лукии про Марка, что он, бедный, плакал, когда прощался с ними, и что он будет жить у отца Нила, а в школу только учиться будет ходить, и что она нарочно заходила в школу, чтобы посмотреть, где он будет учиться.

— Пустка! Совершенная пустка! — говорила она. — Так что страшно одной зайти было. А школяры такие желтые, бледные, как будто с креста сняты, сердечные. А под лавою всё розги, всё розги, да такие колючие! Бог их знает, где они их и берут. Настоящая ш и п ш и н а. А на стене, около самого образа, тройчатка, настоящая д р о т я н к а, да, я думаю, она таки из дроту и сплетена. А дьяк такой сердитый! аж страшно смотреть. Я, правда, дала ему копу, знаешь, чтобы он не очень силовал Марка, хоть на первые дни. Надо будет

еще чего-нибудь послать ему, я думаю, хоть полотна на штаны та на сорочку, — а то замучит бедную дытыну. Чи не понесла б ты ему, Лукие, хоть даже завтра, а то я боюсь: уbye, занивечить сердечного Марочка.

— Добре, я понесу, — сказала Лукия, — та и сама посмотрю на ту школу.

— Посмотришь, согласишь. Та вот еще что: у ч и н ы к завтраму паляныци. Я думаю и паляныци зо дви послать Маркови, а то воно, бедное, хоть и обедает у попа, да какой там у них обед. Я думаю, всегда голодное.

Назавтра Лукия отправилась в село с паляныцями и со свертком полотна. Она не зашла к отцу Нилу, а прямо прошла в школу. Дьяк встретил ее совсем не сердитый, и школа не была похожа на пустку: хата как хата, только что школяры сидят да читают, кто во что горазд. И Марко ее тут же меж школярами сидит и тоже читает. Она, когда увидела его читающего, то чуть было не заплакала. — Как оно, бедное, скоро научилося, — подумала она и посмотрела под лаву — под лавою ни одной розги не видно было. Посмотрела на образа — около образов тройчатки тоже не видать. Она, отдавши дьякови посильное приношение, спросила его, можно ли ей повидаться с таким-то Марком?

— Можна, можна! Чому не можна? — говорил дьяк с важностию и, подойдя к новобранцу (как он называл Марка), сказал ему:

— Ты, Марку, сегодня учился хорошо, а посему и гулять остаток дня можешь, иди с миром домой.

Марко сложил азбучку, положил ее за пазуху и встал со скамейки, обернулся, увидел свою наймичку и заплакал. Лукия тоже чуть не заплакала. Она взяла его за руку и, простясь с дьяком, вышла из школы. Вышедши из школы, она утерла слезы у Марка рукавом своим, потом сама сама заплакала, и пошли они тихонько к хате отца Нила.

Такие приношения делала она дьяку и Марку каждую неделю, а в воскресенье Марта само собою приво-

зила дьячку и копу грошей, или меду, или кусок сала, или что-нибудь тому подобное.

Месяца через два, с божиею помощью, Марко одолел букварь до самого «И же хочет спастися». По обычаю древнему нужно бы кашу варить, о чем дано было знать заблаговременно на хутор. Варивши кашу, Марта положила в нее 6 пятаков, а Лукия, когда Марта отвернулася, бросила в кашу гривенник.

Когда каша была готова, Лукия понесла ее в село к отцу Нилу. А от отца Нила Марко понес ее в школу в ручнике, вышитом Лукиною. Принесши кашу в школу, он поставил ее до ли, ручник преподнес учителю, а до каши просил товарищей. Товарищи, разумеется, не заставили повторять просьбы, уселися вокруг горшка, а Марко взял тройчатку, стал над ними, и пошла потеха. Марко немилосердно бил всякого, кто хоть крошку ронял дорогой каши на пол.

Кончивши кашу, Марко тройчатку погнал товарищей до воды, а пригнавши от воды, принялися громадою горшок бить. Разбили горшок, и учитель распустил их всех по домам в знак торжественного сего события.

После описанной церемонии Марко был отпущен на родину, т. е. на хутор, отдохнуть недели две после граматки. Но вместо отдыха он встретил новые непредвиденные им труды: Яким, в присутствии Марты и Лукии, заставлял его прочитывать каждый день всю граматку, от доски до доски, и даже «И же хочет спастися».

— Да для чего это уже «И же хочет спастися» ты заставляешь его читать? — говорила Марта. — Он его не учился, то и читать не нужно.

— Ты, Марто, человек неграмотный, то и не мешалась бы не в свое дело, — говорил обыкновенно Яким. — Мы-то знаем, что делаем.

Марко под конец второй недели готов был бежать из родительского дома в школу. В школе ожидали его ровесники, товарищи, а дома кто ему товарищ? Прав-

да, оно и в школе не тепло, но все-таки лучше, нежели дома.

По прошествии двух недель снабдили Марка всяким добром удобосъедаемым и, вдобавок, часословом²⁰, принесенным Мартою в то лето из Киева, и отправили в школу.

В великом посту, когда говели Яким и Марта, то Марко уже посередине церкви читал большое повечерие²¹, к неопisanному восторгу стариков. Выходя из церкви, Яким погладил по голове Марка и дал ему гривну меди на бублики, сказавши:

— Учись, учись, Марку! Науку не носят за плечами.

А Марта дома Лукии чудеса про Марка рассказывала. Она говорила, что дьяк просто дурень в сравнении с Марком, что Марко вскоре и самого отца Нила за пояс заткнет, разве только что на гусях не будет играть, да это ему и не нужно.

— Да что же это он, да как же это он там читает? — обыкновенно спрашивала Лукия.

— А так читает, что хоть бы и самому дьяку, так не стыдно. Да, я думаю, дьяк и заставляет читать все такое, чего сам прочитать не в силах. Я думаю, что так.

Лукия с нетерпением ожидала шестой недели поста, в которую собиралась говеть. Наконец, дождалась и, наконец, услышала читающего Марка — и уже не одну «Нескверную, неблазную», а и «полунощницу», и даже «часы». Велика была ее сердечная радость, когда она, выходя из церкви, слышала такие слова:

— Какой хороший школяр! Да как он прекрасно читает, точно птичка какая щебечет. Наделил же господь добрых людей такую дытыною!

Такие и им подобные слова слушала Лукия всякий раз при выходе из церкви. Зато Марко и возмездие получал не малое: он в продолжение недели всю школу кормил бубликами.

Марко быстро двигался на поприще образования, так что к концу другого года, к удивлению всех, в особенности учителя, он прошел всю псалтырь, даже с молитвами. А чтением кафизм²² в церкви приобрел

общую известность и похвалу всего села; так что уже на что Денис Посяда, который никого не хвалил, и тот, бывало, выходя из церкви, скажет:

— Ничего сказать, славный школяр, прекрасно читает.

Долго толковали между собою отец Нил с Якимом, учить ли Марку писать или так и кончить на псалтыре. С домашними Яким не входил в рассуждение по поводу этого предмета. Он знал наверное, что в Марте первой он встретил бы оппозицию, а потому и молчал благородно. А по зрелом рассуждении с отцом Нилом решил, чтобы Марку учить писать.

Хитрость книжная, можно сказать, далася нашему Марку, да и хитрость скорописца не отвернулася от него. В полгода с небольшим он постиг все тайны каллиграфии и так, бывало, выведет букву ферт, что сам учитель только плечами двинет, и больше ничего. Но кого он больше всех восхищал своею тростию скорописца²³, так это старого Якима. Он ему при всяком удобном случае писал послание, надписывая на конверте, что такой-то и такой губернии, такого-то и такого повета, на благополучный хутор такой-то, жителю Якиму Миронову сыну такому-то. Старик был в восторге, получа такое письмо от своего сына из школы.

— Вот оно что значит просвещенный человек,— говорил он, бывало, Марте и Лукии, держа письмо в руках, которого он, конечно, не понимал, потому что читал только печатное.— Я вот и не был в селе, а знаю, что там творится. А вы, бабы, ну, скажите, что вы знаете? Вот то-то и есть! А я так знаю. Вчера отец Нил на гусях играл «И с у с е м о й п р е л ю б е з н ы й», а матушка Якилына с прочими мироносьцами ему подтягивали. Вот что!

— Ну, та ты из своего письма наговоришь, что и груши на верби растут,— говорила обыкновенно Марта.

— Что ж, когда не веришь, то на, возьми прочитай.— И он ей подавал письмо.

— Читай уже ты один, а мы и так себе останемся.

И Яким, бывало, через пятое-десятое по складам читает им:

«Любезнейшие и драгоценнейшие родители! Я, слава всевышнему, жив и здоров, чего и вам желаю. Единородный сын ваш М. Г.».

— Только то и было? — спрашивала Марта.

— А тебе чего еще хочется? — отвечал, смеясь, Яким.

— А как же там батюшка с матушкою, говорил ты, что в письме написано.

— А дзусь вам знать, цокотухи.— И при этом он клал письмо за образ.

Смеючися, пролетали годы над хутором. Марко вырос, делался юношею, и каким юношею! Просто чудо! Бывало, сельские красавицы не налюбуются на Марка Гирла. Школу он оставил вот по какому случаю. Однажды Марта, возвратясь из Киева, занемогла да, прохворавши семь недель, и богу душу отдала. Долго плакал старый Яким и, плачучи, поселился, наконец, в своей пасике. Надо было для утехи старика взять из школы Марка. Лукия так и сделала.— Пускай себе, — думала она, — чего не доучилось в школе, доучится дома. А старику, бедному, все-таки будет розвага. А то и он умрет, бедный, с тоски та с горя.

И в воскресенье, рассчитавшись с дьячком и отцом Нилом, привезла Марка на хутор. Обрадовался, ожил Яким, увидя перед собою существо, которое одно только и привязывало его к жизни.

До прибытия Марка из школы старый Яким был похож на Афанасия Ивановича после смерти Пульхерии Ивановны²⁴, с тою разницею, что в доме и вообще в хозяйстве не было заметно того печального запустения, какое было видно в доме Афанасия Ивановича после смерти Пульхерии Ивановны, потому что у него осталась Лукия.

Бывало, сидит бедный старик в пасике несколько часов сряду, головы не подымая, только вздохнет и утрет машинально слезу, скатившуюся на седые усы, вздохнет опять и опять заплачет. И так просиживал он до тех пор, пока Лукия приходила звать его обедать. Тогда молча вставал он и шел за Лукиною в хату. Она

заводила с ним речь о хозяйстве, о чумаках, о пчелах, о яблоках, но он отвечал только «да» или «нет». Однажды она ему сказала:

— Вы бы взяли хоть псалтырь прочитали за ее грешную душу, и вам бы легче стало.

Яким молча с полки достал псалтырь и пошел в сад (Марта была похоронена в саду между старыми липами), остановился над могилою Марты, раскрыл книгу, перекрестился и начал читать «Блажен муж». Когда же дочитался до «Славы» и начал читать «Святые упокой», то не мог проговорить «рабу твою Марту». Залился старик слезами, и книга из рук упала на могилу.

Так-то время и уединение связывают простосердечных людей друг с другом.

Благословенно и время, и уединение, простосердечные люди.

Яким с каждым днем оживал более и более. Лукия угождала и ухаживала за ним, как за малым ребенком, а Марко, несмотря на его юность (и, как Гоголь говорит, юркость), не отставал от него ни на минуту. Он уже знал, что он не родной его сын, и в глубине молодой души своей чувствовал всё благо, сделанное ему чужими добрыми людьми. Он иногда задумывался и спрашивал себя: кто же мой отец? и кто моя мать? — и, разумеется, оставался без ответа.

Каждую субботу с утра до обеда читал он псалтырь над могилою Марты, а Яким, стоя около него, молился и плакал и, плачучи, шептал иногда:

— Кто же бы за твою душу теперь псалтырь прочитал, если б мы его не отдавали в школу? Читай, сыну! Читай, моя дытыно! Она с того света услышит и спасибо тебе скажет. Душа ее праведная по мытарствах теперь ходит.— И старик снова заливался слезами.

А между тем Марку пошел уже двадцатый год. Пора ему уже была и вечерницы посетить, посмотреть, что и там делается. Дождавшись осени, он это и сде-

лал, и так удачно, что после первого посещения вечерницы, возвратясь домой, стал у Якима просить благословения на женитьбу.

— Вот тебе и на! — сказал Яким, выслушавши его. — Я думал, что он всё еще школяр, а он уже во куда лезет! Рано, рано, сыну! Ты сначала погуляй, попарубкуй немного, почумакуй, привезы мени гостынец з Крыму або з Дону. А то, — ну сам ты скажи, какая за тебя, безусого, выйде. Разве какая бессережная! А вот спросим у Лукии, — я думаю, и она скажет, что еще рано.

Спросили у Лукии, и она сказала, что рано.

Марко наш и нос повесил. А между тем ночевать стал ходить у клуню: в хате ему, видите, стало душно.

— Знаю я, чего тебе душно! — говорил, улыбаясь, старый Яким. А Лукия ничего не говорила, только по целым ночам молилась богу, чтобы бог сохранил его от всякого скверного дела, от всякого нечистого соблазна.

Однажды после обеда, когда Яким отдыхал, она вызвала Марка в другую хату и лаеково спросила у него:

— Скажи мне, Марку, по истинной правде, кого ты полюбил? На ком ты думаешь жениться?

Марко расписал ей свою красавицу, как и все любовники расписывают. Что она и такая и такая, и красавица и раскрасавица, что лучше ее и во всем мире нет. Лукия с умилением слушала своего сына и сказала, наконец:

— Верю, что краше ее во всем мире нет. А скажи ты мне, какого она роду? Кто отец ее и кто такая мать? Что они за люди и как они с людьми живут?

— Честного она и богатого роду!

— Богатства тебе не нужно, ты и сам, слава богу, богатый. А скажи ты мне, любишь ли ты ее?

— Как свою душу! Как святого бога на небесах!

— Ну, Марку, я тебе верю. Ты ее любишь, а когда любишь, то ты ей зла не сделаешь. Смотри, Марку! Сохрани тебя мать господняя, если ты ее погубишь! Не будет тебе прощения ни от бога, ни от добрых людей!

— Как же я погублю ее, скажи ты мне, когда я ее люблю?

— Как погубишь?.. Дай господи, чтобы ты и не знал, как вы нас губите, как мы сами себя губим!

— Лукия, ты давно у нас живешь. Скажи мне, не знаешь ли ты, кто такая моя маты?

Лукия при этом неожиданном вопросе затрепетала и не могла ответить ни слова.

— Скажи мне! Скажи, ты, верно, знаешь?

Лукия едва ответила: — Не знаю!

— Знаешь! Ей-богу, знаешь! Скажи мне, моя голубко, моя матинко! — И он схватил ее за руки.

— Марта, — отвечала Лукия тихо.

— Ни, не Марта, я знаю, что не Марта! Я знаю, что я б а й с т р ю к, подкидыш!

Лукия схватила его за руку, сказавши:

— Молчи! кто-то идет! — и вышла быстро из хаты.

— Она, верно, знает, — подумал Марко и вышел вслед за нею.

Дождавшись весны, Яким поручил всё хозяйство Лукии, а сам, по обещанию, поехал в Киев, взяв и Марка с собою.

Лукия не пропускала ни одного воскресенья, чтобы не побывать в селе, и после обедни всегда заходила к матушке, и после обеда долго с нею беседовала наедине. Она расспрашивала попадью о своей будущей невестке и узнала, что она честного и хорошего роду и что про нее дурной славы не слыхать. Наконец, она через попадью и сама с нею познакомилась и увидела, что сын и попадьё говорят правду.

Через месяц Яким с Марком возвратились на хутор и навезли разных дорогих гостинцев своей н а й м и ч к е. А для себя привезли, кроме синего сукна и китайки, Е ф р е м а С и р и н а ²⁵ и «Житие святых отец» за весь год.

Дни летние и длинные вечера осенние Марко читал святые книги, а Яким слушал и обновлялся духом. Он пришел в свое нормальное положение, подчас непрочь был послушать, как отец Нил играет на гусях и как отец диакон поет «Всякому городу нрав и

права»²⁶ и прочее такое. Только всегда приговаривал:

— Ох, якбы теперь со мною была Марта! Дали бы себе знать! — И после этого всегда старик задумывался, а часто и плакал, говоря: — Сырота я! Сыротою! Так и в домовыну ляжу. Марко? Так что ж Марко! Звычайне, не чужий! Оженю его, непременно оженю после покровы, а летом пускай сходит в дорогу та привезе мени з Крыму сыву шапку, таку сыву, как моя голова.

А Марко, прочитавши житие какого-нибудь святого, отправлялся в клуню ночевать, т. е. в село, к своей возлюбленной.

А Лукия, уложивши спать старого Якима, молилася до полуночи богу, чтобы охранял он ее сына от всякого зла.

Весною, снарядивши новые возы, новые мережные ярма, притыки, лушни и занозы, Яким отправил своего Марка чумаковать на Дон за рыбою.

— Иди ж, мой сыну! — говорил он, — та везы своей молодой подарок. После покровы, даст бог, мы вас и скрутимо.

Марко с горем пополам отправился на Дон за рыбою.

А Лукия, взявши котомку на плечи, пошла в Киев помолиться святым угодникам о благополучном возвращении сына с дороги. Яким один остался на господи. Он, распорядившись весенними работами, вынул пчел из погреба, расставил их как следует по пасике, взял Ефрема Сирина и поселился на все лето в пасике.

А Лукия, между тем, пришла в Киев, стала у какой-то мещанки на квартире и, чтоб не платить ей денег за квартиру и за харч, взялася ей носить воду для домашнего обиходу. В полдень она носила воду из Днепра, а поутру и ввечеру ходила по церквам святым и пещерам. Отговевшись и причастившись святых таин, она на сбереженные деньги купила небольшой образок святого гробокопателя Марка, колечко у Варвары велико-

мученицы и шапочку Ивана многострадального. Уложивши всё это в котомочку и простившись со своею хозяйкою, она возвращалась домой. Только не доходя уже Прилуки, именно в Дубовому Гаю, занемогла пропасницею. Кое-как доплелася она до Ромна, а из Ромен должна была нанять подводу до хутора, потому что уже не в силах была итти. А она хотела зайти в Густыню, в то время только возобновлявшуюся. И не удалось ей, бедной.

Испугался старый Яким, когда ее увидел.

— Исхудала, постарела, как будто с креста снятая,— говорил он.— Чи не послать нам за знахаркою? — спрашивал ее Яким.

— Пошлить, бо я страх нездужаю.— И Яким не послал, а сам поехал в село и привез знахарку. Знахарка лечила ее месяц, другой и не помогала.

Во времена самой нежной моей юности (мне было тогда 13 лет) я чумаковал тогда с покойником отцом. Выезжали мы из Гуляйполя, я сидел на возе и смотрел не на Новомиргород, лежащий в долине над Тикичем, а на степь, лежащую за Тикичем. Смотрел и думал (а что я тогда думал, то разгадает только один бог). Вот мы взяли с об, перешли вброд Тикич, поднялися на гору. Смотрю — опять степь, степь широкая, беспредельная, только чуть мреет влево что-то похожее на лесок. Я спрашиваю у отца, что это видно?

— Девятая рота,— отвечает он мне. Но для меня этого не довольно. Я думаю: что это — 9-я рота?

Степь. Все степь.

Наконец, мы остановились ночевать в Дидовой балке.

На другой день та же степь и те же детские думы.

— А вот и Елисавет! ²⁷ — сказал отец.

— Где? — спросил я.

— Вон на горе цыганские шатры белеют.

К половине дня мы приехали в Грузовку, а на другой день поутру уже в самый Елисавет.

Грустно мне, печально мне вспоминать теперь мою молодость, мою юность, мое детство беззаботное! Гру-

- І тут же и бег тебе миді дама. —
 мучко боємте вжити. Тобтмав у виді
 со вдромула. приподавиши и противі мучи
 на келу ружа. зовуть
- О мучи мучи! мові дитини. иди иди до ма-
 ма. —
 мерко подожити на ма
- Оваб. миді келу мучи. мама мучи мучи
 мучи. —
 ма рже мов мучи мучи мучи. Ова оббе-
 тини на со кудриву мучи мучи. мучи да мучи
 мучи мучи. и мучи мучи мучи мучи.
- Проті! проті мучи. і. і. і мучи мучи
 мучи. —
 ко да ікити вобра тини в жити ти
 увиді то мучи мучи мучи мучи мучи
 мучи мучи мучи мучи мучи.

25. сьвєдєнє

1844.

Гербарову

«Наймичка». Повість. Остання сторінка автографа.

стно мне вспоминать теперь те степи широкие, беспредельные, которые я тогда видел и которых уже не увижу никогда.

Побывавши в Таганроге и Ростове, Марко со своими чумаками вышел в степь, и непочтовым шляхом прям в алы чумаки через Орель на Старые Санжары. В Санжарах, переправившись через Ворсклу, задали чумаки пир добрым людям. Купили три цебра вина, найняли троисту музыку, та и понесли вино перед музыкантами. Кого встретят, пан ли это, мужик ли, все равно: «Стой, пый горилку!» Музыка играет, а чумаки все до одного танцуют.

С таким-то торжеством прошел Марко через Санжары.

В Белоцерковке повторилось то же, а в Миргороде, хоть и не было переправы, чумаки таки сделали свое.

— Хорол хоть и не велька ричка, а все-таки,— говорили они,— треба свято одбуты.— И одбулы свято. В Миргороде они взяли уже не четыре цебра вина, а бочку, и весь город покотом положили, а о музыкантах и танцах и говорить нечего.

Из Миргорода с божиею помощью вышли на Ромодан.

Вышедши на Ромодан и попасши волю, чумаки потянулись по Ромодану на Ромен.

Ідуть собі чумаченьки
Та йдучи співають.

— Что же ты, Марку, что же ты не поешь с товарищами-чумаками?

— А вот почему я не пою с товарищами-чумаками:

Покинул я дома молодую девушку. Что теперь
сталось с нею?

Везу я ей с Дону парчи, аксамиту, всего дорогого.

А она, быть может, моя молодая, вышла за другого.

И чем ближе они подходили к корчме, от которой ему поворотить надо вправо, тем он грустнее становился.

— Что это мне эта наймичка не идет с ума? А може, вона скаже,— прибавлял он в раздумьи.

Минули Лохвицю, пришли и до корчмы. Попрощался Марко со своими товарищами-чумаками, как следует подякував их за науку и поворотил себе на хутор со своими возами.

Путь невелик, всего, может быть, пять верст, но он остановился со своею валкою ночевать в поле. Наймиты себе ночуют в поле около волов и возов, а он побегал к своей возлюбленной.

Серце мое! Доле моя!
Моя Катерино! —

сказал он ей, когда она вышла в вишник. Он много говорил ей подобных речей, говорил потому, что не знал, что делается дома.

А дома делалось вот что.

Знахарка довела своими лекарствами бедную Лукию до того, что Яким просил отца Нила с причетом отправить над нею маслосвятие²⁸.

После этого духовного лекарства Лукии сделалось лучше. Она начала, по крайней мере, говорить. И первое слово, что она сказала, это был вопрос:

— Что, не пришел еще?

— Кто такой? — спросил Яким.

— Марко,— едва прошептала она.

К вечеру ей стало лучше, и она просила Якима постлать постель на полу. Когда перенесли ее на пол, то она показала знаком Якому, чтобы он сел около нее. Яким сел, и она ему шопотом сказала:

— Я не дождуся его, умру. У мене есть гроши, отдасте ёму. Вся плата, что я от вас брала, у мене спрятана в коморе, на горыщи, под соломяным жолобом. Отдайте ему, я для него их прятала. Та отдайте ему еще образок Марка святого, гробокопателя, что я принесла из Киева, а м о л о д и й его, когда пойдут венчаться, отдайте перстень святой Варвары, а себе, мой тату, возьмите шапочку святого Ивана.

И, помолчавши, она сказала:

— Ох, мне становится трудно. Я не дождусь его, умру. А он должен быть близко. Я его вижу.— И, помолчав, спросила:— Еще далеко до света?

— Третьи петухи только что пропели, — ответил Яким.

— Дай-то мне, господи, до утра дожить, хоть взглянуть на него. Он поутру приедет.

И в ту ночь, когда она исповедывалась Якиму, Марко целовал свою нареченную, стоя с нею под калиною, и говорил ей сладкие, задушевные, упоительные юношеские речи. Замолкал и долго молча смотрел на нее, и только целовал ее прекрасные карие очи.

Пропели третьи петухи. Вскоре начала заниматься заря.

— До завтра, мое сердце единое! — сказал Марко, целуя свою невесту.

— До завтра, мий голубе сызый! — И они расстались.

— Иде, иде, — шептала больная, когда взошло солнце. — О, чуєте, ворота скрипнули. — Яким вышел из хаты и встретил Марка с чумаками, входящего во двор.

— Иды швидче в хату! — сказал обрадованный Яким Марку. — Я тут и без тебе лад дам.

Марко вошел в хату. Больная, увидя его, вздрогнула, приподнялася и протянула к нему руки, говоря:

— Сыну мий! Моя дытыно! Иды, иды до мене!

Марко подошел к ней.

— Сядь, сядь коло мене. Нагны мени свою голову.

Марко молча повиновался. Она охватила его кудрявую голову исхудалыми руками и шептала ему на ухо:

— Просты! Просты мене! Я... я... я твоя маты.

Когда Яким возвратился в хату, то увидел, что Марко, плача, целовал ноги уже умершей наймички.

25 февраля 1844.

Переяслав

ВАРНАЕ





Есть в нашем русском православном огромном царстве небольшая благодатная земля, так небольшая, что может вместить в себе по крайней мере четыре немецких царства и Францию в придачу. А обитают в этой небольшой земле разноязычные народы и, между прочим, народ русский и самый православный. И этот-то народ русский не пашет и не сеет совершенно ничего, кроме дынь и арбузов; а хлеб ест белый, пшеничный, называемый по-ихнему калаца, и воспевает свою славную реку, называя ее кормилицей своей, золотым дном с берегами серебряными.

Грустно видеть грязь и нищету на земле скудной, бесплодной, где человек борется с неблагоприятною почвой и падает, наконец, изнеможенный под тяжестью труда и нищеты. Грустно! невыразимо грустно!

Каково же видеть ту же самую безобразную нищету в стране, текущей млеком и медом, как, например, в этой земле благодатной? Отвратительно! А еще отвратительнее встретить между этой ленивой нищеты обилие и при обилии отвратительную грязь и невежество!

А в этой стране благословенной это встречается не редко, а даже очень часто.

Какие же могут быть причины нищеты в краю, текущем млеком и медом?

На сей важный политико-экономический вопрос я на досуге напишу четырехтомный нравоописательно-исторический роман, в котором потщуся изобразить с

микроскопическими подробностями нравы, обычаи и историю сего архиправославного народа.

А пока созреет этот знаменитый роман в моей многоумной голове, я расскажу вам вот что.

Есть в этой благодатной стране, неглубоко под землей, огромная глыба соли, а на этой глыбе соли построена небольшая крепостца, называемая в простонародии Соляною Защитой².

Обстоятельства заставили меня побывать однажды в этой Соляной защите.

В первое воскресенье моего там пребывания увидел я в церкви старика, совершенно седого, но еще довольно свежего и необыкновенно выразительной и благородной физиономии.

Он в церкви исправлял должность причетника, ставил свечи перед образами, снимал со свечей, гасил догоревшие и в конце обедни ходил с кошельком вместо церковного старосты.

Его величавая наружность меня поразила. Огромный рост, седая длинная волнистая борода, такие же белые густые вьющиеся волосы, темные густые брови. Лицо правильное, чистое, с легким румянцем на щеках, как у юноши. Словом, он мог бы быть прекрасной моделью для Мойсея боговидца³ или для гомеровского Нестора⁴.

Пленившись симпатически старческой прелестью этого почтенного мужа, я, выходя из церкви, спросил у хромого инвалида, кто такой этот почтенный старец, что снимал со свечей перед образами.

Инвалид отвечал мне довольно лаконически:

— Это, батюшка, бывший варнак, а теперь здешний поселяк. Добрейшей души человек.

После этого ответа я остановился около церкви и провожал глазами заинтересовавшего меня старика. И чем более смотрел я на него, тем менее находил я в нем сходства с варнаком.

Однако ж инвалид не мог сказать зря такого слова!

Я вспомнил, что прежде здесь добывалась соль арестантами и что многие из них, кончивши свой тяжкий термин, были поселены тут же, смотря по нравственности.

Но неужели такая благородная наружность могла принадлежать преступнику?

И я решился узнать подробнее о прошлом этого замечательного наружностью старика.

В продолжение недели я узнал, что он действительно здешний поселенец, и что человек испытанной честности, и человек, хотя и не богатый, но и не бедный, живет в своем собственном домике, хотя и небольшом, но живет так, как дай бог и в хоробах бы жили: чисто, сытно и честно; имеет он у себя человек десять работников, хотя из киргиз, но дай бог, чтобы и русские так работали, как эти полудикари; и что на будущий год его непременно выберут церковным старостой за его добродетели и т. д.

Я решился познакомиться с ним лично и при благоприятном случае узнать точнее его прошлую жизнь, и если найду в ней что-либо нравственное, назидательное или по крайней мере занимательное, то запишу все это, предам тиснению, назидания или увеселения ради.

Случалось ли вам встречать старика такой почтенной, благородной наружности, что невольно снимешь шапку и поклонисься ему?

Со мной это часто случалось.

Однажды встретил я его идущего от вечерни и невольно ему поклонился. Он мне вежливо ответил поклоном и спросил:

— Вы, кажется, не здешний? Я вас не встречал здесь прежде?

— Вы не ошиблись. Я, действительно, недавно приехал в вашу Защиту.

— А позвольте спросить, издалека ли?

Я сказал ему место моей родины.

Старик мне судорожно подал руку, которую я чуть-чуть не поцеловал.

— Вы земляк мой! — сказал он грустно. — Давно ли вы оставили нашу прекрасную родину?

— Не более года, — отвечал я.

— Какой вы счастливец! Вы так недавно видели наш богом благословенный край! А я вот уже лет тридцать с лишком не видал его! Что-то там теперь делается?

И у старика навернулись слезы.

— Ежели досуг вам,— сказал он,— то не побрезгуйте мною, посетите меня, пусть я хоть посмотрю на вас, на земляка моего! Будьте добры и ласковы, не откажите мне!

Я, разумеется, был рад такому предложению.

И через несколько минут мы подошли к небольшому беленькому домику, соломой крытому; наружность его мне напомнила Малороссию.

У ворот встретила нас пожилая женщина в малороссийском платье и приветствовала нас [с] добрым вечером.

— Добрый вечер, Мотре! Прошу покорно в нашу хату,— сказал он, обращаясь ко мне.— Здесь, видите, неподалеку живут земляки наши, курские и харьковские, так я и взял себе в работницы землячку,— оно все как-то лучше.

Говоря это, он ввел меня в свою хату.

Внутренность хаты, как и наружность ее, напоминала Малороссию. Стены вымазаны белой, а пол желтой глиной и усыпан ароматными травами. Вокруг стен чистые широкие дубовые лаваы, а перед образом всех скорбящих матери теплилась лампада и стоял налой, покрытый чистым белым, с широкою бахромою полотенцем. На налое лежала книга, с виду похожая на псалтырь, in quarto⁵.

— Прошу, садитесь, дорогой мой гость!

Я сел и стал внимательнее рассматривать комнату или, лучше сказать, любоваться ею.

Везде во всем видно было порядок доброго хозяина и заботливость хозяйки, все было чисто и привлекательно. Комната была разделена на две половины узкою, длинною печкой вместо перегородки, а печка украшена лепными арабесками домашнего художества. (Такие печи можно видеть на Волини и Подолии.) В углу перед образами стоял стол, покрытый бухарским ковром и сверху белой скатертью; на столе лежал ржаной хлеб, вполовину покрытый тонким белым полотенцем, вышитым разными цветными шелками; около хлеба стояла фаянсовая солонка с белой, как рафинад, солью, и тут же, на другом конце стола, лежала боль-

шая книга, вроде Четьи-Минеи⁶, в красном сафьянном переплете, с золотыми вытиснутыми и почерневшими от времени украшениями. Это была библия (как я после узнал) — изящное киевское издание 1743 [г.] с высокопарным посвящением гетману Разумовскому⁷ (издание весьма редкое). Между окнами на стене висел в позолоченной рамке эстамп, выгравированный Миллером с картины Доменикино Цампиери⁸, изображающий Иоанна Богослова. Около двери в углу стоял посох степного дерева джигилу и тут же около посоха на гвозде висели кандалы.

Старик в продолжение этого времени хозяйничал вне хаты и возвратился в хату в то самое время, когда я смотрел на кандалы.

— Что, земляк, любишь на мой трофей? Тяжкий трофей! Я завоевал его многолетним преступлением и принес его сюда на ногах своих из самого Житомира. Здесь носил я его двадцать лет и теперь еще казнюся им и буду казниться и исповедывать ему грехи свои до гробовой доски!

Все это было сказано таким грустным, потрясающим душу голосом, что я не мог сказать слова утешительного бедному старику и сидел молча, пока он сам не заговорил.

— Прости мне, старому грешнику, земляк, я возмутил твою душу своим нечистым воспоминанием! Что делать? Против воли рвется на язык! Я держу у себя этот проклятый знак человеческого унижения для казни собственной души. Но оставим в покое прошлое, а поговорим лучше о чем-нибудь другом. Расскажи мне, друже мой, что-нибудь о нашей прекрасной Волыни и Подолии!

Но я совершенно не мог ни о чем говорить и вскоре простился с ним.

Он меня не удерживал, просил только навещать его, как время позволит.

Мне время позволяло, и я посещал его почти ежедневно, и часто мы с ним заговаривались до полуночи. И всякий раз я открывал в нем новые добродетели, новые достоинства. Он был образован, как любой аристократ того времени, с тою разницею, что любил читать,

и в особенности итальянских поэтов — Боккаччио, Ариосто, Тасса⁹. А «Божественную комедию»¹⁰ он наизусть читал.

— Давно я уже ничего не читаю,— сказал он мне однажды,— кроме этой божественной книги! Да и к чему теперь читать? Было время, читал, восхищался дивными созданиями прекрасного искусства! Теперь довольно, я состарился, огрубел, я ничему уже не могу сочувствовать, как бывало когда-то! Да и к чему, правду сказать, послужило мне чтение? Мои чистые, молодые сочувствия? Что я из них сделал? Или, лучше сказать, что люди из них сделали? Грех! И бесконечное горе! Если б я не читал ничего, не увлекался ничем, не то бы из меня было: был бы я себе простым пахарем, добрым человеком... А теперь что я?

Мы с ним каждый вечер делались откровеннее и откровеннее.

Однажды я навел его на мысль, чтобы он мне поверил свое горе, чтобы рассказал мне про свои прежние, молодые лета!

Он долго как бы не хотел меня понять, ему неприятно, горько было вспоминать свое прошедшее, и однажды сказал он мне:

— Друзе мой! Ты хочешь моей исповеди! Ты желаешь знать мою прошлую бесталанную жизнь? Тяжело будет слушать тебе, друже мой добрый, потому что прошлая жизнь моя исполнена греха и беззакония. А настоящая, как ты сам видишь, немощь и одиночество вдали от моей [прекрасной?] и милой Волини! Я знаю, ты будешь слушать с участием мою сердечную исповедь и тебе будет горько ее вчуже слушать. Слушай же, мой благородный друже! Она мне душу освежит, моя грустная нелицемерная повесть.

И он вздохнул, перекрестяся, и начал свою повесть с самых ранних лет своего детства.

На гранитных берегах прекрасной реки Случи, где она, верстах в десяти выше Новограда-Волинского, извившись подобно змее, образовала правильное кольцо версты две в поперечнике, в центре этого кольца

стоят окруженные дубровою остатки огромных каменных палат — прежде бывшее жилище одной знатной польской фамилии, а теперь жилище сов и нетопырей!

Это дело моих проклятых рук! Я поселил там змею и ночную птицу. О! господи, прости мне сей грех невольный! Грех великий!

По косогору, спускаясь к самой реке, лежит укрытое фруктовыми садами большое село с почерневшею от времени деревянною треглавою церковью.

Эти церкви у нас поляки называют козацкими, вероятно потому, что большая часть этих церквей построена козаками во времена унии¹¹, на скорую руку, и представляют они собою тип простой, грубой, хлопской, как говорят поляки же, архитектуры.

Это село — моя родина! В этом прекрасном селе я родился на грех и на страдания!

Отца своего я не помню; а мать, как во сне вижу, когда в гроб ее положили и понесли на м а р а х на кладбище.

И едва помню еще, когда священник над ее телом прочитал молитву, напечатанную на большом листе красными и черными буквами, и, прочитавши, накрыл ей лицо этою молитвою; потом заколотили гроб и опустили в яму. Священник заступом крестообразно запечатал яму и заставил меня бросить горсть земли на гроб моей матери. Я бросил и пошел за людьми в село.

Помню еще, в нашей хате было много людей, и все обедали, только не шумно, а тихо и скромно: вдова, как видно, не оставила по себе обильных поминок.

Во время обеда я играл с детьми на дворе, а когда все разошлись после обеда, то меня и дети покинули, и я остался один с моею заузданной палочкой-лошадкой. Вошел я в хату. В хате соседка наша, тоже горе-мычная вдова, убирала посуду, дала мне кусок пирога, я съел его и заснул на материной постели. Старушка, прибравши все в хате, заперла ее на засов и ушла к себе домой. Я проспал в пустой хате всю ночь один и, проснувшись поутру, я чего-то испугался и заплакал.

Плакал я недолго, вскоре пришла соседка-старушка и принесла мне полную миску угорок-слив и утешила меня.

Старушка посыпала курам пшена и, накормивши серого кота и рябую собаку, взяла меня и повела к себе домой.

У вдовы была дочь, старше меня несколькими годами; она меня приласкала, накормила яблоками, грушами и тому подобными сладостями.

Когда я уходил к себе домой, то она меня всегда провожала, и когда начинал плакать дома, не найдя в хате матери, то она утешала меня, говоря, что мать моя поехала на ярмарок и привезет мне гостинца — медяного москаля, чем я, разумеется, и утешался.

И так мало-помалу стал я забывать свою великую потерю при помощи вдовиной прекрасной дочери.

Я привязался к ней, как к сестре родной, и она, действительно, заменяла мне сестру родную.

После я думал матерью ее назвать, но богу не угодно было благословить мое предположение!

Часто посещал я свою бедную опустелую хату! Скажите, что может быть грустнее пустки?

Я до сих пор помню то страшно грустное впечатление, которое тогда меня одолевало!

В великом посту, на страстной неделе, священник, обходя с молитвою село, посетил и мою бедную благотельницу и, увидя меня, взял к себе, обещаясь вывести меня в люди.

У священника был сын Ясь, моих лет, и, не знаю почему, он мне с первого взгляда не понравился.

Меня посадили за букварь вместе с Ясем. Мне это было весьма не по нраву, однако я учился с успехом, а Ясь был туп. Яся хвалили, а меня называли ленивцем и тупицей. Мне эта несправедливость казалась обидною, и я стал бегать от попа к своим благотельницам, откуда меня приводили обратно к попу, а поп меня жестоко наказывал за побеги.

Однажды убежал я от попа к своим друзьям и, боясь войти к ним в хату, просидел целый день в бурьяне под тыном, выжидая, не выйдет ли сестра из хаты: я звал сестрою дочь вдовы. Наконец, она вышла, я показался ей и попросил хлеба. Она мне вынесла большой ломоть хлеба и кусок свиного сала. Я сквозь слезы поцеловал ее и скрылся в густом сливняке.

Утоливши голод, я начал помышлять о ночлеге.

Итти к попу — будут бить, итти ко вдове — она отведет к попу и все-таки будут бить.

Итти в свою пустку ночевать — страшно. Размышляя таким образом, я очутился за царыной (выгон).

А за царыной стояло в копнах сжатое жито! Не рассуждая, я отправился к копнам и в первой копне приютился и заснул сном непорочности.

Ночью просыпаюсь я и слышу вдали вой волков.

До сих пор не могу я забыть того неприятного чувства. Это не страх за жизнь, а что-то смешанное со страхом и отвращением.

Вой волков начал стихать понемногу, и я, скорчившись от холоду и накрывшись снопом, снова заснул.

Поутру рано разбудил меня арапником ланой.

— Ты что здесь делаешь? — спросил он меня грозно.

— Сплю! — отвечал я ему.

— Я тебе дам сплю. Нашел место спать! Разве у тебя хаты нет?

— Есть, дядюшка, только пустка, — сказал я ему сквозь слезы.

— Ну, а отец и мать у тебя есть?

— Нету, дядюшка, я сирота.

— Ну, а коли сирота, так иди же за мною!

И он поворотил свою лошадь к дороге, ударил ее слегка арапником и поехал. А я пошел босиком по ключей стерне, дрожа всем телом от холода и страха.

— Не поведет ли он меня, — так я думал себе, — боже сохрани, к попу! — И при этой мысли я хотел от него бежать в село и спрятаться где-нибудь в бурьян, но он поминутно оглядывался на меня и, направляя свою лошадь в противоположную сторону от села, привел меня на панский двор и отдал на руки управителю, рассказавши, где и как меня нашел.

Управитель был добрый старичок, пан Кошулька, велел мне сшить курточку и шаровары из домашней пистри, и я сделался у него домашним казачком.

Жил я у пана Кошульки осень и зиму. Немногим лучше мне было у него, чем у попа,— разница только та, что не учили грамоте, а бил и щипал меня кто хотел.

Весною однажды увидела меня на дворе старая графиня (управитель жил с нею на одном дворе, только в особом флигеле), подозвала меня к себе, спросила, как зовут, и ушла в свои покои.

На другой день после этого случая сняли с меня мерку и начали шить новое платье — и уже не пистревое, а суконное, и сукна тонкого, дорогого — и сапоги, и шапку, а прежде я так ходил.

Когда все было готово, дали мне чистую рубашку, чего прежде также не бывало.

И когда меня умыли, причесали, одели в новое суконное платье, тогда сам пан Кошулька надел новый синий фрак с медными пуговицами и повел меня в графинины покои.

Дежурный гайдук доложил о нас графине. Графиня велела звать нас в приемную. В приемной мы долго ее ждали, и пан Кошулька не смел сесть на стул. Я удивлялся: в комнате так много стульев, а он не хочет сесть ни на одном.

Наконец графиня вышла, приветствовала пана Кошульку легким наклоном головы и велела позвать панну Магдалену.

Через минуту из боковых дверей явилась панна Магдалена.

Очаровательное, незабвенное видение!

Я как теперь ее вижу: молодая, стройная, прекрасная! Ее задумчивые голубые выразительные глаза были устремлены прямо на меня. По мне пробежал какой-то невыразимо приятный трепет.

Панна Магдалена была дочь одного промотавшегося пана и, благодаря хорошему воспитанию, она была принята графинею к себе в дом в виде компаньонки для себя и гувернантки для малолетнего своего сына.

— Вот, друг мой, Магдалена,— сказала графиня,— рекомендую тебе компаньона и лакея моему бедному Болеславу. Возьмите его к себе,— пусть они вместе играют в свободное время.

Графиня вышла. А панна Магдалена взяла меня за руку и повела к себе в покои.

В покоях панны Магдалены встретил меня мальчик моих лет, только такой худой и зеленый; это был граф Болеслав, единственный сын графини. Он довольно нагло спросил меня:

— Как тебя зовут?

Я тихо отвечал ему: — Кириллом.

— Фи, какое хлопское имя! Ну, да это ничего, я тебя буду звать Яном. А что, Ян, ты в лошадки умеешь играть?

— Нет, не умею,— отвечал я.

— Ну, так я тебя выучу!

И сейчас же принялся меня учить играть в лошадки. Хотя я эту науку понимал не хуже его, но мне почему-то не хотелось быть с ним откровенным.

На другой день поутру, когда граф Болеслав еще спал, панна Магдалена накормила меня булкой с горячим молоком и с участием сестры спросила меня,— кто был у меня отец и кто мать? и где они теперь?

Я рассказал ей все с такими подробностями, что она поцеловала меня и заплакала.

С той поры она каждый божий день поила меня по утрам горячим молоком и кормила сладкими булочками.

— Ну, Ясю! (Меня все в доме звали Ясем.) Ну, Ясю! — однажды поутру сказала она мне.— Хочешь ли ты учиться грамоте?

— Я уже учился у попа грамоте,— отвечал я,— но если вы будете меня учить, то я опять буду учиться, а если не вы, то я не хочу, чтоб меня учили грамоте.

Она улыбнулась и сказала:

— Я сама буду тебя учить,— и подала мне французскую азбучку.

— Посмотри, ты знаешь эти буквы?

— Нет! Мне показывали у попа другую азбучку.

— Ну, так я тебя буду учить по этой азбучке, по этой легче!

И тут же принялась мне показывать новые для меня буквы.

К удивлению ее и радости, я в один день выучил все буквы французского алфавита.

Когда я начал довольно бегло читать по-французски, она стала учить меня по-итальянски,— это был тогда модный и любимый ее язык.

Я и тут показал довольно быстрые успехи, так что в непродолжительном времени сравнялся в познаниях с графом Болеславом, к невыразимой радости панны Магдалены.

. Мир душе твоей, прекрасное, доброе создание! Никогда я не забуду твоих ласковых, приветливых речей! твоего сердечного участия в судьбе моей печальной!

Она полюбила меня так, как только может любить мать свое единственное дитя. Всеми возможными ласками поощряла она мои успехи.

Бедная, она не предвидела следствий моему неуместному образованию!

Время шло своим чередом; я подрастал, учился с прилежанием и успехом.

С графом Болеславом мы не могли подружиться совершенно, в нем было что-то отталкивающее, какая-то преждевременная, наглая, недетская спесь. Он иногда показывал мне приязнь за то, что, бывало, когда он нашалит не в меру, то я всю вину брал на себя, что мне, разумеется, не проходило даром.

Вследствие его шалостей прослыл я почти разбойником; великодушие мое было известно только одной панне Магдалене и всегда вознаграждалось необыкновенными ее ласками.

Графиня была женщина светская, избалованная прежними успехами на поприще светской жизни, любила у себя банкеты, где, разумеется, первенствовала между провинциалками, читала итальянские и французские новеллы и больше ничего не делала. Сын вырастал хотя и под одной крышей с нею, но она его видела раз или два в день, и то мимоходом.

Однажды заметила она, что Болеслав уже мальчик порядочный ростом и что нужно для него выписать учителей, потому что она намерена приготовить его для университета.

Пригласили учителей, начались уроки. Я в виде слуги присутствовал при этих уроках и заучивал все то, что было читано и толковано графу.

Я почти всегда приготавливал графа к экзамену, потому что он ничего не мог или не хотел помнить из уроков учителей.

Панна Магдалена попрежнему меня ласкала и лелеяла и разговаривала со мною не иначе, как на итальянском языке. И по вечерам, проэкзаменуя меня из того предмета, который я слушал в учебной графа, она давала мне уроки на фортепиано.

Сама она — настоящая артистка на этом инструменте. Часто, бывало, после моего урока она просиживала до полуночи за фортепиано, варьируя чудные создания Бетховена (это был ее любимый композитор и только что явившийся в музыкальном мире). Я, бывало, сижу в уголку, не пошевельнуся, сижу и слушаю, слушаю и заплачу, сам не знаю отчего. Музыку я полюбил страстно, и этой любовью я обязан панне Магдалене. Через год с небольшим мы с нею играли в две руки некоторые сонаты Моцарта и Бетховена.

Однажды графиня застала нас за фортепиано и была очень недовольна, заметя весьма справедливо панне Магдалене, что я рожден не для музыки, а для рала и плуга.

Панна Магдалена почувствовала всю важность этого замечания, обняла меня и горько зарыдала. За нею заплакал и я, не вполне разумея благоразумное замечание графини.

Граф быстро выросстал и учился весьма медленно и тупо; нельзя сказать, чтобы он был вовсе без способностей, нет, в нем были кое-какие способности, но и те были заглушены небрежением матери.

Графиня постоянно восхищалась успехами своего милого Болеслава, а успехи Болеслава ограничивались гармоническим лепетаньем на итальянском языке; она была в восторге и больше ничего не требовала от своего милого Болеслава, хотя и готовила его для университета.

Учителя получали исправно содержание и жалованье и делали свое дело, как наемники или как большая часть учителей: читали ему ежедневно свои уроки или на досуге рассказывали ему про псовую охоту и т. п. анекдоты.

Одна панна Магдалена с чувством матери заботилась о его моральном образовании; но неуместные восторги графини мешали ей, и Болеслав уже очень хорошо понимал (тоже, может быть, учителя поселили в нем это понятие), что он граф и граф богатый, что ему не нужно никаких познаний и добродетелей, и часто грубыми своими выходками приводил бедную панну Магдалену в слезы.

Мне было больно смотреть на эту благородную, прекрасную женщину. Я в душе возненавидел Болеслава, и если б не она, то я давно бы ему свернул голову.

Но она, бедная, жестоко оскорбленная, бывало, приголубит меня и повторяет мне святые слова:

«Любите и ненавидящих вас».

Я забыл вам сказать, друже мой добрый, что графиня была ни вдова, ни мужнина жена, как говорится.

Муж ее бросил и жил постоянно в Италии, быстро проматывая свое прекрасное подольское имение.

А графиня с сыном жила, как вам уже известно, на Волыни и занималась (как она сама говорила) эдукацией единственного сына.

Теперь скажите мне, какой добрый, нравственный пример мог видеть мальчик в семейной жизни своих родителей? Прежде он часто, бывало, спрашивал у своей нежной матери: скоро ли приедет папаша? На что мать ему отвечала, что его папаша негодяй и что если он и приедет когда-нибудь, то она его в дом не пустит. Хорошо было слушать сыну от матери подобные слова! Впрочем, в быту богатых людей подобная семейная распря не редкость, следовательно, и на молодого графа это не делало большого впечатления.

Домашнее воспитание графа кончилось; надобно было выбрать приличное его породе учебное заведе-

ние, в которое можно бы было послать его для окончательного образования.

По этому случаю дан был большой банкет; а после банкета, на другой день, приглашены были гости на домашний сейм, на котором было рассуждаемо, куда именно послать графа для окончательного образования.

Перебрали все лицеи, все университеты, начиная с Геттингенского, и, наконец, общим голосом решили послать графа в Вильно и приготовить из него политико-эконома.

После этого важного события, спустя месяц, дала графиня еще большой банкет, на котором молодой граф отличился в мазурке. Через несколько дней после банкета уехал он в огромном дорожном берлине в Вильно.

Я почувствовал себя свободнее: он стоял перегородкой между мною и панной Магдаленой; мне нельзя было при нем сказать ей простого слова, чтобы не подвергнуть ее, бедную, насмешкам злого мальчика.

Наконец, он уехал и мы остались одни, и действительно одни. Во всем доме не было никого, с кем бы можно было так дружески и так откровенно поговорить, как мы с нею разговаривали.

Старая графиня едва замечала ее присутствие в своем доме. Ее это грубое невнимание тревожило, она несколько раз собиралась оставить графиню, но где она, бедная, могла приклонить свою одинокую голову? Она готова была выйти замуж за самого грубого посессора, чтобы только избавиться ей графини. Но грубые посессоры на бедных девушках не женятся, а она, бедная, совершенно ничего не имела, кроме чистого, благородного сердца!

Открывая свои задушевные мысли, она мне говорила, что останется в этом доме только до тех [пор], пока я не вырасту и не буду в силах располагать собою; тогда она отправится в Варшаву или в Вильно и примет чин смиренной кармелитки¹².

Мир твоей доброй, твоей праведной душе!

Грустно мне было выслушивать ее задушевную исповедь, ее непорочные предположения. Бывало, проси-

дим за полночь, наговоримся, наплачемся и расстанемся до другого вечера почти счастливыми. Часто свои грустные проекты она кончала симфонией Себастиана Баха¹³ на домашнем органе. Это была святая Цецилия!¹⁴ И я, затаив дыхание, слушал ее и молился на нее. Это были самые чистые, самые счастливые минуты моей печальной жизни.

Меня засадили в экономическую контору писать. И тут-то я почувствовал свою горькую зависимость.

Тут я впервые услышал слово крепостной.

Горькое! проклятое слово! И день тот проклят, в который я его услышал в первый раз!

Но делать было нечего! Нужно было покориться судьбе! Тяжкое для меня настало время!

Одна только незабвенная панна Магдалена могла укрощать и успокаивать меня. Я ей одной обязан, что не наложил на себя грешные руки! А может быть, было бы и лучше? Нет! Как ни печальна, как ни тяжела наша жизнь, но мы не вправе ее прекратить. Пускай тот ее от нас отнимет, кто даровал нам ее.

Я продолжал писать в конторе, а по вечерам посещал панну Магдалену.

О чем мы с ней ни говорили! О чем мы с ней ни мечтали! И все-то наши мечты и предположения разошлись, как дым по светлому небу! Она мне сообщала книги порядочного содержания, какие только могла открыть в домашней библиотеке графини, потому что вся почти библиотека была составлена из романов.

В конторе писаря смеялись надо мною, называя меня панычом, белоручкой, немцем, потому что я читал не русские и не польские книги.

Однажды во время жнив, или, по-здешнему, страды, послали меня с лановым на лан переписать жниц и копны нажатой пшеницы.

Проходя мимо жниц, я увидел женщину, как будто мне знакомую, и около нее, между снопами и прикрытая зеленым холодком (спелая спаржа), спала девочка лет десяти, украшенная полевыми цветами; около нее в тени тыква (кувшин) с водою и торба с хлебом.

Я долго любовался прекрасным личиком спящего дитяти.

Налюбовавшись этою скромною, прекрасною картиною, я спросил у почти знакомой мне женщины, как ее имя, чтобы записать в реестр жниц. Она сказала мне свое имя. Имя и голос мне показался чрезвычайно знакомым.

Я спросил ее, не дочь ли она, Домаха, такой-то вдовы?

Она отвечала, что она самая.

— А это твое дитя?

Она отвечала:— Мое!

Я расспросил ее о ее домашнем житье-бытье. Напомнил ей тот вечер, когда она мне, голодному беглецу, вынесла кусок хлеба.

Она вспомнила, узнала меня и обрадовалась, как родному брату, и просила меня навестить ее в старой материной хате.

В следующее же воскресенье после обедни посетил я ее в знакомой мне хате и из грустного ее рассказа узнал я вот что. Старушка-вдова, моя благодетельница, давно уже умерла, а после смерти матери она вышла замуж; муж вскоре бежал на Бессарабию, бросил ее одну с маленькою дытыною. Рассказала она мне все это так просто, так трогательно, как только рассказывается самая печальная истина.

Просила она меня остаться у нее обедать, чем бог послал. Я остался; и она, бедная, почти плакала, что не было у нее и пятака на четвертку горилки. Бедная!

Во всей хате ее была видна скудость и нищета. Но при всем том все было чисто и опрятно. Старая хата была тщательно вымазана, хотя и желтой глиной,— белую глину нужно купить или на хлеб выменять, а за желтой стоит только сходить на берег Случи.

Вся бедная домашняя утварь была в чистоте и порядке. Рубахи, как на ней самой, так и на дочери, были чистые, белые. Все у нее было в таком порядке, что и самая нищета показалась мне не так отвратительною, как я себе ее воображал.

Простившись с нею, я пошел домой, обещаясь навещать ее каждое воскресенье.

По дороге зашел я в свою старую пустку. Печальный вид! Окна выбиты, двери выломаны, дорожки поросли бурьяном, а в провалившейся печи сова гнездо себе свила! Посмотрел я на это запустение, и мне стало грустно, я страшно почувствовал свое одиночество.

Мне пришло в голову возобновить свою пустку и поселиться в ней. Но что я буду делать в ней один? Жениться? На ком же я женюсь? На крестьянке? Как же я с нею буду жить?

И, подумавши, решился я возобновить свою пустку и поселить в ней мою ново-старую знакомку — с дочерью. Девочке в это время было лет десять, не более, мне было семнадцать лет. Воспитаю ее по-своему и женюсь на ней. Подумал, подумал и пошел я в свою контору.

Дорогой разыгралось мое молодое воображение; я представлял себе все счастье, всю прелесть своей будущей семейной жизни.

Вечеру сообщил я свой план панне Магдалене; она была в восторге, плакала, целовала мои руки, называла меня своим сыном, своим родным братом, говорила, что я делаю доброе христианское дело, укрывая от нищеты и горя вдову и сироту. В заключение обещалась помогать мне всем — и советами, и деньгами, и научить мою будущую жену и грамоте, и музыке, и хозяйству.

На другой день я принялся за дело; выпросил себе свободы на несколько дней, нанял мастеров, и началось возобновление моего детского жилища.

К хате вместо коморы прибавил я светлицу; сад огородил новым частоколом, около хаты оставил место для цветника; не забыл также сарая для коровы и прочих домашних животных; словом, устроил все, что необходимо для крестьянского быта.

И когда все это было готово, пошел я просить свою соседку на новоселье.

Заплакала она, бедная, когда сказал я ей, что все это устроено для нее и ее маленькой Марыси.

В воскресенье после обеда пошли мы навестить их с панною Магдаленою, и как же она, бедная, была рада, что ею и панна не погнушалась.

Так как хата моя была недалеко от панского двора,

то мы с панною Магдаленою каждый день посещали нашу воспитанницу. Панна Магдалена учила ее читать по-польски, а я по-русски. Мне не хотелось ее больше ничему учить, я все как-то не верил в свое и ее счастье.

Быстро мчались мои молодые годы! Быстро выросла Марыся, и выросла, и стала красавицей, настоящей волынянкой-красавицей. Боже мой! Я, бывало, смотрю на нее и не насмотрюся! А бывало, когда в саду вечером запоет под гитару нашу заунывно-мелодическую песню! В это время я плакал и молился богу! И какая же умная-разумная была! Панна Магдалена, бывало, не налюбуется ею, не надивуется ее понятливости. Я был счастлив, она меня любила и, следовательно, была тоже счастлива. Насущные дела мои тоже двигались вперед. Я из простого писаря сделался конторщиком, а по смерти пана Кошульки и управляющим именьями графини.

Было предположено, чтобы после праздника рождества христового обвенчаться нам с Марысею. Панна Магдалена была прошена посаженной матерью с моей стороны, а посаженным отцом почтенный сосед наш ты т а р ь (церковный староста). Все было готово, но не сбылось!

Кончивши курс в университете, бог его знает, по какому факультету, граф не захал даже повидаться со старухою матерью, отправился за границу (для усовершенствования себя в некоторых науках,— так он писал по крайней [мере] матери). Разумеется, старая графиня была в восторге от такого похвального рвення к наукам.

Нежная мать посылала ему исправно деньги и в каждом письме просила его, чтобы он скорее усовершенствовался в науках и ехал бы домой, потому что она уже старуха, близкая ко гробу, то хоть бы посмотреть на него перед смертию.

Но добрый сын не внимал мольбам старой матери. Она, бедная, постоянно плакала,— она его, наконец, полюбила и не знала, как заманить его к себе; а я, видя ее постоянно унылою и действительно близкою ко гробу, на погибель свою посоветовал ей не посылать ему денег, то он поневоле приедет. Старуха так и сде-

лала. Через несколько месяцев нежный сынок возвратился к старой умирающей матери.

Возвратился он из-за границы с французом-камердинером и двумя бульдогами. И милой мамá своей привез бронзовый браслет и анекдот о том, как он убил на дуэли (не зная впрочем) родного отца своего, за что старуха мать наделила его самыми судорожными поцелуями.

Это было в сентябре месяце; мне нужно было в подольское имение графини, чтобы отправить пшеницу в Одессу и самому за нею вслед отправиться, чтобы продать ее. И я поехал.

Я поехал из Балты в Одессу на почтовых. Это было во время полнолуния. Я проехал две станции от Балты, и меня застала ночь в степи. Ночь лунная, светлая, тихая, очаровательная ночь! В степи ничто не шелохнется, ни малейшего звука, ни малейшего движения; только когда проедешь мимо могилы, то на могиле будто ты р-с а пошевелится, и тебе сделается чего-то страшно.

О могилы! могилы! высокие могилы! Сколько возвышенных, прекрасных идей переливалось в моей молодой душе, глядя на вас, темные, немые памятники минувшей народной славы и бесславия! А еще, бывало, когда ночью далеко, далеко в степи чабан заиграет на сопилке (свирели) свою однотонную грустную мелодию.

О горе мое! что мне нельзя переселиться в тот чудный край и послушать на старости родную унылую песню!

Бывало, я часто остановлю ямщика на дороге и слушаю чабана, слушаю, слушаю и не наслушаюся. Ямщик, бедный, продрогнет от ночной росы и бездействия, а я сажу себе на телеге и слушаю, долго слушаю, слушаю, пока не заплачу.

— Пошел, гонец! пошел живее! Карбованец на пиво! — И гонец встряхнет вожжами, махнет арапником, и кони полетели, колокольчик завизжал, заплакал, и вот опять в степи землянка, — это почтовая станция.

Мне будто легче, но ночевать не хочется, я требую лошадей и еду. На другом переезде то же, что и на

первом, та же широкая степь и те же темные могилы, тот же чабан, и та же заунывная песня, и та же прекрасная полная луна!

Приехал я в Одессу. Дождался чумаков своих, продал пшеницу и с мешком дукатов возвратился домой.

Горе меня, горе горькое дома ожидало!

Теперь, друже мой, теперь, на старости, после тяжелых испытаний, я не могу вспоминать об этом равнодушно.

Отдавая графине отчет в своей поездке в Одессу и полученные мною за пшеницу деньги, я увидел мелькнувшую в другой комнате Марысю в голубом немецком платье (она обыкновенно носила наше национальное платье). Меня это в сердце кольнуло.

От графини я побежал домой. Меня встретила в слезах мать Марыси.

— Что случилось? — спрашиваю я.

— Боже ж мой, боже милостивый!

— Что случилось?

— Доле моя! Моя проклятая доле!

Я долго стоял, не понимая ее. А она все плакала, проклинала свою долю и целовала мои ноги. Когда она пришла в себя, я спросил ее: — Что случилось? — Она сквозь слезы едва проговорила:

— Графиня Марысю твою взяла в покоивки (в горничные)!

— Что ж, тут еще большого горя нет, я выпрошу ее у графини назад додому.

— Большое! Большое горе! — простонала она. — Молодой... молодой граф! Будь он проклят со всем его родом и племенем!

— Что же такое? Что граф?

— Не спрашивай, не говори со мной! Иди к нему, пускай он сам тебе все расскажет.

И она снова стала плакать и рвать на себе волосы, со стоном произнося имя Марыси.

Я, наконец, понял, что бедная моя Марыся сделалась жертвою гнусного, развращенного сластолюбца.

Боже мой великий! Зачем ты меня не поразил тогда своим святым громом! Сколько бы греха тогда пронеслося мимо моей грешной души!

Его судьбы неисповедимы. Он иначе судил меня!

Я, не помня себя, побежал во двор. Вошел в кабинет графа и увидел у ног его плачущую свою Марысю. Я бросился на него, и только два огромные гайдука спасли его от смерти.

Меня связали, и вынесли в погреб, и приставили сторожей.

Не помню, долго ли я находился связанным. Но когда пришел в себя, то я почувствовал, что лежу на соломе в сыром и темном погребе; нащупал я около себя ведро воды и кусок хлеба. Но мне пить и есть не хотелось. Я чувствовал во всем теле слабость, прошедшее казалось мне каким-то страшным сном.

Через несколько дней силы мои восстановились. Добрая панна Магдалена присылала мне тайком чаю и белого хлеба. Но сама не решалась навестить меня.

Я пробовал несколько раз сломать дверь и уйти, но мне сторожа снаружи грозили веревкою; веревки я не боялся, да дверь-то была железная и силой нельзя было взять.

Сидел я в погребе до тех пор, пока граф, укравши у матери деньги, опять уехал за границу.

Меня из погреба выпустили ночью, и я, как дикий зверь, бросился за ворота. Это было зимою, и я без шапки побежал куда глаза глядят.

Вскоре я увидел в поле огонек и пошел на него. То была корчма. Я почувствовал холод и побежал к корчме.

Вошел в корчму и вижу — за столом сидят два широкоплечих мужика, и перед ними на столе стоит медная кварта с водкой. Я поздоровался, они мне молча кивнули головами. Я сел за стол и спросил себе кварту водки. Жид узнал меня и, подавая мне водку, с каким-то страхом показал мне глазами на моих соседей.

Я выпил стакан водки, потом другой, предложил моим соседям, они не отказались. Завел я с ними разговор, и они на вопрос мой, что они за люди, сказали мне, что были в Одессе на заработках и теперь возвращаются домой.

Я почувствовал сладость хмеля и спросил себе еще кварту водки, они спросили две кварталы.

Вскоре стали они надо мной подшучивать, что я не выпил еще двух кварт водки, а уже пьян. Я сначала отшучивался, а потом пустился в откровенности и рассказал им свою историю с самого детства, а в заключение заплакал. Один из них сказал мне, смеясь:

— Э, э! Земляче! Бый лыхом об землю, як швець мокрою халявою об лаву. Слезами, земляче, ничего не возьмешь. Мы тоже, как видишь, были люди бедные, обиженные, загнанные, ограбленные! А теперь, слава милосердому богу, пануем! Да еще как пануем! Только глянь да посмотри! Ударь горем о землю! Пойдем с нами, с нами, вольными козаками, право слово, не будешь каяться! Мы живем вольно, весело! Палаты наши — зеленая дуброва! майданы наши — степь широкая, привольная! Мы днем спим в своих зеленых палатах, а ночью гуляем и топчем ногами аксамит и золото! Что ж, товарищ, так? По рукам, что ли?

— Постой, дайте подумаю,— сказал я.

— А по-моему, земляче, и стоять и думать нечего. Пускай жиды да паны думают, как им подальше дукаты прятать, накраденные у бедных мужиков! Не думай, а выпей-ка лучше вот этой думы.

И он налил мне стакан водки. Я выпил и протянул им руку.

— Вот это так! Вот это по-нашему! А то думать! А что выдумаешь? Ей-богу, ничего. Чарки горилки не выдумаешь, право!

— Гей, свыняче ухо! — закричал другой. — Давай вина! Давай меду! Давай пива! Горилки не хочу! Да слушай, свине! чтоб было порося жареное! Я индыка и петуха терпеть не могу. Слышишь! Живо!

Бедный жидок задрожал и пошел с фонарем и поставцом в погреб.

Мы просидели за полночь. Они мне заплатили откровенностью за откровенность. Из рассказов их я узнал, что один из них был бежавший на Бассарабию отец моей Марыси. А другой тоже был беглый крепостной крестьянин, и промышляют они с товариством честным лыцарским промыслом, т. е. разбоем.

Перед рассветом они пошли в стодолу спать. Я хотя был сильно пьян, но заснуть не мог. Мне не давал сомкнуть глаза ненавистный граф. Я тихонько встал, вышел из стодолы и пошел в село. Подошел к своей хате, обошел ее кругом. Горько мне было. Посмотрел я, посмотрел на хату; машинально вырубил огня и сунул трут в соломенную крышу. Через минуту она вспыхнула. Я остановился на улице, посмотрел, как горит мое добро, и пошел обратно в корчму, к своим новым товарищам.

Начало светать, когда я подошел к корчме. Разбудил товарищей, они были совершенно трезвы. Я был тоже почти трезв. Они выпили еще кварту водки, но я пить не мог. Взяли приготовленный жидом мешок с жареными курами и гусями и пошли молча через поле в дуброву.

И я пошел за ними. Долго я оглядывался на свое родное село, его уже не видно было, только слышен был какой-то гул и видно было зарево от моей бедной хаты.

Мы пришли на хутор, нашли там одну старуху, топившую печь. Товарищи мои спросили у нее:

— Что, не было Марка?

Старуха отвечала:

— Не было.

— Ну, вари обедать, а ты, приятелю, ложись да отдохни.

Я лег и заснул. Мне снился разбойничий притон. С испугу я проснулся и увидел, что я действительно нахожусь в разбойничьем притоне.

Прошел один только месяц, и я сделался настоящим разбойником. Правда, я никого не убивал, зато немилосердно грабил богатых жидов и шляхту, и всякого, кто проезжал в богатом экипаже. И, начитавшись романов о великодушных рыцарях-разбойниках, мне вздумалось подражать им, т. е. брать у богатых и отдавать бедным. Я так и делал.

Прошел еще месяц, и меня единогласно провозгласили атаманом. Шайка моя быстро увеличивалась, так что по прошествии четырех месяцев у меня уже было более сотни удалых голов; с такою силой я брал уже

смелость нападать открыто на господские дома, и не без успеха, потому что крестьяне изменяли своим тиранам.

Рыцарскими подвигами своими я снискал любовь крестьян на Подолии и Волини. Слава о моем бескорыстии быстро распространялась между ними, а шайка моя еще быстрее вырастала, так что через полгода у меня считалось около трехсот товарищей. Я своей армии никогда не держал в одном месте, потому что прокормить ее было трудно и потому, чтобы полицию сбить с толку насчет моего местопребывания. Полиции я, правда, не очень трусил, потому что крестьяне меня любили и в случае опасности укрывали.

Я иногда скоплял свою армию в одно место, не для того, чтобы сделать нападение на неприятеля, а для того, чтобы попировать неделю-другую вместе. Для этого у меня в разных лесах были погреба или забытые древние пещеры, которые были известны только моим эсаулам и весьма немногим испытанным товарищам.

В погребах хранилось вино, съестные и прочие припасы: оружие, свинец, порох и деньги.

Такой погреб был у меня один близ Звенигородки, в так называемом Братерском лесу. Этот погреб был вырыт, как говорит народное предание, гайдамаками в 1768 году. Другой такой же погреб — между Заславлем и Острогом, тоже, кажется, гайдамацкой работы. А третий, самый большой — около Киева, за оградой Китаевской пустыни¹⁵ — в лесу же. Это были огромные пещеры, вырытые, как кажется, во время Андрея Боголюбского¹⁶. На горе, в которой вырыты пещеры, заметны и до сих пор следы земляных укреплений, может быть, ограды его загородного терема.

В этих-то пещерах пировал я по несколько дней со всем своим товариществом в виду Китаевской обители, а святые отцы и не подозревали этого.

Освещал я их белыми восковыми свечами, тут же, в Китаевской обители, приготовляемыми для Киево-Печерской лавры. Устилал я эти мрачные пещеры дорогими коврами, шалями и аксамитом. Шумно, весело было!

Иногда переселишься мыслью в тот край, вспом-

нишь бывалое и как будто помолодеешь! Господи, прости мое согрешение!

И рассказчик набожно перекрестился.

Попирававши несколько дней, я распускал свою команду в разные стороны, назначая каждому отряду или прежнего утверждая эсаула, с наказом, чтобы все эсаулы назывались моим именем и прозвищем. Сам же я переряжался мужиком или паном и отправлялся в Киев или другой какой город.

Словом, я вел себя, как знаменитый Ринальдо Ринальдини¹⁷.

Случалось часто мне бывать на берегах Случи, близ моего родного села, но я в село зайти боялся. Я не боялся измены со стороны крестьян, они были все мною наделены, кто деньгами, а кто натурою, как-то: волами, лошадьми и прочим. Я не боялся их, но мне страшно было встретить Марысю или панну Магдалену.

Бывало, целые ночи просиживал я на берегу моей милой Случи, смотря на угасавшие огоньки в смиренных хатах мирных, покорных своей судьбе моих братьев. Бывало, плакал я и каялся, но я слишком далеко зашел, чтобы можно было назад воротиться без помощи искреннего друга. Я несколько раз покушался навестить панну Магдалену,— и всякий раз раздумывал: мне стыдно, мне страшно было ее видеть! Так боится дьявол встретить чистого ангела! В это время я был самый жалкий, самый несчастный человек!

Походивши около села, полюбовавшись на светлые воды Случи, я удалялся в лес, как волк, боясь встречи человека. В лесу находил я одну из своих шаек, увешивал широкие ветви столетнего дуба дорогим ковром и бархатом и принимался пить со своими преступными товарищами.

Я думал окунуть свою грязную совесть в дорогом вине, но не тут-то было! Она выплывала из вина и бешеной кошкой впивалась мне в сердце!

В эти страшные минуты являлись мне, как будто наяву, панна Магдалена и моя прекрасная бракоокраденная невеста. Они являлись мне, как два ангела, и говорили со мной так тихо, сладко, так приятно, что я приходил в себя совершенно счастливым человеком.

Однажды я решился написать письмо, и в письме своем просил я у них свидания наедине. Местом свидания я назначил пустую хатку в саду у нашего тытаря, предполагаемого моего посаженного отца. Я решился оставить свое проклятое ремесло и готов был сделаться хоть каторжником, только бы очистить свою грязную совесть.

Я тщательно скрывал свое намерение от товарищей, да и к чему бы повела откровенность? К грубым насмешкам, и больше ничего!

С трепетом дожидал я дня, назначенного мною для свидания с панною Магдаленою.

В это время шлялся я со своим малым отрядом около Луцка.

Однажды из лесу заметили мы: большой дорожный берлин катился в пыли по столбовой дороге.

Я скомандовал своим удалцам: Из я ру на до л и ну! т. е. выйти на дорогу и остановить берлин. Сказано — сделано. Берлин остановили. Он мне издали показался знакомым, и, пока я подбежал к нему, чтобы увериться, не ошибаюсь ли я, чемоданы от берлина были уже отрезаны и сам хозяин был донага раздет и дрожал за свою жизнь.

И кого же я узнал в этом нагом человеке?

Своего злейшего врага! Развратного сластолюбца, графа Болеслава!

Признаюсь, мне было смешно и больно смотреть на него. Он меня тоже узнал и затрепетал всем телом.

Я отвернулся от него и приказал привязать чемоданы, развязать и одеть графа и его камердинера-француза. И дал еще червонец ямщику на водку и отпустил их с богом, не тронувши ни волоска. Граф со страха не мог проговорить слова, а француз, усевшись на козлах, вежливо приподнял шляпу и сказал:— *Merci, monsieur.*

После этого происшествия мне казалось, что я смело могу идти на свидание с панною Магдаленою. Я мечтал уже о ее тихих, сладких речах, о ее прекрасном, милосердом взгляде. Я воображал себя покаявшимся, безмолвным, покорным тружеником где-нибудь в глу-

хом монастыре или в далекой ссылке, с очищенной совестью. Я был счастлив!

Но бог судил продлить мои преступления.

На дороге я сильно заболел. Меня привезли товарищи на хутор в лесу близ Дубно, к старухе знахарке, и там оставили. Старуха меня кормила и лечила, как знала.

Старшинство свое я передал товарищу, Прохору Кичатому, человеку физически сильному и не разбойничьего сердца.

С октября месяца я пролежал до апреля, почти не двигаясь; в конце апреля я мог встать на ноги и перейти в другой угол хаты.

На фоминой неделе я уже сидел под хатою и мог любоваться тихими меланхолическими прелестями оживающей природы.

Это был хутор самый уединенный, так что, кажется, кроме моей лекарки и ее старого мужа, никто и не подозревал существования их хутора.

Я начал выходить почти каждый день, с позволения моей лекарки, посидеть несколько часов под хатой.

Сижу, бывало, себе и любуюсь на прозрачный небольшой ставок, увенчанный зеленым очеретом и греблею, усаженною в два ряда старыми вербами, пустившими свои ветви в прозрачную воду. А ниже гребли старая, как и ее хозяин, мельница об одном колесе, с сладко шепчущими лотоками. На поверхности пруда плавают гуси и утки, каждая в двух экземплярах: одна вверх головою, а другая вниз; издали кажется, что и в воде утка, и на воде утка. На берегу, около гребли, маленький челнок, опрокинутый вверх дном, а под навесом старой мельницы развешена рыбацья сеть. А кругом хутора — дубовый лес непроходимый, только в одном месте вроде просеки, как будто нарочно для полноты пейзажа. И в эту просеку далеко на горизонте синеют, как огромные бастионы, отрасли Карпатских гор.

Я оживал, глядя на эту прекрасную волшебницу природу.

По временам навещал меня Прохор Кичатый, привозил всегда подарок моей лекарке, а мне разных

лакомств, говорил мне, что товарищи без меня со-
скутились, что заработков никаких нету, что он
чуть было не попался в руки полиции в Кременце
и что меня товарищи ждут, как самого бога с
неба.

Но у меня было другое на уме. Я думал, как бы
только собраться с силами и пуститься прямо в Почаев
помолиться святой заступнице почаевской, потом про-
браться на берега Случи, повидаться с панною Магда-
леною, а потом уже — куда бог пошлет, только не к
товарищам.

В конце мая я мог уже, с помощью посоха, пу-
ститься в дорогу.

Оделся я в старое крестьянское платье, взял котом-
ку на плечи, посох в руки и, по старой привычке, писто-
лет за пазуху, поблагодарил, чем мог, моих добрых
хозяев, помолился и вышел из хаты. Старик вывел меня
на кременецкую дорогу, и я, простившись еще раз со
стариком, пошел по дороге к Кременцу, думая сначала
зайти в Почаев, а потом уже итти на свидание с панною
Магдаленою.

Возвращаясь из Почаева, я зашел в Кременец по-
смотреть на королеву Бону¹⁸ и на воздвигавшие-
ся в то время палаты, или кляштор, для Кременецкого
лица¹⁹.

Мир праху твоему, благородный Чацкий²⁰. Ты
любил мир и просвещение! Ты любил человека, как
нам Христос его любить заповедал!

Из Кременца пошел я через село Вербы в Дубно,
а из Дубна на Острог, Корец и на Новгород-Волын-
ский, на берега моей родной, моей прекрасной Случи.

Тут я отдохнул и на другой день к вечеру был уже
в виду своего села.

Я думал было переночевать в дуброве и поутру уже
дать знать панне Магдалене, что я здесь, — но как я
дам знать? У меня не было ни бумаги, ни чернил, ни
пера.

Подумавши, я решился итти в знакомую корчму,
написать там записку и послать жида к панне Магда-
лене; притом же меня и голод сильно одолевал. Я по-
шел в корчму.

Жид не показал виду, что узнал меня. Я спросил четвертку водки, кусок хлеба и т а р а н ь. Утоливши немного голод, я спросил у жида лоскуток бумаги, перо и чернила, написал записку и послал жида на панский двор.

В ожидании ответа я прилег было на лавке отдохнуть и уже начал дремать.

Вдруг двери отворились, и в корчму вбежал граф с толпою вооруженных мужиков.

— Держите! Вяжите его! — кричал он.

Я вскочил с лавки, вынул пистолет, ни на кого не целясь, спустил курок, и граф повалился на пол.

Прости мне, милосердый господи, сей грех невольный! Я не хотел его смерти. Он был у меня в руках, и я отпустил его.

Сам сатана направил мою руку, и я сделался невольным убийцею. Прославши разбойником во всем крае, это была первая и последняя жертва моих рук. Но это не оправдание. Я все-таки был разбойником и посягателем на чужое добро.

Мужики, зная меня лично и зная мою разбойничью славу, которая была сопряжена со слухами, будто я колдун, не хотели вязать меня, но я бросил пистолет в голову жиду-предателю и в сопровождении мужиков пошел на панский двор.

На дворе уже меня связали по приказанию графини и заперли в знакомый уже мне погреб. Но уже не дали мне ни хлеба, ни воды, и панна Магдалена не присылала мне ни чаю, ни белого хлеба, как это делала прежде.— И она! — так я думал тогда,— и она, моя добрая! моя единая! и она оставила меня!

Я пролежал в погребе связанный трое суток; это я знаю потому, что три раза показывался дневной свет сверху, в душник. Мне не подавали ни хлеба, ни воды, да мне и не нужно было ни того, ни другого; меня кормило мое сердечное горе и поили слезы, а мучила и терзала совесть. Я почувствовал все свои преступления разом. Я был хищник, грабитель и, наконец, убийца! О, мое горе в ту бесконечную трехсуточную ночь было неизмеримо! Мне представлялися все мои преступления

так живо, так страшно выразительно, что я закрывал глаза руками. Иногда, и то ненадолго, картина переменялась. И мне представлялось мое детство: пустка, ночь в поле, вой волков, л а н о в ы й, пан Кошулька и моя благородная панна Магдалена, а за нею, как светлый божественный ангел, прекрасная моя, непорочная Марыся... Боже мой! боже мой! вскую мя еси оставил!

Картина переменялась. И я видел погубившего меня врага моего. Кругом меня все в огне горело, и я впадал в бешенство: кричал, плакал и грыз каменный пол погребца.

Мучения мои были страшны, молитвы и всякие другие добрые помыслы покинули меня на жертву лютым демонам.

Припадки бешенства повторялись со мною ежедневно. Однажды я пришел в себя и почувствовал жажду, подполз к дверям (я ходить не мог, потому что у меня были связаны руки и ноги), стал кричать, просить воды. Никто не отзывался на мой крик. Жажда меня терзала. Я рванулся, и веревки на руках подались; я еще раз, веревки чувствительно ослабли. Кое-как я освободил руки и потом ноги, прошелся ощупью по своей темнице, и мне стало будто легче. Подхожу к душнику, смотрю, свету не видно: должно быть, ночь. Теперь все спят; неужели ж и сторожа мои заснули? Подхожу к дверям, стучу, зову, никто не откликается. Через минуту, прислушиваюсь, на дворе слышу легкий шум и голоса людей: вероятно, меня услышали. Кричу опять, никто не отвечает, а шум на дворе все более и более увеличивается. Оглядываюсь, из душника красный свет пробился в погреб, и слышу голоса:— Пожар! Пожар!

Тут я потерял всякую надежду выпросить воды. Кто теперь меня услышит? А жажда сильнее и сильнее меня стала мучить. Я пробовал лизать сырые стены, но мне легче не было. Я знал, что в погребе есть вино, но оно было заперто другою железною дверью. Я выл, как зверь, от страдания, мне представлялась со всеми ужасами голодная смерть. Слушаю, дверь отворяют и зовут меня по имени. Я бросился к двери, дверь растворилась,

и я увидел на пороге своих товарищей. Первое мое слово было: Воды! — Принесли мне воды, я напился, оглядываюсь вокруг себя, и страшно выговорить, что я увидел.

На дворе, при свете пожара, соучастники мои режут, и бьют, и живых в огонь бросают несчастных гостей графини.

О, лучше не родиться, чем быть свидетелем и причиною такого ужаса!

Пока меня держали в погребе, крестьяне дали знать моим товарищам о случившемся. И они прилетели на выручку. Ужасная была выручка!

К графине собралось много гостей с детьми и женами по случаю похорон сына. Но ему бог не судил в земле лежать — труп его грешный сгорел на пышном катафалке.

Всё уже было готово к похоронам, уже ксендзы начали панихиду петь, как тут мои разбойники налетели, как коршуны, зажгли великолепные палаты, и началось убийство. Грудных младенцев не пощадили. Варвары!

А крестьяне собрались на двор как бы на потешное зрелище. Ни один и пальцем не пошевелил; только хохотали, когда разбойники бросали со второго этажа толстого пана или пани. Грубые, жестокосердые люди!

А кто их огрубил? Кто ожесточил? Вы сами, жестокие, несытые паны!

Крестьяне, впрочем, спасли панну Магдалену за ее ангельскую доброту и за то, что она по воскресеньям ходила в нашу церковь. Спасли и мою бедную Марысю, потому что она была не панна.

Я отыскивал их в селе, мне хотелось еще хоть раз взглянуть на них, бедных. Но крестьяне не показали мне их убежища, боясь, чтобы я не убил невольного-преступную Марысю.

Бедные, они не верили, что я чистосердечно простил ее.

И мне не удалось их тогда увидеть.

При свете пожара товарищи увлекли меня с собою по направлению к корчме, где я в первый раз встретил

разбойников и где совершил убийство! Товарищи напились вина, зажгли корчму и жида-предателя живого в огонь бросили.

Мы ушли ночевать в дуброву.

К удивлению моему, я не видел у разбойников никакой добычи, следовательно, все это было сделано только для моей свободы! О бедная моя свобода! Убийством и пожаром ты куплена была!

Я не принимал никакого участия в делах преступного братства, я почти все хворал, и вскоре опять ко мне болезнь прежняя возвратилась; случилось это недалеко от моей родины, то я и просил товарищей перенести меня в село и положить в тытаревой хатке, что в саду, а там, что бог даст. Долго они не соглашались, боясь преследования полиции, но я убедил их в моей безопасности. Я знал наверное, что меня тытаре не выдаст. А если б и выдал, то я не боялся правосудия и казни, потому что я и без того казнилса ежеминутно. Мне страшно надоела зверям подобная разбойничья жизнь.

Ночью перенесли меня товарищи в назначенную мною хатку в тытаревом саду. Положили меня в хатке и дали знать хозяину, что у него есть гость недужий.

Поутру пришел ко мне сам хозяин. Принес мне воды, хлеба и кипяченого молока с шалфеем; с участием расспросил, что у меня болит, и напоил меня горячим молоком. Потом принес мне постель и ввечеру привел знахаря. Прекрасное, благородное лицо знахаря, с белою окладистой бородою, внушило мне доверие, но лекарства его все-таки мне не помогали.

Хозяин и знахарь просиживали со мною целые дни, но женщин я не видал у себя в хате, вероятно, благо-разумный хозяин не говорил своей жене про меня, не полагаясь на женскую скромность.

Мне становилось хуже и хуже, так что я просил к себе священника позвать.

Привели ко мне ночью священника, и я узнал того самого отца Никифора, который когда-то обещал сделать из меня человека. Он был уже седой, но бодрый старец. Удивился простодушный старик, когда я

ему напомнил того бедного Кирилка-сироту, взятого им давно когда-то у бедной вдовы Дорошихи.

После исповеди и принятия святых таин я почувствовал себя лучше. Святое, великое дело религия для человека, тем более для такого, как я, грешника!

День ото дня мне становилось лучше. Добрый хозяин мой как ни старался скрыть мое пребывание в его доме, однако тайна была открыта.

Поздно вечером я сидел у окна и слушал пение соловья в саду, вдыхая в себя запах цветущих черешен и вишен.

За деревьями, мне показалось, что-то будто бы мелькнуло черное; смотрю пристальнее — человеческая фигура тихо подходит к хате. Ближе — вижу, женщина в черном платье, только не крестьянского покроя. Подходит к самому окну, и кого же я узнал? Мою единую, мою незабвенную панну Магдалену.

Она вошла тихонько в хату.

Мы судорожно обнялись и поцеловались и долго держали друг друга за руки, не говоря ни слова.

Потом, как сестра, как самая нежная, нежная любовница, она обвила меня своими руками и горько, горько зарыдала.

Не долго продолжалось наше свидание, потому что я был еще слаб; она это поняла и вскоре простилась со мною, обещаясь навестить меня на другой день.

Она ради моей бедной Марыси осталась с ней жить в селе, потому что Марыся, как подданка, не могла следовать за нею в монастырь. Случайно узнала она о моем пребывании у тытаря. Она искала для себя квартиру в селе, и ей рекомендовала дьяконша тытареву хатку в саду как самое уютное и дешевое убежище.

Она днем пришла посмотреть хатку. Хозяева мои были в поле на работе, а то бы они ее не пустили в сад.

Я в то время спал, когда она приходила в хатку. Она меня видела спящего, узнала и не разбудила, а посетила вечером.

Свидания наши продолжались ежедневно, когда хозяева мои уходили в поле на работу. И, боже мой, о чем мы с ней не переговорили! Какие возвышенные, благо-

родные помыслы и чувства она исповедала передо мною!

Она рассказала мне, как она по получении моего письма, в котором я просил у нее свидания, приходила каждый вечер в продолжение лета и осени в эту самую хатку и дожидала меня иногда до рассвета. И какие чистые христианские средства в то время она придумывала к моему обращению. Мы исповедались друг перед другом, говорили обо всем, что было близкого, сердечного, но о Марысе не было сказано ни слова; она как бы боялась напомнить мне о ней, а я тоже боялся услышать ее имя из непорочных уст панны Магдалены.

А Марыся моя бедная приходила каждый раз с панною Магдаленою и оставалась в саду, не смея зайти ко мне в хату.

Однажды я собрался с духом и спросил:

— Что моя бедная Марыся? Жива ли она?

— Жива. Но не скажу здорова,— отвечала панна Магдалена.

— Что же с нею? — спросил я с трепетом.

— Она страдает! Сердечным недугом страдает!

— Можно ли мне ее увидеть? Приведите ее ко мне, пускай я хотя взгляну на нее.

Панна Магдалена вышла из хаты и через минуту возвратилась, ведя за собою Марысю. Я не узнал ее, она страшно переменилась. Бледная, худая и с каким-то лихорадочным блеском в глазах.

Долго она стояла, как окаменелая, наконец, едва внятно проговорила:

— Прости!.. Прости меня!

И рыдая упала к ногам моим.

Я был слишком потрясен и не мог проговорить ей ни слова.

Безмолвное свидание наше скоро кончилось. Панна Магдалена вывела ее полуживую из хаты. И я не смел останавливать их. Панна Магдалена имела надо мною безграничную моральную власть, я повиновался ей, как ребенок матери.

Марыся вместе с панною Магдаленою посещали меня каждый день, и однажды Марыся рассказала мне

свою грустную историю со дня, как я уехал в Одессу продавать пшеницу.

Не повторяю я тебе, друже мой, этой тяжелой вести, потому что она отвратительно гнусна и, к несчастью, слишком обыкновенна на нашей бедной родине!

Она, несчастная, была матерью и в нищете растила своего бедного сына. Графиня покойная не хотела ничем помочь нищей матери своего внука, страшась ложного стыда.

Бедные вы, мелкодушные графини!

День ото дня мне было лучше; а между нами решено было, как скоро можно будет мне выходить, то отправиться не в отдаленный глухой монастырь, как я прежде думал, а идти в Житомир и явиться к губернатору, рассказать ему все преступления свои и положить на милосердие божие и на правосудие человеческое.

Я так и сделал.

Ночью, простивши[сь] с моим скромным и гостеприимным хозяином, я, не видимый никем, вышел из села.

В лесу, на берегу Случи, меня ожидала панна Магдалена и Марыся,— мы так еще днем условились.

С рассветом они вывели меня на житомирскую дорогу, и мы расстались, расстались навеки.

И при последнем целовании незабвенная моя панна Магдалена благословила меня этою святою книгою.— И он указал на лежавшую на столе библию, о которой я говорил уже.

— Святая, божественная книга! — продолжал он восторженно.— Мое единое прибежище, покров и упование.

Старик задумался, заплакал и сквозь слезы говорил, как бы сам про себя:

— Одна-единственная вещь, уцелевшая от пожара.

— Друже мой! — сказал он после минутного молчания.— Ежели бог приведет тебя в наш край, то посети бедное село на берегу Случи, и если найдешь их живыми, то поцелуй их от меня, а если померли, то отслужи за их мученические души панихиду.

Я пришел в Житомир, явился к губернатору, рассказал ему чистосердечно свою страшную историю и был арестован. Меня судили как убийцу и осудили милостиво и человеколюбиво.

Вот тебе и вся моя грешная повесть, мой друже и мой милый земляче.

А остальное пускай тебе доскажут кандалы мои и мои преждевременные седины.

1845 года.

Киев.

КНЯГИНЯ





Село! О, сколько милых, очаровательных видений пробуждается в моем старом сердце при этом милом слове! Село! И вот стоит передо мною наша бедная, старая белая хата, с потемневшею соломенною крышею и черным дымарем, а около хаты на прищипку яблоня с краснобокими яблоками, а вокруг яблони цветник — любимец моей незабвенной сестры, моей терпеливой, моей нежной няньки! А у ворот стоит старая развесистая верба с засохшею верхушкою, а за вербою стоит клуня, окруженная стогами жита, пшеницы и разного всякого хлеба; а за клунею, по косогору, пойдет уже сад. Да какой сад! Видал я на своем веку таки порядочные сады, как, например, Уманский и Петергофский¹, но это что за сады! Гроша не стоят в сравнении с нашим великолепным садом: густой, темный, тихий, словом, другого такого сада нет на всем свете. А за садом левада, а за левадою долина, а в долине тихий, едва журчащий ручей, уставленный вербами и калиною и окутанный широколиственными, темными, зелеными лопухами; а в этом ручье под нависшими лопухами купается кубический белокурый мальчуган, а выкупавшись, перебегает он долину и леваду, вбегает в тенистый сад и падает под первую грушею или яблонею и засыпает настоящим невозмутимым сном. Проснувшись, он смотрит на противоположную гору, смотрит, думает и спрашивает сам у себя: — А что же там за горою? Там должны быть железные столбы, что поддерживают небо! А что, если бы пойти да посмотреть,

как это они его там подпирают? Пойду да посмотрю, ведь это недалеко.

Встал и, не задумавшись, пошел он через долину и леваду прямо на гору. И вот выходит он за село, прошел ц а р ы н у, прошел с полверсты поля, на поле стоит высокая черная могила. Он вскарабкался на могилу, чтобы с нее посмотреть, далеко ли еще до тех железных столбов, что подпирают небо. Стоит мальчуган на могиле и смотрит во все стороны: и по одну сторону село, и по другую сторону село, и там из темных садов выглядывает трехглавая церковь, белым железом крытая, там тоже выглядывает церковь из темных садов, и тоже белым железом крытая. Мальчуган задумался.— Нет,— думает он,— сегодня поздно, не дойду я до тех железных столбов, а завтра вместе с Катрею: она до ч е р е д ы коров погонит, а я пойду к железным столбам, а сегодня одурю Микиту (брата), скажу, что я видел железные столбы, те, что подпирают небо.— И он, скатившись кубарем с могилы, встал на ноги и пошел, не оглядываясь, в чужое село; к счастью его, ему встретились чумаки и, остановивши, спросили его:

— А куда ты мандруешь, п а р у б ч е?

— Додому.

— А де ж твоя дома, н е б о р а ч е?

— В Киреливци.

— Так чога ж ты идешь у Морынци?

— Я не в Морынци, а в Киреливку йду.

— А колы в Киреливку, так сидай на мажу, товаришу, мы тебе довеземо додому.

Посадили его на с к р ы н ь к у, что бывает в передке чумацкого воза, и дали ему б а т и г в руки, и он погоняет себе волов, как ни в чем не бывало. Подъезжая к селу, он [увидал] свою хату на противоположной горе и закричал весело:

— Онде, онде наша хата!

— А колы ты вже бачишь свою хату,— сказал хозяин воза,— то и йды соби с богом!

И, снявши меня с воза, поставил на ноги и, обращаясь к товарищам, сказал:

— Нехай иде соби с богом.

— Нехай иде соби с богом,— проговорили чумаки, и мальчуган побежал себе с богом в село.

Смеркало уже на дворе, когда я (потому что этот кубический белокурый мальчуган был не кто иной, как смиренный автор сего, хотя и не сентиментального, но тем не менее печального рассказа) подошел к нашему перелазу. Смотрю через перелаз на двор, а там, около хаты, на темном, зеленом бархатном шпорише, все наши сидят себе в кружке и вечеряют; только моя старшая сестра и нянька Катерина не вечеряет, а стоит себе около дверей, подперши голову рукою, и как будто посматривает на перелаз. Когда я высунул голову из-за перелаза, то она вскрикнула: — Прыйшов! прыйшов! — и, подбежав ко мне, схватила меня на руки, понесла через двор и посадила в кружок вечерять, сказавши: — Сидай вечерять, прибудо! — Повечерявши, сестра повела меня спать и, уложивши в постель, перекрестила, поцеловала и, улыбаясь, назвала меня опять прибудою.

Я долго не мог заснуть; происшествия прошлого дня мне не давали спать. Я думал всё о железных столбах и о том, говорить ли мне о них Катерине и Миките, или не говорить. Никита был раз с отцом в Одессе и там, конечно, видел эти столбы. Как же я ему буду говорить о них, когда я их вовсе не видал? Катерину можно б обдурить.... Нет, я и ей не скажу ничего,— и, подумавши еще недолго о железных столбах, я заснул.

Через два-три года я уже вижу себя в школе у слепого Совгиря (так назывался наш нестихарный дьячок²), складывающего т м у - м н у³. И, проскладавши, бывало, до т л я - м л я, выйду из школы на улицу, посмотрю в яр, а там мои счастливые сверстники играют себе на соломе около клуни и не знают, что есть на свете и дьяк, и школа. Смотрю, бывало, на них и думаю: — Отчего же я такой бесталанный, зачем меня, сердечного, мучат над этим проклятым букварем? — И, махнувши рукою, дам драла через ц в ы н т а р ь в яр к счастливым на светлую, теплую солому, и только что начну свои гимнастические упражнения на соломе, как идут два псалтырника⁴, берут меня, раба божия, за руки и обращают вспять, сиречь ведут в школу, а в

школе, сами здоровы знаете, что делается за несвоевременные отлучки.

Совгирь-слипый (слепым его звали за то, что он был только косою, а не слепой) был в нашем селе дьячком — не то, чтобы стихарным, настоящим дьячком, а так себе, приبلудою. Предшественник его, Никифор Хмара, тоже был у нас нестихарным дьячком; только раз у тытаря на меду захворал ночью, а к утру и помер, бог его знает отчего. А Совгирь-слипый случился тут же у тытаря на банкете, да, не долго думая, в следующее же воскресенье стал на клиросе, пропел обедню, прочитал апостола, да так прочитал, что громада и сам отец Касиян только чмокнули. Вот так после обедни громадою был провозглашен слипый Совгирь дьячком и с честью, подобающею его сану, введен был в школу, яко в свою д и д и в щ и н у. Великий человек — громада! Поселился он в своей школе, и школяры, в том числе и аз невелий, пошли к нему за наукою. А собою был он росту высокого, широкоплечий и смотрел бы настоящим запорожцем, если бы не был косою; даже свою незаплетенную косу носил он как-то вроде чуприны.

Нрава он был более сурового, нежели веселого, а в отношении житейских потребностей и вообще комфорта он был настоящий спартанец⁵. Но что мне более всего в нем не нравилось, так это то, что, когда, бывало, в субботу после вечерни начнет нас всех, по обыкновению, кормить березовою кашею, — это все еще ничего, пускай бы себе кормил, нам эта каша была в обыкновение, а то вот где, можно сказать, истинное испытание: бьет, бывало, а самому лежать велит, да не кричать, а не борзяся и явственно читать пятую заповедь. Настоящий спартанец!

Ну, скажите, люди добрые, рождался ли когда на свет такой богатырь, чтобы улежал спокойно под розгами? Нет, я думаю, такого человека еще земля не носила.

Бывало, когда дойдет до меня очередь, то я уже не прошу о помиловании, а прошу только, чтобы он умилосердился надо мною и велел меня, субботы ради святой, придержать хоть немножко. Иной раз, бывало, и умилосердится, да уж так отжарит, что лучше б и не просить о милосердии.

Мир праху твоему, слипый Совгирю! Ты, горемыка, и сам не знал, что делал; тебя так били, и ты так бил и не подозревал греха в своем простосердечии! Мир праху твоему, жалкий скиталец, ты был совершенно прав!

И вот я, к несказанной моей радости, кончил «Мал бех»⁶, т. е. кончил псалтырь, поставил, по обыкновению, кашу братии с грошами, совершил сей священный обряд неукосненно по всем преданиям старины и на другой же день принялся мелом выводить примерные каракули на крашеной доске, сиречь я уже был не псалтырник, а скорописец.

В эту-то почти счастливую для меня эпоху случилось преобразование школы: прислали к нам из самого Киева стихарного дьячка. Совгирь-слипый сначала было поартачился, но принужден был уступить перед лицом закона и, собравши всю свою мизерию в одну торбу, закинув ее на плечи, взял патерицу в руку, а тетрадь из синей бумаги со сковородинскими псалмами⁷ в другую и пошел искать себе другой школы. А братия моя по науке, аки овцы от волка рассыпашася, так они от нового стихарного дьячка, зане пьяница бе паче всех пьяниц на свете. Тяжко противу рожна прати! И я, терпеливейший из братии, наконец, взял свое орудие — таблицу, перо, к а л а м а р ь с мелом и пошел во-свояси с миром, дивясь бывшему.

С этого времени начинается длинный ряд самых грустных, самых безотрадных моих воспоминаний! Вскоре умирает мать, отец женится на молодой вдове и берет с нею троих детей вместо приданого. Кто видел хоть издали мачеху и так называемых сведенных детей, тот, значит, видел ад в самом его отвратительном торжестве. Не проходило часа без слез и драки между нами, детьми, и не проходило часа без ссоры и брани между отцом и мачехой; меня мачеха особенно ненавидела, вероятно, за то, что я часто тузил ее тщедушного Степанка. Того же года отец осенью поехал за чем-то в Киев, занемог в дороге и, возвратясь домой, вскоре умер.

После смерти отца один из многих моих дядей, чтоб

вывести сироту в люди, как он говорил, предложил мне за ястие и питие пасти летом стадо свиное, а зимою помогать его наймиту по хозяйству, но я другую часть избрал.

Взявши свою таблицу, каламарь и псалтырь, отправился к пьяному стихарному дьяку в школу и поселился у него в виде школяра и работника. Тут начинается моя практическая жизнь. Пребывание мое в школе было довольно не комфортабельное; хорошо еще, если случались покойники в селе (прости меня, господи), то мы еще кое-как перебивались, а не то просто голодали по несколько дней сряду. Вечерком иногда, бывало, я возьму торбу, а учитель возьмет в десную посох дебелый, а в шуйцу сосуд скудельный (мы и жидкостями не пренебрегали, как то: грушевым квасом и прочая) и пойдем под окнами воспевать «Богом избранную»; иной раз принесем таки кое-что в школу, а иной раз и так насухо придем, разве только что не голодные.

Я знал почти всю псалтырь наизусть и читал ее (как говорили слушатели мои) выразительно, т. е. громко. Вследствие такого моего досужества не был в селе похоронен ни один покойник, над которым бы я не прочитал псалтыри. За прочтение псалтыри я получал кныш и копу деньгами. Деньги я отдавал учителю, как его доход, и он уже от щедрот своих уделял мне пятак на бублики, и это был один-единственный источник моего существования. При таких, можно сказать, умеренных доходах я не мог жить открыто и одевался даже не щегольски, как прилично званию школяра: ходил я постоянно в серенькой дырявой свитке и в вечно грязной бессменной рубашке, а о шапке и сапогах и помину не было, ни летом, ни зимою. Однажды дал мне какой-то мужик за прочтение псалтыри напришвыременю, да и то от меня учитель отобрал, как свою собственность.

И много, много мог бы я рассказать презанимательных и назидательных вещей на эту тему, да рассказывать как-то грустно.

Так пролетели четыре жалких года над моею детскою головою.

Потом воспоминания мои принимают еще печаль-

нейшие образы. Далеко, далеко от моей бедной, моей милой родины:

Без любви, без радости
Юность пролетела ⁸.

Не пролетела, правда, а проползла в нищете, в невежестве и в унижении. И все это длилось ровно двадцать лет.

В продолжение моего странствования вне моей милой родины я воображал ее такую, какую видел в детстве: прекрасною, грандиозною, а о нравах ее молчаливых обитателей я составил уже свои понятия, гармонируя их, разумеется, с пейзажем. Да мне и в голову не приходило, чтобы это могло быть иначе, а выходит, что иначе.

После двадцатилетних испытаний я немного оперился и, разумеется, полетел прямо в родимое гнездо. Вскоре передо мною засверкали давно знакомые мне беленькие хатки. Они как будто улыбались мне из темной зелени.

Может ли быть место в этих милых приютах нищете и ее гнусным спутникам? Нет! А иначе человек был бы не человек, а простое животное. С этим сладким убеждением я проехал почти всю Черниговскую губернию, нигде не останавливаясь. Из города Козельца мне нужно было взять в сторону от почтовой дороги — взглянуть поближе на мой эдем и даже выслушать сию печальную и правдивую повесть.

Город Козелец не отличается своею физиономиею от прочих своих собратий, поветовых малороссийских городов. В истории нашей он тоже не играет особенной роли, как, например, заднепряньские его товарищи, разве только что в 1663 году здесь была собрана знаменитая Черная рада ⁹. Словом, городок ничем не примечательный; но проезжий, если он только не спит во время перемены лошадей или не закусывает у пана Тихонóвича, то непременно полюбуется величественным храмом грациозной архитектуры Растреллиевской ¹⁰, воздвигнутым Наталией Розумихою ¹¹, родоначальницею дома графов Разумовских.

В шести верстах от г. Козельца, в селе Лемешах, в бедной хатке, на сволоке, или балке, читаешь: «Сей дом соорудила раба божия Наталия Розумиха, 1710 року божого». А в г. Козельце в величественном храме читаешь на мраморной доске: «Сей храм соорудила графиня Наталия Разумовская в 1742 году». Странные два памятника одной и той же строительницы!

В Козельце нанял я пару немудрых лошадок вместе с рыжим жидком и поехал себе проселком, куда мне нужно было. Это было уже в сентябре месяце. С утра был день только серенький, а к вечеру стал и мокренький; время шло к ночи, нужно было где-нибудь приютить себя на ночь, а по дороге не только корчмы — и мизерного шинка не видно.

Не доезжая Трубежа, или, по-местному, Трубайла, нам показалось на косогоре село. Подъезжаем ближе, — и действительно село, только погорелое, и ничего живого на черной улице не видно. А за греблею, по ту сторону Трубежа, мы увидели между вербами и едва начинающими желтеть садами белые хаты. Проехали мы по плотине мимо двух шумящих мельниц и очутились в большом козачьем селе. Чистые большие хаты и неразрушенные тыны свидетельствовали о благосостоянии обитателей, но первая к царыне хата своею милovidностью мне особенно приглянулась, так что я решил просить себе в ней приюта на ночь. Дождик моросил таки порядочно, а хозяин приветно улыбающейся хаты стоит как ни в чем не бывало, стоит себе, облокотясь на тын, в новом нагольном тулупе, курит коротенькую трубку и, улыбаясь, смотрит, как его любимцы, круторогие половые воны, наслаждаются в огороде капустою. Увидевши в окно такое святотатство, из хаты выбежала хозяйка и сквозь слезы закричала:

— Чего же ты стоишь, недолюде старый, и смотришь, как добро и в е ч и т ь скотына? Чому ты ее не заженешь в загороде?

— Я ее тридцать лет загонял, пускай теперь другие загоняют, — ответил хозяин совершенно равнодушно и продолжал курить трубку.

— А! боже мий с тобою! — снова закричала хозяйка.— Да ты хоть бы кожух скинул, видишь, дождь идет!

— Так что ж? Пускай себе идет с богом!

— Как что ж? Кожух изнивечишь!

— Так что ж, пускай себе изнивечу,— у меня другой есть.

— Хоть кол на голове теши, а он все свое править,— сказала хозяйка и побежала выгонять с огорода скотину. Хозяин посмотрел ей вслед и самодовольно улыбнулся.

Мне очень понравилась его совершенно хохлацкая выходка, и я, высунувшись из брички, приветствовал хозяина с добрым вечером, на что он ответил:

— Добрывечир и вам, люды добри! А чи далеко бог провадыть? — прибавил он, надевая шапку.

— Та недалеко, а все-таки сегодня не доидемо,— сказал я, вылезая из брички, и прибавил с расстановкою: — А чи не можна б у вас, дядюшко, пидночувать?

— Чому не можна? Можна, боже благословы! Хата чимала, а мы добрым людям ради.

И говоря, он отворил ворота, и бричка всунулась во двор.

— Просымо покорно до г о с п о д ы! — сказал мне хозяин, когда я вошел на двор, и заметно было, что он старался выговаривать слова на русский лад.

Я вошел в хату; в хате было почти темно, но все-таки можно было видеть, что хата была просторная и чистая.

— Просымо покорно, садовитесь,—говорил хозяин, показывая на л а в у,— а я тымчасом скажу свой старий, щоб що-небудь нам засвityла,— прибавил он, уходя из хаты.

Через минуту вошла в хату старушка со свечой и, поставив ее на столе, тихо отошла к двери и, сложив руки на груди, молча остановилась. Она была в чистом чепце и в таком же немецком платье. Меня это удивило.— Каким родом,—подумал я,—очутилось подобное явление в мужицкой хате?

Вскоре за старушкой вошел и хозяин в хату, неся

на руках плачущее дитя. Дитя, увидя старушку, зажало губки и, улыбаясь, протянуло к ней свои крошечные ручонки.

— Возьмы его, Мыкытовна, до себе,— говорил хозяин, передавая дитя старушке.

— Бач, воно мужика боиться, сказано — панська дытына,— прибавил он, глядя его по головке своей костлявой и широкой рукою.

У меня в кармане были леденцы; нужно заметить, что я этот продукт постоянно имел в кармане во время моих поездок по Малороссии. Заметьте, что ничем нельзя так скоро задобрить моего угрюмого земляка, как приласкать его дитя, и я часто не без пользы употреблял эту тактику. Я подал леденец дитяти, оно сначала посмотрело на меня своими необыкновенно большими глазами, потом молча взяло леденец и, улыбаясь, воткнуло в свои розовые губки.

Тут я мог поближе взглянуть на дитя и на старушку. Старушка показалась мне живой картиной Жерар Доу¹², а дитя — это был херувим Рафаэля. Меня поразила эта чистая, тонкая красота дитяти; мои глаза остановились на этом прекрасном создании. Старушка отнесла дитя в сторону и перекрестила, вероятно, от дурного глаза, а хозяин, подойдя ко мне, сказал:

— А что, не правда ли, что панская дытына?

— Прекрасное дитя,— ответил я и подал дитяти еще один леденец.

Хозяин, заметно, был доволен моими гостинцами и, подходя к старушке, сказал:

— Дай лышень мени ёго, Мыкытовна, а ты пиды та скажи мойй старий, чи не найде вона там чого-нибудь нам поподвечиркувать та, може, колы не лыха́ буде, то й тее... по чарочци... догадується, Мыкытовна?

— Мы, добродию, люды прóсти,— сказал он, обращаясь ко мне,— у нас нема ничего такого солодкого, ни того чаю, ниже того сахару, а так просто, попростому.

Старушка вышла из хаты, а он, с ребенком на руках подходя ко мне, сказал:

— Отепер подывитесь на ёго, добродию, правда, що хороше? Сказано — княжа́.

— Да как же очутилося у вас княжеское дитя? Расскажите мне, ради бога,— спросил я с удивлением.

— Нехай вам, добродню, Мыкытовна розкаже, бо тут, не вам кажучи, була настоящая комедия. Вы бачили отам, за Трубайлом, погориле село?

— Видел,— ответил я.

— Так добре, що видели. Вот то самое село було колысь оцёго дытаты матери, та и выгорило. А вона, ёго маты... Та я не розкажу вам, як воно там выгорило: мене тоди дома не було, то я й не бачив ёго. Нехай Мыкытовна сама розкаже, вона бачила, то вона й знае, як воно диялось.

Между тем старушка вошла в хату и чистой белой скатертью поверх килыма накрыла стол, достала с полыци восьмиугольный расписанный графин с водкою и рюмку и поставила на стол; потом принесла на деревянной тарелке, тоже разрисованной, кусками нарезанного чабака и паляныцю. И все это было сделано ею тихо, чинно, так что, глядя на нее, можно было наверное сказать, что она выросла и состарилась не в мужицкой хате. Потом взяла на руки ребенка и отошла в сторону, а хозяин сказал ей:

— Мыкытовна, когда положишь спать дытыну, то зайды до нас,— нам треба буде розпытать у тебе дещо. Та скажите там мой старий, нехай нам вечерю готуе, та не галушки або кулиш,— бачите, у нас чужи люди!

Старушка вышла из хаты, а он вслед ей прибавил:

— Зайдите же до нас, Мыкытовна, як упораетесь.

— Хорошо, зайду,— отвечала она из сеней.

Выпивши по одной, а потом и по другой, хозяин мой стал словоохотнее. Он разговорился до того, что, сам не замечая, рассказал мне всю свою биографию. Рассказал мне, между прочим, как он, будучи парубком еще, был в погоньцях под французом и воротился из Неметчины голый голым, с одним батогом в руках, и как потом пошел в наймы до попа, и как после трудом и разумом разбогател и сделался из бездомного сироты-наймита первым хозяином в селе. Словом, через час времени я, не допытываясь, узнал всю его самую сокровенную историю.

Но что мне особенно в нем понравилось,— что он, рассказывая свою обыкновенную историю, касался как бы мимоходом своих богатырских подвигов, и не подозревая в них ничего необыкновенного.

А между тем старушка принесла нам вечерю и сама повечеряла с нами. Помолившись богу после вечера, хозяин, обратясь к старушке, сказал:

— Тепер, Мыкытовна, розкажить нам про свою княгиню, як воно там у вас діялося. А с самого начала,— прибавил он,— наточить нам с кухоль сливянки,— воно, знаете, веселише буде слухать.

Через минут пять старушка возвратилась в хату с порядочным стеклянным глечиком в руках. Поставивши глечик на стол, сама она села на скамейку и, помолчав немного, проговорила, вздохнувши:

— Про ее бесталанье, Степановичу, про ее тяжкую, горькую долю я готова каждый день, каждую годину рассказывать всему свету, чтобы весь свет знал про ее горькие кровавые слезы и казнил ее кровавыми слезами,— и она тихо заплакала.

Мы выпили по рюмке сливянки, а старушка, утерши слезы, начала так:

— Не умею сказать, сколько минуло тому лет, только это случилось давно, еще до француза; я была еще тогда такую стригую, когда покойный Демьян Федорович, царство ему небесное, пришел из-под француза. Они служили в каких-то козаках, а в каких именно, не умею вам сказать. Знаю только, что в козаках, и больше ничего. Батюшку своего, Федора Павловича, царство ему небесное, они не застали в живых. Осмотревшись дома около хозяйства, поправили, что нужно было поправить, а что не нужно, то и так оставили. Тогда же они выстроили и два витряка, вот что на горе стоят. Они только и уцелели от всего добра. Построивши витряки, да и задумали свататься и высватали они аж за Остром у какого-то Солоныны Катерину Лукьяновну. Вот весною засватались, а после першої пречистои и повенчались: и полгода не был женихом, голубчик мой. После их свадьбы меня и взяли во двор, в покой. Долго я плакала и скучала за своими домашними, а после и привыкла, когда

побольше подросла. На другой или на третий год... кажется, на третий, дал им бог дитя. Назвали его Катериною, а меня приставили к нему нянькою. С той поры и по сие лютое время я не разлучалася с моею бесталанницею ни на один час. Она у меня на глазах выросла, и замуж вышла, и...

— Та годи вам плакать, Мыкытовна! — сказал хозяин с участием.— На все те воля божия, слезами только бога гнивыте.

Старушка, помолчав немного, продолжала:

— А какой хозяин! Какой пан добрый! Душа какая праведная была! И всё пошло прахом. Бывало, покойный Катеринич приедет к нам из Киева, да только подивуется, а уж можно сказать, что Катеринич даром никого не похвалит, да, правду сказать, было чему и подивоваться. Село всего-навсе сорок хат, а посмотрите, чего в этом селе нет! И ставы, и млыны, и пасики, и винныця, и броварь, и скотыны разной, а в коморах,— и, господи! — разве птичьего молока нет, а то всё есть. А по селу так любо было по улице пройты: хаты чистые, белые; казалось, что в нашем хуторе вечная велькодная неделя.

Люди ходят себе по улице или сидят под хатами, обутые, одетые, а дети бегают по улице в беленьких сорочечках, точно янголята божии. О, ох! и где это всё девалось? Правда, и Катерина Лукьяновна была хозяйка, но все-таки не то, что сам.

Бывало, каждое божее воскресенье или праздник какой, запросят покойного отца Куприяна на «отче наш»¹³ да и выставят двенадцать графинов и всё с разными настойками. А отец Куприян, царство ему небесное, по «отче наш» выпьет, бывало, из каждого графина по рюмке, да как дойдет уже до последнего, то и скажет: — Вот это хорошая водка, ее и будем пить.— А водки, правду сказать, все были одинаково хорошие, да он, покойник, был уже такой чудной, любил иногда, царство ему небесное, и пошутить.

— Чудный, чудный таки был покойник,— говорил хозяин, наливая в рюмку сливянки.— А чтобы, сказать, пьяного, так я его никогда не видал: бог его знает, или это уже натуру такую добрую бог даст человеку,

или человек уже сам приспособится, не знаю. А что, Мыкытовна, если б и вы с намы, выпылы чарочку сливянки, воно б, може, и полегшало.

Старушка отказалась от сливянки и, немного помолчав, продолжала свой рассказ:

— Катерине Демьяновне пошел уже другой годочек, как она в первый раз на ноги стала. Я привела ее за ручку в гостиную, где они поутру пили чай. Господи! что тут было радости, так и рассказать не можно! Катерина Лукьяновна взяла ее на руки и, поцеловавши, тут же сказала, что ни за кого на свете не выдаст ее замуж, как за князя или какого генерала. Ох! так же оно и случилось на наше безголовье. А какие люди сватались! Нет таки, дай ей князя или генерала,— вот тебе и князь!

— Да, таки нечего сказать, хороший князь! — перебил хозяин.— Дал он ей, бедной, знать себя.

— Стало оно вырастать, стали его учить сначала грамоте, а потом — и, господи! — чему они его не учили! Бывало, жаль посмотреть на бедное дитя: и шить, и вышивать, и прять, и нитки сучить, а раз с а м так послал ее, бедную, и коров даже доить. Бывало, с а м а иногда вскинется на него: — Что ты,— говорит,— делаешь с бедным ребенком? Разве мы ее за мужика, что ли, готовим? — А может, и за мужиком придется жить: будущее кто знает? — бывало, скажет сам, да и замолчит. А она ему: — Ты бы лучше для нее фортепяны купил в Киеве.— Купили и фортепяны на контрактах¹⁴. Привезли с фортепянами и учителя, не умею сказать, поляк ли он был или немец, не знаю, только он говорить совсем не умел по-нашему; бывало, скажет слово, так слушаешь да хохочешь. Вот он ее в год или в два и выучил играть на тех фортепянах, да как, бывало, заиграет моя лебедонька, так только сидишь, слушаешь, слушаешь, да и заплачешь, а она возьмет да и переменит песню, да как ударит горлыцю или метельцю,—согрешила я, грешная,— не вытерплю, бывало, да как возьмуся в боки, да и пойду, да как пойду! Только пидлога ломится. А она играет, бывало, да хохочет. Однажды нас и застала сама да как прикрикнет на нее: — Ты,— гово-

рит,— что это делаешь? Разве этому тебя учили играть? Только инструмент портишь своими мужицкими песнями. А ты, цындра, не знаешь, где коров доят, то будешь знать! — Я, разумеется, испугалась и стала себе в угол да и стою, как будто меня и в комнате нет.

— А вы таки, Мыкытовна, булы колысь, нигде правды сховать, таки добре д з ы н д з ю р ы с т и,— сказал хозяин, наливая рюмку сливянки.

— Просты мене, господа! Сказано — молодость, а в молодости чего не случается. А бывало, когда моя пташечка Катруся совсем выросла, то как только лягут спать паны после вечери, а мы и выйдем тихонько в сад, гуляем, гуляем, до самого света гуляем. А месяц так тебе и светит, как будто днем. А она еще, бывало, возьмет да и запоет: «Не ходы, Грыцю, та на вечерныци»,— та тихо, тихо, та сладко, так бы вот, кажется, и слушала б ее, слушала б, до самого б свету слушала б.

— Помню, хорошо помню,— сказал хозяин,— раз иду я вночи коло вашего саду, только слушаю, что-то поет, только не «Грыця», а другую какую-то песню. Я остановился и так простоял, как прикованный до тыну, до самого белого дня. Нечего сказать, прекрасно было слушать, как вона, бывало, заспивае.

— А поутру, спала ли, нет ли, вспорхнет, что твоя пташечка, и снова поет, и снова веселится, и никто, опроче меня, не знает, что ночью диялось. Ах, вот что я было чуть-чуть совсем не позабыла: есть тут, голубчики мои, недалеко от нашего села на Трубайле хутор майора Ячного. Вы его, Степанович, знаете, самого майора? Он и теперь еще здравствует, благодарение богу. А что за хозяин, так и покойному нашему Демьяну Федоровичу не уступит! Правда, у него только всего-навсе десять хат на хуторе, так зато и хаты, зато и люди! Что хата, то семья — душ десять. Известное дело, в добре да в роскоши живут. А у самого майора ставочок, млыночок, садочок, витрячок, а домик — что твоя писанка: чистенький, беленький, только смотри да любуйся! А что же, если б у него еще и хозяйка была б жива, а то он сам за всем хозяйничал. Правда, был у него сынок, но то, что еще можно сказать

дытына,— да и то не на глазах росло, а было где-то в школах, не знаю — в Киеве, не знаю — в Нежине.

А были они с нашим покойным великие приятели; бывало, или наш у него, или он у нашего, куска хлеба не съедят врозь, всё вместе. На праздники приезжал к нему гостить и сын из школы, и только слава, что приезжал к отцу, а у нас, бывало, и днюет, и ночует, и с моею Катрусеею, бывало, и в поле, и в саду, и в покоях, одно без другого никуда. Я, бывало, гляжу на них та и думаю: — Вот вырастает парочка, так так, что на диво. Они просто одно для другого на свет божий родились.— Так думал и майор, так думал и наш Демьян Федорович, а про детей и говорить нечего. Да все так думали, да не так думала Катерина Лукьяновна. Она спала и видела своего зятя или князя, или генерала, а о других и думать не хотела. Бывало, когда ему, бедному, приходило время отправляться в школу, то Катруся моя уже за неделю начинает плакать, а когда он уедет уже совсем, то она, бедная, просто в постель сляжет и долго после того не ест, не пьет ничего,— бог ее знает, чем она и жива была.

Так-то они, мои голубяточки, росли, росли да и выросли вместе, да и полюбились, сердечные, на свое безголовье.

Господи! я уже в домовыну смотрю, а когда вспомню про них, моих пташечек, то как будто снова молодею. Бывало, уже перед тем, как им надо расставаться, сойдутся себе в саду, станут где-нибудь под липою или под берестом, обнимутся, поцелуются и долго-долго смотрят друг другу в очи, а слезы у обоих из очей так жемчугом и катятся; знать, они чувствовали, бедные, что не дадут им жить одному для другого.

Вот он уже кончил свою школу. Покойный губернатор Катеринич взял его к себе в Киев, определил его в какую-то палату. Не умею уже вам [сказать], для чего он его определил в палаты. Вот он пробыл уже год в той палате, а на другой год приезжает к нам в гости да и давай сватать мою Катрусю. Демьян Федорович, царство ему небесное, таки сразу согласились и говорят, что лучше мужа нашей Кате не

найти и за морями. И правду говорили. Так что ж сама?.. Не Катруся сама, боже бороны! а сама Катерина Лукьяновна? Уперлысь и руками, и ногами.— Как? — закричит, бывало.— Чтобы я свою единственную дочь отдала за хуторянина, за гречкосия! Нет, лучше я ее в гроб положу, чем увижу ее, мою милую Катеньку, на хуторе Ячного! Что она там будет делать,— индюков кормить, гусей загонять?.. Нет, не для того я ее на свет породила, не для хутора Ячного я ее воспитывала! Фыркнет, бывало, и запрется в свои покои на целый день. А он сам около нее и так и сядет, нет, хоть и не подходи,— знай свое провадыть: князя или генерала, да и только! Покойный Демьян Федорович хотел уже было без ее согласия перевенчать, да, зная, бог не судил ему это доброе дело. О рождении он заболел, вернувшись из Козельца, а на середокрестной и богу душу отдал.

Господи! и теперь страшно вспомнить! Как он, уже на вечной постели, просил ее, чтобы не отдавала Катини за князя, ни за генерала, а чтобы отдала ее за молодого Ячного или за кого другого, только за свою ровню. Нет, так поставила на своем.

На тот грех, как раз в чистый четверг, вступила драгунья в Козелец, да и заквартировала по хуторам и по селам на все лето.

Да и драгунья ж это была! Чтобы она к нам никогда не возвращалась. Да, так и дала знать себя эта проклятая драгунья! Не одна чернорывка умылась слезами, провожавши эту иродову драгунью. В одном нашем селе осталось четыре покрывки, а что же в Оглаве? да в Гоголеве? Там, я думаю, и не пересчитаешь! Горе нам, горе нам с тымы драгунами!

Да и теперь страшно вспомнить. Раз сыдымо мы ввечеру все трое в гостиной; я, кажется, карпетку вязала, Катерина Лукьяновна сидела так, а Катруся книжку читала, да такую жалобную, чуть-чуть не заплакала: про какого-то запорожца Киришу или про Юрия, не помню хорошенько, только очень жалобно. Вот уже дочиталась она, моя рыбонька, как того Юрия-запорожца закували в кайданы и посадылы в темницу, только глядь, смотрим, входит в ком-

нату драгун, высоченный, усатый, а морда, неначе те решето, гладкая та червона, здавалась червонистою од воротника, що пришитый до ёго мундира.— Я,— говорит,— такой-то и такой, князь Мордатый!— Мы сами видим, что ты мордатый,— думаю себе.— Я,— говорит,— покупаю овес и сено; нет ли у вас овса и сена продажного?

— Есть,— говорит Катерина Лукьяновна,— прошу садиться.

Вот он себе и сел, а мы с Катрусеею ушли в другую комнату дочитывать книжку. Только что начали читать, а в комнату входит Катерина Лукьяновна и говорит: — Вот тебе, Катенька, и твой суженый.— Мы как сидели, так и обмерли. Как уже у них было в тот несчастный вечер и как он сватался, мы ничего не знали. Только с того самого вечера князь к нам начал ездить каждый божий день и рано, и вечером. А молодого Ячного, когда приедет он, бывало, из Киева, и на двор не пускали. Ходит, бывало, бедный, поза садом да плачет. А мы, глядя на него, и себе в слезы. Что ж? Не помогли слезы, а ни-ни; Катерина Лукьяновна таки поставила на своем: как раз через год после смерти Демьяна Федоровича, на великодных святках, просватала за князя мою бесталанницу Катрусю.

— И можно таки сказать, что бесталанница: ото всего добра, ото всей роскоши только и осталось, что два витряка, да и сама еще, бог знает, останется ли в живых,— говорил хозяин, как бы сам про себя, наливая рюмку сливянки.

— А вот как было, Степановичу. На фоминой неделе их и повенчали. Плакала, плакала она, моя бесталанница, да что! Знать, так господам угодно было. Не умолила она его, милосердного. Знать, господь бог любя наказует.

На другой день после свадьбы переехал он к нам из Козельца, и денщик его Яшка, такой скверный, оборванный, тоже с ним переехал. И только и добра было с ними, что преогромная белая кудрявая собака, юхтовый зеленый кисет и длинная трубка.

С того же дня и началось новое господарство.

На этом слове старушка остановилась и, помолчав немного, перекрестясь, сказала:

— Господи! прости меня, непрощенную грешницу! За что я осуждаю человека, ничего мне злого не сделавшего?.. А как подумаю, так он и мне таки немало наделал зла. Он, прости ему владыко милосердый! — тут она снова перекрестилась, — он, душегубец, загубил мое одно-единственное сокровище, мою одну-единственную любовь! Я никогда никого на свете так не любила, как полюбила ее, мою горькую бесталанницу. Одна моя единая радость, одно мое единое было сладкое счастье видеть ее счастливою замужем. И что же? Слезы! Слезы! Слезы и посярмление! А всё мать! Всему, всему причиною одна родная мать: захотелось ей, видишь ли, свою единственную дочь увидеть княгинею! Ну, вот тебе и княгиня! Любишься теперь на свою княгиню! Любишься теперь на свое прекрасное село, на свой сад зеленый, на свой дом высокий! Любишься, Катерина Лукьяновна! Любишься на свои хорошие дела! Ты, ты одна всё это натворила!

Старушка от избытка чувств умолкла, а хозяин, немного погодя, сказал:

— Та цур ий, Мыкытовна, не згадуй ее, нехай ий лыхо сныться; розкажуйте, що там дальше буде.

— Ох! я не знаю, как мне уж и рассказывать, потому что тут пойдеть всё такое страмное, скверное, что и подумать грешно, а не то что рассказывать.

— Розкажуй уже, Мыкытовна, до краю, а то так не треба було и зачинать, — говорил хозяин, наливая рюмку сливянки и поднося ее рассказчице.

— Спасыби, спасыби, Степановичу, я вже моими слезами пьяна.

— А не хочете, то як хочете, а мы с добродием так выпьем, а вы тымчасом розкажить, як воно зачалося у вас те нове господарство? — говорил хозяин, потчующ меня сливянкой.

— А началося вот так, — проговорила старушка и, помолчавши, почти закричала:

— Ну, скажите вы мне, люди добрые, чего ей, грешнице, недоставало? Пани на всю губу, всякого добра и видимо и невидимо, купалася в роскоши! Так же

нет, мало, дайте мне зятя князя, а то умру, як не дасте. Добула, выторговала, купила себе князя, продавши свою дочь. О, матери, матери! Вы забываете свои страдания при рождении дитяти, когда так недорого продаете это дитя, которое вам так дорого обошлось!

Старушка замолчала, а хозяин сказал:

— Все воно так, Мыкытовна, а мы все-таки не знаем, как у вас началось новое господарство.

И она спокойно продолжала:

— А началось воно так, Степановичу, что князь в комнатах завел псарню; вот как началось новое господарство! Всякий божий день пиры да банкеты, бывало, свету божия не видишь от табачного дыму, а о прочем и говорить нечего. А еще, бывало, как зазовет к себе на охоту всю свою драгуню из Козельца, то господи и упаси! Наедут пьяные, грязные, скверные такие, что не дай бог и во сне таких увидеть. Да еще всякий возьмет себе по денщику, такому же скверному, как и сам, и не день, и не два, и не три, а целую неделю гостят. А что они за эту неделю наделают в комнатах, так я и рассказать стыжуся. С в ы н ы н е ц ь, настоящий свынынец! Так что, бывало, вымываем да выкуриваем после них целый месяц. Отут-то я только узнала, что значит драгуня! А Катерина Лукьяновна смотрит на них да только себе улыбается, и больше ничего.

Не прошло и месяца, как он уже всё к себе забрал в руки. Ключи от коморы и л ё х у были у его поганого Яшки. Так что ежели чего захочется Катерине Лукьяновне, то нужно было просить Яшку. Отут-то она в первый раз отроду заплакала, отут-то она увидела своего князя таким, каким его надо было матери видеть прежде. Но она, гордая, и виду не показывала, что она всё видит; а когда, бывало, придется уже ей д о с к р у т у, неведомому, то она хоть через великую силу, а все-таки улыбнется и поворотит всё в жарты (в шутку). А Катруся, моя бедная Катруся, сидит, бывало, в своей комнате и день, и ночь, да так рекою и разливается. А он (и это не один раз) приедет в полночь из Козельца пьяный, да привезет с собою жида с цимбалами, всех подымет.— Танцуйте,— кричит,— хохла-

цкие души, танцуйте! А не то всех вас передешу! — Мы, бывало, с Катрусеею убежим себе в сад летом, а зимою не раз мы ночевали в мужицкой хате.

— Мне только вот что кажется чудным, — перебил ее хозяин: — как вы не догадались его пьяного задуть, да сказали б, что умер с перепою или просто сгорел.

— Э, так, думаете, и сказать легко! А грех! а страшный суд, Степановичу? Нет, пускай себе умирает своею смертию, бог ему и суд, и кара, а не мы, грешные.

— Та воно-то так, Мыкытовна, а бывает и вот еще как: одному разбойнику на исповеди в Киеве чернец задал такую покуту: — Возьмы, — говорить, — прощенный гришныче, два камени, свяжи их докупы сырцевым ремнем, перекинь через плечо, и когда ремень перервется, тогда твои грехи будут прощены. — Отож, идет он с тымы камнями через кладовыще и видит, что на свежей могиле блудный сын мать свою проклинае. — Господи, — говорит разбойник, — не одного я доброго человека послав на тот свет, дай пошлю и отого злодея-ругателя, — и только что убил его, ремень как ножом перерезало. — Вот что! — прибавил он значительно. — Так что же у вас там дальше происходило, Мыкытовна? — сказал он, подвигая к себе кухоль со сливянкою.

— А происходили, Степановичу, с п и в ы, та плясы, та полунощные банкеты, и добанкетовалися до того, что к концу зимы нечего было на стол поставить. Драгуния, знаете, наедет голодная, так тут хоть маки т ру пустую поставь на стол, то и ту съедят. Все, что ни поставь, бывало, как метлою метут. А когда не успеем, бывало, собрать во-время посуды, то и посуда полетит под стол, — сказано, пьяни люди! А сам сидит себе за столом, та знай в ладоши бьет, та кричит «ура!!» Сначала я не понимала этого слова и думала, что он сердится и ругает своих гостей, а вышло, что он рад был, когда они пустошили добро. Вот так-то они всю зиму просодомили та прогомóрили¹⁵, а весною, смотрим, наше поле не зеленеет; ни трава, ни жито, ни пшениця не зеленеют. Пришли и з е л е н ы е с в я т к и

(духов день), а поле черное, как будто на нем ничего и не сеяно. Уже и молебствовали, и воду в криницах святылы,— нет, ничто не возшло. Посеяли яровое, и зерно в земле погисло. Народ заплакал, скотина заревела с голоду, и, наконец, собаки завыли и разбежались, и, господь его знает, откуда эти волки взялись,— и днем, и ночью так, бывало, и ходят по селу. Это было горе, всесветное горе! Но нам было горе двойное. Одно то, что люди в селе пухли от голоду и здыхали, як ти собаки, без святой исповеди и причастия (отец Куприян сам занедужал); а другое наше горе было то, что наш князь, ничего этого не видя, назовет к себе гостей, свою драгуню из Козельца и с людьми, и с лошадьми, и с собаками, да и кормит их и поит целый месяц. А до того ему и дела нет, что у мужиков ни одной крыши не осталось, все скотина съела. Лесу даже не осталось ни одного дерева живого; все деревья — и дуб, и ясьень, и клен, и осыка, уж на что верба горькая — и та была оскоблена и съедена людьми. О, господи! Что-то голод делает с человеком! Посмотришь, бывало, совсем не человек ходит, а что-то страшное, зверь какой-то голодный, так что и взглянуть на него нельзя без ужасу. А дети-то, бедные дети! — просто пухли с голоду: лязят, бывало, по улице, как щенята, и только и знают одно слово:— Папы! папы!

Вы, может быть, думаете, что у нас хлеба не было? Мыши его ели в скирдах и в коморах; лет пять можно было б прокормить не только наше село, а весь Козелец. Так что ж ты будешь делать? — не дает людям.— Лучше,— говорит,— продам, когда вздорожает, а люди нехай дохнут, от них прибыли мало.— Катруся моя бедная заикнется, бывало, сказать слово про людей...— Молчать! — закричит он на нее, как на свою белую собаку.— Разве я не знаю, что делаю? — Она, бедная, и замолчит: выйдет в другую комнату, да в слезы, а я, на нее глядя, и себе туда же. Что будешь с ним делать? Сказано — зверь, а не человек! И бог ее святой знает, как она еще, бедная, дитя выносила?

Она была тогда уже на износе, этим самым дитям, что вы сегодня здесь видели,— говорила она,

обращаясь ко мне,— и когда, бывало, он заснет пьяный, то она дрожа, на цыпочках, пройдет мимо него в свою комнату, упадет на колени перед образом скорбной божией матери, помолится и так горько заплачет, так горько, так тяжко, что я и не видала никогда, чтобы люди так плакали. Мне даже страшно делалось. А когда он поедет на охоту со своею драгунией, тогда мы возьмем себе по мешку хлеба печеного,— я еще, бывало, говорю ей: — Не берите, не подымайте через силу,— вы сами видите, какие вы, я одна понесу.— Ничего,— говорит,— Микитовна (она меня тоже Микитовною звала),— ты только показуй мне, у кого есть маленькие дети и старые, немощные люди.— Вот мы и пойдем по хатам. Господи! чего я там насмотрелась! Поверите ли, что голодная мать вырывает из рук хлеб у своего умирающего дитяти! И волчица, я думаю, этого не делает! Что значит голод!

Раз зашли мы в одну хату, О! я этой хаты пока живу на свете не забуду! Отворили мы двери,— на нас так и пахнуло пустою. Входим и видим: посередине хаты на полу лежат двое худых-прехудых детей, только колени толстые. Одно уже совсем скончалось, а другое еще губками шевелит, а около них сидит мать, простоволосая, худая, бледная, в разорванной рубахе и без за п а с ки; а глаза у нее,— господи, какие страшные! и она ими не смотрит ни на детей, ни на кого, а так, бог знает на что смотрит. Когда мы остановились на пороге, она как будто взглянула на нас и закричала:— Не треба! не треба! хлиба! — Я вынула из мешка кусок хлеба и подала ей. Она молча обеими руками схватила его, задрожала и поднесла к губам умершего дитяти и потом захохотала. Мы вышли из хаты.

— Да, ты таки, Мыкитовна, видела на своем веку багато дечого! — говорил хозяин, с участием глядя на старушку.

— И не говорите, Степановичу! Не приведи господи никому того видеть, что я видела.

— Господь его милосердный знает,— продолжал хозяин, обращаясь ко мне,— как это воно всё мудро да хитро устроено на свете! Я про себя скажу: меня эти проклятые голодные годá просто на ноги поста-

вили. У меня своего хлеба таки было довольно, да у людей еще прикупил, как будто знал, что будут неурожай. Вот как настал голодный год, ко мне все и сунулись за хлебом. Я, хотя и вчетверо продавал дешевле, нежели паны жидам продавали, а все-таки выручил порядочную копейку. Чумаки мои одну зиму зимовали с х у д о б о ю на Дону, а другую перезимовали за Днестром, а там голоду не было; волю, слава богу, и чумаки вернулись живи и здорови, да еще и соли и рыбы мени привезлы, а хлиб святой дома проданный. Вот у меня и г р ó ши, и скотина, слава богу, жива и здорова. Так и бог сго знает, как это воно так делается на свете, так дивно! — прибавил он, обращаясь к рассказчице.

— Такой уже ваш талан, Степановичу, — сказала она, вздыхая. — За то вам и господь посылает, что вы в нужде людей не оставляете! Вот хоть бы и я теперь, если бы не вы, куда бы я приклонилась с этою бедною сиротою? Хоть с горы та в воду...

— Господь с вами, Мыкытовна! Мы свои люди. С кем же нам делиться, как не с вами? А тымчасом продолжайте, Мыкытовна, а то, може, нашому гостеву и заснуть треба, — говорил он, на меня поглядывая.

— Кое-как прошло лето, — продолжала старушка. — Осени мы и не видели, разом наступила зима — да лютая такая, да жестокая: и холод, и голод разом посетил нас. Лес, ободранный весь, высох, а князь, наш хозяин, запретил его на дрова рубить. — Кто, — говорит, — хоть веточку срубит, того, — говорит, — в гроб вгоню. Лес славный, сухой, летом примусь, — говорит, — палаты себе строить. Я люблю простор, мне нужен дворец, а не лачуга хохлацкая, в которой я теперь гнезджуся, как медведь в берлоге! — И люди, бедные, и мерзли, и мерли. А что с ним будешь делать? Сказано — пан, что хочет, то и делает.

На первой неделе филипповки разрешилась она, бедная, от бремени и не хотела взять мамку, а сама кормила свое дитя. Вскоре после крестин поехал он в Козелец к товарищам и прогостил у них целую неделю. Отдохнули мы без него немного, слава богу. Только ночью, мы уже спать легли, приезжает он,

ломится в двери да кричит. Я вскочила, отворила дверь, достала огня, только смотрю, какая-то женщина с ним, в картузе и в офицерской шинели. Как крикнет он на меня: — Что ты, — говорит, — глаза вытаращила? Пошла вон, дура! — Я и ушла в свою комнату.

На другой день, за чаем, он сказал Катруся:

— Знаешь, душенька, какой сюрприз мне сделала сестрица? Не написавши мне ни слова, что хочет с тобою лично познакомиться, взяла да и приехала, как говорится, не думавши. Такая, право, ветреница! И вообрази себе, на перекладных ведь приехала, — настоящая гусар-баба. Просто одолжила! Вчера, вообрази себе, подхожу я к почтовой станции, смотрю, тройка у ворот стоит совсем готовая. Я остановился: дай, думаю, посмотрю, кто такой поедет. Только смотрю, выходит дама. Я, знаешь, этак того... ты прости меня, душоночек, — проклятая привычка! Смотрю... и представь себе мой восторг! — это была моя сестра. Тут мы, разумеется, бросились в объятия друг другу.

— А я и не знала, что у тебя есть сестра, — проговорила Катруся.

— Как же, есть, и не одна, а две. Одна замужем за графом Горбатовым, — та постоянно живет в столице при дворе; она бы тоже ко мне прикатила, но, знаешь, нельзя: она слишком заметна при дворе. Я тебе, душенька, свою сестрицу сейчас представлю.

Как полотно побледнела моя бедная Катруся: она, верно, бесталанная, догадалась, какая это будет сестрица. Через минуту он ввел под руку женщину, не знаю — молодую, не знаю — старую, — за белилами та румянами нельзя было узнать.

— Рекомендую тебе, душенька: княжна Жюли Мордатова.

И она вертляво поклонилась, проговорила что-то, не знаю — по-русски, не знаю — по-польски, — я ничего не разобрала, да Катруся, думаю, тоже, потому что она ей и головою не кивнула, а только побледнела пуще прежнего.

— Ты извини ее, друг мой, она у меня еще институтка, по-русски почти слова не выговорит, а в высшем кругу в русском языке никакой нет надобности. Да я

про себя скажу: я до двадцати лет не умел по-русски двух слов сказать. У нас в Грузии почти все равно, что и в столице, никто по-русски не говорит,— всё по-французски. Такая мода, мой друг! Мы и свою крошку в столицу в институт пошлем, не правда ли?

Катруся не могла долее вытерпеть. Она молча встала и ушла в детскую, и я ушла за нею. А Катерина Лукьяновна осталась одна со своими князьями.

Я была бы счастлива, Степановичу, если бы я забыла то, что у нас творилось в доме... Но бог меня, не знаю за что, памятью покарал.

После этой проклятой сестры я ни на одну минуту не оставляла моей Катруси, да и она, моя бесталанница, с той поры ни шагу не выступала из своей комнаты. Господи! Святая Катерино великомученице, страдала ли ты так, как она, моя бедная Катруся, страдала? Бывало, день плачет, ночь плачет. Я уже не знала, что с нею и делать. Вот она плакала, плакала, да и начала уже в уме мешаться. Я хотела было ребенка отнять от груди, нет, не дает: — Умру, — говорит, — с ним вместе, нехай мене в одну труну положат с ним, пускай, что хотят, делают, а я его никому не отдам! — Что же мне было делать с нею? Я так и оставила дитя. Смотрю только, бывало, да плачу. Катерина Лукьяновна тоже, бывало, зайдет в нашу комнату, посмотрит на свою княгиню — и, хоть была гордая, заплачет и выйдет из комнаты.

А тут же рядом, в других комнатах, песни да музыка, точно в корчме на перекрестном шляху, а жидовка Хайка, что князь назвал своею сестрицею, так и носится с драгунами, и поет, и пляшет, и всякие фигуры выделывает, отвратительная, — даже трубку курила!

Катруся моя бедная сначала показывала вид, что ничего не видит и не слышит; а после уже ей, сердечной, невмоготу стало, да что станешь делать с таким иродом? У нашей сестры, сказано, одни слезы, ничего больше не осталось. А слезы что? Вода! Ох! Не одну реку пролила она этой горькой воды! А он, как ни в чем не бывало, зайдет к ней иногда, да еще спрашивает: — Как ты себя чувствуешь? — Как будто ослеп — прости ты меня, господи, — не видит, что ее, бедную,

едва ноги носят.— Не послать ли, друг мой, в Козелец за полковым штаб-доктором? — Не нужно,— скажет она, да и замолчит.— Ну, как знаешь; это твое дело, а не мое, я в твои дела, друг мой, никогда не мешаюсь,— скажет, бывало, и уйдет, хлопнувши дверью.

Только мы и свет божий видели, когда, бывало, он уедет куда-нибудь недели на две, на три к своим товарищам драгунам. Тогда мы без него вымоем, выскоблим полы и выветрим хоть немного покон, а то просто конюшня конюшнею. Раз он тоже ночью приехал и привез с собою другую сестру, уже не жидовку, а полячку или цыганку, кто ее знает,— помню только, что была черная,— и хотел тоже рекомендовать Катрuse, только она его и в комнату не пустила.

Зима уже близилась к концу. Как раз на середокрестной мужики наши, собравшись громадою, пришли к нему просить зернового хлеба для посева. Что ежели, говорят, бог уродит, то они ему его добро возвратят седмерицею. Куда тебе! И выговорить слова не дал, прогнал их, бедных, да еще и собаками притравил. Хотела было вступить за них сама Катерина Лукьяновна, да как он гаркнет на нее: — Молчать! — говорит.— Не ваше дело: я сам знаю, что я делаю. Я в ваши чепцы да кофты не мешаюсь, так прошу не вмешиваться и в мои распоряжения.— Сказавши это, кликнул своего Яшку и велел закладывать тройку, чтобы ехать куда-нибудь к своим драгунам.

Когда он уехал, Катерина Лукьяновна пошла в клуню, чтобы выбрать полускирдок жита и пшеницы, да и велеть смолотить мужичкам для семян: она думала, что он по своему обыкновению долго проездит. Посмотрела около клуни — и половины скирд хлеба не досчитала.— А куда же всё это делось? — спрашивает она у токового. А токовой отвечает, что сам князь по частям все жидам продавал, да половину уже и продали: и солому, и полу — всё продали жидам, а жида, разумеется, солому — драгунам, а полу (мякину) — нашим же мужикам, а они, бедные, и полове были рады! — Катерина Лукьяновна выбрала одну скирду жита, а другую пшеницы и велела мужикам молотить.— Только поскорее,— говорит,— молотите, а то

приедет князь, так он не даст вам ничего.— Так и сталося! На другой день, только что начали молотить, глядь! — въезжает сам на двор.— Что вы делаете, мошенники? — Крикнул на них.— Как вы посмели? Кто вам приказал? Я вас! — да как выхватил нагайку у кучера или у Яшки, да как принялся молотников молотить, так так, что ни одного на току не осталось, все разбежались. Досталось же и Катерине Лукьяновне за эту молотьбу! Она, бедная, три дня с постели не вставала!

После этого он уже всё дома банкетовал, никуда не ездил аж до зеленых свят. А на самой зеленой неделе и выехал он куда-то со своим Яшкою. Катерина Лукьяновна опять послала за мужиками и велела им намолотить хоть сколько-нибудь ярового хлеба для посева, потому что, благодаря бога, дожди перепали и земля таки порядочно позеленела. Только что принялись они молотить просо и гречиху, как в тот же день возвращается он сам, а за ним видимо и невидимо драгуния, как орда тая за Мамаем¹⁶, валит. Кто на мужицком возу, а кто так просто без седла верхом, а денщики — те, бедные, пешком и босиком, только с трубкою да кисетом в руках, плелись за своими драгунами.

Как только что на порог он вступил, кликнул своего Яшку и приказал ему, чтобы к трем часам был готов обед на 50 персон, к трем часам непременно, а ужин ввечеру на 100 персон, тоже чтоб был готов непременно.— Для обеда и для ужина стол накрой в саду. Полно,— говорит,— в этой конюшне валяться, теперь можно и на подножный выйти.— А червонцами так и гремит в карманах.— Да слушай,— говорит,— скажи приказчику, чтобы завтра всех мужиков выгнал хлеб молотить. Нужно весь перемолотить, сколько его ни есть.— Вот тут-то мы и догадались, [откуда] у него червонцы взялись.— Неужели он весь хлеб продал? — говорит Катерина Лукьяновна.— Что же люди, бедные, посеют?

А драгуния тымчасом со всею мизериею, не заходя в покои, отправилась прямо в сад и покотом на траве лежала и сквернословила да трубки курила,

чока он не велел вынести им водку. Все стулья и столы тоже в сад вынесли. Велел было и из спальни всё забрать, да мы замкнулись и не пустили его к себе. Он выругался за дверью по-своему, по-московскому, и оставил нас в покое. Пока приготовляли обед, драгуния гуляла по саду и пила водку, расставленную чуть ли не под каждым деревом в больших графинах, а другие гости тоже пили водку и в карты играли. Наш князь с ними тоже пил и играл в карты, и все червонцы, что получил от жида как задаток за хлеб, проиграл, потому что бросил на землю карты и вышел из-за стола, а товарищи его захохотали. Всё это я в окно видела.

Смеркало уже, когда Яшка с другими денщиками начали накрывать на стол. Поставили столы, а на столы положили длинные доски, простые дубовые доски, и покрыли их холстом, потому что у нас хоть и была длинная скатерть, но Катерина Лукьяновна не дала ее, чтобы не испортили иногда пьяные гости, а скатерть была дорогая. Поставили на столе в трех местах свечи, а чтоб светлее было, то по концам длинного стола зажгли смоляные бочки. И только что вся драгуния села за стол, откуда ни возьмись полковые трубачи, да как грянут, так только земля задрожала! Не успели они и одного марша проиграть, смотрю, клуня наша загорелась: смоляные бочки так и сыплют искры на скирды и на клуню, а гости смотрят и, звычайне, пьяные, знай хохочут да кричат «ура!».

— Катрусю, — говорю, — сердце мое, посмотрите, — говорю, — клуня наша горит, что мы будем делать? Смотрю, а она — неживая. Я к Катерине Лукьяновне, и та без чувств лежит. Я на нее брызнула холодной водой, она очнулася. — Спасайте, — говорю, — Катрусю с младенцем, а то сгорит. Скирды уже все загорелися, скоро дойдет и до дома. — Насилу-то, насилу мы ее в чувство привели, взяли ее под руки и вывели из дому. Я хотела было дитя взять у нее, но она его из рук не выпускала и только шептала: — Не дам, никому не отдам, сама его похороню. — Мы испугались, она как-то страшно всё это шептала. Мы повели ее через греблю, прямо к вам, Степановичу, в хату, — дай вам бог доб-

рое здоровье,— сказала она, обращаясь к хозяину,— и уже из вашей хаты я видела это проклятое пожарище.

И господь его знает, откуда тот ветер взялся. Снопы так прямо и летели на будынок из скирд, а потом ветер как будто переменялся, когда загорелись будынки, и поворотил прямо на хаты. Через минуту всё село запылало.— Пропали мы,— говорю я мой Катруси; а она, моя бедная, лежит, только головою мне кивает и языка во рту не поворотит.— Катрусю! Катрусю! — кричу я. Не слышит. Я стою ни жива, ни мертва.— Катрусю! — едва проговорила я. Она вдруг вскочила, посмотрела вокруг себя, да как бросит своего бедного ребенка на пол и как закричит не своим глосом, да и ну на себе волосы рвать. Я вижу, что она не в своем уме, взяла дитя и вынесла в другую хату. А ее, бедную, мы со Степановичем кое-как уласкали, да завернули ее в рядно (в простыню), да и стали лить ей холодную воду на голову. Она пришла в себя, да и говорит: — Не буду, не буду! — А что и чего не буду? — она и сама не знала, что говорила. Потом она захохотала, потом начала петь, а потом запела, да так жалобно, так страшно запела, что мы выбежали из хаты. Так она, бедная, промучилась до самого рассвета. Перед зарницею она немного успокоилась, а я тем временем села у окна и смотрела, как наше бедное село догорает. Над ним кое-где только дым дымился, ничего не осталось! И дом, и клуня, и село,— все пропало. Остались одни дымари да печи от господского дому, а от мужичьих хат и того не осталось, потому что у них не каменные. Остался только сад, почерневший от дыму. Стоит себе в стороне, да такой черный и страшный, что я и смотреть на него боялася.

Заплакала я, грешная, глядя на это пожарище: что будешь делать? На все его святая воля. Разбудила я Катерину Лукьяновну и говорю ей: — Что же мы теперь будем делать? Где мы приютимся? Куда мы денемся с нашею бедною Катрусю? — А что? — говорит она.— А то,— говорю я,— что она не в своем уме, что она помешалася.— А ребенок? — говорит она.— Ребенка,— говорю я,— я от нее отняла, а то она его чуть было не задушила.— Вскочила она и, простоволосая,

выбежала на двор и кричит, чтобы бричку скорее заложили. Только видит, что двор чужой,— сна и замолчала, посмотрела на ту сторону гребли, ахнула, затрепетала и, как неживая, упала ко мне на руки. Когда пришла в себя, то сказала: — Где же княгиня? (Она всегда ее так называла.) Покажи мне ее.— Мы пошли в комору, где была заперта Катруся. Когда мы вошли к ней, то она, бедная, сидела на полу в одной рубашке и с растрепанной косою и вся, как огонь, горела, несмотря на то, что в коморе было довольно-таки холодно. В руках держала она свое искомканное платье и прижимала его к груди своей. Когда мы вошли, она взглянула на нас и шопотом сказала: — Спит.— Мы вышли из коморы. Страшно было смотреть на нее, бедную, а Катерина Лукьяновна, как ни в чем не бывало, и не вздохнула даже. А не кто другой, как она, она сама всему причина. Не осуди ее, господи, на твоём праведном суде!

Помолчавши немного, она обратилась ко мне и сказала: — Марино! нужно достать где-нибудь экипаж и лошадей да отвезти ее в Чернигов или в Киев. До Киева, кажется, будет ближе, но где мы лошадей и экипаж достанем? Хоть бы бричку какую-нибудь. — А лошадей,— говорю я,— нам и Степанович даст. Только брички у него нет, а простая мужицкая повозка есть.— Попроси,— говорит она,— хоть простой повозки.

Я выпросила у Степановича, спасибо ему, и коней и повозку. Наложили мы в повозку сена да покрыли рядом и положили ее, бедную, в повозку; около нее села сама Катерина Лукьяновна, да и повезли ее в Киев, в Кирилловский монастырь. Вот тебе, Катерина Лукьяновна, и княгиня. Теперь любуйся ею!

Старушка замолчала и тихо заплакала, а хозяин прибавил:

— Да, таки нечего сказать, хорошая княгиня!

— А что же случилось с князем? — спросил я.

— А господь его знает! — отвечала старушка.— Перед великоднем драгуня выступила в поход из Козельца, то, может быть, и он выступил с нею. Только мы его с той ужасной ночи уже не видали.

— И князь хороший, нечего сказать! — прибавил хозяин. — Хоть бы дитя проведал, проклятый!

— Господь с ним, Степановичу! Пускай лучше не проведывает, — сказала старушка и, выходя из хаты, пожелала нам спокойной ночи.

На другой день поутру, пока жидок мой подмазывал бричку и закладывал своих тощих лошадей, я сидел под хатою на призьбе и смотрел на противоположный берег Трубежа, на грустные остатки погоревшего села, невольно восклицая: — Вот тебе и село! Вот тебе и идиллия! Вот тебе и патриархальные нравы! — И тому подобные восклицания срывались у меня с языка, пока бричка не высунулась на улицу. Поблагодарив хозяина за его бескорыстное гостеприимство, я отправился своей дорогой.

Через несколько дней я был уже в Киеве и, поклонившись святым угодникам печерским, в тот же день посетил я Кирилловский монастырь. И увы! лучше было б не посещать его. Я слишком убедился в горькой истине печального этого рассказа, так неотрадно приветствовавшего меня на моей милой родине.

К. Дармограй¹⁷.

МУЗЫКАНТ





Если вы, благосклонный читатель, любитель отечественной старины, то, проезжая город Прилуки П[олтавской] г[убернии], советую вам остановиться на сутки в этом городе, а если это случится не осенью и не зимою, то можно остаться и на двое суток, и, во-первых, познакомьтесь с отцом протоиереем Илиею Бодянским¹, а во-вторых, посетите с ним же, отцом Илиею, полуразрушенный монастырь Густыню², по ту сторону реки Удая, верстах в трех от г. Прилуки. Могу вас уверить, что раскаиваться не будете. Это настоящее Сенклерское аббатство³. Тут всё есть: и канал глубокий и широкий, когда-то наполнявшийся водою из тихого Удая, и вал, и на валу высокая каменная зубчатая стена со внутренними ходами и бойницами, и бесконечные склепы, или подземелья, и надгробные плиты, вросшие в землю, между огромными суховерхими дубами, быть может, самим ктитором насажденными. Словом, всё есть, что нужно для самой полной романтической картины, разумеется, под пером какого-нибудь Скотта Вальтера или ему подобного писателя природы. А я... по причине нищеты моего воображения (откровенно говоря) не беруся за такое дело, да у меня, признаться, и речь не к тому идет. А то я только так, для полноты рассказа, заговорил о развалинах Самойловичевого памятника⁴.

Я, изволите видеть, по поручению Киевской археографической комиссии⁵, посетил эти полуразвалины и, разумеется, с помощью почтеннейшего отца Илии, узнал, что монастырь воздвигнут коштом и пра-

цею несчастного гетмана Самойловича в 1664 году, о чем свидетельствует портрет его яко ктитора, написанный на стене внутри главной церкви.

Узнавши всё это и нарисовавши, как умел, главные, или святые, ворота, да церковь о пяти главах, Петра и Павла, да еще трапезу и церковь, где погребен вечныя памяти достойный князь Николай Григорьевич Репнин⁶, да еще уцелевший циклопический братский очаг,— сделавши, говорю, всё это, как умел, я на другой день хотел было оставить Прилуки и отправиться в Лубны осмотреть и посмотреть на монастырь, воздвигнутый набожною матерью Иеремии Вишневецкого Корибута⁷. Сложил было уже всю свою мизерию в чемодан и хотел фактора Лейбу послать за лошадьми на почтовую станцию, только входит мой хозяин в комнату и говорит:

— И не думайте, и не гадайте. Вы только посмотрите, что на улице творится.

Я посмотрел в окно — и действительно, вдоль грязной улицы тянулося две четырехместные кареты, несколько колясок, бричек, вагонов разной величины и, наконец, простые телеги.

— Что всё это значит? — спросил я своего хозяина.

— А это значит то, что один из потомков славного прилуцкого полковника⁸, современника Мазепы, завтра именинник.

Хозяин мой, нужно заметить, был уездный преподаватель русской истории и любил щегольнуть своими познаниями, особенно перед нашим братом, ученым.

— Так неужели весь этот транспорт тянется к имениннику?

— Э! Это только начало, а посмотрите, что будет к вечеру: в городе тесно будет.

— Прекрасно. Да какое же мне дело до вашего именинника?

— А такое дело, что мы с вами возьмем добрых тройку коней да и покатым чуть свет в Дигтяри.

— В какие Дигтяри?

— Да просто к имениннику.

— Я ведь с ним не знаком!

— Так познакомитесь.

Я призадумался.— А что в самом деле, не махнуть ли по праву разыскателя древностей полюбоваться на сельские импровизированные забавы? Это будет что-то новое. Решено! — И мы на другой день поехали в гости.

Начать с того, что мы сбились с дороги, не потому, что было еще темно, когда мы выехали из города, а потому, что возница (настоящий мой земляк!), переехавши через удайскую греблю, опустил вожжи, а сам призадумался о чем-то, а кони, не будучи глупы, и пошли роменскою транспортной дорогой, разумеется, по привычке. Вот мы и приехали в село Иваныцу; спрашиваем у первого встретившегося мужика, как нам проехать в Дигтяри?

— В Дигтяри? — говорит мужик.— А просто бегить на Прилуку.

— Как на Прилуки? Ведь мы едем из Прилук.

— Так не треба було вам и издыть с Прилуки,— отвечал мужик совершенно равнодушно.

— Ну, как же нам теперь проехать в Дигтяри, чтобы не возвращаться в Прилуки? а? — спросил я.

— Позвольте, тут где-то недалеко есть село Сокиринцы, тоже потомка славного полковника. Не знает ли он этого села?

— А Сокиринцы, земляче, знаешь? — спросил я у мужика.

— Знаю! — отвечал он.

— А Дигтяри от Сокиринец далеко?

— Ба ни.

— Так ты покажи нам дорогу на Сокиринцы, а там уж мы найдем как-нибудь Дигтяри.

— Ходим за мною,— проговорил мужик и пошел по улице впереди нашей удалой тройки.

Он повел нас мимо старой деревянной одноглавой церкви и четырехугольной бревенчатой колокольни, глядя на которую я вспомнил картину незабвенного моего Штернберга «Освящение пасок», и мне грустно стало. При имени Штернберга⁹ я многое и многое вспоминаю.

— Оце вам буде шлях просто на Сокрынці! — го-

ворил мужик, показывая рукою на едва заметную дорожку, блестящую между густой зеленой пшеницей.

Замечательно, что возница наш в продолжение всей дороги от Прилуки до Иваныцы и во время разговора моего с мужиком всё молчал и проговорил только, когда увидел из-за темной полосы леса крытый белым железом купол:

— Вот вам и Сокирынцы! — и опять онемел. Это общая черта характера моих земляков. Земляк мой, если что и впопад сделает, так не разговорится о своей удали, а если, боже сохрани, опростофилится, тогда он делается совершенной рыбой.

В Сокиринцах мы узнали дорогу в Дигтяри и поехали себе с богом между зеленою пшеницею и житом.

Товарищу моему, кажется, не совсем нравилось такое путешествие, тем более, что он имел претензию на щеголя. (А надо вам заметить, мы были одеты совершенно по-бальному.) Он, как и возница наш, тоже молчал и не проговорил даже «а вот и Сокиринцы!» — так был озлоблен пылью и прочими дорожными неудачами. Я же, несмотря на фрак и прочие принадлежности, был совершенно спокоен и даже счастлив, глядя на необозримые пространства, засеянные житом и пшеницею. Правда, и в мое сердце прокрадывалась грусть, но грусть иного рода. Я думал и у бога спрашивал: — Господи, для кого это поле засеяно и зеленеет? — Хотел было сообщить мой грустный вопрос товарищу, но, подумавши, не сообщил. Когда бы не этот проклятый вопрос, так некстати родившийся в моей душе, я был бы совершенно счастлив, купаясь, так сказать, в тихо зыблемом море свежей зелени. Чем ближе подвигались мы к балу, тем грустнее и грустнее мне делалось, так что я готов был поворотить, как говорится, оглобли назад. Глядя на оборванных крестьян, попадавшихся нам навстречу, мне представлялся этот бал каким-то нечеловеческим весельем.

Так ли, сяк ли, мы, наконец, добрались до нашей цели уже перед закатом солнца. Не описываю вам ни великолепных дубов, насажденных прадедами, составляющих лес, освещенный заходящим солнцем, среди которого высится бельведер¹⁰ с куполом огромного

барского дома, ни той широкой и величественной просеки или аллеи, ведущей к дому, ни огромного села, загроможденного экипажами, лошадьми, лакеями и кучерами,— не описываю потому, что нас встретила, перед самым въездом в аллею, бесконечная кавалькада амазонок и амазонов¹¹ и совершенно сбила меня с толку. Но товарищ мой не оробел; он ловко выскочил из телеги и хватски раскланивался со всею кавалькадою, из чего я заключил, что он порядочный шутник. По мшинованию амазонок, амазонов и, наконец, грумов¹² или жокеев, я тоже вылез из телеги, расплатился с нашим возницею, сказавши ему на вопрос: — Де ж я буду ночевать? — В зеленый диврови, земляче! — после чего он посвистал и поехал в село, а мы скромно пошли вдоль великолепной аллеи к барскому дому. Но чтоб придать себе физиономию хоть сколько-нибудь похожую на джентльменов, зашли мы в так называемый холостой флигель, отстоящий недалеко от главного здания, где встретили нас джентльмены самого неблагопристойного содержания. Обыкновенно бывает, что люди после немалосложного обеда и нешуточной выпивки предаются сновидениям, а у них как-то вышло это напротив. Они скакали, кричали и чорт знает что выделявали, и все, разумеется, в шотландских костюмах. Цинизм, чтобы не сказать мерзость, и больше ничего! *Виргилий*¹³ мой добился кое-как умывальника с водой и лоханки, и мы, в коридоре умывши свои лики и согнавши пыль с фраков посредством вытряхиванья, отправились в сад, в надежде встретиться с хозяевами.

Надежда нас не обманула. Мы вошли сначала в дом и, пройдя две залы, очутились на террасе, уставленной роскошнейшими цветами; спустившись с террасы и пройдя дорожкой, тщательно песком усыпанной, через зеленую площадь (из патриотизма называемую *л е в а д о ю*), вошли мы в сад, к немалому моему удивлению, не в английский и не в французский сад, а в простой естественный дубовый лес, или в дуброву. И если б не желтые дорожки блестели между старыми темными дубами, то я совершенно забыл бы, что нахожусь в барском саду, а не в какой-нибудь заповедной дуброве. *Виргилий* мой подвел меня к высокому

раскидистому огромному дубу и показал мне на стволе его небольшое отверстие вроде маленького окошечка, сказавши: — Посмотрите-ка в это оконце! — Я посмотрел и, разумеется, ничего не увидел. — Посмотрите пристальнее! — Я посмотрел пристальнее и увидел что-то вроде иконы божьей матери. И действительно, это была икона иржавецкой божией матери, как мне пояснил мой Виргилий, врезанная в этот дуб знаменитым прилуцким полковником год спустя после Полтавской битвы ¹⁴.

Слушая пояснения сего исторического факта, я и не заметил, как мы вышли опять на леваду, где и встретили хозяина и хозяйку, окруженных толпою улыбающихся гостей своих.

Виргилий мой, довольно ловко для уездного преподавателя, расшаркнулся перед хозяином и хозяйкой, причем хозяин протянул ему покровительственно указательный палец левой руки, украшенный дорогим перстнем. Виргилий мой с подобострастием схватил его палец обеими руками и рекомендовал меня, как своего друга и ученого собрата. Я в свою очередь тоже расшаркнулся, надо сказать правду, довольно по-ученому, то есть по-медвежьи, после чего толпа гостей увеличилась двумя членами.

Не описываю вам ни хозяйки, ни хозяина, потому что во время нашей аудиенции на дворе было почти темно, следовательно, подробностей рассмотреть было невозможно. А как ни будь хороша картина в целом, но если художник пренебрег подробностями, то картина его останется только эскизом, на который истинный знаток и любитель посмотрит и только головой покачает, и отойдет со вздохом к портретам Зарянка ¹⁵ восхищаться гербами, с убийственной подробностью изображенными на пуговицах какого-нибудь вицмундира.

Во избежание помавания главы знатока и любителя оконченных картин, я ограничусь только первым впечатлением, что, по мнению психологов, самая важная черта при изображении характеров.

Первое впечатление, произведенное на меня хозяйкою, было самое приятное впечатление, а хозяином —

напротив. Но это, быть может, указательный палец левой руки, так благосклонно протянутый моему приятелю, был причиною такого неприятного впечатления.

Веселая толпа гостей тихонько двигалась к дому, уже освещенному ярко внутри, а на террасе, между роскошными цветами и лимонными деревьями, только еще разноцветные фонари развешивали.

Лишь только хозяин с хозяйкой вступили на террасу, как крепостной оркестр грянул знаменитый марш из «Вильгельма Телля»¹⁶, после марша сейчас же, не переводя духу, полонез, и бал начался во всем своем величии.

Некий ученый муж, кажется, барон Бодэ, поехал из Тегерана к развалинам Персеполиса¹⁷ и описал довольно тщательно свое путешествие до самой долины Мардашт; увидевши же величественные руины Персеполиса, сказал: — Так как многие путешественники описывали сии знаменитые развалины, то мне здесь совершенно нечего делать. — Я то же могу сказать, глядя на провинциальный бал, хотя мое путешествие не имело цели описания провинциального бала и не было сопряжено с такими трудностями, как путешествие из Тегерана к развалинам Персеполиса, да и сравнение, надо правду сказать, я делаю самое неестественное. Да что делать, — что под руку попало, то и валяй.

Любую повесть прочитайте современной нашей изящной словесности, везде вы встретите описание, если не столичного, то уж непременно провинциального бала, и, разумеется, с разными прибавлениями насчет нарядов, хваток или манер и даже самых физиономий, как будто природа для провинциальных львиц и львов особенные формы делала. Вздор! Формы одни и те же, и львицы и львы одни и те же, и ежели есть между ними разница, так это только та, что провинциальные львы и львицы немножко ручнее столичных, чего (сколько мне известно) писатели провинциальных балов не заметили.

Следовательно, все балы описаны, начиная от бала на «Фрегате Надежда»¹⁸ до русской пирушки на немецкий лад, где усть-сысольские ребята немножко пошались.

И в отношении провинциального бала я могу сказать смело, что мне совершенно нечего делать, как только любоваться свежими, здоровыми лицами провинциальных красавиц.

Одно меня немного озадачило на этом бале, именно то, что не видно было ни одного мундира, несмотря на то, что в Прилуцком уезде квартировал стрелковый батальон. Не постигая сей причины, я обратился к моему Виргилию.

А Виргилий мой в эту самую секунду выделял в кадрили па самым классическим образом. Я терпеливо ожидал конца последней фигуры кадрили, а между тем разгадывал вопрос предположениями.— Может быть,— думал я,— они того? — Но нет, эта профессия принадлежит более гусарам и вообще кавалерии, а ведь они пехотинцы, да еще с ученым кантом. Нет, тут что-нибудь да не так!

В эту минуту кадрили кончилась, и вспотевший мой Виргилий подошел ко мне.

— А! какво пляшем! — проговорил он, утираясь.

— Ничего, изрядно,— отвечал я рассеянно.

— А вот что,— сказал я ему почти шопотом,— отчего это военных нет на бале?

— Их почти нигде не принимают, тем более в таком доме, как дом нашего амфитриона¹⁹.

— Странно! — подумал я и, подумавши, спросил:

— А барышни ничего?

— Ничего.

— Таки совершенно ничего?

— Совершенно ничего!

В это время заиграли вальс, и ментор мой завертелся с какой-то аппетитною брюнеткой. А я, протолкавшись кое-как между зрителей и зрительниц, т. е. между горничных и лакеев, столпившихся у растворенных дверей, вышел на террасу и думал о том, [как]

Мы подвигаемся заметно.

Бал был увенчан самым роскошным ужином и не sprыснут, не запит, а буквально был залит шампанским всех наименований. Меня просто ужаснула такая роскошь.

После ужина амфитрион предложил гросс-фатер²⁰, что и было принято с восторгом счастливыми гостями.

Гросс-фатер начался и продолжался со всей деревенской простотой до самого восхода солнца.

Красавицы, особенно красавицы вроде героинь покойного Бальзака²¹, т. е. красавицы не первой свежести, не советую вам танцовать до восхода солнечного! Власть, утвержденная при свете свечей над нашим бедным сердцем, распадается при свете солнца, и обаяние, навеянное вами в продолжение ночи, сменяется каким-то горько-неприятным чувством, похожим на пресыщение. Но вы, алчные пожирательницы бедных сердец наших, в торжестве своем и не замечаете, как близится день, и могущество ваше исчезает, как тот прозрачный туман, разостлавшийся над болотом.

Так думал я, оставляя веселый, непринужденный гросс-фатер и пробираясь между дубами к нашему лагерю (гости не помещались в зданиях: разбивалось несколько палаток в конце сада, что и означало лагерь, или, ближе, цыганский табор). Приближаясь к палаткам, блестящим на темной зелени, я, к немалому моему удивлению, услышал песни и хохот в одной палатке. То были друзья-собутыльники, предпочитавшие мирскую суету уединению, нельзя сказать совершенному. Я кое-как прокрался в свою палатку, наскоро переменял фрак на блузу и скрылся в кустах орешника.

Я не знал, что к саду примыкает пруд, и мне показалось странным, когда густые, темные ветви орешника стали рисоваться на белом фоне. Я вышел на полянку, и мне во всей красе своей представилось озеро, осененное старыми берестами, или вязами, и живописнейшими вербами. Чудная картина! Вода не шелочнется,— совершенное зеркало, и вербы-красавицы как бы подошли к нему группами полюбоваться своими роскошными широкими ветвями. Долго я стоял на одном месте, очарованный этой дивною картиной. Мне казалось святотатством нарушить малейшим движением эту торжественную тишину святой красавицы-природы.

Подумавши, я решился, однако ж, на такое святотатство. Мне пришло в голову, что недурно было бы окупиться раза два-три в этом волшебном озере, что я тотчас же и исполнил.

После купанья мне так стало легко и отратно, что я вдвойне почувствовал прелесть пейзажа и решился им вполне насладиться. Для этого я уселся под развесистым вязом и предался сладкому созерцанию очаровательной природы.

Созерцание, однако ж, не долго длилось; я прислонился к бересту и безмятежно уснул. Во сне повторилась та же самая отрадная картина, с прибавлением бала, и только странно — вместо обыкновенного вальса, я видел во сне известную картину Гольбейна «Танец смерти»²².

Видения мои были прерваны пронзительным женским хохотом. Раскрывши глаза, я увидел резвую стаю нимф²³, плескавшихся и визжавших в воде, и мне волею-неволею пришлось разыграть роль нескромного Актеона-пастуха²⁴. Я, однако же, вскоре овладел собою и ползком скрылся в кустарниках орешника.

В одиннадцать часов утра посредством колокола сказано было холостым гостям, что чай готов (женатые гости наслаждались им в своих номерах). На сей отраднейший благовест гости потянулись из своих уединенных приютов к великолепной террасе, украшенной столами с чайными приборами и несколькими пузатыми самоварами и кофейниками.

Не успел я кончить вторую чашку светлокориичевого сиропа со сливками, как грянул вальс, и в открытые двери в зале я увидел вертящихся несколько пар.— Когда ж они навернутся? — подумал я и, сходя с террасы, встретил своего Просперо²⁵, который сообщил мне по секрету, что сегодняшней вечер начнется концертом, чему я немало обрадовался, хоть, правду сказать, многого и не ожидал. Я, однако же, ошибся.

Вскоре после вечерней прогулки гости собрались кто в чем попало, т. е. кто в сюртуке, кто в пальто, а кто держался хорошего тона или корчил из себя анг-

ломана, — такие пришли во фраках. А о костюмах нежного пола и говорить нечего. Это уже всему миру известно, что ни одна [женщина], в какой бы степени ни была она красавица, не задумается раз двадцать в сутки переменить свой костюм, если имеет в виду встретить толпу, хотя бы даже уродов, только не своей породы. Прошу не прогневаться, мои милые читательницы, — это не сочинение, а неопровержимый факт.

Гости собрались и заняли свои места, разумеется, с некоторою сортировкой: что покрупнее, выдвинулось вперед, а мелочь (в том числе и нас, господа, устрой) поместилась кое-как впотьмах, между колоннами. Когда всё пришло в порядок, явился на подмостках, вроде сцены, вольноотпущенный капельмейстер, довольно объемистой стати и самой лакейской физиономии.

— Ученик знаменитого Шпора! ²⁶ — кто-то шепнул возле меня.

Еще миг, и грянула «Буря» Мендельсона ²⁷. И, правду сказать, грянула и продолжала греметь удачно. Меня задела не на шутку виолончель. Виолончелист сидел ближе других музыкантов к авансцене, как бы напоказ (что, действительно, и было так). Это был молодой человек, бледный и худощавый, — всё, что я мог заметить из-за виолончели. Соло свои он исполнял с таким чувством и мастерством, что хоть бы самому Серве ²⁸ так впору. Меня удивляло одно: отчего ему не аплодируют. Самому же мне начинать было неприлично. Что я за судья, да и что я за гость такой? Бог знает что и бог знает откуда! Что скажут гости первого разбора!

Между тем «Буря» кончилась, и я услышал произносимые вполголоса похвалы артисту такого рода:

— Ай да Тарас! Ай да молодец! Недаром побывал в Италии!

Пока оркестр строился, я успел узнать от соседа кое-что о заинтересовавшем меня артисте. Началась увертюра из «Прециозы» Вебера ²⁹, и я, к удивлению моему, увидел виолончелиста со скрипкою в руках почти рядом с капельмейстером и теперь я его мог лучше рассмотреть.

Это был молодой человек лет двадцати с небольшим, стройный и грациозный, с черными оживленными глазами, с тонкими, едва улыбающимися губами, высоким бледным лбом. Словом, это был джентльмен первой породы и, вдобавок, самой симпатической породы.

Когда он исполнил арию Прециозы, я не утерпел, закричал «браво!» и изо всей мочи стал аплодировать. Все посмотрели на меня, разумеется, как на сумасшедшего. Я, однако ж, не струсил и продолжал хлопать и кричать «браво!» — пока, наконец, воловьи глаза самого хозяина не заставили меня опомниться.

Оркестр снова строился, но я, не ожидая услышать что-нибудь лучшее, вышел из залы в сад. Ночь была лунная, теплая и спокойная. Я бродил около дому недалеко, и до меня долетали из хаоса звуков чудные звуки виолончели или скрипки, и образ грустного артиста с своею меланхолическою улыбкою носился, как бы живой, передо мною.

— Где я его видел? Где я с ним встречался? — спрашивал я сам себя и, после долгого напряжения памяти, я вспомнил, что я видел его во время обеда, с рукой, обернутой салфеткой, за стулом самого хозяина.

Мне сделалось почти дурно после такого открытия.

Музыка затихла, и я пошел через левую дорожку к старосветским таинственным дубам. Пройдя немного, я услышал тихий шорох шагов за собою, оглянулся и узнал преследующего меня виолончелиста. Я обратился было к нему с вопросом, но он предупредил меня, схватил мои руки и со слезами прижал их к губам своим.

— Что вы, что вы? Что с вами случилось? — спрашивал я его, стараясь освободить руки.

— Благодарю вас! благодарю! — говорил он шопотом. — Вы! вы! один-единственный человек, который слушал меня и понял меня!

Он не мог продолжать за слезами. Я молча взял его под руку и привел к дерновой скамейке, устроенной вокруг столетнего развесистого дуба.

Долго мы сидели молча, наконец он заговорил:

— Вы со мной очень милостивы.

В это время раздался голос, называвший его по имени.

— Идите в виноградную беседку,— сказал он, вставая.— Я сию минуту приду к вам.

И он поспешно удалился.

Глядя вслед ему, я думал:— Вот вдохновенный миннезингер³⁰ XII века. Как мы недалеко, однако ж, ушли от благородных рыцарей-разбойников того плачевного века! А просвещение идет себе вперед крупными шагами.

Я встал со скамьи и пошел по дорожке, ведущей к виноградной беседке. Не знаю почему, а я не надеялся услышать от него его безотрадную повесть, как это обыкновенно бывает, и я, слава богу, не совсем ошибся. Правда, он передо мной высказался даже, может быть, больше, нежели сам хотел, но то не простой наш бедный язык, которым он заговорил со мною,— то были чудные, божественные звуки, в которых отразились стоны рыдающего непорочного сердца.

Пришел он ко мне в беседку с виолончелью и, не сказав ни слова, начал настраивать инструмент и вроде пробы, как бы шутя, проиграл знаменитую каватину³¹ из «Нормы»³². У меня дух захватило при этих звуках.

Не отнимая смычка от струн, он заиграл одну из задуманных мазурок вдохновенного Шопена. Кончивши мазурку, он едва внятно проговорил:— Вот у нас свой бал.— Проиграл он еще несколько мазурок Шопена, одну другой лучше, одну другой задуманнее.

К концу последней мазурки я заметил сквозь виноградные листья безмолвные лица многочисленных слушателей, то были горничные, лакеи и фореиторы приезжих господ. Они оставили окна, в которые глазели на немецкие танцы вымуштрованных господ и госпож своих, и пришли послушать, как Тарас играет.

Орфей³³ мой, отдохнув немного и настроив свою лиру, повел медленно смычком по струнам, и поли-

лася полная сердечной сладкой грусти моя родная мелодия (на слова):

Котилися вози з гори,
А в долині стали.

Проигравши тему, он варьировал ее на тысячу ладов, и так варьировал, что я ничего подобного в жизнь мою не слышал, да, кажется, и не услышу никогда. Слушатели вокруг беседки в продолжение игры не пошевелились, и, когда он кончил свои чудные вариации, слушатели долго еще слушали, не переводя духа, разразились, наконец, общим вздохом и снова замолчали.

Я молча взял его за руки и знаком просил его выйти из беседки. Мы вышли и долго молча ходили по дорожке, как бы боясь заговорить. Наконец, я, овладев собой, спросил его:

— Где вы учились?

— Сначала дома.

— А потом?

— А потом барин с барыней ездили за границу и меня с собою брали, и, пока они жили в Берлине, я ходил несколько раз к Шпору, и больше нигде не учился.

— Да ведь Шпор играл на скрипке.

— Я на скрипке у него и учился. Скрипка и есть мой настоящий инструмент, а виолончель — это уже так.

— Что же вы намерены теперь с собою делать? Ведь вы настоящий великий артист!

— А что мне с собою делать? Повеситься, ничего больше.— Правду сказать, я и сам не мог ему ничего лучшего предсказать.

— Прошедшего лета,— заговорил он,— приезжал к нам из Качановки³⁴ Глинка, слушал мою игру на скрипке и на виолончели, хвалил меня и просил барина, чтобы отпустил меня на волю. Они обещали ему, но тем, кажется, и кончилось.

— Не унывайте, молитесь богу. Даст бог, все устроится.

— Я не отчаиваюсь. Михайло Иванович, кажется, добрый такой, на него можно надеяться.

— Совершенно можно, если только он про вас не забыл. Напишите вы ему письмо.

— Написать-то я напишу, да как же я перешлю его? Ведь я адреса не знаю.

— Я знаю, и вы передайте письмо мне. Напишите письмо сегодня, а я завтра буду в городе и подам его на почту.

В это время мы подошли к беседке, и он спросил меня, наклонясь к виолончели:

— Не сыграть ли вам еще что-нибудь?

— Весьма вам благодарен. Вы устали, отдохните немного и приготовьте к завтраму письмо.

И мы расстались.

После ужина (перед восходом солнца), раскланявшись с хозяином и хозяйкой, я, не заходя в табор, пошел в село нанять лошадь с телегой для совершения обратного путешествия до города или хотя до почтовой станции. Но уввы! во всем огромном селе ни лошади, ни телеги не оказалось. Нечего сказать, мужики зажиточные! Пьяницы, я думаю, да лентяи по большей части, а то как бы не найтись во всем селе одной лошади с телегой! Удивительный народ наши мужики: не припугни его, так ничего и не будет.— А вас, однако ж, как видно, чересчур припугнули,— подумал я, глядя на обнаженное село.

Делать нечего, отправился я к жиду в корчму и нанял у него (разумеется, за жидовскую цену) клячу на пять верст до какой-то фермы.— А там,— уверял меня жид,— хоть четверку можно нанять до самой Прилуки.

С помощью услужливого Тараса Федоровича (виолончелиста) мы уложили кое-как свою мизерию и выехали из села по дороге в Прилуки.

— Скажите мне, что это такое за ферма, на которую он нас теперь везет? — спросил я у своего полусонного ментора.

— Ферма? Это хутор Антона Адамовича. Прекраснейшие люди, т. е. он и Марьяна Акимовна! Прекраснейшие люди! Заедем, непременно заедем! Я уже их давно не видал.

— Пожалуй, заедем. Мне теперь заодно уж шляться, пока не выберусь на почтовую дорогу.

— Не будете жалеть. Антон Адамович презамечательный человек. Он, изволите видеть, начал и кончил свою службу во флоте лекарем, путешествовал раза два вокруг света, оставил службу, получает себе полный пансион, да теперь приватно занимает место домашнего лекаря у нашего амфитриона, а он ему, вдобавок, еще и хутор подарил со всеми угодьями. Чего ж еще? Живи да бога хвали!

— И давно он уже живет здесь?

— Да будет лет около десяти с небольшим.

— Что они, семейные люди?

— Нет, только вдвоем. Правда, под их непосредственным надзором воспитываются две дочери помещика — премиленькие дети, и они-то, можно сказать, и заменяют им настоящих детей. Одной, я думаю, будет уже лет около шести, а другая годом меньше.

— Что же их не видно было на бале? Ведь они, я думаю, уже качучу³⁵ танцуют. А это, вы знаете, какое украшение бала!

— Нет, я думаю, что они еще качучи не танцуют. И, знаете, мать хочет их воспитать в совершенном уединении и после выпустить их на свет совершенно невинных, как двух птенцов из-под крылышка. Знаете, мне эта идея чрезвычайно нравится, — нравственно-философская и, можно сказать, поэтическая идея. — Как вы думаете?

— Действительно, поэтическая идея, но никак не больше. Я не подозревал, однако ж, чтобы у Софьи Самойловны были дети. Она еще так свежа.

— И прекрасна, прибавьте!

— Действительно, прекрасна.

В это время повстречался нам мужик и, снявши свой соломенный бриль, поклонился. И когда мы проехали мимо него, то он все еще стоял с открытой головой и смотрел на наш экипаж и, вероятно, думал: — Чорт его знае, що воно таке, — чи воно паны, чи воно жиды? — Паны, да еще из балу возвращающиеся.

Конечно, вы знаете лубочную картинку, изображающую, как жиды на шабаш поспешают. Много

было общего между этою картинкою и нашим экипажем, — пожалуй, и пассажирами. Как же тут было мужику не остановиться и не полюбоваться таким величественным поездом? А надо вам сказать, что пыль не скрывала нашего великолепия, потому что мы двигались шагом, и только наши особы торчали из глубокой жидовской брички, а сам хозяин шел пешком, погоняя свою тощую клячу.

Несколько раз до меня долетали какие-то жидовские слова, со вздохом произносимые нашим возницею. И так часто повторял он одну и ту же фразу, что я невольно ее затвердил и просил его перевести мне ее, на что он неохотно согласился, уверяя меня, что то были нехорошие слова.

— Такие скверные, — прибавил он, — что об них и думать нехорошо, а не то, чтобы еще их говорить.

Когда же я ему посулил гривну меди на водку, то он, посмотревши на меня недоверчиво, сказал:

— Уни хушавке мес. По-вашему будет означать, что живой человек без денег — все равно, что мертвый.

Настоящая жидовская поговорка.

Вот мы и едем себе тихонько по дорожке между прекраснейшей зелени, освещенной утренним солнцем. Роса уже немного подсохла, и кузнечики начинали в зеленом жите свой шопот, такой тихий, такой мелодический шопот, что если бы меня не укусила муха за нос, то я непременно бы заснул. Сognaвши проклятую муху, я невольно взглянул вперед. Боже мой, да откуда же все это взялось? Представьте себе, из зеленой гладкой поверхности, можно сказать, перед самым [носом] выглянули верхушки тополей, потом показалися зеленые маковки верб, потом целый лес разостлался под горою, а за ним во всю долину раскинулось, как белая скатерть, тихое светлое озеро. Прекрасная, душу радующая картина!

Я растолкал своего товарища и показал ему рукою на великолепный пейзаж.

— Это ферма Антона Адамовича. Мы тут встанем и пойдем через рощу пешком, а он пускай остановится около м л ы н а под горою.

Сделавши наставление жиду, мы пошли к роще, но в рощу мы не так легко попали, как думали, потому что она обведена довольно широким рвом, а противоположная сторона рва была защищена живою изгородью, т. е. усажена крыжовником.

Взявшись с приятелем под руки (чего я, между прочим, терпеть не могу), и пошли вдоль изгороди, уставленной высокими роскошными тополями. Из-за тополей кой-где просвечивалась молодая березовая рощица или темнел стройный молодой дубняк; то вдруг стройный ряд тополей прерывался усевшимся над самым рвом старым дубом, протянувшим свои живописные ветви далеко за ров, на самую дорогу.

Пройдя добрые полверсты, мы дошли до угла изгороди и повернули влево по тропинке, идущей параллельно со рвом под гору. При этом повороте нам открылось во всей красе своей тихое светлое озеро, окаймленное густым зеленым камышом и раскидистыми огромными вербами. Подойдя к озеру, мне так и хотелось окунуться раза два-три в его прозрачной воде. Но вожатый мой заметил мне довольно основательно, что подобное действие было бы неприлично, тем более, что в это время мы подошли к воротам парка, осененным двумя старыми вербами. Мы без труда отворили ворота и вошли в парк. Длинная тенистая дорожка вела к дому, вдали белеющему сквозь ветви. Не доходя до дома, мы в стороне, недалеко от дороги, между деревьями увидели человеческую фигуру в белой полотняной блузе, в соломенной простой шляпе и с сигарою в [зубах].

— Антону Адамовичу имеем честь кланяться! — кричал мой вожатый.

Фигура в блузе приподняла шляпу и, вынувши сигару из[о рта], сказала:

— Добро жаловать!

Мы подошли друг к другу поближе. Это был сам хозяин парка или фермы, свежий коренастый старик самой немецкой физиономии. Я был отрекомендован моим разбитным путеводителем со всеми прилагательными, на что Антон Адамович с добродушной улыбкой протянул мне руку и проговорил:

— Очень рад.

Я с своей стороны проговорил тоже какую-то лаконическую вежливость, и мы вышли снова на дорогу. Не успели мы ступить несколько шагов, как к нам выбежали из-за куста цветущей душистой черемухи две белокурые прекрасные девочки лет пяти или шести и бросились к Антону Адамовичу, крича:

— А что, испугали, испугали!

Антон Адамович молча указал им рукою на нас, и девочки оставили его и спрятались за куст черемухи.

Тем временем мы вышли на зеленую площадку, прилегающую одной стороной к озеру, а другой к крылечку чистенького беленького домика, кругом усаженного кустами сирени.

Дивное впечатление произвела на меня эта тихая грациозная картина!

Вслед за нами девочки выбежали на лужок, а из дома на крылечко [вышла] молодая, прекрасная собою женщина, с книгою и с зонтиком в руке, и пошла к детям. Это была гувернантка французенка, как я после узнал.

Мы вошли на крылечко, и хозяин предложил нам отдохнуть в тени, а сам пошел в дом.

Я на досуге залюбовался на детей, играющих на зеленом лужке, и, правду сказать, на стройную, величественную фигуру прекрасной гувернантки, залюбовался до того, что не заметил, как к нам вышла на крылечко сама хозяйка.

Я, поклонившись, извинился в своей рассеянности.

— Ничего, ничего, любуйтесь. У нас, слава богу, есть на что полюбоваться.

И она лукаво улыбнулась и обратилась к моему товарищу. Тот начал было рекомендовать меня, но она ему сказала нецеремонно:

— Не беспокойтесь, мне уже Антон Адамович рекомендовал. А вы лучше расскажите, каково вы повеселились на бале.

И приятель мой пустился описывать ей бал, а я тем временем стал рассматривать нецеремонную хозяйку дома.

Это была лет тридцати пяти, по крайней мере, пре-

красно сохранившаяся брюнетка, с большими выразительными карими глазами, с довольно свежим для ее лет румянцем на полных щеках, со вздернутым носом, с прекрасными белыми крупными зубами и с едва отвисшим подбородком. А в целом, она была настоящий тип малороссиянки; даже голос ее, и особенно произношение, напоминал мне мою землячку, какую-нибудь чиновницу средней руки или высокой руки протопопшу, несмотря на то, что она была одета как настоящая барыня.

— А ну-те вас с вашим балом! — проговорила она скороговоркой; остановилась в дверях да и затараторила:

— Прошу покорно в покои! Вы хоть из балу сегодня, а, верно, еще чаю не пили. Правду сказать, и мы еще только что поднялись.

Я пошел вслед за хозяйкою, а товарищ мой, как человек, знакомый с местностью, пошел отыскивать жида и распорядиться насчет помещения.

В первой комнате, довольно большой, встретил нас Антон Адамович, уже не в полотняной блузе, а в сером пальто из летнего трико, и просил меня садиться без церемонии.

— А вы, Марьяна Акимовна, пошлите свою Ярину просить к завтраку Адольфину Францевну с детьми.

На зов Марьяны Акимовны явилась горничная, скромная и миловидная, в деревенском костюме и, получивши приказание от Марьяны Акимовны на чистом малороссийском языке, вышла из комнаты.

Через несколько минут вошла в комнату гувернантка с двумя девочками, а за нею и мой товарищ. И все мы уселись вокруг стола, увенчанного изрядным самоваром. Если бы я не знал, чьи это были дети, то я подумал бы, что Марьяна Акимовна была им настоящая мать,— так мило, так матерински мило она ухаживала за ними. И, к немалому моему удивлению, она, обращаясь к гувернантке, разговаривала с нею по-французски.— Вот тебе и чиновница средней руки! Вот тебе и протопопша высшей руки! — подумал я. Я был просто очарован Марьяной Акимовной, и если б она обращалась к своей Ярине (кажется, единственной прислуге)

хоть на великороссийском диалекте, то я подумал бы, что я имею счастье видеть перед собою, по крайней мере, графиню или хоть просто даму высшего полета.

Такова сила предубеждения против своего родного наречия.

За чаем я случайно узнал имена двух девочек; одну, кажется, старшую (потому что они обе одинакового роста), звали Лизой, а другую Наташей. И так они были похожи одна на другую, что, пересади их с места на место, то и не знал бы, которая из них Лиза, а которая Наташа. А обе они были чрезвычайно похожи на свою милую маменьку.

Хозяйка, между прочим, обратилась ко мне и спросила, понравился ли мне концерт в Дигтярях.

— Ведь уж, верно, там не обошлось без концерта? — прибавила она.

Я отвечал утвердительно.

— А каков виолончелист? Не правда ли, прекрасный?

— Превосходный! — отвечал я.

— Это наш большой приятель, и, кроме того, что он артист превосходный, но нужно знать, что он и человек самого нежного, самого благородного сердца. Но что будешь делать? — прибавила она со вздохом.

— Лиза и Наташа плачут, когда не видят его два дня сряду, — а про Адольфину Францевну и говорить нечего, — сказала она шутя и поцеловала гувернантку в загоревшуюся щеку, из чего я заметил, что она понимает по-русски.

Мне было чрезвычайно приятно слышать подобный отзыв о человеке, которого я с одного разу полюбил как что-то близкое моему сердцу.

После чая Антон Адамович обратился к нам и просил в свою хату.

— Я к ним только в гости захожу, а хата моя там, в саду. — И он взялся за свою шляпу. Мы последовали его примеру.

Белая, соломой крытая хата, к которой нас привел Антон Адамович, стояла между фруктовыми деревьями и служила кабинетом Антону Адамовичу и вместе караульной. Чисто немецкая штука!

Хата Антона Адамовича, как вообще малороссийские хаты, разделялась сенями на две половины: собственно на хату с комнатою и на так называемую комору. В коморе, освещенной одним окном, помещалась у него аптека и библиотека, в сенях — лаборатория. Это можно было заключить из стоявшего на широком камине алембика³⁶, реторты, стеклянных и глиняных банок. Стены светлицы, или кабинета, были украшены луками, стрелами, томагауками³⁷ и другими орудиями дикарей, что и свидетельствовало о кругосветном странствовании Антона Адамовича.

Около стен стояло две кушетки, а между ними, у стены, простой дубовый стол и на нем электрическая машина.

— Не угодно ли будет отдохнуть с дороги, а я пока наведаюсь в Дигтяри: ведь я их домашний медик. До свидания!

И он оставил нас в своем кабинете совершенными хозяевами.

— Не думал я, отправляясь на бал, попасть в кабинет ученого путешественника и, вдобавок, путешественника скромного, — подумал я вслух, когда мы остались одни.

— Да это что еще! — сказал мне товарищ. — Вы загляните в комнату, — вот где редкости!

И действительно, редкости! Во всю длину комнаты, около стены, дубовый широкий стол уставлен разнообразнейшими и красивейшими раковинами тропических морей, а посередине стола, как раз против окошка, плоский ящик в аршин длины и ширины со стеклянной крышкой, заключающий в себе нумизматические³⁸ редкости Антона Адамовича.

Между разной формы и величины монет я увидел австрийский талер XVII века, с глубоко вдавленным клеймом, изображавшим московский герб.

— Не правда ли, любопытная монета? — сказал мне товарищ, указывая на талер, — или, лучше сказать, любопытное клеймо.

— Но что оно значит, это клеймо? — спросил я его.

— А вот, извольте видеть, когда в 1654 или 5-м году ходил наказным гетманом Иван Золотаренко³⁹ с полка-

ми малороссийскими добывать Смоленска московскому царю, то, не знаю, почему-то наши козаки не захотели брать жалованья московскою монетою, вот им и выдали австрийскими талерами, положивши московское тавро на каждый талер.

Налюбопытствовавшись редкостями Антона Адамовича, я вышел в сад, оставивши своего товарища по мечтать наедине, то есть маленько приуснуть.

Я обошел весь сад или, лучше сказать, парк и не мог довольно налюбоваться прелестью деревьев, чистою дорожек и вообще истинно-немецкой аккуратностию, с какой все это содержится. Например, у кого вы увидите, кроме немца, чтобы между фруктовыми деревьями были посажены арбузы, дыни и даже кукуруза? В Германии это понятно, но у нас это просто непостижимо.

Из сада вышел я на греблю, усаженную вербами, полюбовался чистенькой, аккуратной мельницей об одном шумящем колесе и, пройдя плотину, я очутился в селе.

Село всего-навсе, может быть, хат двадцать. Но что эта за прелесть! Что ни хата, то и картина.

— Вот,— подумал я,— и не великое село, а веселое.— Попробовал я у встретившегося мужика спросить, можно ли будет нанять у них лошадей до Прилук.

— Можно, чому не можна,— хоть пару, хоть две пары, так можна!

— Хорошо, так я зайду после, поторгуюсь.

— Добре, поторгуйтесь.

За селом я увидел панскую клуню, или господское гумно, уставленное скирдами разного хлеба. Подходя к гумну, я встретил токового, и он показал подведомственный ему ток, или гумно. Я, как не агроном, то и смотрел на все поверхностно и расспрашивал тоже поверхностно, и из всего виденного и слышанного мною заключил, что не мешало бы записным агрономам поучиться кой-чему у Антона Адамовича или хоть у его токового. Насчет винокурни, когда спросил у него, почему, дескать, Антон Адамович, имея столько хлеба, не построит себе винокуренку, хоть небольшую, [токовой ответил]:

— Бог их святой знает, — я и сам им говорил, что построить хоть небольшую. — Зачем, — говорит: — чтобы пьяниц голых пускать по свету? Не нужно! — Они у нас такие чудные, и, боже сохрани, как они того проклятого вина не любят.

— Действительно, странный человек. Ну, а мужики у вас в селе есть такие пьющие?

— Ни одного.

— Прекрасно! Куда же вы сбываете свой хлеб?

— А куда сбываем? Никуда больше, как у Дигтяри. Видите, паны там банкетуют, а мужики голодают. Да еще мало того, в селе, кроме корчмы, что ни улица, то и шинок, а в каждом шинке, для приману людей, шарманка играет. Вот мужик бедный и пропивает последнюю нитку под немецкую музыку. Сказано, мужик дурак.

— Зато паны умудрились. О, филантропия! — подумал я и простился с токовым.

Подходя к гребле, я невольно остановился полюбоваться старыми вербами, опустившими свои длинные зеленые ветви в светлую прозрачную воду. А из-за этих роскошных ветвей, с противоположной стороны пруда, выглядывает из темной зелени беленький, улыбающийся домик Антона Адамовича, и, как красавица любит свою прелесть перед зеркалом, так он любит себя в прозрачном тихом озере.

— Благодать! — подумал я и пошел через греблю к кокетливому домику.

К этому времени Антон Адамович возвратился от своих пациентов и, к великой моей радости, привез с собою милого моего виртуоза — и с виолончелью. Мы встретились с ним при входе в сад и дружески приветствовали друг друга, как самые старые знакомые.

К нам подошла Марьяна Акимовна и нецеремонно взяла меня за руку и сказала:

— Вы должны быть благороднейший человек, коли полюбили нашего милого Тараса Федоровича. От души вам благодарна.

Я молча поцеловал ее руку. В это время подходил к нам Антон Адамович.

— Посмотри, посмотри, что наш гость делает! — сказала она, обращаясь к мужу.

— Ничего, ничего, — говорил Антон Адамович, улыбаясь. — А не лучше ли будет, если мы пойдем да с борщом покуртизаним? Как вы думаете, Марьяна Акимовна?

— И в самом деле лучше. Прошу покорно, господа, — сказала она, обращаясь к нам, и мы пошли обедать.

Многие ли из вас, господа, имеющие хоть одну крепостную душу, посадят рядом с собою крепостного человека, хоть бы этот человек был величайший гений в мире?

Ручаюсь, что ни одного не найдется, кроме истинно-благородного Антона Адамовича.

Тарас Федорович сидел между шалунями Лизой и Наташей, и они ему, бедному, покоя не давали во время обеда. Чудное, благородное равенство! Вот бы как надо людям жить между собою. Да что же ты будешь делать? Нельзя. Между прочим, я услышал несколько французских фраз, произнесенных Тарасом Федоровичем с гувернанткой. Этим окончательно полонил меня мой милый виртуоз.

После обеда мы, т. е. мужчины, отправились к Антону Адамовичу в хату покурить. Но так как я человек некурящий и виртуоз мой оказался таким же, то мы пошли себе гулять по саду, пока не вышли на небольшую лощину, на которой стоял небольшой стог свежего сена. Не устоял я против такого могучего соблазна. Снявши галстук и сюртук, прилег, опустился на ароматное сено, и за мною, разумеется, и товарищ мой тоже. А чтобы дрема не одолела, я повел издали речь о двух девочках, живших, так сказать, на хлебах у почтеннейшего Антона Адамовича.

— Какие милые, прекрасные дети! — сказал я.

— И, прибавьте, счастливые дети. Я не знаю, что бы из них было, — продолжал он, — если б не существовало около нашего роскошного села этой фермы и этих добрых, благородных людей!

— Да, в самом деле, расскажите мне, что это за оригинальная мать, которая воспитывает своих детей

таким образом. Мне кажется, что в этом возрасте детям никто не может заменить матери.

— Марьяна Акимовна им совершенно ее заменила. Вот что: Софья Самойловна, мать их по названию, великосветская дама, а главное — красавица, красавица, которая конфузится, когда ее кто спросит о здоровье ее детей. Для нее это все равно, что сказать: «Как вы, Софья Самойловна, подурнели». И притом, как дама светская, она после каждого бала (а их у нас в году бывает три, а в высокосный и четыре) должна отдать визиты своим гостям, а гостей, вы сами видели, сколько наехало — а 17 сентября так вдвое столько наедет, несмотря ни на какую погоду, потому что она сама тогда бывает именинница. Пока отдаст визиты, смотрит — другой бал готовится, там третий. Так и год проходит. А там, если выберется время, надо и в Петербург съездить, а то, говорит, между этими хохлами совсем очерствеешь. Так, сами посудите, до детей ли ей при такой жизни? И, по-моему, она лучше ничего выдумать не могла, как отдать их на руки Марьяне Акимовне.

— Я с вами согласен, что она умно сделала, но хорошо ли, это другой вопрос.

— Конечно, здесь сердце матери спрятано под себя-любием светской красавицы. Я слышал, однако ж, она недавно как-то о них вспоминала. Года через два она хочет их отправить в Смольный институт.— В Полтавском,— говорит,— они хохлачками сделаются.

— И то правда. Как же она не побоялась их отдать Марьяне Акимовне? Или она думала оградить их французенкою-гувернанткою да немкою-горничною?

— Какое! Немецкая горничная сама скоро делается хохлачкою, а про гувернантку и говорить нечего. Послушайте, что я вам расскажу. Адольфине Францевне вздумалось учиться говорить по-русски. Вот Марьяна Акимовна и ну ее учить, да вместо того, чтобы по-русски — выучила ее по-малороссийски. Софья Самойловна чуть было не поссорилась из-за этого с Марьяной Акимовной. И знаете, что еще: она прекрасно поет некоторые наши песни. Будем ее просить, чтобы она нам хоть одну спела.

— Непременно.

— Вон они! вон они! — услышали мы невдалеке детские голоса, и едва успели мы надеть сюртуки, как подбежали к нам Лиза и Наташа и, ухва[тивши] за полы сюртука Тараса Федоровича, потащили в сад, приговаривая:

— Пойдемте! пойдемте! Вас мама просят играть.

Пройдя несколько шагов вслед за «арестантом», я увидел прислонившуюся к дереву Адольфину Францевну и, подойдя к ней, сказал ей какую-то любезность по-малороссийски, на что она, сделавши милую гримасу, очень незастенчиво отвечала мне: — Спасыби.— Мы пошли вслед за детьми, разговаривая как короткие знакомые. Между прочим, в доказательство своего знания в малороссийском языке, [она] прочитала мне два стиха:

Катерино, сердце мое,
Лишенько з тобою.

И с таким милым выражением прочитала она эти стихи, что, не зная, что она француженка, то я, не запинаясь, сказал бы, что она моя истинная землячка.

Любезничая с mademoiselle Адольфиной по-хохлацки на французский лад, мы немного отстали от детей и арестованного артиста, и когда подошли к дому, то наш артист уже на крылечке играл на скрипке плясовую малороссийскую песню, а Лиза и Наташа перед крылечком с поднятыми ручонками, как бы прищелкивая, танцевали, приговаривая:

Гоп-чук, гречаники,
Гоп-чук, печеніі.

Антон Адамович, сидя на крылечке, добродушно улыбался, а Марьяна Акимовна брала поочередно детей на руки и целовала с самой искренней материнской нежностью. Поодаль стояла немка горничная и, увлекшись живым мотивом песни, прищелкивала в такт пальцами.

Одни простодушные счастливыцы могут группировать из себя подобную картину.

В саду, кроме хаты Антона Адамовича, была ещё небольшая хатка с навесом, и вместо завалин стояли вокруг решетчатые деревянные скамейки, а перед хаткою — старая липа, тоже со скамейкою вокруг, только не деревянною, а дерновою. Хатка — это была мастерская или рабочая Марьяны Акимовны. Здесь сушились фрукты, варились варенья и создавались разные великолепные настойки и наливки. А под липою Марьяна Акимовна отдыхала по трудах.

В эту хатку на все лето выносилось фортепиано, потому что Марьяна Акимовна, несмотря на свои прозаические годы и занятия по части спитобной и съедобной, осталась в душе артисткой и любила в часы досуга забывать свое прозаическое насущное существование и уноситься в мир созвучий, в небесные пределы божественной фантазии.

Часто и долго, сидя под липою, слушал и добрый Антон Адамович, куря свою сигару, слушал — и холодные практические думы таяли, как снег перед лицом весеннего солнца. Немецкая фантазия оживала, сигара гасла во рту, и старик молодец.

В эту-то заветную хатку Марьяна Акимовна просила своих гостей чай пить.

После чаю в хатке зажгли свечи. М-лле Адольфина без всяких просьб и уговариваний, как это обыкновенно бывает с порядочными барышнями, села за фортепиано, а Тарас Федорович вооружился виолончелью, и, после нескольких аккордов, тихо, стройно, как будто с неба, раздалась одна из божественных сонат божественного Бетховена.

Мы все остались под липою и в продолжение сонаты сидели, притая дыхание. Даже резвые дети — и те прильнули к Марьяне Акимовне, затихли и только, улыбаясь, посматривали друг на друга.

За сонатой Бетховена были сыграны с одинаковым мастерством и чувством две сонаты Моцарта и после некоторые места из знаменитого «Реквиема»⁴⁰. И в заключение совершенно неожиданно:

Ходить гарбуз по городу...

Дети запрыгали около Марьяны Акимовны, а Антон Адамович пошел в хатку закурить сигару.

Тарас Федорович такие раскинул вариации на этот полувеселый, полугрустный мотив, что дети опять молча прильнули к коленям Марьяны Акимовны, а у Антона Адамовича опять сигара погасла.

Многие ли из людей в блеске и роскоши проводят свои длинные вечера так нецеремонно-просто и так возвышенно-изящно, как мы, простые, почти бедные люди, провели этот незабвенный вечер? Я думаю, немногие. И выходит, что истинно-прекрасное и возвышенно-духовное не нуждается в ремесленных золоченых и даже золотых украшениях.

Кончивши вариации, артисты наши вышли из хатки и обратились с просьбою к Марьяне Акимовне, чтобы и она сыграла для них что-нибудь. Она отказывалась. Мы присоединились к ним — решительно ничего не помогло.

— Завтра,— говорит,— я вам сыграю, а то сегодня это значит — после меду хрену. Пойдемте лучше гулять. Вон, смотрите, из-за деревьев луна выглядывает.

И с этими словами вошла в хатку, погасила свечи, притворила и замкнула двери, и все мы, весело разговаривая, пошли любоваться, как полная луна из-за мельницы и из-за старой вербы выглядывает и отражается в темной прозрачной воде.

Я совершенно был очарован и декорацией, и этими добрыми, простыми людьми.

Долго мы еще гуляли по саду вдвоем с Тарасом Федоровичем,— он меня просто приворожил к себе. Он (как это обыкновенно бывает с доверчивыми добряками) рассказал мне историю своего печального детства, без всякого с моей стороны домогательства (как это тоже обыкновенно бывает с пишущей братиею). Он рассказал мне потому, что я его со вниманием или, лучше сказать, с участием слушал.

— Отца,— говорил он,— я не помню, и мать моя мне никогда о нем ничего не говорила. Хаты у нас своей тоже не было, и мы, как у нас говорят, жили в соседях, то есть переходили от одного мужика к другому, пока я начал ходить. Тогда она, как стала уже свободнее, то

хотела было наняться у кого-нибудь на год, но ее никто не хотел нанять, не знаю почему: может, из-за меня или потому, что она была такая худая и бледная. Только обойдя все село без успеха, нанялася, наконец, у жида в корчме. Не могу вам сказать, сколько именно лет она служила у жида, только знаю, что я уже был порядочный мальчуган, когда она умерла,— а умерла она, сколько я припоминаю, от чахотки. И, как теперь помню, за несколько дней перед смертью пришла в свой чулан или, лучше сказать, стойло в стодоле, слегла и уже больше из стойла не выходила. За несколько минут перед ее смертью я принес ей воды в кружке. Но она уже пить не могла и говорить тоже, а только поманила к себе рукою и, когда я нагнулся к ней, она едва-едва прикоснулась к моей голове рукою, поцеловала меня, и две слезы выкатились из ее потухающих очей. Она тихо вздохнула и умерла.

Сотский похоронил ее за тот рубль, что оставался у жида, ею не полученный. А я шлялся по селу, пока не пристал к партии нищих. Между нищими был слепой кобзарь, или бандурист; ему и рекомендовали меня как мальчика скромного. Он и заменил мною своего прежнего вожака.

И, знаете, мне понравилось мое новое положение, потому что я имел хотя какой-нибудь, а все-таки приют. А еще больше мне нравился слепец, которого я водил. Он был еще молодой человек и, помню, чрезвычайно сухощавый и с длинными пальцами. А в особенности мне нравилось, когда он сам для себя, медленно перебирая струны бандуры, тихонько напевал:

На морі синьому, на камені білому
Ясний сокіл квилить-проквиліє...⁴¹

Что-то необыкновенное представлялось моему детскому воображению в звуках и в словах этой унылой песни.

Вот такой же, как и теперь, был в Дигтярях бал, с тою только разницею, что тогда и для нищих обед готовили, а теперь уже не готовят. Вот и мы с толпою нищих пришли на обед. Вот мы сидим себе под деревом, и в ожидании обеда, настроивши кобзу, заиграл

мой кобзарь. Нас народ так и обступил. Вот он играет, а я смотрю по сторонам и вижу, к нам [идут] господа, и с барышнями. Толпа, разумеется, расступилась перед господами, и сама Софья Самойловна подошла ко мне и, потрепавши меня по щеке, проговорила: — Какой хорошенький! — и, обратясь к господам, сказала: — Я его непременно возьму к себе в пажи.

Так и случилось. На другой день я был уже в числе многочисленной дворни. Но как я, не знаю, почему-то оказался неспособным для должности паж, то меня начали учить пению, и я оказывал успехи. А потом стали учить и играть, сначала на скрипке, а потом и на виолончели. Вот вам моя простая история, — прибавил он и замолчал.

— Грустная, правду сказать, история.

— Что делать? Прошедшее мое действительно грустно, но настоящее так безнадежно, так безотрадно, что если б не эти благородные люди, то я не знал бы, что с собою делать.

— Не отчаивайтесь, друг мой, любите свое прекрасное искусство, и господь успокоит вашу страждущую душу и пошлет вашему терпению счастливый конец.

— Не знаю, найдет ли мое письмо Михайла Ивановича в Петербурге?

— О, наверное, он никуда не уехал: это было бы известно.

— Да и можно ли надеяться, чтобы мое письмо могло иметь успех?

— Без всякого сомнения. Я очень хорошо знаком с Михайлом Ивановичем. Это добрейшее, благороднейшее создание, словом, это самый благодушный артист. Еще вот что. Я завтра расстанусь с вами надолго, а быть может и навсегда, но вы и эти добрые люди, и эти часы, проведенные вместе с вами, так дороги моему сердцу, что для меня были бы величайшим подарком ваши хоть коротенькие письма. Прошу вас, извещайте меня хоть изредка. А о результате вашего письма Михайлу Ивановичу вы непременно меня уведомяте. Я вам завтра сообщу свой адрес.

И он обещался мне вести дневник и посылать его каждый месяц ко мне вместо писем.

— Мне так приятно вам открываться во всем, и вы с таким вниманием слушаете меня, что я и тогда буду воображать, что рассказываю вам лично о моих впечатлениях.

В хате Антона Адамовича светился еще огонь, когда мы подошли к ней, но движения уже никакого не было. Виргилий мой так усердно храпел, что за хатою было слышно. Вскоре и мы ему начали вторить.

На другой день поутру я пошел было на хутор нанять лошадей с повозкою для перевезения себя с товарищем в Прилуки, но Антон Адамович догнал меня уже на гребле и воротил в дом, говоря, что порядочные люди так не делают.— А Марьяна Акимовна и слышать не хочет, чтобы вы ранее трех дней оставили нашу ферму. Дети — и те даже заплакали, услышавши о таком вашем неделикатном поступке.

От Марьяны Акимовны я выслушал еще убедительнее рацею.

— И не думайте,— говорила она,— и не помышляйте. Как на свете живу, то еще не видала, чтобы порядочные люди на другой же день из гостей уезжали, да еще и на мужицких конях! Этого не токмо что у нас,— я думаю, и у немцев не водится. Так, Антон Адамович? Ты ведь немец. А?

— Такой я немец, как ты немкиня,— проговорил Антон Адамович и засмеялся.

— Вот и Тарас Федорович останется у нас,— продолжала Марьяна Акимовна.— Ему теперь, после бала, совершенно там делать нечего. А Адольфина Францевна обещается нам петь сегодня малороссийские песни. А дети обещаются вам танцовать хоть целый день гречаньки.

— И метельцу, мамаша,— проговорили разом обе девочки.

Противостоять не было возможности, и я сдался. Виргилий мой заговорил было о службе, об обязанностях, о попечителе.

— Уж хоть бы вы молчали, а то разносились со своим попечителем, право, ей-богу, а еще старый зна-

комый. Пойдемте лучше в мою хату чай пить, а то с вами не сговоришься.

Переглянулись мы с Виргилием и пошли молча за Марьяной Акимовной.

Прогостили мы еще два дня у этих добрых людей, и в это время удалось мне сделать карандашом несколько видов счастливой фермы и почти одними чертами всю нашу компанию, а на первом плане — Наташу и Лизу, танцующих гречаньки. Все это едва-едва набросано. Но вот уже проходит двадцатый год, как любовался я этой живой картиной, а, глядя на этот эскиз, я как будто снова люблю эту живую картину и даже слышу скрипку и прищелкиванье пальцами немецкой горничной.

Мне кажется, никакое гениальное описание лиц и местности не может так оживить давно минувшее, как удачно проведенных карандашом несколько линий. По крайней мере, на меня это так действует.

На четвертый день нашего пребывания на благодатной ферме, часу в десятом утра, проводили нас, как самых близких своих друзей, гостеприимные и счастливые обитатели фермы со всем своим домом. Даже Наташу и Лизу взяли с собой. И проводили не только через греблю, даже через село, до самой клуни. Тут мы уселись в спокойную нетычанку Антона Адамовича, запряженную парюю добрых коней, и покатились по гладкой извилистой дорожке.

Долго стояли друзья наши на одном месте и махали нам платками, а одна из девочек, чтобы виднее виден был ее платок, вскочила на плечи Антону Адамовичу и преусердно махала своим платком. Нетычанка покатила быстрее и быстрее, и группа наших друзей [стала] едва заметна на горизонте. Еще четверть версты, маленькая ложбина — и друзья исчезли за горизонтом. Я взглянул еще раз назад, выехавши на при-

горок, но, увы, кроме клуни и скирд, на горизонте ничего не было видно.

Мне стало грустно, так грустно, как будто я расставался со своими родными на долгое, на неопределенное время. Оно так и случилось.

Во всю дорогу приятель мой молчал, чему я был очень рад, потому что не чувствовал в себе способности вести самый пустой разговор. Вскоре на горизонте показались нам Прилуки, а несколько ближе, из-за темного леса, выглядывали главы, белым железом крытые, соборной церкви Густынского монастыря.

Проезжая мимо этого обновляющегося замка-монастыря, меня чрезвычайно неприятно поразила новая, еще нештукатуренная четырехугольная башня с плоской крышей, точно каланча.

— Что это такое за урод торчит? — спросил я у своего приятеля.

— Это колокольня вновь отделанной домашней настоятельской церкви, что над малыми воротами.

— И верно, какой-нибудь досужий костромской мужичок смастерил этакую штуку?

— Нет, извините, не мужичок, а настоящий патентованный художник!

— Как же он мастерски подделался под византийский стиль! ⁴²

— Не извольте смеяться над нашим художником. Его торопят и денег не дают. А вот когда поедете из Прилук в Нежин, так увидите в селе помещицы N. настоящий храм царя Соломона ⁴³, этим художником сооруженный. Уже на что наш просвещенный знаток и покровитель искусств, можно сказать, меценат ⁴⁴ наших дней N., — и тот посмотрел да только рот разинул, а про преосвященного и говорить нечего.

— Честь и слава вашему художнику!

Тем временем мы въехали в город, а через час я уже прощался с почтеннейшим педагогом, прося его для пользы науки записывать все, что касается археологии и вообще народного характера, как-то: пословицы, присказки, песни, предания и тому подобное. А наипаче просил я его по временам извещать меня

о наших добрых друзьях на ферме. Он обещался мне всё исполнить по мере сил своих.

И мы расстались, и расстались надолго.

Расставаясь с моим путеводителем, не думал я тогда, что я с ним надолго-долго расстануся. Я тогда думал, что авось либо в будущем году поеду снова по Малороссии по поручению Киевской археографической комиссии, буду в Чернигове, а из Чернигова поеду через Нежин в Прилуки и по дороге посмотрю хваленый храм, воздвигнутый коштом помещицы N. и трудами патентованного художника, архитектора N., а в Прилуках погощу денек-другой у моего Виргилия и, если можно будет, навестим попрежнему достойнейшего Антона Адамовича и Марьяну Акимовну и полюбуемся их прекраснейшею фермою.

Так я тогда думал, а вышло, что человек распределяет, а бог определяет. Вышло то, что я в продолжение двадцати лет (со дня выезда моего из Прилук) не только что не видел Киева, Чернигова, Нежина, Прилук, и моего автомедона ⁴⁵; и фермы, и всего, что я там видел прекрасного, — я в продолжение двадцати лет не видел моей милой родины, ни даже звука родного не слышал.

Вот что иногда судьба с нами делает!

После двадцатилетнего моего странствования по нечужим краям возвращаюсь я в Малороссию и, проезжая смиренный город Прилуки, вспомнил я серенький домик на углу грязных улиц и велел ямщику, или почтарю, остановиться у этого мизерного домика. Вылез я из телеги, вхожу на дворик. Меня встречают два мальчугана; я спрашиваю, здесь ли живет Иван Максимович С.

— Здесь! — отвечают оба разом мальчуганы.

— Дома он?

— Нет! они в училище.

— А есть ли у вас дома кто-нибудь постарше вас?

— Есть маты дома, только они опочивают. Мы ее разбудим.

— Не нужно, не будите. Я после зайду.

И я поехал на почтовую станцию.

День был прекрасный и уже клонился к вечеру, и я, сложивши вещи свои, т. е. чемодан и кошомку, на крылечке станционного дома, а подорожную отдавая смотрителю, просил его не торопиться с лошадьми.

Учредивши всё таким образом, я уселся на своей мизерии, т. е. на чемодане, и принялся рисовать прекрасно освещенную вечерним солнцем каменную церковь, довольно неуклюжей, но оригинальной архитектуры, построенную полковником прилуцким Игнатом Галаганом, тем самым, что первый отложился от Мазепы и передался царю Петру, за что и был, по смерти полковника Носа, возведен в звание прилуцкого полковника и одарен великими маестностями в том же полку. Пока я срисовывал сей памятник знаменитого полковника, солнце повисло над горизонтом, и толпа школьников показала на улице, а за толпою школьников, в некотором отдалении, появилась на улице и тощенькая, согбенная фигурка, с зонтиком вместо палки в руке. Это был мой Виргилий, и я почти побежал к нему навстречу.

Долго мы стояли среди улицы друг против друга, и, наконец, после подробных припоминаний, он протянул мне руку и сказал:

— Антикварий! ⁴⁶ Антикварий! Так это вы? А я было уже вас совсем похоронил. Да как же вы переменялись! Совсем было не узнал!

— Спасибо еще, что хоть вспомнили.

— Да я вас всегда вспоминал, да только по наружности не узнал. Прошу же вас покорнейше, навестите меня в моей убогой келии.

И мы, разговаривая, подошли медленно к воротам серенького, давно знакомого мне домика.

У ворот, как это обыкновенно бывает в маленьких городах, стояла в землю вросшая скамейка. И мы молча посмотрели на нее и сели.

— Да, так вот вы и попутешествовали,— проговорил он грустно,— и свет божий посмотрели. Чай, и за границей не раз побывали? А я, как залез в этот темный [угол], так и на свет божий не показываюсь: сижу себе, можно сказать, без всякого движения.

И долго мы беседовали, вспоминая каждый из нас свое прошедшее. И между прочим, он мне рассказал: он вскоре после нашего расставанья женился на благо-родной и прекрасно воспитанной, хотя и бедной, де-вушке.— И думал я с нею век свой прожить в счастии и любви, но бог судил мне в одиночестве век свой ко-ротать.— И старик заплакал.

— Братец! — раздался женский голос из-за во-рот,— идите в комнаты, пора вечерять, дети спать хотят.

— Накормите их, сестрица, и уложите, а мы еще немного здесь посидим. Сестрица,— прибавил он,— с нами гость сегодня вечеряет, то вы бы там что-нибудь лишнее, хоть карасика поджарили, да послали б Феклу, знаете, насчет того, сестрица.

— Пошлю, братец.

— Да... На третьем году,— продолжал он с расста-новкой,— нашего блаженства она оставила меня на-веки. Правда, я не совсем еще сирота: она оставила мне малое дитя свое, для которого, можно сказать, и прозябаю я.

— В тот самый год у сестры моей муж скончался скоропостижно и оставил ее тоже с маленьким сиро-тою. Вот мы с нею и сошлись в один куток, да и делим свое горе, как нам бог помогает. Детей, я думаю, с бо-жиею помощью, в гимназию... а там...

— Братец,— раздался снова женский голос из-за ворот,— идите в комнаты. На дворе роса и холодно, а вы только во фраке.

— Сейчас! сейчас, сестрица! Пойдемте в нашу хату, а то и в самом деле как бы нам с вами не простудиться. Ведь мы с вами не можем похвалиться молодостью, цветущей здоровьем. Пойдемте.

И мы оставили скамейку и молча вошли в комнату.

Комнатка, в которой я двадцать лет тому назад провел несколько дней на холостую ногу, комнатка была та же, да не та. Бедность та же, да только бед-ность эта была умытая и принаряжена женскою рукою. На чистеньком полу чистенькие половики, у окон бе-ленькие занавески, на окнах бальзамины и герань в горшках. Стол, дощатый диван, табуретки липовые

те же самые, да как-то иначе смотрели. Что значит женская рука в домашнем быту даже аккуратного мужчины!

В быту гражданских мужчин это еще не так резко бросается в глаза, как у военных. Например, зайдите вы в комнату холостого офицера: изба избой, так и несет от нее псиной и табачищем. А у женатого офицера тоже изба, да только в этой избе сундук, на котором у холостого денщик спит с собакою,— у женатого он покрыт ковриком и заменяет диван. На дощатом столике, вместо табачницы и гвоздя для ковыряния трубок, пестренькая ярославская салфеточка, зеркалаще и какое-нибудь женское рукоделье. Словом, в семейной жизни, даже в бедности, есть какая-то свежая материальная прелесть, а о нравственной прелести я и не говорю.

Из другой комнаты вышла к нам старушка в черном платье и в белейшем чепчике, такая милая, чистенькая старушка, какую я редко встречал на своем веку.

— Рекомендую вам: моя сестрица, Марья Максимовна.

Я поклонился.

— А они, сестрица, мой старый добрый знакомый N. N.

Я снова поклонился, а она проговорила:

— Прощу садиться.

Я сел. А Иван Максимович заглянул в другую комнату и, обращаясь ко мне, сказал:

— Какая у меня добрая, умная, догадливая сестрица. Представьте, мне и в голову не пришло, чтобы предложить вам с дороги чаю, а ведь это как приятно. Я просто живу у нее, как у бога за дверьми. Ну, попотчуйте ж нас, моя дорогая, моя бесценная хозяйка. А дети спать уже легли, сестрица?

— Уже легли, братец,— отвечала старушка, ставя на стол чашки с чаем.

— Ну, хорошо, я вам завтра их покажу. А по которому уже годочку им пошло теперь, сестрица? Они у нас, знаете, однолетки,— прибавил он, обращаясь ко мне.

— Да вот на Петра и Павла минет по двенадцатому.

— Уже по двенадцатому! Боже мой, с какою быстротою летят наши старые лета! — проговорил он как бы с самим собою.

— Двенадцать! Двенадцать! Да!.. — почти вскрикнул он, ударивши себя по лбу ладонью. — Чуть-чуть было не забыл! У меня есть письмо на ваше имя, еще до моей свадьбы полученное мною. Так и лежит нераспечатанное. И знаете от кого?

— Не знаю, — отвечал я.

— От нашего почтеннейшего, благороднейшего Тараса Федоровича. Помните виолончелиста у Антона Адамовича на ферме?

— Боже мой, как не помнить! Я только хотел было спросить о нем у вас.

— Все расскажу, дайте время. Много трогательного и даже поучительного в жизни этого достойного человека. У меня даже есть записаны некоторые случаи из его жизни. Я, знаете, сам хотел было на старости лет пуститься в литературу, да как прочитал Марлинского, так у меня и руки опустились. Что за блестящий, что за гениальный слог! Сестрица! потрудитесь там вынуть из нижнего ящика комода пачку бумаг, веревочкой перевязанных.

Старушка не замедлила внести порядочную пачку бумаг, сахарной веревочкой перевязанную, и, отдавая их брату, спросила:

— Эти, братец, бумаги?

— Эти, сестрица, благодарю вас. Вот, — сказал он, обращаясь ко мне, — вот сколько перепорчено бумаги, а все это литература виновата.

И, развязавши бумаги, он стал их перелистывать. И, остановясь на лоскутке синей бумаги, он сказал:

— А помните ли, вы меня тогда просили записывать все, что я ни услышу, касающееся поэзии и философии нашего простого народа, помните?

— Помню, — я говорю.

— Вот я и исполнил вашу просьбу. Здесь вы много премудрости найдете... Да где же это письмо? Уж не потерял ли я его? Нет, нет, вот оно. Я посылал его

в Киев на ваше имя, а мне, знаете, и возвратили его. Вас уже в Киеве не было.

И он подал мне пожелтевший конверт, говоря:

— А знаете что? Сегодня у нас среда, погостите у нас до воскресенья, а в воскресенье пустимся мы с вами в путешествие, помните, как когда-то, только не на бал, а просто-запросто на ферму. Там вы лично увидите и автора сего письма. А до воскресенья я разберу эти лоскуты, а, может быть, и вам кое-что прочитаю.

Я согласился и, после долгих упрашиваний со стороны братца и сестрицы остаться ночевать у них, взял письмо и отправился на почтовую станцию.

Случалось ли вам читать письмо, написанное вашим искренним другом и полученное вами пятнадцать лет спустя? Кто не читал подобного письма, тому напрасно бы я стал рассказывать и описывать впечатление, произведенное на меня письмом моего достойнейшего друга Тараса Федоровича, впечатление невыразимое, впечатление, которое только тот понимает, кому случалось читать подобное письмо.

Главный эффект такого письма тот, что вы как будто только что проснулись и читаете строки, только вчера написанные, а пятнадцать лет вам покажутся каким-то неопределенным сновидением.

Вот что писал мне мой бесталанный друг:

«Я был близок к смерти или, лучше сказать, к помешательству, когда мы приехали в Петербург и я узнал, что Михайло Иванович уже другой год за границею. Вот причина, почему мое письмо, которое вы ему переслали, осталось без всяких последствий. О! как горько! как невыразимо горько нам, когда наши прекрасные, блестящие надежды разбиваются молотом неумолимой судьбы!

Я обещался писать вам сейчас же, как только узнаю какой бы ни было результат моего письма к Михайлу Ивановичу, и вот уже проходит третий год, как я толь-

ко что собрался с духом написать вам о своих так безжалостно разрушенных надеждах.

После бала или, лучше сказать, после того концерта, что вы мне так чистосердечно аплодировали и вследствие которого концерта я вас так полюбил, как родного моего брата, — так после этого бала, недели две спустя, у нашей Софьи Самойловны показался прыщик на левой щеке. Она его расцарапала, из прыщика сделался веред, а из вереда к августу месяцу сделалася рана такая, что она едва ее рукою закрывала. Вообразите себе ее положение: красавица — и не прошло месяца, как на нее смотреть нельзя было; красавица, заметьте, такая, которая именем матери пожертвовала красоте своей. Не страдал так величайший музыкант Бетховен, когда оглох, и не страдал так великий наш Буонаротти⁴⁷, когда ослеп, как она, бедная, страдала.

В половине августа решено было ехать в Петербург. В числе квартета и я был назначен. Радость мою только вы можете понять. Я думал: вот когда настал конец моим страданиям. А страдания только что начинались. Поехали мы. Дорогою и сам захворал и, не доезжая Великих Лук, на станции Сыруты умер. Думаю, что она его во гроб вогнала своими капризами. И, правду сказать, ничего в свете не может быть ужаснее, как внезапно обезображенная красавица. Гиена, просто гиена!

По приезде в Петербург, разумеется, было не до гостей и не до квартетов, лакейская же моя обязанность была не велика: уберу поутру комнаты, да и марш на целый день, куда глаза глядят.

О, лучше бы я никогда не видал света божьего, чем видеть его, чувствовать и не сметь ни чувствовать, ни смотреть на него!

После того дня, в который я узнал, что Михайло Иванович за границей, я заболел — сначала лихорадкою, а потом горячкою, и месяц спустя я увидел или сознал себя в Петровской больнице, что на Петербургской стороне.

Меня стали посещать по средам и по субботам товарищи мои, лакеи-виртуозы.

И во едину от суббот сказали мне, что наша Софья

Самойловна скончалася под ножом какого-то знаменитого хирурга, и мы остались сиротами.

Я плохо поправлялся, так плохо, что даже сам главный доктор Кох, проходя мимо моей койки, и не останавливался. Весною, однако ж, я мог уже прогуливаться по длинному широкому коридору, а в мае месяце меня уже в полдень и в сад выпускали часа на два.

Надо вам сказать, что в Петровской больнице есть и женское отделение, в третьем этаже, и женщин выздоравливающих тоже выпускают в полдень погулять в саду. Вот однажды я сижу на скамейке, подходит ко мне больная в тиковом халате и в белом чепчике или таком же колпаке, как и я. Мы просидели молча, пока служитель не загнал нас в палаты.

На другой день была погода хорошая, и нас снова послали гулять в полдень. Походивши немного, я присел на скамейке. Вчерашняя дама снова приходит и садится около меня. Я как-то нечаянно взглянул ей в лицо и увидел, что она была красавица, но только такая исхудалая, такая грустная, что у меня сердце заболело, на нее глядя. Я не утерпел и спросил ее:

— О чем вы так грустите?

— О том, я думаю, о чем и вы: о здоровье.

Я не удовольствовался ее ответом и, немного помолчав, сказал ей:

— Здоровье ваше возобновляется, да о здоровье так и не грустят, как вы грустите.

— Да, это правда,— сказала она и закрыла глаза рукою.

Служитель опять загнал нас в палаты.

Несколько дней сряду шел дождь, и я скучал, не видя моей знакомой незнакомки. Наконец, дождик перестал, и нас опять выпустили в сад. Я прямо пошел к скамейке, и, к удивлению моему, на скамейке уже сидела моя грустная знакомка. Я ей поклонился, она мне тоже, с едва заметною, но такую грустною улыбкой, что я чуть было не заплакал.

— Вы, должно быть, страшно несчастны? — сказал я ей, садясь на скамейку.

— А вы счастливы? — спросила она, взглянув на меня так выразительно, что я затрепетал и, придя

в себя, взглянул на нее, а она всё еще смотрела на меня с прежним выражением.

— Всмотритесь в меня,— сказала она.

Я силился посмотреть на нее, но не мог вынести устремленного на меня взгляда ее глубоко впалых больших черных очей.

— Неужели вы меня не узнаете? — спросила она едва внятным шопотом.

— Не узнаю,— ответил я.

— Так я, должно быть, страшно переменялась? — И, немного помолчав, сказала:

— Ну, так вспомните Качановку и 23 апреля 18... года. Что, вспомнили?

— Боже мой! неужели это вы, m-lle Тарасевич?

— Я,— едва проговорила она и залилася горькими слезами.

На другой день мы снова с нею встретились у заветной скамейки, и она мне рассказала свою грустную историю.

Я и без того писать или выражать свои мысли на бумаге не мастер, а как буду пускаться в отвлеченности да в отступления, то письму моему и конца не будет. Но гнусная история, которую мне про себя рассказала бедная m-lle Тарасевич, должна заставить и немного говорить и глухого слушать.

О, если бы я имел великое искусство писать! Я написал бы огромную книгу о гнусностях, совершающихся в с. Качановке.

Не помню, в какой именно книге я вычитал такое изречение,— что если мы видим подлеца и не показываем на него пальцами, то и мы почти такие же подлецы. Правда ли это? Мне кажется, что правда!

С этого я и рассказываю вам историю m-lle Тарасевич и качановского пана. А вы с нею что хотите, то и делайте, а если напечатаете, то это будет самое лучшее. Только перепишите ее по-своему, потому что у меня складу недостает.

Была у нас помещица П. уезда, богатая помещица, душ около 4000, бездетная вдова, старушка добрая

такая, благочестивая, да бог ее знает, что ей вздумалось: раз поехала она в Киев на поклонение, да и вышла замуж за молодого человека, красавца собою, некоего г. Арновского. (Она, может быть, бедная, в годах заматерелая, о наследнике чаяла,— не знаю.) И сказано: человек из ума выжил,— передала всё свое имение, вместе с собою, в руки молодого красавца-мужа. А он, не будучи дураком, повернул всё по-своему. И то правда, ведь не на старухе же он женился, а на ее деревнях. Кроме разных улучшений по имению, от которых мужички запищали, он завел у себя оркестр (это прекрасно), сначала наемный, а потом и крепостной, выстроил великолепный театр, выписал артистов и завел театральную школу, разумеется, крепостную. Пирам и банкетам конца не было. Старушка была в восторге от своего молодого мужа. Когда же собственные актрисы подросли и начали уже играть роли любовниц и одалисок ⁴⁸, то он, смотря по возрасту и наружным качествам, учредил из [них] гарем на манер турецкого султана. Разумеется, подобное заведение в тайне не могло процветать, только странно, что последняя о нем узнала старушка-жена. А узнавши всё это, занемогла, бедная, от ревности и вскоре богу душу отослала. На смертном одре она простила своего вероломного мужа и со слезами просила его исполнить ее последнюю волю, т. е. положить капитал в банк и на проценты его воспитывать трех сирот-девиц в Полтавском институте. Он, разумеется, поклялся в точности исполнить волю умирающей.

Он ее и исполнил, да только по-своему.

После смерти жены его выбрали предводителем дворянства, как человека достойного и благонамеренного. Он тут же у себя в уезде нашел не трех, а пять сироток и завел у себя в селе благородный пансион. Нанял учителя, какого-то отставного поручика, и гувернантку без аттестата, а главный надзор за нравственностью воспитанниц поручил сестре своей, грязной и красноносой старухе.

Когда сиротки стали подрастать, то им, кроме русской грамоты, стали преподавать и изящные искусства, то есть пение, музыку (игру на гитаре), танцы и сце-

ническое искусство. И всё это, разумеется, свои же крепостные наставники и наставницы.

В число этих-то несчастных воспитанниц попала и м-лле Тарасевич. Когда они уже порядочно подросли, то, которые покрасивее были, сделались, по ходатайству главной надзирательницы, украшением гарема,— не как рабыни, а как благородные султанши. М-лле Тарасевич хотя была и красивее всех их, умнее и благороднее, а главное, была тощенькая и потому-то не обратила на себя ласкового султанского взора. Не завидовала она своим счастливым подругам, потому что они и на балах являлись и танцевали, и на театре являлись перед многочисленными гостями, разумеется, с крепостными артистами (да и в самом деле, не образовывать же для них сироток-мальчиков благородного происхождения). Она, бедная, ничему этому не завидовала, а возьмет, бывало, себе потихоньку какой-нибудь роман из библиотеки да спрячется где-нибудь в саду, читает его да плачет. Так она прочитала все романы, какие только были в библиотеке, и вышло то, что она не знала, что с собою делать; пуще прежнего похудела,— так и думали все, что умрет. Уже и в постель было слегла, на ладан, как говорят, дышала. Уже (поверите ли) и крест намогильный сделали, хотели было и гроб делать, да боялись, чтобы не укоротить, потому что люди, когда умирают, то, говорят, вытягиваются. А крест сделали сажени в две вышины, дубовый; выкрасил его домашний живописец зеленою краскою и на одной стороне намалевал распятие, а на другой скорбящую божью мать, а внизу прибил железную доску и написал на ней: «Здесь покоится раба божия Мария Тарасевич, воспитанница г. Арновского, скончавшаяся 18... года, ... месяца, ... числа». Только случилось так, что она выздоровела, а умерла любимая горничная сестры г. Арновского, и умерла, говорят, не своею смертью. Она гладила утюгом своей барыне платье в воскресенье, да немного опоздала: уже во все колокола прозвонили, а платье не было готово. Вот барыня рассердилась, выхватила у нее из рук утюг да и хватъ ее «нечаянно» по голове так, что та, бедная, тут же и ноги протянула. Правда ли, нет ли, наверное

не знаю. А крест я сам собственными глазами видел и надпись читал. И, знаете ли, такой крест — это своего рода картина, особенно на убогом сельском кладбище, где все крестики бог знает какие: то пошатнувшиеся, а то и совсем упавшие, а то и просто десяток-другой могил совсем без крестов. А тут вдруг фигура, да еще и какая фигура! Я думаю, г. Арновский сам рассчитывал на этот эффект: смотрите, дескать, как мы своих воспитанниц хороним! А вышло, что похоронили не воспитанницу, а горничную. Ну, да это все равно, лишь бы крест даром не пропал.

Музыкантская была в одном флигеле с нашим пансионом (так продолжала свой рассказ больная), и когда я начала выздоравливать и понимать себя, то мне чрезвычайно приятно было слушать, когда они сыгрываются. Моему больному воображению представлялся какой-то необыкновенно чудный мир, особенно, когда весь оркестр, как лес или море вдали, шумит, и из этого неопределенного ропота выходит какой-нибудь один инструмент, скрипка или флейта. О! я тогда была выше всякого блаженства! Звуки эти мне казались чистейшею, отраднейшею молитвою, выходящей из глубины страдающей души. О, зачем я выздоровела, зачем навеки не осталась в том болезненно-блаженном состоянии!

В доме было прекрасное фортепиано, и когда я могла уже выходить, то пошла прямо к нашему капельмейстеру и просила его, чтобы он меня научил читать ноты и показал первые приемы на фортепиано. Он... О, я давно прокляла его за его науку! Зачем открыл он мне тайну сочетания звуков, зачем открыл он мне эту божественную, погубившую меня гармонию!

Я быстро поглощала его первые уроки, так что не успели у меня на вершок волосы отрасти (я больна была горячкой), как я уже быстрее его читала ноты и вырабатывала свои пальцы на сухих этюдах Листа ⁴⁹.

Но не одни звуки питали мое больное сердце. Мне нравилась сцена. Я прочитала всё, что было в нашей библиотеке драматического (репертуар нашего домаш-

него театра мне не нравился), начиная с «Синеуса и Трувора» Сумарокова⁵⁰ до «Гамлета» Висковатова⁵¹. Я дни и ночи бредила Офелией⁵², а делать было нечего: я для своего дебюта принуждена была выучить роль дочери Льва Гурыча Синичкина⁵³. Успех был полный, и я окончательно погибла!

Когда видели вы меня в Качановке, я уже тогда бредила петербургской сценой: домашняя для меня была слишком тесна. На несчастье мое, того же лета заехал к нам Михайло Иванович Глинка,— он тогда выбирал в Малороссии певчих для придворной капеллы.

Увидевши меня на сцене и услышавши мой голос и игру на фортепиано, он решил, что я великая артистка. А я — о горе, мое горе! — я простосердечно ему поверила. Да и кто бы не поверил на моем месте?

Не заметили ли вы тогда у нас на бале молодого, весьма скромного человека, с большими выпуклыми глазами, со вздернутым носом и большим ртом? Это был художник Штернберг. Он тогда у нас всё лето провёл. Кроткое! благороднейшее создание!

Однажды я (мне аккомпанировал сам Глинка) пела для гостей из его еще не оконченной тогда оперы «Руслан и Людмила»⁵⁴ арию,— помните, в чертогах Черномора поет Людмила? Только что я кончила петь, посыпались аплодисменты, разумеется, не мне, а автору. И, когда всё замолкло, подходит ко мне Штернберг со слезами на глазах и молча целует мои руки. Я тоже заплакала и вышла вон из залы. С тех пор мы с ним сделались друзьями. Я часто для него в сумерки пела любимую его арию из «Прециозы», и он каждый раз, слушая меня, плакал.

Спустя два года после моих успехов в Качановке г. Арновский со своею сестрицею начали собираться в Петербург на зиму. Я, разумеется, начала проситься с ними. Они долго не соглашались. Наконец, он согласился с условием, но с каким условием! Вы понимаете меня? Да! понимаете! И знаете что? Я согласилась! О! будь я проклята! проклята! и проклята! Я всё забыла для искусства и для столицы, всё! всем пожертвовала! И вот результат моей великой жертвы: нищая, в больнице и, вдобавок, под именем его крепостной девки.

Она за слезами не могла говорить.

На другой день я услышал от нее подробности такого рода. Впрочем, они так гнусны, что гнусно их и повторять.

Скажу вам вкратце конец ее бедственной истории. Приехала она в Петербург уже беременною и через несколько месяцев, не выходя из квартиры, разрешилась мертвым ребенком. После родов заболела горячкой. А г. Арновскому нужно было ехать в свою Качановку, вот он ее и отправил в Петровскую больницу под именем своей крепостной девки. Вот вам и вся недолга.

Я пробыл еще две недели в больнице и каждый день, в урочные часы, выходил в сад и садился на заветную скамейку и дожидался несчастной больной.

Какой же в самом деле подлый эгоист человек вообще, а в особенности я. Мне стало на душе легче, я видимо стал поправляться после ее исповеди. Это значит, я доволен был, что есть несчастнее меня.

Страдальцы! Воображайте так, и вы будете хоть на полграна менее страдать.

Я каждый день спрашивал у знакомого мне служителя из женского отделения: — Что № такой-то? — И он отвечал мне совершенно равнодушно: — Лежит. — За день перед моей выпиской из больницы спросил я у служителя: — Что № такой-то? — В покойницею! — ответил он мне и пошел за своим делом, быть может, за длинною плетеною корзиною, вроде гроба, чтобы другого уже не страдальца вынести в покойницею.

На другой день, выписавшись из больницы, я просил позволения похоронить труп такой-то №, такого-то, и мне было позволено.

Я пригласил своих товарищей (вы помните, что нас было четверо привезено в Петербург, т. е. квартал), и мы вынесли ее на Смоленское кладбище, а после панихиды пропели «Со святыми упокой» да бросили земли по горсти в ее вечное жилище, и больше ничего.

Вскоре после этого прислал нам управляющий имением плакатные билеты⁵⁵, и мы остались еще на год в Петербурге. И знаете, что мы сделали?

Прикинулись немцами да и пошли по улицам потешать добрых людей своим искусством. И знаете, нам хорошо было: мы почти что каждый [день] по рублю серебра домой приносили.

За исключением харчей и квартиры, я каждое воскресенье получал рубль серебра, и каждую неделю я был два-три раза в театре (разумеется, в райке), откладывая каждую неделю полтину серебра на непредвиденный случай, т. е. для Серве,— т. е. приобрести несколько его этюдов для виолончели, а главное, самого его послушать. В газетах давно уже публикуют, что он непременно будет к великому посту в Петербурге. Дай-то бог. Мне как-то страшно становится, когда я подумаю, что я буду слушать Серве. Неужели слава так могущественна?

Приближается зима, и наши уличные квартеты должны будут прекратиться. Что нам делать? Товарищи мои хотят бросить искусство и искать лакейских должностей. А мне бы хотелось удержать их от этого соблазна. Да как удержать?

С этой благой мыслию пошел я однажды на Крестовский остров в немецкий трактир, поговорил с хозяином, что так и так, есть у меня квартет богемцев, можно ли им будет прийти в воскресенье попробовать счастья в вашем заведении? Хозяин согласился, и мы в первое же воскресенье спотешали вальсами почтеннейшую публику, как истинные чехи, и спотешали не без пользы. Мы в один день достали себе пропитание на целую [неделю] с избытком. Товарищи мои ободрились. Следующее воскресенье нам еще лучше повезло, а следующее еще лучше, потому что уже настала настоящая зима.

Тут же, в трактире, мы стали получать заказы через содержателя трактира на вечеринки, на свадьбы и т. п. Товарищи выбрали меня подрядчиком и казначеем, и мы зиму прожили припеваючи.

С Песков мы перебрались к Николе Мокрому. Квартира у нас была уже не одна маленькая комнатка, а две большие с прихожей.

В свободное время, в продолжение зимы, я проштудировал всего Ромберга⁵⁶ и Серве, что мог до-

стать. Большой театр посещал я постоянно два и три раза в неделю и хоть из райка, а я видел и слышал всё, что было лучшего в ту зиму в столице.

Прошла, наконец, и бешеная масляница. Прошла и первая неделя великого поста.

О незабвенная афиша!

Надо вам сказать, что я часто делал большой крюк, чтобы пройти мимо которого-нибудь театра, собственно для того, чтобы прочитать афишу.

В воскресенье был я на соборном проклятии в Казанском соборе. Вышел из церкви, перехожу Невский проспект и издали вижу, что что-то белеет за проволочной решеточкой у подъезда дома г. Энгельгардта⁵⁷. Я прибавил шагу. Подхожу к подъезду или, лучше, к проволочному ящику, и мне показалось, что я вижу самого Серве и Вьетана⁵⁸. А это были только буквы. Долго я читал эти заветные буквы, пока добрался до настоящего их смысла. А смысл был такой, что Серве дает концерт сегодняшней же день. Начало в 7 часов вечера. Я сейчас же купил билет и целый день ходил по Невскому проспекту, заходя иногда к Александринскому и Михайловскому театру прочитать афишу.

В 6 часов вечера я уже был в зале. Зала уже была вполнину освещена, и я вошел в нее первый. Швейцар, впуская меня в залу, сначала пристально осмотрел меня с ног до головы, потому, вероятно, что я вовсе не был похож на человека, для которого пятирублевая депозитка ничего не значит. Ну, да бог с ним, пускай думает, что хочет.

Публика начала собираться, и к половине седьмого зала уже была полна. Меня пронимала дрожь. Но когда кто-то около меня сказал: — Уже семь часов, — я затрепетал, а сердце у меня обдалось каким-то холодом, как будто в одно мгновение теплая кровь оставила его и вместо крови потекла холодная вода.

Кончилась увертюра, которую я не слушал. Оркестр отдохнул, поправился. И через несколько мгновений выходит Серве и за ним Вьетан.

Боже мой, я не слышал, да и не услышу никогда ничего прекраснее!

Лист перед Серве — фанфарон⁵⁹, простой механик,

ремесленник перед художником, больше ничего. Я смутно помню, как я вышел из залы и как пришел домой. Помню только, что товарищи отняли у меня виолончель и спрятали.

С того вечера я уже не беру виолончели в руки и звуков ее слышать не могу; для меня это все равно, что ножом по сердцу.

В продолжение поста я читал только афиши и только раз был в Большом театре, когда давали ораторию⁶⁰ Гайдна⁶¹ «Сотворение мира». Это истинное сотворение мира. Только для Большого театра слишком громко: трудно слушать. Тут нужно по крайней мере Михайловский манеж⁶².

Еще давали концерт в Патриотическом институте, в котором участвовал, между многими знаменитостями, и граф Виельгорский⁶³.

Чего бы я ни отдал, чтоб послушать его! Но, увы! Свет сей не для всех равно создан!

Как раз в великую субботу позвали нас всех четырех в часть и объявили нам, что помещик требует нас к себе в деревню и чтобы мы приготовились к следующей среде выступить в поход с севастопольской партией.

К среде мы были совершенно готовы и рано утром в среду вышли за толпою колодников из ворот Литовского замка⁶⁴ с инструментами за плечами и грустно, молча потянулись к московской заставе.

Не описываю вам путешествия нашего, потому что оно нестерпимо однообразно и отвратительно гнушно.

На третий месяц нашего путешествия с толпою злодеев мы прибыли, наконец, в Прилуку.

Странное и страшное чувство обуяло меня при виде родного места.

Я долго не решался послать из острога к нашему доброму Ивану Максимовичу. Наконец, через великую силу превозмог ложный стыд и страх и послал за ним тюремного служителя. Через полчаса явился Иван Максимович и взял меня на поруки.

В продолжение целой ночи мы глаз не смыкали, сообщаясь друг другу, как родные братья после долгой разлуки. Между прочими новостями он мне со-

общил, что промотанное и разоренное имение покойного г. * купил с публичного торгу г. Арновский и что хотел было взять Лизу и Наташу к себе на воспитание, но Антон Адамович отдал только Лизу, а Наташу у себя оставил и что м-лле Адольфина оставила их вместе с Лизою.

На другой день я оставил Прилуку и ночевал на ферме. На ферме все, как было и прежде, только Лизы и м-лле Адольфины недостает, а хозяйева ее, кажется и помолодели, и подобрели.

Солнце уже спускалось за горизонт, когда я подходил к ферме. Мужички, попадавшие мне около села, приветствуя меня с добрым вечером, посматривали на меня и, снявши шапки, крестились. Меня это немало удивляло.— Что бы такое значило, что они крестятся? — спрашивал я сам у себя. Входя в село, играющие на улице дети, завидя меня, бросили игры и, остановясь около хаты, молча посматривали на меня, а которые были постарше, те крестились. Я хотел было подойти к ним и узнать причину благоговения к моей особе, но дети разбежались.

Я пошел далее, и уже на гребле попалась мне навстречу старушка и, перекрестясь, остановила и спросила у меня:

— Куды це вы гробык несете? У Дигтярях священник умер, поховать никому буде, бо нового попа ще не прыслано.

Тут-то я только догадался, что они скрипичный ящик мой принимали за детский гроб.

Подойдя к самым воротам сада, я остановился в раздумьи, заходить ли мне к ним или пройти мимо, и только было решился на последнее, как услышался мне детский голос в саду. Это был голос Наташи. Я отворил ворота, но войти в сад все еще как бы боялся. Только Наташа, увидя меня, закричала:

— Мамо, мамо, нищий пришел! (Марьяну Акимовну она мамою звала.)

— Где ты видишь нищего? — спросила ее Марьяна Акимовна, выходя из-за дерева.

* В автографі прізвище не написане.

— Он за воротами.

И они подошли ко мне на несколько шагов, и Наташа бросилась ко мне, крича:

— Мамо! мамо! Это не нищий, это наш Тарас Федорович!

Меня и в самом деле немудрено было принять за нищего: оборванный, запыленный, с палкою в руке и с ящиком за плечами. Марьяна Акимовна подошла ко мне, посмотрела на меня, взяла меня за руку, сказавши: — Войдите,— и заплакала. У меня ноги подкосились, и я упал на землю и зарыдал, как дитя. Наташа побежала за Антоном Адамовичем, и через несколько минут мы уже все трое шли к дому и все трое плакали. Наташа тоже плакала, разумеется, бессознательно. Впрочем, ей уже 12-тый год.

И что это за дитя, если б посмотрели! Это такая красота, такая детская прелесть, какой мне не удавалось видеть даже на картинах.

Подходя к дому, Антон Адамович почти что вырвал меня из рук Марьяны Акимовны и повел в свою хату.

— Подождите меня здесь,— сказал он мне, сажая меня на стул в своей хате.— Я сию же минуту,— прибавил он уже за дверью.

В хате его было всё попрежнему, даже запах, воздух был прежний, и мне казалось, что я вчера только вышел из этой комнаты.

Через минуту вошел мальчик с умывальником и бельем, а за ним и сам Антон Адамович, неся в руках свое серенькое пальто и прочие принадлежности туалета.

— А сапоги найдете здесь, в этой комнате,— сказал он, указывая на боковую дверь.— А когда всё кончите, приходите чай пить. Мы вас ждем! — прибавил он, уходя из хаты.

Преобразившись, я пошел в дом. На крыльце встретила меня Наташа и, схватя за руку, закричала:

— Мамо! мамо! посмотрите, я его и не узнала!

И с этими словами ввела меня в комнату и, сажая меня на стул около стола, прибавила:

— Садитесь вот здесь, как раз против меня и против мамы. Мы на вас будем смотреть: ведь мы вас давно не видали!

Я осмотрелся кругом и сел. С минуту длилось молчание. Марьяна Акимовна, молча глядя на меня, заплакала и проговорила:

— Теперь нас только трое, а помните, было пятеро.

И, наливая чай, рассказала знакомую уже мне историю с прибавлением, что m-lle Адольфине чрезвычайно не хотелось расставаться с ними и что они ее насилу уговорили перейти к г. Арновскому, что она там будет необходима для Лизы, потому что Лиза такая бойкая.— Что Наташа против Лизы? Это просто ангел у меня, а не дитя,— прибавила она, целуя Наташу.

Марьяна Акимовна начала было спрашивать меня о моих похождениях, но Антон Адамович перебил ее, говоря, что для этого будет завтрашний день, а что сегодня нужно спросить у гостя, не хочет ли он есть и спать.

После ужина пошел я в хату, где уже для меня была приготовлена постель.

— Боже мой,— подумал я:— за что эти добрые люди так полюбили меня? Встречал ли отец с матерью с такой любовью своего сына после долгой разлуки, как они меня встретили? Добрые, благородные люди!

На другой день поутру Антон Адамович съездил в Дигтяри и исходатайствовал мне позволение у управляющего остаться на ферме по случаю болезни.

Весь август месяц я прожил в кругу этих добрых людей, совершенно как сын у отца и матери, и совершенно забыл о моем грустном пребывании в Петербурге и о моем горьком странствовании, несмотря на то, что я каждый день повторял свои рассказы.

В раю праведники едва ли так блаженствуют, как я теперь блаженствую.

Наташа от меня совершенно не отстаёт, просит меня, чтобы я ее учил на фортепиано, хотя она сама не хуже играет. Просит меня учить ее по-французски говорить, а сама меня поправляет. А когда я по вечерам рассказываю о моих приключениях на этапах,

она плачет пуще самой Марьяны Акимовны. Просто она меня чарует своею привязанностью ко мне.

В четвертый раз принимаюсь я за письмо это и не знаю, удастся ли мне хоть теперь кончить. Просто свободной минуты не имею. Представьте, что мы сидим иногда напролет ночи в уютной хатке Марьяны Акимовны, она за фортепиано, а я со скрипкою.

Виолончель я думаю совсем оставить. Да и у кого хватит духу играть на ней, слышавши Серве?

Конец моему блаженству близится: на-днях я оставляю ферму и являюсь к моему новому властителю. Не предчувствую ничего для себя доброго впереди, а впрочем, всё в руках божиих.

Я это письмо так долго писал, что наконец при-вык к нему, и мне грустно стало, когда я его кончил. Я мысленно никогда не расставался с вами, но в это время я с вами просто жил и открывал вам все мои мысли и чувства, и теперь, как подумаю о предстоящей мне жизни,— а в ней предвижу я много для себя грустного, и грустное это некому будет передавать,— то мне теперь уже тяжело.

Напишите мне хоть три слова, напишите только, что вы получили мое письмо, и я буду счастлив.

Прощайте, незабвенный друг мой, не забывайте преданного вам и бесталанного музыканта N.

Ферма.

18... года,

.августа... дня».

По прочтении письма я думал было заснуть хоть немного с дороги, но не тут-то было. Передо мною стоял, как живой, мой бедный музыкант со своею виолончелью и, глядя на меня, грустно улыбался, и так грустно, что я хотел было достать огня и прочитать снова его печальное послание, только смотрю — в окнах уже белеет. Я накинул на себя шинель и вышел на крылечко. Не прошло пяти минут, как подходит ко мне Иван Максимович и, после обоюдных приветствий, жалуется мне, что ему тоже всю ночь

не спалось и что он давно уже ходит и посматривает, не выйду ли я.

— Мне, не знаю почему, казалось,— говорил он,— что и вам тоже не спится. Я хотя и не читал письма Тараса Федоровича, но знал, что оно невеселое, не правда ли?

— Правда! — отвечал я.— Даже очень невеселое.

— И оно конечно, вам заснуть не дало?

— Действительно так.

— Я так и думал. Но это всё ничего, а вы послушайте, что после с ним было!.. А впрочем, я вам лучше прочитаю. Я, знаете, на старости туда же пустился в литературу. Да что, думаю, ведь не святые же горшки лепят. Предмет же и сам по себе интересный, а если его обработать, так это выйдет просто роман. Вот я и принялся... А сестрица, я думаю, давно уже нас с самоваром дожидает. Ей, бедной, тоже что-то не спалось в эту ночь. Впрочем, это с нею часто случается. Пойдем-ка, это будет лучше литературы.

И действительно, старушка нас дождала с чаем, только не в комнатах, а в садике, в летнем кабинете братца. Садик заключал в себе несколько тощих фруктовых деревьев и дощатый чулан, приткнутый к соседнему забору. Это-то и был летний кабинет Ивана Максимовича.

Несмотря, однако ж, на нищету этого садика, в нем было так всё уютно, так спокойно, что я невольно позавидовал бедному Ивану Максимовичу.

Напившись чаю под кустом цветущей бузины, Иван Максимович повел меня в свой кабинет, усадил на дощатом обнаженном диване и, вынимая из столика бумаги, сказал:

— Теперь мы в тиши уединения займемся литературою. Вот эти бумаги,— сказал он, откладывая в сторону несколько листов мелко исписанных: — эти бумаги принадлежат вам. Помните, вы просили меня когда-то собирать для вас всё, касающееся истории, философии и поэзии нашего народа. Тут всего есть понемногу. Исторические сведения, касающиеся собственно города Прилук, сообщил мне покойник отец Илия Бодянский, а прочее я записывал где попало.

А вот это уже чистая литература,— говорил он, разбирая другие бумаги.

— Я описываю всё случившееся с нашим музыкантом со дня его выезда в Петербург, со слов его же самого, только украшаю иногда слог на манер Марлинского (божественный писатель!). Даже и название даю моему рассказу вроде незабвенного Марлинского, т. е. «Музыкант, или Две сиротки». Помните Лизу и Наташу? Они у меня тоже играют немалую роль. Так с чего же нам начать? Он вам, верно, в письме своем описал все, хотя вкратце, по день прибытия своего на родину?

— Действительно, всё,— сказал я,— кроме обратного своего путешествия из столицы.

— То есть следования по этапам. Я так и думал, потому что и мне немало стоило труда выпросить у него некоторые подробности этого, можно сказать, живописного путешествия.

И Иван Максимович улыбнулся своей остроте.

— Так я начну вам именно с путешествия.

«Уже вечерний солнца луч златил величественное и широкое ложе реки Луги (так начал читать Иван Максимович), и когда мы перешли бесконечно длинный и разными вавилонами на сваях воздвигнутый мост через едва выглядывавшую из камышей реку Лугу, то лучезарный Феб⁶⁵ уже скрылся за горизонтом в объятиях Фетиды⁶⁶. Но так как в полярных странах летние ночи бывают довольно ясны, то мы засветло еще вступили в город Лугу. Нас, разумеется, препроводили в острог...»

— Но тут, знаете, картина не авантажная,— говорил Иван Максимович,— и потому-то я ее не описываю. По-моему, чисто изящного произведения не должны касаться картины грязные, хоть это теперь, к несчастью, вошло в моду. Но я все-таки люблю придерживаться классического стиля. Да и где нам, старикам, переделывать себя.

Вот они (я вам буду простые происшествия рассказывать, а что коснется поэзии, то уже прочитаю), так

вот они на другой день у этапного командира испросили позволения, потому что у них была дневка и, к тому же, день праздничный... Так вот они и испросили позволения (разумеется, предложивши ему часть заработка) пройти по улицам с инструментами и дать несколько концертов.

Предприятие (несмотря на то, что город Луга, можно сказать, нарочито невеликий), предприятие их увенчалось полным успехом, так что, несмотря на значительную часть приобретения, отделенную ими командиру этапа, у них хватило пропитания до самого Порхова. Близ Порхова я описываю (по его же рассказу) длинную тонкую возвышенность вроде циклопического вала, по которому тянется почтовая дорога почти до Порхова, потом самый Порхов и величественную Шелонь, на левом берегу которой высятся древние развалины замка.

На счастье их, в Порхове они пришли как раз на духов день. Пошли по улицам на другой же день с музыкою, как и в Луге это сделали. Но только Порхов не Луга: тут их забросали гривенниками. Один приказчик какого-то мыловаренного завода Жукова (знаменитого табачного фабриканта) разом выкинул три целковых. Им так повезло в Порхове, так, что они уже нанимали на каждом этапе лошадку с телегою для своих инструментов до самых Великих Лук, а из Великих Лук у них уже своя была лошадка, правда, немудрая, но все-таки своя.

Так как они приближались к стране постоянно голодной, то есть к Белоруссии, то, кроме инструментов, от города до города [лошадка] везла за ними и порядочный запас печеного хлеба.

Трогательные картины случалось ему видеть в сей убогой стране. Знаете, голод, нищета, разврат и гнусные спутники разврата. Всё это я описываю в назидательном тоне.

Так, например, когда они проходили чуть ли не Усвяты, то, вместо того, чтобы арестантам подать милостыню, толпа мальчишек с толстыми коленями бросилась к арестантам и стала просить хлеба, а когда увидели, что им давали хлеб наши артисты, за маль-

чишками бросились и взрослые, и старики. Голод не знает стыда.

Пройдя страну сетования и плача, они вступили, наконец, в благословенные пределы нашей милой Малороссии и, наконец, в нашу скромную Прилуку. В тот же вечер пили мы чай с нашим милым, дорогим музыкантом и дружески беседовали в этой самой беседке.

— Теперь вот что я вам скажу. Вы извините меня: я человек, знаете, обязанный службою.

— Сделайте милость, распорядитесь, как вам угодно,— сказал я ему.

— Я вот что сделаю,— говорил он.— Я схожу ненадолго в училище, а вы читайте мою рукопись. Тут вы встретите несколько подлинных писем Тараса Федоровича, в которых он изображает большею частью состояние души своей и прочие домашние обстоятельства. И еще знаете что: я забегу на станцию и скажу, чтобы принесли и ваши вещи сюда, и мы с вами так и прокочем до воскресенья, а в воскресенье и на ферму вместе. Вепе? ⁶⁷ — прибавил он, сжимая мою руку.

— *Benissimo!* — отвечал я, и мы расстались.

Рукопись, правду сказать, пугала меня, зато письма, в ней помещенные, меня чрезвычайно интересовали, а потому я и принялся за нее.

Письма были вклеены в рукопись, а потому-то мне их не трудно было и отыскать.

И первое из них такого содержания:

«Я обещался вам, мой незабвенный Иван Максимович, извещать вас по временам как о себе самом, так и о предметах, меня окружающих. И вот уже скоро наступит третий год, как я пресмыкаюся у ног моего нового властителя, и только теперь вспомнил я данное вам обещание. Мое горе такого рода, что само себя питает и не любит утешения. Простите меня, добрый Иван Максимович, за такое выражение, но что делать? — Истина. Теперь мне лучше, и так лучше, что я могу беседовать с вами. Что это вы к нам

никогда не заглянете? То-то бы наговорились! Приезжайте-ка, да и супругу вашу привозите. У нас 23 апреля праздник. Ведь вы прежде таки любили увеселения. Я этой любви обязан и знакомством моим с антиквариатом, помните? Где-то он теперь, бедный! Напишите мне, если получите о нем какое известие.

Вчера я возвратился с фермы. Я там гостил три дня. Впрочем, я там никогда меньше трех дней не гощу. Вот мое одно-единственное счастье. И правда, великое счастье! От сотворения мира, я думаю, ни одному страдальцу [не удавалось] так заживлять свои сердечные раны, как я их заживляю в кругу этих благородных людей. А Наташа, вообразите себе, так меня полюбила, что, когда я уезжаю, она, бедная, навзрыд плачет. И что это за девочка! Что это за чудное создание! И в этих летах (ей четырнадцатый год) сколько глубокого чувства и недетского ума. Она полюбила музыку, и так полюбила, что дни целые проводит за фортепиано. И, представьте, она до сих пор не знает, что она сирота. Правда, при Марьяне Акимовне трудно ей это узнать, потому что она для нее больше, нежели мать родная. Зато и Наташа вполне ее вознаграждает своею детскою безотчетною любовью. А Антон Адамович просто не знает, где и посадить свою Наташу. Представьте, он для нее целый день не выходит из своей лаборатории, чтобы вечером потешить Наташу какою-нибудь замысловатою игрушкой. Я вам рассказываю то, что вы сами недавно видели. Мне говорили, что вы недавно с супругою вашею гостили у них. Как жаль, что я не знал, а то бы непременно отпросился.

Странная, однако ж, психологическая задача. Например, Лиза две капли воды похожа на Наташу, и я ее каждый день вижу, а не могу любоваться ею, как Наташею люблю. Она, мне кажется, слишком бойкая, более похожа на мальчика, ни к кому не привязывается, неохотно учится и музыки не любит.

Что бы это значило? Детство их было совершенно одинаково, а теперь такая разница.

М-ле Адольфине, как вам известно, в тот же год отказал г. Арновский. И знаете за что? Гнусный сла-

столюбец! Он не мог обольстить ее и выгнал из дому, назвавши при всех распутною девкою.

Бог ее знает, где она теперь. Доброе, непорочное создание! Вы знаете, что я ей обязан французским языком, и теперь только узнал я ему настоящую цену. Библиотека у нас состоит почти вся из французских книг, хоть, правду сказать, более из романов, но все-таки лучше, нежели ничего.

Да, m-lle Адольфина была необходима для Лизы. Бедное дитя! Чему она выучится, что усвоит себе хорошее от своей воспитательницы, безграмотной, старой, подлой девки? Это почтеннейшая сестрица г. Арновского. Она отделила ее от общества пансионеров и перевела к себе и всё это, я подозреваю, по приказанию брата. Гнусные люди! Лиза чрезвычайно быстро вырастает. Г. Арновский пишет, чтобы его нынешний год не ждали из-за границы. Он ведь еще в прошлом году уехал принимать ванны от какой-то застарелой болезни.

А знаете что? Приезжайте-ка 26 августа на ферму. Вы знаете, в этот день Наташа именинница. Уверяю вас, будет весело. Приезжайте, я хоть посмотрю на вас.

К этому дню я готовлю несколько квартетов, т. е. я с товарищами моего странствования. Только чур, не проболтайте, если раньше нашего приедете. Я хочу сделать это в виде сюрприза.

Антон Адамович готовит для нее же иллюминацию и щит с ее вензелем. Щит будет поставлен между кустов, а за щитом поместится наш квартет. Не правда ли, хорошо придумано? Еще я приготовил для Наташи сюрприз, не знаю только, понравится ли ей. За ноты я не боюсь: я ноты просто печатаю, а фронтиспис ⁶⁸ меня беспокоит. Я, видите ли, как умел, переписал на веле-невой бумаге «Серенаду» ⁶⁹ Шуберта и украсил заглавный лист собственным издѣлием, скопировал, правда, с какого-то ничтожного романса. Ну, да это ничего.

Приезжайте 26 августа, бога ради, приезжайте! Только непременно вместе с супругою».

Едва кончил я первое [письмо], как вошел ко мне Иван Максимович, запыхавшись:

— Фу, как устал! Почти бежал всю дорогу. Боюсь, не соскучились ли вы? А, да вы читаете, прочитываете. Что, каково, а? По-стариковски, не правда ли? Слог! слог главное, а прочее само собой придет, не так ли?

— У вас слог прекрасный!

— Устарел маленько. Что же делать, мы и сами устарели, не так ли?

Я в знак согласия кивнул головою, а он, взглянувши на рукопись, сказал:

— А, так вы на письме остановились? Продолжайте, продолжайте!

— Я уже кончил письмо.

— Кончили? — И, немного помолчав, он проговорил: — Да, оно кончается приглашением меня на именины Наташи, с моей незабвенною... — И он замолчал и отвернулся.

— Музыка... иллюминация... Наташа! — приходя в себя, говорил он с расстановкою.

— Да, прекрасно, торжественно-прекрасно было. Нет, мы лучше прочтем: этот праздник у меня торжественным стилем описан.

— Братец! пожалуйста обедать! — раздался голос сестрицы.

— И в самом деле, лучше пойдемте пообедаем, а потом уже придем и прочитаем.

И мы пошли обедать.

Не знаю, дело ли то было аппетита, или дело простосердечного радушия, или просто борщ с сушеными карасями (который так гениально варят мои землячки), — не знаю, что именно было причиною, знаю только, что я преплотно пообедал и еще плотнее заснул после обеда.

Вещи мои были принесены с почтовой станции, и я поселился до воскресенья в беседке гостеприимного Ивана Максимовича и во время его отсутствия прочитывал простосердечные письма моего непорочного музыканта.

Второе письмо, предлагаемое здесь, было писано спустя два с лишним года после первого.

«М[илостивый] Г[осударь] Иван Максимович!

В последнем письме своем вы повторяете свою прежнюю просьбу, чтобы я записывал из уст нашего народа, как вы пишете, всё, что касается его философии, поэзии и истории. Благодарю вас, что вы напоминаете мне об этом. Это значит, что ваше горе вполнину уменьшилось, что вы, наконец, вспомнили и нашего антиквария и, наконец, меня, вашего искреннего друга. Антиквария нашего и я помню хорошо, только бог его знает, где он теперь находится, а я для него или всё равно для вас записал на-днях дивную песню.

Иду я однажды по самой большой улице в селе и, правду сказать, иду к корчме, чтобы посидеть с добрыми людьми на завалине,— не услышу ли чего-нибудь поучительного. Только иду и вижу: по самой середине улицы идет пьяная баба и, как видно, не убогая. Идет и во всё горло поет, поглядывая на высунувшиеся на улицу хаты:

Упилася я,
Не за ваші я:
В мене курка неслася —
Я за яйця впилася!

Это ли не философия? Это ли не поэзия?

Мне хотелось сделать вариации на эту тему, но, увы! Музыка не в силах выразить этого великого сарказма.

Вы теперь, как видно из вашего письма, немного успокоились после вашей вознаграждаемой потери. «Бьйте лыхом об землю, як швець мокрою халявою об лаву», та приезжайте в воскресенье на ферму. А я приеду туда с виолончелью и буду играть для вас целый день и всё ваши и мои любимые малорусские песни.

Я вам, кажется, не писал еще о виолончели? Чудный! дивный инструмент! И я не знаю, где он мог его достать за такую ничтожную цену.

В прошлом году наш поправившийся г. Арновский возвратился из-за границы и, между многими диковинными игрушками, привез и виолончель. Боже мой, что это за игрушка! Только одна душа человека может так плакать и радоваться, как поет и плачет этот дивный инструмент. Мастер, создавший его, не кто иной был, как сам Прометей⁷⁰. Я спать ложуся и кладу его около себя. Это моя любовница, моя жизнь, мое «я». И если б я был два раза раб, то за этот инструмент продал бы себя в третий раз. О, я теперь совершенно забыл Серве.

А если бы видели, что делается с Наташей, когда я заиграю на этом божественном инструменте! Она цепенеет — и больше ничего.

А Марьяна Акимовна уверяет меня, что я на скрипке лучше играю, нежели на виолончели. Но это она говорит только так, она сама не может равнодушно слушать виолончели.

Разносился я, однако ж, со своею виолончелью, как дурень с писаною торбою, а о главном-то чуть было и не забыл.

Предчувствия мои сбылись. Едва оживший г. Арновский ухаживает уже за Лизою собственною персоною. Как видно, усердие милой сестрицы не имело успеха.

А Лиза и знать ничего не хочет. Бегает по залам, бьет горшки с цветами, ломает стулья, совершенный ребенок. А этому ребенку, заметьте, 17 годов. Меня одно только утешает, если я не ошибаюсь: что если и успеет г. Арновский, то этот успех обойдется ему не так-то дешево.

Мне, по крайней мере, не случалось еще встречать так сильно развитой природы в Лизанькины лета. Это совершенная женщина!

Сестрица г. Арновского втупик становится перед ее выходками.

Что если бы хоть какое-нибудь образование этой девушке? Это была бы совершенная Семирамида⁷¹ или Клеопатра⁷².

Месяца два тому назад, однажды сидят они все трое за обедом молча и только поглядывают друг на

друга исподлобья. Кушанья подавали только для формы, никто к ним и не прикоснулся. А я от нечего делать (стоя за стулом Лизы) стал всматриваться в лицо г. Арновского. Руина, совершенная руина! Он не старик еще, но опередил даже дряхлых стариков. Повисшие, едва сжимающиеся губы, полураскрытые бесцветные глаза, желтозеленый цвет лица и, вдова-вск, серые, жиденькие волосы и глухота делают его чем-то ствратительным, чем-то на полипа похожим.

Обед кончился, Лиза, выходя из-за стола, заплакала и, обращая к г. Арновскому, сказала:

— Прикажите заложить лошадь или я пешком уйду к Антону Адамовичу.

— Быть беде,— подумал я и не ошибся. Через несколько дней дворня шопотом заговорила о женитьбе барина на Лизавете Павловне, а еще через несколько дней явились уже и подробности, сопровождающие всякую будущую свадьбу. Из Прилуки, между тем, приехал стряпчий г. Арновского И. П. Ярмола, пробыл у нас двое суток и уехал так, что его почти никто и не видал.

Это тоже что-нибудь да значит!

Не прошло и месяца после этого происшествия, как сестрица г. Арновского засуетилася, забегала, всю дворню подняла на ноги и своим благородным воспитанницам приказала приготовить самую лучшую пьесу к свадьбе.

— К свадьбе! — подумал я. — Стало быть, между Лизой и г. Арновским это вещь возможная. Странно! — Я на другой же день съездил на ферму, рассказал все виденное и слышанное. Антон Адамович сказал: — Хорошо,— а Марьяна Акимовна только головой кивнула.

Свадьба совершилася тихо. Ждали гостей много, но собралися только ближайšie соседи. Театра тоже не было. Хотели было дать концерт, да тоже до завтра отложили.

Завтра прошло тоже без особых приключений, а послезавтра управляющий получил приказание от г. Арновской приготовить экипажи, людей и лошадей для поездки в Киев.

Все это происшествие вам покажется невероятным, фантастическим, как и самому мне оно показалось. Но вспомните, что Лиза выросла под непосредственным смотрением распутной старой девки. Вспомните это, и неестественное замужество Лизы делается самым натуральным. Грустно только смотреть на это милое создание, так бесчеловечно нравственно изуродованное. В ней и тени не видно той ангельской прелести, какая так свойственна ее возрасту. Воспитательница, однако ж, ошиблась в своих расчетах. Цель ее была развратить Лизу до такой степени, чтобы она была способной выйти замуж за ее отвратительного брата. В этом она успела. Но главное — ей надоедал братец своим самовластием, и ей нужно было сокрушить эту власть. Она и сокрушила, т. е. она сделала Лизу полной, независимой помещицей всего имения, прежде принадлежавшего г. Арновскому. Для того и приезжал стряпчий из Прилуки. Дело в том, что когда Лиза сделалась помещицей, то, вместо половинной власти и состояния, предложила своей наставнице место ключницы у себя в доме.

Рассчитавшись так со своей милой наставницею, она вручила полную власть своему управляющему над домом и всем имением. Она взяла своего дряхлого мужа и отправилась в Киев, якобы пользоваться тамошними минеральными водами.

В доме оставалось все попрежнему. Хозяйка обещалась зиму провести в имении, а до зимы, следовательно, мне в доме было нечего делать, и я, пользуясь сим добрым случаем, отпросился у управляющего месяца на два в Дигтяри, т. е. на ферму.

И вот уже третий день я разыгрываю моцартовские сонаты в хатке Марьяны Акимовны на моей милой виолончели.

Как тепло, как хорошо мне в кругу этих милых моих друзей. Наташа день ото дня становится все краше и милее. И что за умница, что за скромница, просто прелесть! Она, знаете, со мною хочет этикетничать, держать себя прилично взрослой девице, но никак не может: важничает, важничает, да вдруг схватит с меня шляпу, побежит и спрячется в кустах. Я ищу ее, а она

перебегает из куста в куст, пока устанет. А потом пойдет жаловаться Марьяне Акимовне, что я ей покою не даю, что она на мой соломенный бриль без смеху смотреть не может. Милое, прекрасное создание! Глядя на нее, иногда я себя чувствую выше человека, таким безгранично счастливым существом, каким человек никогда быть не может.

С некоторого времени, я замечаю, она начинает задумываться и почти плачет, когда я играю ее любимую серенаду Шуберта.

Марьяна Акимовна предлагает Антону Адамовичу поехать с Наташею на зиму в Киев. Но Антон Адамович упорно молчит и только головою потряхивает. Раз было сказала Марьяна Акимовна:

— Ну, коли не в Киев, так хоть в Качановку к Лизе.

Но он на нее так посмотрел, что с тех пор о Лизе и помину не было.

Я совершенно понимаю и оправдываю мысль Марьяны Акимовны, но никак не могу равнодушно вообразить себе Наташу в кругу незнакомых ей людей. Мне делается страшно за нее. Она такая живая, впечатлительная, и ей уже семнадцать лет. Ей предстоят большие опасности впереди.

Вот еще что меня немало удивило. Когда я рассказал с подробностями про свадьбу Лизы, Наташа равнодушно дослушала мой рассказ, проговорила: — Несчастливая она, — и залилась слезами.

Неужели она в эти лета так глубоко успела заглянуть и уразуметь, в чем состоит истинное наше счастье?

Я завтра поеду в Качановку за партитурою Мендельсона «Сон в Ивановскую ночь»⁷³. Наташа еще не слыхала ее. Я положу для нее эту чудную симфонию для фортепиано и баса.

Приезжайте когда-нибудь в праздник и вы послушаете. А между тем, напишите о себе хоть пару слов с нашим посланным, напишите хоть только то, что вы получили мое послание.

Преданный вам ваш Музыкант».

На оставшемся от письма чистом полулисточке бумаги вроде примечания было написано рукою Ивана Максимовича так:

«29 июня, в день Петра и Павла, ездил я в гости на ферму и гостил два дня с великим удовольствием. Биолончель с фортепиано — это такая божественная гармония, что вечно бы слушал ее и не наслушался, особенно, когда они вдвоем исполняют эту волшебную серенаду. Я, впрочем, думаю, и не без основания, что, кроме гармонии звуков, между ними существует высочайшая гармония самых нежных чувств. Мне даже об этом сама Марьяна Акимовна косвенно намекнула, когда они играли серенаду. Она обратилась ко мне и, взором показывая на музыкантов, шепнула:

— Не правда ли, парочка? Как вы думаете?

Я, разумеется, в знак согласия кивнул головою.

Другой раз, когда мы гуляли по саду и они вдвоем шли впереди нас и о чем-то тихо разговаривали, Антон Адамович, глядя на них, проговорил, как бы сам с собою:

— Во что бы то ни стало, а я ему добуду свободу.

— Благородное чувство! — подумал я. — Это значит, стать выше предрассудков века. Давно пора бы всем так думать и чувствовать. Но, увы! гордыня обуяла нас. А как бы они счастливы были! Я всякий бы день ездил на ферму любоваться на их счастье. Я тут не вижу ничего невозможного. Все будет зависеть от Антона Адамовича, а сомневаться в искренности и чистосердечии этого благородного человека — значит не верить в бога. Подождем — увидим!».

В следующем за письмом повествовании собственного изделия Ивана Максимовича продолжают рассуждения в этом же роде, т. е. в роде филантропическом, только уже слогом возвышенным, обработанным, — таким слогом, что я с трудом прочитал полстраницы. Настоящий Марлинский! Мир памяти его.

Перевернувши несколько листов красноречивой рукописи, я открыл еще одно письмо музыканта, писанное год спустя после предыдущего.

Письмо начинается так:

«Незабвенный Иван Максимович!

Я так счастлив, так бесконечно счастлив, что едва могу писать вам, а писать необходимо, потому что счастье задушит меня, если я не выскажусь. Но с чего же вам начать? Дайте прийти в себя. Да начну с того, что прошедшей осенью возвратился из Киева г. Арновский, совершенно больной и без жены. Елисавета Павловна бросила его в Киеве на попечение сестрицы, а сама уехала с каким-то гусаром на маневры в Вознесенск, да и не возвращалась. А уже из-за границы, кажется, из Вены, написала управляющему письмо, чтобы он всю дворню и музыкантов распустил на оброк, кто пожелает, а остальных обратил бы в хлебопашцев; благородным воспитанницам выдал бы по тысяче рублей и тоже распустил бы, а дворовых девушек выдавал бы замуж с приданым по сту рублей, хоть за солдат; г. Арновскому и сестре его выдавал бы по сту рублей в месяц, и больше ничего.

Жалко и отвратительно было смотреть на этого изувеченного сластолюбца, когда он смотрел на сборы в дорогу своих воспитанниц и не мог остановить этих сборов. Ему не хотелось расставаться со своими жертвами, и он плакал в бессилии. Он пошел было к ним во флигель проститься с ними, но они перед ним двери заперли. Достойная благодарность развратителю!

Елисавета Павловна, может быть, и бессознательно, но вполне справедливо и достойно наказала своего развратителя. Я в душе ей благодарен. За одну бедную Тарасевич сго следовало бы сделать каторжником. Если совесть его проснется когда-нибудь, то она забичует его лучше всякого палача. Только мне не верится в присутствие совести в развращенном сердце.

Оркестр наш почти весь пущен на оброк и отправился в Киев. Выбрали было меня капельмейстером, но

я решительно отказался и выпросил себе у управляющего место лесничего в Дигтярях. Эта должность как раз пришлась по мне: брожу себе целый день по лесу, как будто дело делаю, а к вечеру отправляюсь на ферму. Виолончель осталась со мною. Слушатели мои — самые искренние слушатели, и я просто блаженствую. Если бы ко всему этому прежняя резвость и беззаботность Наташи, я был бы совершенно счастлив. А то она, бедная, такая грустная ходит, что я плачу, на нее глядя.

Марьяна Акимовна тоже будто бы переменялась, тоже чего-то по временам задумывается и скучает. С дин только Антон Адамович попрежнему молчит и добродушно улыбается. В отношении же меня они все ласковы попрежнему, только что-то как будто бы скрывают.

Меня это мучит, и я по целым дням иногда хожу по лесу и плачу, сам не знаю отчего.

Несколько дней тому назад Антон Адамович ездил к нашему управляющему и возвратился чрезвычайно весел, так весел, что заставил меня с Наташеею играть «Горлыщю», а сам чуть было танцовать не пустился.

А, между прочим, все-таки ни слова никому не говорит о причине такой радости.

Через неделю после этой радости Антон Адамович, не сказав никому ни слова, уехал опять к управляющему, а к вечеру того же дня прислал записку, чтобы его не ждали вечерять, что он с управляющим уехал в Полтаву.

Мы, разумеется, ахнули и минут пять не могли проговорить ни слова, только смотрели друг на друга. Наконец, проговорила первая Марьяна Акимовна:

— Что же это он сделал со мною? Вот уже тридцать лет, слава богу, и мы с ним не разлучались ни на день единый, а тут взял да и уехал, и хоть бы сказал слово. Вот до чего я дожила, горькая!

И, минуточку помолчав, она тихо заплакала. Наташа тоже, и, взявшись за руки, они пошли в покои.

Я, как вкопанный, остался на месте и долго бы простоял еще, если бы Наташа не позвала меня в комнаты.

После долгих рассуждений и предположений, зачем и для чего так, можно сказать, воровски уехал Антон Адамович в Полтаву, я вызвался сейчас же съездить в Качановку и узнать все положительно на месте. А чтобы им не страшно было без мужичины, я сходил на мельницу и пригласил старого мирошника на ферму в виде сторожа и собеседника. (Наташа чрезвычайно любила слушать его старые сказки и прибаутки.)

На рассвете я возвратился на ферму из Качановки, не узнавши ничего. Конторские писаря, пользуясь отсутствием управляющего, перепились пьяны и на вопрос мой отвечали:— Уехали в Полтаву,— и больше ничего.

Наташа заснула, а Марьяна Акимовна ждала моего возвращения у ворот сада и, завидя меня, подбежала ко мне с вопросом:— Что?— Я, хоть и горько мне было, сказал ей, что в Качановке никто ничего не знает.

— Идите же в его хату да отдохните с дороги,— сказала она мне и, закрыв лицо руками, тихо пошла к дому.

— Бедная женщина,— подумал я, глядя ей вслед.— Неужели так тесно сдружилась ты с ним, что не можешь один день прожить без него? Счастливая, завидная твоя доля, и многие, многие жены тебе вправе позавидовать. А тебе еще больше, счастливый, благородный старче, должны завидовать мужья-горемыки!

Прошел день, другой, наконец, и третий, а об Антоне Адамовиче ни слуху, ни духу. На ферме всё так притихло и приуныло, что я боялся и подумать о музыке.

Марьяна Акимовна все дни ходила взад и вперед по одной дорожке и только молча вздыхала, а Наташа ей вторила.

Казалось, что мы уже навеки расстались с нашим Антоном Адамовичем. В продолжение дня Марьяна Акимовна заходила в его хату, чего прежде никогда не делала, обмахивала платком пыль с электрической машины и с других вещей, садилась на кушетку и плакала. Словом, она походила на самую нежную любовницу.

В продолжение этих дней я только и слышал от нее,— и то она говорила как бы сама с собой:

— Ну, слыхано ли на свете такое горе? Уехать в такую даль и не сказать жене ни слова! О, я несчастная!

Дни проходили медленно, а вечера еще медленнее. А 26 августа быстро близилось. Я думал было прежде о сюрпризах для дня ангела Наташи, но после этого случая я так растерялся, что совершенно обо всем забыл.

Я ездил еще раз в Качановку и хотел было проехать в Прилуку к поверенному Елисаветы Павловны, но мне сказали в Качановке, что и он уехал вместе с ними.

Вот уже и 25 августа, а на ферме будто бы ничего не бывало: ни малейшего движения, о предстоящем празднике и помину нет.

Я вспомнил про месячную розу в Дигтярях в оранжерее, которую я давно выпросил у садовника для дня ангела Наташи, и, не сказав никому ни слова, отправился пешком в Дигтяри. Возвратился я с цветком на ферму уже вечером, и вообразите мою радость: Антон Адамович сидел за столом между Марьяной Акимовной и Наташей и, по обыкновению улыбаясь, пил чай.

— А, и вы пришли! — сказал он, увидевши меня. — Садитесь-ка, я вам расскажу, что я видел в Полтаве.

Я сел, и несколько минут прошло в молчании.

— Ну, рассказывай же, — проговорила Марьяна Акимовна, — беспутный, что ты там видел в твоей скверной Полтаве?

— А что я там видел? Грязь и больше ничего!

— А что же ты там делал столько времени?

— Тоже ничего!

— Зачем же ты ездил туда, ветрогон ты старый?

— Так, прогуляться.

— Так, прогуляться! Слышите, люди добрые? Так, прогуляться! Ах, ты седая, старая голова! И это тебе не совестно так мучить меня на старости лет?

И Марьяна Акимовна поцеловала его так нежно, так простосердечно, как самая нежная мать целует покорное дитя свое.

Вечер прошел тихо и весело.

На другой день проснулись все рано, а Антон Адамович раньше всех и, разбудивши меня, сказал:

— А что, ты приготовил что-нибудь для именинницы?

— Приготовил,— проговорил я.

— Ну, так вставай же, одевайся и пойдем поздравим,— она уже бегаёт по саду.

Я наскоро умылся, оделся и, взявши свою розу, пошел к дому вслед за Антоном Адамовичем. Наташа, увидя нас, побежала в комнаты.

Мы вошли вслед за нею, а она уже сидела за чайным столом, как ни в чем не бывало, около Марьяны Акимовны и просила сухарика к чаю.

Я поздравил ее, преподнес ей свой скромный подарок. Антон Адамович поздравил тоже и, вынув из бокового кармана сложенную вчетверо бумагу и подавая Наташе, сказал ей:

— Вот тебе гостинец из Полтавы.

Сказавши это, он, улыбаясь, сел около нее.

Наташа долго молча читала бумагу и, не дочитавши, выпустила ее из рук и со слезами бросилась обнимать и целовать Антона Адамовича, а мы с Марьяной Акимовной с изумлением посматривали друг на друга.

Наконец, я поднял бумагу, посмотрел на нее, и... то была моя отпускная!

Все, что ни сказал бы я вам про свои ощущения в эту великую минуту, все бы это и тени не было похоже на то, что я чувствовал.

— Виолончель тоже наша,— проговорил, улыбаясь, Антон Адамович.

Я упал перед ним на колени и целовал его руки, обливая их слезами.

— Ну, Наташа, теперь за тобою очередь, продолжай,— сказал Антон Адамович, обращаясь к Наташе.— Возьми эту бумагу и отдай нашему другу и скажи: вот, мол, тебе мое приданое. А мы с Марьяною скажем: — Боже вас благослови!

Все четверо мы бросились друг к другу и залились слезами.

И вот уж более недели, как мне мое счастье спать не дает. И знаете, кто все это сделал?— Наташа! моя милая, моя бесценная Наташа! Она предпочла меня и знатным и богатым, меня, крепостного музыканта, и, открывшись во всем своим благородным благодетелям, просила их делать с нею, что найдут лучшим. А добрый, молчаливый Антон Адамович, не долго рассуждая и не говоря никому ни слова, решил по-своему, одним разом. Он заплатил за мою свободу с виолончелью 2500 рублей. Если бы г. Арновский был моим владыкою, этого бы никогда не случилось.

Спасибо тебе, Елисавета Павловна! Тебе и во сне не снится, что ты, хотя совершенно невинная, причина моего настоящего блаженства.

Теперь Антон Адамович хлопочет об определении меня в канцелярию дворянского предводителя. Уж это я и сам не знаю для чего, а когда это сбудется, тогда мы с вами будем видеться, по крайней мере, раза три в неделю. А пока приезжайте в воскресенье на ферму и полюбуйте на совершенно счастливых людей.

Преданный вам музыкант N».

Дочитавши это самым счастьем написанное письмо, я впал в какую-то болезненную задумчивость. Боже мой, неужели это была зависть? Нет, я не завидовал никому на свете. Это было горькое, невыразимо горькое чувство одиночества. Я чуть не заплакал от внутренней боли. В то время, как я собирался плакать, вошел ко мне Иван Максимович и спросил:

— Ну что, далеко уже прочитали мое немудрое повествование?

— Все прочитал,— ответил я.

— И описание свадебного пира?

— Нет, не читал.

— Так прочитайте, непременно прочитайте, потому что я, можно сказать, больше всего рассчитываю на эффект этого великолепного изображения.

— А скажите, Иван Максимович, старики еще живы?

— Здравехоньки, а о счастье и говорить нечего. А если б видели, что за внучку им бог послал! Совершенный ангел божий!

Я снова задумался.

— А знаете что, Иван Максимович? — спросил я его через минуту.

— А что?

— Отпустите меня завтра одного на ферму, а сами в воскресенье приезжайте.

— Низачто! а коли уж вам так загорелось, то и я завтра могу с вами ехать. Да что это вам так вдруг...

— У меня уж характер такой: я ужасно люблю смотреть на счастливых людей, и, по-моему, нет прекраснее, нет усладительнее зрелища, как образ счастливого человека.

— Это совершенная правда.

На другой день мы были на ферме, и я видел и был совершенно счастлив счастьем этих простодушно благородных людей! Видел и свидетельствую истину сего неложного сказания. Аминь.

28 ноября [1854] — 15 января 1855.

НЕСЧАСТНЫЙ





Крепость Орск местные киргизы называют Яман-Кала, и это название чрезвычайно верно определяет физиономию местности и самой крепости. Редко можно встретить подобную бесхарактерную местность: плоско и плоско. Для киргиза, конечно, это ничего не значит — он сроднился с этим пейзажем, но каково для человека, привыкшего в окружающей его природе видеть красоту и грацию, очутиться вдруг перед суровым однообразным горизонтом неисходимой, бесконечной степи? Удивительно, как неприятно такой пейзаж действует на одинокую душу новичка.

Крепость Орск, как нельзя более, в гармонии с окружающей ее местностью. То же однообразие и плоскость. Только и отделяется немного от общего колорита крепости — это небольшая каменная церковь на горе, заметьте, на Яшмовой горе. Под горою с одной стороны лепятся грязные татарские домики, а с другой стороны, кроме таких же грязных домиков, — инженерный двор с казематами для каторжников. Против инженерного двора длинное низенькое бревенчатое строение с квадратными небольшими окошками, — это баталионные казармы, примыкающие одним концом к деревянному сараю, называемому экзерцисгауз¹, а другим концом выходящие на четырехугольную площадь, украшенную новою каменною церковью и обставленную дрянными деревянными домиками. Где же самая-то крепость? — спросите вы. Я сам два дня делал такой же самый вопрос, пока на третий день, по указанию одного старожилы, не вышел в поле, по

направлению к меновому двору, и не увидел едва приподнятой насыпи и за ней канала. Канал и насыпь сравнительно не больше того рва, каким у нас добрый хозяин окапывает свое поле. Вот вам и второклассная крепость.

Налибовавшись досыта на это диво фортификации, я уже перед вечером возвращался через слободку на квартиру и, поворота за угол одной бедной лачуги, я увидел идущую толпу солдат с балалайкою и бубном. Толпа против лачуги остановилась, из толпы образовался кружок, грянула лихая песня с бубном и присвистом, и из толпы слышалось:

— Ай да помещик! ай да дворянин! Орел! просто орел!

Такие восклицания меня остановили. Я уже думал было подойти к веселым ребятам и полюбопытствовать, что там такое за помещик, только в это время толпа расступилась, не прерывая песни, и впереди ее явился в разорванной рубахе статный белокурый юноша и, ловко подбоченясь, пошел вприсядку.

Меня поразила наружность этого юноши. Что-то благородное было в нем и что-то низкое, отталкивающее. Я не мог его рассмотреть подробно, мне что-то мешало смотреть на него, и, отходя прочь от толпы, я спросил у солдата, который мне показался трезвее своих товарищей:

— Кто это такой у вас так славно пляшет?

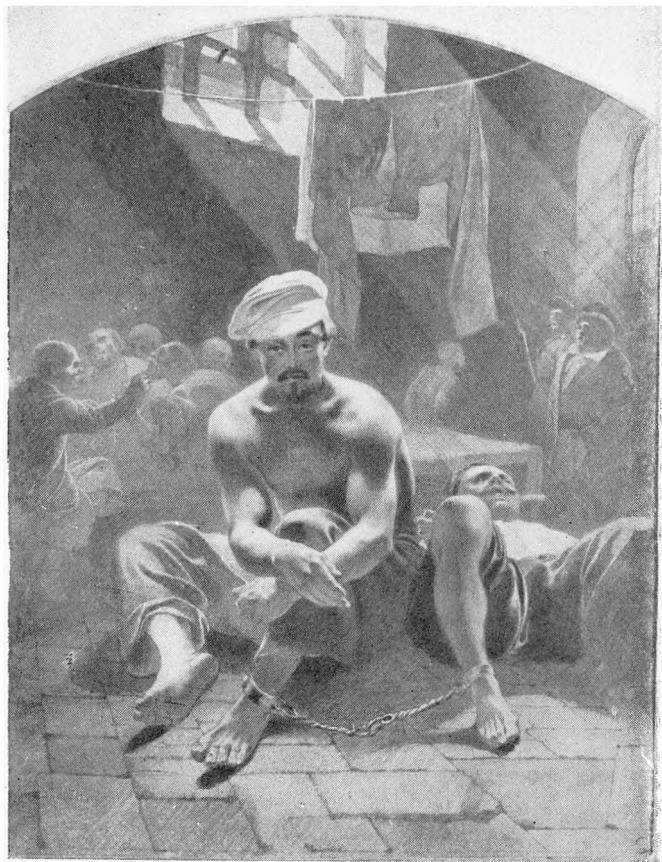
— Несчастный! — ответил мне солдат скороговоркою и поспешил за толпою.

Слово «несчастный» странно как-то было произнесено солдатом. Мне показалось, что он этим словом называет какое-то сословие, а не то, что оно собственно выражало.

После я узнал, что там и кроме солдат так произносили это слово, а когда я освоился с ним, то я и сам его произносил точно так же.

Человек сам не замечает, как он быстро осваивается с людьми, его окружающими.

В продолжение ночи мне все мерещился белокурый молодой атлет и слышались слова: — Ай да помещик, ай да дворянин!



*Т. Г. Шевченко. У казематі (з серії «Блудний син»),
1856—1857 рр. (бістр, туш).*

На другой день пошел я разузнавать, кто такой этот несчастный, и я, разумеется, не мог узнать ничего, потому что он не один [такой], как мне после сказали, находится в Орской крепости.

Был какой-то праздник, и я от нечего делать пошел побродить по безотрадным окрестностям крепости и перед вечером, возвращаясь домой, как раз у кирпичных заводов повстречал кучку веселых ребят с бубном и с балалайкой и знакомого незнакомца-плясуна и услышал те же самые возгласы. Чтобы не упустить его опять из виду, я отозвал одного солдата в сторону и потихоньку спросил, как прозывается дворянин, что пляшет. Он мне сказал его фамилию, и я на другой же день в баталионной канцелярии прочитал его грустную конфирмацию². Это был юноша, написанный в рядовые по просьбе родной матери. Это происшествие меня сильно заинтересовало, но как разгадать подобную загадку? Я лучше ничего не мог придумать, как познакомиться с самим субъектом и узнать от него самого всю истину. И как же я ошибся, увы!

Это было что-то вроде идиота. Трезвый, он упорно молчал, от одной рюмки водки он пьянел и начинал проклинать мать свою, самого себя и всё, что его окружает. Одна пляска для него имела еще какую-то прелесть, а больше ничего.

Я попробовал было его со стороны образования, и он мне такую чепуху загородил, что лучше было б и не пробовать. Однажды приходит он ко мне навеселе и видит у меня развернутую книгу на столе.— Что это вы почитываете? — спрашивает он.— «Мертвые души».— А, это сочинение Эжена Сю³.— Точно так,— ответил я.

Немного, я думаю, найдется моих читателей таких, которые бы мне поверили, что это было действительно так, а это было действительно так.

Так вот такая-то Яман-Кала: сама по себе она неказистая, а вмещает в себе такие редкие субъекты, что не мешает их описывать самым тщательным манером.

В одной из центральных губерний нашего неисходного отечества, близ уездного городка N., вдоль большой дороги вытянулись в ряд серые бревенчатые, с закоптелыми волоковыми окнами избы, и этих серых изб я насчитал штук более двухсот. Выходит, село по величине порядочное, но на взгляд далеко не такое. И странно: кругом дремучие леса, а в селе ни одной избы хоть мало-мальски порядочной: та без клетки, та без сеней, та пошатнулась, а та совсем повалилась. Кругом всё растёт и зеленеет, а в селе, как говорится, хоть шаром покати,— ни одного деревца. Или мужикам запрещено сажать деревья, или, бог их знает, может быть, и сами не хотят, а помещику и невдогад их заставить, благо у самого под рукою английский парк со всеми причудами. А дети, когда выбегут на улицу посмотреть на проезжающего, так это только слава, что дети: медвежата, просто медвежата.

Посередине села церковь с высоким шпилем колокольни, довольно затейливой архитектуры и мало свидетельствующая о вкусе зодчего, а может быть, и самого ктитора⁴. Около церкви была когда-то ограда, о чем свидетельствуют полуразрушенные каменные столбики, не в дальнем один от другого расстоянии и кругом запачканные грязью, надо думать, свиньями во время почесыванья.

И церковь, и село, и полунагие закопченные дети — словом, всё являет из себя вид весьма живописный, совершенно во вкусе Ван-Остаде⁵ наших подающих надежды *tableaugenr'истов**.

Проехавши село, в левую сторону, недалеко от почтовой дороги, на горе видны барские хоромы с бельведером, окруженные темным лесом, а лес обведен, по крайней мере со стороны почтовой дороги, глубоким и широким рвом с живою на валу изгородью.

Сквозь деревья мелькает светлый пруд, или из-за группы лип мелькнет угол китайской беседки, или куст акаций, или другое что-нибудь, вроде Клеопатриной иглы⁶, воздвигнутое на память дружбы и любви,— словом, прелесть! Так бы вот и соскочил с телеги,

* Жанристов.

перепрыгнул бы через живую изгородь да и пошел писать по всем направлениям роскошного барского сада.

Я, правду сказать, так и сделал. Но это было давно. Теперь уж я подобной штуки не выкину. Я тогда прошел из конца в конец весь парк, и меня, как теперь помню, поразила страшная тишина. Я видел великолепный дом, павильоны, беседки, качающуюся раскрашенную лодочку на краю пруда, под наклонившимися деревьями, и посередине пруда гордо плавающих пару лебедей, но не видел ни одного человека, который бы оживлял эту изысканную картину. На меня неприятно подействовало такое отсутствие человека; это все равно, что прекрасный пейзаж, не оживленный человеческой фигурой. Я даже раскаивался, что входил в этот заколдованный парк.

О, если б я знал тогда, что когда-то придется мне писать историю обитателей этого роскошного уединения,— я бы тогда не ограничился одним поверхностным взглядом, а постарался бы проникнуть и в хоромы, и всюду, куда только можно проникнуть, всюду бы заглянул, и, может быть, тогда моя история была бы и полнее и круглее. Но прошлого не воротишь. Ограничимся тем, что теперь имеем.

Проехавши версты две, я спросил тогда у ямщика:

— Чье это село мы проехали?

— Господское.

— Знаю, что господское! — Да господина-то как звать?

— Помещик Хлюпин.

— Что, он сам, видно, мало живет в своем селе?

— Только за оброком приезжает и то не каждый год.

Этим сведения мои тогда и кончились.

После этого, спустя десятка три лет, встретился я в Орской крепости с несчастным однофамильцем названного мне ямщиком помещика, и после двух-трех вопросов я узнал от молодого человека, что он единственный его родной сын и наследник знакомого мне села и парка.

Дело было вот как. Ротмистр Хлюпин, отец этого несчастного юноши, не расположен был вовсе жениться,

но обстоятельства заставили, и он женился на богатой и немолодой вдове, взявши за нею в приданое описанное мною село.

Вдова, родивши ему сына, а потом дочь, поживши мало после этого происшествия, переселилась к праотцам, завещавши имение детям, а отца над ними как бы опекуном оставила. Старуха, как видно, не хотела, чтобы он снова женился, да еще, пожалуй, и на молодой. Но ротмистр, как он вообще не имел расположения к семейной жизни, взявши птенцов своих — сироток, с причтом нянек и мамок, отправился в Питер. Долго ли, коротко ли он вел там холостую жизнь, не знаю. Только, как он ни близорук был в отношении детей, увидал, однако ж, что детям нужна мать, т. е. необходимо жениться.

С такою-то благою мыслию однажды он вышел со двора. Идет он по Литейной, выходит на Невский, глядь, навстречу ему словно заря алая, словно лебедь белая так и выплывает по тротуару. Замерло ретивое у старого гусара. И во сне ему не снилася никогда такая красавица, какую он теперь увидел.

— Что ж, — думает гусар и отец семейства, — попытка не шутка, спрос не беда, — попробуем! Ливреи же за нею не видно, помешать некому.

И он поплелся вслед за красавицею. Долго она его водила по разным переулкам, наконец, завела его чуть не к Таврическому саду, да в один самый мизерненький домик с двумя крошечными окошечками и шусть перед самым его носом, а он и остался на улице, да еще и на грязной.

Простоявши с добрый час против домика и махнувши рукой, пошел обратно.

Тут бы, казалось, и всему происшествию конец. Вот то-то и нет, тут только, можно сказать, начало самой истории или, лучше сказать, начало самого зла.

Подвернись эта история другому военному, а не в отставке гусару, разом бы всё покончил, да и концы в воду. Ротмистр мой, хоть тоже слыл решительным малым, однако кончил тем, что после многократных и бесплодных хождений на Пески решился, наконец, послать

сваху в заветный до́мик. Сказано — сделано, и счастливейший ротмистр с красавицей супругою катит в свое поместье, а дети с няньками и мамками и со всякой рухлядью вслед за ними.

Здесь, я думаю, не мешает рассказать хоть вкратце, кто такая вторая супруга решительного ротмистра. А вот кто она такая.

Отец ее служил прапорщиком в каком-то пехотном полку, расположенном на Волыни, да и влюбился в какую-то хорошенькую панянку. Дело могло бы тем и кончиться, да случился грех, его заставили жениться; он не прекословил, женился и выступил за ротою в поход. Войска в то время начали стягиваться к Вознесенску. На последней дневке перед Вознесенском молодая жена прапорщика разрешилась от бремени дочерью Мариною. Три или четыре года бедная прапорщица с ребенком шлялася за своим прапорщиком или, лучше сказать, за ротою, пока, наконец, от недостатка, горя и всяческих лишений не впала в чахотку и вскоре умерла.

Безумная и трижды безумная девушка, решающаяся влюбляться и выходить замуж за армейского — не только за прапорщика, за поручика даже, если только он не ротный командир. За ротного командира и то много нужно решимости, чтобы итти замуж. Тут должна быть истинная, настоящая любовь. По-моему, это такая великая со стороны женщины жертва, что маломальски порядочный мужчина не должен бы ее не только домогаться, но даже и желать.

Похоронивши свою мученицу-жену и сдавши денщику дитя на руки, прапорщик пустился на обывательских роту догонять. По службе ему как-то не везло; у начальства он был не на выгодном счету: товарищи его давно уже подпоручиками и поручиками, а он всё еще прапор. Что бы такое значило, бог его знает. По службе он молодец, лишнюю рюмку не пьет, разве только что рановато маленько женился, — так ко́му какое дело! Вот он думал-думал, да и начал испивать маленькую, потом большенькую, и еще и еще большенькую, и кончилось тем, что ему, горемыке, предложили в отставку. Он попросился в перевод в какой-нибудь линейный

батальон. Его и перевели в 23-ю пехотную дивизию, расположенную, как известно, в Оренбургском крае.

Пока то да сё, глядь, а дочке уже пошел десятый годочек, а она, бедная, и грамоты не знает. Да и где узнать ее? Отцу некогда, денщик безграмотный, а деревенские мальчишки выучили ее в бабки играть.

Он, бедняк, думал: приедет в Оренбургский край, поселится где-нибудь в одном месте и займется воспитанием дочери. Не тут-то было. Не успел он осмотреться на новом месте, как его командировали в одно из степных укреплений. Беда да и только!

Делать нечего, пошел он и в степное укрепление.

Кто не видал этих степных укреплений, тому советую прилежно молиться богу, чтобы и не видеть их никогда. Кроме отчуждения ото всего, что хоть маленький имеет намек на образование, теснота и лишения всевозможные, а о нравах и говорить нечего.

Так вот в такое-то гнездо попал мой бедный прапорщик со своею уже двенадцатилетнею дочерью. На другой же день она прослыла в укреплении кантонистом в юбке.

Она, действительно, была девочка красивая, умная и бойкая, хоть и мальчику ее лет, так впору. На горе, он привез с собою еще в виде няньки какую-то старушонку, безобразную и донельзя распутную. Так что когда они, бывало, подгуляют вдвоем с нянькою, то Маша убежит в женатые казармы да там и ночует. Бедное дитя! Ее какой-то солдат и грамоте выучил.

Так прошло два года, роты сменились, Маша выросла и удивительно похорошела, и больше ничего. И то правда, главное есть, а об остальном — кому какое дело?

Возвратясь к своему батальону, отец хотел было приняться за свою Машу, да Маша уже не та: ей уже пятнадцатый год.

— Ну, что ж,— рассуждает невзыскательный отец,— за писаря и так сойдет.

А пока он так рассуждал, Маша росла, росла и выросла красавица на диво: не только что за писаря,— хоть и за генерала, так не стыдно.

Какой-то чиновник, не помню, по питейной, не то

по таможенной части, только не военный,— об этом тогда еще и в городе говорили,— так какой-то гражданский чиновник, да чуть ли не из пограничной комиссии, приехал в город по делам службы, увидел где-то Машу и влюбился. Узнал, что и как, и чья, и где живет, да, не рассуждая много, сунул пьяной няньке пять целковых,— она ему и спроворила.

Он уехал по делам службы в Петербург и Машу взял с собою, а там ее и бросил, потому что ему нужно было опять куда-то ехать.

Такими-то путями она очутилася в Петербурге. А как очутилася на Песках, тут уже история другая. Но эту другую историю я готов хоть и не рассказывать, потому что в ней, кроме отвратительного, ничего нет. Как бы там ни было, а Маша, хоть и едва грамотная, а выдержала свою роль лучше всякого синего чулка.

Так вот кто такая вторая супруга моего удалого ротмистра.

Теперь мы ее уже будем звать Марьей Федоровной.

На другой же или на третий день после свадьбы Марья Федоровна настояла на том, чтобы сейчас же ехать в деревню, и она на это имела основательные причины: в деревне кто ее узнает, какого она поля ягода, а живя в городе, да еще и в столице, придется поддерживать мужнины знакомства; они у него, быть может, всё графы да князья. Бог его знает, он человек богатый, всё случиться может, а она, как говорится, и ногой ступить не умеет. Хорошо еще, что солдат грамоте выучил, а не то и того бы не знала.

Так или почти так рассуждала Марья Федоровна, и рассуждала, правду сказать, довольно верно; по всему видно, что она имела ум практический или положительный. Не прошло и месяца, как она вступила в роль провинциальной барыни-хозяйки, как у нее всё задвигалось и заходило.

Ротмистр мой только смотрит да глазами похлопывает. А как она приняла у себя с визитом мелкопоместных соседок, так только ахнули. Но кто прежде всех в доме на себе почувствовал ее влияние, так это сам ротмистр. Он до того сузился перед нею, что стал больше походить на лакея, нежели на барина.

На детей она сначала не обращала никакого внимания, пока не почувствовала себя беременною, — а с той поры и они поступили в ее ведомство, и они, бедные, стали чувствовать какую-то тяжесть. Девочка еще кое-как резвилась, а мальчик, бедный, тот совсем затих. Он, как говорили, весь в отца пошел; и отец тоже хорохорился до первой остротки, а как на него прикрикнули хорошенько, так он — тише воды, ниже травы.

Во избежание же следующих остроток, которые он во множестве предвидел впереди, переселился он во флигель, неподалеку от дома, и зажил настоящим анахоретом. Сначала приходил он в дом пообедать, поужинать или просто спросить о здоровье дражайшей половины, но впоследствии совсем оставил свои визиты; даже у человека, который приносил ему обед, он не спрашивал о здоровье Марьи Федоровны. Детей своих он видел только по праздникам и то с позволения жены. Впрочем, сильного стеснения в быту своем он не чувствовал или, лучше сказать, не мог чувствовать. Большую часть дня он проводил или на псарне, или на конюшне, или же упражнялся в благородном занятии — стрельбением из пистолета в цель, которую устроил у себя в кабинете на случай дурной погоды. Надо заметить, что в этой комнате, кроме стула и цели, ничего не было, даже трубок и книжки, развернутой на 14-й странице, и я не знаю, почему он называл ее кабинетом.

После первых припадков беременности, как я уже сказал, она начала обращать внимание на мужниных детей. Внимание это выразилось так: она каждый день исправно начала посещать детскую, что прежде делала в продолжение месяца один раз; потом начала учащать свои визиты; потом приходила смотреть, как кормят и чем кормят детей, как спать кладут, как поутру их умывают, как одевают. Большого попечения родная мать своим детям оказывать не может, а, странно, дети ее не любили и даже боялись. Бывало, если только заплачет которое из них, то няньке стоит только сказать: — Мама́ идет, — и дитя в одно мгновение переставало плакать. Ту же тактику употребляли няньки,

когда дети слишком разрезвятся, хотя это случалось весьма редко. Они смотрели настоящими сиротками, особенно мальчик. И девочка, сначала такая резвая, румяная, заметно побледнела и присмирела с той поры, как за нею начали так заботливо ухаживать.

Есть люди, которых всё любит и всё к ним ласкается; даже, говорят, их и бешеные собаки не кусают. К числу таких людей принадлежал и знаменитый Вальтер Скотт. А есть опять люди, которые ко всем ласкаются, а их все или ненавидят, или боятся и ненавидят. К числу таких людей принадлежит и моя Марья Федоровна.

А может быть, и независимо от этой антипатии [есть] еще что-нибудь такое, почему мачеха детям кажется ненавистною.

Что бы там ни было, только дети под непосредственным наблюдением Марьи Федоровны бледнели и худели. А когда она встречалась со своим благоверным ротмистром, то только и речей было, что про детей, так что он уже начал ее просить, чтобы она поберегла себя, что дети, даст бог, и без нее вырастут.

Лето проходило, близилась осень. Дети давно уже ходили, а летом их не выпускали в сад побегать, бояся простуды: пруд, дескать, близко, сыро. Настала осень, и детей стали посылать в сад гулять, потому что теперь воздух холоден и пруд не может иметь влияния никакого, по физике Марьи Федоровны. А по физике ротмистра — совершенно все равно, лишь бы его борзые не хворали, потому что скоро начнется травля зайцев, а до детей ему какое дело? На то у них есть мать.

А между тем, в селе показалась оспа. Нежному родителю и в голову никогда не приходило, что дети его из такой же плоти и крови, как и чужие дети, и что их так же само может постигнуть эта язва, как и чужих детей, кому не привита оспа. В Петербурге об этом не подумали, а в деревне и вовсе позабыли, и вот дети в оспе.

Марья Федоровна с горя сама даже слегла в постель и велела заколотить все окна и двери и окуривать покои уксусом; у ней у самой заботливый родитель позабыл привить оспу, а сама она, бедная, теперь

только вспомнила. Вспомнила и захворала, а к тому еще и на сносе.

Дом был окружен, как зачумленный, куревом; детей перенесли к отцу во флигель. Бедный ротмистр чуть с ума не сошел. Наконец, всё кончилось благополучно. Только мальчик ослеп, потому что у него и прежде глаза краснели и гноились. А девочка ничего, выходилась, хоть и попорченною немного.— Но это ничего,— говорила нянька шопотом,— зарастет; слава богу, что сама барыня захворала, а то и она бы осталась без очей, как вот барчонок.

А между тем роды близились. В доме всё ходило на цыпочках, разумеется кроме акушерки-профессорши, уже месяца три распоряжавшейся как в своем собственном доме. Всё молчало и трепетало, а благоверный ротмистр, в ожидании, лягавого щенка дрессировал. Наконец, всё кончилось благополучно, Марья Федоровна разрешилася сыном, который и был во святом крещении наречен Ипполитом.

Обряд крещения был совершен отцом протоиереем, нарочно для этого случая привезенным из города. Воспринимали младенца, кроме дворянского предводителя и других, поважнее, помещиков и помещиц, даже и командир стрелкового батальона, в то время квартировавшего в их городе. Глядя на фалангу восприемников и восприемниц, можно было подумать, что ротмистр для такой радости готов с целым светом породниться или, по крайней мере, со всем уездом.

Пир по этому случаю был задан на славу. Была мысль у ротмистра устроить и сельский праздник для мужичков, но так как это случилось зимою, то хороводы и отложены до будущего лета, а вместо сельского праздника он предложил своим гостям, кому угодно, облаву на медведя. Желаящими оказались все, не исключая и батальонного командира.

После родов Марья Федоровна страдала ровно шесть недель. Не подумайте только, чтобы она физически страдала, ничего не бывало: она на третий день после родов готова была на какой угодно гимнастический подвиг. Она страдала нравственно, и именно потому, что была в доме особа, которая распоряжалась

совершенно всем и даже ею самою. Это была акушерка. А для Марьи Федоровны пытки не было хуже, как повиноваться кому бы то ни было.

Наконец, эти мучительные шесть недель кончились; с крестом и с молитвою акушерку выпроводили и двери заперли. Марья Федоровна вздохнула свободно и, принявши бразды правления, велела позвать к себе мужа.

Прошло полчаса — супруг не является. Марья Федоровна бесится и посылает сказать, что она его ждет. Посланный возвратился и сказал, что они только-что побрились и изволят одеваться.

Надо вам заметить, что ротмистр считал себя птицей высочайшего полета, и для него этикет, даже в отношении жены, был чуть ли не первая заповедь. У себя дома он бирюк бирюком, готов даже с собаками и поест из одного корыта. Но что касается вне дома, тут он совершенная метаморфоза⁸, как выражается один мой приятель. Ротмистр боялся только проговорить самому себе, а в душе совершенно сознавал, что квартира жены для него чужая.

— Насилу-то выбрились! — так встретила Марья Федоровна своего ротмистра.

— Нельзя же, друг мой, приличие!

— А вот что, друг мой! Тут не приличие, а вот что: каковы ваши дети?

— Слава богу, ничего!

— Каково Коле?

— Ничего. Ослеп, совершенно ослеп.

— То-то, ослеп. Я вам говорила, что нужно будет оспу привить, — не послушали.

Соврала: никогда не говорила:

— Не помню, когда вы мне говорили, или я забыл.

— Забыли, сударь. Ну, да не в том дело, а вот что: у вас там помещение хорошее для них?

— Не совсем, друг мой! Тесновато.

— Не будет тесновато. Пускай они остаются с тобою, а бывшую их детскую я велю переделать для нашего сына. Понимаете?

— Понимаю, понимаю, мой друг!

После продолжительного безмолвия:

— Да вот еще что я хотела сказать: няnek я беру к себе, а для них, как они уже взрослые, то можно будет взять двух девок из деревни.

Муж охотно согласился. Ему эти няньки не нравились, особенно младшая: дотронуться нельзя, кричит, как будто ее укусили, да еще грозит барыней.— А этих я заставлю плясать по своей дудке втихомолку,— так рассуждал ротмистр, подходя к колыбели спящего шестинедельного своего сына.

— Не правда ли, какое милое созданиe! — говорила Марья Федоровна, приподымая занавеску.

— Прекрасное! Позволь поцеловать его, друг мой!

— Нельзя, разбудишь,— и она опустила занавеску.— Ступай теперь домой и пошли ко мне приказчика, я велю привести ко мне всех девок из села и выберу няnek.

— Зачем тебе беспокоиться, друг мой, я сам выберу.

— Хорошо, хорошо, ступайте! Я знаю, что делаю. И супруги расстались.

Отцу сильно не нравилось постоянное пребывание детей в его уголке (так называл он свой флигель): все-таки хлопоты, а с другой стороны, так и нравилось, т. е. нравились будущие няньки.— Ведь она не пришлет же мне каких-нибудь квазимодов в сарафанах⁹,— так он полагал — и ошибся!

На другой день ввели к нему во флигель таких двух красавиц, что он только ахнул.

— Ну, одолжила! — проговорил он, с ужасом глядя на неумытых новобранок.

— Зачем вы пришли? — спросил он их.

— Няньчить,— отвечали они в один голос.

— Хороши, нечего сказать!

— Какие есть, барин.

— Ну, хорошо, ступайте домой.

Девки только повернулись к дверям, как дверь растворилась и в комнату вошла сама Марья Федоровна. Ротмистр спрятался в другую комнату, потому что он был в утреннем пальто.

— Полно дурачиться,— говорила входя Марья

Федоровна,— я не для комплиментов пришла. Наденьте что-нибудь да выйдите скорее ко мне.

Ротмистр явился в форменном сюртуке и ловко раскланялся, спрашивая о здоровье и самой Марьи Федоровны, и новорожденного.

— Ничего, слава богу, здоровы. А ваши каковы?

— Ничего, слава богу.

— Покажите-ка мне их! А вот — прошу любить и жаловать,— говорила она, показывая на нянек.

— Друг мой, да откуда ты выкопала этих уродов?

— Ничего, достоинство няньки не в красоте, а в кротости. Пойдемте.

Пройдя сени, они вошли в большую комнату, наполненную щенками всех пород и возрастов. Когда Марья Федоровна зажала нос платком, ротмистр проговорил:

— Ничего, друг мой, я привык, это моя страсть.

За комнату со щенками прошли они что-то вроде чулана,— это была комната нянек,— а за чуланом уже растворилась детская, немногим больше чулана, об одном окне комната. Полуодетые дети и няньки с ними играли в жмурки, то есть они прятались, а слепой Коля их искал. Когда вошла в комнату Марья Федоровна, няньки остолбенели, а маленькая Лиза схватила слепого брата за руку и шепнула ему: — Мама!— Коля задрожал и стал прятаться за сестру, а сестра, в свою очередь, за брата.

Марья Федоровна быстро оглянула комнату и едва заметно улыбнулась, потом, обратясь к детям, проговорила:

— Не бойтесь меня, мои крошечки, я вам гостинца принесла.

И она им вынула по леденцу из ридикиюля. Подавая Коле леденец, она хотела заплакать и, улыбнувшись, сказала:

— Бедное создание! Что вы с ним намерены делать? — спросила она мужа.

— Ничего,— ответил тот равнодушно.

После этого она обратилась к нянькам и сказала:

— А вы, дуры! только знаете детей баловать. Убирайтесь вон отсюда! А вы, мои милые, оставайтесь

здесь вместо них,— сказала она, обращаясь к новобранкам.

— Слышим, барыня,— отвечали те и начали снимать свои зипуны.

— Мне пора, я думаю, мой генерал уже проснулся. Прощайте, мои крошечки,— сказала Марья Федоровна, обращаясь к детям.— Пойдемте,— сказала она нянькам и, закрывши нос, вышла из детской.

Ротмистр молча вышел вслед за нею, но в большой комнате, окруженный разномастными и разнородными щенятами, остановился в раздумьи и вдруг, как бы осененный мыслию свыше, хлопнул себя ладонью по узенькому лбу и воскликнул:

. — Нет, друг мой, этому не бывать! Я в твои дела не мешаюсь, так не мешайся же ты и в мои,— и с этим словом он вышел из комнаты, не обращая ни малейшего внимания на визг щенят.

До самого почти обеда ходил он по кабинету, заложив руки за спину или останавливаясь перед мишенью, и складывал руки на груди à la Napoléon и даже позицию принимал Наполеона, и в этом положении он был невыразимо смешон. Центр мишени, казалось, поглощал всего его,— так он пристально вперял в него свои серенькие бессмысленные глазки.

Несколько раз брался он за пистолет, отходил от мишени к стулу, становился в позицию, прицеливался и опускал пистолет без выстрела.

— Нет, не могу! — Проговоривши это самым отчаянным голосом, долго тер себе ладонью лоб, потом опускал руки в карманы и принимался ходить взад и вперед.

Наконец, спросил он себе побриться. Потом умылся розовой водой и оделся самым изысканным манером. Остановился перед трюмо, принял важную позу и грозную физиономию, посмотрелся несколько минут, взял шляпу и пошел к жене, как он думал, объяснить по поводу семейных неудовольствий (под этим словом он разумел безобразных нянек).

Марья Федоровна предвидела это критическое посещение и приготовилась. Она надела темносинее бар-

хатное платье, в котором ротмистр так любил ее видеть, и, взявши малютку на руки, встретила его в гостиной.

Грозный Юпитер¹⁰ исчез, а перед нею стоял самый обыкновенный ротмистр и сладко улыбался.

— Говори, душенька: «Bonjour, rара»,— говорила она, целуя ребенка и поднося его мужу.— Теперь и ты, друг мой, можешь его поцеловать.

Ротмистр безмолвно приложился.

— А знаешь ли, друг мой, какой я сон сегодня видела? Что будто бы твой Коля и наш Ипполит уже взрослые и оба гусары. И какие молодцы! Просто прелесть! Особенно Ипполит: две капли воды на тебя похож. А ведь и в самом деле,— прибавила она, лукаво улыбаясь,— если всмотреться в него хорошенько, он действительно будет на тебя похож. Милочка! — И восторженно она поцеловала ребенка.

После этого всё, что тлело в маленьком сердце ротмистра, совершенно погасло. Даже няньки представлялись ему благообразнее, нежели как они на самом деле были.

— Надеюсь, ты сегодня у меня обедаешь? — сказала Марья Федоровна, уходя с ребенком в детскую.

— С удовольствием, мой друг! — проговорил ротмистр. Но друг его уже был в третьей комнате и ничего не слышал.

Ротмистр был совершенно счастлив и, развалясь в широких мягких креслах самым великосветским манером, совершенно беспечно насвистывал из «Фрейшютца»¹¹ песню: «Ах, что б было без вина!» И бил такт лайковой палевой перчаткой по колену.

Марья Федоровна вышла к обеду уже в другом платье, не менее прежнего великолепном. Это окончательно уничтожило бедного ротмистра, потому что это было совершенно в тоне высшего общества, которого ротмистр считал себя (аллах ведает, почему) не последним членом.

После обеда они расстались, как расстанутся самые нежные супруги в первый день после свадьбы, в заключение даже поцеловались, а такого происшествия бедный ротмистр и не запомнит.

Придя домой, он, не раздеваясь, перецеловал всех щенят в восторге, а о детях даже и не подумал. Раздевшись, погрузился он в мягкую перину и, полежавши немного, тяжело вздохнул. А о чем он тяжело вздохнул, бог его ведает.

Убаюкавши таким образом на первый раз своего мужичка-дурачка, Марья Федоровна продолжала такую же тактику до тех пор, пока он не освоился совершенно с безобразными няньками. Она тогда повела с ним другую политику. Она посылала его с визитами к соседям, чтобы, говорит, не одичать и с добрыми людьми не раззнакомиться.

— И я бы поехала с тобой, но ты видишь, у меня ребенок на руках, его нельзя же бросить.

— Правда, мой друг,— говорил он,— ты оставайся с ним, он, видишь, какой милый крошка. Я за тебя перед нашими добрыми соседками извинюсь.

— Только вот что,— говорила она, когда он собирался кому визит делать,— ты, пожалуйста, никого не приглашай к себе, пока я кормлю (она сама кормила своего сына).

— Никого, друг мой,— говорил он, садясь в коляску. И, выехавши из дому раз, он не возвращался в него по месяцу, а иногда и по два. А где он пропадал, об этом знали только его верные слуги — кучер и лакей. Они, может быть, барыне и рассказали бы некоторые любопытные похождения своего шаловливого барина, как, например, в губернском городе, в некоторых трактирах, да барыня их об этом не спрашивала. Ей какое дело до любопытных пождений своего пустоголового мужа? Она подвигается к своей цели верно — она и довольна.

А цель ее была такая... Но нет, зачем прежде времени развязывать торбу? Может быть, там, боже сохрани, такое спрятано, что совестно и подумать, а не то, что прежде времени показывать да рассказывать. А лучше уже, коли начали читать, мои терпеливые читатели, то читайте до конца, а тогда и сами узнаете, какого сорта сатана сидел в прекрасной голове Марьи Федоровны.

Одна из безобразных нянек, та, которая неуклю-

жее и безобразнее, оказалась доброю и скромною женщиною, и Марья Федоровна, заметя это, наказала ей строго смотреть только за Лизанькою, а к Коле и не подходить.

А той, которая была грубее, злее и прожорливее, наказала строго смотреть за слепым Колей и не давать ему шалить, а главное, объедаться. Бедный! несчастный мальчик! Он давно бы умер с голоду, если б сестра и ее нянька не оставляли для него от своего обеда и не кормили его тихонько по ночам, когда его прожорливая нянька спала.

Ротмистру так понравились визиты, что он в дом к себе и не заглядывал. Когда случится поблизи где-нибудь, то пришлет записку, попросит денег, белья или чего там понадобится. Разумеется, ему все это отпущалось беспрекословно.

Так прошло несколько лет, т. е. года три или четыре. Всё шло своим чередом, т. е. шло так, как угодно было Марье Федоровне.

Однажды, — это было осенью, не помню, в котором месяце, — барская коляска подъехала к дому, и ротмистра из нее не высадили, как это обыкновенно делается, а вынесли на руках, как это делается только в критических случаях. Марья Федоровна, увидя это, злобно улыбнулась. Она подумала, что он пьяный, потому что только этой еще ему добродетели и недоставало, а теперь и этой украшен. Оказалось, однако ж, то, чего Марья Федоровна и не подозревала.

Дело в том, что у одного богатого соседа, по случаю какого-то семейного праздника, съехались гости, в том числе и наш ротмистр заехал. После разных увеселений собралась порядочная кавалькада охотников и выехала в поле русаков попугать. Разумеется, ротмистр тут был из первых. Он даже хотел было за своими борзыми послать, но ему заметили, что это невежливо, и он пустился с чужими. Случилось так, что он первый поднял зайца и, разумеется, он же и доконать его должен. Вот он и пустился во весь опор вслед за борзыми, только, на его несчастье, случилась канава в поле; борзые-то ее перепрыгнули, а лошадь

со всадником прямо в канаву, да собой его и накрыла. К тому же еще, в канаве была вода, уже тонким льдом покрытая. Он, бедняк, кроме того, что ушибся, да еще и в холодной воде окунулся, так что когда его вытащили оттуда, то он уже едва дышал, таким его и домой привезли.

Так вот какая случилась история.

Сейчас же послали в город за медиком, а на другой день и за попом, а на третий день, перед вечером, благословив своих несчастных детей и поручив их блюдению и заступничеству Марьи Федоровны, послал он свою гусарскую душу на лоно Авраамле¹².

Как ни кратковременна была его болезнь, однако ж, Марья Федоровна успела сделать все форменно, что нужно было для обеспечения своей будущности и своего сына, т. е. он третий наследник общего имения, а она и опекунша, и полная хозяйка во всем.

Марья Федоровна похоронила своего обожаемого супруга в тени березовой рощи, близ прозрачного пруда, и при похоронах выказала необыкновенные свои сценические способности. Она так сыграла роль неутешной вдовы, что самые равнодушные соседи, глядя на нее, рыдали, а бедных сироток, особенно Колю, чуть в слезах не утопила, а поцелуям и числа не было, и если б сострадательные соседи не удержали ее, она бы непременно бросилась в могилу. Но, спасибо,— не допустили, а взяли ее на руки и почти мертвую внесли в дом и уже в доме насилу привели ее в чувство нашатырным спиртом (одеколон не помогал).

Когда же пришла она в себя, и увидела себя одну, в своей спальне, и услышала отдаленные голоса поминающих соседей, она едва замето улыбнулась и сама с собою шопотом проговорила:

— Главное само собою устроилось, а их я сама пристрою.

И, вставши с постели, она тихонько пошла в детскую к своему милому Ипполиту.

Около вечера гости навеселе разъехались по своим захолустьям, совершенно уверенные, что Марья Федоровна самая несчастная женщина во всем мире.

А Марья Федоровна, чтобы уверить их еще больше в своем ничем не утешимом горе, на другой день велела согнать со всего села баб и девок, — а мужиков не трогать, — сказала она, — они пусть делают свое дело, — согнать на господский двор с лопатами и мешками.

Когда собрались девки и бабы с помянутыми орудиями, она, вся в черном и в слезах, повела их на могилу своего незабвенного ротмистра и повелела (подобно Ольге над Игорем) сыпать курган.

Работа началась, и по прошествии двух или трех недель черный курган высился над прахом незабвенного ротмистра.

Марья Федоровна сама лично распоряжалась работами и при работах рекою разливалась, как говорили простосердечные работницы. Но искреннее и чистосердечнее никто так не плакал и не проклинал и покойника, и Марью Федоровну, как сами работницы. И правду сказать, они на это имели полное право: морозы уже доходили до 10-ти градусов, а они, бедные, выходили на работу, как говорится, в чем бог послал, и на всё это чувствительная, неутешная Марья Федоровна смотрела совершенно равнодушно. Смело можно сказать, что этот памятник любви и воспоминаний был полит кровью и самыми непритворными слезами. Многие, — что я говорю — многие, — никто не поверит, что я рассказываю истину, кроме тех, которые были зрителями такими же, как и я, этой курьезной трагикомедии.

В скором времени разнесся не по всему уезду, а по всей губернии слух, что Марья Федоровна такая-то не показывается даже своим людям и выходит из дому по ночам на могилу своего мужа и там плачет от вечерней до утренней зари.

За достоверность этих слухов и я ручаюсь.

Она, действительно, ходила по ночам, несмотря ни на какую погоду, ходила на курган и там, не скажу плакала, а во всеуслышание выла.

Так она ходила выть на могилу до тех пор, пока сердобольные соседки, утешая, не сказали ей, что Лизе и Коле уже по осьмому пошло.

Тут-то она как будто опомнилась.— Проклятые приятельницы,— подумала она,— будто я не знаю, что делаю.— Делать нечего, нужно было переменить роль и из нежной супруги сделаться нежной матерью.

Не медля нисколько, она разослала просить к себе на прощальный праздник мелкопоместных и крупноречивых своих соседок,— что она-де, Марья Федоровна, везет барышню в Смольный монастырь¹³ и желает проститься со своими добрыми соседками, а что сама она потому-де их не может посетить, что с детьми постоянно занята.

Слетелись соседки, погостили, позлословили денька два и разлетелися по уезду благовестить о беспримерных добродетелях Марьи Федоровны и об истинно ангельской прелести и скромности Лизы. А Лиза была просто деревенская осьмилетняя девочка и, вдобавок, загнанная.

Марья Федоровна была в восторге от своей выдумки и на другой неделе после прощального пира, в одно прекрасное утро, велела заложить в крытую бричку, в которой покойник по ярманкам ездил, когда был еще ремонтером, тройку лошадей, взяла с собою своего Ипполита, уже четырехлетнего мальчугана, и безмолвную Лизу, и больше никого — ни слуги, ни служанки,— совершенно налегке отправилась в Петербург определить Лизу в Смольный, а коли удастся, то и в Екатерининский институт.

Приехавши в Петербург, она остановилась на любимых своих Песках у задушевной своей приятельницы Юлии Карловны Шошер, «шведки из Випорх». Эта Юлия Карловна Шошер была вдова 14-го класса и имела свой собственный домик с мезонином на Песках. Кроме доходов с домика, она получала еще за свои профессии порядочный доход, а профессии ее были разные: она и поношенным дамским платьем торговала, и лотерейные билеты разносила, и детей принимала, и сватала, и просто... да мало ли какие есть на свете профессии, всех не перечтешь.

На счастье Марьи Федоровны, мезонин был пустой,— она и расположилась в нем. В нижнем же этаже, в четыре окна и с дверью на улицу, помещалось

что-то вроде модного магазина. Хотя и трудно предполагать подобное явление на Песках, но я сужу по тому, что это был действительно модный магазин, а не что-нибудь другое,— по тому, что на одном окне постоянно на болванчике шляпка торчала, а в прочих окнах тоже постоянно красовались молодые румяные девицы с какою-нибудь работою в руках.

Марье Федоровне сама судьба помогает. Она только думала о подобном заведении, а заведение само очутилось под носом.

Она позвала к себе Юлию Карловну.

— Юлия Карловна,— спросила она,— а кто это у вас в доме содержит модный магазин?

— Моя землячка, тоже из Випорх и тоже чиновница, Каролина Карловна Шпек.

— Я привезла с собою крепостную девушку, чтобы отдать в модный магазин, так чем далеко ходить, поговорите с нею, не может ли она взять у меня эту девушку. Только мне бы не хотелось платить за нее, а не может ли она взять на число лет, т. е. с заслугой.

— Может, очень может,— прекрасная, преблаго-родная дама. Я сейчас пойду к ней.

И Юлия Карловна, сходя вниз по узенькой лестнице, коварно улыбалась, быть может, рассчитывая на будущий барыш, потому что они вдвоем с Каролиной Карловной содержали двусмысленный модный магазин.

На другой же день был контракт заключен. Лиза, вместо Смольного монастыря, отдавалась в виде крепостной девки Акулины на десять лет в руки корыстолюбивой старой отвратительной чухонки.

Когда Лизу взяла к себе Каролина Карловна и назвала ее в первый раз Акулькой, бедная девочка заплакала и сказала, что она не Акулька, а Лиза. Ее выпороли, и бедная Лиза согласилась, что она действительно Акулька, а не Лиза.

Пристроивши таким образом Лизу, Марья Федоровна заказала для своего милого Ипполита несколько пар детского платья разного покроя и на разные возрасты — до четырнадцати лет.

Когда платье было готово, она, чтобы не прожи-

ваться даром в столице, собралась и уехала, — поцеловав, благословила бедную Лизу на безотрадную, сиротскую и мученическую жизнь.

Соседки удивились, когда весть пронеслась, что Марья Федоровна возвратилась из Петербурга, и, разумеется, взапуски полетели поздравлять Марью Федоровну с благополучным успехом. И когда стали они удивляться, что так скоро всё случилось, то она понесла им такие туры на колесах, что те слушали да только ахали; между прочим, что сам Лонгинов, как только она подала прошение, приехал к ней на квартиру и, взявши с собою Лизу, сам повез ее прямо в Екатерининский институт.

Простодушные соседки, принявши всё это за чистую монету, разъехались по уезду и усердно с прибавлениями передавали всем и каждому то, что наговорила им досужая Марья Федоровна.

А Марья Федоровна, отдохнувши после дороги, занялась хозяйством, т. е. поверила приказчика, ключницу и прочие должностные лица, вошла в мельчайшие экономические подробности, как самая опытная хозяйка.

Нужно заметить, что при жизни мужа она была расчетлива и бережлива, а со смертью его она сделалась настоящая скарета, под тем предлогом, что всё это не ее, что она только опекунша бедных сирот и что за каждую утраченную кроху она должна перед богом отвечать.

Часы же досуга она посвящала на одеванье и раздеванье в привезенные из Петербурга наряды своего ненаглядного Ипполита.

Когда Лизу увезли в Петербург, тогда слепой Коля совершенно осиротел, и положение его сделалось еще хуже. Тогда, бывало, или сестра, или ее нянька ему, бедному, хоть что-нибудь оставят съесть. А теперь приносят ему оглодки из дому, да и те прожорливая нянька истребляет, а сама запрет его в комнате да и уйдет на целый день в село на посиделки. Хорошо еще, если щенка бросит ему в комнату, все-таки лучше: по крайней мере, он слышит живое что-то около себя.

В короткое время он, бедный, так исхудал и пожелтел, что даже Марья Федоровна испугалась, когда его однажды случайно увидела. Но она только испугалась, а положения его все-таки не улучшила. Правда, прислала ему новый демикотонный¹⁴ сюртучок, навыворот сшитый, и такие же брючки.

В этой-то великолепной обновке нянька повела его в село показать своим родственникам. Родственники, должно быть, были люди мягкосердые и зажиточные,— накормили его кашей с молоком и на дорогу дали ему ватрушку, которая не достигла своего назначения, будучи вырвана из рук у него хитрою собакою.

На другой день он упросил няньку взять его с собою опять в гости, она и взяла. Только дорогой вспомнила, что ей нужно было зайти к знакомой, а ей почему-то не хотелось его туда вести. Вот она усадила его под забором на улице, наказав строго не сходить с места: — А то тебя собаки съедят.— Распорядившись так, пошла к своей знакомой, да там и пропала. Долго он сидел под забором молча и только тихо улыбался, когда поворачивал лицо к солнцу. Наконец, он начал плакать, сначала тихо, а потом громко. На плач его сбежались деревенские дети и, окружив его, долго смотрели на него, не зная, что оно и откуда оно. Наконец, два-три мальчика повзрослее предложили ему итти к ним в избу, но он отвечал им, что он слепой, дороги не видит. Один мальчуган, побойчее, взял его за руку и повел к своей избе и дорогою, для потехи товарищей, заставлял его на ровном месте скакать, говоря ему: — Скачи, здесь яма или лужа.

После многих перескоков, наконец, привел его мальчик в свою избу. В избе старуха накормила его щами и пирогом с кашей, отвела на барский двор и представила самой Марье Федоровне, а Марья Федоровна, предупреждая несчастье, могущее случиться от подобного своевольтва, велела его выпороть хорошенько при себе лично, чтоб не бродяжничал-де.

Долго после этого бедный Коля не выходил из своей конуры.

Однажды в воскресенье благовестили к обедне, и звуки колокола тихо долетали до бедного Коля. Он молча с улыбкою слушал, пока звуки затихли, а потом спросил свою няньку:

— Что это такое гудело?

— Вишь, гудело! Это не гудело, а к обедне благовестили,— отвечала с неудовольствием нянька.

— К какой обедне? — немного помолчав, спросил ее Коля.

— Известно к какой — богу молиться в церкви.

— В какой церкви? (Заметьте, Коле пошел уже двенадцатый год.)

— В какой? Вон, что в селе.

— Пойдем и мы туда.

— А забыл, как онамедни... Хочешь еще?..

Коля вздрогнул и замолчал.

Каждый день Коля прислушивался, но звуки колокола не долетали до его конуры. Наконец, в следующее воскресенье он опять их услышал и радостно воскликнул:

— Опять загудело!

— Так что ж, что загудело?

— Нянюшка! Голубушка! родная ты моя! поведи меня в церковь!

И он так жалобно и трогательно просил ее, что та, наконец, тронулась его мольбами и, приодевши его во что бог послал, повела в церковь.

В продолжение обедни Коля стоял как окаменелый. Его сильно поразило никогда не слыханное пение и чтение, и когда прерывалось то или другое, то он, как бы всё еще слушая, тихонько склонял голову и едва заметно улыбался. Обедня кончилась, а он всё еще стоял на одном месте и дожидался пения. Наконец, нянька взяла его за руку и вывела из церкви, сказавши, что для него другой обедни не будут петь.

Мужички дивились на своего слепого барчонка и вместе удивлялись, что ни один из них не видел, чтобы слепой барчонок хоть раз в церкви перекрестился. Первое, чему учит мать-христианка едва начинающее лепетать дитя свое, это складывать три пальчика, креститься и произносить слово «бозя».

У бедного Коли рано взяла сѣдѣба эту нежную наставницу, а мачеха об этом забыла, и так он, уже двенадцатилетний мальчик, не знал ни одной молитвы и не умел даже перекреститься!

Священник не мог и подозревать этого, тем более, что священник являлся в доме только в известные дни в году, — ему платили как медику за визит, и больше ничего. И большая часть наших помещиков на таком точно расстоянии, как и Марья Федоровна, держит сельских священников. Это истинная правда, и это невыразимо грустно!

После обедни [священник] зазвал к себе Колю, познакомил его со своим сыном Ванюшей, годом старше Коли, и, покормивши обедом, дал ему просфирку и наказал няньке, чтобы она его каждое воскресенье приводила к обедне.

Неделю целую Коля почти не спал, всё прислушивался [к звуку] колокола. Наконец, дождался: в следующее воскресенье зазвонили к заутрене; он в восторге закричал: — К обедне! К обедне пойдем, няня. — А няня его спала. Он нащупал ее постель, разбудил ее и просил, чтобы она вела его в церковь.

— Ах ты, полуношник неугомонный! — закричала нянька спросонья. — Какая теперь церковь? Благо слепой, так тебе все равно, ночь ли, день ли.

И, поворотившись на другой бок, сейчас же захрипела. Коля, немного помолчав, принялся плакать и проплакал до благовеста к обедне. Тут снова он принялся просить свою няньку, чтобы вела его к обедне. На этот раз нянька согласилась.

Священник зазвал его после обедни опять к себе, и угощал попрежнему обедом, и наказывал, чтобы он не ленился посещать храм божий. Коля сказал ему, что он готов идти в церковь, как только колокол слышит, но что нянька не хочет его вести. Священник угрозил няньке, что если она его не будет водить в церковь, то он ей причастия не даст. Нянька испугалась, и с тех пор Коля после нескольких ударов в колокол исправно являлся в церкви.

Прошло не более полугода с тех пор, как Коля начал посещать церковь и священника, как он знал уже

наизусть заутреню, обедню и вечерню, несколько десятков псалмов, все воскресные евангелия и почти все послания апостола Павла. А Ванюша попович, подруживши с ним, выучил его [читать] наизусть молитвы утренние и на сон грядущий. А кроме всего этого, он не нуждался в провожатом: он сам ходил и в церковь, из церкви заходил к священнику и от него возвращался в свою конуру совершенно как зрячий, так что няньке оставалось только спать.

Иногда приходил к нему гостить Ванюша попович и приносил с собою или псалтырь, или священную историю, а если была погода хорошая, то они гуляли по саду или купались в пруде.

Так прошло и еще лето. Ванюшу поповича отвезли в семинарию. Бедный Коля опять осиротел. Зато читал он наизусть псалтырь, священную историю и изучил все тропинки в саду.

Марья Федоровна зорко следила за его необыкновенными способностями и не мешала им развиваться, не видя в том никакого препятствия сделать со временем своего Ипполита настоящим хозяином имения.

Ипполитушка тоже выросла, как пресловутый богатырь, не по дням, а по часам, и купался, как говорится, как сыр в масле. Зачерствелая ко всему, Марья Федоровна к сыну своему была бесконечно нежна, позволяла ему всё, что только позволяет дитяти глупо любящая мать. Ему уже кончалось десять лет, а мать и не думала начинать его учить грамоте.— Выучится еще,— говорила она соседкам.— Зачем прежде времени изнурять дитя.— И дитя продолжало развиваться между няньками и между горничными.

Однажды священник, проэкзаменовав Колю, заставил его прочитать первую кафизму в церкви в субботу за вечерней. Коля прочитал, как будто бы по книге. В воскресенье прочитал заутреню и первый час, а за обедней — часы и 25-й псалом. Прихожане и сам священник восхищались чтением Коли. Только некоторые набожные старушки заметили, что хорошо-де слепой барчонок читает, только больно жалостливо.

Церковь для его души сделалась одним-единственным прибежищем, куда он приходил как к самому

милому другу, как к самой нежной матери. Возвышенные, простые наши церковные напевы потрясали и проникали всё существо его, а божественная мелодия и восторженный лиризм Давидовых [псалмов] возносили его непорочную душу превыше небес.

Так укреплялася и мужала его детская душа для грядущих ужаснейших страданий.

Священник, а в особенности причет церковный, полюбили его, как безмездного и самого усердного помощника. Часто, например, случалось, что он придет и сидит около колокольни в ожидании вечерни или заутрени. Пономарь, приняв благословение от священника на благовест к вечерне, идет, отпирает церковь, а его посылает на колокольню благовестить. Он и благовестит себе, пока трижды пятидесятый псалом не прочтает.

Или случится покойник в селе, дьячка просят псалтырь прочитать над покойником, а он попросит Колю, и Коля, взявшись за полу или за палку, идет за мужиком, куда его приведут; придет, станет, прочтает «Трисвятое», «Приидите» и начнет с «Блажен муж», даже до «Мал бех», — хоть бы тебе в одном слове ошибся! А старушки, слушая его, плачут, потому что он читал чрезвычайно выразительно и в голосе его было что-то задушевно-трогательное.

Как же его было не любить причетникам?

А бывало, настанет великий пост, то он по целым дням и домой не приходил. Зайдет, бывало, к дьячку или священнику, пообедает, а там, глядишь, и на повечерие пора благовестить. А после благовеста становится посередине церкви и начинает читать большое повечерие. И когда дойдет до «С нами бог», остановится, переведет дух и чистым сердечным тенором с расстановкою прочтает: «С нами бог, разумеите, языцы, и покоряйтесь, яко с нами бог».

Без сердечного умиления слушать нельзя было, когда он прочитывал эту молитву.

После повечерия, когда священник прочитал отпуск и Коля вместе с дьячком и священником тихо и уныло пел: «Все упование мое на тя возлагаю, мать божия», редкий из прихожан, выходя из церкви, не заплакал.

Марья Федоровна видела в Коле слепого идиота и больше ничего, не мешала ему хоть, ежели хочет, даже и поселиться на колокольне. Одевала она его, по ее мнению, для слепца даже франтовски, т. е. две пары демикотонного платья в продолжение года, полдюжины рубах домашнего холста и прочее, чего ж больше! Квартира — целый флигель, по ее выражению, хоть собак гоняй. Одно только, что бог зрение отнял, так она этому не причина.

Соседки сначала говорили ей, что не мешало бы его отдать в институт слепых, — все-таки лучше.

— Э, матушки! — отвечала она им, — зрения ему не возвратят, а слепого чему они его научат?

Соседки, разумеется, противоречить не смели ей и единогласно соглашались с такими практическими доводами.

Вследствие такой-то политики Коля был предоставлен на произвол случая, и хорошо. Случай сроднил его невинную, восприимчивую душу со святыми словами и звуками, и он, возвышаясь духом в звуках божественной гармонии, был тысячу раз счастливее тысячи тысяч зрячих людей, чего, разумеется, Марья Федоровна не могла подозревать. А иначе она, пожалуй, запирала бы его в своей конуре на время богослужения.

Так как для него не существовало дня, то Коля часто проводил летние ночи или в саду, или под колокольнею, читая вслух свой любимый псалом: «Не ревнуй лукавнующим, ниже завидуй творящим беззаконие».

Крестьяне сначала боялись ходить ночью мимо колокольни, думали, что мертвец какой-нибудь неотпетый сам по себе отходную читает. Но после, когда узнали, что это слепой барчонок пробавляется, то проходили в полночь мимо церкви, даже и не крестились.

Некоторые, разумеется, более или менее независимые, а потому и дерзкие вольнодумки-соседки напоминали иногда Марье Федоровне, что Ипполитеньке уже четырнадцатый годочек, что пора бы его уже и грамоте учить. — Дуры вы, — думала Марья Федоровна, — со своею грамотою; ведь он столбовой дворянин, поме-

щик, да еще и помещик какой! 1000 душ чистогану, не по-вашему — три с половиною души, да и те три раза заложены и перезаложены,— вот оно что! К нему, неграмотному, вы же, грамотные, придете да в ноги поклонитесь.

Такими видимыми аргументами доказывала она бесполезность грамоты для своего милого Ипполитеньки. Однако ж, как ни глубоко она веровала в свои доводы, а все-таки в одно прекрасное утро послала в экономическую контору за писарем Федькою и велела ему учить Ипполитеньку грамоте.— Так, для проформы,— говорила она.

Ипполитушка, кроме того, что был самый избалованный ребенок, оказался еще и необыкновенно туп. Ученику, разумеется, ничего, а крепостного учителя таки частенько водили на конюшню. (А на конюшню известно зачем водят.) Бедный Федька мучился, мучился со своим пустолобым учеником, наконец, хватился за ум. Однажды Ипполитушка в числе игрушек принес в учебную комнату и несколько медных пятак. Федька смекнул делом, расспросил у ученика, откуда он взял эти кругленькие игрушки, и тот сказал ему, что у маменьки под кроватью полный мешок лежит этих игрушек.

— Так вот что, Ипполитенька,— сказал вкрадчиво Федька,— хотите вы совсем не учиться?

— Хочу,— отвечал ученик весело.

— Так подарите мне сегодня эти игрушки и ступайте гулять на целый день, а завтра, когда придете учиться, то приносите еще и, если можно, захватите побольше, только смотрите, чтобы маменька не видала, а то она все-таки будет заставлять вас учиться.

Напрасно наставник хлопотал: ученик уже давно имел ясное понятие о художестве, называемом воровством. Нянька Аксинья уже года три как пользуется от своего питомца краденым сахаром, конфетами и разными лакомствами, в том числе изредка и медными круглыми игрушками. Следовательно, предосторожности были совершенно лишние.

На другой день, по условию, ученик принес учителю штук десять пятак — и был свободен от ученья.

На третий день сумма была увеличена, на четвертый день тоже. День за днем продолжалось то же и то же, так что к концу месяца мешок уже был пустой.

Когда объявил ученик своему наставнику об этом истинно печальном происшествии, то наставник, подумавши немало, сказал:

— А не заметили ли вы, Ипполит Иванович, где у маменьки хранятся такие же игрушки, только беленькие?

— Не знаю, не видал,— отвечал ученик.

— А когда не знаете, так садитесь учиться!

— Я завтра же узнаю,— завопил испуганный ученик,— и принесу тебе, сколько угодно, только не учи меня!

— Хорошо, посмотрим: идите гулять, только помните, до завтрашнего дня.

А на завтрашний день понадобились на что-то медные деньги Марье Федоровне. Она к мешку, а мешок пустой.

Горничных и нянек налицо. Явились те и другие.

— Вы,— говорит Марья Федоровна,— такие и сякие, деньги из мешка вытаскали?

— Нет, барыня, мы и не видали.

— Розог! — крикнула она лакею.

Явились розги — и еще два лакея. Началась пытка. Перебрали всех. Аксиньи не было дома, послали и за ней. Приходит Аксинья и говорит: — Да вы,— говорит,— барыня, за что людей мучите? Барчонок-то деньги перетаскал своему учителю.

Дорого же поплатилась бедная Аксинья за свою дерзость: ей было отпущено вдвое против прочих.

Отпустивши горничных, Марья Федоровна пошла по комнатам искать Ипполитеньку. Но Ипполитенька, как ни был туп, смекнул, однако же, что недаром девки благим матом завывали, и, не дожидаясь конца выт्यों, убежал в сад. После тщетных поисков в комнатах, Марья Федоровна разслала всю дворню и сама пошла искать Ипполитеньку. А он, не будучи дурак, пока есть не хотелось, сидел в кустах, а когда увидел, что обед пронесли к слепому Коле, и себе пошел к нему во флигель и без церемонии истребил его

скудную трапезу. Но, увы! тут его за трапезою и накрыла сама Марья Федоровна.

И досталось же бедному Коле за укрывательство вора! Кроме ругательств, попреков и угроз, ему не велено было давать ничего, кроме куска черного хлеба и ковша воды, впредь до разрешения.

Нежно, ласково, настояще по-матерински, выведала Марья Федоровна от Ипполитеньки, когда и кому он отдавал деньги, и, узнавши всё обстоятельно, велела Федьку-наставника выпороть хорошенько и отдать на скотный двор до Кузьмы и Демьяна, а там в город да и в солдаты. Сказано — сделано.

Теперь оставалось подумать об Ипполитеньке, что с ним делать. Ведь ему уже шестнадцатый год пошел, а эти изверги его в деревне, пожалуй, испортят. Нужно отвезти его в Петербург и отдать в какой-нибудь благородный пансион. Так думала Марья Федоровна, так и сделала.

Оставивши наказ или инструкцию приказчику на счет управления имением, она вооружила снова ремонтерскую бричку и, взявши милое чадо свое и любимую его няню Аксинью, отправилась в Петербург, не простившись даже с самыми близкими и самыми долгоязычными соседками своими.

Теперь ей незачем сообщать им, куда она намерена отдать своего сына на воспитание. Да и то еще: их, пожалуй, пригласи, а они проведуют еще как-нибудь о поступке Ипполитеньки, — тогда на всю губернию ославят воров, а того, дуры, не рассудят, что он еще дитя!

Приехавши в Петербург, она остановилась не на Песках, как можно было предполагать, а в Ямской слободе, около церкви Ивана Предтечи, на постоялом дворе.

На другой день она отправилась сама поискать квартиру, потому что на постоялом дворе и неудобно, и грязно, а главное, дорого; она же намеревалась остаться в Петербурге по крайней мере года два, если не более.

Выйдя за ворота, она перекрестилась на церковь (с некоторого времени она сделалась чрезвычайно набожна) и, не переходя Лиговки, пошла к Знаменью. У Знаменья остановилась, посмотрела вдоль туманного Невского проспекта, помечтала немножко о своем давно прошедшем и, перейдя Невский проспект, пошла на Пески, прямо к известному домику с четырех окнах с мезонином.

В одном из окон этого домика торчала на болванчике та же самая шляпка, что торчала и назад тому десять лет, а в прочих окнах торчало по девушке, как будто они десять лет и с места не сходили. В числе этих девушек была и Лиза, но уже не та, восьмилетняя, рябенькая, безмолвная Лиза, а сидела у окна, сложа руки и опустя на высокую грудь кудрявую прекрасную голову, девятнадцатилетняя, вполне развившаяся, как роза, пышная красавица.

На свежем, молодом ее лице и следов не осталось прежних рябин, нужно было близко и внимательно присматриваться, чтобы их заметить.

В то самое время, как проходила мимо окон Марья Федоровна, Лиза подняла свои длинные бархатные ресницы, взглянула в окно и побледнела. Она, бедная, узнала свою мачеху, и ей разом представилося все ее горькое, гнусное прошедшее. Она закрыла лицо руками, хотела встать со стула, но не могла. Приподнялася еще раз — и без чувств повалилася на пол.

Подруги подняли ее и унесли за ширмы.

Марья Федоровна, проходя мимо окна, и не подозревала, что она была причиною такой катастрофы. Она вошла себе спокойно на давно знакомый ей дворик, подошла к известной лачуге близ помойной ямы и постучала в маленькую, наскоро сколоченную, но уже весьма ветхую дверь. Дверь с каким-то дребезжаньем отворилась и перед нею явилася Юлия Карловна с опрокинутою чайною чашкою в руке. (Юлия Карловна к бесчисленным своим профессиям прибавила еще одну — гадание на кофе.) После первых ахов на пороге Марья Федоровна была введена в хижину, и тут уже торжественно старые приятельницы поцеловались.

Когда Юлия Карловна пришла в себя от внезапно-го потрясения и усадила свою дорогую гостью на полусломанном стуле, тогда представила ей молодую, стройную и весьма бледную девушку с черными большими и заплаканными глазами, всю в черном.

— Рекомендую вам,—сказала Юлия Карловна, обращаясь к Марье Федоровне,— моя хорошая, можно сказать, приятельница, мамзель Шарнбер, тоже моя землячка, только по отцу. Из хорошей фамилии. Я им сейчас гадала на кофе, и так прекрасно, так прекрасно выходит, что лучше требовать нельзя, а они все не верят и плачут.

— Я уж два года верила,— тихо проговорила девушка.

— Так как же, матушка, и по десяти лет ждут, да не плачут,— с неудовольствием проговорила Юлия Карловна.— Что ж делать? Такая ваша судьба. А коли наскучило так дожидаться своего суженого, то я давно предлагаю, переходите ко мне в дом. Если не хотите вместе с барышнями, то займите мезонин. Я с вас не бог знает что возьму. И мне прибыль, и вам не в убыток.

Девушка заплакала и едва проговорила: — Прощайте! — вышла из комнаты.

— Прощайте, заходите завтра. У меня будет свежая гуща, я вам еще поворожу,— говорила Юлия Карловна, провожая свою пациентку глазами. И когда та притворила за собою дверь, Юлия Карловна прибавила:

— Больно горда! Подожди еще годик-другой своего возлюбленного, небось переменишься, просишься будешь — не пущу,— чорт ли тогда в тебе! Ты и теперь смотришь старухой, а тогда на тебя никто и взглянуть не захочет.

— Вот, Марья Федоровна, вот где истинное несчастье,— обратилась она к своей гостье, как бы умоляя о сострадании.— Видели вы, ведь можно сказать красавица собою, благородных родителей дочь. И пропадает, ни за что пропадает, и так-таки и пропадает. А кто? Сами же родители и виноваты, никто другой!

Жили они, матушка вы моя, в Кронштадте при должности, и при хорошей должности, при каких-то магазях. Каждую неделю вечера давали. И повадился к ним в дом какой-то мичман. Ну, известное дело, молодой мужчина, молодая девушка, увиделись раз, другой и влюбились друг в друга. А там и до греха недолго. Так и случилось. Бывало, в доме танцы да плясы, а они незаметно выйдут на двор или на улицу, укроются шинелью да и воркуют, что твои нежные голубки. А мать-то сама, чай, с молодыми офицерами амурничает. Я отца и не виню. Не мужское дело смотреть за дочерью, а мать, мать всему причина. Она видела, старая дурища, что молодой человек около дочери увивается,—что бы спросить: — А что тебе, голубчик, надо? Когда так только, куры-муры, так вот тебе и двери, а коли на сурьез пошло, женись!— А то думают: — Ничего, пускай себе молодые люди побалуют. Он человек благородный, лишнего себе ничего не позволит.— А вот он и не позволил, благородный-то человек. Дело-то сделал, да и перевелся в Астрахань или куда-то еще дальше. А сами-то тогда только заметили, когда начали соседи пальцами на дочку показывать. А вечер-то сделают, залы осветят, а гостей-то никого, разве два-три пьяные ластовые забредут. Видят, что дело-то плохо, давай из Кронштадта убираться. Теперь вот в Петербурге и проживается без места. А она, дура, ворожит. Да, много я тебе вывожжу! Приедет он тебе сейчас, держи карман! Не видал он, вишь, краше тебя. Говорю, переходи ко мне, пока еще хоть что-нибудь осталось, а то так ведь состарееется.— Ох, горе, горе, как подумаю,— прибавила она со вздохом.

— Вот что, Юлия Карловна,— сказала Марья Федоровна после долгой паузы,— я к вам имею великую просьбу.

— Какую, Марья Федоровна? Все на свете для вас!

— Найдите для меня небольшую квартирку, так комнатки три. И, если можно, чтобы близко был какой-нибудь благородный пансион. Я, знаете, привезла сына.

— Есть, есть благородный пансион. Мадам... мадам... как бишь ее... квартира... квартира... — И она начала считать по пальцам дома всего квартала, в котором находился благородный пансион мадам N.— Ну, да как-нибудь найдем,— прибавила она, подобострастно глядя на Марию Федоровну.

— Вы мне сделаете большое одолжение. Только не больше — комнатки три. Я совершенно разорилась, совсем теперь без денег,— скотские падежи, да неурожай, да пожары совсем меня доконали.

И Мария Федоровна чуть-чуть не заплакала.

— Ах, да! — сказала она после длинной паузы.— Чуть-чуть было не забыла. Ну, что моя Акулька у вас поделывает? Я думаю, уже большая выросла?

— Пребольшущая! И какая мастерица! И какая красавица, просто прелесть! Только она что-то всё скучает.

— Молода, ничего больше. А вот что, Юлия Карловна, не сделаете ли вы ей партию? Она мне теперь не нужна, я буду жить в Петербурге, а здесь своя швея только лишняя тяжесть, сами знаете.

— Партия-то ей давно находится, только я без вас не смела, а написать вам — не знала куда: адрес, что вы оставили покойной Каролине Карловне, затерялся, так вот и не знала, что делать, пока вас самих бог не принес к нам. А партия вот такая,— продолжала она: — кухмистер, на пятьдесят человек стол содержит, всё чиновники, по пяти целковых в месяц. Шутка, какой капитал,— так нет, не хочет. Примазывается еще к ней какой-то пьянчужка чиновник, правда, молодой человек, только, видно, голь-голо. Не знаю, так ли он к ней приходит или и впрямь сватать хочет, не знаю.

— Лучше было б, если б за кухмистера — верный кусок хлеба, по крайней мере. Ну, а когда не хочет, так, пожалуй, и за чиновника. Я, пожалуй, и приданое маленькое могу дать. Устройте это дело, Юлия Карловна, я вам буду весьма благодарна.

— Постараюсь для вас, Мария Федоровна, непременно постараюсь. Куда же вы?

— Я пойду, мне пора,— и Марья Федоровна начала собираться.

— Да подождите минуточку, сейчас кофе будет готов.

— Нет, благодарю вас, другой раз. Прощайте! Не забудьте же насчет квартиры.

— Не забуду, не забуду, Марья Федоровна.

И приятельницы расстались.

Возвратясь на квартиру, Марья Федоровна застала своего Ипполитушку играющим в бабки с дворниковым белокурым румяным мальчуганом. Это был первый урок на поприще образования Ипполитушки. Он этого великого искусства во всю жизнь бы не мог постигнуть в деревне, а в столицу не успел приехать, как на другой же день постиг, что такое значит свинчатка.

Дня через два понаведалась Марья Федоровна к своей приятельнице узнать насчет квартиры. Квартира была приискана усердной Юлией Карловной именно такая, какая ей была нужна: и светленькая, и уютненькая, а главное дешевенькая, и почти рядом с благородным пансионом, т. е. с приходским училищем.

Выпивши чашку кофе или, лучше сказать, цикорию у своей приятельницы, они пошли посмотреть квартиру. Проходя через дворик, они услышали в модном магазине дребезжащие звуки фортепиано и пронзительно визжащий женский голос и вторивший ему хриплый мужской бас, твердо и внятно выговаривавший слова песни:

Во лузах, лузах, лузах,
В монастырских лузах.

Приятельницы переглянулись и, улыбнувшись, вышли на улицу. Дорогою Юлия Карловна жаловалась на неприятности и хлопоты, сопряженные с подобным заведением, особенно в таком захолуствии, как Пески, куда порядочный человек боится и заглянуть.

— Хорошо еще,— говорила она,— если эти беспокойства вознаграждаются, а то хоть ваша Лиза, то бишь Акулька, бог ее знает, что с нею сделалось,— совершенная деревяшка: ни приласкаться, ни слова

сказать, сидит себе, как заколдованная. Я не знаю, что с ней и делать. Ни себе, ни людям, только даром хлеб ест.

— Замуж, замуж ее, Юлия Карловна,— говорила Марья Федоровна.— И чем скорее, тем лучше.

— Да кто возьмет ее из такого места?

— Возьмут, только посулите приданое, а уж как бы я вам была благодарна, Юлия Карловна, если бы вы ее хоть как-нибудь пристроили.— Да...— как бы вспомнивши, прибавила Марья Федоровна: — о чем думала, то и забыла. Нет ли у вас, Юлия Карловна, знакомого какого-нибудь чиновника, мне нужен стряпчий, только, знаете, не дорогого, потому что дело грошовое,— из одной амбиции тягаюсь, уступить не хочется.

— А как же, есть, есть, прекрасный человек, а уж делец какой, так просто прелесть, только немножко горького придерживается. Ну, да это ничего, кто его теперь не придерживается? Да если бы не он, не сдобровать бы мне с вашей Ли... Акулькой.

— А что такое?

— Да помните, моя товарка, с которой мы вместе магазин содержали,— дитя наговорило ей бог знает чего, а она сдуру и ну... чуть-чуть было не утопила, да, слава богу, умерла. А все-таки я благодарна Кузьме Сидорычу.

Марья Федоровна шла молча, как бы что-то соображая, и, перейдя на цыпочках грязный переулок, обратилась к Юлии Карловне и сказала:

— Ведь у меня дело самое ничтожное, нет ли у вас какого-нибудь простого писаря? Я сама буду ему говорить, что писать.

— Есть и писарь, из самого главного штаба! И уж как он за вашей Акулькой ухаживает, так просто прелесть. А знаете что,— прибавила она, подумавши,— чего долго хлопотать? Вы посулите ему что-нибудь, вот вам Акульке и карьера.

В это время они подошли к весьма не новому домику с билетиком на воротах, который гласил, что здесь отдается квартира и угол. Они постучали в затворенную калитку. На стук вышла, вместо дворника, дряхлая старушка в чепце и впустила их во двор.

Квартира оказалась как раз по руке Марье Федоровне — и светленькая, и уютненькая, точь-в-точь как говорила Юлия Карловна. Только одно... немножко дороговато: 10 рублей серебром в месяц с дровами. Этак недолго, пожалуй, и Покотиловку проживешь¹⁵. Она попробовала было заговорить с хозяйкой дома о том, что она почти нищая, что она вдова беззащитная. Но хозяйка была непоколебима, а чтобы скорее покончить, она сказала, что она сама сирота бесприютная и вдова беззащитная и что ей укрывать и кормить не из чего.—И если б вы были не женский пол, а мужской, то и за двадцать бы целковых не пустила, потому что наше дело женское,— все случиться может.

Марья Федоровна молча вынула рубль и, отдавая хозяйке, сказала сухо:

— Квартира за мной, я завтра переезжаю.

И, действительно, на другой день она угощала уже Юлию Карловну хоть и жиденским, но настоящим кофе у себя на новосельи.

Аксинья, нянька, успела уже поссориться с хозяйкою, а Ипполитушка, упражняя свои руки в метании бабки, выбрал мишенью белого петуха, тщательно перебиравшего мусор на дворе. Удар был просто гениальный, бедный петух только крыльями судорожно потряс и тут же ноги протянул.

— Ай да свинчатка! — воскликнул Ипполит в восторге.— Недаром маменька гривенник заплатила!

О трагической кончине белого петуха быстро дошли слухи до ушей хозяйки. В доме поднялся содом, и такой, что если б не посредничество Юлии Карловны, то Марье Федоровне пришлось бы тот же день очистить уютненькую квартирку. Дело, однако ж, кончилось полтинником.

Это неприятное происшествие имело ту свою хорошую сторону, что оно напомнило Марье Федоровне о том, зачем она приехала в столицу. Она тут же обратилась к Юлии Карловне и просила ее, чтобы она завтра же, если можно, прислала к ней на дом какого-нибудь учителя из благородного пансиона, что она намерена сначала дома приватно Ипполитушку приготовить, а потом уже совсем в пансион отдать.

Сказано — сделано. На другой же день явился педагог из приходского училища, и уговорились они, чтобы Ипполитушка ходил к учителю на квартиру до обеда и после обеда, что для него будет так веселее, потому что у педагога учился на квартире еще несколько мальчиков. И это дело кончено, теперь оставалось еще одно и чуть ли не самое трудное. Марье Федоровне необходимо нужно уведомить письмом одну свою protégé, соседку, о смерти Лизы, случившейся как раз в день ее приезда в Петербург. Кто же ей напишет такое хитрое письмо? Самой написать, так, пожалуй, засмеют, потому что она едва может кое-как свою фамилию нацарапать. Просить рекомендованного писаря ей бы не хотелось, тем более, что он еще и знаком с Лизою, хоть он и не знает, что она — Лиза, а чорт его знает, может быть, и знает! Нет, ему нельзя доверить такую важную корреспонденцию.

— Ах я дура! — воскликнула Марья Федоровна после долгого размышления. — Да чего же я думаю? А учитель-то на что?

Сейчас же послала Аксиныю просить учителя к себе. Когда тот явился, то она под видом испытания просила его написать коротенькое письмо, а о чем писать, то рассказала ему на словах.

Педагог выслушал и, подумавши немало, сказал:

— Тема серьезная, нужно обдумать. Я сначала так только набросаю, а потом уже, если апробуете, то и перебелю. Завтра будет готово!

— Хорошо, так вы принесете ко мне, когда будет готово.

И они расстались.

Через день или через два явился педагог к Марье Федоровне с великолепной рукописью под мышкой. Хозяйка просила его садиться, он смиренно сел на стул и развернул манускрипт¹⁶, образец каллиграфии. Марья Федоровна, полюбовавшись почерком, просила педагога прочитать. Он прочитал или, лучше сказать, продекламировал свое произведение и когда кончил, то не без самодовольствия взглянул на Марию Федоровну и почтительно передал ей рукопись.

Марья Федоровна осталась письмом весьма доволь-

на и, позвавши Аксинью, приказала ей сварить кофе. А в ожидании кофе просила еще раз прочитать письмо, только не так громко.

Ободренный столь лестным вниманием, он прочел еще раз, правда, без того сильного выражения, но зато с более тихим и глубоким чувством, так что когда он прочитал фразу: «И ее милый взор сокрылся от меня навеки», то Марья Федоровна даже платок поднесла к своим глазам. Это, разумеется, не ускользнуло от взоров счастливого автора и было для него паче всяких благодарностей.

Марья Федоровна, угостивши сочинителя, попросила рукопись себе на память, а за труды предложила ему (правда, дороговато, но ведь он не простой писарь) рубль серебра. Сочинитель великодушно отказался, сказавши, что он награжден ее благосклонным вниманием выше всякой награды.

Отпустивши еще несколько любезностей насчет чувствительности сердца и образованности ума своей покровительницы, т. е. Марьи Федоровны, педагог раскланялся и вышел.

На другой день Марья Федоровна сама понесла письмо на почту и там уже поймала какого-то почтальона и попросила его взять штемпельный конверт и запечатать письмо и адрес написать.

— И эта забота кончена, — сказала она, выходя из почтамта.

Теперь осталась одна, последняя и самая большая забота — устроить карьеру Лизы, и тогда она совершенно спокойно может заняться воспитанием Ипполитки.

Время шло своим чередом. Прошло уже полгода, прошло и еще несколько месяцев, а карьера Лизы все еще не сделана. Юлия Карловна ежедневно заходит к Марье Федоровне на чашку кофе и сообщает ей самые неинтересные новости, а о свадьбе Лизы никогда ни слова. Самой же ей заводить речь не хотелось, чтоб не показать виду, что ее это интересует. Правда, она намекала несколько раз, так, мимоходом, и Юлия Карловна тоже отделявалась мимоходом. Она не знала, наконец, что и подумать.

А Юлия Карловна тем временем увивалась около нее, как около золотого истукана, восхищалась познаниями и досужеством ее ненаглядного уже богатырски сложенного юноши, но все это делалось совершенно попустому: Марья Федоровна хотя и частенько получала из деревни деньги, но ей показывала только с пятью печатями пакеты и отделялась чашкою кофе и куском пирога по воскресеньям.

Юлия Карловна терпела и ждала, а на досуге благовестила в своем квартале, что приятельница ее, Марья Федоровна, не кто иная, как генеральша и темная богачка. Вследствие таких слухов у Марьи Федоровны образовался порядочный кружок знакомых и даже приятельниц. Правда, иные из них, увидевши, что генеральша дрожала над куском сахару и чашкой кофе, сочли за лучшее не поддерживать такого высокого знакомства; другие же, в том числе и Юлия Карловна, держались правила: терпение все преодолевает. Правило это не совсем, однако ж, оправдывалось: Марья Федоровна была просто, что называется, кремень. Приятельницы, впрочем, не унывали. Они были люди такого сорта, которые, если узнают, что ты человек денежный, хоть ты им своих денег и не показывай, они всё на тебя будут смотреть, как на бога, и молиться и кланяться тебе, как самому щедрому богу.

Юлия Карловна, однако ж, оказалась не так терпелива, как можно было ожидать от иностранки. Она, не совсем уповая на будущие блага, затеяла историю такого свойства.

После долгих ожиданий и глубоких соображений она сама себе сказала: — Да что же я за дура такая, сию сложа руки да смотрю на нее. Что я, разве девку-то даром, что ли, выкормила? Да еще и пристрой, говорит, карьеру сделай! И все это так, ни за грош. Да и девка-то еще бог знает, кто такая, не то Лиза, не то Акулька, сама не знаешь, как и называть.— Подождавши еще несколько месяцев и подождавши втуне, она решила поближе познакомиться с Аксиньей, горничною и кухаркою Марьи Федоровны, так, на всякий случай — ее профессия такого свойства, что ей всякое зна-

комство к лицу. Однажды она так, совершенно случайно, встретила с Аксиньей в мелочной лавочке и просила Аксинью зайти к ней хоть завтра, если удосужится, хоть на минуточку, — что она хочет поговорить с ней насчет одного весьма интересного дела. Аксинья охотно согласилась, но дело в том, что она не знала квартиры Юлии Карловны. Марья Федоровна, в случае крайней нужды, посылала или Ипполитушку на квартиру Юлии Карловны, или сама ходила к ней, но Аксинью не посылала, она боялась, и не без основания, встречи ее с Лизою. Как же быть ей теперь? Юлия Карловна подробно описала ей все улицы и переулки и с мельчайшими подробностями свой домик.

Аксинья, дождавшись воскресенья, пораньше убралась и отправилась к обедне. Все хорошо, все улицы и переулки она помнит, а дом-то она и забыла, как он прозывается; но по приметам кое-как добралась и до дому, а чтобы больше убедиться, что это именно тот дом, который ей нужен, она зашла посмотреть в окна, не сидят ли девушки (одна из главных примет дома). Подошла она к первому окну, взглянула, видит: наклонившись за какой-то работой, девушка, лицо совсем закрыто. Она постучала в окно с намерением спросить Юлию Карловну. Девушка подняла голову, взглянула на Аксинью и побледнела. Аксинья тоже переменялась в лице. После минутного молчания девушка едва внятно проговорила: — Аксинья! — Аксинья вздрогнула: ей показалось что-то знакомое и давно забытое в этом голосе. Но она стояла, всё еще не раскрывая рта.

— Аксинья! — повторила Лиза. — Или это не ты, а только так, сон?..

— Нет, это я, я — Аксинья, ваша нянька, когда помните.

— Помню! помню! — проговорила Лиза и выбежала к ней на улицу.

Долго они, обнявшись, стояли на улице, не говоря ни слова, пока одна из подруг Лизы, найдя, что подобная сцена среди бела дня и среди улицы неприлична, вышла к ним и уговорила их войти в комнату. В комнате встретила их сама Юлия Карловна, нечаянно тут случившаяся. Юлия Карловна сейчас смекнула, что их

оставлять наедине нельзя, потому что они сдуру могут все ее предназначения испортить, а потому она, поздоровавшись довольно фамильярно с Аксиньей, повела их в свою комнату, усадила по углам и принялася варить кофе.

Несколько раз Лиза и Аксинья, глядя друг на друга, принимались плакать. Юлия Карловна, глядя на них, и себе плакала. Когда же они начали разговаривать, то Юлия Карловна старалась всячески помешать им. Она находила всякое между ними объяснение несоответствующим ее глубоким планам.

Угостивши кое-как кофеишком, она проводила Аксинью за ворота и крепко-накрепко наказала, чтобы она не проговорила ей, что видела Лизу.— А тебе когда только свободно, заходи к нам, Аксиньюшка! — прибавила она, прощаясь.

Аксинья, простившись с Лизою, ушла.

Юлия Карловна призадумалась, позвала Лизу к себе в комнату, посадила около себя и с ласкою кошки начала ее расспрашивать.

— Скажи мне, милая Акулина,— говорила она,— что ты припомнишь о себе, когда ты была еще в деревне?

— Я помню только, что меня звали не Акулькой, а Лизой, что мы жили с братом в одной комнате, что брат мой Коля был несчастный, слепой мальчик и что у него сначала была нянькой вот эта Аксинья, а потом ее мачеха взяла к себе, а ему, бедному, прислала какую-то злую деревенскую бабу, которая ему есть не давала; так я его, бедного, с нею и оставила. Жив ли он теперь, несчастный? — И Лиза заплакала.

— Ну, а больше ничего не помнишь? — спросила Юлия Карловна.

— Помню еще, и никогда ее не забуду, нашу мачеху. Я здесь ее как-то раз увидела на улице и чуть не умерла со страха!

— А не помнишь ли ты, какой губернии и какого уезда ваше село?

— Ничего не помню.

Юлия Карловна не нашла нужным более продолжать свои расспросы, надела салоп и что-то засаленное,

вроде шляпы, выслала Лизу из комнаты, заперла двери и вышла на улицу.

Аксинья, возвращаясь из гостей домой, еще на улице услышала шум из своей квартиры.

— Уж не воры ли, боже сохрани, забралися? — едва проговорила она и бросилась опростью в калитку, взбежала на лестницу, отворила дверь, — и глазам ее представилась сцена, едва ли когда-нибудь прежде ею виденная, разве мимоходом и то около кабака.

Разъяренная, как бешеная кошка, с пеною на губах, со сжатыми кулаками, стояла Марья Федоровна в наступательном положении, а против нее в оборонительном положении, в позиции античного бойца стоял Ипполитушка. При входе Аксиньи Марья Федоровна как бы опомнилась, опустила кулаки и прошипела: — Ах ты, изверг! — И, обратясь к Аксинье, сказала:

— Сходи ты, позови ко мне этого глупого учителя. Хорошему научил он Ипполитушку.

Аксинья вышла из комнаты.

Этой почти трагической сцене предшествовало вот какого рода происшествие.

Отпустивши Аксинью к обедне, Марья Федоровна и сама пошла в церковь. Хотела было и Ипполитушку взять с собой, но у него нечаянно голова заболела, и он остался дома. А оставшись один, он отпер гвоздем маменькину шкатулку (он необыкновенно двинулся вперед по пути просвещения) и занялся отыскиванием в ней того секретного ящичка, в который маменька деньги прячет. Он уже вполне постигал, что такое значат деньги. К тому же он на прошедшей неделе удивительно был несчастлив и в бабки, и в три листика. Пробовал было поставить на кон Греча грамматику — не берут; попробовал было в орлянку — и тут не повезло, просто хоть в петлю лезь, а в долг не верят. А еще называются друзьями! Пробовал просить у маменьки, — и выговорить не дала. Что же ему и в самом деле оставалось делать? Разумеется, красть. А чтобы не далеко ходить, он решил первый этюд сделать над маменькиной шкатулкой, но, как еще неопытный и нетерпеливый вор, поторопился и забыл о мерах предосторожности, т. е. забыл двери на крючок заложить. И в самую ту минуту,

когда секретный ящик сделался для него уже не секретным, как в ту самую минуту тихонько вошла Марья Федоровна и остолбенела от ужаса.

Через полчаса явилась в комнату Аксинья, а вслед за нею и педагог в новом вицмундире и с самой праздничной физиономией. Но как же длинно вытянулся этот улыбающийся образ, когда приветствовала его раздраженная, аки львица, Марья Федоровна такими словами:

— Наставники! Прекрасные наставники! Покорно вас благодарю! — И она не могла продолжать от злости, а бедный педагог стоял, разиня рот и вытараща глаза.

— Покорно вас благодарю! — продолжала Марья Федоровна, едва переводя дух.— Да... наставили, научили, просветили дитя! Смотрите, любуйтесь вашим просвещением! он, мое дитя! мое единственное дитя! по милости вашей, сударь,— вор, грабитель, а, того смотри, и разбойник! И всему этому вы, вы одни причиною, вы научили его обокрасть меня и после вам передать украденные деньги.

— Сударыня! — проговорил задыхаясь педагог.— Вы лжете! Вы просто бешеная баба и больше ничего! Я с вами и говорить не хочу, прощайте!

И он обратился к двери. Марья Федоровна не ожидала от смиренного педагога подобной рыси и так была ею озадачена, что совершенно растерялась, и пока собралась с духом, педагог был уже за воротами.

— Беги, догони, проси на минуточку, пускай взойдет,— говорила она, толкая Аксинью за двери. Аксинья побежала с лестницы и она вслед за нею.

Через минуту педагог уже сидел на диване и хладнокровно слушал длинную повесть о подвигах и досужестве гениального ученика своего. Дослушавши с начала до конца сие повествование, он спросил:

— А зачем вы его в продолжение прошедшей всей недели не присылали ко мне учиться?

— Как не присылала? Он каждый день аккуратно ходил к вам. Даже и обедать не приходил домой!

— И в глаза не видал я его с самого воскресенья!

— Где же это ты пропал, а?..— обратилась было Марья Федоровна к Ипполитушке, но Ипполитушки и след простыл.

По долгом рассуждении, как исправить зло, решено было продолжать учение, потому что Ипполитушка, по словам учителя, не утвердился еще в письме и в русской грамматике, а во избежание его несвоевременных прогулок положено было, чтобы Аксинья отводила его поутру в школу и приходила за ним ввечеру.

Так и сделано. В понедельник поутру многие обыватели смиренного переулка заметили восемнадцатилетнего юношу в курточке à l'enfant, идущего в школу, а за ним пожилую служанку, несущую кожаный мешок с книгами и грифельную доску. Пока Ипполитушка ходил один, никто его не замечал, а как пошла за ним Аксинья, все пальцами стали показывать. Странно!

Правильное и однообразное хождение за Ипполитушкою вскоре наскучило Аксинье, и она однажды ему предложила прогуляться в другую школу, т. е. к Юлии Карловне.

Первый визит ему не совсем понравился, хотя его и потчевали леденцами, но зато второй визит пришелся как раз по нем. Юлия Карловна, чтобы свободнее поговорить с Аксиньей, отвела его к своим девицам и строго наказала им, чтобы гость не соскучился. Аксинья на силу могла его вытащить оттуда, так ему понравились девицы,— так понравились, что он начал из школы бегать к прекрасным сиренам¹⁷. Сирены вскоре начали просить у него денег за доставляемые ему радости.— Денег? А где их взять, этих проклятых денег? — так думал он.— Хоть бы маменька скорее умирала, авось либо не легче ли бы мне было,— так продолжал он думать.

Пока Ипполитушка забавлялся с девицами, Юлия Карловна, угощая цикорием простодушную Аксинью, узнала от нее всё, что ей нужно было знать насчет Лизы. Узнала даже и губернию, и уезд, и село как зовут, и, узнавши все это, сообщила своему знакомому писарю из главного штаба, который уже готовился держать экзамен на аудитора¹⁸.

Будущий аудитор, узнавши такие секреты про свою милую Лизу, чуть с ума не сошел. Это просто слепая богиня фортуна! ¹⁹ — как он выразился в восторге.

На женитьбу, однако ж, Юлия Карловна не иначе соглашалась, как только с уступкою половины приданого, которое он со временем получит за Лизою.

Писарь, разумеется, на всё согласился беспрекословно.

В заключение, она научила его написать просьбу на имя оберполицеймейстера, и они расстались.

Теперь оставалось уверить Лизу, что Аксинья—баба дура и что она все наврала, что она действительно Акулька, а не Лиза, и не барышня, а настоящая крепостная девка, и что ей теперь предстоит такая карьера, что она, если не глупа будет, со временем может быть и высокоблагородной.

— Что ж, согласна ты, Ли... Акулька? — спросила она ее.

— Согласна, хоть за трубочиста согласна, только не держите меня в этом омуте.

— Вот уж и омуте. Дом как дом,— не узнала еще, что впереди будет.

— Хуже не будет.

— Вот тебе и благодарность. Ах ты негодная! Вишь, отъелася чужого хлеба... потаскушка! Деревенщина!..

И они чуть-чуть не подрались.

Наругавшись досыта, они, наконец, помирились и, любезно выпивши по чашке кофе, Юлия Карловна наскоро оделася и вышла со двора, а счастливая невеста, оставшись одна, горько зарыдала. Юлия Карловна с доброй весточкой отправилась прямо к Марье Федоровне и застала ее в самом счастливом расположении духа: она получила из деревни порядочную пачку асигнаций с известием, что слепой барич упал в канаву или в какую-то яму и сломал себе ногу.

После первых лобызаний приятельницы уселись на диване, и Юлия Карловна, немного помолчав, сказала:

— Ну, матушка, Марья Федоровна, насилу-то я ее уломала,— вишь ты, за писаря, говорит, не хочу, подавай ей чиновника.

— Ах она мужичка!—проворчала Марья Федоровна,— вишь чего захотела, чиновника! А как возьму в деревню да отдам за пастуха на скотный двор!

— Да то ли еще она толкует, говорит, что она не крепостная девка, а благородная.

Марья Федоровна изменилась в лице.

— Ну, да я ей показала, какая она благородная. Просто-запросто по щекам да и заставила молчать.

— И прекрасно,— проговорила Марья Федоровна.

— Да вот еще что: жених-то артачится. Меньше, говорит, тысячи рублей не возьму.

— Ах он писаришка! Тысячу рублей за крепостной девкой! Да где это видано?

— Да вишь ты, она и ему натолковала, что она не простая, а благородная.

Марья Федоровна опять смешалась и, подумавши немного, сказала:

— Не возьмет ли он хоть половину?

— Я уже ему семьсот давала, и слушать не хочет.

— Не знаю, как и быть,— проговорила, как бы сама с собой, Марья Федоровна.

— Да как быть? Давайте тысячу, да и концы в воду.

— Хорошо, я согласна, только после свадьбы.

— А он просит теперь же, а без денег и в церковь не идет. А с деньгами хоть сейчас под венец.

— Ну, чорт его возьми, отдайте ему деньги, а я вам после возвращу.

— Да у меня и рубля за душою нет.

— Как же нам быть, разве последние отдать? Да с чем же я сама-то останусь? Ну, дьявол с ним, скорее бы только разделаться. Зайдите ко мне завтра, Юлия Карловна,— прибавила она, как бы опомнившись.

— Хорошо, зайду. Только завтра непременно, потому что в воскресенье можно будет и под венец, а сегодня, знаете, четверг, нужно поторопиться.

— Так знаете что, зайдите ко мне через час. Или подождите, я посмотрю, не найдется ли у меня дома.— И она ушла в другую комнату.

Вскоре раздался звук замка, и Юлия Карловна улыбнулась. Через несколько минут вышла Марья Федоровна с пачкою ассигнаций в руках.

— Как раз только сколько нужно,— говорила она, отдавая ассигнации Юлии Карловне.

Та бережно взяла деньги и, внимательно пересчитавши, положила в свой грязный мешок.

— Теперь милости просим на свадьбу, приходите хоть в церковь.

— В церковь зайду.

— Приходите. У Знаменья будут венчаться, в 4 часа после обеда.

— Хорошо, непременно зайду.

И они расстались. Юлия Карловна, спускаясь с лестницы, прошептала.— Знает кошка, чье мясо съела.— А Марья Федоровна, оставшись одна, свободно вздохнула и тоже прошептала:

— Ну, слава богу, отделалась!

Отделалась, да не совсем, можно было б прибавить.

Долго ходила она по комнате, заложив руки за спину, как настоящая львица. Потом вдруг остановилась посередине комнаты и со всего размаху хлопнула рукой себя по лбу и вскрикнула:

— Ах я дура! Аксинья! А, Аксинья!

Вбежала испуганная Аксинья.

— Что ты, дура, глаза-то вытаращила? Беги, вороти скорее Юлию Карловну.— Аксинья выбежала.

— Тысячу рублей! Ах я дура, дура... (разговаривала сама с собой Марья Федоровна) — тысячу рублей! Без расписки, безо всего. И кому же? Какой-нибудь — фи! стыдно и выговорить. Да что это со мною сталося? Нет, она меня непременно околдовала. Ну что, если она отопрется? А отопрется, это я наверное знаю. Ну, да черт с ними и с деньгами, пускай их куда хочет деваает, лишь бы мне эту потаскушку с рук сбить, а то она у меня как бельмо на глазу... В воскресенье в четыре часа. Пойду, непременно пойду...

И она снова заложила руки за спину и заходила взад и вперед по комнате в ожидании Аксињи.

А Аксинья между тем, добежавши до дому Юлии Карловны, встретила у самой калитки с Лизою.

— Здравствуй, Аксинья! Как хорошо, что ты зашла, а мне тебя очень нужно было видеть.

— Здравствуйте, барышня! Мне нужно Юлию Карловну.

— Да ее нету дома, с утра еще куда-то ушла. А вот что, Аксинья! ты говоришь мне, что я барышня, а я такая же крестьянка, крепостная, как и ты. Только ты... честная, а я...— И Лиза не могла говорить далее.

— Что вы! что вы, Лизавета Ивановна! Да вы настоящая честная, благородная барышня.

— Да кто тебе это сказал, что я барышня?

— Ах, боже мой! Кто сказал! Да разве не сама я вас на руках выносила! Кто сказал! Вот прекрасно!

— А Юлия Карловна говорит, что ты все врешь, что ты меня только смущаешь.

— Смущаю? Вру! Я вру? Да наплюйте вы ей в самое лицо. Я вру? Да я присягу приму, к губернатору пойду. К самому государю!.. Вишь, держит благородную барышню, как какую-нибудь, прости господи, девку непотребную... Да я же и вру... Нет, я докажу ей, что я еще не врала.

— Вот что, Аксинья!..— перебила ее Лиза.— Ведь она меня замуж отдает.

— Что ж, и с богом! Святое дело, коли благородный человек, потому что вам не за благородного выходить не годится.

— Он теперь еще так только, писарь, а скоро будет и благородный...

— То-то вот, чтоб непременно был благородный, а то как можно!

— Да я рада хоть за палача, только бы мне вырваться из этого содому...— И Лиза заплакала.

— Что вы! что вы, барышня! Перекреститесь. Такие слова говорите — за палача.

— Ах, Аксинья! Аксинья! Если б ты знала, что я терплю здесь, ты бы не то сказала.

В это время дверь на улицу растворилась, и выглянула на улицу какая-то небритая физиономия в галунах, крикнула: — Лиза! — и дверь снова захлопнулась.

— Идите, барышня, вас зовут. И я побегу: меня, чай, барыня-то ждет не дождется. Прощайте!

— Прощай, Аксинья! Приходи на свадьбу.

— Приду, непременно приду,— говорила Аксинья, перебегая улицу.

— Где это ты таскалася? — таким вопросом встретила ее Марья Федоровна.

— Да я ее не догнала. Бегала на дом — и дома нет. Говорят, как ушла с утра, так и не приходила.

— Так ты успела уже и дом ее проведать? Ах ты, негодная тварь! Да знаешь ли ты, что это за дом такой? Потаскушка ты этакая!

— Дом как дом, ведь туда и Ипполит Иванович изволят ходить...

— Что?

— Там и наша барышня, Лизавета Ивановна, живут!..

— Что?

— Я говорю, что там...

— Молчи, язык отрежу!.. Пошла вон!

И Аксинья вышла.

С Марьей Федоровной сделалась истерика, а к вечеру она слегла в постель. На другой день обступили одр ее бескорыстные приятельницы и посоветовали ей на ночь выпить малины, что она и сделала, хотя от этого ей ничуть не легче стало.

В воскресенье, однако ж, как ей ни трудно было, она вышла со двора ровно в три часа. Хотела было и Ипполитушку взять с собой, но он ушел к учителю повторять урок. На улице попался ей извозчик (явление редкое на Песках). Она спросила его, что возьмет до Знаменья. Тот сказал ей: гривенник. Она выругала его и поплелась пешком. После вечерни часов до шести сидела она у церковной ограды, а о свадьбе и слуху не было. Наконец, она встала и поплелась домой, говоря про себя: — Они в другой церкви перевенчались. Семка я пойду мимо дома Юлии Карловны.— И она пошла мимо дома Юлии Карловны. Далеко еще не доходя до дому, она услышала музыку и песни.— Так и есть, свадьба,— подумала она. Она весело подошла к самым окнам, взглянула в комнаты, и что же она увидела? О, позор и ужас! Ее милый и пьяный Ипполитушка, в разорванной рубашке, без подтяжек и прочего, для чего выдуманы подтяжки, плясал тоже не совсем с трезвою,

разухабистою барышнею камаринского под звук унылый фортепиано. (Вот где он получил первые уроки в сем великом искусстве, которому так чистосердечно удивлялись солдаты в крепости Орск.)

Полюбовавшись на свое милое единственное чадо, на своего будущего помещика, она кое-как перешла на другую сторону улицы и села на панели отдохнуть. В это время калитка отворилась, и на улицу вышла сама Юлия Карловна с каким-то военным писарем. На улице он ловко, настояще по-писарски раскланялся и пошел в одну сторону, а Юлия Карловна в другую.

— Так у них ничего не бывало, — подумала Марья Федоровна и, собравшись с силами, встала на ноги и позвала Юлию Карловну.

Та подошла к ней, как ни в чем не бывало, раскланялась и спросила о здоровье.

— Здоровье-то мое еще не так плохо, как вы со мною плохо поступаете. Да что и в самом деле, — прибавила она, возвыся голос, — что я вам, дура какая, что ли, далась? Где же свадьба?

— Какая свадьба?

— А что говорили, у Знаменья?

— Ах, да... и забыла. Ну, еще успеем перевенчать, было бы приданое готово.

— Какое приданое?

— Да такое, какое я вам говорила. Тысячу рублей!

— Да ведь я вам отдала.

— Вы мне должны были по контракту, за Акульку и отдали, а теперь припасайте приданое для Лизаветы Ивановны Хлюпиной. Понятно вам теперь?

Марья Федоровна не дослушала и, верно бы, грохнулась на мостовую, если б Юлия Карловна ее не поддержала. Всю эту сцену Лиза видела из окна, и когда дошло дело до обморока, то она выбежала на улицу и, подбежавши к трогательной группе, стала пособлять Юлии Карловне приводить в чувство Марью Федоровну. Придя в себя, Марья Федоровна оглянулась вокруг себя и, не сказав ни слова, плюнула в лицо Юлии Карловне и пошла быстро по улице.

— Что это значит? — спросила Лиза у Юлии Карловны.

— Сумасшедшая, больше ничего!

И они проводили ее глазами до угла переулка и пошли домой.

Марья Федоровна совершенно растерялась. Так часто самый смелый, самый предприимчивый злодей падает духом от одного слова, изобличающего его злодейства.

Она от бешенства рвала на себе волосы, грызла себе руки, била немилосердно Аксинью и проклинала своего милого Ипполитушку, который, во избежание чего-нибудь вещественнее проклятий, несколько дней и домой не являлся. А где он обретался, этого никто не ведал. Наконец, она немного поуходилась и серьезно захворала.

Приятельницы снова хором посоветовали ей напиться малины. Она напилась, но малина не помогла и ромашка тоже не помогла. Приятельницы охали и больше ничего. Так прохворала она месяца два. Приятельницы одна за другою ее оставили; Ипполитушка по несколько дней глаз не показывал, Аксинья одна, как верная собака, ее не оставляла.

А Юлия Карловна с будущим аудитором вот что придумали. Они написали письмо от имени Марьи Федоровны в село к священнику, со вложением пятирублевой депозитки, чтобы он вытребовал из консистории²⁰ метрическое свидетельство о рождении и крещении Лизы.

Немало удивился отец Ефрем, получивши такое послание. Недавно он читал письмо, исполненное слез и воздыханий о смерти Елисаветы Ивановны, и панихиду уже отслужил за упокой ее души, а теперь требуют свидетельство о рождении и крещении.— Странно,— подумал он и послал пономаря в город за гербовой бумагой, а сам пока рассказал попадье своей о странном приключении. Попадья не замедлила сообщить о сем управительше, а управительша соседке однодворке, а соседка однодворка покровительствующей ей помещице, а помещица помещикам, так что пока отец Ефрем получил из консистории Лизино свидетельство, то уже вся губерния знала об этом странном происшествии, и всякий,

разумеется, толковал его по-своему, но к самой истине никто и не приближался.

Отец Ефрем, получивши свидетельство, отослал его по приложенному в письме адресу, т. е. на имя Юлии Карловны.

Юлия Карловна, получивши сей драгоценный документ, показала его будущему аудитору, и решено было немедленно приступить к делу, т. е. приступить к Марье Федоровне, чтобы выдала еще тысячу рублей на свадьбу.

Сначала написали письмо, но на письмо ответа не последовало, потому что Марья Федоровна читала только печатное, а скорописному не училась, постороннему же лицу она боялась показать письмо: она догадывалась, что письмо в себе ничего хорошего не заключало.

В одно прекрасное утро Юлия Карловна явилась за ответом сама лично и, после пожелания доброго утра, сказала:

— Я к вам, Марья Федоровна.

— Вижу, что ко мне. А за чем бы это?

— За чем... гм, за чем? За деньгами, Марья Федоровна!

— Что, я вам должна, что ли?

— Должны, Марья Федоровна!

— А много ли, нельзя ль узнать?

— Всего-навсе тысячу рублей!

— Опять тысячу рублей?

— Точно так, Марья Федоровна!

— Ах ты, душегубка! Ах ты, кровопийца! Ах ты...—

Тут уж она такие посыпала причитанья, что ни словами сказать, ни пером написать.

Юлия Карловна хоть бы тебе бровью пошевелинула, как будто эти причитанья совершенно не ее касались.

— Так вы не даете тысячи рублей? — сказала она, когда Марья Федоровна немного поуходилась.

— Не даю! и не даю! — отвечала та.

— Как угодно! Значит, я завтра же могу объявить оберполицеймейстеру насчет Лизы...

Марья Федоровна только взглянула на нее, но не

сказала ни слова. Юлия Карловна тоже молчала. Так прошло несколько минут. Потом Марья Федоровна молча встала, сняла со стены образ и, подавая его Юлии Карловне, сказала:

— Клянитесь мне ликом святого мученика Ипполита, что вы завтра же все покончите!

Юлия Карловна произнесла: — Клянусь,— и даже перекрестилась по-русски.

Марья Федоровна вынула из шкатулки пачку депозиток и, отсчитавши тысячу рублей, молча отдала деньги Юлии Карловне, а та так же молча приняла их, пересчитала и, положивши в мешок, сказала:

— Досвидания, Марья Федоровна.

— Нет, не до свидания, а совсем прощайте, я завтра уезжаю в деревню.

— Да вы хоть до воскресенья подождите! В воскресенье непременно повенчаем.

— И без меня повенчаете. Прощайте!

— Ну, как хотите. Прощайте, когда не угодно.— И Юлия Карловна удалилась.

В следующее же воскресенье тихо, скромно совершился обряд венчания в Знаменской церкви. В числе прочих любопытных и Марья Федоровна была в церкви. И когда было всё кончено, она подошла к Лизе и поздравила ее со вступлением в законный брак.

Лиза вскрикнула и упала в обморок, а Марья Федоровна скрылась в толпе.

Весело возвратилась она на квартиру и отдала приказание Аксинье собираться в дорогу.

— Довольно, будет с меня,— прибавила она,— навеселилась я в этом проклятом Петербурге. Теперь осталось оженить Ипполитушку и мое дело кончено,— говорила она сама с собой.

Аксинья, видя доброе расположение своей барыни, попросилась со двора и получила позволение. Марье Федоровне и в голову не пришло, что Аксинья просилась на свадьбу к Лизавете Ивановне.

Свадьба была шумная, и больше всех отличался на свадьбе Ипполитушка, и к рассвету так наотличался, что его тут же и спать уложили.

На другой день Ипполитушка чувствовал себя дурно,

и еще дурнее почувствовал он себя, когда ему сказали, что он заложил свой макинтош Юлии Карловне за три целковых, чтобы сделать подарок невесте. Ипполитушка, подумавши немного, отправился к Юлии Карловне, пал перед нею на колени и вымолил у нее курточку и плащ до вечера только. Юлия Карловна сжалась.

Кое-как оделся он и вышел на улицу. Куда же теперь идти? Он опять призадумался, и призадумался не на шутку. К матери он боялся глаз показать, а три целковых нужно к вечеру достать. А то Юлия Карловна и на порог к себе не пустит с пустыми руками, а это для него хуже всего на свете.

Думал он, думал, да и выдумал вот какой несложный, а, между прочим, верный проект.

— Маменька теперь, — думал он, — уже третий месяц больна и со двора не выходит, следовательно, могут все поверить, что она умерла, и если я, не заходя домой, обойду всех ее знакомых и попрошу, кто что может, на погребение матери, неужели не наберу три целковых? У, какой вздор, да одна майорша Потаскуева даст три целковых. Ура! прекрасно! Я же тебе докажу, поганая чухонка, что я честный человек.

И, одушевленный этой истинно гениальной мыслью, он почти побежал вдоль улицы.

На другой день часу в десятом начали собираться приятельницы на вынос тела покойной Марьи Федоровны. Представьте же себе их изумление, когда их встречала мнимая покойница, просила садиться и благодарила за память. Она думала, что приятельницы провели о ее скором выезде и пришли проститься с нею. Вскоре она сильно разочаровалась. Одна, а за ней и другая, а за другой и третья приятельницы не выдержали и высказали настоящую цель своего посещения.

Марья Федоровна, как ни крепилась, однако ж не могла дослушать красноречивую повесть о похождениях своего единственного Ипполитушки, выгнала вон своих сердобольных приятельниц и послала Аксинью за учителем. Явился скромный педагог, она попросила его написать объявление в полицию о пропаже сына.

Когда объявление было готово, она сейчас же отправила его в часть, а педагогу дала двугривенный и просила купить лист гербовой бумаги в 15 коп. серебра.

В тот же день перед вечером дали знать из части об овце обретшейся и спрашивали, что с нею делать. Она этого квартального, который пришел ей дать знать о блудном сыне, просила написать к кому следует бумагу о принятии ее сына в городскую тюрьму на сохранение.

На другой день Ипполитушка путешествовал со шнурком на руке, искусно прикрытым коротеньким плащом, и с полицейским хожалым прямо в Литовский замок.

В тот же день, после обеда, сидел за столом у Марьи Федоровны смиренный наставник и искусно изображал на гербовом листе прошение на высочайшее имя о написании в рядовые сына Ипполита вдовы помещицы Марьи Хлюпиной за неуважение к матери.

На прошение не замедлило последовать соизволение, и в одно прекрасное утро вышел Ипполитушка из Литовского замка с партией арестантов на московскую дорогу.

Не успел еще Ипполитушка пересчитать этапов между Москвою и Петербургом, как к Марье Федоровне пришел тот же самый квартальный и объявил ей, что она арестована в собственной квартире по предписанию управы благочиния. И это случилось именно в тот день, когда она собиралась оставить навсегда противный Петербург. Квартальный вежливо раскланялся и исчез, оставив за собою след, т. е. полицейского солдата у ворот.

Неделю спустя после свадьбы Лизу вооружили Юлия Карловна и благоверный супруг ее бойко, четко и дельно написанным прошением и послали в канцелярию министра внутренних дел. Прощение было принято самим министром, рассмотрено и пущено в дело. По справкам оказалось, что прошение, как ни казалось с первого разу неправдоподобным, оказалось истинным. Марью Федоровну арестовали и произвели следствие. По следствию она оказалась преступною в угнетении детей своего мужа и в намерении лишить их наслед-

ства в пользу своего сына Ипполита. За все это судом приговорена она к заточению в отдаленный девичий монастырь на вечное покаяние.

Так кончились злые ухищрения Марьи Федоровны, и она теперь, лишенная всего, даже личной свободы, в тесной, мрачной келье «издыхает, как отравленная крыса в норе», как выразился автор «Путешествия Гулливера»²¹.

Елисавета Ивановна, приведя дела свои к благополучному окончанию, выехала из столицы вместе с супругом своим, уже не простым писарем, а коллежским регистратором. Юлия Карловна просилась было тоже с ними в деревню, в виде маменьки или хоть ключницы, но ей решительно отказали, и она осталась попрежнему содержательницей известного заведения.

Во всем уезде или, лучше, во всей губернии была известна история Лизиных грустных походов, вследствие чего чувствительные соседки помещицы встретили ее с распростертыми объятиями, как героиню истинно романическую.

Вскоре заброшенное село начало обновляться.

Муж Лизы оказался весьма порядочным человеком, а через год и порядочным сельским хозяином, так что брошенные части хозяйства пришли в движение и приносили свою пользу.

Словом, всё воскресло с прибытием Елисаветы Ивановны, но сильнее всех почувствовал ее присутствие бедный слепой Коля. Она с ним ни на минуту не расставалась, ухаживала за ним, как самая попечительная нянька и самая нежная сестра.

Церковь посещал он попрежнему и попрежнему с любовью исполнял обязанности дьячка и пономаря. Это было его самое задушевное и единственное занятие. Часто, возвращаясь ночью поздно от всенощной, он тихо и невыразимо грустно пел: «Все упование мое на тя возлагаю, матерь божия, сохрани мя под кровом твоим».

20 февраля 1855.

БАПИТАНША





В 1845-м, в том самом году, когда наводнением до половины разрушило город Кременчуг, а Крюков остался невредим, а в Киеве так даже к Братскому монастырю¹ вода поднялася,— так в этом критическом году, в конце марта месяца, выехал я из Москвы по тульскому, тогда только что открытому шоссе. Ехал я (заметьте, на почтовой перекладной телеге) две недели до Тулы, да до Орла неделю, итого три недели. А что я вытерпел в эти три недели, так этого никакое перо не в силах описать. Одно только скажу вам, что я, не из описания какого-нибудь туриста, а из собственного опыта знаю, что стóит тарелка щей и ломоть хлеба на почтовой станции; то, будучи практически знаком с комфортом почтовых станций, я, выезжая из Москвы, нафрузил порядочную корзину всяким соленым и копченым добром. И что же! всю эту благодать я должен был бросить на второй станции, т. е. в городке Подольске, потому что всё это, и даже я сам, окунулося несколько раз в грязной снежной воде. Благоразумие требовало возвратиться в Москву, но поди же ты, толкуй с упрямой головою (между нами будь сказано, я таки не отстал от своих земляков в этой добродетели, т. е. в упрямстве, что мы из вежливости называем силою воли). Итак, от Подольска до Тулы пропутешествовал я на пище святого Антония², а от Тулы до Орла на той же самой пище, потому что город Тула хотя и славится ружьями и гармониками, но колбасною лавкой не может похвалиться; словом, я в Туле, и то с

трудом, нашел соленого судака, привезенного с берегов синего Дона, или с берегов Урала, или же с берегов матушки Волги. С таким-то провиантом доехал я до города Орла. Остановился я было в гостинице, тут же около почтовой станции, да на другой день как пересчитал свою казну, так только ахнул! У меня всего-навсего было наличных трехрублевая депозитка да мелочи два четвертака, а из Москвы я взял с собою ровно сто рублей серебром; с такую суммою как не доехать из Москвы до Киева? А вот же случилось так, что я только до Орла доехал, а там, т. е. в Орле, и сел, как рак на мели. Я призадумался не на шутку, и после сугубых размышлений пошел я искать постоялый двор. Опять горе — Ока и Орлик затопили не только все постоянные дворы, но и бóльшую часть самого города. Возвратился я в свой номер еще грустнее, чем из него вышел; в раздумьи сел у окна и смотрю на улицу, а по улице плетется запряженная парюю невзрачных лошадок большая крытая телега, а около нее с кнутиком в руке идет небольшого роста пузатенький, с рыжей бородкою мужичок. — А, приятель! — думаю себе, — тебя-то мне и нужно! — Я отворил окно и крикнул:

— Эй! Мужичок! Молодец!

Мужичок остановился, снял шапку и, посмотревши на окна гостиницы, увидел меня и сказал:

— Ты, барин, кличешь?

— Я.

— А что те надоть? — спросил он.

— А вот что. Ты извозчик?

— Вестимо, что извозчик!

— А которой губернии?

— Тутошней губернии, барин. А уезда Митровского.

— А не желал бы ты, любезный, на празднике дома побывать? (Это было на шестой неделе великого поста.)

— Как не желать, барин, — вестимо, желаю; да как порожнем пустишься один?

— А хочешь, я тебе седока найду до Глухова?

— Как не хотеть, да мне, пожалуй, хоть и до Москвы.

— Да ты знаешь ли, где Глухов?

— Как не знать? — за Митровским. Мы и в Киеве бывали не раз.

— Много ли же ты возьмешь?

— С пуда, что ли, барин?

— Пожалуй, хоть и с пуда.

— По два с полтинкой, барин!

— Хорошо, согласен, только с тем, чтобы деньги получить в Глухове.

— А задаточку, барин?

— Да там же, в Глухове, и задаточку.

Мужичок почесал в затылке и, посмотрев на меня с минуту, спросил:

— А когда ехать, барин?

— Да, пожалуй, хоть сейчас.

— Сейчас, барин, нельзя: маненько лошадок покормить надоть.

— Да где же ты их кормить станешь? Как тебя найти?

— Да здесь же, на улице. Вишь, постоянные дворы все залило водою, где кормить станешь?

И, говоря это, он приворотил к забору и начал откладывать лошадок. Я вышел к нему на улицу, осмотрел телегу. Телега была поместительная, крытая сплошь, вроде жидовской брички.

— Какой же ты товар перевозишь в этой посудине? — спросил я его.

— Да какой товар? Вот теперь хоть и вашу милость повезу, а сюда какую-то барыню привез, из Митровска. К детишкам, что ли, приехала: в училище каком-то, али корпусе, говорит. Да уж и злющая же, бог с ней, то и дело дерется с девкой.

— А как думаешь, выедем сегодня али не выедем?

Мужичок посмотрел на солнце и сказал:

— Лучше, барин, переночуем.

— Пожалуй, переночуем.

И я от нечего делать пошел шляться по городу. Проходя мимо табачной лавочки, я увидел между выставленными на окне [товарами] с разными изображениями табачные картузы и гармонику. Я не предвидел большого разнообразия в моем путешествии: дай-ка, мол, я куплю гармонику, буду хоть детей спотешать

на по[стоялых] дворах. Купил я гармонику и возвратился на квартиру. А на квартире, отдохнувши после прогулки, я задал себе такой вопрос: а что если у моего приятеля в Глухове, на которого я надеюсь, как на каменную стену, не случится денег, что я тогда стану делать? Правда, у меня в Глухове есть и другой приятель, на которого наверняка можно рассчитывать, потому что он одной фарфоровой глины продает тысяч на сто в продолжение года, так как на него не понадеяться? Но дело в том, что он пан на всю губу, как говорится. У него к обеду иначе выйти нельзя, как во фраке, а это-то мне и не нравилось. Оно и в самом деле смешно,—жить в деревне и наряжаться каждый день,—чорт знает что! Хорошо еще, ежели похороны, или свадьба, или другой какой семейный праздник. А так — это больше ничего, как самое нелепое подражание аглицким лордам.

Итак, по долгом размышлении я написал письмо в Киев и просил, чтоб выслали мне денег в г. Глухов, а адресовали на имя не того приятеля, что продает фарфоровую глину, а на имя соседа его, ротмистра в отставке такого-то.

Устроивши все, как следует порядочному человеку, я на другой день до восхода солнца погрузился в фургон и благополучно прибыл на постоялый двор, отстоящий от города Орла на двадцать пять верст.

Здесь было бы очень кстати описать со всевозможными подробностями постоялый двор, но так как это *tableau de genre*³ описывали уже многие, не токмо прозою, но даже и стихами, то я и не дерзаю соперничать ни с кем из этих досужих писателей, ни даже с самим гомеровским описанием⁴ в стихах постоялого двора, напечатанным, не помню, в каком-то журнале, где и сравнивается это описание с «Илиадою».

В г. Кромы мы прибыли ночью и до рассвета выехали; следовательно, о городе Кромах мне тоже нечего сказать, разве только, что за тарелку постных щей с меня взяли полтину серебра, собственно за то, что я не поторговался прежде. Вот всё, что я могу сказать о г. Кромах.

Солнце уже довольно высоко поднялось, когда я

проснулся в своем фургоне. Проснувшись, я высунул голову посмотреть на свет божий и спросить у Ермолая (так звали моего извозчика), далеко ли до постоянного двора.

— А вот спустимся за горку, там будет и постоянный двор.

Я посмотрел вокруг. Думал, что и в самом деле где-нибудь увижу хоть маленькую горку, — ничего не бывало: равнина, однообразная равнина, перерезанная черною полосой почтовой дороги, утыканной кой-где раkitником и пестрыми столбами, именуемыми верстами.

Незавидный, правду сказать, пейзаж, и если принять в соображение мое небыстрое путешествие, то он покажется даже скучным. Что будешь делать? Читать нечего, думать не о чем (в то время я повестей еще не сочинял). Вот я полежу, полежу в фургоне, да и вылезу из него, пройду версту-другую пешком, да и опять в фургон, поиграю на гармонике, а Ермолай попляшет. Он почти не садился на облучок, но постоянно шел себе с кнутиком около лошадок, и когда я наигрывал на гармонике, то он принимался плясать, сначала тихо, потом быстрее и быстрее, а когда приходил в азарт, то, обращая ко мне, почти вскрикивал:

— Почаще, барин! Почаще, барин!

Я ему и почаще заиграю, а он почаще пропляшет, а там, глядишь, и постоянный двор.

Так-то мы с Ермолаем коротали и время и дорогу до самой Эсмани (первая станция Черниговской губернии). Не успеешь переехать границу Орловской губернии, как декорация переменялась: вместо раkitника по сторонам дороги красуются высокие развесистые вербы. В первом селе Черниговской губернии уже беляньки хатки, соломой крытые, с дымарями, а не серые бревенчатые избы. Костюм, язык, физиономии — совершенно всё другое. И вся эта перемена совершается на пространстве двадцати верст. В продолжение одного часа вы уже чувствуете себя как будто в другой атмосфере: по крайней мере, я себя всегда так чувствовал, сколько раз я ни проезжал этой дорогой. Едучи из Киева через Чернигов, хотя и чувствуешь себя по ту сторону Десны уже не в Малороссии, но там все-

таки есть хоть небольшая интонация, а между Эсманью и [Глуховом] совершенно никакой.

Проехавши версты две или три за Эсмань, я увидел вправо, недалеко от дороги, уже не серый бревенчатый с крепкими воротами постоянный двор, а белую под соломенной крышей, между вербами, корчму. Вид этой первой корчмы мне напомнил еще в детстве слышанную мною песню, которая начинается так:

Ой, у полі верба,
Під вербою корчма.

Засветло можно было бы еще приехать в Глухов, но мне так понравилась эта корчма, что я просил Ермалая остановиться в ней и переночевать, на что он охотно согласился, потому что в корчме, как он говорил, всё дешевле, нежели в городе.

Поравнявшись с самой корчмою, мы остановились, и я увидел человека, не обращавшего на нас совершенно никакого внимания. Человек этот одет довольно странно: в серой солдатской шинели, подпоясанный, вместо пояса, свитым из соломы жгутом, в черной бараньей шапке и с граблями в руках. Я вылез из телеги и, подойдя к нему, спросил:

— Что, ты хозяин?

— Авжеж хозяин,— отвечал он, едва взглянувши на меня.

— Что же, у тебя сено есть?

— Авжеж есть.

— И овес есть?

— Авжеж есть.

— А поужинать будет ли что?

— Авжеж буде,— и он обратился к извозчику и совсем неласково сказал ему:

— Чого ж ты там стоишь, московська вороно, чому не заизжаешь? — и он пошел отворять ворота корчмы.

Мне понравился мой оригинальный земляк как держатель заезжего дома на большой дороге. Особенно после орловских дворников, которые встречают тебя за полверсты, снимают шапку, кланяются, божатся, что у них всё есть, кроме птичьего молока, а на поверку окажется только овес и гнилое сено, а поужинать

или пообедать, особенно в великом посту, и не думай: подадут тебе щей с вонючим постным маслом, да и спуют полтину серебра, коли вперед не поторгуешься.

Пока несловоохотный хозяин отворял и затворял ворота своей корчмы, я пошел размять ноги, онемевшие от долгого сиденья.

Корчма была тщательно выбелена, а около окон обведено было желто-красноватой глиной; примыкающий к корчме сарай, или так называемая стодола, тоже аккуратно вымазана желтой глиной; вообще вид корчмы показывал, что через несколько дней будет у людей великий праздник. По другую сторону корчмы я увидел изгородь, примыкавшую к самому строению, — небывалая вещь около корчмы. Я подошел поближе. За изгородью две женщины копали гряды, и одна из них что-то рассказывала, а другая так звонко, чисто-сердечно смеялась, что я сам невольно рассмеялся. Та, которая рассказывала, была женщина уже не первой молодости, а которая смеялась, — только что расцветшая чернобровая красавица и, казалось, была дочерью первой, а не подругою.

Не успел я рассмотреть их хорошенько и наслушаться гармонического смеха красавицы, как из-за угла корчмы показался сам хозяин и позвал их в хату варить вечерю. Я и себе последовал за ними в хату. У дверей встретился я с хозяином. Он мне пожелал доброго здоровья и просил войти в светлицу. Я вошел в просторную, чисто выбеленную хату, разделявшуюся во всю длину ее, как стеною, кафельною печью. Около стен кругом стояли лавы, или скамейки, а между ними возвышался дубовый, чисто вымытый стол. На стене в углу висел образ, украшенный свежеею вербою и засохшею мятой и васильками.

— Просымо садиться, — сказал хозяин, снимая шапку. — Здесь мы сами живемо, — прибавил он, — а для такого народу у нас есть другая хата.

— А что, хозяин, — спросил я его, садясь на скамье, — можно у вас достать водки?

— Чому не можно! Вам полкварти, чи всю квартиру? — спросил он.

— Хоть полкварти на первый раз.

— Добре,— сказал он и вышел из хаты.

Вскоре возвратился он с рюмкою и графином, а за ним шла с тарелкою и полотенцем в руках веселая огородница. Это была самая очаровательная брюнетка, шестнадцати или пятнадцати лет, стройная, гибкая, как молодая тополь. Волосы ее, густые, блестящие, были повязаны черной лентой и украшены свежим зеленым барвинком.

Она покрыла край стола полотенцем, поставила тарелку с какой-то соленой рыбой, положила на стол два куска белого хлеба и, улыбувшись, удалилась из хаты. Проводивши глазами красавицу, я обратился к хозяину:

— А что, земляк, не выпить ли нам по рюмке водки?

— Чому не выпить? — отвечал он и сел на скамейке.

Я выпил водки и хозяина попотчевал. Немного погодя я еще попотчевал его и спросил:

— Ты, кажется, хозяин, служил в солдатах?

— Авжеж служил.

— То-то ты так важно и по-русски говоришь!

— О так пак! У Владимирской губернии квартировали шесть лет, та щоб не выучиться говорить по-русски!

Добряк не заметил моей шутки, за то я ему налил еще рюмку водки.

— А что, я думаю, ходил и под француза?

Этот вопрос я сделал ему потому, что заметил у него голубую ленточку, нашитую на шинели.

— Авжеж ходыв! — ответил он.

— Немало же ты их, проклятых, пересажал на штык?

— Ни одного.

— Отчего же это так случилось? — не без удивления спросил я его.

— Я был музыкантом!

Это меня еще больше удивило, потому что в физиономии его и вообще в приемах не заметно было ничего такого, что бы обличало в нем виртуоза.

— На каком же ты инструменте играл? — спросил я его.

— На барабане,— отвечал он, не изменяя тона речи.

— И на этом звучном инструменте едва ли ты отличался,— подумал я, глядя на его честный выразительный профиль, а он сидел себе на скамье, согнувшись, и болтал ногами, как это делают маленькие дети. Я рассчитывал (и довольно основательно), что услышу от него о каких-нибудь богатырских подвигах во время стычек, о какой-нибудь частной проделке, о которой нигде ничего не прочитаешь, даже и в «Записках русского офицера»⁵, а не тут-то было: он был музыкантом и, вдобавок, не лгуном. Но я всё еще не терял надежды, предложил ему рюмку водки, на что он охотно согласился, и, когда он полою шинели вытер свои белые усы и крикнул, я спросил его как бы случайно:

— А в немецких землях и во Франции таки довелось побывать?

— Довелось?.. У самий Франции два года кватировалы.

— Как же ты разговаривал с французами?

— По-французски,— отвечал он, не запинаясь, и, немного погодя, продолжал:

— Я и по-французскому, и по-немецкому умею. Еще в десятому году, когда ишлы мы из-под турка, один венгер выучив мене, царство ему небесное! Я, сказавши правду, по-всякому умею,— прибавил он самодовольно.— Например, стоимо мы лагерем таки под самым Парижем. Тут и пруссак, тут и цысарец⁶, и англичанин, як той рак червоный, и синеполый швед, и бог его знае, откудава той швед прыйшов! До самого Парижа его не видно было, а тут мов из земли вырос. От воны гуляють по лагерю та меж собою по-своему розмовляють. От, говорить, дасть бог, завтра вступимо в Париж, а там, камрад, и махен вейн, и закусымо, камрад, и мамзельхен либер,— и всего вволю. А я хожу соби меж нымы, ус покручую да думаю: — Не хвалитесь, камрады, побачим, що с того буде! — Через день чи через два одилы нас, выстроилы, перевелы через Париж церемониальным маршем, не дали и воды напиться,— уже верст 20 за Парижем дали нам дух перевесты. От я подхожу до цысарця та й говорю ему по-цысарскому:

— А що, камрад, Париж важный,— говорю,— го-

род, и вейну, и мамзельхен, всего,— говорю,— вволю.

— О, дер дейфель! — говорит,— чтоб он им дотла выгорив!

— То-то,— говорю ему по-цысарски,— не хвалиться было, йдучи на рать...

— А что, земляк, есть какая-нибудь разница между французским и немецким языком? — спросил я его.

— Мальность разницы! Так что ежели умеешь добре по-немецки, то и с французом можно поговорить, мальность разницы,— прибавил он, покручивая свои белые усы.

В это время занавеска в нише отдернулась, и вошла в комнату со свечой в руках та самая женщина, которую я видел мельком на огороде. Это была по-городскому опрятно одетая, уже не молодая женщина высокого роста, с живыми черными глубоко впалыми глазами и вообще приятным и выразительным лицом. Она поставила на стол свечку, взглянула на моего собеседника и, обратясь ко мне, сказала чистым великороссийским наречием:

— Не потчуйте его, сделайте одолжение, а то он вам и отдохнуть не даст. Иди-ка ты лучше ложися спать,— сказала она, обращаясь к нему.

— Мовчи ты, капитанша! ма...— и, минутой спустя, улыбнувшись, прибавил: — Матери твой чарка горилки!

Женщина молча посмотрела на него и скрылась за занавеской.

— Что это, жена твоя? — спросил я его.

— Жена,— ответил он.

— Зачем же ты ее зовешь капитаншею?

— Это я так, жаргуючи... а по правде сказать, так вона и есть капитанша. Да еще не простая, а лейб-гвардейская,— прибавил он как бы про себя, и так тихо и скоро, что я едва мог расслышать и понять.

Меня сильно подстрекало расспросить у него, почему она капитанша, да еще и лейб-гвардейская, но он так невесело опустил на грудь свои белые усы, что мне казался всякий вопрос про капитаншу неуместным и даже дерзким. Недолго мы сидели молча,— из-за занавески явилась опять та же женщина и поста-

вила на стол уху из какой-то мелкой рыбки, очень вкусно приготовленную. Я поужинал, поблагодарил хозяев и пошел в свой фургон спать. Долго я, однако ж, не мог заснуть: мне не давало спать слово «капитанша». Со мною, впрочем, это часто случается, да, я думаю, и со всяким: на каком-нибудь самом простом слове построишь целую драматическую фантазию не хуже прославившегося в этом фантастическом роде почтенного Н. К [укольника]?. Так случилось и теперь: слово «капитанша» разделилось у меня уже на акты, сцены, явления, и уже чуть-чуть не развязалась драма самой страшной катастрофой, как начали смежаться мои творческие вежды, и я заснул богатырским сном.

В продолжение моего путешествия от Орла до этой интересной корчмы я просыпался каждое утро в дороге. Догадливый Ермолай никогда не будил меня, да и незачем было будить. Я вручил ему мою трехрублевую депозитку еще в Кромах, после дорогих щей, и он всю дорогу рассчитывался за съеденное и выпитое мною на каждом постоялом дворе, а я себе спал сном праведника и просыпался всегда в дороге. Просыпаясь под стук колес и легкое качанье телеги, иногда снова засыпал и просыпался уже на постоялом дворе.

После неоконченной драмы на слово «капитанша» проснулся я на другой день уже не рано и, к немалому моему удивлению, не чувствовал ни покачивания телеги, ни холодного утреннего воздуха; прислушивался и не слышал ничего вокруг себя, ни даже постукивания колес.

— Неужели мы уже проехали станцию? — подумал я. — Да нет, не может быть! Ведь мы должны быть теперь у приятеля моего в деревне около Глухова, а не на постоялом дворе. Да, правда, я ему вчера дорогу не рассказал, а он, дурень, не разбудил меня, когда из корчмы выехал. — Решивши так мудро сей вопрос, я снова было задремал, но Ермолай, вероятно, подслушал мое решение, подошел к телеге и сказал:

— Барин, а, барин!

— Что, Ермолай? — отозвался я.

— Вы спите? — спросил он.

— Сплю,— отвечал я.

— Пора вставать.

— Хорошо, встану. Не случилось ли чего-нибудь?

— Ничего не случилось, слава богу, всё обстоит благополучно.

— Так что же? Ну, и пообедай с богом!

— Какой тут обед, барин! У нас нечем и за вчерашний ужин расплатиться: я деньги все, и свои и ваши, израсходовал!

— Будто ничего не осталось?

— Ни копейки!

— Плохо,— подумал я и потом спросил Ермолая:— а лошади у тебя сыты?

— Лошади сыты, дворник ничего не знает, отпускает всё, что ни спросишь.

— Хорошо. Поди же, скажи ему, чтобы самовар нагрел, я сейчас приду.

Ермолай удалился.

В трактир в Туле приходит ко мне какой-то не совсем трезвый человек и предлагает новое одноствольное ружье за три рубля серебром. Я, чтобы отвязаться от него, посулил ему рубль. Он вышел было за двери, не сказавши ни слова. Немного погодя опять вошел в комнату, спросил меня, что я шучу с ним или серьезно говорю. Я сказал, что серьезно. Он немного подумал и сказал:

— А коли серьезно, так вот вам вещь, давайте деньги.

Я отдал ему рубль, а ружье положил на столе, и не посмотревши даже на него хорошенько, как на вещь совершенно мне ненужную. Мог ли я предвидеть тогда, что это ружье, почти насильно купленное, разыграет такую важную роль, какую я ему теперь назначил?

Вылез я из своей подвижной спальни, пошел к колодцу, умылся, охорошился кое-как и вошел в комнату. На столе уже стоял самовар, и вчерашняя капитанша вытирала чистым полотенцем большую фарфоровую чайную чашку. Я приветствовал ее с добрым утром, на что она мне отвечала тем же.

— А где же ваш хозяин? — спросил я.

— А он рано еще уехал к помещику, у которого мы эту корчму нанимаем.

— А как прозывают этого помещика и далеко ли он от вас живет?

— Отставной ротмистр N. N., а живет он почти что около самого города.

— Да это и есть мой приятель, моя единая надежда,— подумал я и, обратясь к хозяйке, спросил, как она думает, скоро ли ее хозяин возвратится назад.

— Я думаю, скоро, если его не задержит Виктор Александрыч: ему там нечего долго делать,— отдать деньги и получить бочку водки. Да вам что его дожидать, вы и со мною можете рассчитаться.

— В том-то и дело, что не могу,— подумал я и вслух прибавил:

— Мне бы хотелось еще раз с ним повидаться и побеседовать. Он должен быть добрый старик?

— Прекрасный человек! — с заметным волнением сказала она.

— Жаль, если я его не дождуся. А впрочем, мне торопиться некуда. Не хотите ли со мною чашку чаю выпить?

— Благодарю вас покорно, мы уже чай пили,— проговорила она с едва заметным наклоном головы.

Мне чрезвычайно нравились в этой простой женщине голос ее, ее простая, грациозная манера и самая безукоризненная чистота, начиная с головного платка до башмака. Пока я придумывал средство, как бы ее задержать в комнате, она сложила и положила на стол полотенце, а сама скрылась за занавеску.

Напившись чаю, я вышел на двор полюбоваться весенним апрельским утром, но это утро уже кануло в вечность, а место его заступил апрельский теплый, прекрасный полдень. Я обошел кругом корчму и остановился у изгороди. За изгородью, как и вчера, копали гряды мои знакомки. Я обратился с вопросом к старшей.

— Что, это дочь ваша? — спросил я ее.

— Дочь! — отвечала она, но как-то несмело.

— А как ее зовут?

— Елена.

— Елена,— спросил я девушку,— умеешь ли ты играть на гармонике?

— Нет, не умею,— отвечала она, запинаясь.

— А хочешь, я тебя выучу?

— А где же вы гармонику возьмете?

— Это не твое дело. Ты хочешь ли только учиться?

— Хочу, выучите,— сказала она, краснея.

Я вынес гармонику, и лекция началась. Ученица оказалась весьма понятливою, чему мать ее заметно радовалась.

Мы так прилежно занялись гармоникою, что не заметили, как приехал хозяин домой и как, подходя к нам, крикнул:

— Отака ловысь! Люды добри до плащаныци знаменуются, а воны он що выробляють!

И, подойдя ко мне, взял у меня из рук гармонику, повертел ее в руках и сказал:

— Славна штука! Де вы ии купылы?

— В Орле,— отвечал я.

— И дорога? — спросил он, отдавая мне гармонику.

— Рубль серебра я заплатил.

— Гм... А ну, заграй ты, Олено!

Я подал девушке гармонику, и она взяла на ней несколько аккордов. Старик улыбнулся и, обращаясь ко мне, спросил:

— Чи не продажна у вас оця музыка?

— Продать-то я ее не продам, а когда хочет Елена, так я подарю ее, эту музыку. А ты, старина, коли хочешь, купи у меня ружье.

Старик задумался, а я продолжал:

— Ружье славное, настоящее тульское.

— А на чорта оно мне, ваше тульское ружье, когда я и стрелять не умею?

Я отозвал его в сторону и объяснил, в чем дело. Он выслушал меня, усмехнулся и весело сказал:

— Олено! музыка наша! Несы в хату!

— Только слышите,— прибавил я,— я гармонику дарю, а не продаю.

— Добре, добре! — весело говорил старик.— Про-

сымо мылости в хату. Идите и вы, хозяйки мои нечепурни! — прибавил он, обращаясь к женщинам.

Женщины оставили свои гряды, и мы все гурьбой отправились в хату. Впереди важно выступал наш хозяин. Он был одет уже не по-вчерашнему, в солдатскую шинель, а в синем тонкого сукна жупане, перепоясан красным широким поясом и в черной смушевой высокой шапке. В этом наряде он был похож на старинного малороссийского горожанина или на зажиточного козака.

Мимоходом я шепнул Ермолаю, чтобы он закладывал лошадей, а войдя в хату, я спросил хозяина, застал ли он дома Виктора Александровича. Он отвечал мне, как на самый обыкновенный вопрос, что застал дома и что он собирается к какому-то соседу на праздник.

— Сказано, холостой человек, одинокий, — прибавил он, — то ему и праздник не в праздник. Всего наварено, напечено, наготовлено, а ни с ким сисы пообидать. А вы, добродию, жонати, чи ни? — спросил он меня.

Я отвечал, что нет.

— Женитесь, добродию, непременно женитесь, бо скучно буде старитись одинокому.

Пока мы разговаривали с хозяином, хозяйка накрывала стол, а Елена за занавеской играла на гармонике. Когда уже на стол была поставлена водка и закуска, в это время вошел в комнату Ермолай и сказал, что лошади готовы. Я велел ему принести ружье, а тем временем расспрашивал, как ближе проехать к Виктору Александровичу. Хозяин, рассказавши мне со всеми подробностями дорогу, предложил выпить рюмку водки и закусить на дорогу. Я отказался, ссылаясь на великую субботу, а в сущности потому, что было еще рано. Хозяин отказался от моего ружья и предложил деньги за гармонику. Я, разумеется, тоже отказался. После многих упрашиваний выпить и закусить на дорогу и [уверений], что бог простит дорожному человеку и тому подобное, я, однако ж, не поддался их доводам и простился с ними, как с старыми знакомыми, и поехал искать хутор Виктора Александровича.

Не доезжая версты две до города Глухова, в правой стороне от большой дороги, чернеет небольшая березовая роща, а к этой рощице вьется маленькая дорожка. Эта дорожка привела меня прямо к усадьбе Виктора Александровича.

Усадьба или хутор Виктора Александровича скрывался, как за скромной занавесью, за этой рощицей. Приближаясь к роще, мне послышался какой-то неопределенный шум; шум усиливался по мере моего приближения. Еще немного, и я явственно мог расслышать, что шум этот происходил от каскада падающей воды. И действительно, я не ошибся: между белыми березовыми стволами кое-где просвечивала блестящая вода. Выехавши из рощи, передо мною открылся широкий пруд и плотина, полузакрытая старыми огромными вербами. По ту сторону пруда, почти у самого берега, выглядывали из-за деревьев белые хатки и отражались в воде. Между крестьянскими хатками белела под почерневшей соломенной крышей, с гнездом гайстра, или аиста, большая, о четырех окнах, панская хата, или будынок, а перед нею стоит огромный развесистый вяз. За хутором по косогору раскинулся фруктовый сад, окруженный старыми березами. На самом косогоре, на фоне голубого неба, рисовалась ветряная мельница о шести крылах, а влево от мельницы, за пологой линией косогора, на самом горизонте в фиолетовом тумане едва заметно рисовался город Глухов.

Между вербами вдоль плотины медленно прохаживался сам хозяин этого скромного пейзажа, в смушеском тулупе, крытом серым немецким сукном, подпоясанный красным поясом и в черной смушеской шапке. Увидя мой фургон, выдвигавшийся из рощи, он остановился и, заслонив рукою, как бы козырьком, глаза от солнца, смотрел на мой неуклюжий экипаж.

— Виктор Александрович! — закричал я ему, не показываясь из своей буды.

Он стал всматриваться еще внимательнее.

— Здоровы ли вы, Виктор Александрович? — закричал я ему, всё еще не показываясь.

— Да какая же сатана кричит там и не вылезит на свет божий? — отозвался он, как бы сердясь.

— Это не сатана, а это я, Виктор Александрович, — говорил я, вылезая из телеги.

— Так ты бы так и говорил! А то кричит, кричит, а не показывается, — и мы, обнявшись, поцеловались.

— Ай да молодец! — воскликнул он. — Ай да козак! Спасибо, спасибо! А я уже думал, что ты непременно обманешь. Думал уже было сегодня на ночь пуститься к Семену Максимовичу праздник встречать, а вот ты и приехал. Спасибо, спасибо тебе, теперь не нужно и фрак доставать.

— Ну, как вы поживаете, что поделываете, Виктор Александрович?

— Да что поделываю! Вот другая неделя, как поднял шлюз, да и гуляю день и ночь на гребле, как собака на цепи. Бог его знает, откуда эта вода прибывает? — так и поддает, и поддает! — говорил он и, взявши меня под руку, прибавил: — Ну, теперь просимо до хаты. — А ты, приятель, — сказал он, обращаясь к Ермолаю, — отправляйся прямо на конюшню, спроси там кучера Артема и бери у него всё, чего душа твоя пожелает.

Панская хата, как снаружи, так и внутри, отличалась только своими размерами и ничем больше, да и сам пан, правду сказать, малым чем разнился от своих подданных. Разве только тем, что носил красную шелковую рубашку и черные плисовые шаровары, а по праздникам надевал фрак и ездил обедать к своему церемонному соседу, — больше ничем. Воспитывался он, правда, в Нежинском лицее в одно время с незабвенным нашим Гоголем, потом служил в каких-то гусарах, и служил с таким успехом, что и тени в нем не осталось прежнего воспитания. Он уже лет пять, как оставил службу, но и теперь непрочь был погусарить при удобном случае и жаловался только на упадок физических сил, т. е. на головную боль после попойки. Но это, я думаю, происходило вследствие недостатка практики. Как настоящий бандурист, играл он на бан-

дуре и в часы досуга занимался сочинением чувствительных малороссийских романсов, из числа которых один положен на музыку известным нашим композитором Глинкою. И чтобы сохранить самобытность в литературе, не читал он ровно ничего, кроме басен Федра⁸, переведенных во время оно знаменитым Барковым⁹, да еще кое-когда заглядывал в «Царь, или спасенный Новгород» Хераскова¹⁰. Словом сказать, он совершенно оградил себя от всякого подражания на поприще литературы. Для полноты его характера надо прибавить, что, ведя уединенную жизнь в самых привольных местах для охотника, он был заклятый враг охоты и охотников называл не иначе, как живодерами и псарями.

Приятель мой не отличался изящными манерами и привлекательной наружностью, но в его смуглом, изрытом оспою лице было столько веселого прямодушия, что нельзя было смотреть на него без удовольствия, особенно когда он рассказывал малороссийский анекдот или передразнивал кого-нибудь из своих соседей: самой естественной мимикой владел он в высшей степени.

Был он уже мужчина не первой молодости, но нельзя было назвать его и старым холостяком, хотя он уже и близился к категории сих последних. Он так освоился со своим одиночеством, что о женитьбе и помину не было. На современное воспитание барышень вообще и соседок в особенности он смотрел по-своему, т. е. косо, и, судя по его оригинальному взгляду на предметы, нельзя было предполагать, чтобы он когда-нибудь женился, а вышло иначе: не дальше как через год после моего свидания с ним он женился, и как в литературе, так и в этом деле он поступил самобытно.

Нужно прибавить, что среди своих подданных он был как отец среди семейства: брал от них только то, что ему необходимо было для дневного существования, прихотей же он не знал никаких, и вообще его расходы были чрезвычайно ограничены. С этой стороны он был достоин подражания.

— Бабусю! — крикнул хозяин, войдя в хату.

На зов его вошла опрятная, чистенькая старушка в деревенском платье.

— Самовар, чаю и прочее!.. догадалась?

Старушка кивнула утвердительно головою и вышла из хаты.

— Какой же ты добрый человек, если б ты знал, так просто я и сказать не умею! — говорил он, обнимая и усаживая меня на дубовую широкую лаву, или скамью. — Да этакого другого человека и с фонарем теперь не найдешь. Дать слово и сдержать его? право, не найдешь!

Я молча пожимал ему руку и кивал головою. Пока мы менялись любезностями, а тем временем зашумел самовар на столе и опрятная бабуся вытирала стаканы, а хозяин, оставя меня, принялся раскупоривать бутылку, на ярлыке которой красовались готические буквы, изображавшие слово «коньяк».

— Жаль, что не застал ты здесь стрелкового батальона, — говорил он, ставя на стол раскупоренную бутылку, — на прошлой неделе выступил только. А что за лихие ребята, большею частию шведы. Чудо, что за народ! — воспитанные, образованные, а уж кутнуть или загнуть угол, так просто что твои гусары, особенно поручик Штрем, просто гениальная голова!

Пока он воздавал похвалы поручику Штрему и компании, бабуся налила в стаканы чаю, и мы подсели к столу. После первого стакана чаю Виктор Александрович обратился ко мне и сказал:

— Расскажи же ты мне про свое путешествие. Ведь ты человек наблюдательный, — я думаю, много интересного подметил?

— Самое интересное, — сказал я, — из всего моего путешествия — это ваша корчма около Эсмани, а особенно, корчмарь, ваш поссessor.

— А, это Яким Туман! Так вы таки познакомились с ним?

— Я у него ночевал, да еще и в долг вдобавок.

— Как так в долг?

И я в ответ рассказал ему историю моих финансов.

— Плохо! — сказал он рассеянно и, немного помолчав, сказал:

— А знаете ли, этот старый инвалид, Яким Туман, презамечательный человек и вдобавок оригинал совершенно в малороссийском характере. Он не рассказывал вам про свое знакомство с Блюхером¹¹ или как они через Париж промаршировали?

— Про Париж рассказывал, а про Блюхера нет!

— Как же это так? Верно, жена помешала?

Я подтвердил его догадку.

— И он, верно, назвал ее капитаншею?

— Действительно, так.

— Видишь, как я изучил моего орендара или, как ты говоришь, посессора. Знай же, что под этой грубою корою скрывается самая возвышенная, самая благородная душа! Жена его, которую он шутя называет капитаншею, это его воспитанница с самого нежного детства. Я вам на досуге расскажу эту историю. Он сослуживец и однополчанин моего отца, и покойник мой без сердечного умиления не мог рассказывать его походов. А лучше всего я подарю тебе рукопись, написанную со слов покойного батюшки; там ты не найдешь ни одного слова фантазии, нагая истина. Я думал было напечатать ее, да после раздумал. Пожалуй, еще какой-нибудь барон Брамбеус¹² остриться на мне вздумает или просто назовет ее пустою выдумкой, а это для меня пуще ножа острого. А ты ее, пожалуй, напечатай, только под своим именем, чтобы я был в стороне. Я завтра же тебе ее доставлю, она у меня где-то спрятана. Я сам не помню, надо спросить у бабуся: бабуся у меня всему хозяйка. А дочку его видел? — прибавил он, улыбаясь.

— Видел, — сказал я.

— Что, не правда ли, красавица?

— Действительно, красавица, и хоть она одета покрестьянски, но нисколько не похожа на крестьянку!

— На крестьянку! Гм... она похожа на царевну, а не на крестьянку! А как ты думаешь, — прибавил он, пристально глядя мне в глаза, — можно ли такому важному человеку, как, например, я, назвать ее своею женою, а?

— Почему же и не так,— сказал я,— если она и во всем так прекрасна, как наружностью!

— Решительно во всем,— сказал он восторженно.— Я сердечно рад, что встретил хоть одного человека одних мыслей со мною насчет истинной независимой семейной жизни, а то приличие да приличие, и вся жизнь основана на взаимном обмане, т. е. приличии. Провалились они и со своим приличием! — прибавил он, допивая стакан чаю.

— Одно, что мне в ней показалось странным,— говорил я.

— А что такое?

— А то, что она для корчмы слишком невинна. Она, например, до сегодняшнего дня не знала о существовании гармоника,— настоящая дикарка!

— Вот именно это мне в ней и нравится! Как же это она сегодня сделала такое важное открытие? Уж не с вашей ли помощью?

— Именно с моею. Я подарил ей гармонику.

Он посмотрел на меня исподлобья и, покручивая усы, сказал:

— Чорт вас носит с вашими гармониками, только добрых людей развращаете. Ну, скажи на милость, к лицу ли ей, такой принцессе, твоя глупая гармоника? Ведь она ее обезобразит. Это все равно, что орловскую увесистую бабу посадить за клавикорды¹³ Лихтенталя. Сегодня же отберу и в печку брошу! Бабусю! — крикнул он.

Вошла бабуся.

— Пошлите в корчму Максима, чтобы он принес мне музыку... Или нет, не нужно. Я сам поеду.

И он поспешно надел шапку и, выходя из комнаты, сказал:

— Бабусю! найди та отдай им ту синюю бумагу, помнишь, что я недавно читал Илье Карповичу?

— Помню,— сказала бабуся.— Хорошо, что вы сказали, а то я хотела ее сегодня употребить по хозяйству.

— И хорошо бы сделала. Отдай же теперь им, когда не успела в дело употребить. Прощайте! — сказал

он, обращаясь ко мне, и вышел, порядочно хлопнувши дверью.

Мне было как-то неловко, так неловко, что я думал было позвать Ермолая и велеть вооружать колесницу, но раздумал, потому именно, что не на что было подняться; и волею-неволею я должен был извинить оригинальную и совершенно хуторянскую выходку моего амфитриона, а себя оправдывал я тем, что и не такие выходки нам частенько в жизни приходится извинять, и не только по службе, а так, как говорится, по стесненным обстоятельствам и даже без всяких обстоятельств.

Пока я предавался таким великодушным мыслям, бабуся принесла и положила передо мною на стол довольно объемистый сверток синей бумаги, перевязанный розовой ленточкой, и молча начала убирать со стола стаканы.

Закуривши сигару (я в то время еще курил сигары), я развязал и развернул сверток, сел около стола на лаву, с умыслом не позволяя себе никакого комфорта или просто горизонтального положения, чтобы не сделать в своем роде невежливости и не заснуть перед лицом автора на первой же странице его скромного творения.

Я принялся читать. Заглавие было такое:

КАПИТАНША, ИЛИ ВЕЛИКОДУШНЫЙ СОЛДАТ

РАССКАЗ САМОВИДЦА

Даровавши мир Европе, войска наши маршировали во-свояси; в том числе маршировал и наш удалый пехотный полк N. Полковой адъютант наш был хватище на все руки. Например, наша братия-простота спустила всё немкам да француженкам, иной и родительское благословение хватил по боку сгоряча, а он себе втихомолочку ковал денежку за денежкой, да разные, как мы тогда называли, безделушки собирал, а эти безделушки были не что иное, как редкости: золото и алмаз,— больше ничего.

Между прочими редкостями вывез он на родину и

жокея француза, или, как он еще его называл, пажа. Ну, жокей или паж — это совершенно все равно. Дело только в том, что этот паж был удивительной красоты мальчик и стыдлив, как самая непорочная девица. Звал он его Альфредом или Альбертом, не помню хорошенько, а только знаю, что полковые музыканты называли его Володькой, а за музыкантами, признаться, и наша братия, официю имеющая, тоже его Володькой называла: свое родное, знаете, как-то к сердцу ближе, особенно когда не побываешь на родине годика два-три. Верите ли, когда мы вступили в пределы России, то первый постоянный двор, как он ни грязен, мне показался лучше всякого французского отеля. Всё это, конечно, предрассудок, но как для кого, а для меня самый этот предрассудок имеет свою какую-то прелесть. Адъютант наш жил, как вообще живут скупые, то есть на замке; у него бывали товарищи разве только за делом, и то за весьма важным делом, следовательно, его домашняя жизнь мало кому была видима. Носились, однако ж, слухи, что он вместе с Володькою и чай пьет, и ужинает (он обедал каждый день у полкового командира), но это были пока только слухи. Один-единственный человек, который ежедневно посещал квартиру адъютанта, — это барабанный староста. Он приходил к нему не столько по обязанности, сколько для Володьки.

Барабанный староста этот был природный наш брат хохол и оригинал, какого мне другого и встречать не удавалось. Он вообразил себе, что лучше его не только во всем полку, — во всем корпусе никто французского и немецкого языка не знает, а когда спросишь его, бывало, есть ли какая разница между языками французским и немецким, он пресерьезно ответит:

— Мальность! ежели кто добре знае французский язык, то может говорить и по-немецки.

И этот-то чудак во время похода взялся выучить Володьку русскому языку, — а он столько же знал русский язык, сколько наш хуторянин, не выдавший русской бороды никогда; хотя и квартировал он шесть лет во Владимирской губернии, но это ему мало помогло, — он все-таки остался настоящим хохлом. Если бы Во-

лодька вздумал серьезно от него научиться русскому языку, то был бы похож на того англичанина, которому вздумалось выучиться по-русски говорить, и, чтобы достигнуть скорее своей цели, он поселился на лето в деревне и договорился с попом, чтобы тот его выучил к зиме настоящему коренному русскому языку. Поп его и выучил церковному нашему языку. Англичанин зимою возвращается в столицу и в модном салоне отпустил какое-то бон-мо¹⁴ на церковном языке. Барыни так и покатались со смеху. Англичанин оторопел: он совсем не такого ожидал эффекта от своего бон-мо; переконфузился, бедняк, и не мог понять, что бы это значило, да после уже ему растолковали.

С французиком Володькой могло случиться то же самое, что и с чудачком британцем; однако ж этого не случилось, а случилось вот что. В продолжение похода французик, несмотря на угрюмый и молчаливый нрав барабанщика, так к нему привязался, как только может привязаться дитя к матери. Чудные вещи совершаются в природе. Например, Туман (барабанный староста так прозывался, и мы его так будем называть) был совершенно не в французском характере человек, а полюбился ветреному французу, да еще как полюбился! — просто как родной. Есть что-то тайное, незримое, намекающее нам на наши будущие несчастья, но мы не в силах пони[ма]ть эти немые намеки, а потому и страдаем. Французу тоже его ангелом-хранителем была подказана эта симпатия к человеку простому, грубому, чуждому, казалось, всякого возвышенного чувства, а вышло, что все мы ошибались, а француз угадал.

Володя, или французик, как я сказал, был скромный и даже застенчивый мальчик со всеми, кроме Тумана. А с ним он такие шутки выделявал, как — может, случалось вам видеть играющего молодого котенка со старым котом: что бы ни делал молодой котенок, а старый только глаза жмурит. Так и Туман: что бы ни выделявал с ним Володя, а он только смотрит на него и улыбается. Разве уж он очень ему надоест своими шалостями или просто отдохнуть не дает после ротного ученья и покурить трубочку на свободе, так он поворотится на другой бок и проговорит: — А щоб

ты ёму спряглось...— да, не кончивши нехорошей фразы, остановится, перекрестится и скажет.— Господи, прости мене грешного, оно сирота, да еще и на чужине, а я его лаю.— И, как бы ни уставши был, встанет, пойдет, достанет где-нибудь творогу и прочего и примется вареники лепить для своего Володи, чтобы тем хоть сколько-нибудь загладить вину свою перед ним. Адъютант, хоть видимо и не поощрял, но втайне был доволен взаимною их привязанностью, да иначе и быть не могло. Володька что еще? — почти дитя, да еще между чужими людьми, долго ли избаловаться? — К такому возрасту всё льнет одинаково — и худое, и хорошее, а он был уверен, что от Тумана он не выучится ничему худому, потому что Туман во всем полку слыл за человека самого аккуратного и самого честного. А что он угрюмый, так это ничего: иной и ласково смотрит, а кусает, как гиена.

Вступивши в пределы нашего возлюбленного отчества, остановились мы на зимние квартиры. Володя начал скучать и как-то чудно переменялся в лице. А что еще чуднее, так это то, что он своего широкого плаща никогда не снимал, так и спал в плаще. Уже не играл, как котенок, со своим угрюмым другом; а упадет к нему на грудь да так и обольет ее слезами. Туман хотя всячески баловал и старался его развеселить, но мало успевал. Мы думали сначала, что это просто тоска по родине и больше ничего, со временем пройдет, а вышло иначе. Адъютант, взявши отпуск, уехал с родными повидаться, а Володе нанял в местечке у жида квартиру и оставил его на попечение барабанного старосты. Мы этому тоже не могли удивиться. Отчего бы не взять мальчика с собою? Он все-таки бы немного порассеялся. Но мы это приписали его скуности, больше ничему.

Не знаю почему, но французенок этот нас всех интересовал, в особенности меня. В [нем] было что-то привлекательное, симпатическое. И когда он остался без своего патрона и не показывался на улице, то я как будто что-то потерял и всякий раз, когда увижу Тумана, спрашивал о французе. Туман сначала отвечал мне, что Володя скучает, а потом начал отвечать, что

Володя нездужает. Много раз подмывало меня зайти проведать Володю да поговорить с ним о его родном Париже: может быть, ему и легче бы стало, так что ж вы будете делать с глупою фанабериєю? Как, дескать, я, будучи офицером, пойду с визитом к какому-нибудь, положим себе, хоть и французу, а все-таки лакею?! О воспитание! С отъявленным чиновным [мерзавцем] мы приветливо раскланяемся на улице, принимаем у себя в доме с самою обязательно улыбкою, предлагаем стул и первое место за семейным столом и не боимся, что эта ядовитая тварь своим дыханием заразит детей наших. А повстречайся с нами на улице простой человек, нечиновный, который своим бескорыстием и прямою, быть может, нам же оказывал услуги, да мы на него и не взглянем, а если и взглянем, то так благосклонно, что лучше б и не взглядывали. И это у нас называется приличие! Мерзость, ничего больше! Мы хуже браминов¹⁵. Тот, по крайней мере, издыхать будет, а у парии¹⁶ воды не попросит, чтобы не быть ему ничем обязану. А мы?.. Впрочем, на эту тему целые тома написано, так не лучше ли оставить, потому что я ничего нового сказать не умею, да и замечено не раз, что великие теоретики не всегда бывают такие же и практики; я это говорю в отношении филантропов и моралистов. Чтобы не попасть в эту же категорию, то я возвращаюсь к французику Володе.

Прошло месяца два после отъезда адъютанта. Он в полку не имел никого близкого или приятеля, следовательно, мы об нем никаких известий не имели. Квартировал я вместе с нашим штаб-лекарем, и сидим себе вдвоем ввечеру да читаем какую-то французскую книгу,— не помню, какую именно,— только денщик докладывает, что барабанный староста просит позволения войти.

— Позови,— говорю.

Туман вошел бледный и перепуганный.

— Что скажешь, Туман? — спросил я.

— К их высокоблагородию.

— Что же тебе нужно? — спросил лекарь.

— Володька умирает, ваше высокоблагородие. По-

могите! Только это не Володька, ваше высокоблагородие, а женщина.

— Как женщина? — спросили мы в один голос.

— Так, просто женщина, и теперь страдает родами.

Лекарь наскоро оделся и ушел вслед за Туманом. Долго он не возвращался, или это, быть может, так мне показалось, потому что я его с нетерпением ожидал. Наконец, он пришел.

— Ну, что? — спросил я его.

— Ничего, разрешилась, — отвечал он. — Младенец здоров, будет жив, а она, бедная, сильно пострадала, едва ли выдержит.

Поутру пришел Туман и объявил нам, что она умерла вскоре после ухода их высокоблагородия.

Дали знать о случившемся полковому командиру. Тот велел на другой день похоронить ее и предать это дело забвению. Полковница хотела было взять дитя на воспитание, но Туман не уступил. Он говорил, что он перед богом будет отвечать за это дитя, что она когда умирала, то целовала его руки и всё на дитя показывала, т. е. просила его, чтобы не покидать ее дитя. — И я не должен покидать его, — говорил он. И так сделал. Он с помощью фактора в тот же день нашел кормилицу, передал ей ребенка и заплатил деньги.

Хотелось нам узнать, кто такая была покойница, но ничего не узнали: бумаг совершенно никаких при ней не оказалось. Должно быть, или какая-нибудь кочующая актриса, или просто из модного магазина субретка¹⁷, бог ее знает.

Теперь, я думаю, не совсем еще поздно будет познакомить вас покороче с моим неуклюжим героем. Но лучше поздно, нежели никогда, — говорит мудрая пословица.

В 1809 году запасные войска наши были расположены частью в Бессарабии, частью в Херсонской губернии, в том числе и наш полк. Я тогда только что кончил курс наук в шляхетном кадетском корпусе¹⁸, как меня, едва обмундировать успели, послали в действующую армию, т. е. в запасные войска. Прибыл я в

полк, поступил в роту. Ротный командир и поручил мне, между прочими занятиями, только что прибывших в роту с полсотни рекрут обучить фронту. В числе рекрут был и А[ким] Туман.

Едва ли самая упрямая цыганская кляча перенесла столько побоев, сколько этот бедный рекрут, а дело вперед не подвигалось ни на шаг. Наука парню не далась. Шесть месяцев прошло, а он как ни в чем не бывало. А собою он был видный, здоровый, молодой, без всякого качества, как говаривал капрал, только с норовом. А правду сказать, так мы сами сноровки не знали, как обращаться с рекрутами, особенно с моими земляками. Владиславлев¹⁹ в то время не издавал еще памятной книжки для штаб- и обер-офицеров, в которой помещено весьма дельное наставление доктора Н. на этот предмет. Вскоре был заключен с турками мир, и нашему полку приказано было двинуться вовнутрь России. Итак, мы на Тумане только напрасно хворост переломали. Наша рота двигалась вместе с полковым штабом, следовательно, и с полковой музыкой. Походом наш недобитый рекрут познакомился с барабанщиком; тот и давай ему на дняхках открывать тайнства своего искусства. Что же вы думаете? Не дошли мы еще до назначенного нам места, как наш Туман, или, как солдаты его называли, медведь, выбивал на барабана зорю, да так искусно, что сам учитель завидовал. Ротный командир видит, что медведь не совсем бестолков, предложил ему быть форменным барабанщиком. Туман охотно согласился и с таким жаром и, можно сказать, увлечением предался своему любимому искусству, что когда под Бородиным убили у нас барабанного старосту, то он занял его место. Что значит призвание! Уразумей мы в нем это призвание с самого начала, и фура хворосту не пропала бы даром.

Последующие события в служебной и частной жизни моего героя не так примечательны, чтобы их стоило описывать. Разве только, если верить его собственным словам, рассказать о том, как он познакомился с Блюхером, и как он ему по-немецки предлагал стакан шнапсу, и как Туман по-немецки же от шнапсу от-

казался и попросил у его высокопревосходительства стакан вейну, в чем, разумеется, ему и не было отказано. Принимая в соображение характер знаменитого полководца, всё это могло случиться так, как рассказывает Туман; но я как не был свидетелем этой сцены, то и не ручаюсь за истину этого курьезного происшествия.

Святое времячко было для нашего брата военного человека! Бывало, как поставят полк на зимние квартиры, так тут он и корни пустит. Зим десять с места не сойдет, так что наша братия наполовину переженится. Что я говорю, наполовину? — все переженятся, если только невест в околотке хватит. Да, в то время невесты не засиживались, как теперь. Да что теперь? Не успеет полк, как говорится, места нагреть, глядь, его турнули на другой конец России, — какая тут женьтиба! Дай бог хоть познакомиться как-нибудь! А солдат? Просто блаженствовал. Иной ловкий парень так сживется с хозяевами, что просто делается членом семейства, если не больше. Одно только, что было больно не по нутру нашим солдатам, — это форма, т. е. обмундирование. И действительно, страшно было смотреть, когда его, бедного, одевают в полную боевую амуницию. Два одевают третьего, а когда оденут и поставят на ноги, так уж и стой. А уж если, боже сохрани, споткнулся да упал, так уж так и лежи: сам не встанет, — нужно опять два человека, чтобы поставить его на ноги. А ко всему этому прибавьте белого сукна шинели. Это такая была обуза для солдата, что он, бедный, не знал, что с нею делать: вместо того чтобы защититься от непогоды шинелью, он должен ее защищать. В настоящее время русский солдат в отношении обмундировки просто богдыхан китайский. Мундир только его немножко безобразит. Ну, да и этот недостаток со временем заменят чем-нибудь поблагористойнее.

Кто про что, а солдат про амуничку. Так и я, — увлекся крагами да кутасами, а о главном-то и забыл. Вот как было.

По обычаю того времени полк наш прозимовал в одних и тех же квартирах восемь зим с лишком. Ва-

рочка (так называл Туман свою воспитанницу) росла не по дням, а по часам. И что это за прелестное дитя было! Просто совершенство детской красоты. Вот уж я пятый десяток коротаю, а не видал еще другого такого очаровательного дитяти. И ко всему этому — тихое, скромное, совершенный ангел небесный. Оно если и позволяло себе иногда детскую резвость, так только с одним своим татом (так называла она угрюмого Тумана). И самая нежная мать не может ласковее улыбаться своему дитяти, как угрюмый Туман улыбался, лаская свою кудрявую Варочку. Мне часто случалось его видеть, сидящего под хатой на завалине и ласкающего на коленях свою Варочку. Мне всегда эта сцена напоминала прекрасную гравюру, изображающую усатого рыцаря в кольчуге с прекрасным младенцем на руках. Дитя треплет его за усы, а он ему ласково улыбается. Точь-в-точь Туман со своею Варочкою. Счастливый Туман! А правду сказать, он вполне заслуживал этого счастья.

Взявши на свое попечение дитя, он начал с того, что перестал курить трубку и пить водку. Хотя он не был никогда записным пьяницей, но при случае от добрых людей не отставал. Отказавшись от единственных прелестей солдата, он все-таки немного уэкономил для своей Варочки. Простыми ломовыми трудами в жидовском местечке не много возьмешь, — нужно было подумать о каком-нибудь ремесле. Вот он, понадумавшись хорошенько, принялся сапоги тачать. Тачает он их год, другой, а на третий приносит он мне показать опойковые сапоги собственного изделия, да какие сапоги, я вам скажу! Хоть столичному мастеру, так в нос бросится. Я, признаться, не поверил его досужеству и велел ему сделать для себя сапоги; он и сделал. Посмотрю, — еще лучше: на ноге сидит просто как вылитый сапог. Я рекомендовал его товарищам. Туман ретиво принялся работать, и не прошло году, как Туман уже работал на всех офицеров в полку и даже на самого бригадира, который, как известно, всё еще щеголял в парижских сапогах и думал уже было заказывать в Варшаве. Так вот какой из неуклюжего и, как думали, глуповатого Тумана вышел мастер! Прав-

да, что редко встречаются в русском человеке две эти добродетели, т. е. и мастерство, и трезвость, однако ж встречаются, и вот вам доказательство — Туман. Зато он жил, как и иному офицеру дай бог так жить: квартира у него лучше квартиры офицерской (он нанимал у шляхтича отдельную хатку в саду; не помню, что платил). Нянька у него нанятая опрятная старушка, тоже чуть-чуть ли не шляхтянка. Себе он только и отказывал в вине и в трубке, а больше ни в чем. А про Варочку и говорить нечего: выбежит, бывало, на улицу, что твоя куколка разрисованная. Куда шляхетские дети! — просто замарашки перед ней. А сам Туман так только и показывался на ученье, нигде больше его не увидишь: сидит себе и день и ночь за своими сапогами да песенки попевает.

Человек трудолюбивый, по-моему, самый счастливый человек на свете, особенно если труд его имеет такую возвышенную, такую благородную цель, как труд этого простого, этого безграмотного человека. Завидую и всегда буду завидовать тебе, счастливый благородный труженик!

Старушка, Варочкина нянька, между прочими добродетелями, была еще и грамотная, по-польски, разумеется, почему я и заключаю, что она должна быть шляхетского рода. И когда Варочке пошел пятый или шестой год, — не помню хорошенько, помню только, что она уже говорила чисто и внятно и еще немножко картавила, что выговору ее придавало особенную прелесть, — старушка нянька на досуге принялась показывать грамоту Варочке. Туману понравилось, что Варочка его будет читать, да еще и по-польски, и удовольствие свое он выразил тем, что на первой в местечке ярманке купил шерстяной какой-то темного цвета платок, тулуп и козловые сапоги, да сверх этого подарил ей полкарбованца. Старушка была в восторге, и благодарностям конца не было. Сначала Туман было подумал, к чему ей грамота? что она за панна такая, но, посмотревши на дитя, нашел, что она действительно панна, и, махнувши рукой, сказал:

— Нехай соби учиться, — умитыме до ладу хоть богу помолыться.

А так как простодушный Туман не находил большой разницы между языками немецким и французским, то так само и между грамотой польской и русской: все равно, абы читала!

Однажды,— это уже было вскоре перед нашим выходом из благословенного местечка,— иду я по улице мимо квартиры Тумана и вижу: Туман сидит под хаткою на завалине в своем пестром мундире и с барабаном между колен (должно быть, только что пришел с ученья). Перед ним стоит Варочка и просит у него барабанные палки. Он ей подал, она взяла палки да как приударит поход, так что твой барабанщик! Я просто удивился: настоящая *Córka Regimentu*²⁰, что в прошлом лете в Ромнах польские актеры представляли. Но нужно было видеть самого Тумана: ни один, я думаю, любитель музыки не слушал с такою любовью симфонию Бетховена, с какою он слушал и любовался своей Варочкой.

Это мне напомнило другой эстамп такой самой величины,— да чуть ли и не одного мастера,— на котором изображен был рыцарь, тоже в кольчуге, обучающий мальчика бить на барабане. Только переменить костюм — и будет та самая картина.

Варочке уже минуло восемь лет, когда нашему полку приказано было двинуться по смоленской дороге. Туман как бы предвидел эту катастрофу, обзавелся лошадей и повозкой, так что, когда приказали выступить в поход, наша братия втридорога платила за паршивую лошаденку, и то трудно было достать, а Туман только улыбается, глядя на запыхавшихся факторов и на наши сборы. Кое-как мы собрались, и в одно прекрасное утро полковой штаб и моя рота выступили из благодатного местечка. Проводы были пышные. Да и как не быть им пышными? Простоявши столько времени на одном месте, многие солдатики не только коханками,— детками обзавелись. Ну, да это картина не в моем вкусе, и я не буду описывать вам ни слез, ни рыданий, ни судорожных объятий. Скажу только, что первый переход наш длился целый день и половина моей удалой роты ночевала на дороге.

Мы двигались той самой дорогой, по которой так

недавно промчался гений войны²¹ со всеми ужасами. В городах, особенно в Борисове и Красном, были видны еще следы войны, а в селах как будто ничего не бывало. Только и следу, что у мужичков в банях на каменках заменен был булыжник чугунными ядрами. В одном Смоленске оставались еще целые улицы в развалинах, а собор уже возобновлялся.

В Смоленске скупился наш полк, и после инспекторского смотра распустили нас на зимние квартиры. Так как я командовал гренадерскою ротою, то вместе с полковым штабом остался в Смоленске, а прочие роты расположились в окрестных селах. Туман со своею Варочкою тоже оставался в Смоленске.

Несмотря на то, что половина города была еще в развалинах, дворянства к зиме съехалось много, и мы на развалинах древнего Смоленска зиму провели шумно и весело. Маменьки, вероятно, рассчитывая на полковую холостежь, навезли невест, да прехорошеньких. Но увы! решительно некому было сватать: наша молодежь, как и прежде еще я имел честь докладывать, вся переженилась. Признаюсь, грешный человек, меня самого тогда подмывало повторить узы Гименя²², да жаль стало Викторика, а ему в ту зиму только пошел четвертый годочек, а в этом возрасте для дитяти, я по себе знаю, что значит самая лучшая мате́ха, а если, боже сохрани, навяжется сатана в виде ангела неземного, тогда что делать? Итак, я подумал, подумал да и рукой махнул. После я слышал, что предмет моих воздыханий сочетался браком с каким-то безногим богачом Энгельгардтом, и через год он уехал за границу, а она за другую. Я только богу помолился, когда услышал такую интересную новость.

Квартиру я в полуразрушенном Смоленске успел захватить порядочную и недорогую. Была одна комната совершенно лишняя, я и предложил ее Туману с тем, чтобы он, как человек трезвый и аккуратный, присматривал за моим мизерным хозяйством; да и Варочке его будет веселее, и Викторик мой без меня скучать не будет. Нянька и гувернантка у меня была прекрасная и грамотная женщина, и Варочка в продолжение зимы шутя выучилась русской грамоте, да

и Викторика моего выучила азбучке. В великом посту он уже пребойко читал по верхам, а Варочка каждый божий день поутру и ввечеру читала вслух, в присутствии всех, утренние и вечерние молитвы. Счастливый Туман плакал от умиления, слушая, как его Варочка читает такие прекрасные молитвы, о которых он, человек темный, прежде и понятия не имел; особенно, когда начнет она читать «Помилуй мя, боже» и дойдет до стиха «Сердце чисто созижди во мне, боже», он положит земной поклон и сквозь слезы поцелует в темя свою умную Варочку. Зато нянька моя уже не нуждалась в башмаках, у нее всегда в запасе было пар шесть лишних,— на случай походу,— как говорил Туман. А Викторик мой каждое воскресенье щеголял в новых сапогах. Я скажу ему, бывало:— Зачем ты ему, Туман, так часто сапоги переменяешь?— Рoste, ваше благородие, то и переменяю.— Добряк уверял меня, что ребенок может так вырасти в продолжение недели, что ему необходимо сапоги переменять. Я раз было попробовал взять какой-то материи на платьице для Варочки, да и сам не рад был: Туман мой как расхотелся, что чуть было с квартиры не сошел, на силу уломал я его,— такой чудак! — Обижаете,— говорит,— ваше благородие,— да и баста.— У вас,— говорит,— у самих рoste дытына; а вы на чужих дитей тратытесь. Я человек рукотесленный, у мене завсегда буде, а вы де возьмете, як бог не даст здоровья? Хорошо еще, як пенсии дослужитесь, а то и так выпустять.

В продолжение зимы я коротко узнал этого простого, благородного и в высшей степени бескорыстного человека.

Весною выступили мы из Смоленска по московской дороге. За обозом моим и за людьми я поручил надзирать Туману и был совершенно спокоен. В походе всяко случается. Не везде для тебя всё приготовлено, иной раз и натошак заснешь, что станешь делать? Но в этом походе я был как у бога за пазухой. Бывало, не успеем прийти на место, у Тумана уже всё готово: и для меня, и для детей квартира, и самовар кипит, и ужин готовится, и лошадям всего вволю. И

бог его знает, как это он всё успевал! А с мужичками, несмотря на свое хохлацкое произношение, никто лучше его ладить не умел. Удивительный человек!

В Москве скупилась вся наша дивизия, и бывший тогда еще корпусный наш командир, покойник Сакен, после инспекторского смотра отдал приказ по корпусу, чтобы всех неграмотных унтер-офицеров обратить в рядовые. Не знаю, что ему вздумалось, покойнику? Из этого вышла такая безладица в ротах, что и боже упаси. Особенно нам, ротным командирам, наделал он хлопот своим приказом. Безграмотных унтер-офицеров, действительно, было много, но зато это были люди самые расторопные и трезвые, — две ничем незаменимые добродетели солдата. Так этаких-то людей мы должны были заместить грамотными пьяницами и ворами. Тут-то я только узнал, что значит так называемый грамотный русский человек. Эти грамотеи попадают в солдаты большею частью из помещичьих сельских писарей. Мужички наши недаром говорят: «Не буде добра и правды на земли, поки пысьменным очи не повылазять». — Только вследствие глубокого презрения к этим грамотеям могла родиться подобная поговорка. Что бы подумал про моих земляков великий ревнитель народного образования Ланкастер²³, когда бы он знал, что у них существует такая варварская поговорка? Подумал бы, что земляки мои не люди, а пародия на людей, и был бы несправедлив. Общая грамотность в народе — величайшее добро, но где на 100 — один грамотный, — величайшее зло. Я ничего не знаю безнравственнее и отвратительнее сельского писаря: он первый грабитель бедного мужика, лентяй, пьяница, сосуд всех мерзостей и первый развратитель простодушного мужичка, потому что он святое письмо читает.

Покойный Основьяненко в своем «Шельменке — волостном писаре» только легкий очерк набросал этого отвратительного типа. И этакими-то грамотеями снабжают помещики нашу славную армию! И, наверное, покойник Сакен не отдал бы такого приказа, если бы он хоть неделю побыл экономом в помещичьем селе.

Со званием барабанного старосты Туман соединял

и скромное звание унтер-офицера, гордился и дорожил этим званием, как собственной личною заслугою. Но увы! как человек неграмотный, должен был спороть только что купленные в Москве дорогие не мишурные, а настоящие серебряные галуны. И их пришлось спороть и бросить в помойную яму, так, ни за что спороть, потому только, что он неграмотный, разбойник. Глубоко было задето самолюбие бедного Тумана. Как развенчаный Наполеон, ходил он молча несколько дней, не принимая пищи.

Нашему полку назначена была квартира в Муроме, и мы собирались в поход. Я просил его принять снова команду над моим мизерным хозяйством.

— Возьми себе ундера, — сказал он, едва удерживая слезы, — а то рядовой вас дорогою обкраде.

Я сам чуть не заплакал и не в силах был повторить моей просьбы. Отпуская его, я был так неосторожен, что предложил ему синенькую на водку. Зарыдал он, бедняк, плюнул на мою ассигнацию и вышел из комнаты. На другой день привели его из Арбатской части в полковой штаб едва-едва движущегося. Когда спросили его, где он пропадал, он только мог выговорить: — Водки! а то здохну! — Дали ему стакан водки и заперли в пустую комнату. Я испугался за него, но, слава богу, мой страх был напрасен: Туман благополучно отрезвился и больше не повторял утехи в горе; только до самого Мурома шел он молча, как помешанный. В Муроме вдруг Туман пропал. Я спрашиваю, — где он? — говорят, в госпитале. Я пошел навещать его. Прихожу, отворяю дверь в палату, — и что же? Вот уж такой гравюры я не видал, да, я думаю, такой картины и на свете нет. Самому великому художнику не представлялось такое прекрасное и оригинальное видение: на койке, в лазаретном халате и колпаке, сидит Туман, а на коленях у него сидит Варочка с азбучкою в руках и складывает вслух тмама, а за нею тихонько басом повторяет Туман. Увидя меня, он смешался и, вставши, ответил на мое приветствие и прибавил, краснея:

— Варочка оце мени «Помилуй мя, боже» читала.

— Вот уж и «Помилуй мя, боже!» — сказала Ва-

рочка наивно.— Вы еще и склады бог знает как читаете!

— Цыть, дурне! — сказал торопливо Туман, дергая ее за рукав.

Варочка сконфузилась, взглянула на меня, потом на него и с упреком сказала:

— Разве я неправду говорю? Думала завтра а з а н г е л показать, а теперь и послезавтра не покажу, просидите вы у меня всю неделю на т м е - м н е.

И с последним словом выбежала из палаты. Туман посмотрел ей вслед и с досадой проговорил:

— От тоби на! — а обратясь ко мне, прибавил: — Воно бреше, ваше благородие!

Я видел ясно, что оно не бреше, но показал вид, что я не догадываюсь, в чем дело, и спросил его:

— Что, она постоянно при тебе находится?

— Нету, ваше благородие, у фельдшарши находится, а до мене забижить на яку минуту, та й знову до фельдшарши. Таке непосыдяще! — прибавил он, опуская глаза.

— Клевещешь! клеветешь, Туман! Я знаю, что ты делаешь, да зачем же от меня скрывать? Разве худое дело учиться грамоте?

Туман с удивлением посмотрел на меня и, помолчавши, сказал:

— Худое, ваше благородие, очень худое! Скажите, чи бачилы вы, щоб дытя, блазень, учило старого чоловіка?

И бедняк почти заплакал, а спустя минуту стал меня просить, чтобы я никому не говорил о его грамоте. Я дал ему слово молчать, предложил ему денег, но он сказал, что у него свои еще тянутся. Простившись и пожелав ему успеха, я вышел из палаты.

— Алмаз, а не человек, — думал я и не жалел даже, что этот алмаз в коре, — так он мне нравился в своем естественном виде. Хотел было я сделать сравнение с «Червонцем» Крылова, да раздумал: такие натуры, как Туман, едва ли в состоянии переродиться, т. е. переобразоваться.

Штаб-лекарь наш подсмотрел тайну Тумана и не выписывал его из госпиталя, пока он сам не просился.

Через месяц является ко мне Туман с улыбающимся лицом (что было ему совсем не к лицу) и с азбучкою за обшлагом и просит меня, чтобы я послушал, как он читает. Я послушал его: изрядно читает и заповеди, и всё, что есть в букваре. Я подал ему устав о гарнизонной службе, он и устав читает. Я в тот же день отрекомендовал его адъютанту, а он бригадиру, и через месяц Туман нашёл снова свои московские дорогие галуны, переселился ко мне на квартиру и снова принял в свои руки мое хозяйство.

Случилось так, что в тот самый [день], когда Туман торжественно нашивал свои нефальшивые галуны, и мне вышло повышение: я произведен был в майоры, а командиру первого батальона вышла отставка; я и должен был принять от него батальон. Хотя я попрежнему остался одиноким, но хозяйство мое поневоле должно было увеличиться. И такой человек, как Туман, был для меня необходим, а тем более, что Викторика своего отправил я в Нежин к сестрице, чтобы она приготавливала его для лица. Следовательно, и Варочка, как дитя, для меня тоже была необходима, потому что я без Викторика страшно скучал, и она, точно ангел божий, явилась в моем доме.

Да, не обвиняясь, можно было уподобить ее ангелу божию. Такой красоты неописанной я уже не увижу более! А кротость! Истинно ангельская кротость! Ей уже было лет одиннадцать с небольшим, и она мне чрезвычайно живо напоминала покойного Володьку, т. е. свою несчастную мать. Улыбка, голос, глаза — всё было как у бедной матери. Только у Варочки всё это было смягчено кротостью и непорочностью. Хотелось мне ее приохотить к книгам, но для ее возраста в то время какие можно было книги достать! Издавался в то время журнал под названием «Благонамеренный»²⁴. Я прочитал в «Московских ведомостях»²⁵ объявление и, увлекшись таким благородным названием, и выписал его собственно для Варочки, да как прочитал первую книжечку, так остальные уже и не разрезывал, — так их у меня в ларе и мыши съели.

Во время пребывания Тумана в госпитале Варочка подружилась с фельдшершею и теперь почти ежедневно

ее посещала. Мне эти визиты были не по сердцу, и я несколько раз говорил Туману, что эта дружба до добра не доведет, но он, бог его знает почему, не обращал на мои слова внимания. Я прибегнул было к хитрости, т. е. приохотить ее к чтению и тем заставить ее сидеть дома, но хитрость моя не удалась. А Варочка тем временем росла и хорошела.

На третьем или четвертом году нашей благополучной стоянки в городе Муроме переведен был в наш полк, за какие-то проказы, капитан гвардии N.N., лет двадцати пяти, красавец собою, богач и самой благородной, аристократической фамилии, человек образованный, деликатный и самый беспардонный кутила, а в то время это была не последняя добродетель, и Давыдов²⁶ несправедлив, приписывая эту благородную страсть одним гусарам,—наша братия, пехотинцы, нисколько им не уступали.

Молодое офицерство наше всё так к нему и прильнуло. А про барышень и говорить нечего: все, сколько их было в Муроме и около Мурома, все разом влюбились. Ну, положим так, их дело молодое, неопытное, им простительно, а то барыни, матери взрослых детей, туда же сунулись соперничать со своими дочерьми! Господи! какую страшную силу имеет золото над сердцем человека! А к тому еще он хорошо говорил по-французски, читал наизусть и даже пел некоторые такие песни Беранже²⁷, что порядочный француз постыдится петь их в холостой пьяной компании, а он, молодец, пел их в муромских гостиных, и нежному полу так нравились эти недвусмысленные песни, что их наизусть выучивали и в тени сирени, под аккомпанемент гитары и соловья, певали их безбожно уныло. Простодушные, они и не подозревали, что они пели. Они думали, что ангелы, если разговаривают между собою, то непременно на французском языке и поют такие же песни, как и предмет их нежной страсти.

Вскоре после появления этого хвата барыни и барышни, если обращались к кому с вопросом, то вместо имени и отчества произносили «мсью», и это было так обще, что свежий человек непременно подумал бы,

что всё муромское народонаселение говорит по-французски.

Вот когда открывался случай благоприятный блеснуть Туману своим познанием французского языка. Но увы! он бедный плебей, а то аристократия! да еще какая аристократия — уездная! А это, я думаю, всем известно, что английская аристократия самая гордая и щекотливая, но в сравнении с нашей уездной она ничего не значит. Хотя французские пленные солдаты часто попадали в ее недоступный [круг], но то французские, — дело совсем другого рода.

Одна хорошая моя знакомая, женщина уже не первой молодости, примерная, можно сказать, жена и примерная мать семейства, — по образованию она была немногим выше своих согражданок, но здравого практического смысла и безо всякого жеманства, что мне в ней особенно нравилось, — однажды она стала мне описывать добродетели и образованность нашего гвардейца. Я, слушая ее, думал, что она шутит, — слушал ее и молча улыбался, но она, не обращая внимания на мои улыбки, увлеклася так панегириком, что начала выхвалять глубокие его познания в русской истории. Я тогда и рукой махнул. Ну, статочное ли дело, чтобы русский барич того времени, да еще и гвардеец, знал что-нибудь, кроме французского языка? А то еще и отечественную историю! Карамзин тогда начал издавать свою знаменитую историю, так он, вероятно, слышал о ней в столице, да и пустил в ход свои познания между непорочными муромками. Бедные муромки! И еще беднейшие муромцы!

Когда женщина, которая почиталась образцом ума и семейных добродетелей, и та увлеклася удалым капитаном, какое же влияние он имел на обыкновенные умы и добродетели? Влияние сильное, до того сильное, что не прошло году, как мужья молодых жен и отцы молодых дочерей почти начали убеждаться в сильном влиянии капитана на их жен и дочерей. И когда полку нашему назначен был поход в Москву по случаю коронации, то отцы и мужья перекрестились и свободно вздохнули, а жены и дочери зарыдали.

И горькие рыдания, и свободные вздохи остались

напрасными: капитан заболел и до выздоровления остался в Муроме.

Каков же был ужас маменек и их милых дочерей, метивших на капитана, как на самую выгодную партию, когда к нему (в отсутствие наше) приехали жена и теща и застали его не на одре болезни, а в кругу собутыльников. Теща начала было ему приличную случаю проповедь, но он ее остановил такими словами:

— Вы, кажется, умная женщина, а такие глупые вещи говорите. Ведь вы видели, вы знали, кому вы отдавали свою единственную дочь,— так о чем же вы мне теперь толкуете?

Старушка посмотрела на него, заплакала и, взявши свою единственную дочь, отправилась во-свояси, а он, хохоча, кричал им вслед:

— Куда торопитесь? Не угодно ли со мною пообедать?

Каков молодец!

Несмотря, однако ж, на всё это, влияние его на нежный пол продолжалось, так что бедные мужья и отцы не видели других средств избавиться от опасного капитана, как написать просьбу государю от лица всего конклава²⁸ и слезно просить, чтобы за примерные добродетели капитана перевел бы его снова в гвардию. Не знаю, по их ли просьбе или по чьей другой, только он, проживши еще два года, был переведен,— только не в гвардию, а в город Вологду под надзор полиции. А в продолжение этих двух лет он разыграл еще с десяток слезных мелодрам и последнюю, самую патетическую, содержания следующего.

Выходя в Москву, вагенбург²⁹ и прочие полковые тяжести нам приказано было оставить в Муроме, из чего и следовало заключить, что мы вскоре возвратимся на прежние квартиры. Офицеры, которые имели порядочные квартиры, оставили [их] за собою; я и свою квартиру тоже за собой оставил, а при ней мебель и прочую громоздкую мизерию. Полковой командир, спасибо ему, уважил мою просьбу и отдал в мое полное распоряжение Тумана, а я Туману отдал в полное распоряжение свою квартиру и всё к ней принадлежащее. Прощаясь с ним, я наказывал ему пуще своих

глаз беречь Варочку и как можно реже позволять ей посещать фельдшершу.— Потому,— говорю,— что ты сам знаешь, что за зверь остается в городе. Неравно как-нибудь она ему на глаза попадетя,— тогда она пропала.

— Бога гневите, ваше высокоблагородие! — сказал он.— Воно ще дытына!

Я замолчал, зная по опыту, что никакие доказательства не в состоянии поколебать упрямого земляка моего. А заметьте, что этой дытыне миная уже пятнадцатый год.

Сходили мы в Москву и возвратилися назад благополучно. В Муроме тоже всё по-старому; квартиру я свою и прочее добро нашел в отличнейшем порядке, иначе и быть не могло. Варочка встретила меня с самой детской непритворной радостью, а Туман, отрапортовавши мне о благополучии, благодарил меня, что я его оставил в Муроме, потому, говорит, что он в продолжение этого времени, кроме того, [что] выучился выводить все цифры на бумаге, да еще зашиб препорядочную копейку: весь город наделил сапогами, а последний весь почти месяц работал на одного капитана.

— Ну, начало сделано! — подумал я.

— Не приходил ли он к тебе иногда сапоги примеривать? — спросил я.

— Приходил, ваше высокоблагородие, раз несколько приходил.

— Плохо, — подумал я и отпустил простодушного добряка, не сказавши ему первый раз ни слова.

На другой день спросил я его, кто рекомендовал его капитану? Туман немножко замаялся и сказал:

— Признаться сказать, ваше высокоблагородие, фельдшарша.

— А что я тебе говорил, выходя в Москву, а? — спросил я.

— Помню, ваше высокоблагородие.

— Нет, не помнишь, забыл. Припомни и подумай хорошенько, что из всего этого может выйти. А что, он видел у тебя Варочку?

— Видел, ваше высокоблагородие.

— И говорил с нею?

— И говорил, ваше высокоблагородие.

— И за сапоги платил не торговавшись?

— Не торговавшись, ваше высокоблагородие, даже вперед сколько угодно денег предлагал, только я не брал,— не треба було.

— Видишь, Туман, как я все знаю. Слушай же: с сегодняшнего дня, боже тебя сохрани, если ты пустишь хоть за ворота без себя Варочку,— прощайся с нею навеки! Слышишь?

— Слушаю, ваше высокоблагородие!

— То-то же, слушай и не забывай! А то и тебя и меня с тобою бог накажет за наше нерадение. За чужое дитя мы больше отвечаем перед людьми и перед богом! Ступай себе, Туман, за своим делом,— сказал я в заключение своей проповеди.

— Спасыби за науку, ваше высокоблагородие,— сказал растроганный Туман и вышел.

После этого он каждое утро, рапортуя мне о благополучии по хозяйству, рапортовал также и о похождениях своих с Варочкою. Похождения их — и то раз или два раза в неделю,— на берег Оки, к рыбакам, или так просто для проходки и иногда к фельдшерше на чашку чаю,— тем и ограничивались их похождения. Да еще раз в неделю, т. е. каждое воскресенье, ходили они к обедне в церковь святых угодников.

А в городе между тем, т. е. в кругу дворян и даже в мирном кругу купеческом, история за историей повторялась, и самого скандального содержания, а главным действующим лицом всех этих новелл был, разумеется, наш беспардонный капитан. К зиме в городе, по примеру прошлых зим, составилась дворянский клуб, или собрание. На первом, на втором [бале] в собрании я хотя и был, но не заметил ничего необыкновенного, а прочие заметили и мне уже после сообщили, что на балах не показывалась ни одна уездная львица, а причиною тому был не кто другой, как все же наш беспардонный капитан. И самые прескверные анекдоты сочинялись по случаю неявления на бале львиц, а

смиранные овечки, на которых он не обращал внимания, скромно варьировали эти анекдоты, чувствительно взирая на изверга капитана.

Я постоянно ходил к обедне в церковь святых мучеников Бориса и Глеба, что в Благовещенском монастыре, и вдруг что-то мне вздумалось пойти к обедне в церковь Флора и Лавра. Прихожу, перекрестился, гляжу,— предчувствие меня не обмануло: капитан тут, а перед ним шагах в двух Варочка, а около нее фельдшерша, и что-то шепчет ей на ухо, а ставит свечки перед образами. Капитан так пристально смотрел на затылок и толстые темнорусые косы Варочки, что не заметил, как я прошел мимо него и почти рядом с Варочкой остановился.

Странная и непонятная вещь! Отчего, например, дома я каждый день любовался красотой Варочки, и ни разу не бросались мне в глаза такие милые и, можно сказать, пластические подробности, как в церкви; например: на белом изящно округленном затылке прозрачно вьющиеся кудри. Я вам скажу, это такая сатанинская прелесть, против которой не в силах человек устоять! Я перекрестился и двинулся несколько шагов вперед.

По окончании обедни, на паперти встретился мне капитан, и ему, как я заметил, ужасно хотелось зайти ко мне на квартиру, но я искусно отманеврировал, раскланялся с ним на перекрестке и пошел по направлению к квартире полкового командира, где его хоть и принимали, но весьма осторожно, потому, правду сказать, что командир наш был уже старик и вдобавок израненный старик, командирша же еще баба хоть куда, а вдобавок еще и немка, так оно, знаете, [опасно] было пускать такого зверя в дом, каков был капитан.

На другой день после рапорта спросил я у Тумана, который теперь будет год Варочке. Он долго считал по пальцам и, наконец, сказал:

— З Варвары симнадцатый пошел.

— Гм... семнадцатый! — подумал я.— Опасно!..— И я рассказал ему, что я вчера заметил в церкви и каких от этого последствий ожидать можно и даже

должно. Туман долго молчал, повеся голову, потом вздохнул и проговорил, как бы про себя:

— Морока, та й годи! — И помолчавши, продолжал: — Порадьте, ваше высокоблагородие, що мени з нею робыть?

— А что робыть? Найти порядочного человека да выдать замуж, другого средства я не знаю.

— Замуж... замуж... — говорил он шопотом. — Замуж, — продолжал он тем же тоном. — За кого? Ни за кого! — сказал он, возвыся голос. — Пропаду! Я здохну, як та стара собака, без неї, ваше высокоблагородие!

— Ну, так сам женись.

— Не можна, ваше высокоблагородие. Грех от бога. — вона моя дытына. И люды пальцями на мене показуватымуть. Бач, скажуть, старый дурень, для чого выкохав байстря! — И он снова опустил голову и задумался. Глядя на него, мне самому взгрустнулося. — Хорошо было бы, — подумал я, — если бы все родные отцы так любили своих детей, как этот бедняк приемыша.

— Ну, что же ты придумал, Туман? — спросил я его.

— Ничего, ваше высокоблагородие.

— Так пока и не придумывай ничего, только смотри за нею хорошенько, — может, даст бог, опасность пройдет.

Я это говорил потому, что шалости капитана становились похожими на денной разбой, и полковой командир два раза уже аттестовал его как человека неисправимого и вредного полку.

Прошло лето, настали темные долгие вечера осенние, а с ними и спутницы их — грязь и скука. По вечерам, бывало, Туман сидит в своей комнате перед стеклянным глобусом, наполненным водою, и голенище тачает, а в углу около столика Варочка тоже или за работой, или читает в сотый раз житие Варвары великомученицы. И всякий раз, когда она прочитывала имя Диоскора, Туман плевал и шептал себе под нос: — Собака! — У них была еще и другая назидательная книга — это житие святых Петра и Февронии, тут, в Муроме, в Благовещенском монастыре, нетленно почи-

вающих; но эту книгу она реже читала, потому, может быть, что Варвара великомученица ее патронка. И я, бывало, по пробитии зори, отпущу фельдфебелей и, закуривши трубочку, зайду к ним, и так тихо, мило пройдет у меня время до ужина, как никогда ни прежде, ни после не проходило оно в блестящих гостиных.

Здесь прилично было бы нарисовать красавицу Варочку наподобие Сивиллы Куманской Кипренского ³⁰ или просто юную красавицу, при свече читающую книгу, во вкусе фламандского мастера Рембрандта ³¹, но, признаюсь откровенно, эта задача не по мне; притом же я и враг великий художников-самоучек, а в этом деле я был ниже всякого самоучки. Я, подобно юноше-поэту, по целым часам не сводил с нее моих очей, и бог знает какие мысли [роились] в моей седой голове. А между прочими и такие. У меня в детстве была страсть к живописи, но как отец мой был настоящий суворовский солдат, то он о живописи и вообще об изящных искусствах имел самое грубое понятие или, лучше сказать, никакого. Мать моя была несравненно образованнее отца, и, как женщина, по природе своей она хотя безотчетно чувствовала прелесть нерукотворного создания и ей любо было подмечать во мне то же самое чувство, но чтоб посвятить [меня] какому-либо искусству или науке,—она об этом и подумать не смела. Раз как-то, показывая ему мой рисунок, она сказала:

— А что, если бы его отдать в Академию художеств? Может быть, из него вышел бы славный живописец?

— Что?? — сказал он, сердито взглянув на нее.— Живописец?.. Маляр?.. Ты, кажется, пьяна была и не проспалась! Живописец?.. Ха, ха, ха... живописец?.. Да ты подумай, мудрая голова, дворянское ли дело в красках пачкаться?.. В Академию!.. вместе с холопами! Прекрасную карьеру выбрала ты своему сыну, прекрасную, нечего сказать! — И, взявши меня на руки, прибавил: — Нет, брат Саша, ты у меня будешь настоящий суворовский солдат.

Спустя год после этой сцены меня отвезли в шляхетный кадетский корпус, и из меня, действительно, вы-

шел настоящий солдат, и больше ничего. И я теперь думаю, как хорошо было бы, если бы я был живописцем: я бы на полотне передал прелести Варочки отдаленному потомству, подобно, как Рафаэль обесмертил свою Форнарину ³² или как Гвидо Рени ³³ целомудренную Беатриче Ченчи ³⁴. Но об этом теперь и толковать нечего.

Странно как-то случается с людьми: человек, например, дальновидный,— он за год, за два предвидит опасность и все меры, все средства употребляет, чтобы отворотить от себя несчастье, день и ночь не спит, слух, и зрение, и всё существо его постоянно бодрствует настороже, а в самую минуту опасности возьмет да и заснет,— да как заснет? как самый счастливый человек!

Вот точно так же теперь случилось и с нами. Время уже близилось к рождественским святкам. Туман, как обыкновенно это бывает, завален был работой. Я даже на это время просил адъютанта, чтобы не тревожить его на ученье; думаю себе: пусть человек при случае заработает себе какой-нибудь лишний грош. Вот однажды, отпустивши фельдфебелей, я, по обыкновению, закурил трубочку, надел архалук и пошел к Туману. Прихожу,— он работает перед стеклянным глобусом. На столике в углу горит свеча и уже порядочно нагорела, перед свечой на столе лежит развернутая книга, а Варочки нет. Ну, что бы мне было догадаться и спросить, давно ли она вышла. Да что и спрашивать? — нагоревшая свеча ясно показывала, что давно. А я еще снял со свечи и сел себе, ничего не подозревая, начал спрашивать Тумана, много ли он пар уже кончил, и сколько еще надеется кончить к празднику, и какую цену он берет: смотря по давальцу и лицу или со всех одинаково? На что он отвечал весьма основательно: — Одинаково, бо одинаково и работаю.— Потом, ни с сего ни с того, перешли к воспоминанию о заграничных наших похождениях, потом о тульчинских маневрах и, наконец, свернули речь на покойного Володю.

— Да,— говорил Туман,— недаром сказано: волос довгий, а розум короткий. И те сказать,— прибавил

он,— молоде, дурне, а може, ще й сирота, доглядать було никому.— И он взглянул на то место, где должна была сидеть Варочка. Он заметно изменился в лице, не сводя глаз с догоравшей свечи и развернутой книги.

— Не в чим не реве, аж ии и дома нема,— проговорил он едва слышно и, обращаясь ко мне, сказал:— Я думаю, чом вона не читае, аж ии и в хати нема.— И он быстро встал на ноги и с работою в руках вышел из комнаты.

Минут через десять он возвратился встревоженный. Я спросил у него: — Ну, что? — и он только шевелил губами, но сло[ва] произнести не мог; наконец, кое-как шопотом проговорил: — Нема! — Я в свою очередь тоже вскочил на ноги и сказал ему: — Беги к фельдшерше! — а сам наскоро оделся и пошел к городничему дать знать о случившемся и просить, чтобы он принял свои меры. Но что значила полиция в то время в уездных городах? Ровно ничего. Возвращаюсь я домой, захожу к Туману, и, я думал, что он возвратился уже,— ничего не бывало: он, как я его оставил, так и остался на том месте, как окаменелый. Я спрашиваю его, был ли он у фельдшерши, и после нескольких повторений он мне едва проговорил: — Ни! — Я оставил его и еще раз обошел все комнаты, раза два справлялся в людской, на кухне; я искал ее, как мы обыкновенно ищем затерянную какую-нибудь мелкую вещицу, раз десять в одном и том же месте; посмотрел во всех углах, за комодом, под диваном и, убедившись, наконец, что ее нигде нет, думал было лечь заснуть. Не тут-то было: только что сомкну глаза, передо мною является или капитан, или Варочка. До самого свету корчился я на постели, как карась на сковороде. На рассвете я встал и пошел посмотреть, что Туман делает, потому что я его оставил ночью в самом жалком виде. Отворяю тихонько дверь и вижу в комнате едва мерцающий огненный свет,— это догорала свеча перед стеклянным глобусом, а по сю сторону того же глобуса на своем рабочем табурете сидел Туман, подперши голову обеими руками. Сначала я подумал — он спит, и хотел выйти из комнаты, но он поднял голову, посмотрел на меня и едва слышно

проговорил: — Нема! — и так проговорил страшно, что я не на шутку за него испугался. Он снова опустил голову на руки, а я тихонько вышел из комнаты, будучи вполне уверен, что никакое участие не в состоянии было разбудить его от этой страшной летаргии. А спросить бы в самом деле у психологов: каково действует на душу самое искреннее участие в таком страшном критическом состоянии, в каком теперь находилась душа моего бедного Тумана. Я про себя скажу: в полугоре на меня благодетельно действовало даже не искреннее, а так, дружеское участие, а во время самого истинного горя, когда душа наша прячется в самый темный угол, куда и собственная мысль наша проникнуть не смеет, о, тогда всякое, самое нежное, самое искреннее участие делается лютейшею отравой. Вот почему я не решился утешать несчастного Тумана.

Пошел я поутру к городничему узнать, не открылось ли какого следа. Дорогою повстречался мне знакомый и после первых приветствий спрашивает:

— Как это так случилось, что у вас дворовая девка пропала?

Я не ответил ему ни слова, воротился назад домой, к городничему незачем было ходить. И действительно, он только и умел сделать, что в тот же день благовестили во всех переулках о нашей покраже. После этого какой тут след откроешь?

Три дня и три ночи просидел несчастный Туман на своем табурете, не подымая головы. Я испугался и советовался с доктором, и благоразумный доктор велел только окно или дверь открыть на несколько часов (а это было, как я уже сказал, зимою). Я по части врачебных наук совершенно невинный и из усердия взял да и растворил тихонько и окно, и дверь. Проходит час, другой, я все заглядываю то в дверь, то в окно и думаю: что выйдет из этой операции? Смотрю, уже так будет перед вечером, Туман начал вздрагивать, а через час встал, оглянулся кругом, затворил окно и дверь, походил с полчаса по комнате, вздрагивая и едва слышно говоря: — От тоби й на! — Потом он лег или, лучше сказать, упал на свою койку, укрылся тулупом, и мне показалось, что он уснул. Я подумал: — Слава тебе,

господи! — и пошел тоже немного отдохнуть. Не успел я напиться чаю, денщик докладывает мне, что:— Туман мечется, стонет и вас к себе просит.— Прихожу я, спрашиваю:

— Что с тобою, Якиме?

— Ничого! Спына! Холодно! Душно! Що знаете, то те й робить!

Я вижу, дело плохо, послал за доктором, а сам остался с ним. Он несколько раз обращался ко мне и кричал:

— Пить! Дайте пить, а то згорю!

Я подавал ему чайной чашкой квасу, и он немного успокаивался. Пришел лекарь, пощупал пульс, посмотрел на свой брегет³⁵ с секундную стрелкой и сказал:

— Горячка. Отправьте его сейчас же в госпиталь.

Я его сейчас же и отправил.

Месяца два с лишним пролежал бедный Туман в госпитале. Сам лекарь начинал уже сомневаться в его выздоровлении, особенно в последние дни горячки или, как говорят, перелома болезни. Однако железная его натура превозмогла, и он к концу первого месяца мог уже без посторонней помощи встать с постели, а к концу второго бодро уже гулял по коридору и всё есть просил, в чем, разумеется, ему отказывали.

Я же во время болезни Тумана делал всё, что мог сделать, чтобы открыть хотя темный след нашей беглянки. Я устроил своих лазутчиков, и самых неусыпных. Мне фельдфебеля каждый вечер доносили подробнейше о всех движениях капитана; каждый шаг его был виден, был на счету у моих верных агентов, но ни малейшего следа,— как в воду канула. И не один я, а все в городе указывали на капитана. Да что ты станешь делать? — преступник налицо, а доказательств никаких,— и поневоле злодея, зверя назовешь человеком.

Туман уже начал поправляться, когда из Владимира приехал жандармский офицер, взял нашего капитана и повез в Вологду. Я, однако ж, все еще не терял надежды; я написал частное письмо вологодскому полицеймейстеру, прося его, чтобы он уведомил меня, кто именно приедет с таким-то капитаном, и в особенности,

в числе его прислуги не будет ли молодой девушки,— тут я описал приметы Варочки. Через полгода, однако ж, не раньше, получил я письмо от вологодского полицеймейстера, в котором были описаны с большими подробностями как сам господин, так и его прислуга и, между прочим, горничный казачок Климка:

«Помянутый казачок Климка через четыре месяца бежал от капитана и теперь неизвестно где обретается. Вот все, что я могу вам, милостивый государь, сообщить о капитане. Девушки же,— продолжает он,— о которой вы пишете, никакой с ним не прибыло в наш город. Поговаривали сначала, что помянутый казачок Климка будто бы переодетая женщина, но это бабьи сплетни, ничего больше. Я по тому сужу, что как бы ни был человек развратен, а все-таки не решится на такое законопреступное дело. Да и то еще опровергает клевету сию, что у женщины, как у создания и физически и нравственно слабого, не достанет духу на таковой решительный поступок, как, например, бежать,— на это и мужчина не всякий решится. Нахожу ненужным писать вам о капитане: уповаю, что вы его хорошо знаете. Разве только скажу, что он ни на волос не изменился».

Письмо, как обыкновенно, заключено искони принятой вежливостью, и больше ничего.— Вологодский полицеймейстер должен быть простодушный добряк,— подумал я.— Как таки можно не проверить бабьи сплетни, как он говорит, на деле? Как можно было сомневаться в законопреступном поступке капитана, прочитавши его формуляр! А он, наверное, его читал. Простота, ничего больше!

Что же мне теперь оставалось делать? Я вполне был уверен, что Климка-казачок — не кто иной, как наша Варочка. Бедная! Она свою участь унаследовала от своей матери. Как бы и ей не пришлось кончить, как покойница кончила! Но где она теперь? Сидит, я думаю, в пошехонской или в другой какой тюрьме да кормит вшей. А может, ее уже и на свете нет. После долгого раздумья решил я послать объявление в «Московские Ведомости»; «Губернские Ведомости» в то время еще не печатались. Сделавши это, я решил

поделиться моими надеждами с Туманом. Решился, говорю, потому, что Туман хотя и совершенно оправился от горячки и, несмотря на то, что восемь месяцев прошло с тех пор, как Варочка пропала, а он всё еще был похож на помешанного. Он и до того был неречист, а теперь совсем онемел, бросил свое ремесло и по целым дням просиживал в своей комнате, подперши голову руками. Я одного боялся, чтобы он не начал пить. Однако ж, слава богу, этого не случилось.

Я не утерпел, однако ж, предполагая, что надежда освежит его скорбящую душу. Однажды поутру, после рапорта Тумана о благополучии по хозяйству, рассказал я ему о моем открытии. Долго он стоял передо мною молча, опустя голову. Я прошелся несколько раз по комнате, он, как статуя, не шевелился. Я хотел ему что-то сказать, только смотрю, а у него из-под опущенных ресниц слезы как горох покатались. Потом он вздохнул и едва слышно проговорил: — Капитанша! — и, поворота налево кругом, вышел из комнаты. Я посмотрел ему вслед и горько раскаялся в моей опрометчивости.

Это было осенью. В полку были дозволены годовые и полугодовые отпуска. Туман на другой день приходит и говорит, что он представлен в отпуск на полгода и просит меня, чтобы я не препятствовал.

— Схожу, — говорит, — додому, чи не легше буде.

— Иди, — я говорю, — с богом, — и наказываю ему, когда будет итти через Глухов, чтобы зашел на мой хутор посмотреть, что там делается.

— Добре, зайду.

Через неделю ему выдали билет, и он, простившись со мною, ушел.

Напрасно ожидал я результата от моей публикации, — ничего не вышло. Спустя месяца три после ухода Тумана в отпуск, в одно утро докладывают мне, что Туман приехал. Я удивился, что так скоро. Выхожу на двор, смотрю, из небольшой одноконной рогожаной кибитки высаживает Туман закутанную и в нагольном тулупе женщину с ребенком на руках. Туман, увидя меня, весело проговорил:

— Найшов! найшов! ваше высокоблагородие!

И действительно, это была Варочка. Но какая разница между прежней Варочкой! — обветренная, худая! Она отдала ребенка на руки Туману и, как помешанная, бросилась к моим ногам и зарыдала. Дитя проснулось на руках у Тумана и заплакало, и он, приглубившая его, понес в свою комнату. Я поднял рыдающую Варочку и повел ее вслед за Туманом.

На другой день Туман принял опять в свои руки мое хозяйство, и всё у нас в доме пошло попрежнему. Однажды после рапорта я спросил его, где он нашел свою Варочку?

— Де найшов? — отвечал он мне. — В Молози, в тюрьми.

Любопытство мое не совсем было удовлетворено его ответом, но я знал, что он не охотник был до подробностей, то и не расспрашивал его. Некоторое время Варочка никуда не выходила из своей комнаты и даже от меня она пряталась. Мне тоже как-то казалось неловко к ним заходить. У Тумана я каждый день спрашивал о ее здоровье и о здоровье дитяти, и он отвечал мне:

— Благодарить господу милосердого, — обою здорови.

Я соскучился по Варочке и однажды, отпустивши фельдфебелей, я зашел к ним в комнату, и, как прежде бывало, Варочка читала житие Варвары великомученицы, а Туман сидел против нее и няньчил на руках Еленочку. Я никогда не забуду эту истинно нравственную картину!

После моего визита, на другой день, Туман пришел ко мне, по обыкновению, и после рапорта сказал:

— Ваше высокоблагородие! Я думаю ожениться, щоб люды головою не кивалы та пальцямы на нас не показувалы.

— Благоднейший ты человек, — подумал я и в тот же день испросил ему у полкового командира позволение, а в следующее воскресенье я присутствовал на свадьбе Тумана в виде посаженного отца.

Варочка и после свадьбы долго еще всё была грустная, задумчивая и никуда не выходила, кроме церкви. Тумана она попрежнему называла своим татом и часто

плакала, глядя на него, когда он ласкал ее Еленочку, как будто свое родное дитя. Мало-помалу она как будто начала забывать свое прошедшее, стала заходить в мои комнаты, сначала в мое отсутствие, а потом и при мне. Белье мое и всё, что требовало женского глаза, она взяла под свою опеку, и лучше и аккуратнее хозяйки требовать нельзя было. Однажды поутру приходит она ко мне с Еленочкой на руках, веселая такая, счастливая. Я предложил ей чашку чаю, посадил около себя и стороною повел речь о том, как она убежала и где была спрятана капитаном до поездки в Вологду. Сначала спросил я ее, бывает ли она у фельдшерши.

— Никогда не бываю,— отвечала она.

— Почему же ты не бываешь? — спросил я.— Вы были такие короткие приятельницы.

— Хороши приятельницы! Она гнусная, лукавая женщина! Если бы не она, я бы до сих пор ничего не знала. Это она всё наделала,— и Варочка заплакала.

Немного погодя я сказал:

— Да, таки порядочных хлопот ты нам тогда наделала. Бедный Туман чуть в могилу не отправился. Но я до сих пор не могу понять, где ты была спрятана, потому что я тогда все мыши норки перерыл в городе. Расскажи, сделай одолжение, как это так случилось?

— А вот как,— сказала она, утирая слезы.— Помните, в тот день первый снег выпал. Фельдшерша, будь она проклята, подговорила меня покататься с нею вечером, я и ушла к ней без спросу и свечу и книгу оставила на столе: думала, сейчас ворочуся, и никто не будет знать, где я была. Прихожу я к фельдшерше, а у нее самовар на столе. Она налила мне чашку чаю; чай был такой вкусный, что я попросила и другую, а потом и третью, и мне стало так хорошо, так весело, что я готова была плясать. Я про всё на свете тогда забыла. В это время против окон на улице остановились сани. Мы вышли, сели и поехали. Долго мы ездили по городу, так долго, что мне спать захотелось, и так захотелось спать, что я не помню, как я и заснула. Проснулась я в теплой комнате; было темно, только в маленькие скважины сквозь ставни пробивался свет.

Я стала припоминать вчерашнее катанье, но только и могла припомнить один чай и фельдшершу, и то, как во сне. Вскоре отворилася дверь, и ко мне вошла деревенская старуха со свечою в руках. И я спросила ее:

— Где я?

— У добрых людей,— отвечала она.

— Как же я здесь очутилась?

— Тебя на улице подняли: знать, шальные кони из саней выбросили. Не нужно ли тебе чего? — спросила она, ставя на стол свечу.

— Не нужно ничего,— отвечала я, и старуха взяла со стола свечу и вышла вон, защелкнувши на крючок двери за собою.

Я все думала, где я и что со мною хотят делать? Долго я думала и, наконец, опять заснула. Когда проснулась я во второй раз, то уже свету в скважинах не видно было, голова у меня не то что болела, а кружилась, хуже всякой боли. Я стала плакать. Вошла опять та же самая старуха со свечой и начала меня утешать, предлагая мне чаю и разных лакомств. Я отказывалась и только просила ее, чтобы она сказала мне, где я. Спрашивала про вас, про тата, про город наш — далеко ли он. Старуха отвечала, что ни вас, ни тата не знает, а про такой город побожилася, что отроду и не слыхивала. Потом предложила она мне чаю,— я отказалась; предложила ужин, я тоже отказалась. И старуха зажгла лампадку перед образом и вышла из комнаты. Я вскочила с постели и бросилась к двери, но старуха успела ее защелкнуть на крючок. Немного погодя послышался за дверью мужской голос. Голос был мне знакомый, но я не смогла припомнить, где я его слышала. Голос спрашивал:

— Ну что, ей лучше теперь?

И старуха отвечала:

— Все равно, батюшка, бредит и мечется.

— Ну, хорошо,— говорит тот же голос:— я ей завтра лекаря пришлю.

— Неужели это они обо мне говорят? Неужели я в самом деле нездорова? — подумала я. Лекарь, однако, не приходил, и я успокоилась.

Долго, долго я сидела в этой проклятой тюрьме.

Я чуть было с ума не сошла от скуки; кроме отвратительной старухи, я во всё это время никого не видала. Только уже за день перед тем, как взять ему меня с собою, вошла ко мне фельдшерша с узлом в руке. Я, как родной матери, обрадовалась ей. Она принялась меня утешать и сулить мне бог знает какие радости в будущем, с тем только, чтобы я во всем ей покорилась. Она предложила мне остричься и одеться в мужское платье. Я было отказалась, но она пригрозила мне вечною тюрьмою, и я повиновалась. У ней с собою были ножницы, и она сейчас же остригла мои косы. Господи, как я тогда плакала! Потом вынула из узла мужское платье и одела меня и только начала было восхищаться мною, как я хороша в этом наряде, как вошла старуха и сказала: — Приехали.— Мы поспешно вышли на двор. Уже было темно, за воротами стояло две кибитки — одна большая, а другая поменьше. Усадила меня фельдшерша в большую кибитку, перекрестила, и лошади тронулись с места. А остальное вы уже знаете,— проговорила она и заплакала.

Вскоре началась польская революция³⁶, и нашему корпусу велено было двинуться в Литву. Я отослал, что было лишнее, к себе домой, на хутор, и уговорил Тумана, чтобы он и Варочку с ребенком отпустил ко мне на хутор с обозом. Он так и сделал. И мы двинулись в поход налегке. По окончании кампании я взял отставку в чине полковника, а в скором времени вышла отставка и Туману, и он пришел ко мне на хутор. Я думал было его сделать у себя приказчиком, но так как мне самому делать было нечего около моего мизерного хозяйства, то я и отдал ему в содержание корчму, что около Эсмани, бесплатно, за прежние его услуги, и Викторки моему завещал то же делать, когда меня не станет.

— Что я и [буду] делать до конца дней моих.

Виктор N. N.

Прочитавши этот рассказ, я призадумался, и в воображении моем грубый ветеран-корчмарь преобразился в такого человека-христианина, как дай бог, чтобы [все] были хоть немного похожи на него.

Отрадное это размышление прервано было восклицанием: — Чорт знает что! — Дверь растворилась, и в комнату вошел мой приятель, держа в руках мою гармонику и повторяя: — Чорт знает что! Я думал, что он ей что-нибудь доброе подарил. Полтина! Больше полтины не стоит! — и увидя у меня свою рукопись в руках, как бы опомнился и сказал:

— Что, какова повесть? Али ты ее еще не дочитал?

— Как раз перед вашим приездом кончил, — отвечал я.

— Ну, как по-твоему, стоит напечатать, или нет?

— И очень даже!

— Вот то-то и есть. А они, дурни, думают, что, не читавши ничего, то ничего и не напишешь. А вот же и написал!

— Позвольте мне переписать ее, так, для памяти, — сказал я.

— Вот еще, переписывать! Возьмите так, как есть, и хоть напечатайте ее, только с тем, как я вам и прежде говорил, чтобы не выставлять моего имени.

Я дал слово. На дворе было уже темно. Напившись чаю, мы погуторили еще немного, оделись и поехали в город, в исторический Николаевский собор «Деяния» слушать.

После заутрени приятель мой поехал к себе на хутор, как он говорил, по хозяйству распорядиться, и, как после оказалось, затем только, чтобы соблюсти долг приличия, т. е. натянуть фрак на независимые плечи. Я же, как никого не имел знакомых и не имел охоты знакомиться, то нашел эту церемонию лишнею и остался в городе в ожидании обедни. Погода (что весьма редко случается в это время года) стояла хорошая, улицы были почти сухи, и я пошел шляться по городу, отыскивая то место, где стояла знаменитая Малороссийская коллегия и где стоял дворец гетмана Скоропадского ³⁷, тот самый дворец, в котором он чествовал Данилыча ³⁸, когда он заехал поблагодарить гетмана за гостинец, т. е. за город Почеп с волостию. А Данилыч, не будучи дурак, да к почепской волости и отмежевал посредством немецкой астролябии ³⁹ сотню Балакланскую, Мглинскую и половину Стародубовской, да и заехал в Глухов

благодарить гетмана. А простоватый Ильич, ничего не ведая, знай угощает своего светлейшего гостя, аж пока светлейший гость, в знак благодарности, велел скласть на площади против дворца каменный столб и вбить в него пять железных спиц: одну для гетмана, а прочие для старшин, если они хоть заикнутся перед царем про немецкую астролябию. Однако ж старшины не утрашились и, будучи в Москве, пожаловались на грабителя, за что наперсник и был оштрафован.

Но где же эта площадь? Где этот дворец? Где коллегия со своим кровожадным чудовищем — тайною канцеляриею? Где все это? И следу не осталось! Странно! А все это так недавно, так свежо! Сто лет каких-нибудь мелькнуло, и Глухов из резиденции малороссийского гетмана сделался самым пошлым уездным городком.

Благовест к обедне прервал мои невеселые вопросы, и я, перекрестясь, пошел в Николаевскую церковь, один-единственный памятник времен минувших. На площади догнал я чумацкий воз, везомый парюю серых волов-великанов. На возу сидели две женщины в белых свитках — одна в лентах и в барвинковых цветах, а другая повязанная шелковым платком. Рядом с волами шел высокого роста мужчина в черной кирее и черной же смушевой шапке, с батоном в руке. Из воза выглядывал еще белый большой узел. Это была завернутая в белую скатерть пасха со всеми принадлежностями.

Поравнявшись с возом, я немало удивился, узнавши в путешественниках моих старых знакомых — Тумана и его фамилию. Волы остановились, я со всеми ими похристосовался. И, беседуя о том, что бог послал погоду и день такой хороший для такого великого праздника, мы тихонько приблизились к церкви.

После обедни на цвынтаре, или на погосте, приятель мой не без умиления облобызал дюжины две православных христиан и христианок, взял меня за руку и подвел к только что вышедшему из церкви небольшому толстенькому человечку в губернском мундире, с румяным добродушным лицом и, похристосовавшись

с ним, сказал, указывая на меня: — N. N. такой-то. — Я поклонился, а приятель прибавил:

— Карл Самойлович Стерн, эскулап⁴⁰ наш уездный. Ему так нравится наш истинно христианский обычай, что он каждый год надевает мундир и является к обедне, собственно для этого праздника хочет принять нашу православную веру, да нет, я думаю, соврет, — извини, Карл Самойлович!

Немец добродушно улыбнулся, и мы расстались.

Приехали мы на хутор, и я, войдя в комнату, или в светлицу, немало удивился, не видя ничего такого, чем бы можно было разговестись. Хозяин, заметя мое удивление, вывел меня в сени и молча показал на небольшую дверь, ведущую, как я думал, в сад. Я отворил дверь, и изумленным очам моим представился не сад, как я воображал, а огромный дощатый сарай с маленькими окнами, примкнутый к самому дому. Это была зала пиршеств, как я после узнал. Посредине сарая стоял бесконечный стол, покрытый белой скатертью, и, боже, чего на этом столе не было! И все это было в самых гомерических размерах⁴¹. Бабуся, вертевшаяся около стола, казалась мухой против колоссальной пирамиды из теста, называемой пасхой. По сторонам пирамиды, как египетские сфинксы⁴², по нескольку в ряд лежали не поросята, а целиком зажаренные огромные кабаны, с корнями хрена в зубах. И всё прочее в таких размерах, — даже водка и сливянка стояли по краям стола в больших барылах (бочонках), покрытых салфетками, — словом, все было циклопически⁴³, так что, если бы проснулся великий слепец хиосский⁴⁴, так и он только бы ус покрутил, больше ничего, да, может быть, подумал бы, что на хуторе ждут Кадма⁴⁵ с товарищами.

Хозяин, ходя по зале (так называл он сарай), поглядывал то на стол, то на меня и самодовольно улыбался.

— За чем же дело стало? чего тут еще недостает? — думал я. — Можно бы, кажется, приступить и к делу, или он кого дожидает? — Я хотя и не был голоден, но и равнодушно не мог взирать на все сии блага, особенно на поросят и на бабу, — точно московская кубическая

купчиха, белая, румяная, — ну так бы и проглотил всю разом. А хозяин, как ни в чем не бывало, ходит себе да только улыбается. Полчаса, если не больше, прошло в ожидании. Я начал уже припоминать анекдот про царя и его любимого боярина, — как тот верный боярин проворовался в чем-то перед царем. Добрый царь не хотел для открытия истины употребить в дело огня и железа, а продержавши суток с трое в темнице без хлеба и воды своего верного боярина, потом велел подать себе миску добрых щей, жареного поросенка и позвать боярина к допросу. Что же вы думаете? За ложку щей да за хвостик поросенка во всем боярин повинился. Вины, правда, я за собой никакой не сознавал, но мне невольно думалось, не хочет ли приятель мой и надо мной такую штуку выкинуть, как тот царь над своим верным боярином. Так в чем же я перед ним провинился? В эту самую секунду дверь отворилась, и вошла в залу бабуся с тарелкою в руках; в тарелке была священная вода и кропило из сухих васильков. Входя в залу, бабуся скороговоркою сказала:

— Уже на гребли!

Приятель мой вышел в сени. Вскоре послышался на дворе стук колес, и минуты две спустя вошел в залу священник при епитрахили, сопровождаемый хозяином и церковниками. За клиром вошел Туман со своими домочадцами, а за Туманом чинно, без шума, разглаживая усы, пошли мужички и через минуту наполнили собою весь сарай. После священнодействия священник, а за ним хозяин, а потом уже я похристосовались со всеми предстоящими и, разговевшись кусочком черного хлеба, приступили кто к чему имел поползновение. Теперь только выяснилось, для чего в таких гигантских размерах было приготовлено съедобное и спитобное! Приятель мой (за что я с ним десять раз похристосовался) буквально следовал слову златоустого витии⁴⁶ и любви и смирению первобытных христиан. Тут не было раба и владыки, тут был самый радушный хозяин и самые нецеремонные гости.

Проводивши священника и крепостных своих гостей, он усадил за стол меня, Тумана с фамилией и сам сел между ними, сказавши: — Отепер разговеемся! — Про-

тив меня сидела Еленочка с матерью, и теперь только я рассмотрел ее с должным вниманием. Это была настоящая, только-только что расцветшая красавица. Густые темнокаштановые волосы, заплетенные в две косы и перевитые зеленым с синими цветами барвинком, придавали какую-то особенную свежесть ее изящной головке. Тонкая белая рубаша с белыми же прозрачными узорами на широких рукавах ложилась на плечах и на груди такими складками, какие не снились ни Скопасу ⁴⁷, ниже самому Фидию ⁴⁸, — словом, передо мною сидела богиня красоты и непорочности. Рядом с Еленочкой сидела мать ее, когда-то Варочка, а теперь Варвара Ивановна, как называл ее сам хозяин, а около нее сидел Туман, с улыбкою покручивая белые усы свои. Я смотрел на него не как на простого корчмаря-ветерана, а как на рыцаря великих нравственных подвигов, как на человека-христианина в самом обширном смысле этого слова, и, признаюсь, завидовал ему. Он в моих глазах казался совершенно счастливым, да иначе и быть не могло. Человек, так высокоблагородно исполнивший свои обязанности в отношении к ближнему, даже в нищете и одиночестве должен быть счастлив, а его старость была окружена достатком и самыми искренними, самыми нежными друзьями. Не случилось мне видеть такого изящного произведения скульптуры или живописи, которое так бы успокоительно-сладко привлекало мои глаза к себе, как кроткое, спокойное лицо этого седого доблестного героя добродетели. Озеров ⁴⁹ вполне чувствовал эту прелесть, сказавши устами Эдипа ⁵⁰:

Мой не увидит взор
Ни мужа кроткого приятного чела,
Которого рука богов произвела.

Встали мы из-за стола тихо, скромно, как будто из-за обыкновенного обеда, помолились богу, и Туман, взявши свою смушевую шапку, взглянул на жену и стал прощаться с хозяином. Туман вообще неговорливый, но на этот раз он был совершенно немой за столом. Я думал было завести разговор о Блюхере или о Бонапарте, но, взглянув на него, мне мысль моя показа-

лася просто тривиальной. Одно-единственное слово, что я от него услышал, и то уже на дворе: когда он посадил свою фамилию в чумацкий воз и волю тронулся с места, то хозяин, стоя на пороге, спросил его:

— Так на фоминой, батьку?

— Эге! — ответил Туман и пошел за возом.

Вечеру, за чаем, приятель мой вопреки своей натуре был задумчив. Я сделал ему каких-то два-три вопроса, да потом и себе начал барабанить по столу пальцами. Уже бабуся и свечи подала, уже убрала и самовар с принадлежностями, а мы всё сидим, не двигаясь, да барабаним по столу. И не знаю, долго ли бы продолжалось это барабанное упражнение, если бы я не вздохнул, так себе, от нечего делать. Приятель мой поднял голову, взглянул на меня и засмеялся. Насмеявшись досыта, сказал он:

— Послушай! Мое дело хозяйское, мне есть о чем задуматься и вздохнуть. Ну, а ты какого чорта вздыхаешь?

— Хозяин невольно передает свои впечатления гостям, — отвечал я.

— Правда, правда твоя! А знаешь ли что?.. — проговорил он и замолчал.

— Буду знать, коли скажешь.

— У меня к тебе великая просьба есть. Дай слово, что исполнишь, — скажу.

— Дам слово, если скажешь, какая просьба.

— Погости у меня до фоминой недели!

— Не могу.

— Вот то-то и есть! Заставил меня открыть секрет, а теперь и назад. Это не похоже на порядочного человека.

— Какой же тут секрет? — спросил я.

— А такой секрет, — отвечал он, подумавши, — что на фоминой неделе я думаю венчаться, а тебя прошу быть у меня шафером, или, по-нашему, боярином. Ну что, согласен?

Я, как был в то блаженное время человек совершенно независимый, то, не долго думая, и сказал ему:

— Согласен!

— Вот это по-дружески! — говорил он, пожавши

мою руку так по-дружески, что я чуть не закричал.— Теперь же ходимо вечерять! — прибавил он, вставая.

Тучная вечеря и нелицемерное возлияние развязали язык моему приятелю и открыли его сердечный тайник. Он сначала высказал мне свои самые естественные понятия о семейной и политической жизни человека, о его назначении вообще как создания прекрасного и разумного, и как он может быть независим, а следовательно, и счастлив в своей кратковременной жизни, ни малейше не нарушая гармонии общества себе подобных. Он так увлек меня своими суждениями, что я в нем начал видеть самого натурального, самого естественного мудреца, чуть ли не выше самого Сократа⁵¹. Но как мудрецу и вообще человеку трудно и, кажется, вовсе невозможно указать самому точку, через которую не должно переступить, то и приятель мой незаметно перешел к утопии и начал мне доказывать, что грамотность, особенно в женщинах, особенно вредит благополучию человечества. Я думал было, что источник такой идеи был — вино, обильный источник сливянки, пока он не заключил своих доказательств такими словами:

— Я надеюсь, и не без основания, что я буду совершенно счастлив с моей женой, и именно потому, что она неграмотная!

— Ты — может быть, но этого нельзя сказать про многих, и я первый не скажу про себя.

— Потому что многие, в том числе и ты, ничего больше, как нравственные уроды.

— Вот тебе и на! — подумал я и, помолчавши, спросил:

— Как твой старший боярин, имею ли я право спросить у своего князя, кто же это такая будущая счастливая княгиня?

— Секрет, до последнего дня секрет! А то ты, пожалуй, станешь меня разочаровывать.

Долго мы сидели за столом молча, изредка поглядывая друг на друга и на бутылку со сливянкой, и, когда увидели, что на сухом дне бутылки ничего достойного внимания не оказалось, встали из-за стола и, выразительно пожавши друг другу руки, пошли спать.

В продолжение недели мы с приятелем закусывали,

завтракали, обедали, вечеряли и спали. Много и много переговорили мы о разных совершенно посторонних предметах, в том числе и о современной литературе, за которой он, как и всякий порядочный человек, следил довольно внимательно, что меня немало удивило, потому что я, кроме варварского перевода басен Федра, ни одной книжки не видел в его доме. Кроме современной литературы, у нас часто заходила речь о тонкой современной политике Меттерниха ⁵², но о предстоящей свадьбе ни полслова. Я раз было, вопреки вежливости, заикнулся о сем щекотливом предмете, но приятель мой был нем, аки рыба, приказал заложить бричку и, не сказавши мне «до свидания», сел и уехал бог его знает куда.

Прошла, наконец, бесконечная для меня святая неделя, прошла и половина фоминой. Приятель мой уехал в среду поутру и пропадал до самого вечера. Возвратясь ввечеру домой, он молча надел фрак, причесался, посмотрел в зеркало и сказал, обращаясь ко мне:

— Я готов! Одевайся скорее, поедем!

Я тоже оделся. Сели в бричку и поехали в город, прямо в Николаевскую церковь. Церковь была освещена, священник в облачении, посередине церкви налой, а дьячок, разглаживая усы, чуть-чуть не возглашал «Исаия, ликуй!» Не успел я осмотреться, как двери растворились, и вошла Еленочка, сопровождаемая Туманом и матерью. Войдя в церковь, она перекрестилась, смело подошла к налою и стала на свое место. Я, когда увидел ее поближе и ярко освещенною, так только ахнул: так она была торжественно прекрасна. Обряд кончился, и я не без зависти поздравил моего счастливого приятеля с новой жизнью, с новой радостью. А на другой день, поблагодаривши за хлеб-соль моего приятеля, я уехал в Киев.

15 марта [1855]

БЛИЗНЕЦЫ





Всему просвещенному миру известно и переизвестно, что понедельник — день критический или просто тяжелый день и что в понедельник всякий более или менее образованный человек не предпримет ничего важного. Он лучше пролежит целый день; хотя бы там, как говорится, само дело просилось в руки, он перстом не пошевелит. Да и в самом деле, если хорошенько рассудить, если мы из-за презренного серебряника надругаемся над священными преданиями старины, что же тогда из нас будет? И выйдет какой-нибудь француз или, чего боже сохрани, куцый немец, а о типе или, так сказать, о физиономии национальной и помину не будет. А по-моему, нация без своей собственной, ей только принадлежащей, характеризующей черты похожа просто на кисель, и самый безвкусный кисель.

Но увы! не так думают прочие. Например, наше военное сословие далеко отстало от современников на пути просвещения. Они, например, не веруют вовсе в понедельник и легкомысленно называют этот священный завет отцов и дедов наших бабьими бреднями. Боже мой, боже, вот до чего мы дожили. А попросил бы я это усатое сословие¹ заглянуть, например, хотя бы в «Письмовник» знаменитого Курганова²: там именно сказано, что еще древние халдейские маги и звездочеты, а за ними и последователи учения Зороастрова³ неукосненно веровали в критичность понедельника. Так вот поди, толкуй ты с беспардонною военщиною. Военный, вполне военный человек, — он лучше загнет лишний угол или возьмет у жида лишнюю бутылку само-

дельного рому, так называемого клоповика, чем выпишет мудрую книгу какую-нибудь, хоть, например, «Ключ к таинствам природы» Эккартсгаузена⁴ с прекрасными рисунками знаменитого нашего Егорова⁵. Так где тебе, и слушать не хотят.

Я все это речь веду к тому, терпеливый читатель, что, поругавши освященные многими и премногими годами верования предков наших, именно в понедельник рано утром из уездного города П., и губернии тоже П., выступил в поход не то гусарский, не то уланский полк, не помню хорошенько. Помню только, что сбор в трубу трубили, поэтому и надо думать, что полк был кавалерийский, а если б был пехотный, то сбор били бы в барабан.

Входит и выходит из села или городка полк,— это два великие события, а особенно если полк, чего боже сохрани, простоит на квартирах хоть несколько дней; тогда выход его сопровождается слезами и очень часто — самыми искренними слезами. Я это говорю только в отношении прекрасного пола. А насчет мужей и женех я не говорю ни слова. И ни слова также не скажу о выходе реченного кавалерийского полка из реченного города П[ереяслава], разве только, что многие мирные гражданки провожали полк, хотя погода не совсем благоприятствовала, потому что шел затяжной дождь или, как назвал его покойный Гребенка⁶, ехидный, сиречь мелкий и продолжительный. Но, невзирая на этот ехидный дождь, многие из гражданок провожали усачей своих до села N., другие до местечка Борисполя, а остальные, и самые бескорыстные, провожали даже до пределов киевских, то есть до переправы на Днепре. А когда полк благополучно переправился, то и они, поплакавши немного, тоже переправились через Днепр и разбрелися по великому городу Киеву и скрыли свои преступления и стыд в глухих притонах всякого разврата.

Таковы результаты продолжительной стоянки самого благовоспитанного полка.

В тот же понедельник, поздно вечером, молодая женщина возвращалась в город Переяслав по киевской дороге и, не доходя до города версты четыре, как раз

против Трехбратних могил, свернула с дороги и скрылась в зеленом жите. Перед рассветом уже она вышла из жита на дорогу, неся на руках что-то завернутое в серую свитку. Пройдя немного по большой дороге, она остановилась у поворота и, подумавши немного, кивнула выразительно головою, как бы решаясь на что-то важное, и пошла быстро по маленькой, поросшей шпорошом дорожке, ведущей к хутору старого сотника Сокиры.

На другой день поутру рано, т. е. во вторник, вышла пани Прасковья Тарасовна Сокириха покормить собственноручно всякую живность, как-то: цесарок, гусей, кур и т. д., а голубей будет довольствоваться уже сам пан сотник Никифор Федорович Сокира. Представьте же ее ужас, когда она, выходя на ганок, т. е. на крыльцо, из покоев, увидела около ганку серую свитку, шевелящуюся, как будто бы живую. И в испуге ей показалось, что свитка будто бы плачет, как дитя. Долго она смотрела на серую свитку, слушала, как она плачет, и сама не знала, что делать. Наконец, решила пригласить Никифора Федоровича.

Никифор Федорович вышел, что называется, неглиже, однако все-таки в широких китайчатых красных шароварах.

— Посмотри, посмотри, мой голубе, что это у нас делается,— говорит испуганная Прасковья Тарасовна.

— Что же тут у нас делается? Я ничего не вижу,— говорит Никифор Федорович.

— А свитка, разве не видишь?

— Вижу свитку.

— А разве не видишь, что она шевелится, как будто живая?

— Вижу, так что ж, пускай себе шевелится, бог с нею.

— Каменный ты человек, разве не надо посмотреть, отчего она шевелится, а?

— Ну, так посмотри, коли тебе хочется.

— А тебе не хочется?

— Нет.

— Так вот же посмотри ты прежде, а потом и я посмотрю.

— Хорошо.

И с этим словом он подошел к свитке, развернул ее осторожно и — о ужас! он не мог выговорить ни слова, только указал выразительно пальцем на развернутую свитку и стоял в этом положении с минуту, а очнувшись от изумления, вскрикнул:

— Параско!

Старушка бросилась к нему и также в изумлении остановилась перед развернутой свиткой с поднятыми руками. Немного простояв в этом комитрагическом положении, она воскликнула:

— Святый великомучениче Иване Воине, что ты с нами делаешь?

И, обратясь к Никифору Федоровичу, сказала:

— Вот видишь, я не даром видела во сне двух маленьких телят. Я тебе говорила, что что-нибудь, а непременно да случится.

— Ну, благодарим тебя, господи наш милосердый,— проговорила она, крестясь и бережно подымая вместе со свиткой двух красеньких малюток,— наградил таки ты нас, господи, на старости лет.

— Неси ж их, Парасковие, в дом наш, а я тымчасом пошлю в город за Притулыхою, пускай она их посвоему в травах искупает, да, может быть, и еще что нужно им сделать.

— Ах! и в самом деле! Посмотри, у них, сердечных, и пупки зеленою соломинкою перевязаны.

— Ну, так отнеси ж их, а я пошлю Клыма за Притулыхою,— сказал не совсем спокойно Никифор Федорович и пошел отдавать приказание.

Надо вам сказать, что эта старая добрая чета, проживши много лет в мире и благополучии, не имела ни единого детища, как говорится в сказке о Еруслане Лазаревиче⁷, «смолоду на потеху, под старость на помогу, а по смерти на вспомин души». Они, бедные, долго и усердно молились богу и надеялись, наконец и надеяться перестали. Они вже думали, сердечные, хоть бы чужое дитя воспитать за свое,— так что же будешь делать? Хоть и есть бедные сироты, так добрые люди

разбирают, а им не дают, потому что они, видите, паны, а с паныча, говорят они, добра не будет. Еще прошлую весною ездил Никифор Федорович в местечко Березань, прослышавши, что там после бедной вдовы осталось двое сирот, мальчик и девочка. Так что ж, и тех взял барышевский тытар, человек вдовый и бездетный, а богач темный, так и вернулся ни с чем домой Никифор Федорович. И вдруг великой своей благодатью господь посетил их праведную и добродетельную старость.

Радостно, неизреченно радостно встретили они и проводили вторник, а в среду, перед вечером, приехал к ним искренний друг их Карл Осипович Гарт, таки аптекарь переяславский, и, по обыкновению приложившись к руке Прасковьи Тарасовны и поздоровавшись с Никифором Федоровичем, понюхал из раковинной табакерки, которую прислал ему в знак памяти друг его и товарищ, тоже аптекарь в Аккермане или в Дубоссарах, Осип Карлович Шварц; понюхал табаку и, садясь на скамейку перед ганком, сказал почти по-русски:

— У наш городе новость новость догоняет. Сегодня Андрея Ивановича приглашали свидетельствовать женское тело, случайно найденное в Альте около вашего хутора, а вы, верно, ничего этого не знаете? — Сделавши такой вопрос, он снова открыл раковинную табакерку и воткнул в нее два пальца. Хозяева значительно переглянулись между собою и молчали, а Карл Осипович продолжал:

— Да, когда я был еще студентом в Дорпате, там тоже тогда стояла кавалерия, а когда вышла из Дорпата, так тоже три или четыре трупа женских принесли из полиции к нам в анатомический театр. Полиции все равно, они не знают, что для нашей науки удобнее мужское тело, а женское не так удобно: много жиру, до мускулов не доберешься.

— Вот что,— прервала его Прасковья Тарасовна,— у меня к вам просьба, Карл Осипович, чи не пожалуете вы к нам кумом? Нам господь деточек даровал.

— Как так? — вскрикнул изумленный Карл Осипович.

— Так, просто, около ганку нашли вчера двух ангелов божиих.

— Удивительно! — воскликнул снова Карл Осипович и опустил руку в карман за табакеркою.

— А я попрошу еще и Кулину Ефремовну, она — тоже немка, вот вы и породнитесь.

— Нет, она совсем не немка, она только из Митавы; но это ничего. Я очень, очень рад такому случаю.

Карл Осипович, обрадованный таким приятным предложением, не мог по обыкновению провести вечер со своими искренними друзьями, вскоре распрощался и уехал в город, чтобы известить Кулину Ефремовну о предстоящем событии. Расставшись с Карлом Осиповичем, старики несколько времени смотрели друг на друга и молчали. Первая нарушила молчание Прасковья Тарасовна.

— Как ты думаешь, Никифоре, не отслужить ли нам в следующую субботу панихиду по утопленнице? Ведь она должна быть их настоящая мать.

— И я так думаю, что настоящая. Только нужно будет подождать до клечальной субботы, а то бог ее знает, быть может, она самоубийца, то как бы еще греха не наделать.

— Хорошо, подождем, теперь уж недалеко зеленое воскресенье. Да... посмотри, пожалуйста, какого завтра святого, как мы назовем своих детей, — ведь они обою мальчики.

Никифор Федорович достал киевский «Каноник»⁸ и, вооружась очками, начал перелистывать книгу, ища июня месяца. Найдя месяц и число, он в восторге перекрестился и воскликнул:

— Парасковие! Завтра святых соловецких чудотворцев Зосимы и Савватия!

— А нет ли еще других каких?

— Да зачем же тебе других еще? Ведь это святые заступники и покровители пчеловодства.

Он еще раз перекрестился, закрыл книгу и положил ее под образа.

Нужно вам сказать, что Никифор Федорович был страстный пасичник, и вдобавок искусный пасичник.

Поэтому Прасковья Тарасовна и не смела сказать, что имена были не совсем в ее вкусе.

Вскоре после этого старики молча повечеряли и, помоляся богу, разошлись спать — Никифор Федорович в комнату, а Прасковья Тарасовна в свою светлицу, где, разумеется, были помещены и маленькие близнецы.

Таким-то важным для добрых стариков [событием] был ознаменован выход кавалерийского полка из города Переяслава.

Для краткости этой истории не нужно было бы описывать со всеми подробностями ни хутора, ниже его мирных обитателей, тем более, что история сия весьма мало, так сказать, мимоходом их касается. Настоящие же мои герои вчера только увидели свет божий. Так что же, спрашиваю вас, можно сказать интересного про них сегодня? А потому-то я, подумавши хорошенько, и решился описать и хутор, и его мирных обитателей для того токмо, чтобы терпеливый мой читатель или читательница могли ясно видеть, чем и кем было окружено детство и отрочество моих будущих героев. Пословица справедливо гласит: «Каков из колыбельки, таков в могилку». А вот мы и увидим, в какой степени эта пословица справедлива. Еще говорят, что живые детские впечатления так живучи, что умирают только вместе с нами, и что воспитанием ничего не сделаешь из юноши, если его детство было окружено грубою декорацией и такими же актерами, и что детство, проведенное на лоне божественной природы и на лоне любящей прекрасной матери и христианина отца, — что такие прекрасные впечатления необоримой стеною станут вокруг человека и защитят его на дороге жизни от всех мерзостей коловратного света.

Посмотрим, в какой степени можно верить сей непреложной истине.

Чтобы избежать оригинальности, которую так любят щегольнуть юные повествователи наших дней и которые, возлюбя всем сердцем и всем помышлением фран-

цузские уродливые повествования, наперерыв подражают им и в простоте юного и уже отчасти растерзанного сердца верят, что они оригинальнее самого полубога А. Дюма⁹ (блаженны верующие!), я же, неверующий Фома, начну старыми словесы повествование мое тако.

Сначала опишу со тщанием место, т. е. пейзаж; потом опишу действующих лиц, их домашний быт, характеры, привычки, недостатки и добродетели, а потом уже по мере сил приступлю к драме, т. е. к самому действию. Метода или манера эта не новая, но зато хорошая манера, а хорошее, как говорят, не стареет, исключая хорошенькую кокетку, которая, увы! увядает преждевременно.

Начнем же так. На правом берегу хотя и скудной, но знаменитой реки Альты расположен хутор старого сотника Сокиры, верстах в четырех от города Переяслава, словом, против того самого места, где бешеный честолюбец, окаянный Святополк, зарезал родного праведного брата своего Глеба. И на этом же месте, по сказанию Конисского, совершилась кровавая или Тарасова ночь¹⁰ в 1547 году. Так против этого святого места расположен хутор сотника Сокиры, сам по себе не очень живописный, по причине опрятности, доведенной до педантизма, но зато окрестности окупались чистым Рюисдалевским пейзажем. Берега Альты устланы зеленым высоким камышом, так что самую реку и не видно, разве только против Сокириного хутора. Густые зеленые камыши разрезаются на широком пространстве группами широковетвистых верб и старых осокоров. На левом берегу Альты выглядывает из-за зеленых верб небольшая беленькая церковь, воздвигнутая иждивением христоролюбивых граждан г. Переяслава над тем самым каменным столбом, который знаменовал место убиения невинного Глеба. За оградой церкви, до самого города, расстилается равнина, засеянная житом и пшеницею и густо уставленная историческими могилами. И чем ближе к городу, тем могилы выше и гуще, так что городского вала издали совсем не видно и весь город кажется на могилах построен. Сам же город Переяслав, как и

вообще города, издали кажется в тумане, но над городом из тумана выходила белая осьмиугольная башня, увенчанная готическим зеленым куполом с золотою главою. Это соборный храм прекрасной, грациозной, полу-рококо, полувизантийской архитектуры, воздвигнутый знаменитым анафемой Иваном Мазепою в 1690 году. Другая же темная деревянная башня с плоской осьмиугольной крышей полуотделяется от серенького фона. Это Успенская церковь, прославленная в 1654 году принятием присяги на верность московскому царю Алексею Михайловичу гетманом Зиновием Богданом Хмельницким со старшинами и с депутатами всех сословий народа украинского. Далеко за городом синеют высокие днепровские горы.

Геральдический дуб ¹¹ дома Сокиры не восходит до баснословной вышины и насажден в темной дворянской дуброве дедом Никифора Федоровича Карпом Сокирою, голштинцем, возвратившимся из Петербурга после кончины императора Петра III ¹²,— не по примеру прочих голштинцев наг и гладен,— а с порядочным мешком голландских червонцев, с чином гвардейского ротмистра и с правом потомственного дворянина. Возвратясь в свой родной Переяслав, он, к его великой радости, беспрепятственно женился на дочери тогдашнего полковника Переяславского, цыгана Иваненка, и получил за женою в приданое хутор со всеми угодыями и несколькими сотнями пахотной и луговой земли на берегах речки Альты.

Через год же или через два оставил свою молодую жену и годовалого сына, записался портупей-майором ¹³ в себулдинцы и ушел с полком за пределы Малороссии. Вскоре начали себулдинцев обращать в регулярные войска, чему не мало сопротивлялся и майор Сокира, за что с прочими супротивниками и был казнен в четырех городах, на четырех площадях в один день; право же дворянства было оставлено его малолетнему сыну. Так трагически кончил свою карьеру насадитель родословного дуба дома Сокиры — Карпо Сокира, голштинец.

Юный Федор Сокира, оставшись единственным наследником прав и состояния отца и единственным сыном чадолюбивой матери, оказался порядочным мальчиком, несмотря на заботливость нежной матери. Он изрядно выучился читать печать церковную и гражданскую, письму и благозвучному церковному пению, и всему этому выучил его добронравный соборный дьяк Степан Перепелыця, невзирая на все увещания нежнейшей матери.

В то счастливое время, хотя дворяне и не находили надобности в просвещении или, лучше, им не приказывали просвещаться, однако ж юный Федор бессознательно чувствовал благо просвещения и неотступно просил маменьку, чтобы она отвезла его в Киев и отдала учиться в бурсу.

После долгих настоятельных просьб сына маменька, наконец, решила отвезти его в киевскую бурсу. Определивши его в бурсу, отдала под надзор тогдашнему инспектору бурсы, или академии, отцу Дионисию Кушке, старцу суровому и богобоязненному; а отдала она его для того под надзор, чтобы дитя малое не выучилось иногда воровству и разбойничеству.

На бурсацкой скамье или на подольском базаре подружился он с знаменитыми впоследствии Иваном Левандою¹⁴, Григорием Гречкою и тогда уже философом Григорием Сковородою, а больше ничем не ознаменовалась его бурсацкая жизнь. Учился он хорошо, а кончил тем, что, [когда] однажды славные запорожцы, приехавши на подворье свое в Киев провожать товарища своего Ермолу Кичку в Межигорский монастырь, устроили брату [своему] приличное прощание со светом, то есть закупили на Подоле горилку, разлили ее в ушаты и с цеховою музыкою пошли торжественно в Межигорье, потчюя встречного и поперечного братскою горилкою из мы х а й л ы к а, а прощавшийся со светом брат, зная себе, танцует впереди музыкантов,— прельстился такую прекрасною картиною уже не совсем юный Федор Сокира и, не долго думавши, прыгнул с высокой стены Братского монастыря (ворота для такого случая были заперты) и присоединился к запорожской братии. После этого происшествия след его оказался на великом За-

порожском Лугу¹⁵, и в числе запорожских депутатов, вместе с Головатым, он является Екатерине Великой; потом является на нецеремонном обеде у генерала Текелия¹⁶ и, по уничтожении низового запорожского войска, возвращается благополучно в город Переяслав с чином капитана и правами потомственного дворянина.

Отслуживши панихиду по своей матери, он зажил добрым селянином на своем родовом хуторе и в непродолжительном времени женился.

В это-то счастливое время возобновил он свое школьное знакомство с соборным протоиереем Григорием Гречкою, а через него и с знаменитым уже витиею Иваном Левандою и уже с настоящим философом Григорием Сковородою. А между тем сын его первородный, Никифор, выросал, а отец, заболтавшись с мистиком-философом, думал, думал, как бы просветить сына, да, не додумавши, взял да и умер, а юный сын, что называется, и остался в дураках.

Но благому провидению угодно было заступить прекрасного и безродного юношу от мрака невежества, а быть может, и вынести из пучины разврата, и [оно] послало ему благочестивого и премудрого просветителя и заступника в лице отца Григория Гречки, протоиерея переяславского.

Если не можешь ты говорить о ближнем доброго, то о худом его не говори, — евангельское правило, но, увы! не всегда удобоприменимо в жизни нашей, исполненной греха и клеветы. Мне же, как ретивому поклоннику святой правды, необходимо сказать несколько слов о матери юного Сокиры, таких, что хоть бы и не говорить. Добрая слава для нас свята, но для женщины и тем паче; она же, к несчастью, не пользовалась доброю славою на всю область Переяславскую, а быть может, и потому, [что] была похищена из дому родительского Федором Сокирою и тайно обвенчалась за границею, т. е. за Днепром, в Трахтемирове. Следовательно, они сочетались по увлечению, а брак по увлечению, всем известно, редко бывает счастлив. Так, может быть, кумушки-голубушки отчасти и не совсем клеветали. Как бы то ни было, но только отец Григорий рассудил, что лучше будет взять дытыну на свои руки. И, по-моему, он

поступил благоразумно и великодушно, потому что я плохо верую в воспитание самых добродетельных матерей, тем более, если у них одно-единственное дитя.

Так как юному Сокире подходило к седьмому году, то отец Григорий в одно пасмурное утро продиктовал мальчику молитву перед началом учения и развернул перед ним букварь. Каково же было его удивление, когда мальчик, не запинаясь, прочел ему всю азбуку.— Добрый знак,— подумал отец Григорий и показал ему буквы а з - ба и т. д. Заметя вскоре понятливость и добронравие в мальчике, он начал его учить, кроме славянского, еще трем языкам: еврейскому, греческому и римскому. Он, вероятно, предполагал из него сделать доктора, по крайней мере, любомудрия, сиречь философии. Но юноша, не подозревая великих планов своего великого учителя, подвизался себе втихомолку и на десятом году возраста бегло читал Давида, Гомера и Горация ¹⁷, а на одиннадцатом году возраста поздравил своего наставника с Новым годом на всех четырех языках, прочитавши ему вирши, написанные в Киевской д[уховной] а[кадемии] в честь митрополита киевского Серапиона на четырех языках. Наставник, в восторге обнявши ученика, проговорил:— Зерно упало на добрую землю.— Но все-таки предположение сделать из Сокиры философа всех наук не сбылось.

На пятнадцатом году своего возраста начал он учиться у своего учителя музыке. Отец Григорий знал, что [для] вящего облагорожения сердца человеческого необходима музыка, и для того просил письмом друга своего философа Сковороду показать своему любимцу начальные основания музыки. Философ не медлил явиться в Переяслав со своими неразлучными друзьями, с флейтою и собакою, и с успехом начал преподавать сладкозвучие, и с таким успехом, что с небольшим через год они уже вдвоем с учеником [распевали] разные канты и дуэты, а в день ангела отца Григория, после ужина, к великому восторгу гостей, спели они, с аккомпанементом на гусях, сатирическую песню Сковороды, которая начинается так:

Всякому городу нрав и права,
Всяка имеет свой ум голова.

Сокира молодой, действительно, делал большие успехи в познании музыки, если принять в соображение истинно философскую небрежность преподавателя. Мистик-философ, бывало, наденет на себя серую свитку, накроет голову соломенным брилем, флейту в руку и марш куда глаза глядят, а верный спутник его за ним. Бывало, пойдет в Березань, в 30 верстах от Переяслава, по дороге зайдет на древнюю высокую могилу, называемую Выбла, и зайдет на могилу единственно за вдохновением, и, почерпнувши из недр ее малую толику сего, богам единым свойственного дара, спешил делиться сиею благодатию с другом своим Якимом Лукашевичем в Березани. Проживя неделю у друга, идет навестить другого, а там третьего, а через месяц, смотришь, он уже в Киеве: сидит с другом своим Иваном Левандою на скамеечке у ворот и читает импровизированную диссертацию о связи души человеческой с светилами небесными, а вития наш знаменитый, независимо от дружней диссертации, готовит к следующему воскресенью проповедь. Проживя немало в Киеве, он очутится в Стайках, а оттуда в Трахтемирове, а там через день в Переяславе. Преподавши урок музыки, снова пускался навещать друзей своих, только уже через Яготин до Полтавы и далее.

Гречка намерен был уже писать к Бортнянскому¹⁸ (также своему товарищу по бурсе), потому что видел в молодом Сокире решительный гений музыки и голос архангельский, но судьбе угодно было совершенно иначе распорядиться.

Быстро приближался событиями чреватый 1812 год, а юному Сокире кончился 19-ый со дня рождения.

Наконец, разрешился от бремени своими чудовищами-чадами страшный 12-ый год. Как жертва всежжения, вспыхнула святая белокаменная, и из конца в конец по всему царству раздался клич, чтобы выходили и стар и млад заливать вражескою кровью великий пожар московский.

Достиг этот судорожный клич и до пределов нашей мирной Украины. Зашевелилась она, моя родная маты; зашевелилось охочекомонное и охочепешее ополчение¹⁹ малороссийское. Не выдержал мой юноша, разбил

псалтырь и гусли, бежал и в городе Пирятине записался в полк под начало пирятинского полковника Николая Свички.

Узнавши всё и вся, Гречка просил письмом друга своего Николая Свичку не покидать его питомца на кровавом военном поприще, что друг исполнил, как заботливый отец. Назначив юноше первый уряд, полковник Свичка с полком своим выступил из славного города Пирятин на супротивного галла²⁰ и на двадцать язык.

Когда полк проходил через г. Переяслав, то отец Григорий во главе духовенства встретил воинство у стен града, осенил его крестным знаменем и оросил святою водою. Когда же подошел к чаду души своей, то, возведя горё полные слез очи, проговорил: — Господи, заступи тебя и сохрани тебя.

Когда кровавые события пришли к желанному концу и зубастого французского зверя²¹ заперли в аглицкую конуру, то и наше славное воинство разбрелось по хуторам и селам и, сложа доспехи бранные, взялося за плуги и рала.

В половине 15 года возвратился Сокира в родной свой Переяслав с чином сотника и, к великой своей скорби, не нашел в живых своего благодетеля отца Григория. Он нашел только в городской ратуше духовное завещание покойника на свое имя, в котором незабвенный благодетель отказал ему часть своей библиотеки, состоящей из дорогих изданий древних классиков, еврейскую библию, французскую энциклопедию и рукописный экземпляр летописи Конисского, на первом листке которого было написано собственной рукой преосвященного тако: «Юному моему другу и собрату Григорию Гречке, доктору богословия и других наук, на память посылает смиренный Г. Конисский». Кроме библиотеки, отказал он ему еще дорогую скрипку и свои любимые гусли с изображением на внутренней части двух пляшущих пастушек с посошками и пастушка, под липою у ручья играющего на флейте.

С самого начала он отслужил панихиду по праведной душе своего благодетеля и, перенесши на опустелый свой хутор драгоценное наследство (мать его тоже

скончалась), он начал приводить свою дедовщину [в порядок] и, уладивши на скорую руку что мог, он пригласил духовенство и сначала освятил собором возобновленную о с е л ю, а потом собором отслужил и панихиду об успокоении душ отца, матери и всех ближних родственников и ближайшего, искреннейшего своего друга и благодетеля отца Григория. По совершении богослужения, по примеру предков своих, он накормил разного чина людей около 1000 душ, исключая всё городское духовенство и шляхетный класс.

Когда он остался на своем хуторе один, скучно ему стало. Долго, несколько месяцев, скучал он и не знал, что с собой делать. Только однажды вечером и вспомнил он святое изречение: «Неудобо человеку жити единому».

На другой день рано, оседлавши коня, поехал он в Сулимовку. Там у него, когда он еще не ходил на войну, росла на примете маленькая девочка у небогатого панка. Презря обычаи отцов, он без посредства сватов переговорил с отцом, с матерью, а тут же с невестою, да, не говоря худого слова, после рождества христова и перевенчались.

После такой скоропостижной свадьбы невозможно было рассчитывать на семейные радости, а вышла благодать, да и благодать-то еще какая! Во-первых, молодая жена Сокиры — красавица, да еще и красавица какая! — дай бог другому хоть во сне увидеть такую красавицу, а во-вторых, самого чистого, непорочного сердца и нрава тихого и покорного. Одним словом, над нею и внутри ее было божие благословение. Одно, что можно было сказать про нее не то чтобы худое, но немного смешное. Ей, бедной, удалось прошедшее лето погостить месяц у своих богатых родственников в местечке Оглаве, а родственницы эти только что возвратились из Киева или, лучше сказать, из какого-то киевского пансиона и были чрезвычайно образованы. Тут-то она, бедная, и пошатнулась: от них-то она узнала, что грамоте их учат не для одного молитвенника, а еще кое для чего, и что высшее блаженство благовоспитанной барышни — это носить лиф как можно выше и обворожать кавалеров. А песен-то,

песен каких восхитительных²² она у них позанялась — и как «стонет голубок», и как «дуб той при долине, как рекрут на часах», и как «пастушка купается в прозрачных струях», и как «закричала ах! увидевши нескромного пастуха», и даже «о Фалилей, о Фалилей» и ту выучила. Да и как же было не выучиться от таких образованных барышень! Они же, волшебницы, еще и на гитаре играли. Это бросилось в глаза молодому мужу, но он рассудил, что самое лучшее не обращать на ее песни внимания: поет, поет да и перестанет, если некому будет [слушать] ее модных песен. А иногда так даже и подтрунивал, особенно когда проходил день втихомолку, без песен.

— Что же это ты, Параско,— скажет, бывало,— сегодня целый день молчишь? Хоть бы спела какую-нибудь иностранную песенку.

— Какую там выдумал еще иностранную?

— Ну, хоть как та «пастушка полоскалась в струях».

— Не хочу. Сам, коли хочешь, пой.

— Хорошо, и я спою.

И он медленно раскрывал гусли и, тихо аккомпанируя на них, пел своим чарующим тенором с самым глубоким чувством:

Не ходи, Грицю, на ті вечорниці...

И когда кончал песню, то жена падала в его объятия и заливалась горчайшими слезами, а он тогда говорил ей, целуя:

— Вот это настоящая модная песня.

Так он ее мало-помалу и совсем отстранил от современного просвещения, а о богатых образованных родственницах и о их модных песнях с тех пор и помину не было.

Ласками и насмешками он довел ее до того, что она сама начала смеяться над стрекозиными талиями переславских панночек и по долгом размышлении оделась в национальный свой костюм, к величайшей радости своего мужа. И, боже мой, как она хороша была в родном своем наряде! Так хороша, так хороша, что,

если бы я был банкиром, по крайней мере таким, как Ротшильд, то я иначе не одевал бы свою баронессу.

Но, увы! не всем нам судьба судила вкусить в жизни нашей таких великих радостей, какими упивался Сокира. И он вполне ценил эту благодать Божию.

Любуясь своей красавицею Параскою, он не забывал и физических своих потребностей, или, лучше сказать, они сами о себе напоминали. Осмотревши сначала свою дедовщину, он по долгом размышлении решил, что пахотную землю [надо] отдать с половины сулиминским козакам. При хуторе крестьян не имелось. Он, правда, и рад был, что их не имелось. (Он смотрел на этот класс нашего народонаселения истинным филантропом.) Побережье реки Альты оставил он за собою ради домашней скотины и выкашивал тучные луга т о л о к о ю, в липовой же роще и л е в а д е, прилегавшей к самому хутору, он решился возобновить отцовскую пасику. И это сделалось его любимую мечтою. Да и, правду сказать, что может быть невиннее пасики из всех промыслов наших? Он не медля написал в Стародуб, чтобы к весне прислали ему пасичника. Тогда еще не было Прокоповича²³, теперь славного пчеловода, и, следовательно, нужда заставляла обращаться к самоучкам пасичникам.

Учрежденная им в липовой роще пасика, с помощью еленского старообрядца, год от году множилась и в продолжение пяти счастливых лет умножилась до 5000 пней. Господь благословил его начинание, теперь он был паном на всю губу. Пасикой своею он отстранил от себя всякое корыстное и необходимое соприкосновение с людьми, а с тем вместе и всё пошлое и низкое.

Счастливый, стократ счастливый человек, умевший отстранить от себя всё недостойное человека и довольствоваться только благом, приобретенным собственными трудами.

Такой счастливец был Никифор Сокира.

В бытность свою в немецких землях он немимолетно замечал немецкий сельский быт и теперь пригласил его к своему хутору. Та же немецкая чистота и порядок во всем. Правда, что нашего брата худож-

ника не поражал хутор Сокиры своею наружностью, зато не-художника поражал порядком.

Из всех славянок землячки мои чернобровые пользуются вполне заслуженною славою опрятных хозяек. Но у мадам Сокиры эта статья была доведена до крайней степени. Ей обыкновенно, бывало, и во сне снится, что у нее в доме пол не вымыт или в кухне не смазан; так чтоб эта дрянь не возмущала ее невинного сна, то она заставляла Марину каждый божий день пол вымыть да еще и выскоблить. И достаточно, кажись, так нет, а еще и киевским песком посыпать,— таким песком, какой вы найдете не у всякого губернатора и в канцелярии. Она сама его привозила каждый год из Киева, когда ездила туда к 16 августа.

Карл Осипович говаривал всегда и всякому, что если он видел рай на земле, так это именно в доме Прасковьи Тарасовны, а больше нигде.

В пасике отражалась та же чистота и порядок, что и в доме. И как были кстати тут *Виргилиевы «Георгики»*²⁴, которые любил прочитывать Никифор Федорович, лежа под соломенным навесом. Ни одна душа во всем Переяславе на знала, что старый пасичник (его так прозвали за его тихий нрав и медленную походку), что старый пасичник читал в подлиннике *Виргилия*, *Гомера* и *Давида*. Примерная, удивительная скромность! Я сам, будучи его хорошим приятелем, часто гостил у него по несколько дней и, кроме летописи *Конисского*, не видал даже *бердичевского календаря* в доме. Видал только дубовый шкаф в комнате, и больше ничего. Летопись же *Конисского*, в роскошном переплете, постоянно лежала на столе, и всегда заставлял я ее раскрытую. Никифор Федорович несколько раз прочитывал ее, но до самого конца ни разу. Всё, всё: мерзости все, бесчеловечия польские, шведскую войну, *Биронового брата*²⁵, который у стародубских матерей отнимал детей грудных и давал им щенят кормить грудью для своей псарни,— и это прочитывал, но как дойдет до *голландского полковника Крыжановского*, плюнет и закроет книгу, и еще раз плюнет.

Раз как-то я приезжаю к нему с книжкою *«Украинского Вестника»*²⁶, в которой были напечатаны *Гула-*

ком-Артемовским²⁷ две оды Горация (гениальная пародия!), и, прочитавши оды «До Пархома», мы от чистого сердца смеялись с Прасковьей Тарасовной; а он отворил дубовый шкаф, вынул оттуда книгу в собачьем переплете и, раскрывая ее, проговорил: — А ну, посмотрим, верно ли оно будет с подлинником.— И тут-то я только увидел перед собою латиниста, эллиниста и гебраиста²⁸ и полнешенок шкаф книг, вмещающих в себе словесность всего древнего мира.

А он, прочитавши вслух подлинник, закрыл книгу, поставил ее на свое место, и ходя тихо по комнате, читал про себя:

Пархоме, в счастья не брыкай...

— Превосходно! И в точности верно! — проговорил он вслух.

Я и прежде глубоко уважал его за его во всех отношениях возвышенный характер, а теперь я, благоговей, исчезал перед его чисто рыцарскою скромностью.

— Что же это мы все как воды в рот набрали? — проговорила Прасковья Тарасовна.— Хоть бы повечерять, пока засветло.

— А что ж, когда вечерять, так и вечерять, я и на то готов.

Ужин был подан на ганку, и к концу его показалась из темного Переяслава полная красавица луна. Мы все трое замолкли и только переглянулись между собою. Картина была так хороша, что только в немом благоговении можно было созерцать ее.

Меня пригласил с собою Никифор Федорович в пасику ночевать, на что я, разумеется, и согласился охотно.

Не было другой такой ночи в моей жизни, да, верно, и не будет. Долго беседовали мы с ним о разных предметах и случайно коснулись моей слабой струны, народных наших песен. Ни один профессор словесности в мире не прочитывал [так] своей лекции о значении, влиянии и достоинстве народных песен. И с какой глубокой любовью изучил он слова и мотивы наших прекрасных задушевных песен.

— Да,— говорил он,— после этой трогательно про-

стой прелести наших песен что значат уродливые создания современных нам романсов. Кроме безнравственности, ничего более.— И чрезвычайно деликатно коснулся песен покойного своего учителя музыки Сквороды. Он сказал:— Это был Диоген наших дней²⁹, и если б не сочинял он своих винегретных песен, то было бы лучше. А то, видите ли, нашлись и подражатели, хоть бы и князь Шаховской³⁰, или Котляревский в своей оде — в честь князя Куракина — сколок Сквороды. Только та разница, что учитель мой, как истинный философ, никому не льстил.— «Энеида» Котляревского в то время еще не была напечатана.

Я, как собиратель народных песен, много записал у него вариантов и самых песен, нигде мною прежде не слыханных.

Ко всем его прекраснейшим качествам принадлежит его найпрекраснейшее качество: он был в высокой степени религиозен. Любимейшим его чтением был Новый завет. Он всем сердцем своим и всем помышлением своим сознавал и глубоко чувствовал священные истины евангельские. Каждое воскресенье и каждый праздник он ездил к обедне с женою в соборный храм Благовещения. Вместе с прекрасной, гармонической архитектурой храма на него действовало и пение семинаристов. Но когда поставили в храме новый иконостас, гармония архитектуры исчезла, и он стал ездить к обедне в Успенскую церковь, в ту самую, в которой в 1654 генва[ря 8] дал присягу Зиновий Богдан Хмельницкий со всякого чина народом на верность московскому царю Алексею Михайловичу. Но когда, возобновляя исторический памятник этот, из шести куполов уничтожили пять, экономии ради, то он стал ездить к Покрову. Церковь во имя покровы, неуклюжей и бесхарактерной архитектуры, воздвигнута, в знамение взятия Азова³¹ Петром Первым, полковником переяславским Мировичем, другом и соучастником проклинаемого Ивана Мазепы. В этой церкви хранится замечательная историческая картина, кисти, можно думать, Матвеева³², если не иностранца какого. Картина разделена на две части: вверху — покров пресвятыя богородицы, а внизу — Петр Первый с императри-

цей Екатериной I, а вокруг них все знаменитые сподвижники его, в том числе и гетман Мазепа и ктитор храма во всех своих регалиях.

Прослушавши литургию, Никифор Федорович подходил к образу покрова и долго любовался им и рассказывал своей любопытной Прасковии, кто такие были за люди, под кровом божия матери изображенные.

Иногда он рассказывал с такими подробностями про Даниловича и разрушенный им Батури³³, что Прасковья Тарасовна наивно спрашивала мужа: — За что ж она его покрывает?

Как ни переполнена чаша счастья, а всегда найдется место для капли яду. Для полного счастья Сокиры чего бы недоставало? А ему недоставало самого высшего блаженства в жизни — детей.

Лет шесть уже минуло, когда на хуторе у старого сотника Сокиры, невзирая на отца протоиерея и прочих чин духовный, Никифор Федорович вынул свою скрипку (потому что гусли не соответствовали песне) и заиграл, припевая:

Ой хто до кого, а я до Параски...

при чем Прасковья Тарасовна плюнула и вышла из покоя, а Карл Осипович и Кулина Ефремовна, не говоря ни слова и также невзирая на чин духовный, схватились за руки да и пошли выплясывать:

O mein lieber Augustin...

И в тот же вечер другая пара — кум с кумою, едучи в город от Сокиры, пели тихонько в два голоса:

Одна гора високая,
А другая близька...

А отца протоиерея и братию на ту ночь положили спать в новой коморе, потому что ночь была бурная, так чтоб чего, боже сохрани, не случилось. Карл Осипович и Кулина Ефремовна, поплясавши в свое удовольствие и сказавши хозяевам «gute Nacht», сели в

свою беду и поехали в город, разговаривая себе тихонько и всё по-немецки.

То был великий и радостный день для бездетного Никифора Федоровича и Прасковьи Тарасовны. Они в тот день окрестили и усыновили двух близнецов-подкидышей и [так] бучно отпраздновали крестины, что повивальная бабка долго после того говорила, — что родилась, окрестилась и умру — не увижу таких хороших крестин, как были у старого сотника.

Минуло шесть лет после такого великого события в доме Сокиры, когда перед вечером сидели они, т. е. хозяева, на ганку с нерушимым другом своим Карлом Осиповичем. Перед ними на темнозеленом лужку, прилегающем к самой Альте, резвилось двое детей в красных рубашках, точно два красные мотылька мелькали на темной зелени. С крылечка все трое молча любовались ими, и казалось, что у всех трех собеседников вместе с зрением и мысли были устремлены на детей. После продолжительного созерцания первая нарушила молчание Прасковья Тарасовна.

— Рассудите вы нас, голубчик Карл Осипович, что нам делать? Я говорю, что дети еще малые, а Никифор Федорович говорит: — Это ничего, что малые, а учить надо.— Где же тут, скажите таки Христа ради, правда? Ну, еще хоть бы годочек подождать, а то думает после покрова уже и начинать.

— Да, да, начинать, давно пора начинать,— сказал Карл Осипович.— Я давно думаю об этом.

— Святая Варваро великомученица! Боятесь ли вы бога, Карл Осипович!

— Боюсь, очень боюсь, Прасковья Тарасовна, и скажу вам, что когда мне было только пять лет, то я уже читал наизусть кой-что из Шиллера³⁴. Покойный Коцебу³⁵ сказал раз, когда я ему прочитал его стихи наизусть, что из меня будет великий поэт, а на деле вышел маленький фармацевт. Вот что, Прасковья Тарасовна, и великие люди иногда ошибаются.

— Да это ничего, пускай себе ошибаются, только рассудите сами: после покровы!

— Да, да, чем скорее, тем лучше.

— Ну, догадалась же я, у кого защиты просить,—

подумала Прасковья Тарасовна, но не проговорила, а Карл Осипович, нюхая табак, приговаривал:

— Да, да, надобно учить. Ваша пословица говорит, что за ученого двух неученых дают, да не берут.

— Так вот что: мы вас, Карл Осипович, слушаем, как самого бога. Подождите, мои голубчики, хоть до филипповки; там даст бог пост — время такое тихое, им, моим рыбочкам, все-таки легче будет.

— До филипповки... как вы думаете, Карл Осипович, можно подождать? — проговорил Никифор Федорович.

— Нельзя. «Жизнь коротка, а наука вечна»³⁶ — говорит великий Гете.

— Господи, что я наделала? — подумала Прасковья Тарасовна. — Зачем я ему говорила о детях? Теперь уж, я знаю, добра не будет. — Ну, уж вы там себе как хотите, — проговорила она вслух, — а я вам до филипповки не дам детей мучить.

— Хоть кол на голове теши, а она свое, — проговорил Никифор Федорович. — И скажи, откуда ты такой природы набралась?

— Да от вас же и набралась: вы по-моему ничего не хотите сделать, то я и по-вашему тоже не хочу.

В это время дети подбежали к крыльцу, и Карл Осипович, лаская их, спросил:

— Ну, что ты, Зося, хочешь грамоте учиться?

Зося бойко сказал:

— Хочу.

— А ты, Ватя, тоже учиться хочешь грамоте?

— Также хочу, — отвечал запинаясь Ватя.

— Вот видите, Прасковья Тарасовна, — сказал Карл Осипович, — а вы останавливаете их стремление!

— Та ну вас с богом, Карл Осипович! Я уже не останавливаю. Только надо придумать, — говорила она, целуя и обнимая детей, — как это всё устроить.

— Это правда, — сказал Никифор Федорович. — Вот что, Карл Осипович! Вы живете в городе и по профессии своей встречаетесь с разного класса людьми. Не встретится ли вам иногда семинарист, хоть и не очень ученый, только бы не бойкий, договорите его для наших детей.

— С большою радостью буду искать такого человека. У меня есть один знакомый семинарист, большой охотник химические опыты делать. Ну, такой не годится, а я у него буду выпрашивать.

— Сделайте милость, Карл Осипович! Вот мы их и засадим за тму-мну, моих голубчиков,— говорил Никифор Федорович, лаская детей.

Об этих детях, как о будущих героях моего сказания,— я должен бы попространнее о них распространиться, но я не знаю, что можно сказать особенного о пятилетних детях. Дети, как и вообще дети: хорошенькие, полненькие, румяные, как недоспелая черешня, и больше ничего. Разве только, что они похожи друг на друга, как две черешневые едва зарумянившиеся ягоды. А больше ничего.

После взаимных пожеланий покойной ночи Карл Осипович сел в свою беду и уехал в город, а Никифор Федорович, благословивши на сон грядущий детей, пошел в свою пасику. А Прасковья Тарасовна, уложивши детей и прочитавши молитвы на сон грядущий, зажгла почник и тоже отошла ко сну.

По обыкновению своему Прасковья Тарасовна к 16 августа отправилась в Киев и, возвратясь из Киева, между прочими игрушками и святыми вещами, как-то: шапочкой Ивана многострадального, колечками Варвары великомученицы и многим множеством разной величины кипарисных образков, отделанных искусно фольгою, и между прочими редкостями — она показала детям никогда прежде не привозимые для них игрушки. Да с виду они и не похожи на игрушки, а просто две дощечки, обернутые кожею. Каково же было их удивление, когда она развернула дощечки и там они увидели зеленые толстые листы бумаги, испещренные красными и черными чернилами. Радости и удивлению их не было конца. Невинные создания! Не знаете вы, какое зло затаено в этих разноцветных каракулях! Это источник ваших слез, величайший враг вашей детской и сладкой свободы, словом — это букварь.

В ожидании 1 октября Прасковья Тарасовна сама

исподволь стала учить разуметь таинственные изображения и за каждую выученную букву платила им сладким киевским бубличком. И, к немалому ее удивлению, дети через несколько дней читали наизусть всю азбуку. Правда, что и наволочка с бубличками почти опустела, что и заставило Прасковью Тарасовну приостановить преподавание.— Да притом же,— думала она,— уже близко и покрова — так пускай же они, мои голубята, хоть это малое время на воле погуляют.

Светлый горизонт юной свободы моих героев покрывался тучами. Гроза быстро близилась и, наконец, как раз на покрова, часу в 9-м утра, разразился громом Карла Осиповича беды и явлением самого Карла Осиповича, а за ним — о ужас! — и явлением чего-то длинного, в затрапезном халате и в старой и короткой фризовой шинели (вероятно, шитой навыврост). Это был не кто другой, как сам светоч или, проще, учитель, вырытый Карлом Осиповичем из грязных семинарских аудиторий.

Степан Мартынович Левицкий — лицо соприкосновенное сему повествованию, то не мешает и о его персоне сказать слов несколько.

Он был один из многих сыновей беднейшего из всех на свете диаконов — отца диакона Мартына Левицкого, не помню хорошенько, из Глемязова или из Ирклиева, только помню, что Золотоношского повета.

Странные и непонятные распоряжения судьбы людской! Хоть такое, например, можно сказать, дикое распоряжение: Никифору Федоровичу, человеку достаточному, не послать за все его молитвы ни единого, что называется, чада, а бедно-беднейшему диакону завалить ими и без них тесную хату. И как на смех, одно другого глупее и уродливее. Хоть бы, например, и предстоящий теперь пред лицом Никифора Федоровича учитель: безобразно длинная и тощая фигура, с такими же неуклюжими костлявыми руками, лицо опойкового цвета с огромнейшим носом, выдавшимся вперед длинным, заостренным подбородком и с немалыми висячими ушами и, вдобавок, с распухшей ниж-

ней губой, так [что] очертаний рта нельзя было определить; очертания глаз тоже определить трудно, потому что они были заплывшими от сновидений. Внутренние достоинства Степана Мартыновича были в совершенной гармонии с наружными. Так, например, спросил его однажды профессор на экзамене: — А ты, Степа, скажи, что помнишь; я и тем буду доволен.— И Степа, подумавши немало, сказал: — Я помню, как был пожар за Трубежом, да еще потом в Андрушах.— Ну, хорошо, Степа, с тебя и этого достаточно.— Он никогда не просился на праздники домой, зная хорошо, что праздники обходят их полуразрушенную хату, а проводил праздник в тех же холодных грязных классах, где проводил и великую четырехдесятницу. Случилось как-то, что еще несколько товарищей остались на праздник в семинарии и, как добрые дети, послали своим родителям по письменному поздравлению с праздником, прося, в заключение витиеватого послания, прислать им к празднику того-сего по мелочи. По примеру братии и Степа вздумал рукотворить послание своим нищим родителям словесы такими:

По т и т у л е.

«Дражайшие родители!

При отпуске сего листа из северного города, богоспасаемого Переяслава, я остаюся ваш сын».— И, подумавши, прибавил: «Я поздравляю вас с наступающими праздниками и желаю, чтобы вы мне ради рождества христова прислали хоть ворочок пшена да кусок сала, а из лакомства хоть шкаповые сапоги и...»

Тут он опять задумался, а коварный друг его, Лука Нестеровский, подкрался да и выхватил недоконченное письмо, показал его всей братии,— и пошла потеха. С тех пор его иначе и не звали, как «пожар в шкаповых сапогах». А он себе хоть бы кому слово сказал, так молчком и отделался.

Пока рекомендовал Карл Осипович своего protégé Никифору Федоровичу, наймишка Марина внимательно смотрела на новое лицо и, рассмотревши его хорошень-

ко, толкнула тихонько Прасковью Тарасовну и шопотом спросила, показывая глазами на Степана Мартыновича:

— Чи воно живе?

— Живе,— отвечала Прасковья Тарасовна и вышла из покоя, а за нею и Марина последовала.

— Вы мою просьбу переборщили, Карл Осипович. Я просил вас рекомендовать для детей наших учителя, только не бойкого, а вы привезли какого-то дида.

— Ничего лучше быть не может для обучения алфавиту малых детей, Никифор Федорович,— говорил Карл Осипович.— Для этого нужен только говорящий автомат, больше ничего. А где вы найдете, позвольте вам сказать, лучше этого экземпляра? Это просто золото для ваших малюток.

— Быть по-вашему. Так мы сегодня только уговоримся, а с завтрашнего дня и начнем с богом.

— А почему же не сегодня? — спросил Карл Осипович.

— Потому,— не во гнев вам будь сказано,— что горбатого только могила исправит. Вы, что с вами не делай, как родились немцем, так и в могилу сойдете тем же немцем.

— А вы, небось, пойдете в могилу турком или французом?

— Я — дело другое. Я, слава богу, живу дома, а вы, Карл Осипович, на чужой стороне, следовательно, и не должны забывать, что у нас сегодня большой праздник, а в нашем приходе еще и храмовой.

— Так вы, значит, едете помолиться богу? Хорошее дело, а я привезу вам его завтра рано. Насчет же условий мы уже с ним условились: карбованец в мешац и два гарнца пшена, а по окончании азбучки — халат хоть какой-нибудь да пару сапогов. Согласны?

— С удовольствием.— И они расстались.

На другой день, т. е. 2 октября, явился Степа один на хуторе и, прочитав обычную молитву, принялся за дело. И с той поры каждый божий день, какая бы погода ни стояла, дождь ли, снег ли, ни на что не смотря, шагал наш педагог из хутора и на хутор, поутру и ввечеру, не прибавляя и не убавляя шагу, как заведенная

машина. Учение букваря, благодаря понятливости детей, быстро двигалось вперед. И Никифор Федорович, к великому удовольствию своему, на деле увидел справедливость замечаний Карла Осиповича и многожды благодарил его за машину. И странная вещь. Дети до того резвые, что не токмо Прасковья Тарасовна,— сам Никифор Федорович не мог их успокоить, а только являлся учитель на двор, они делались такими же безмолвными и недвижимыми, как и он сам. И в продолжение урока сидели как заколдованные, не смея даже согнать муху с носу. А между тем от учителя в продолжение урока они слова не слышали постороннего, и это-то, я полагаю, и была причина их околдования.

К 1-му декабря, т. е. в продолжение двух месяцев, был выучен букварь до последней буквы, даже и «иже хочет спастися». Прослушавши учеников своих последний урок, Степа торжественно встал, взял детей за руки и, подведя к Никифору Федоровичу, сказал:

— Букварь пришел к концу; хоть экзаменуйте.

— Без всякого экзамена верю. Но что мы будем делать дальше, добрейший наш Степан Мартынович? Не возьмете ли вы до праздника показать им гражданскую грамоту?

— Могу показать; даже можно начать хоть сегодня, только бы азбучка была.

— Нет, сегодня и завтра пускай они погуляют, а начнем послезавтра.

— Хорошо,— сказал Степа, взял картуз и поковылял в город. На лице его заметно было что-то вроде самодовольствия. Придя в город, он явился в аптеку и, увидя Карла Осиповича, сказал с расстановкою:

— Совершил!

Карл Осипович дружески пожал его костлявую руку, благодаря за услугу, и попросил его остаться обедать, забывая, что Степан Мартынович никогда ни с кем вместе не обедал. Даже в общей столовой брал себе обыкновенно галушек в миску и отходил в угол. Простившись с Карлом Осиповичем, вышел он на площадь, держа в руке полученные за труды два карбованца (халат, сапоги и прочее он прежде получил). Ходя по базару, он останавливался, смотрел вокруг

себя и снова продолжал шагать по базару. Пройдя через базар, он машинально пошагал за Трубеж, осмотрелся вокруг, своротил на золотоношскую дорогу и, передвигая медленно ноги, скрылся за Богдановой могилой.

Немало изумилися на хуторе, когда в назначенный день не явился учитель, и не могли придумать, что бы это значило. Вечеру приехал на хутор Карл Осипович. К нему обратились с вопросом, но и он не мог дать удовлетворительного ответа. Он только удивился такой неаккуратности. Карл Осипович справился в семинарии, но там забыли, как и зовут, только школьник какой-то закричал: — Это, должно быть, «пожар в шкаповых сапогах». — Вся аудитория громко засмеялась. Карл Осипович с тем, разумеется, и вышел.

Наконец, 6 декабря рано утром явился он [Степан Мартынович] на хутор, прося извинения за отлучку.

— Где же вы были? — спросил его Никифор Федорович.

— Носил родителям деньги в Глемязов.

— Какие деньги?

— А что от вас получил. Мои родители вас благодарят за покровительство.

Никифор Федорович с умилением посмотрел на его неуклюжую фигуру. Он никогда не позволял себе никаких над ним шуток, но после путешествия его в Глемязов смотрел на него с уважением. Занятия его пошли обыкновенным порядком. К праздникам дети довольно бегло читали гражданскую печать и даже выучили наизусть виршу поздравительную (это уже были затей Прасковьи Тарасовны). Пришел, наконец, и свят-вечер. Его [учителя] пригласили вместе с ними святую вечерю есть. Тут уже он не мог отказаться; а перед тем, как садиться за стол, позвал его Никифор Федорович в свою комнату и возложил на рамена его новый демикотоновый сюртук и вручил ему три карбованца. У Степы слезы показались на глазах, но он вскоре оправился и сел за вечерю.

Ночь перед рождеством христовым — это детский праздник у всех христианских народов, и только празднуется разными обрядами; у немцев, например, елкою,

у великороссиян — тоже, а у нас после торжественного ужина посылают детей с хлебом, рыбой и узваром к ближайшим родственникам; и дети, придя в хату, говорят: — Святый вечер! Прислалы батько и маты до вас, дядьку, и до вас, дядыно, святую вечерю, — после чего с церемонией сажают их за стол, уставленный разными постными лакомствами, и потчуют их, как взрослых; потом переменяют им хлеб, рыбу и узвар и церемонно провожают. Дети отправляются к другому дяде, и когда родня большая, то возвращаются домой перед заутреней, разумеется, с гостинцами и с завязанными, вроде пуговиц, в рубашку ш а г а м и.

Мне очень нравился этот прекрасный обычай. У нас была родня большая. Бывало, посадят нас в сани да и возят по гостям целехонькую ночь.

Я помню трогательный один «святой вечер» в моей жизни. Мы осенью схоронили свою мать, а в «святой вечер» понесли мы вечерю к дедушке и, сказавши: — Святый вечер! Прислалы до вас, диду, батько и... — и все трое зарыдали; нам нельзя было сказать: — и маты.

После ужина просили Никифор Федорович и Прасковья Тарасовна Степана Мартыновича отвезти с детьми вечерю к Карлу Осиповичу. Он, разумеется, не отказался, тем более, что он чувствовал на себе новый демикотоновый сюртук. Возвратясь благополучно из города с детьми, пригласили его ехать вместе к заутрене. Прослушав заутреню у Покрова, к обедне он пошел в собор, где, разумеется, были и оставшиеся на праздники семинаристы. Чтобы торжественнее блеснуть своим сюртуком, он выпросил у пономаря позволение снимать со свечей во время обедни. И в Степе пошевельнулася страстишка!

Когда после праздников явился на хутор Степа, его не узнавали: он переродился, — он начал говорить, чего прежде за ним и не подозревали. Спросили его, как он во время праздников веселился. — Весело, — гово-

рит.— У кого бывал? — Родителей,— говорит,— посетил.— Он опять спутешествовал в Глемязов, чтобы оставить там подаренные к празднику три карбованца, а вместе с тем и блеснуть своим новым сюртуком.

Мало-помалу в нем начали (кроме букваря) [обнаруживаться] и другие познания. Оказалось, что он четыре правила арифметики знает как свои пять пальцев, только бессознательно; русскую грамматику знает не хуже самого профессора, только бесприложительно, да для хорошего учителя это и лишнее.

Великое дело поощрение! Одни только гениальные натуры могут собственными силами пробить грубую кору холодного эгоизма людского и заставить обратить на себя изумленные глаза толпы. Для натуры обыкновенной поощрение — как дождь для пажити. Для натуры слабой, уснувшей, как Степа, одно простое внимание, слово ласковое освещает ее, как огонь угасшую лампаду. Демикотоновый сюртук, а более — ласковое обращение Никифора Федоровича разбудили слабые, спавшие силы души в неоконченной организации Степана Мартыновича. В нем оказались не только способности простого учителя, но он оказался еще и латинист немалый. Хотя тоже вроде автомата, но довольно внятно для Никифора Федоровича в пасике, под липою лежа, читал Тита Ливия³⁷.

По ходатайству Никифора Федоровича, преосвященный Гедеон выдал ему стихарь дьячка и место при церкви св. Бориса и Глеба, что против хутора. С тех пор Степан Мартынович зажил паном и до того дошел, что кроме юфтовых сапогов никаких не носил; в доме же Никифора Федоровича он сделался необходимым членом, так что без него в доме как будто чего недоставало. Правда, что в нем остроты и бойкости мало прибыло, но выражение лица совершенно изменилось: как будто освежело, успокоилось и сделалось невыразимо добрым, так что, глядя на его лицо, не замечаешь дисгармонии линий, а любишься только выражением. Великое дело сделал ты, Никифор Федорович, своим сюртуком и тремя карбованцами! Ты из

идиота сделал существо если не высокомыслящее, то глубокочувствующее существо.

Зося и Ватя между тем учились и росли. А росли они, как сказочные богатыри, не по дням, а по часам, а учились они тоже по-богатырски. Но тут нужно принять в соображение учителя. Степан Мартынович показывал им не по своему разумению, а как напечатано, и сам себе говорил иногда: — Не я буду виноват, не я его печатал. — На тринадцатом году это были взрослые мальчишки, которым можно было дать, по крайней мере, лет пятнадцать, и так между собой похожи друг на друга, что только одна Прасковья Тарасовна могла различить их. И это сходство не ограничивалось одною наружностью: они ходили друг на друга всем существом своим. Например, Ватя хотел учиться, и Зося тоже; Зося хотел гулять, и Ватя тоже. Все, кто посещал хутор сотника Сокиры, не говоря уже о Карле Осиповиче, все были в восторге от детей, а о Никифоре Федоровиче и Прасковье Тарасовне и говорить нечего.

Однажды вечером нечаянно приехал на хутор Карл Осипович и застал хозяев чуть не в драке.

— Ну, та нехай, нехай уже буде по-твоему, — говорил скороговоркою Никифор Федорович: — выбирай, какого сама знаешь.

— Нет, вы выбирайте: я ничего не знаю, я им просто чужая.

В это время вошел в комнату Карл Осипович, и Прасковья Тарасовна обратилась к нему:

— Вот! Вот пускай хоть они нас разделят.

— Вы до сих пор не делились, чем же вы вздумали теперь делиться, скажите? — проговорил Карл Осипович, ставя в угол свою палку и шляпу.

— А вот чем, Карл Осипович! Мы уже порешили, — говорила Прасковья Тарасовна, — чтобы одного нашего сына определить в военную службу, а другого по штатской, так теперь не разделим их, кого куда.

— Обоих по штатской, но сначала нужно их чему-нибудь научить.

— И я так говорю,— проговорил спокойно Никифор Федорович.

— Господи! Вырастут, так научатся. Отец Лука и теперь не надивуется их познаниям. Да теперь же им скоро по четырнадцатому году пойдет, нужно думать что-нибудь.

— Я думаю сделать из них пока хороших семинаристов.

— А я офицеров.

— Быть по-твоему, делай себе офицера, а я пока семинариста. Теперь, значит, дело стало за тем, кому быть семинаристом, кому офицером. Пускай же решит судьба: кинем жребий, а вы будьте свидетелем, Карл Осипович.

Кинули жребий, и по жребию выпало: Зосиму быть офицером, а Савватию — семинаристом.

С того вечера Прасковья Тарасовна как будто бы начала предпочитать Зосю Вате, разумеется, в мелочах. Однако ж эти мелочи заметил, наконец, и Степан Мартынович и говорил однажды в пасике после чтения Тита Ливия, что это нехорошо, что одной матери дети, что должно быть всё равно. Он говорил это про себя, а Никифор Федорович слышал про себя и горько улыбнулся.

Через год после этого происшествия решено было общим советом везти Зосю в Полтаву в кадетский корпус, а Ватю определить в гимназию в той же Полтаве. Сказано и сделано.

В одно прекрасное утро, то есть часу около десяти, из хутора выехала туго нагруженная бричка, так туго, что четверка здоровых лошадей едва ее двигала. За бричкою ехала простая телега одноконь, тоже нагруженная и покрытая воловьей шкурой по-чумацки. Это были запасные харчи. Вперед же на своей беде рысцою поехал в город Карл Осипович, чтобы прилично встретить дорогих гостей на пороге своего дома. Сзади же транспорта шагал, как бы конвоируя его, Степан Мартынович и говорил про себя: — Напрасно, напрасно, ей-богу. Лучше бы в семинарию. И я мог бы

быть еще полезен, а для их пользы я готов снова поступить в семинарию.— Так рассуждая, Степан Мартынович наткнулся на телегу с харчами и тогда только ясно увидел, что не одна телега, но и бричка тоже остановилась перед домом Карла Осиповича. У старого холостяка еще раз закусили на дорогу, чем бог послал у старца в келии, а для аппетита Никифор Федорович должен был выпить рюмку водки с гофманскими каплями. После закуски простились и начали грузиться в бричку, причем Карл Осипович не забыл Зосе и Вате сунуть в карман по коробочке мятных лепешек. Транспорт тронулся и скрылся за углом. Карл Осипович и Степан Мартынович тоже расстались. Карл Осипович остался дома, потому что нужно было рецепты отпустить, а Степан Мартынович пошел на хутор, потому что он теперь на хуторе полновластный владыка. Но владычество свое, кроме ключей от коморы, он готов передать Марине и, как во дни оны феодальный дукат³⁸ какой-нибудь, готов был пешком путешествовать не в Палестину, разумеется, а только в Полтаву, того ради, чтобы, если нельзя будет лично присутствовать при приемном экзамене, то хоть стороною нельзя ли будет сделать какое-нибудь влияние на это дело, так близко касающееся его благородного сердца. Придя на хутор, он сказал Марине: — Благодушная Марино, я пойду в Андруши: преосвященный приехал и присылал за мною, есть дело; так ты не отлучайся из дому, и если я там заночую, так это ничего, ты не тревожься. Все будет благополучно.— И, не давши времени сделать какое-либо возражение благодушной Марине, он сказал: — Прощайте,— и вышел за ворота. Проходя через город, он вспомнил, что с ним не было ни копейки денег. Для этого он снова воротился на хутор, взял карбованец денег, повторил наставление Марине, с прибавлением, что если он и другую ночь заночует в Андрушах, так чтобы она не беспокоилась. Сказал и ушел.

Если Никифор Федорович воображает, что его верный Степа лежит теперь под липою в пасике и читает вслух Тита Ливия, то он сильно ошибается. Степан Мартынович, забыв всё на свете, кроме вступительного

экзамена своих питомцев, удвоенным шагом мерял пирятинскую дорогу. В Яготине он подночевал и, вставши на заре, к поздней обедне был уже в Пирятине. Пообедавши куском хлеба и таранью и отдохнувши немного под церковною оградой, он бодро пустился в путь и слушал всеобщее бдение в лубенском монастыре перед ракою святого Афанасия, патриарха александрийского. Переночевал в странноприимной и тут выслушал от какого-то переходящего богомольца легенду об успении святого Афанасия в сидячем положении и о том, что дочери лютого Иеремии Вишневецкого Корибута снился сон, что она была в раю и ее оттуда вывели ангелы, говоря, что если она своим коштом выстроит храм божий в добрах своих близ города Лубен, то поселится уже на веки вечные в раю. Она и соорудила храм сей. Тут только рассказчик заметил, что слушатель его давно играет на волторне, и рассказчик не медлил слушателю вторить, взявши октавою ниже, из чего и вышел презрительный дуэт. Рано поутру мой пилигрим вышел за Сулу и пустился через знаменитое урочище N. прямо в Богачку, только воды напился около корчмы, что на Ромодановском шляху. Отдохнувши в Богачке у странноприимной старушки Марии Ивановны Ячной, он ввечеру уже отдыхал под горою у переправы через Псел, что в местечке Белоцерковке. Тут еще на пароме какой-то остряк паромщик спросил его: — А что, я думаю, в Ерусалим правуете, странниче? Зайшли б до нашей пани Базилевской та попросылы б на ладан: вона богобоязненна пани, може, ще й нагодуе вас хоч борщем та рыбою из Псла.— Степан Мартынович как бы не слышал сарказма перевозчика и, отдохнувши во время переправы, он, помолясь богу, пустился в путь и в полночь очутился близ Решетилówki; но чтоб не приняли его за вора, рассудил отдохнуть под вербою. Купивши бубликов на базаре за три шага и искупавшись в речке N., пустился в путь, пожеывая бублички, и не отдыхал уже до самой Полтавы.

А Никифор Федорович, путешествуя, что называется, по-хозяйски, не в ущерб себе и коням, на другой день оставивши Яготин или, лучше, Гришковскую

корчму, не доезжая Яготина, оставил пирятинскую дорогу влево и поехал гетманским шляхом, через Ковалевку, в Свичкино городище навестить при таком удобном случае друга своего и сына своего благодетеля, полковника Свички, Льва Николаевича Свичку, или, как он называл себя, огарок, потому что свичка сгорела на киевских контрактах.

Об этих знаменитых контрактах я слышал от самого Льва Николаевича вот что: что покойному отцу его (думать надо, с великого перепою) пришла мудрая мысль выкинуть такую штуку, какой не выкидывал и знаменитый пьяница К. Радзивилл³⁹. Вот он, начинивши в ализы ассигнациями, поехал в Киев и перед съездом на контракты скупил в Киеве всё шампанское вино, так что, когда начались балы во время контрактов, хватать! — ни одной бутылки шампанского в погребах. — Где девалось? — спрашивают. — У полковника Свички, — говорят. К Свичке, — а он не продает. — Пьйте, — говорит, — так, хоч купайтесь в ёму, а продажи нема. — Нашлись люди добрые и так выпили. После этой штуки Свичкино Городище и прочие добра вокруг Пирятина начали таять, аки воск от лица огня. Поэтому-то наследник его справедливо называл себя огарком.

Прогостивши денька два в Городище, они на третий день двинулись в путь и к вечеру благополучно прибыли в Лубны. Так как в Лубнах знакомых близких не было, то они, отслужив в монастыре молебен угоднику Афанасию, отправились далее. Хотелось было Никифору Федоровичу проехать на Миргород, чтобы поклониться праху славного козака-вельможи Трощинского⁴⁰, но Прасковья Тарасовна воспротивилась, а он не охотник был переспаривать. Так они, уже не заезжая никуда, через неделю прибыли благополучно в Полтаву.

А тем временем наш дьячок-педагог обделал все критические дела в пользу своих питомцев, сам того не подозревая.

В самый день прибытия своего в Полтаву он отправился в гимназию (к кадетскому корпусу он боялся и близко подойти, говоря: — Все москали, може, ще й застрелять) и узнал от швейцара, где житель-

ствует их главный начальник. Швейцар и показал ему маленький домик на горе против собора.— Там,— говорит,— живет наш попечитель.— Степан Мартынович, сказав: — Благодарю за наставление,— отправился к показанному домику. У ворот встретил его высокий худощавый старичок в белом полотняном халате и в соломенной простой крестьянской шляпе и спросил его:

— Кого вы ищете?

— Я ищу попечителя.

— Нащо вам ёго?

— Я хочу ёго просыть, що, як буде Савватий Сокира держать экзамен в гимназии, то чтоб попечитель не оставил его.

— А Савватий Сокира хйба ридня вам? — спросил старичок, улыбаясь.

— Не родня, а только мой ученик. Я для того и в Полтаву пришел из Переяслава, чтобы помочь ему сдать экзамен.

Такая заботливость о своем ученике понравилась автору перелицованной «Энеиды», ибо это был не кто другой, как Иван Петрович Котляревский. Любя все благородное, в каком бы образе оно ни являлось, автору знаменитой пародии сильно понравился мой добрый оригинал. Он попросил к себе в хату Степана Мартыновича и, чтоб не показать ему, что он самый попечитель и есть, то привел его в кухню, посадил на лаву, а на другой, в конце стола, сам сел и молча любовался профилею Степана Мартыновича. А Степан Мартынович читал между тем церковными буквами вырезанную на своде надпись: «Дом сей сооружен рабом Божиим Н. року божого 1710». Иван Петрович велел своей лезде (старой и единственной прислужнице) подавать обед здесь же, в кухне. Обед был подан. Он попросил Степана Мартыновича разделить его убогую трапезу, на что бесцеремонно он и согласился, тем более, что после решетиловских бубликов со вчерашнего дня он ничего не ел.

После борща с сушеными карасями Степан Мартынович сказал: — Хороший борщик!

— Насып, Гапко, ще борщу! — сказал Иван Петрович.

Гапка исполнила. После борща и продолжительной тишины Степан Мартынович проговорил:

— Я думаю еще просить попечителя о другом моем ученике, тоже Сокире, только Зосиме.

— Просите, и дастся вам,— сказал Иван Петрович.

— Зосим Сокира будет держать экзамен в корпусу кадетскому, так чи не поможет он ему, бедному?

— Я хорошо знаю, что поможет.

— Так попросите его, будьте ласкави.

— Попрошу, попрошу. Се дило таке, що зробить можна, а вин хоч не дуже мудрий, та дуже не-лукавий.

Степан Мартынович в это время вывязал из клетчатого платочка и выбрал из мелочи гривенник и сунул в руку Ивану Петровичу, говоря шопотом:

— Здасться на бубльчки.

— Спасыби вам, не турбуйтеся!

Степан Мартынович, видя, что гривенника его не хотят принять, завязал его снова в платочек, повторил еще два раза свою просьбу и, получа в десятый раз уверение в исполнении ее, он взял свой посох и бриль, простился с Иваном Петровичем и с Гапкою и вышел из хаты. Иван Петрович, провожая его за ворота, сказал:

— Чи не доведеться ще раз буты в наших местах, то не цурайтесь нас!

— Добре, спасыби вам,— сказал Степан Мартынович и пошел через площадь к дому Лукьяновича, чтобы оттуда лучше посмотреть на монастырь та, помолясь богу, и в путь. Долго смотрел он на монастырь и его чудные окрестности; потом посмотрел на солнце и, махнув рукою, пошел по тропинке в яр с намерением побывать в святой обители; но как тропинок много было, ведущих к монастырю, то он, спустясь с горы, призадумался, которую бы из них выбрать самую близкую, и выбрал, разумеется, самую дальнюю, но широкую. Своротя вправо на избранный путь, он вскоре очутился на убитой колесами неширокой дороге,

вьющейся по зеленому лугу между старыми вербами и ведущей тоже к монастырю. Пройдя шагов несколько, он увидел сквозь темные ветви осокора тихий, блестящий залив Ворсклы. Дорожка, обогнувши залив, вилась под гору и терялась в зелени. Вокруг него было так тихо, так тихо, что герой мой начинал потрухивать. И вдруг среди мертвой тишины раздался звучный живой голос, и звуки его, полные, мягкие, как бы расстилались по широкому заливу. Степан Мартынович остановился в изумлении, а невидимый человек [продолжал] петь. Степан Мартынович прошел еще несколько шагов, и уже можно было слышать слова волшебной песни:

Та яром, яром
За товаром.
Манівцями
За вівцями.

Вслушиваясь в песню, он незаметно обогнул залив и, обойдя группу старых верб, очутился перед белою хаткою, полускрытой вербами. На одной из верб была прибита дощечка, а на дощечке намалеваны белой краской пляшка и чарка. Под тою же вербою лежал в тени человек и продолжал петь:

Та до порога головами,
Вставай рано за волами!

А около певца стояла осьмиугольная фляга, похожая на русский штоф, с водкою на доньшке, и в траве валялись зеленые огурцы. Певец кончил песню и, приподымаясь, проговорил:

— Теперь, Овраме, выпый по трудах.

И, взявши флягу в руку, он посмотрел на свет, много ли еще в ней осталось духа света и духа разума.

— Эге-ге, лыха годино! Що ж мы будемо робить, Овраме? — неповна, анафема! — и при этом вопросе он кисло посмотрел на хатку, и лицо его мгновенно изменилось. Он бросил штоф и вскрикнул:

— «Пожар в сапогах»!

Степан Мартынович вздрогнул при этом восклицании и встал с призбы, где он расположился было отдохнуть.

— «Пожар в сапогах!» «Пожар в сапогах!» — повторял певец, обнимая изумленного Степана Мартыновича. Потом отошел от него шага на три, посмотрел на него и сказал решительно:

— Не кто же иной, как он. Он — «пожар в сапогах», — и, пожимая его руки, спросил:

— Куда ж тебе оце несе? Чи не до владыки часом? Якщо так, то я тобі скажу, що ты без мене ничего не зробиш, а купиш квартиру горилки, гору переверну, не тилько владыку.

И действительно, говоривший был похож на древнего Горыню: молодой, огромного роста, а на широких плечах вместо головы сидел черный еж; а из пазухи выглядывал тоже черный полугодовалый поросенок.

— Так? Кажи!

— Я не до владыки, я так соби, — отвечал смущенный Степан Мартынович.

— Дурень, дурень: за квартиру смердячої горилки не хоче рукоположиться во диакона. Ей-богу, рукоположу, — вот и честная виночерпия скаже, что рукоположу, я велькою сылою орудую у владыки.

— Так как же я без харчив до Переяслава дойду?

— Дойду, дойду, дурню! Та я тебе в одын день по пошти домчу.

Степан Мартынович начал развязывать платок, а певчий (это действительно был архиерейский певчий) радостно воскликнул:

— Анафема! Шинкарко, задрипо, горилки! Квартиру, дви, три, видро! проклята утроба!

Степан Мартынович, смиренно подавая гривенник, который возвратил ему Иван Петрович, сказал, что деньги все тут.

— Тсс! Я так тилько, щоб налякать ии, анафему.

Водка явилась под вербою, и приятели расположились около малёваной пляшки. Певчий выпил стакан и налил моему герою. Тот начал было отказываться, но богатырь-бас так на него посмотрел, что он протянул дрожащую руку к стакану. А певчий проговорил:

— А еще и дьяк!

И он принял пустой стакан от Степана Мартыновича, налил снова и посекундачил, т. е. повторил, об-

тер рукавом толстые свои губы и проговорил усиленным [басом] протяжно:

— Благословы, владыко!..

Степан Мартынович изумился огромности его чистого, прекрасного голоса, а он, заметя это, взял еще ниже:

— Миром господу помолимся!

— Тепер можна для гласу...

И он выпил третий стакан и, сморщась, молча показал пальцем на флягу, и Степан Мартынович не без изумления заметил, что фляга была почти пуста. [Он] отрицательно помахал головою.

— Робы, як сам знаєшь, а мы тымчасом...—и, крикнувши, он запел:

Ой, ішов чумак з Дону...

И когда запел:

Ой доле моя, доле,
Чом ти не такая,
Як інша, чужая? —

из маленьких очей Степана Мартыновича покатались крупные слезы. Певец, заметя это и чтобы утешить растроганного слушателя, запел, прищелкивая пальцем:

У неділю рано-вранці
Ішли наші новобранці,
А шинкарка на їх морт:
Іду, братіки, на торг!

Кончив куплет, он выпил остальную водку, взглянул на собеседника и выразительно показал на шинок. Безмолвно взял флягу Степан Мартынович и пошел еще за квартиру, а входя в шинок, проговорил:

— Пошлет же господь такой ангельский глас недостойному рабу своему.

И пока шинкарка делала свое дело, он спросил ее:

— Кто сей, с которым возлежу?

— Се — бас из монастыря, — отвечала она.

— Божеский бас, — говорил про себя Степан Мартынович.

— Якбы не бас, то б свыней пас, — заметила шинкарка. — Пьяныця непросыпуца.

— Оно так, но, жено, басы такии и повинны быть.

— И вы тоже бас? — спросила шинкарка.

— Нет, я не владею ни единым гласом.

— И добре робыте, що не владеете.

Через полчаса явился опять в шинок с пустой флягой Степан Мартынович, и шинкарка, наполняя ее, про себя сказала:— От пьют, так пьют! — Возвратясь под вербу, он поставил флягу около баса и сам лег на траве вверх брюхом, подражая боговдохновенному басу. Бас же, не говоря ни слова, налил стакан водки и вылил ее в свою развёрстую пасть, пощупал траву около половинки огурца и поднес пустые пальцы ко рту, пробормотал:— Да воскреснет бог! — и, обратясь к Степану Мартыновичу, сказал почти повелительно:

— Дерзай! — и Степан Мартынович дерзнул. Бас и себе дерзнул и уже не искал закуски, а только щелкнул языком и проговорил:

— Эх! Якбы тепер отец Мефодий. От бас — так бас! А все-таки мене не перепье!

И он выпил еще стакан. Фляга опять была пуста. Он посмотрел на Степана Мартыновича и показал на шинок, но Степан Мартынович побожился, что у него ни полпенязя в кишени. Тогда бас бросился на него и, схватя его за руку, вскрикнул:

— Брешешь, душегубец, бродяга! Ты паству свою покинул без спросу владыки и блукаешь теперь по дебрях та добрых людей грабишь. Давай кварту, а то тут тебе и аминь!

— Поставлю, поставлю, отпусти только душу на покаяние,— говорил запинаясь Степан Мартынович.

Бас, выпуская его из рук, лаконически сказал:

— Иды и несы!

Степан Мартынович, схватя флягу, бросился в шинок и почти с плачем обратился к шинкарке:

— Благолепная и благодушная жено! — (он сильно рассчитывал на комплимент и на текст тоже) — изми мя от уст львовых и избави мя от руки грешничи — поборгуй хотя малую полкварту горилки.

— А дзусь вам, пьяницы! — сказала лаконически шинкарка и затворила дверь.

Вот тебе и «поборгувала»! Выходит, что комплименты не одинаково действуют на прекрасный пол.

Ошеломленный такою выходкою благолепной жены, он долго не мог опомниться и, придя в себя, он долго еще стоял и думал о том, как ему теперь спастись от руки грешничи. Самое лучшее, что он придумал, упасть к ногам баса и возложить упование на его милосердие. С этой мыслью он подшел к вербе, и — о радость неизреченная! — бас раскинулся во всю свою высоту и широту под вербою и храпел так, что листья сыпались с дерева, как от посвиста славного могучего богатыря Соловья-разбойника.

Видя такой благой конец сей драматургии, герой мой не медля «яхся бегу» глаголя: «стопы моя направи по словеси твоему, и да не обладает мною всякое беззаконие».

Пройдя недалеко под гору, он свернул с дорожки и прилег отдохнуть под густолиственной липою — и вскоре захрапел не хуже всякого баса.

Благовест к вечерне разбудил моего героя. Проснувшись, он долго не мог понять, где он. И начиная перебирать происшествия целого дня, начиная со старичка в белом халате и бриле, он постепенно дошел до трагической сцены под вербою и благополучного конца ее. Тогда, осенив себя знамением крестным, он встал, вышел на дорожку, и дорожка привела его к самым стенам монастыря. Вечерня уже началась, уже читал чтец посередине церкви первую кафизму, а клир пел: «Работайте господеву со страхом и радуйтеся ему с трепетом». Немалое же его было изумление, когда он в числе клира, именно на правом клиросе, увидел своего богатыря-баса. Как ни в чем не бывало, ревел себе, спрятавши небритый подбородок в нетуго повязанный галстук.

При выходе из церкви, бас заметил своего protégé и дал знак рукою, чтобы он последовал за ним.

— Ну, что если, боже чего сохрани, опять туда? Погиб я, — подумал он и следовал за басом, как агнец на заклание.

Однако же это случилось вопреки опасениям его. Они вошли в огромную трапезу, где уже братия садилася трапезовать, а певчие садились за особенный стол. Бас молча указал место и своему protégé.

В трапезе было почти темно, и когда зажгли свечки, то, увидя среди себя моего героя, весь хор воскликнул: — «Пожар в сапогах!» — Они все его знали еще в семинарии. После трапезы повели его в свою общую келию и, узнавши, что он завтра намерен принять обратный путь в Переяслав, все единогласно предложили ему место в своем фургоне, объяснив ему, что завтра после литургии владыка отъезжает в Переяслав, т. е. в Андруши, и что они, его певчие, туда же едут по почте. Тут раздумывать было не к чему, тем более, что в кармане у моего бедного героя гуло!

На другой день, часу в четвертом пополудни, фургон, начиненный певчими, несся, вздымая пыль, по переяславской дороге и, подъехав к корчме близ хутора Абазы, остановился. Дисканты просили пить, а басы просили выпить. Герою моему тоже хотелось было вылезть из фургона вместе с басами, и о ужас! — из корчмы в окно выглядывала, кто бы вы думали, сама Прасковья Тарасовна! Он повалился на дно фургона и молил дискантов накрыть его собою. Мальчуганы все разом повалились на него и так накрыли, что он чуть было не задохся. Слава богу, что басы недолго в корчме проклажались. Басы, учиня порядок и тишину в фургоне, велели почтарю рушать, а сами громогласно запели: «О всепетая маты, а все пивныки в хати». К ним присоединили и свои ангельские голоса дисканты, и вышла песня хоть куда.

Так весело и быстро продолжали они путь свой без всяких трагических приключений, кроме разве что в яготинском трактире басы общими силами поколотили первого баса, покровителя Степана Мартыновича, за буйные поступки, а потузивши, связали ему руки и ноги туго, положили его в фургон и в таком плачевном положении привезли его в Переяслав.

По прибытии в Переяслав Степан Мартынович благодарил хор за одолжение и, простившись с ним, зашел к Карлу Осиповичу, попросил у него полкарбованца для необходимого дела. Получа желаемое, зашел он в русскую лавку, купил зеленую хустку с красными бортами и пошел на хутор, размышляя о своем

странствовании, исполненном таких, можно сказать, драматических и поучительных приключений.

Подойдя к самым воротам хутора, он не без изумления услышал женский голос, поющий:

За три шаги півника продала,
За копійку дудника найняла.
Заграй мені, дуднику, на дуду,
Нехай свого лишенька забуду.

— Это Марина, это она, — подумал Степан Мартынович и вошел на двор. Войдя тихонько в кухню, он остолбенел от соблазна и ужаса. Марина, пьяная Марина, обнимала и целовала почтенного седоусого пасичника Корнея. Он не мог выговорить ни слова, только ахнул. Марина, отскочивши от пасичника, схватила его за полы и принялась плясать, пришевая:

Ой мій чоловік
На Волощину втік,
А я ціп продала
Та музики найняла.

— Марыно! Марыно! богомерзкая блуднице растленная, что ты робышь? Схаменьяся! — говорил Степан Мартынович. Но Марина не схаменулась и продолжала:

Ой заграйте мені,
Музиканти мої,
А я вам того дам,
Що ви зроду не бачили — і гу!

и запела снова:

Упилася я,
Не за ваші я;
В мене курка неслася,
Я за яйця впилася.

— Цур тобі, отьди, сатано! — вскрикнул он и, вырвавши полы из рук веселой Марины, побежал в пасику. Найдя всё в хорошем порядке, он лег под липою вздохнуть от треволнений.

— А может быть, они во время моего странствия уже и законным браком сочетались, а я поносил ее блудницею непотребною! — и в раскаянии своем он уснул и видел во сне бракосочетание Марины с Кор-

неем пасичником и что он был у сего последнего старшим боярином.

Солнце уже зашло, когда он проснулся. Придя на хутор, он нашел ворота затворенными, а кухню растворенную и на полу спящую Марину, а пасичник Корней под лавою тоже храпел. Он посмотрел на них, сострадательно покачал головою и, выходя в сени, сказал:

— А хустку все-таки треба ий отдать: она женщинына богобоязненная.

На другой день отдал он ей хустку и просил, чтобы она никому ни слова не проговорила об его отсутствии, а она просила его, чтобы он тоже молчал о вчерашнем ее поведении. И они поклялися друг другу хранить тайну.

По истечении пяти с половиною седмиц возвратились после долгого отсутствия благополучно на свой хутор и Никифор Федорович и Прасковья Тарасовна. Радостно отворял им ворота Степан Мартынович, высаживал из брички и вводил в покои. Когда суматоха немного утихомирилась, а к тому времени подъехал на своей беде и Карл Осипович, то уже перед вечером собралися все четверо на ганку, и началось повествование о столь продолжительном странствовании. Сначала взяла верх Прасковья Тарасовна, а потом уже Никифор Федорович. Прасковья Тарасовна начала так:

— Попрощавшись с вами, Карл Осипович, в среду, а в четверг рано мы были уже в Яготине. Пока Никифор Федорович закусывали, я с дитьми вышла из брички та и хожу себе по базару; только смотрю, на базаре стоит какой-то круглый будынок, и столбы кругом, кругом. Меня диты и спрашивают:— Маменька, что это такое? — Я и говорю: — Ей-богу, деточки, не знаю, надо будет спросить кого-нибудь. — Смотрю, на наше счастье, идет какая-то молодыця. Я и кричу ей: — Молодыце! а йды,— говорю,— сюда! — Она по-

дошла.— Скажи, голубко, что это у вас там на базаре стоит? — Вона и говорить: — Церковь.— Церковь,— думаю собі,— чи не дурить вона нас? — Только смотрю,— и крест наверху, на круглой крыше.— Господи,— думаю собі,— уж я ли церкóв у Києве не видала, а такой, хоть побожиться, так, я думаю, и в Ерусалиме нет.— Из Яготина заехали мы в Городище. Прекрасный человек — Лев Николаевич! А какие у него деточки, просто ангелы божии, особенно Наташа, особенно когда запоет, просто прелесть, да еще и пальчиками прищелкнет. И так полюбила моего Зосю, что заплакала, когда прощались. Были в монастыре в Лубнах, заказывали молебен святому Афанасию. Точно живой сидит за стеклом, мой голубчик. Вот церковь — так церковь, хоть с нашим Благовещением рядом поставить.

— Только не ставь рядом нашего нового иконостаса,— перебил ее Никифор Федорович.

— Ну, та я уж там этого не знаю. В Хороле тоже ночевали. Только я, признаться, его и не видала, какой он там той Хорол: проспала себе всю станцию, проснулась уже в Вишняках за Хоролом. Там-то мы и ночевали, а не в самом Хороле. Село огромное, только такое убогое, что страх посмотреть. Помещик, говорят, пьяныця непросыпуща, живет десь, бог его знает; в Москве, говорили, или в Петербурге, а управитель что хочет, то и делает. Как-бо его зовуть, того помещика, кат его возьми? Никифор Федорович, вы чи не припомните?

— N.,— сказал Никифор Федорович,— Оболонский.

— Да, да, N., так и есть N. А церковь какая прекрасная вымурована за селом, как раз против господского дома! Говорят какая-то генеральша Пламенчиха вымуровала над гробом своего мужа,— праведная душа! Еще в Белоцерковке тоже ночували и переправлялись на пароме через реку. Я страх боялася: паром маленький, а бричка наша — слава богу! Белоцерковская пани, говорят, страшно богата, а ест только одну тарань, и то по скоромным дням, а с железного сундука с червонцами никогда и не встает,— так и спит на нем. Говорят, когда загорелся у нее магазин

с разными домашними добрами,— говорят, полотно одного, десятки, возов на сто было, и можно было б хоть половину спасти. Что ж вы думаете? — не велела: раскрадут, говорит; лучше пускай горит.— Тьфу, какая скверная!

— В Решетиловке церков с десять, я думаю, будет, и живут всё козаки. Перед самою Полтавою обедали в корчме, и только что лег отдохнуть Никифор Федорович, приезжают архиерейские певчие.

Степан Мартынович завертелся на стуле.

— Входят в корчму, и один как заревел: — Шинкарко, горилки! — Я так и умерла со страху; отроду не слыхала такого страшного голоса. А собою здоровый, высокий, а на голове волосы, как щетина, так и торчат.

— А про самую Полтаву я и рассказать не умею. Рассказывайте уже вы, Никифор Федорович.

Тоже явление необыкновенное: жена отказывается говорить — в пользу мужа.

— Хорошо, я уже все до конца доскажу, а вы бы тимчасом похлопотали коло вареников. Карл Осипович и Степан Мартынович, я думаю, что не откажутся повечерять с нами.

Оба слушателя в знак согласия кивнули головами, а Прасковья Тарасовна встала и ушла в комнаты.

— Да,— начал Никифор Федорович,— благословение господне не оставило таки наших деточек. Я, правду сказать, никогда в Полтаве не бывал и не имею там никого знакомых. Только по слуху знал, что попечителем гимназии наш знаменитый поэт Котляревский. Я, узнавши его квартиру, отправился прямо к нему. Представьте себе, что он живет в домике в сто раз хуже нашего. Просто хата. А прислуги только и есть, что одна наймичка Гапка да наймит Кирик. Сам он меня встретил, ввел в хату, посадил с собою рядом и начал меня спрашивать, какое мое до него есть дело. Я ему сказал и прошу его помощи. Только он усмехнулся и спрашивает:— Как ваша фамилия? — Я сказал: Сокира.— Сокира, Сокира,— повторил он.— У вас двое детей — Зосим и Савватий.

Степан Мартынович сидел как на иголках.

— Котляревский продолжал: — Одного вы хотите определить в гимназию, а другого в кадетский корпус. — Так точно, — говорю я, — но спросить его не посмел, откуда он всё это знает. — Вы, кажется, удивляетесь, — говорит он, — что я знаю, как ваших детей зовут. — Немало, — говорю, — удивляюсь. — Слушайте, — говорит, — я расскажу вам историю.

Степан Мартынович задрожал от страха.

— Однажды я гуляю себе около своих ворот, — начал было он рассказывать; только в это время вошел высокий лакей и говорит, что княгиня Р[епнина] просит к себе на чай. Он сказал, что будет, а я, взявши шапку, хотел проститься и уйти, а он и говорит мне: — Не гневайтесь на меня, зайдите завтра поутру, да приведите и козаков своих. — Степан Мартынович вздохнул свободнее. — Да что же я тороплюсь? Время терпит, — говорит, — а история в трех словах. Да, так гуляю около ворот, смотрю, подходит ко мне...

При этом слове Степан Мартынович повалился в ноги Никифору Федоровичу и возопил:

— Пощадите меня, раба недостойного, я преступил вашу святую заповедь: я оставил ваш дом и бежал во след ваш в самую Полтаву.

Никифор Федорович понял, в чем дело, и, целуя Степана Мартыновича, поднял на ноги и усадил на стул, и, когда успокоился, он рассказал всю историю, как ему рассказывал сам попечитель.

— Господи, прости меня окаянного! А я, недостойный отрешить ремень сапога его, я... я дерзнул мало того, что сесть с ним рядом, но даже и трапезу разделять и, паче еще, гривенник давал ему за протекцию моих любезных учеников. О, просты, просты мене, господа! С таким великим мужем, с попечителем, и рядом сидеть, как с своим братом! Ох, аж страшно! Завтра же, завтра иду в Полтаву и упаду ему в ноги. Скажу...

— Не ходите завтра, — сказал Никифор Федорович, — а на то лето поедем вместе.

— Нет, не дождусь, умру до того лета, умру без покаяния. О, что я наделал!

— А вы наделали то, что через вас теперь дети наши приняты на казенный счет: один в гимназию,

другой в корпус. Вы так полюбились Ивану Петровичу, что он мало того, что через вас определил наших детей, а еще посылает вам в подарок свою «Энеиду» с собственноручным надписанием. И мне тоже, дай бог ему здоровья, тоже подарил свою «Энеиду» и тоже с собственноручной надписью. Пойдемте лучше в хату: тут уже темно, а в хате я вам и книгу вручу, и свою покажу.

Не описываю вам восторга Степана Мартыновича, когда он собственными глазами увидел книгу и прочитал: «Уважения достойному С. М. Левицкому на память. И. Котляревский».

— И фамилию мою знает, о муж великий! — и, рыдая, он целовал надпись.

После ужина Карл Осипович уехал в город, и на хуторе всё уснуло, кроме Степана Мартыновича. Он, взявши свою книгу, на човне переправился через Альту, пришел в свою нетопленную школу и, засветя каганец, принялся читать «Энеиду» и прочитал ее до конца. Солнце уже высоко было, когда взошел к нему в школу Никифор Федорович, а каганец горел и Степан Мартынович сидел за книгою.

— Добрый день, друже мой! — сказал он, входя в школу.

Степан Мартынович поднял голову и тогда только увидел, что каганец напрасно горит.

— Добрый день! Добрый день, Никифор Федорович! А я все прочитывал книгу. Неоцененная книга! Когда-нибудь в пасике я вам ее вслух прочту. Чудная книга!

— Именно чудная! Вот в чем моя речь: что мы теперь, друже мой, будем делать? Ведь мы теперь с вами одинокие! Учить вам теперь некого, а мне некого экзаменовать. Что мы будем теперь делать? а?

— Я и сам не знаю, — сказал с расстановкою Степан Мартынович.

— Я думаю вот что. Возьмите у меня наборг десять или два десятка пней пчел и заведите себе пасику хоть тут же около своей школы, да и пасичникуйте, а я тоже буду пасичниковать. А когда господь многомилостивый благословит ваше начинание, тогда возвратите вы мне



Т. Г. Шевченко. Будинок І. П. Котляревського в Полтаві, 1845 р. (акварель).

мои пчелы. А тымчасом мы будем в гости ходить один к другому. Согласны?

— Паче всякого согласия.

— А коли так, то примите от меня и моей жены сей недостойный подарок за ваше бескорыстие и истинно христианскую любовь к нашим бедным детям.

И он вручил ему кусок гранатового сукна, примолвя:

— Я за кравцем Беркою послал уже в город, шейте себе к покрову добрый сюртук и прочее.

Степан Мартынович держал сукно в руках, смотрел на него и не мог выговорить слова.

— На покрова как раз будет шесть лет, как вы в первый раз явились у меня в доме.

Со слезами благодарности принял дорогой подарок Степан Мартынович, и они вышли из школы. На хуторе встретил их Берко кравец с треугольным аршином в руках. Снял он мерку с Степана Мартыновича, причем ему не раз приходилось становиться на цыпочки, потому что он был непомерно невелик ростом, а Степан Мартынович непомерно велик. Снявши мерку, он тут же принялся кроить. На дом кравцам небезопасно давать целиком такой дорогой материал: как раз будешь без полы или без рукава. Прасковья Тарасовна тоже вышла посмотреть, как будут сюртук кроить, и тоже вынесла подарок недешевый, якобы от детей из Полтавы, и, подавая его Степану Мартыновичу, говорила:

— Вот этот черный шелковый платок для шии Зося прислал вам, а это — Ватя: тоже шелковая дорогая материя на жилет вам к покрове.

Принимая столь неоценимые подарки, Степан Мартынович говорил, рыдая от полноты сердечной:

— Что ти принесу или что ти воздам?

Надо заметить, что Степан Мартынович говорил на трех диалектах: чисто по-русски и, когда обстоятельства требовали, а иногда и без всяких обстоятельств, чисто по-малороссийски; в положениях же патетических — церковным языком и почти всегда текстами из священного писания.

Пока он проливал слезы благодарности, Прасковья Тарасовна вынесла из комнаты два куска холста, говоря:

— А это вам будет на рубашки. Это уже от меня принять не откажитесь. Сошьет же вам хоть и наша Марина, а мы ей дамо годовалую свинку за работу.

Степан Мартынович был выше всякого счастья. Закрыв лицо руками, он безмолвно вышел на крыльцо, сел на ступеньку и рыдал, как малое дитя.

Вскоре вышел и Никифор Федорович и, взявши его за руку, сказал:

— Мы вам думали сделать доброе, а вы плачете. Не обижайте же нас, сырых стариков, Степан Мартынович!

— Я в радости постéлю мою слезами моими омочу.

— Ну, так пойдемте в пасику. Ляжете там хоть на моей постели, та и мочить ее сколько угодно.

Степан Мартынович встал и молча последовал за Никифором Федоровичем. Придя в пасику, Никифор Федорович вынул из кармана мелок и отметил буквою Л десять ульев, говоря: — Боже благослови ваше начинание,— и прибавил, показывая на ульи:

— Примите в свою собственность, Степан Мартынович!

— Дайте мне хоть дух перевести. Вы меня умертвите вашими благодеяниями.

Они сели под липою, и при сем случае Никифор Федорович прочитал изрядную лекцию о пчеловодстве, а в заключение сказал:

— Трудолюбивейшая, богу и человеку угоднейшая из всех земнородных тварей — это пчела, а заниматься ею и полезно, и богу не противно. Этот смиренный труд ограждает вас от всякого нечистого соприкосновения с корыстными людьми, а между тем ограждает вас и от гнетущей и унижающей человека нищеты. По моим долгим опытам и наблюдениям, я дознал, что пчела требует не только искусного человека, но еще кроткого и праведного мужа. Вы же в себе вмещаете все сии добродетели, и с упованием на бога и святых его угодников Зосиму и Савватия будет благословенно и преумножено ваше начинание!

Степан Мартынович в благоговейном молчании слушал. Никифор Федорович продолжал:

— Нынешнее лето на исходе, уже, слава богу, сен-

тябрь на дворе. Следовательно, вам теперь нечего и думать пасику заводить, а вы уже начните с будущей весны, а теперь только выберите для пасики место и обсадите его какими-нибудь деревьями, хоть липами, например, а я, даст бог, положивши пчелы зимовать в погреб, съезжу недели на две, на три в Батурин. Там, около Батурина где-то, живет наш великий пасичник Прокопович. Послушаю его разумных наставлений, потому что я теперь думаю исключительно заняться пасикою.

На другой или на третий день после этой разумной беседы, поутру рано, ходил около своей школы Степан Мартынович в глубокой задумчивости, с «Энеидою» в руках. Он с нею никогда не разлучался. После долгой думы он отправился на хутор и, увидя Никифора Федоровича также в созерцании гуляющего и тоже с «Энеидою» в руках, он после пожелания доброго дня сказал:

— Знаете, что я придумал?

— Не знаю, что вы придумали.

— Я придумал, по примеру прочих дьячков, завести школу, т. е. набрать детей и учить их грамоте.

— Благословляю ваше намерение и буду споспешествовать оному по мере сил моих,— а помолчавши, он прибавил: — А пасики все-таки не оставляйте.

— Зачем же?.. Пасика пасикою, а школа школою.

Получив такое лестное одобрение своему предположению, он с того же дня принялся хлопотать около своей школы, укрыл ее новыми снопками, позвал двух молодых и велел вымазать внутри и снаружи белую глиною, а сам между тем недалеко от школы рыл все небольшие ямки для деревьев без всякой симметрии. Соседки, глядя на все эти затеи Степана Мартыновича, не знали, что и думать про своего дьяка, и, наконец, общим голосом решили, что дьяк их, решительно, женится; но когда увидели его на покрове в суконном гранатовом сюртуке, тогда в одно слово сказали: — На протопоповне.— Каково же было их удивление, когда после покрове их дьяк пропал и пропадал недели с три, а когда нашелся, то не один уже, а с четырьмя мальчиками — так лет от семи до десяти. Всё это было для соседок непроницаемою тайною, между тем как дело

само по себе было очень просто. Степан Мартынович побывал дома в Глемязове и привез с собою двух маленьких братьев и двух племянников — обучать их грамоте на собственный кошт. Фундамент школы был положен. Слава о его педагогическом великом даровании (разумеется, не без участия Карла Осиповича) давно уже гремела и в Переяславе и за пределами его и окончательно была упрочена принятием близнят Сокиры в гимназию и корпус. При таких добрых обстоятельствах к филипповке школа его была полна учениками и в изобилии снабжена всем для существования необходимым, а близлежащий хутор (не Сокиры, а другого какого-то полупанка) с десятью хатами был наполнен маленькими постояльцами разных званий.

Деятельности Степана Мартыновича раскрылось широкое поле, и он был совершенно счастлив.

Вскоре после Николы возвратился Никифор Федорович из Батурина от Прокоповича и, к немалому удивлению своему, увидел он недалеко около школы порядочный кусок земли, усаженный фруктовыми деревьями, и в нескольких местах кучи хворосту и кольев. То было приношение тароватых отцов учеников его, по большей части наумовских и березанских козаков.

Наступила зима. Занесло снегом и хутор Никифора Федоровича и школу Степана Мартыновича, но между заметами снегу, между школою и хутором, видны были сначала только формы огромных ступней Степана Мартыновича, а потом образовалась и утоптанная дорожка. После дневных трудов Степан Мартынович каждый вечер приходил на хутор, как говорил — почить от треволения дневного. Приходу его всегда были рады, особенно Прасковья Тарасовна. И действительно было чему радоваться: в подлунной не было другого человека, который бы с таким, если не вниманием, то, по крайней мере, терпением выслушивал в сотый раз повесть с одними и теми же вариантами, повесть о странствовании Прасковьи Тарасовны в Полтаву и обратно. Прибавляла она иногда к своему повествованию эпизод почти шопотом, иногда и погромче, если видела, что Ни-

кифор Федорович занят чем-нибудь или просто читал летопись Конисского. Тогда она почти одушевлялась, рассказывая о том, как они, возвращаясь из Полтавы, приехали к усению в Лубны в самый развал ярмонки и ввечеру ходили в театр и видели там, как представляли «Козака-стихотворца». (Тут она брала тоном ниже.)

— Прелесть! просто прелесть! Настоящий офицер той Козак-стихотворец, а Маруся — барышня та й годи. Не налюбуюся, бывало; да к тому еще [как] запоет:

Нуте, готовьте пляски, забавы!..

Ну, барышня, да и только, как будто вчера из Москвы приехала, а как дойдет до слов: «Ему Маруся навстречу бежит», да и пробежит немножко и ручки протянет, как будто до офицера... чи те, до Козака-стихотворца, я не вытерплю, бывало, просто зарыдаю, так чувствительно.

— Что это там так чувствительно? — спросит, бывало, Никифор Федорович, когда расслышит.

— Я розказую, как мы в Лубнах...

— Знаю, знаю. Козака или офицера стихотворца видели. Плюньте на эти рассказы, Степан Мартынович, да садитесь поближе, я вам прочитаю, как ходили наши козаки на Ладожский канал та на Орель линию высыпать. А вы бы лучше сделали, Прасковья Тарасовна, если б велели нам чего-нибудь сварить повечерять.

Заметить надо, что Никифору Федоровичу страшно не понравился знаменитый «Козак-стихотворец». Он обыкновенно говорил, что это чепуха на двух языках, и я вполне согласен с мнением Никифора Федоровича. Любопытно бы знать, что бы он сказал, если бы прочитал «Малороссийскую Сафо»⁴¹. Я думаю, что он выдумал бы какое-нибудь новое слово, потому что слово «чепуха» для нее слишком слабо. Мне кажется, никто так внимательно не изучал бестолковых произведений философа Сковороды, как к.[нязь] Ш.[аховской]. В малороссийских произведениях почтеннейшего князя со всеми подробностями отразился идиот Сковорода, а почтеннейшая публика видит в этих калеках настоящих малороссиян. Бедные земляки мои!.. Положим, публика — человек темный, ей простительно. Но великий грамматик наш Н. И. Греч⁴² в своей «Истории русской

словесности» находит [в них], кроме высоких эстетических достоинств, еще и исторический смысл. Он без всяких обиняков относит существование козака Климовского⁴³ ко времени Петра I. Глубокое познание нашей истории!

По прочтении эпизода из летописи Конисского друзья повечеряли и разошлись.

Так или почти так проходили длинные зимние вечера на хуторе. Иногда приезжал и Карл Осипович нанюхаться табаку из своей раковинной табакерки и уезжал не вечерявши, разве только иногда выпьет рюмочку трохимовки и закусит кусочком бубличка, а иногда так и совсем не закусит.

Время близилось к праздникам. Степан Мартынович уже начал распускать своих школяриков по домам. Уже и кабана, и другого закололи на хуторе. Прасковья Тарасовна собственноручно принялася за колбасы и прочие начинки к празднику. Везде и по всему видно было, что праздник на улице ходит, а в хату еще боится зайти.

В такой-то критический вечер приехал на хутор Карл Осипович и привез письмо с почты, и письмо то было из Полтавы от детей и — как бы вы думали от кого еще? От И. П. Котляревского. Прасковья Тарасовна, когда услышала, что письмо из Полтавы, вбежала в комнату и колбасу забыла оставить в вагани.

— Где же это письмо? Голубчик, Карл Осипович, где же письмо? Прочитайте мне, дайте мне его, я хоть поцелую.

— Отнесите сначала колбасу на место, а потом уже приходите письмо слушать, — сказал Никифор Федорович, развертывая письмо.

— Ах, я божевиальная, и не схаменуся! — вскрикнула она и выбежала за двери.

Вскоре все уселися вокруг стола, и началось торжественное чтение писем.

Сначала были прочитаны письма детей, с повторением каждого слова по несколько раз, собственно для Прасковьи Тарасовны, причем, разумеется, не обошлось без слез и восклицаний, как, например:

— Ах вы, мои богословы-философы! Соколы-орлы

мой сизые, хоть бы мне одним оком посмотреть теперь на вас!

Так как уже начинало смеркаться, то догадливая Марина, без всякого со стороны хозяйки распоряжения, внесла в комнату свечу и поставила на стол. Никифор Федорович развернул письмо Ивана Петровича, сначала посмотрел на подпись и [потом] уже начал читать.

«Ласкавии мои други, Никифор Федорович, Прасковия Тарасовна и Степан Мартынович!»

Все молча между собою переглянулись.

Но так как письмо было писано по-малороссийски, что не всякий поймет, а другой и понял бы, так уст своих марасть не захочет мужицкими словами, а потому я расскажу только содержание письма, отчего повесть моя мизерная много потеряет.

После обыкновенных поздравлений с наступающими праздниками Иван Петрович описывает добрые качества детей их и удивляется их необыкновенному сходству, как физическому, так и нравственному, и говорит, что он по мундирам их только и узнает. «Я за ними,— говорит,— посылаю каждую субботу. Воскресенье они проводят со мною, и я не налюбуюсь ими. Не желал бы я у себя иметь лучших детей, как ваши дети. Моя «Муха» наполняется еженедельно описанием их детских прекрасных качеств». Далее он пишет, что лучше бы было повести их по одной какой-нибудь дороге: по военной или по гражданской. А далее пишет, что нет худа без добра, что от различного их воспитания выйдет психический опыт, который и покажет, какая произойти может разница от воспитания между двумя субъектами, совершенно одинаково организованными. А дальше пишет, что он немало удивился, когда узнал, что они хорошо читают по-немецки и еще лучше по-латыни, и спрашивает, кто их учил (тут молча переглянулись Карл Осипович и Степан Мартынович). Потом пишет, что Гапка их тоже полюбила и снабжает их каждое воскресенье пирожками и бубликами на целую неделю. «Раз у меня Зося попросил гривенник на какую-то кадетскую требу, но я ему не дал: по опыту знаю, что нехорошо давать детям деньги».

— А может, оно, бедненькое, учителю хотело дать, чтобы лучше показывал,— проговорила Прасковья Тарасовна, но Никифор Федорович взглянул на нее по-своему, и она умолкла.

И говорит: «Чтоб вы об них не беспокоились: праздники они у меня проведут, а на свят-вечер с вечерею пошлю их к моему другу Н. У него тоже есть дети, и они там весело встретят праздник рождества христового». Дальше пишет, чтобы они не забывали его, старого, и чтобы на время каникул приезжали в Полтаву, и что в Полтаве квартиры очень дешевы, а что Гапка его варит отличный борщ из карасей сушеных. «Уж как это она делает,— говорит,— бог ее знает».

«Оставайтесь здоровы, не забывайте одинокого И. Котляревского.

Р. S. Поклонитесь, як побачитесь, доброму моему Степану Мартыновичу Левицкому».

По окончании письма Карл Осипович встал, понюхал табаку и сказал: — Ессе homo! ⁴⁴ — Степан Мартынович тоже встал и заплакал от умиления. Да и как не заплакать? Ему, ничтожному дьячку, пишет поклон, и кто же? Попечитель гимназии. Прасковья Тарасовна тоже встала и, обратясь к образам и крестясь, со слезами на глазах говорила: — Благодарю тебя, милосердый господи, за твое милосердие, за твою благодать святую! Послал ты ангела-хранителя моим малым сиротам на чужине.— И она молча продолжала молиться, а Никифор Федорович сидел, облокотясь над письмом, и хранил глубокое молчание. Потом свернул письмо, поцеловал его, глубоко вздохнул, встал из-за стола и молча вышел в другую комнату. Через полчаса он вышел, и глаза его как будто покраснели. Прасковья Тарасовна обратилась к нему с вопросом:

— Есть ли у него пасика? Я тогда, как была в Полтаве, и забыла спросить у Гапки. А то послать бы ему хоть бочку меду. К празднику уже не успеем, то хоть к великому посту.

— Пошлем две,— сказал Никифор Федорович и начал ходить молча по комнате.

Гости простились и пошли во-свояси с миром, дивясь бывшему.

Прошли и праздники, и зима проходит, а весна наступает, вот уже и великдень через неделю. Степан Мартынович отпускает своих учеников в дома родительские и наказывает, чтобы прибывали в школу не раньше вознесения христового. По примеру семинарскому, он тоже сделал вакацию своим школярам. После праздника, распорядившись хорошенько домом, т. е. препоруча смотрение за школою и за меньшими братьями старшим братьям — двум богословам, а третьему философу, и наказав, чтобы в часы досуга рыли ров, не весьма глубокий, около древ насажденных, приведя всё в порядок, — он позычил у знакомого ему мещанина беду, разумеется, не такую франтовскую, как у Карла Осиповича, а так себе, простенькую, а у другого, тоже знакомого, мещанина нанял коня с хомутом на двадцать дней и ночей, запряг коня в беду и в одно прекрасное утро, простившись с хутором и со школою, сел и поехал легонькою рысцою в Полтаву.

Прасковья Тарасовна послала им свое, хотя заочное, родительское благословение и мешок бубличков, как-то особенно испеченных, а Зосе своему и полкарбованца денег, которые он должен был ему передать тихонько от Ивана Петровича. Степан Мартынович обещался всё это исполнить, но не исполнил. Он за полкарбованца отслужил молебен угоднику Афанасию о здравии отроков Зосима и Савватия, а Зосе крепко-накрепко наказал, чтобы он не осмеливался просить гривенничков у Ивана Петровича.

В Полтаве с ним не случилось ничего необыкновенного, кроме разве, что он присутствовал в соборе при рукоположении во диакона его старого знакомого баса и что новый диакон зазвал его к себе, напоил пьяным и вдобавок поколотил слегка, из чего и заключил Степан Мартынович, что его приятеля никакой сан не исправит, что он как был басом, так и останется им даже до могилы.

По возвращении во-свояси из далекого и неисполненного приключений странствия, школу свою нашел он благополучною, а благодарные братья обрыли кругом новый вертоград его, да еще и лозою огородили. Поблагодарив их прилично, т. е. купив им по паре юфтовых

сапог и демикотону на жилеты, и их же просил пособить ему перенести из хутора пчелы в свою пасику, что на другой же день и было исполнено. Теперь он, кроме того, что стихарный дьяк, учитель душ до тридцати учеников, да еще и пасичник немалый.

Проходили невидимо дни, месяцы и годы. Зося и Ватя росли духом и телом в Полтаве, а Никифор Федорович и Прасковья Тарасовна старились себе безмятежно на хуторе и получали исправно каждый праздник поздравительные письма от детей. Потом стали получать ежемесячно, потом и чаще, и уже не наивные детские письма, а письма такие, в которых начал определяться характер пишущих. Так, например, Зося писал всегда довольно лаконически, что он почти нищий между воспитанниками и что по фронту он из числа первых, а Ватя писал пространнее. Он скромно писал о своих успехах, о нищете своей он не упоминал, а о добром и благородном своем покровителе он исписывал целые страницы. Из его писем можно было узнать костюм, привычки, занятия, словом, ежедневный быт автора «Наталки Полтавки», «Москаля-чаривныка» и «Перелицованной Энеиды».

В конце четвертого года получены были от детей письма такого содержания:

«Дражайшие родители!

Выпускной экзамен я сдал прекрасно: получил хорошие баллы во всех науках, а по фронту вышел первым. Меня посылают в дворянский полк в Петербург, а потому и прошу прислать мне, сколько можете на первый раз, денег на непредвиденные расходы.

Ваш покорный сын З. Сокирин».

— Сокирин, Сокирин,— худой знак,— говорил тихо Никифор Федорович и разворачивал другое письмо.

«Мои нежные, мои милые родители!

Бог благословил ваше обо мне попечение и мои посильные труды: я сдал свой экзамен почти удовлетворительно, к великой моей радости и радости нашего всеми любимого и уважаемого благодетеля, который кланяется вам и достойному Степану Мартыновичу. По экзамену я удостоился драгоценной для меня награды: мне публично вручил сам ректор в изящном переплете Вергилиеву «Энеиду» на латинском языке и тут же публично объявил, что я удостоился быть посланным в университет, который я сам изберу, на казенный счет, по медицинскому факультету. И я теперь прошу вашего родительского благословения и совета, какой именно избрать мне университет: харьковский или ближайший — киевский. Я желал бы последний, потому что там профессора хорошие, особенно по медицинскому факультету. А более желал бы потому, чтобы быть ближе к вам, мои бесценные, мои милые родители! Жду вашего благословения и совета и целую ваши родительские руки.

Остаюсь любящий и благодарный ваш сын
С. Сокира.

Р. С. Поцелуйте за меня незабвенного моего Степана Мартыновича. Вчера и сегодня благодетель наш жалуется на боль в ногах и пояснице и третий день уже из дому не выходит. Помолитесь вместе со мною о его драгоценном здравии».

По прочтении письма Никифор Федорович сказал:

— Ну, слава тебе, господи, хоть один походит на человека.

— Да еще на какого человека! — прибавил Карл Осипович. — Я вам предсказываю, что из него выйдет доктор, магистр, профессор, и знаменитый профессор медицины и хирургии, а вдобавок член многих ученых обществ. Уверяю вас, что так будет. Ай да юный эскулап! — воскликнул он, щелкая по табакерке.

— А из Зоси, вы думаете, ничего не выйдет

путнего? — с таким вопросом обратилась Прасковья Тарасовна к Карлу Осиповичу.

— Боже меня сохрани так думать! Из него может выйти хороший офицер, полковник, генерал и даже фельдмаршал. Это будет зависеть от самого себя.

— Толците и отверзется, просите и дастся вам,— проговорил вполголоса Степан Мартынович.

— Что было, то видели, а что будет, то увидим,— сказал сухо Никифор Федорович и ушел к себе в пасику.

Долго ходил он около пасики, волнуемый каким-то смешанным, неопределенным чувством между радостью и грустью; и, успокоив себя надеждою на всеблагое провидение, он возвратился в хату, повторяя изречение Богдана Хмельницкого: «Що буде, то те й буде, а буде те, що бог нам дасть».

На другой день написал он самое искреннее и благодарное письмо Ивану Петровичу, послал детям по 25 рублей, всепокорнейше прося Ивана Петровича вручить их детям, и чтобы он величайшую милость для него сделал — известил его, какие дети сделают употребление из денег. Потому,— говорит,— что деньги в молодых руках — вещь весьма опасная, и ему, как отцу, извинительна подобная просьба. Савватию он советовал избрать университет киевский, а Зосиму просил Ивана Петровича сделать наставление, какое господь внушит его добродетельному сердцу.

Через месяц они имели великое счастье обнимать Ватю у себя на хуторе. Он проездом в Киев уговорил товарищей своих пробыть сутки в Переяславе, чтобы повидаться ему с родными, на что товарищи охотно согласились, тем более, что он и их пригласил на хутор. Зося тоже отправился с товарищами из Полтавы, но только по харьковской дороге, а потому и не мог заехать на хутор.

После первых привитаний Ватя побежал в школу с заветною «Энеидою» в руках и, найдя своего наставника в школе между жужжащими школярами, как матку между пчелами, бросился к нему на высокую шею.

После первого, и второго, и третьего поцелуя он подал ему драгоценную книгу, говоря:

— Вы первый раскрыли мне завесу латинской мудрости, вам и принадлежит сия мудрейшая и драгоценнейшая для меня латинская книга.

С умилением принял и облобызал книгу Степан Мартынович. И, любуясь переплетом, он развернул ее и увидел между страницами красную бумагу. Это были 10 карбованцев благодарного Вати.

— Вы в книге забыли деньги. Вот они.

— Нет, это вам Иван Петрович посылает через меня, чтобы вы потрудились передать их вашим бедным родителям (а в самом деле это были оставшиеся от 25 рублей, присланных ему в Полтаву).

На радости Степан Мартынович распустил учеников гулять, а сам с Ватей пошел на хутор, держа в руках развернутую книгу и декламируя стихи знаменитого поэта. И если бы Ватя так же внимательно слушал, как Степан Мартынович читал, то очутились бы оба по колена в луже, а то только один педагог.

Погостивши суток двое-трое на хуторе, Ватя начал собираться в дорогу, а товарищи так были довольны угощением гостеприимной Прасковьи Тарасовны, что и не думали о продолжении пути, а потому немало удивились, когда он стал прощаться со своими так называемыми родителями. Делать было нечего, и они простились. И через несколько дней, прогуливаясь в Шулявщине, готовились держать экзамен для поступления в университет.

Во время пребывания своего в университете Савватий каждые каникулы приезжал на хутор и превращался в пасичника. Тогда начали уже показываться статьи в журналах Прокоповича о пчеловодстве; он их внимательно прочитывал и не без успеха применял к делу, к величайшей радости Никифора Федоровича. Иногда вместе с Карлом Осиповичем делали химические и физические опыты и даже лягушку по методу Мажанди⁴⁵. А по вечерам собирались все на крылечке, и он читал вслух «Энеиду» Котляревского или настоящую Виргилиеву «Энеиду». А так [как] он любил страстно музыку, особенно свои родимые заунывные напевы,

то с большим успехом брал у Никифора Федоровича уроки на гуслеях и после десятка уроков пел уже, сам себе аккомпанируя:

Стала хмара наступати,
Став дощик іти.

В Киев он всегда возвращался с порядочно набитой портфелью местной флоры и несколькими ящиками мотыльков и разных букашек.

В продолжение пребывания своего в дворянском полку Зося писал ежемесячно аккуратно письма содержания почти однообразного. Некоторые или, лучше сказать, большую часть своих писем он варьировал фразой: «Я скоро божиею милостию прапорщик, а у меня денег ни копейки нет», на что обыкновенно говорил Никифор Федорович: — А будешь офицером, и гроши будут.

Однажды писал ему Ватя, чтобы он прислал ему литографированный эстамп⁴⁶ с картины «Последний день Помпеи»⁴⁷ и для сей требы послал ему три рубля денег. Но Зося благоразумно рассудил, что три рубля — деньги, а эстамп что такое? — листок испачканной бумаги, больше ничего. И без обиняков написал брату, что об этакой картине в Петербурге он и не слышал, а что деньги он ему после вышлет; а если хочет, то на Невском проспекте много разных картинок продается, то можно будет купить одну и переслать. Ватя написал ему, чтобы он купил какой-нибудь эстамп, если уж нельзя достать «Последний день Помпеи». Он и купил ему московское литографированное грошовое произведение «Тень Наполеона на острове св. Елены»⁴⁸. Ватя, получив сие произведение, не мог надивиться эстетическому чутью родимого братца, и знаменитый куншт полетел в пещ огненную.

Вскоре после всесожжения «Тени Наполеона» с шумом явились на свет «Мертвые души». «Библиотека для чтения»⁴⁹, в том числе и солидные благомыслящие люди разругали книгу и автора, называя книгу грязною и безнравственною, а автора просто сеятелем плевел

на почве воспитания благородного юношества. Несмотря, однако ж, на блюстителей нравственности и блюстительниц русского слова, «Мертвые души» разлетелись быстрее птиц небесных по широкому царству русскому. Прилетело несколько экземпляров и в древний Киев и дебютировали, разумеется, в университете. Инспектор с неудовольствием и даже страхом заметил, что студенты собираются в кружки и что-то с хохотом читают. Сначала он подумал: — Верно, какая-нибудь каналья сочинила на меня пасквиль (что весьма вероятно). — Но, заметивши, что студенты читают печатную книгу, [у него] от сердца отлегло. И, как человек, мало следивший за движением отечественной литературы, и человек, не принадлежащий к банде блюстителей нравственности, то, узнавши, что книга титулуется «Мертвые души», «должно быть, страшная», — и махнувши рукою, сказал: — Пускай их себе читают, лишь бы не пьянствовали да на Кресты окон бить не ходили. — Видно, на инспектора дворян поэма «Мертвые души» не производила никаких опасений.

Савватий сначала со вниманием прослушал «Мертвые души», потом с большим вниманием прочитал, а прочитавши, возымел страсть во что бы то ни стало приобрести эту книгу и во время каникул читать вслух на хуторе. Собравшись с последними крохами и призащавши рубля с полтора, отправился он в контору застрахования жизни, она же и книжный магазин. Спрашивает «Мертвые души», а книгопродавец и глаза вытаращил. Ему показалось, что посетитель спрашивает мертвые души те, которые застраховали свое земное бытие в его конторе, и, обратясь к посетителю, сказал, что есть только две.

— Пожалуйста мне один экземпляр.

Книгопродавец снова стал втупик.

— Вы меня не так понимаете. Получена ли у вас книга под названием «Мертвые души», сочинение Н. Голя?

— Никак нет-с, еще и объявления не читали.

— Значит, нет надежды и иметь от вас ее когда-нибудь, — сказал Савватий и вышел на улицу. Хотел было сходить к Глюзбергу, да вспомнил, что там не

продают русских книг, зашел на минутку домой, написал брату письмо, вложил в него деньги и отнес на почту. Бедняк! Ему и в голову не пришла «Тень великого Наполеона».

Через месяц получает он повестку из почтовой конторы, что получена на его имя посылка на 5 рублей серебром. В восторге бежит он к инспектору, а от него прямо в почтовую контору, спрашивает посылку. Ему подают. Пощупал — мягкое. — Она, — проговорил он и вышел из конторы. На улице разрезал он веревочку перочинным ножиком, распорол клеенку, развернул обертку и с ужасом прочитал: «Никлас — Медвежья Лапа»⁵⁰. Потемнело в глазах у бедняка, и полуоткрытая посылка вывалилась из рук. Простояв с минуту, пошел он, грустный, сам не зная куда, а посылка так и осталась на улице, пока ее не поднял какой-то нищий и, осмотревши внимательно, пошел прямо в кабак. Целовальник имел счастье за шкалик приобрести бессмертное творение и, как человек грамотный и любознательный, и теперь коротает счастливые досуги, а иногда и вслух читает своим запоздалым посетителям. При посылке письма не было, а была всунута лаконическая записка пренаивного содержания: «Мертвые души» запрещены. И цензор и автор сидят в крепости. А посылаю тебе дивную книгу «Медвежью Лапу». Твой брат такой-то».

Несмотря, однако ж, на то, что и цензор и автор сидели в крепости, «Мертвые души» вскоре явились в конторе страхования жизни и продавались публично. И Ватя, проходя однажды мимо конторы, увидел экземпляр, выставленный в окне. Хорошо, что он не читал братней записки, а то, пожалуй, брата назвал бы бессовестным лгунишкой. Прочитавши несколько раз обертку и полюбовавшись ею же, он решил, во что бы то ни стало приобрести великую книгу, тем более, что каникулы близились. После акта в тот же день снес он мундир свой, как вещь теперь совершенно ненужную, к одолжателю презренного металла за умеренные проценты и, приобретя за вырученные деньги экземпляр великой книги, он имел неизъяснимое наслаждение читать ее вслух на хуторе, вечером — на крыльце, а днем — под липою в пасике.

В сотый раз уже прочитывал он почти наизусть внимательно слушавшей его Прасковье Тарасовне «Повесть о капитане Копейкине»⁵¹, когда въехал на двор на своей беде Карл Осипович и издала показал письмо. Чтение о Копейкине, разумеется, было прервано, а чтение письма было начато самим Никифором Федоровичем и, разумеется, про себя. Прочитавши письмо, Никифор Федорович бросил его на пол и в досаде сказал: — Только и знает, что денег просит. Шутка сказать, триста рублей! — И он ушел в покои, а за ним и Карл Осипович. Прасковья Тарасовна, поднявши осторожно письмо, передала его Вате и просила прочитать (сама она скорописи не читала, а только печать), только не так громко, как про того капитана. И он прочел вполголоса следующее:

«Драгоценные мои родители!

Божиею милостию я теперь прапор лейб-гвардии гренадерского полка, а вы должны сами знать, как должен себя держать гвардейский офицер. Здесь не Полтава и не тщедушный Переяслав, а люди добрые говорят, столица. А потому-то мне и нужно на первое обзаведение по крайней мере 300 рублей серебром.

Затем остаюсь ваш сын З. Сокирин».

Ватя, прочитавши письмо, сложил его и подал Прасковье Тарасовне.

— Да ты все прочитай и тогда его отдай уже мне, — я его спрячу.

— Да я все и прочитал.

Она, бедная, не поверила, развернула письмо, пересчитала строчки и, убедившись в горькой истине, бросила письмо под стол и, закрыв лицо руками, горько-горько зарыдала.

Бедная ты, бедная! Это только цветы, а ядовитый плод еще и не завязывался.

Через несколько дней со слезами вымолила она 300 рублей у Никифора Федоровича, и так как он отказался

писать письмо, а Ватя уехал, то она сама церковными буквами написала письмо такое:

«Зосю мой, орле мой! Выплакала, вымолила я и посылаю тебе деньги, а Никифор Федорович на тебя гневается».

Завернула в письмо деньги и сама повезла на почту. Почтмейстер немало удивился, принявши письмо с деньгами и без адреса на конверте. Поехала она к Карлу Осиповичу, тот написал адрес, и письмо было отправлено.

Получивши деньги, гвардейский прапорщик не обратил внимания на письмо или, лучше сказать, на обертку, а другой, тоже гвардейский прапорщик, поднял эту обертку и, прочитавши, спрятал в карман, а на другой день в экзерцис-гаузе показал ее полковой братии, — и пошла потеха. Сначала не понимал Зося, в чем дело, а когда понял, то в одно прекраснейшее утро после ученья пригласил честную компанию к Сен-Жоржу⁵², задал великолепный завтрак и, полупьяный, рассказал братии вот что насчет лаконического письма: что у него в Полтаве осталась амика, т. е. любовница, — богатая и безграмотная купчиха, которая крадет у мужа деньги и снабжает ими вашего покорнейшего слугу. — Ура! — заревела компания. — За здоровье всех безграмотных любовниц! — Тосты повторялись до самого вечера. Вечеру вся компания отправилась смотреть Тальони⁵³, разумеется, на счет счастливого любовника. Не прошло и полгода, как от счастливого любовника было получено на хуторе письмо такого содержания:

«Через вас, нежные, попечительные родители, должен я оставить гвардию и просить перевода в армию, потому что я нищий, а у вас сундуки трещат от золота. Ваш благодарный сын С о к и р и н!»

А причина перевода его в армию была вот какая.

Однажды у Марцинкевича⁵⁴ в танцклассе (который он посещал каждую пятницу неукоснительно), — так однажды в этом знаменитом танцклассе за какую-то

изменницу завязал он, пьяный, и тоже с пьяными черкесами драку. В дело вмешалась полиция, и кончилось тем, что черкесам, как азиатцам, извинили, а его, как европейца, перевели в армию тем же чином. После этого перевода не замедлил последовать другой, только без всякого сочинения со стороны моего забубенного героя, потому что он прекратил всякую корреспонденцию со скаредами, как он выражался, т. е. со своими благодетелями.

Для писателя более плодovitого, нежели аз грешный, и более знакомого с военным бытом нашей многочисленной благородной молодежи,— для такого писателя здесь открывается обширнейшее поле, усеянное такими горькими семенами, что когда плод их созреет, то потомкам нашим не нужно будет покупать сабура. А талантливый писатель, как хороший огородник, мог бы понемногу вырывать плевелы из пшеницы, и было бы благо. Но талантливые писатели, ведающие этот быт, обращают более свое наблюдательное внимание на солдатские поговорки и их безотрадные, хотя и кажущиеся удалыми, песни.

Волей-неволей, а я должен объяснить причину перевода моего героя из армии во внутреннюю стражу, т. е. в астраханский гарнизонный баталион.

В городе Нежине квартировал армейский пехотный полк NN. В этот полк был переведен мой приятель и поселился в белой хатке с садиком и цветничком, как раз против греческого кладбища. В первый же день он заметил в цветнике такой цветок, что у него и слюнки потекли. Этот очаровательный цветок была красавица на самой заре жизни и одно-единственное добро беднейшего вдового старика мещанина Макухи. Продолжение и конец повести вам известен, терпеливые читатели, и я не намерен утруждать вас повторением тысячи и одной, к несчастью, невымышленной повести или поэмы в этом плачевном роде, начиная с «Эды» Баратынского⁵⁵ и кончая «Катериной» Ш[евченка] и «Сердечной Оксаной» Основьяненка. Продолжение и конец решительно один и тот же, с тою только разницею, что приятеля моего чуть было не заставили жениться на мещанке Якилыне, дочери Макухи. Спасибо

доброму старику, полковому командиру: он вступился за своего офицера. А то бы как раз перевенчали офицера с мещанкою. Но и добрый старик, полковой командир, лучше ничего не мог придумать, как подать ему немедленно в перевод, и концы в воду. Он завтра же подал в перевод. Он навещал Якилыну, едва движущуюся, и уверял старика, что он с каждой почтой ожидает родительского благословения. Пришел перевод, и он для такой радости зашел в так называемую кондитерскую Неминая, и порядком кутнул перед выездом, и начал рассказывать какому-то тоже нетрезвому, но богатому Попандопуло свое рыцарское похождение с Якилыною, и так увлекательно рассказывал, что богатый эллин⁵⁶ не вытерпел и заехал ему всей пятерней в благородный портрет, а он эллина, а эллин опять его, и пошла потеха. Но как эллин был постарше летами и силами послабее, то он и изнемог, а к тому времени подоспел блюститель мира в виде городничего и повелел борющихся взять под арест. Завязалось дело. Богатого торгаша эллина оправдали, а благородного неимущего офицера оженшили на мещанке Якилыне и перевели в астраханский баталион.

О, моя бедная Якилыно! Если бы ты могла провидеть свое бесталанье, свою горькую будущую долю, ты убежала бы в лес или утопилась бы в гнилом Остре, но не венчалась бы с благородным офицером. Но ты, простодушная мещанка, в глубине непорочной души своей веровала пустой фразе, что любовь нежная укрощает и зверя лютого. Это только фраза, больше ничего. А ты, дурочка, думала, что в самом деле так. Бедная, как же ты страшно поплатилась за свое простодушие! Ты погибла, и не спасла тебя от горькой участи ни нежная любовь твоя к пьяному чудовищу, ни даже единая твоя золотая надежда — твой первенец, твоё прекрасное дитя. Вы оба валялись на грязной астраханской улице, пока вас не прибрала и не похоронила великодушная полиция.

Но, несмотря на все проказы, приятель мой близился уже к чину капитана, а брат его только что кончил курс в университете св. Владимира. По экзамену удостоился он скромного звания лекаря с чином 12 класса,

а после акта объявлено ему, что он, по воле правительства, как казеннокоштный воспитанник, назначается в оренбургский третьеклассный госпиталь. В канцелярии ему выдали треть жалованья вперед, прогоны и подорожную, и он, как бедняк, простился наскоро с товарищами и на другой день без особенной грусти оставил древний Киев, быть может, навсегда. Товарищи хотели было проводить его, по крайней мере до Рязанова, но, вероятно, проспали, потому что он переправился через Днепр до восхода солнца, а в Бровари приехал к тому самому часу, как туркенья-смотрительша раздувала в сених на очаге огонь для кофейника. Выпивши за умеренную цену стакан кофе и взявши, тоже за умеренную цену, бутылочку броварского ликеру (изобретение той же туркени-смотрительши), он ввечеру уже весело рассказывал о своем экзамене благосклонным слушателям на ганку уединенного хутора.

Савватий решил провести недели две на хуторе, быть может, последние, проведенные им в кругу самых милых, самых дорогих его сердцу людей. Несмотря на однообразие сельской, а тем более хуторянской жизни, дни мелькали как секунды. Так они, вообще, быстры в радости и так же медленны в печали. Если бы на хуторе все, не исключая и Марины, желали б скорого конца двум роковым неделям, то они продлились бы, по крайней мере, месяц, но так как общее желание было отдалить роковой день расставания, то он, к досаде каждого, и близился так быстро.

Накануне отъезда, после обеда, Никифор Федорович взял под руку Савватия и, по обыкновению, повел его в пасику. Не доходя шагов несколько, он остановился и показал на две роскошные липы, перед самым входом в пасику и сказал:

— Эти два дерева привез я из архиерейского гаю, что в Андрушах, в тот самый год, как вы были найдены на моем хуторе, и посадил на память той великой радости. Смотри, какие они теперь широкие и высокие и какой роскошный цвет дают. Вас же с братом не судил мне господь на старости лет видеть такими же одинаково прекрасными, как эти липы. Брат твой оскорбил благородную природу человека. Он поругал все на земле

святое в лице вашей нежнейшей, хотя и не родной матери, а моей доброй жены. Меня он мог забыть: я — человек суровый и не люблю излишних нежностей с детьми, но она, моя бедная великомученица, она глаз с него не спускала. И теперь что же!.. пятый год хоть бы какую-нибудь весточку о себе подал, как в воду канул. А она, бедная, день и ночь за него молится и плачет. Правда, я сам виноват... Но это было ее желание, чтобы видеть его офицером, а не благородным человеком: жни, что посеяла.

И они тихо вошли в пасику, сели под липою, и Никифор Федорович продолжал:

— Да, тяжело, Ватя, очень тяжело кончать дни свои и не видеть своих надежд осуществившихся. Ты, Ватя, едешь теперь в такую далекую страну, которой у нас и по слухам не знают. Пиши нам со старухой. Не ленись: описывай всё, что увидишь и что с тобою ни случится. Пиши всё. Это для нас, почти отчужденных стариков, будет и ново, и поучительно. А если встретятся тебе нужды какие в чужой далекой стороне, пиши ко мне, как в ломбард, из которого выслали бы тебе твои собственные деньги. У меня для тебя всегда найдется четверик-другой карбованцев. А пока вот тебе 300 их, таких самых, как и Зосе послала моя старуха. Дорога далека, а дорога любит грóши.— И он подал пачку ассигнаций.

Савватий отказался от денег, говоря, что для дороги у него есть прогоны и треть жалованья, а на месте если нужны ему будут деньги, то он напишет; что в дороге лишние деньги — лишняя тяжесть.

— Ну, как знаешь. Тебя учить нечего. Кто не нуждается в деньгах, тот богаче богатого. Теперь я тебе, Ватя, все сказал, что у меня было на сердце. И еще раз прошу, не забывай нас, стариков, особенно ее: она, бедная, совершенно убита молчанием Зоси.

После этого старик отправился отдохнуть, по обыкновению, под навес, а Савватий взял «Энеиду» Котляревского и прочитал несколько страниц вполголоса, как бы убаюкивая старика. Увидя, что монотонное чтение произвело желаемое действие, он закрыл книгу, встал и тихо вышел из пасики и до самого вечера бро-

дил вокруг хутора, туманно размышляя о своей одинокой будущности.

Вечеру, когда собрались все на ганку, пришел и он, и после нескольких слов, сказанных почти наобум, он как бы вспомнил что-то важное и, обратясь к Никифору Федоровичу, сказал:

— Мне давно хотелось посмотреть на вашу скрипку, да всё забываю, а вы как-то говорили, что это скрипка дорогая.

— Да таки и очень дорогая, и тем более дорогая, что на ней играл благодетель мой, покойный отец Григорий, и мне завещал ее по смерти.

— Позвольте мне хоть взглянуть на нее.

— Взгляни, пожалуй, да что ты в ней увидишь?

— А может быть и увижу.

И с этим словом он пошел в комнату Никифора Федоровича, вынул из ящика скрипку, попробовал струны и, выйдя в большую светлицу, заиграл сначала мелодию, а потом вариации Липинского⁵⁷ на известную червонорусскую песню:

Чи я така уродилась,

Чи без долі охрестилась.

Эффект был совершенный. Минуты две сидели слушатели молча, как бы очарованные. Первый вскочил со скамьи [Никифор Федорович], вбежал в светлицу, со слезами обнял виртуоза и проговорил:

— Сыну мой, радость моя! надежда моя золотая! Когда ты, где ты выучился на скрипке играть эту божественную песню?

Савватий рассказал ему, что он случайно встретил в Киеве, по правде сказать, на Крестах, нищего старика-скрипача, так играющего, что у меня волосы дыбом становились. Я познакомился с ним, просил его заходить ко мне, и он выучил меня не только играть на скрипке, но чувствовать и понимать музыку!

— Напиши в Киев, чтобы приехал ко мне этот божий человек. Я всё ему отдам и даже мою пасику.

— Его уже нет между живыми. Я сам его на своих плечах вынес на Скавину.

— Благодарю тебя, чадо мое единое, что покрыл

ты землею прах великого человека. Вот что,— продолжал он с расстановкою: — долго я думал, кому я оставлю, кому я завещаю мое дорогое наследие, мою скрипку, гусли и книги. Думал было, грешный, в гроб положить с собою, потому что не видел вокруг себя человека, достойного владеть таким добром. А теперь я человека вижу такого, и человек этот — ты, моя золотая надежда! Возьми же скрипку себе теперь, а книги и гусли наследуй мне вместе со всем добром моим, а пока пускай они услаждают нашу одинокую старость.

И он подошел к гуслиам, раскрыл их, попробовал струны и, расправив обеими руками свою густую, широкую, серебряную бороду (он уже три года ее носит), как некий Оссиан⁵⁸, ударил по струнам —

И вещи зарокотали.

После прелюдии запел он своим старческим, дребезжащим, но вдохновенным голосом; к нему присоединил свой свежий тенор Савватий, и они пели:

У степу могила
З вітром говорила:
Повій, вітре буйнесенький,
Щоб я не чорніла.

Карл Осипович, уже на что тугой на слезы, и тот не вытерпел, вышел из светлицы, вынимая из кармана платок. А когда запели они:

Летить орел через море:
Ой, дай, море пити!
Тяжко, важко сиротині
На чужині жити...—

так Карл Осипович уже и в светлицу не мог войти,— так и остался на ганку до того часу, пока не сел в свою беду и не уехал в город.

На другой день к обеду было приглашено покровское и благовещенское духовенство. Сначала сам протоиерей прочитал акафист пресвятой богородице, причем Степан Мартынович со своими школярами хором пели «О всепетая мати». Потом соборне служили молебен, а Степан Мартынович, облачась в стихарь,

читал апостола. По окончании молебна пропето хором было многолетие — трижды.

Духовенство трапезовало в светлице, а школярам подан был обед на досках на дворе, а после обеда сама Прасковья Тарасовна выдала им по кнышу, по стильныку меду и по пятаку деньгами.

А к вечеру Савватий Никифорович переменял лошадей на первой станции, и, к немалому его удивлению, увидел он при перекладке вещей кадушку с медом и мешок яблок.

В Полтаве зашел он поклониться домику покойного Ивана Петровича. Его встретил молодой, довольно неуклюжий человек и слепая Гапка. Отслужил панихиду в домике за упокой души своего благодетеля — и, грустный, выехал он из Полтавы, благословляя память доброго человека.

Объехавши собор, спустился он с горы и как раз против темной треглавой деревянной церкви, Мартыном Пушкарем⁵⁹ построенной, остановил почтаря и долго смотрел не на памятник XVII века, а на противоположную сторону улицы, на беленькую, осененную зеленым садиком хатку. Прохожие думали, что он просил напиться, [а] ему долго не выносят. Хатка ему показалась пусткою, и он хотел уже сказать почтарю «пошел», как вдруг в разбитом окне хатки показалась молодлица с ребенком на руках. Он вздрогнул и едва проговорил, глядя на молодицу: — Можна зайты? — Можна, — ответила молодлица, и он соскочил с телеги, перешагнув перелаз и очутился в хатке.

— Здравствуй, Насте! Узнала ли ты меня?

— Ни,— и сама вспыхнула и вздрогнула.

Долго и грустно смотрел [он] на ее прекрасную и грациозно опущенную на грудь голову. Она тоже молчала. Если бы не шевелившиеся на груди складки белой сорочки, то ее можно бы принять за окаменелую. Мгновенный румянец сменился бледностью, и белокурый ребенок казался играющим на плечах мраморной Пенелопы⁶⁰. Савватий взял ее за руку и проговорил:

— Так ты мене и не узнала, Насте?

— Узнала... я на дворе еще узнала, да только так... стыдно було сказать,— говорила она, и из карих

прекрасных ее очей выкатывались медленно крупные слезы. Ребенок протягивал ручку к Савватию и лепетал: — Тату! тату!

— Я еду далеко, Насте, и заехал к тебе проститься.

— Спасыби вам! — проговорила она шопотом.

— Прощай же, моя Настусю! — и он поцеловал ее в щеку и быстро вышел на улицу, сел в телегу и уехал.

Настя долго стояла на одном месте и только шептала: — Прощайте, прощайте! — И, взглянув на ребенка, горько-горько заплакала.

Переехавши мост на Ворскле, Савватий обернулся лицом к Полтаве и, казалось, искал глазами беленькой хатки, давно уже спрятавшейся в зелени. — Уже и не видно ее, — проговорил он тихо и стал смотреть на окунувшуюся в зелени Полтаву. Долго смотрел на домик, лепившийся на горе около собора, и на каменную башенку, бог знает для чего поставленную против заветного домика на другой стороне оврага. Многие напомнила эта полуразрушенная башенка моему грустному герою. Он, глядя на нее, вспоминал то время, когда он по воскресеньям приходил из гимназии и часто прятался в ней, играя в жмурки с резвою белокурою внучкой Гапки, Настусею, теперь матерью такого прекрасного белокурого ребенка, как сама была когда-то.

Хороша была тринадцатилетняя Настуся, очень хороша, особенно по воскресеньям, когда приходила она к своей бабушке на целый день гостить. Поважет, бывало, на головку красную ленту, натывает за ленту разных цветов, а коли черешни поспели, то и черешен, и чуть свет бежит к бабушке, сядет себе, как взрослая, под хатю и задумается. О чем же могло бы задумываться тринадцатилетнее дитя? А оно задумывалось о том, что скоро ли паньчи встанут и пойдут и она пойдет с ними.

— А как выйдут из церкви та пообедают, и начнем играть в жмурки; я спрячуся у той коморке, что на горе, а Ватя прибежит да и найдет меня, — при этом она краснела краснее своей ленты, цветов и черешен и, забывшись, вскрикивала: — Ах!

— Чого ты там ахаешь? — спрашивала Гапка, высунувши голову в окно.

— Жаба, бабо!

— Вона не кусае, тилько як на ногу скочить, то бородавка буде. Иды в хату: ты змерзла!

— Ни, бабо, я не змерзла,— и она оставалась под хатою и снова задумывалась.

Вате минуло уже шестнадцать, а Настусе пятнадцать лет, когда, бывало, спрячутся они от Зоси куда-нибудь в бурьян или убегут аж за Ворсклу, насобирают разных-разных цветов и сядут под дубом. Ватя сплетет венок из цветов, положит его на головку Настуси и смотрит на нее целый день до самого вечера. Потом возьмется себе за руки и придут домой, и никто их не спросит, где были и что делали. Зося разве иногда скажет: — Ишь, убежали, а меня не взяли с собою!

Прошел еще год, и детская любовь приняла уже характер не детский. Уже Настуся была стройная, прекрасная шестнадцатилетняя девушка, а Ватя семнадцатилетний красавец-юноша. Он долго уже по ночам не мог заснуть, Настуся тоже. Она под горою у себя в садике до полуночи пела:

Зійшла зоря ізвечора,
Не назорілася...

А он, стоя на горе, до полуночи слушал, как пела Настуся.

Вскоре началось трепетное пожимание рук, поцелуи на лету и продолжительное вечернее стояние под вербою. Правда, что эти свидания оканчивались только продолжительным поцелуем. Ватя в этом отношении был настоящий рыцарь... Но сатана силен, и бог знает, чем бы могли кончиться ночные стояния под вербою, если бы Ватя не сдал отлично своего экзамена и соропостижно не уехал в Киев.

То была его первая и, можно сказать, последняя любовь.

В Киеве, бывало, гуляя перед вечером в саду по большой аллее, встретит он красавицу,— так холодом и обдаст его, и он, ошеломленный, долго стоял на одном

месте и смотрел на мелькавшую в толпе красавицу и, придя в себя, шептал: «не пара» и отводил глаза на освещенную заходящим солнцем панораму старого Киева. Потом спускался вниз по террасе и выходил на Крещатик. Приходил домой, зажигал свечу и садился за какую-нибудь энциклопедию и окунал в чернила вместе с пером и светлый пламенник своей одинокой юности.

У Зоси точно так же рано проснулась эта страстишка к Олимпиаде Карловне, уже взрослой дочери инспектора, и точно так же была прервана внезапным его отъездом в дворянский полк. Но когда он — стройный, прекрасный юноша — надел гвардейский мундир, он вдруг почувствовал в себе таинственную силу магнита для прекрасных очей, и он не останавливался в священном трепете при виде женской красоты, а прекрасные его глаза покрывались мутною влагою или горели огнем бешеного тигренка, и он, была ли то девушка или замужняя женщина, не задавал себе вопроса, с какою целью, а просто начинал ухаживать, и почти всегда с успехом. Он настоящий был Дон-Жуан с зародышами еще кое-каких мерзящих человека страстишек.

По прибытии в Астрахань он в скором времени между морскими и гарнизонными офицерами прослыл хватом на все руки, т. е. плутом на все руки, но в военном словаре это тривиальное слово заменено словом «хват».

Прибывши в Астрахань, он спрятал свою Якилыну вместе с сыном в грязном переулке на Свистуне, а себе нанял квартиру в городе и уверил ее, что этого служба требует, а она, простосердечная, и поверила. Один только баталионный командир да его адъютант знали из формуляра, что он женатый, да еще, — и то только догадывался, — квартальный, потому что во вверенном ему квартале жила штабс-капитанша Сокирина. Прочая же астраханская публика и не догадывалась, а маменьки так даже смотрели на него как на приличную партию своим уже позеленевшим Катенькам и Сашень-

кам. Но он смотрел на всё это сквозь пальцы и неистово гнул на пе, еще неистовее пил голяком ром, а на чихирь и смотреть не хотел, называя его армянским квасом. Ко всему этому он с необыкновенным успехом являл свою, можно сказать, гениальную способность делать и не платить долги,— за что нередко его величали — не Ноздревым (астраханской просвещенной публике еще не казались «Мертвые души»), а называли его просто шерамыжником, за что он нисколько не был в претензии. Счастливый темперамент! Или, лучше сказать, до чего может усовершенствоваться себя человек в кругу порядочных людей!

По воскресеньям и по праздникам начал он прилежно посещать армянскую церковь и загородные армянские гульбища, где не замедлил приобрести себе не одно м а т а х а, особенно между молодыми сынами богатых и старых отцов, и где после бесчисленных я к ш и о л о в ⁶¹ являлись картишки и начиналась потеха, кончавшаяся почти всегда дракой, так что нередко он возвращался в город с поврежденным портретом. И после этой только неудавшейся спекуляции навещал он свою бедную Якилыну, уверяя ее, что он хотел купить для нее туркменского аргамака, привезенного из Новопетровского укрепления, сел попробовать, и вот что сделалось. Та, разумеется, верила, а он себе рапортовался больным и в ожидании, пока портрет примет настоящий вид, подрезывал на досуге карты, чему Якилына также дивилася немало. С окончанием портрета и с подрезанными картами он исчезал и в скором времени являлся опять портрет чинить. И на сей раз уверял Якилыну, что он хотел для нее купить у купца NN. вятскую тройку, и вот что наделала проклятая тройка. История с портретом повторялася довольно часто, так что и простодушная Якилына начала подозревать что-то нехорошее.

Зимой 1847 г. не являлся он месяца три к Якилыне с поврежденным портретом. Она прождала еще месяц — нет, еще месяц — нет, нет и нет. Она уже думала, что, может быть, его кони убили, боже сохрани, как в одно прекрасное утро явился к ней вестовой с главной гауптвахты и сказал ей, что — его благородие

приказали вам, чтобы ваше благородие пожаловали им двугривенный или вещами что-нибудь.

— Какое благородие? — воскликнула она в ужасе.

— Его благородие, штабс-капитан Зосим Никифорович.

— Де вин?

Вестовой сначала улыбнулся, но как сам был мало-россиянин, то она без большого труда поняла, в чем дело, и наскоро причепурылась, взяла за руку Грыця и сказала вестовому: — Ходимо.

Бедная, ты положила конец и следствию, и суду, сама того не подозревая. Он содержался на гауптвахте и судился за разные преступления, следствием почти не доказанные, а ты своим явлением всё кончила: ты при всем карауле назвала его своим мужем, тогда как всему городу известно, что он зять армянина NN., и всему городу также известно, что прекрасная армяночка позволила себя похитить и обвенчаться на ней тайно в Черном Яру, что он, как истинный герой романа, и совершил беспрекословно, воспламеняясь не столько прекрасными глазками своей возлюбленной, сколько червончиками ее почтенного родителя. Честолюбивый армянин охотно простил, но насчет прилагательного лаконически сказал: — Чека⁶². — Нехорошо! — подумал мой рыцарь: — маненько дал маху, надо будет зайти с другого боку, — и, придя домой, принялся сначала ругать, а потом уговаривать и просить свою армяночку, чтобы она обокрала отца, [уверяя], что для ее же счастья это необходимо сделать, что он, старый скряга, умрет с голоду, а деньги кухарка украдет. Но, несмотря на все доводы о необходимости обокрасть отца, армяночка решительно сказала:

— Чека.

— А, чека, так чека! Я приму свои меры, — и он выгнал свою армяночку из квартиры, снявши с нее сапог и дорогие бусы за протори и убытки, как сам он выразился.

После этой катастрофы он начал умножать свои мерзости паче всякого описания и дошел, наконец, до того, что его [посадили] на сохранение в гауптвахту.

Пока доказано было законным порядком, что он хват на все руки и вдобавок двоеженец, и пока он находился на сохранении, бедная Якилына ходила в поденщицы облу чистить и ввечеру приносила своему заключенному мужу заработанный гривенничек.

Пока определяется достойное возмездие моему рыцарю, я перенесу мой нехитрый рассказ в неисходимые киргизские степи.

— Отчего же это так премудро, господи боже мой милосердый, ты устроил всё на свете? Не придумаю, не пригадаю! В один день и даже, может быть, и час они узрели свет божий животворящий, а теперь Зося уже капитанского рангу, а Ватю только вчера из школы выпустили. И не придумаю и не пригадаю, как это воно так всё на свете божием творится?

В тот самый день, как проводили Ватю из Переяслава, в тот самый день Прасковья Тарасовна задала себе такой вопрос и много дней спустя его себе задавала, но, не находя в себе самой ответа на свой хитрый вопрос, подумала было сначала обратиться к Никифору Федоровичу. Но, подумавши, отдумала.— К Карлу Осиповичу разве? — и тоже отдумала.— Он немец,— думала она,— так что-нибудь непутное и скажет по своей немецкой натуре. Степан Мартынович разве? Да нет! Он не вразумит меня. А может, и вразумит? Ведь я просто дура, а он, по крайней мере, книги читал, то, может, что и вычитал. Не знаю, придет ли он ввечеру к нам или нет? Или самой сходить к нему — так, будто бы пасику посмотреть?

И, повязавши хорошую хустку на голову, а в другую завязавши десяток бубличков, отправилась за Альту.

Проходя мимо школы, она остановилась и послушала, как школяры учатся, а уходя, шопотом говорила:

— Бедные дети! Им бы надо хоть обед когда-нибудь сделать.

Степан Мартынович, увидя в окно свою дорогую посетительницу, выбежал из школы с непокровенною

главою, только в белом полотняном халате, и в два прыжка нагнал ее у входа в сад и пасику, сказавши:

— Приветствую вас в нашей палестине...

— Ах, как вы меня перепугали!

— Смиренно прошу [прощения] прегрешений моих,— говорил Степан Мартынович, отворяя калитку в сад.

— А я сегодня сижу себе дома одна, как палец: Никифор Федорович в пасике, а Марина огородину полет. Так я сижу себе да и думаю: пойду-ка я посмотрю, что там за сад и за пасика у Степана Мартыновича, да и его таки проведаю. Он что-то насцурается.

— И подумать [про]меня, боже сохрани, такое грешное! Да ведь я и вчера, и позавчера, и всякой вечер у вас сижу, ну и сегодня зайду, даст бог управлюсь.

— А я как не вижу вас целый день, то мне кажется, что целый год.

С этими словами они вошли в курень, или под навес из древесных ветвей и соломы. В курене, на земле сверх соломы, раскинута белое рядио и подушка,— то было смиренное ложе Степана Мартыновича. Около ложа стоял глиняный глечик с водою и такой же кухоль, а из-под подушки выглядывал угол неизменной «Энеиды». Прасковья Тарасовна с минуту посмотрела на всё это и с участием сказала:

— Прекрасно, всё прекрасно; нечего больше и сказать. Только вот что,— сказала она, садясь на лежавший пустой улей: — зачем вы книгу бросаете в пасике? Ну, боже сохрани, худого человека: придет да и украдет, а книга-то, сами знаете, дорогая.

— Дорогая, дорогая книга, Прасковья Тарасовна. Она мое единственное назидание,— пошли, господи, царствие твое незлобивой душе нашего благодетеля Ивана Петровича.

— Мы думаем с Никифором Федоровичем, даст бог дождать, после Семена служить панихиду по Иване Петровиче и обед тоже для нищей братии. Так нельзя ли вам будет с вашими школярами «Со святыми упокой» петь при панихиде?

— Можно, и паче можно.

— Как это у вас всё скоро выросло! Смотрите, какая липа, просто прекрасная!

— Да, эта липа будет высокая. Но все-таки не будет такая, как я видел за Днепром около самых ворот Мошнинского монастыря. Так на той липе брат вратарь и ложе себе соорудил на случай от мух прятаться.

— Да, я думаю, там, за Днипром, все такие лыпы?

— Нет, не все,— есть и меньшей меры.

— А не читали ли вы в какой-нибудь книге о такой притче, какая теперь случилась с нашими Зосей и Ватей? — И рассказала ему свои недоумения насчет карьеры Зоси и Вати и прибавила:

— Я думаю, что Зося генералом будет, а бедный Ватя и капитанского рангу не опануе. Отчего это, не знаете? Не читали?

— Не знаю, не читал,— с минуту подумавши, ответил Степан Мартынович и, еще минуту спустя, прибавил:

— Думаю, об этом пространно есть писано у Ефрема Сирина или же у Юстина Философа⁶³, но у Тита Ливия нет.

— Оставайтесь здоровы,— сказала Прасковья Тарасовна, быстро поднявшись с улья.— Вот я вам гостинчика принесла, да заговорила с вами и забыла.— Говоря это, она торопливо вывязывала бублички из хустки.

— Минуточку б подождали, я достал бы вам своего медку стильнычок.

— Благодарствую, другим разом,— уже за калиткою проговорила Прасковья Тарасовна, а Степан Мартынович намеревался еще только приподымать правую ногу, чтобы проводить ее хоть до Альты.

В продолжение свидания в пасике школа как будто опустела и стояла себе как самая обыкновенная хата. В это непродолжительное время школяры переговаривались между собою шопотом о собственных интересах, но когда часовой школяр проговорил: — Двери ада разверзаются,— значит, в пасике калитка откроется, то при этом возгласе все разом загудели, как

будто испуганный рой пчел. Прасковья Тарасовна, проходя мимо школы, уже не останавливалась, а на ходу проговорила:

— Бедные дети! Как они прекрасно читают, а он, я думаю, их, бедных, еще бьет,— настоящий вовкулака!

— Если не удалось проводить до Альты, то хоть човен придержу, пока она сядет в него, и перепихну на другой берег,— так говорил про себя Степан Мартынович, выходя из пасики. Но, увы! его кавалерскому намерению не суждено [было] исполниться. Прасковья Тарасовна не рассчитывала на такую неслыханную вежливость, прыгнула в челн, как приднепрянский рыбац, махнула веслом, и челн уперся уже в другой берег речки. Степан Мартынович только успел ахнуть, и больше ничего.

Подходя к дому, Прасковья Тарасовна заметила беду Карла Осиповича и лошадь почти в мыле, а когда у такого хорошего хозяина, каков Карл Осипович, лошадь в поту, то это значит, что что-нибудь да не так. Только что она успела подумать это, как увидела из пасики скоро идущего Никифора Федоровича,— только борода белая ветром развеивается, а Карл Осипович за ним в своем синем фраке с металлическими и без всякого изображения пуговицами. Завидя свою Парасковию, Никифор Федорович вскрикнул обрадованно:

— Параско! — и при этом поднял правую руку, и она ясно увидела письмо в руке и тоже вскрикнула.

— От которого?

— От Вати, из самого Оренбурга.

Прасковья Тарасовна на минуту как бы онемела, а Карл Осипович, поздоровавшись, спросил, ни к кому собственно с вопросом не обращаясь:

— Что, месяца два будет, как выехал?

— На пречисту буде сим недиль,— ответила Прасковья Тарасовна.

— Скоренько, право, скоренько,— говорил он скороговоркою.— Я не думал так скоро. Хорошо, очень хорошо!

И все они взошли на крыльцо.

Никифор Федорович пошел к себе в комнату за

окулярами и тут же послал Марину за Степаном Мартиновичем: — Чтоб шел, скажи, скорее письмо читать: от Вати, скажи, получили. — Не успел он протереть в очках стекла и выйти на ганок, как Степан Мартинович уже переправлялся через Альту. Удивительная быстрота.

Когда все уселись по своим местам, Никифор Федорович вооружил свои старые очи окулярами, вскрыл письмо, развернул его и, легонько прокашлявшись, начал читать:

«Мои незабвенные, мои дражайшие родители!»

Голос Никифора Федоровича задрожал, и он стал жаловаться, что очки его совершенно ослабели или просто запылились, так что и письмо читать нельзя, почему он и передал его Карлу Осиповичу, прося прочитать неторопко. Карл Осипович в свою очередь вооружился очками и вместо того, чтобы кашлянуть, он понюхал табаку и начал:

«Мои незабвенные, мои дражайшие родители!»

Никифор Федорович затаил дыхание, а Прасковья Тарасовна превратилась вся в слух и даже слез не утирала. Карл Осипович продолжал:

«Целую заочно ваши добродетельные руки и молю бога жизнедавца, да продлит он вашу драгоценную для меня жизнь. В продолжение дороги и здесь на месте я постоянно, слава богу, пользуюсь хорошим здоровьем, только всё еще как-то чудно, ни к кому и ни к чему еще не присмотрелся. Еще и недели не прошло со дня пребывания моего здесь. Простите мне великодушно, мои незабвенные родители, я хотел было писать вам на другой же день, но за хлопотами никак не успел: нужно было явиться по начальству, то то, то сё, так неделя и пролетела. Теперь же я, слава богу, успокоился, нанял себе маленькую, о двух комнатах, квартиру, как раз против госпиталя в Старой Слободке. Вчера я был дежурным, а сегодня совершенно свободный день, и, чтоб не потратить его всеу, я взялся за перо и думал описать вам мимолетное мое путешествие, но как подумал хорошенько, то оказалось, что

и писать нечего, что всё пространство, промелькнувшее перед моими глазами, теперь так же само и в памяти моей мелькает, ни одной черты не могу схватить хорошенько. Смутно только припоминаю то неприятное впечатление, которое произвели на меня заволжские степи.

Переправясь через Волгу, я в Самаре только пообедал и сейчас же выехал, и после волжских прекрасных берегов передо мною раскрылась степь, настоящая калмыцкая степь. Первая станция от Самары была для меня тяжела, вторая легче, и глаза мои начали осваиваться с бесконечными равнинами.

В первые три переезда показывались еще кой-где вдаль неправильными рядами темные кустарники в степи по берегам речки Самары. Наконец, и те исчезли. Пусто, хоть шаром покати. Только — и то местах в трех — я видел: над большой дорогой строятся новые переселенцы, а около их багажа шляются в четырехугольных красных шапочках, наподобие кучерских, безобразные калмычки с грудными детьми на плечах, совершенно цыганки, только что не ворожат. Проехавши город Бузулук, начинают на горизонте в тумане показываться плоские возвышенности Общего Сырта, и, любясь этим величественным горизонтом, я незаметно въехал в Татищеву крепость⁶⁴. Я отдал подорожную смотрителю, а сам остался на улице и, пока переменяли лошадей, я припоминал «Капитанскую дочку», и мне как живой представился грозный Пугач⁶⁵ в черной бараньей шапке и в красной епанче, на белом коне — совершенно наш старинный палач. Солнце только что закатилось, когда я переправился через Сакмару, и первое, что я увидел вдаль, это было еще розового цвета огромное здание с мечетью и прекраснейшим минаретом. Это здание, недавно воздвигнутое по рисунку А. Брюллова⁶⁶, называется здесь Караван-сарай. Проехавши Караван-сарай, мне открылся город, то есть земляной высокий вал, одетый красноватым камнем, и неуклюжие сакмарские ворота, в [которые] я и въехал в Оренбург.

На мой взгляд, в физиономии Оренбурга есть что-то антипатичное, но наружность иногда обманчива

бывает, и я лучше сделаю, если не буду вам писать о нем, пока к нему не присмотрюся. Я намерен вести здесь дневник и посылать к вам по листочку каждую неделю, вы и будете видеть меня как бы перед собою, прочитывая мои листочки. А пока простите меня, что я не пишу вам о себе подробнее. Поклонитесь Карлу Осиповичу и скажите Степану Мартыновичу, что я люблю его великую душу всем сердцем моим и всем помышлением моим. Целую ваши благодатные руки, мои незабвенные, мои бесценные родители. Не забывайте вечно любящего вас сына В а т ю».

Прочитавши письмо, Карл Осипович бережно сложил и, подавая его Никифору Федоровичу, проговорил: — Прекрасный молодой человек.— А тот принял молча письмо, поцеловал его, положил в лежащую на столе летопись Конисского и молча сошел с крылечка. Прасковья Тарасовна молилась богу и плакала, а Степан Мартынович, глубоко вздохнув, призадумался и, надумавшись досыта, встал со скамьи и мигнул глазом Карлу Осиповичу, давая знать, что он что-то важное выдумал, а, отведши его в сторону, говорил ему шопотом:

— Я по себе знаю, как я странствовал в Полтаву, как трудно на чужой стороне без грошей, а он теперь, я добре знаю, что нуждается. А что он не просит, то это ничего. Я прошлого года продал немного воску и меду московским купцам. Школа меня кормит и одевает, а деньги гниют, как талант, в землю зарытый. Пошлю я ему мое достояние. Как вы скажете, послать?

— Нет, подождите,— говорил тоже шопотом Карл Осипович.— Если у вас есть лежащие деньги, то на них можно найти лучшую дырочку.

Они расстались.

Переправившись через Альту, Степан Мартынович не пошел в школу, чтобы школяры не помешали ему думать, какую дырочку нашел Карл Осипович его деньгам? Думал он лежа, и сидя, и стоя в своей пасике до самого вечера и все-таки не мог придумать, что бы это за дырочка могла быть? Дело в том, что Карл

Осипович получил из Астрахани два письма в одном конверте: одно на свое имя, а другое на имя сотника Сокиры, если он жив еще, или же на имя Прасковьи Тарасовны.

Зося в письме своем Карлу Осиповичу описывал в общих выражениях свое горестное положение и просил, если старики здравствуют, то чтобы он улучил добрый час, вручил бы им письмо и сам ходатайствовал о добром их к нему расположении, то есть просил бы о присылке денег. В случае же отказа он просто в петлю полезет.

Карл Осипович хорошо знал, что письмо Зоси не понравится Никифору Федоровичу, и потому раздумал его даже и показывать ему, а [решил] прочитать его одной Прасковье Тарасовне и Степану Мартыновичу и общими силами сложиться и послать на выручку бедному Зосе. На эту-то дырочку и намекал он недогадливому Степану Мартыновичу.

Случай не замедлил представиться прочитать письмо Зоси наедине, именно, когда Никифор Федорович, по обыкновению, отдыхал в пасике после обеда. Письмо было такого нехитрого содержания:

«Великодушные мои родители!

Четыре года я находился в плену у немилосердых горцев и, наконец, щедротами великодушных людей освобожден из оногo и теперь нахожусь в г. Астрахани в крайнем положении. По случаю расстроенного на службе здоровья, я хлопочу теперь себе отставку, хоть с третью жалованья. А пока не оставьте вашего покорного сына, пришлите мне хоть сто рублей пока, за что буду вам вечно благодарен. Остаюся ваш несчастный сын Зосим Сокирин. Карл Осипович знает мой адрес».

Прасковья Тарасовна не дослушала письма, ахнула и грохнулась на пол. Карл Осипович засуетился около нее, а педагог мой тоже ахнул при виде сей трагедии, да так и остался с разинутым ртом до тех пор, пока не

очнулась Прасковья Тарасовна. Простак! Он совершенно незнаком был с сими женскими слабостями. Придя в себя, Прасковья Тарасовна вскрикнула:

— Зосю мой, дитя мое! — и снова упала без чувств. Педагог начал было делать проект на улыбку, но не успел и остался при прежнем выражении. Прасковья Тарасовна снова пришла в себя и попросила воды, прошептала что-то и зарыдала, бедная, как малое дитя. К этому времени Никифор Федорович, отдохнувши в пасике, пришел в светлицу, чтобы попросить напиться у Прасковьи Тарасовны яблочного кваску, который они на прошлой неделе только почали, но, увидя сидящую на полу и неутешно рыдающую свою Парасковию, спросил у предстоящих о причине такого горького рыдания. Карл Осипович рассказал ему несколькими словами содержание всей трагедии и подал ему роковое письмо, а тот, вооружившись очками, медленно и внимательно прочитал его и так же медленно сложил и, подавая Карлу Осиповичу, сказал: — Бре-ше! — но так тихо, что Прасковья Тарасовна не могла слышать. Карл Осипович был почти такого же мнения, тем более, что Зося в письме своем к нему ни слова не говорит о своем плене у бесчеловечных горцев, но на сей раз не высказал своего мнения, а только почесал нос и понюхал табаку. — Неужли он, — доннер-веттер! — вздумал употребить его, почтенного старца, орудием своей гнусной лжи? — так или почти так думал простодушный добряк.

Между тем Прасковья Тарасовна начала понемногу утихать и уже не плакала, а только всхлипывала. Окружающие как могли утешали ее. А чтоб совершенно ее успокоить, Никифор Федорович вынул из своей шкатулы стокарбованную ассигнацию и вручил ее неутешной своей Парасковии, сказавши:

— На, пошли ему.

— Мой голубе сизый, — говорила Прасковья Тарасовна, принимая деньги, — напиши ты ему хоть одно слово, обрадуй ты его, бесталанного.

— Пиши сама.

— Да как же я буду писать, коли я и писать не умею?

— Как хочешь, а я писать не буду.

— Разве вы, Карл Осипович, напишете?

— Попросите вот Степана Мартыновича, пускай они напишут: у меня нехороший почерк.

— Вы его учитель, Степан Мартынович; напишите, голубчику, хоть единое словечко, я за тебя денно и ночью буду богу молиться и пистри на халат возьму, а то вы всё в полотняном ходите.

Степан Мартынович изъявил согласие писать, а Никифор Федорович достал из той же шкатулки перо, чернилицу и бумагу и, положив всё это на стол, вышел из светлицы вместе с Карлом Осиповичем.

Оставшись вдвоем в светлице, Степан Мартынович сел за стол, положил перед собою бумагу, взял перо в руку и принял такую позу, какую обыкновенно дают живописцы сочинителям, когда изображают их бессмертные лики, осененные сапфирными крылами гения творчества. Принявши такую позу, он просил диктовать. Прасковья Тарасовна села тоже за стол против писателя и бессознательно приняла позу самой скорбной матери.

— Пишите так,— сквозь слезы проговорила она:— Зосю мой, дитя мое единое!

Степан Мартынович долго, долго думал и, наконец, написал:

«Единственный сын мой, милостивый государь Зосим Никифорович!»

Он очень хорошо знал, что неприлично писать такие слова, какие будет говорить неграмотная баба. Написавши титул, он спросил, что писать далее.

— Далее пишите так: — Орле мой, Зосю! Посылаю тебе сто карбованцев.

Он, разумеется, и эту, и все последующие фразы писал по-своему. Письмо вышло довольно оригинальное и нельзя сказать — краткое, потому что оно кончилось тогда только, когда исписан был весь лист кругом, а другого листа боялся просить Прасковья Тарасовна у Никифора Федоровича.

Когда громогласно и не борзяся было прочитано письмо, то Прасковья Тарасовна подумала: — А я-то, дура, мелю себе, что на язык попало, а вот оно как

надобно было говорить.— И она посмотрела на писателя с благоговением.

К вечеру было всё кончено, письмо и деньги были вручены Карлу Осиповичу с просьбою подать завтра же на почту. Карл Осипович, принявши комиссию сию, простился с хозяевами и, садясь в свою беду, подозвал к себе Степана Мартыновича и сказал ему на ухо:

— Ваши рубли свободны: дырочка заткнута.

Хлестнул своего буланого и был таков. А Степан Мартынович побрел в свою школу, недоумевая, что это за дырочка проклятая,— а хитрый немец не хочет объясниться просто.

Деньги были получены в Астрахани как нельзя более кстати, потому что бедная Якилына занемогла лихорадкою и лежала в городской больнице, следовательно, дневное пропивание для моего героя прекратилось. И вдруг как манна с неба упала! Ему выдавали, как арестанту, понемногу, но и за этим немногим стали втихомолку наведываться товарищи и прорицали ему, не как прежде — х л а м и д у п о р у г а н и я, но совершенную свободу и полное удовлетворение. Этого уж он и сам не понимал. Под словом «совершенная свобода» он разумел волчий паспорт, но «полное удовлетворение», как ни бился, а не мог разжевать.

Через месяц после этого происшествия хуторяне мои были обрадованы первым недельным листком, полученным из Оренбурга. Ватя назвал свой недельный дневник, в подражание своему благодетелю Ивану Петровичу Котляревскому, «Оренбургская Муха». Хуторяне мои его так же называли, например: «К нам прилетела «Оренбургская муха», или «Мы ожидаем «Оренбургскую муху» и т. д. Покойного Котляревского «Полтавская Муха»⁶⁷ была настоящая пчела, а это было только невинное подражание в одном названии. Эта муха ни на какую пошлость или низость людскую не нападала, подобно полтавской; это было просто описание вседневной прозаической жизни честного и

скромного молодого человека, а для хуторян моих это было выше всякой поэзии. Прочитывая недельный отчет своего милого Вати, они с любовью следили каждое его движение. Они видят его, как он идет по большой улице и ему встречаются эполеты да каски, каски да эполеты, козаки да солдаты, солдаты да козаки, даже бабы ходят по улице в солдатских шинелях, чего он не видал даже на красныше в Киеве. Или видят его, как он сидит на горе и смотрит на Урал, и на рощу за Уралом, и за рощей на меновой двор, а за двором степь и степь, хоть и не смотри, далее ничего не увидишь, а он всё смотрит да о чем-то думает. И видят его, как он, скучный, возвращается к себе на квартиру, молится богу и ложится спать, а завтра рано встает, надевает мундир, идет дежурить в госпиталь. Всё, совершенно всё видят, даже и то, как ему делает словесный выговор главный доктор за то, что у него на мундире одна пуговица расстегнулась, причем Прасковья Тарасовна говорила, что у этих главных хоть ангелом будь, а все-таки без выговора не обойдется.

«Оренбургская Муха» исправно являлась на хутор каждую неделю, и чем далее, тем однообразнее. Наконец, до того дошло, что все дни недели были похожи точь-в-точь на понедельник; воскресенье только и отличалось от понедельника тем (если не был дежурным), что был у обедни. Старики с наслаждением читали «Муху», никак не подозревая ее убийственно однообразного содержания.

Наконец, дошло до того, что он открыто начал жаловаться на скуку и однообразие. «Хоть бы на гауптвахту хоть раз посадили для разнообразия,— писал он,— а то и того нет». На оренбургское общество смотрел он как-то неприязненно, а дам высшего полета называл просто безграмотными кокетками, словом, он начинал хандрить. Отправляясь в Оренбургский край, он думал было на досуге приготовить защищать диссертацию на степень доктора медицины и хирургии, но вскоре им овладела такая тоска, что он готов был забыть и то, что знал, а об обширнейших знаниях и думать было нечего.

Более полутора года длился для него этот нравственный застой. Один вид Оренбурга наводил на него сон. Думал было он просить перевода, ссылаясь на климат, но от основания Оренбурга не было еще человека, который бы жаловался на его климат. Климат отличнейший, хотя лук и прочие огородные овощи и не родятся. Но это, я думаю, больше оттого, что всё это добро из Уфы получают, для кого оно необходимо, а до Уфы, заметьте, не более, не менее, как 500 верст. Однажды он, скуки ради, посетил Каргалу.— Все же таки,— думал он,— село, следовательно, не без зелени.— И представьте его разочарование: дома, ворота да мечети, а зелени только и есть, что крапивы кусточки под забором, а вонь такая, что он не мог и чаю выпить.— Вот тебе и село! Ну, это не диво. Сказано — татарин: ему был бы кумыс да кусок дохлой кобылятины,— он и счастлив. Поедем в другую сторону.— Поехал он в Неженку,— это будет по орской дороге. Что же? И там дома да ворота, только мечетей не видно, зато не видно и церкви. Но как день был июльский, жаркий, то он поневоле должен был изменить проект, плюнуть и возвратиться вспять, дивясь бывшему. Постучал он в тесовые ворота, ему отворила их довольно недурная собою молодка, но удивительно заспанная и грязная, несмотря на день воскресный.

— Можно у вас остановиться отдохнуть на полчаса? — спросил он.

— Можно, для ца не можно! — сказала она протяжно.

Он взошел на двор и хотел было в избу зайти, но на него из дверей пахнуло такой тухлятиной, что он только нос заткнул. На дворе расположиться совершенно было негде. Велел он своему вознице раскинуть кошомку под телегою на улице и прилег помечтать о блаженстве сельской жизни, пока лошади вздохнут. А между тем вышла к нему на улицу та самая заспанная грязная молодка и, щелкая арбузные семечки, смотрела... или, лучше сказать, ни на что не смотрела. Он повел к ней такую речь:

— А как бы ты мне, моя красавица, состряпала чего-нибудь перекусить!

- Да рази я стряпка какая?
- Ну, хоть уху, например. Ведь у вас Урал под носом: чай, рыбы пропасть?
- Нетути. Мы ефтим не занимаемся.
- Чем же вы занимаетесь?
- Бакци сеем.
- Ну, так сорви мне пару огурчиков.
- Нетути, мы только арбузы сеем.
- Ну, а еще что сеете? Лук, например?
- Нетути. Мы лук из городу покупаем!
- Вот те на! — подумал он: — деревня из города зеленью довольствуется.
- Что же вы еще делаете?
- Калаци стряпаем и квас творим.
- А едите что?
- Калаци с квасом, покаместь бакца поспееть.
- А потом бахчу?
- Бакцу.

— Умеренны, нечего сказать,— и он замолчал, размышляя о том, как немного нужно, чтобы сделать человека похожим на скота. А какая благодатная земля! Какие роскошные луга и затоны уральские! И что же? Поселяне из города лук получают и... И он не додумал этой тирады: извозчик прервал ее, сказавши:

— Лошади, барин, отдохнули.

— А, хорошо! Закладывай,— поедем.

И пока извозчик затягивал супони, он уже сидел на телеге. Через минуту только пыль взвилася и, расстилаясь по улице, заслонила и ворота, и стоящую у ворот молодку.

С тех пор он не выезжал уже из Оренбурга аж до тех пор, пока ему в одно прекрасное апрельское утро не объявили, что он командировается с транспортом на Раим.

О, как живописно описал он это апрельское утро в своем дневнике! Он живо изобразил в нем и не виданную им киргизскую степь, уподобляя ее Сахаре, и патриархальную жизнь ее обитателей, и баранту, и похищения,— словом, всё, что было им прочитано — от «П. И. Выжигина»⁶⁸ даже до «Четырех стран света»⁶⁹, — решительно всё припомнил.

Отправивши субботний учетверенный листок на почту, явился куда следует по службе, и на другой день поутру у Орских ворот ефрейтор скороговоркою спрашивал:

— Позвольте узнать чин и фамилию и куда изволите следовать?

Из воротника шинели довольно грубые вылетели слова:

— Лекарь Сокира в Орскую крепость. Подвысь! ⁷⁰—
Пошел!

И тройка понеслася через форштат мимо той церкви и колокольни, на которую Пугачев встацил две пушки, осаждая Оренбург.

До станицы Островной он только любовался окрестностями Урала и заходил только в почтовые станции, и то когда хотелось пить, но, подъезжая к Островной, он вместо серой обнаженной станицы увидел село, покрытое зеленью, и машинально спросил ямщика:

— Здесь тоже оренбургские козаки живут?

— Тоже, ваше благородие, только что хохлы.

Он легонько вздрогнул.

— А почтовая станция здесь?

— Дальше, в Озерной.

— Там тоже хохлы живут?

— Нет-с, наши русские.

Подъезжая ближе к селу, ему, действительно, представилась малороссийская слобода: те же вербы зеленые, и те же беленькие в зелени хаты, и та же девочка в плахе и полевых цветах гонит корову. Он заплакал при взгляде на картину, так живо напомнившую ему его прекрасную родину.

У первой хаты он велел остановиться и спросил у сидящего на призбе усача, можно ли будет ему переночевать у них?

— Можно, чому не можна. Мы добрым людям ради.

Он отпустил ямщика и остался ночевать.

Здесь он впервые в Оренбургском крае отвел свою душу родною беседою, а чтобы больше оживить не-словоохотного (как и вообще земляки мои) хозяина, то он спросил, чи есть у них шинок?

— Шинку-то у нас, признаться, нема, а так люды добри держать про случай.

Он послал за водкою, попотчевал хозяина и хозяйку, а маленькому Ивасеви дал кусочек сахара.

Хозяин стал говорливее, хозяйка проворнее заходила около печки с чаплиею. Только один Ивась стоял, воткнувши в рот пальцы вместе с сахаром, и исподлобья посматривал на гостя.

Не замедлили цыплята закричать за хатою и также не замедлили явиться на столе с парою свежепросоленных огурцов к услугам гостя.

— Закушуйте, будьте ласкави,— говорила хозяйка, ставя на стол цыплят,— а я тымчасом побижу до Домахи, чи не позычу з десять яець, а то в нас, признаться, вси выйшлы.

И она проворно вышла из хаты.

На другой день поутру хозяин нанял ему пару лошадей до станции, а догадливая хозяйка поднесла ему в складне на дорогу пару цыплят жареных, 10 яиц и столько же свежепросоленных огурцов. Принимая всё это, он спросил, что он им должен за всё.

— Та, признаться, нам бы ничего не треба, та думка та, що треба б дытныни чобитки купить.

Он подал ей полтинник.

— Господь з вами, та ёму и за грывеннычок Вакула пошие.

— Ну, там соби як знаешь,— сказал он и простился со своими гостеприимными земляками.

Переночевал он еще в Губерле (предпоследняя станция перед Орской крепостью), собственно для того, чтобы полюбоваться на другой день Губерлинскими горами. На другой день перед вечером он был уже в виду Орской крепости.

Вот как он рассказывает в своей «Мухе» впечатление, произведенное видом этой крепости.

«29 апреля. До 12 часов я гулял в губерлинской роще и любовался окружающими ее горами, чистой речечкой Губерлей, прорезывающей рощу и извивающейся около самых козачьих хат. Пообедавши остат-

ками подарка моей догадливой землячки, я оставил живописную Губерлю. Несколько часов подымался я извилистой дорогою на Губерлинские горы. У памятника, поставленного в горах, на дороге, на память какого-то трагического происшествия, я напился прекраснейшей родниковой воды. Поднявшись на горы, открылась плоская однообразная пустыня, а среди пустыни торчит одинокая будочка и около нее высокий шест, обернутый соломою. Это козачий пикет. Прехавши пикет, я начал спускаться по плоской наклонности к станции Подгорной. Переменивши лошадей, я подымался часа два на плоскую возвышенность. С этой возвышенности открылась мне душу леденящая пустыня. Спустя минуту после тягостного впечатления я стал всматриваться в грустную панораму и заметил посредине ее беленькое пятнышко, обведенное краснобурою лентою.

— А вот и Орская белеет, — сказал ямщик, как бы про себя.

— Так вот она, знаменитая Орская крепость! — почти проговорил я, и мне сделалось грустно, невыносимо грустно, как будто меня бог знает какое несчастье ожидало в этой крепости, а страшная пустыня, ее окружающая, казалась мне разверстою могилой, готовою похоронить меня заживо. В Губерле я был совершенно счастлив, вспоминал вас, мои незабвенные, воображал себе, как Степан Мартынович читает Тита Ливия под липою, а батюшка, слушая его, делает иногда свои замечания на римского витию-историка, и вдруг такая перемена! Неужели так сильно действует декорация на воображение наше? Выходит, что так. Подъезжая ближе к крепости, я думал (странная дума), поют ли песни в этой крепости, и готов был бог знает что прозакладывать, что не поют. При такой декорации возможно только мертвое молчание, прерываемое тяжелыми вздохами, а не звучными песнями. Подвигаясь ближе и ближе по широкому, едва зеленью подернутому лугу, я ясно уже мог различать крепость: белое пятнышко — это была небольшая каменная церковь на горе, а краснобурая лента — это были крыши казенных зданий, как-то: казарм, цейхгаузов и прочая.

Переехавши по деревянному, на весьма жидких сваях, мостику, мы очутились в крепости. Это обширная площадь, окруженная с трех сторон каналом аршина в три шириною да валом с соразмерною вышиною, а с четвертой стороны — Уралом. Вот вам и крепость. Недаром ее киргизы называют Яман-кала. По-моему, это самое приличное ей название. И на месте этой Яман-калы предполагалось когда-то основать областной город! Хорош был бы город! Хотя, правду сказать, и Оренбург малым чем выигрывает в отношении местности. Вот что оживляло первый план этой сонной картины: толпа клейменных колодников, исправлявших дорогу для приезда корпусного командира, а ближе к казармам на площади маршировали солдаты. Проезжая тихо мимо марширующих солдат, мне резко бросился в глаза один из них: высокий, стройный, и — странная игра природы! — чрезвычайно похож на брата Зосю. Меня так поразило это сходство, что я целую ночь не мог заснуть, создавая разные самые несбыточные истории насчет брата; да еще вонючая татарская лачуга, отведенная мне в виде квартиры, окончательно разогнала мой сон.

30 апреля. С больною головою явился я сегодня к коменданту, а от него пошел познакомиться к собрату по науке. Собрат по науке показался мне чем-то вроде жердели спелой и после обоюдных приветствий сказал мне, в виде комплимента, что я чрезвычайно похож на одного несчастного, недавно сюда присланного из Астрахани. Я спросил его, что значит слово «несчастный». Он пояснил мне, и я, простившись с ним, пошел искать баталионную канцелярию. В канцелярии у писаря спросил я, нет ли в их баталионе недавно присланного рядового Зосима Сокирина. Писарь отвечал: — Есть, — и, взглянувши мне в лицо, прибавил: — Зосим Никифорович.

— Можно ли мне прочесть его конфирмацию?

— Можно-с.

И я прочитал вот что: «По конфирмации военного суда, за разные противозаконные и безнравственные поступки, пишется в Отдельный Оренбургский корпус рядовым Зосим Сокирин, с выслугою».

— Нельзя ли мне видеть этого рядового? — спросил я писаря.

— Можно-с. Извольте следовать за мною.

И услужливый писарь привел меня в казармы.

Я не описываю вам нечистоты и смрада, возмущающих душу и вечно сущих во всех казармах. Не читайте маменьке, ради бога, этого письма: она, бедная, не перенесет этого тяжкого удара. На нарах в толстой грязной рубаше сидел Зося и, положи голову на колени, как «Титан» Флаксмана⁷¹, пел какую-то солдатскую нескромную песню. Увидя меня, он сконфузился, но сейчас же оправился и заговорил.

— Это ты, брат Ватя?

— Я.

— А это я,— сказал он, вытягиваясь передо мною во фронт.

Меня в трепет привело его непритворное равнодушие. Я был ошеломлен его ответом и движением и долго не мог сказать ему ни слова, а он всё стоял передо мною навтыжку, как бы издеваясь надо мною. Наконец, я собрался с духом, спросил его, не нужно ли ему чего-нибудь.

— Нужно,— отвечал он, не переменяя позиции.

— Что же тебе нужно?

— Деньги!

— Но я много не могу тебе предложить.

— Сколько можешь.

Я дал ему десятирублевый билет.

— Спасибо, брат,— сказал он, принимая деньги, и потом прибавил: — мы ей протрем глаза.

Я, уходя из казарм, просил его, чтобы он заходил ко мне в свободное время, пока я уйду в степь.

Бывало мне иногда грустно, тяжело грустно, но такой гнетущей грусти я никогда еще не испытывал. Мне казалось, что я видел Зосю во сне, что на самом деле такое превращение невозможно в человеке, такое помертвление всего человеческого. Придя на квартиру, я посмотрел свой бумажник и, не находя 10 рублей, убедился, что это, действительно, Зося. Боже мой! Что же тебя так страшно превратило? Неужели воспитание? Нет, воспитание скорее ничего не сделает из человека,

или только опозлит его, но превратить его в грубое животное никакое воспитание не в силах.

— Что же, наконец, довело тебя до этого жалкого состояния, мой бедный Зосю? — И я не мог в себе найти ответа».

Во все остальные дни пребывания своего в Орской крепости в дневнике Вати ничего интересного не было записано. Транспорт собирался в крепость и готовился к 12 мая выступить в степь, следовательно, кроме башкирцев, телег, верблюдов, козаков, солдат, он ничего больше не видел, а виденное им в эти дни весьма неинтересно, особенно на бумаге. Брат навестил его только один раз с каким-то пьяным офицером, с которым он был на ты. Просил у него денег — сначала 100 рублей, потом 50, потом 25 и, наконец, 10. Десять тот обещал ему дать завтра, когда он отрезвится. Он божился ему, что он совершенно трезвый. Товарищ его честью даже ручался, что у Зосима росинки во рту не было, а не то, чтобы... Видя недействительность ручательства благороднейшего малого, он попросил у него целковый на выпивку, в чем ему Ватя благоразумно не отказал, а иначе он мог бы довести пьяного зверя до неистовства, а там недалеко и до полиции; одним словом, заключение визита могло выйти самое сценическое.

Взявши целковый, он ловко щелкнул пальцем, проговоря: «Живем!», — и, сделав налево кругом, вышел из комнаты.

— Чудак, а благороднейший малый! — говорил его товарищ, раскланиваясь с Ватей.

Это было последнее свидание его с братом в Орской крепости.

Спустя дня два после этого грустного свидания Ватя слушал за Орью напутственный молебен, а через полчаса огромной темною массою транспорт двинулся в степь, подымая серые облака пыли. Спустя еще полчаса из-за Ори начали возвращаться в крепость провожавшие транспорт, но между ними не видно было «чудака, но благороднейшего малого». Ватя, бесприветный, исчезал в облаках пыли.

В последнем письме из Орской крепости Ватя писал своим хуторянам, чтоб они долго не ждали от него «Мухи», что он выходит в степь, а в походе, и при таком огромном транспорте, ему, может быть, некогда будет и подумать о письме. «А когда возвращуся из Раима, тогда, даст бог, опишу вам все, мною виденное, с возможными подробностями». Но случилось так, что он должен был в раимском укреплении сменить лекаря Н. и остаться вместо него в степи в продолжение четырех лет.

«Мои милые, мои незабвенные хуторяне!

Я обещался вам описать подробно свой поход по возвращении в Оренбург. Но мне суждено туда возвратиться не скоро: я сменил здесь товарища и остануся в укреплении, пока суждено будет кому-нибудь сменить или заменить меня, а пока это случится, я обещаю вам попрежнему посылать мою, уже «Раимскую Муху» с каждою почтою. Но так как почта приходит и от нас отходит не в определенное время, то вы и не беспокойтесь о неаккуратном появлении моей «Мухи» на вашем благодатном хуторе.

12 мая транспорт, в числе 3 000 телег и 1 000 верблюдов, выступил из Орской крепости. Первый переход (с непривычки, может быть) я ничего не мог видеть и слышать, кроме облака пыли, телег, башкирцев, верблюдов и полуобнаженных верблюдовожатых киргизов,— словом, первый переход пройден был быстро и незаметно. На другой день мы тронулись с восходом солнца. Утро было тихое, светлое, прекрасное. Я ехал с передовыми уральскими козаками впереди транспорта за полверсты и вполне мог предаваться своей тихой грусти и созерцанию окружающей меня природы. Это была ровная, без малейшей со всех сторон возвышенности степь, и, как белой скатертью, ковылем покрытая необозримая степь. Чудная, но вместе и грустная картина! Ни кусточка, ни балки, совершенно ничего, кроме ковыля, да и тот стоит — не пошевелится, как окаменелый; ни шелесту кузнечика, ни чиликанья птички, ни даже ящерица не сверкнет перед тобою своим пестрень-

ким грациозным хребтом, — всё, кроме ковыля, умерщвлено, немо всё и бездыханно, только сзади тебя глухо стонет какое-то исполинское чудовище, это — двигающийся транспорт. Солнце подымалось выше и выше, степь как будто начала вздрагивать, шевелиться. Еще несколько минут — и на горизонте показались белые серебристые волны, и степь превратилась в океан-море, а боковые аванпосты начали расти, расти и мгновенно превратились в корабли под парусами. Очарование длилось недолго. Через полчаса степь приняла опять свой безотрадный, монотонный вид, только боковые козаки попарно двигались, как два огромные темные дерева. Из-за горизонта начала показываться белая тучка. Я ужасно обрадовался этому явлению: все-таки разнообразие. Начинаю любоваться ею, а она, лукавая, вдруг расплывется в воздухе, то снова вдруг покажется из-за горизонта.

— Вишь ты, собаки, что выдумали! — проговорил один козак.

— А что такое, Дий Степаныч? — спросил у него другой.

— Рази ослеп? не видишь? Степь горит!

— И всамделе горит. Вишь, собаки!

Я стал внимательнее всматриваться в горизонт и, действительно, вместо тучки увидел белые клубы дыма, быстро исчезающие в раскаленном воздухе. К полдню пахнул навстречу нам тихий ветерок, и я почувствовал уже легкий запах дыма. Вскоре открылась серебряная лента Ори, и далеко выдавшийся к нам навстречу залив освежил воздух. И я вздохнул свободнее, и пока транспорт раскидывался своим исполинским каре вокруг залива, я уже купался в нем. Пожар был всё еще впереди нас, и мы могли видеть только один дым, а пламя еще не показывалось из-за горизонта. С закатом солнца начал освещаться горизонт бледным заревом. С приближением ночи зарево краснело и к нам близилось. Из-за темной горизонтальной, чуть-чуть кое-где изогнутой линии начали показываться красные струи и язычки. В транспорте всё затихло, как бы ожидая чего-то необыкновенного. И, действительно, невиданная картина представилась моим изумленным очам:

всё пространство, виденное мною днем, как бы расширилось и облилось огненными струями почти в параллельных направлениях. Чудная, неописанная картина! Я всю ночь просидел под своею джеломейкою и, любуясь огненною картиною, вспоминал нашего почтенного художника Павлова. Он часто мне говорил: — Учися, учися рисовать, эта наука никакой науке не помешает.— И правда, как бы теперь было кстати это прекрасное искусство!

Вблизи транспорта, на темной, едва погнутой линии и на огненном фоне показался длинный ряд движущихся верблюжьих силуэтов. Тут мне не на шутку стало досадно, что я не умею рисовать. Верблюды двигались один за другим по кособогу и исчезали в красноватом мраке, точно китайские тени. На одном из них, между горбов, сидел обнаженный киргиз и импровизировал свою однотонную, как и степь его, песню. Картина была полная, и я в изнеможении тут же, под джеломейкою, уснул. Во сне повторилась та же огненная картина с прибавлением «Содома и Гоморры» Мартена ⁷². Меня разбудил вестовой, — транспорт готов был двинуться; я успел еще кое-как выпить стакан чаю, пока убирали мою джеломейку, сел на коня и поехал с передовыми козаками.

Мы долго ехали по обгорелой степи, и теперь-то, глядя на эти черные бесконечные равнины, я убедился, что не во сне, а я вчера видел настоящий пожар. К полдню мы подошли опять к берегам Ори и расположились на ночлег. Следующий переход мы шли в виду Ори, и степь казалась разнообразнее: кой-где выдавались кособоры, местами даже белели обрывы берегов Ори, кой-где показывался камыш и даже кусты саксаула. Переправившись на другой берег Ори, транспорт опять раскинул свое гигантское каре.

По обыкновению, транспорт снялся с восходом солнца, только я, не по обыкновению, остался в арьергарде. Орь осталась вправо, степь принимала попрежнему свой однообразный, скучный вид. В половине перехода, я заметил, люди начали отделяться от транспорта, кто на коне, а кто пешком, и все в одном направлении. Я спросил о причине у ехавшего около меня

башкирского тюря, и он сказал мне, указывая нагайкою на темную точку: — Мана ауля ага ч (здесь святое дерево). — Это слово меня изумило. Как? В этой мертвой пустыне дерево? И уж, конечно, коли оно существует, так должно быть святое. За толпою любопытных и я пустил своего Воронка. Действительно, верстах в двух от дороги, в ложбине, зеленело топовое старое дерево. Я застал уже вокруг него порядочную [толпу], с удивлением и даже (так мне казалось) с благоговением смотревшую на зеленую гостью пустыни. Вокруг дерева и на ветках его навешаны набожными киргизами кусочки разноцветных материй, ленточки, пасма крашенных лошадиных волос, и самая богатая жертва — это шкура дикой кошки, крепко привязанная к ветке. Глядя на всё это, я почувствовал уважение к дикарям за их невинные жертвоприношения. Я последний уехал от дерева и долго еще оглядывался, как бы не веря виденному мною чуду. Я оглянулся еще раз и остановил коня, чтобы в последний раз полюбоваться на обоготворенного зеленого великана пустыни. Подул легонький ветерок, и великан приветливо кивнул мне своей кудрявой головою, а я, в забытии, как бы живому существу, проговорил «прощай» и тихо поехал за скрывшимся в пыли транспортом.

Мы остановились на речке Кара-Бутаке, вблизи воздвигавшегося в то время форта. Здесь у нас была дневка, и как с нами следовал священник, то на другой день был пет молебен и освящено место для форта. Меня, в числе других, пригласил строитель форта разделить его походный обед в кибитке, и здесь-то я познакомился с ним, с единственным человеком во всем безлюдном Оренбургском крае. После долгой, самой задушевной беседы мы с ним расстались уже ночью. На дорогу подарил он мне бутылку астрогону и пару лимонов, драгоценный дар в такой пустыне, каковы Кара-Кумы, где я и оценил эту драгоценность по достоинству.

От Кара-Бутока до Иргиза перешли мы еще две небольшие речки — Яман-Кайраклы и Якши-Кайраклы. Физиономия степи одна и та же, безотрадная, с тою

только разницею, что кой-где на плоских возвышенностях чернеют, как маяки, киргизские, из камней или просто из камыша и глины сложенные, «мазарки», как их называют уральские козаки, да еще замечательно, что все это пространство усыпано кварцем. Отчего никому в голову не придет на берегах этих речек поискать золота? Может быть, и в киргизской степи возник бы новый Санто-Франциско. Почему знать?

Пройдя усеянное кварцем пространство, мы перешли вброд реку Иргиз и пошли по левому плоскому ее берегу. Вдали, на самом горизонте, синела гора, увенчанная могилами батырей и киргизских ауля, называемая мана ауля, т. е. здесь святой. Оставив гору в правой руке, мы остановились на берегу Иргиза вблизи могилы батыря Дустана. Этот грубо из глины слепленный памятник напоминает общей формою саркофаги древних греков.

Мы остановились на том самом месте, где вчера на предшествовавший нам транспорт напала шайка хивинцев и несколько человек захватила с собою, а несколько оставила убитыми, и здесь я в первый раз видел обезглавленные и обезображенные трупы, валяющиеся в степи как какая-нибудь падаль. Начальник транспорта приказал зарыть их, а священник отпел панихиду по убиенным. Еще переход — и мы в Уральском укреплении.

Никогда не забуду того грустного впечатления, какое произвел на меня вид этого укрепления. Верст за пятнадцать мы увидели на возвышенности кучку чего-то неопределенного, и на спрос наш у вожака, что это такое, он нам ответил: — Иргиз-кала.

Мы подошли на такое расстояние, что можно было ясно различать предметы. Представьте себе на сером фоне кучку серых мазанок с камышевыми кровлями, обнесенную земляным валом. Это было первое мною виденное степное укрепление, поразившее меня так неприятно своею грустною наружностью. И действительно, оно издали больше похоже на загоны или кошары, чем на жилище людей.

Пройдя Уральское укрепление, мы два раза оста-

навливались на озерах, а третий ночлег и дневку провели на речке Джаловлы. За этой гнилой речкой начинаются страшные Кара-Кумы (черные пески). День был тихий и жаркий. Целый день у нас только и разговору было, что про Кара-Кумы. Бывалые в Кара-Кумах рассказывали ужасы, а мы, разумеется, как не бывалые, слушали и ужасались.

Задолго до рассвета начали выучить плачущих верблюдов и мазать телеги. Начальник транспорта [торопил], чтобы как можно раньше сняться и до жаров пройти переход. Но представьте наше удивление: когда мы вошли в песчаные бугры, солнышко уже было довольно высоко, а ожидаемого жару и знаку не было, и чем выше солнце подымалось, нордовый ветер свистел и делалось холоднее, так что к полдню мы принуждены были вооружиться шинелями.

Трое суток мы не снимали шинелей, и над рассказчиками про ужасы Кара-Кумов начали было уже подтрунивать, как вдруг ветер начал быстро стихать и к полдню совершенно стих. До колодцев оставалось еще верст десять, и эти десять верст показались мне десятью десять. Жара была нестерпимая. Никогда в жизни я не чувствовал такой страшной жажды и никогда в жизни я не пил такой гнусной воды, как сегодня. Отряд, посылаемый вперед для расчистки колодцев, почему-то не нашел их, и мы пришли на гнилую солоно-горько-кислую воду, а добавок ее в рот нельзя было взять, не процедивши: она пенилась вшами и микроскопическими пьевками. Тут-то я вспомнил подарок моего карабутацкого друга, и, благодаря его догадливости, я с помощью лимона выпил стакан чаю. Ничем так быстро не утолишь жажды, как горячим чаем вприкуску. Тот только почувствует всю цену сему китайскому продукту, кому пришлось хоть раз пройти эту киргизскую Сахару.

Транспорт снялся часа за два до рассвета. Ночью, по-моему, самое лучшее проходить Кара-Кумы. Ночью не замечаешь однообразия песчаных бугров и не нуждаешься в отдаленном горизонте. Но лошади и верблюды иначе об этом думают: они днем — и под тяжестью, и на свободе — должны сражаться со своим злейшим

врагом — оводом, а ночью враг умолкает, и они наслаждаются миром.

С восходом солнца открылася перед нами огромная бледнорозовая равнина. Это — высохшее озеро, дно которого покрылось тонким слоем белой, как рафинад, соли. Такие равнины и прежде встречались в Кара-Кумах между песчаными буграми, но не так обширны, как эта, и не были освещены восходящим солнцем. Я долго не мог отвести глаз от этой гигантской белой скатерти, слегка подернутой розовою тенью.

Один из козачков заметил, что я пристально смотрю на белую равнину, и сказал: — Не смотрите, ваше благородие, — ослепнете! — Действительно, я почувствовал легонькое дрожание света и, зажмуривши глаза, пустился догонять жожака, далеко выехавшего вперед. Так я перебежал всю ослепляющую равнину. На противоположной стороне с высокого бугра я любовался невиданною мною картиной, будучи сам атомом этой громадной картины: через всю белую равнину черной полосой растянулся наш транспорт, то есть половина его, а другая половина, как хвост черной змеи, извивалась, переливаясь через песчаные бугры. Чудная, страшная картина! Блестящий белый фон картины опять начал действовать на мое зрение, и я скрылся в песчаных буграх.

Вечеру многие явились ко мне за медицинским пособием: они ничего, кроме серого тумана, не видели. На глазах не было никакого знака их слепоты, и я им на другой день закрыл глаза волосяными черными сетками, тем дело и кончилось.

Бугры начали сглаживаться, начали показываться довольно широкие равнины. Вправо от дороги мы уже третий день видим синюю гору, и она, кажется, как будто от нас уходит.

По мере того, как сглаживались песчаные бугры, уже становилась широкая белая лента лошадиных и верблюжьих остовов, протянутая через Кара-Кумы.

Еще переход, и мы увидели на горизонте, к югу, едва заметную синюю горизонтальную линию. То было Аральское море. Унылый транспорт мгновенно ожи-

вился, как бы почувствовал свежесть в воздухе, отрадное дуновение моря.

На другой день мы уже купались в Сарычеганаке (залив Аральского моря). Еще один день следовали по берегам гнилых соленых озер того же залива и вышли опять на равнину, покрытую кустарниками саксаула. Этот и следующий переход, до озера Камышлы-баша (залив Сыр-Дарья), мы проходили ночью, потому что не было возможности пройти днем: жару было в тени 40°, а в раскаленном песке в продолжение 5 минут яйцо пеклося всмятку. Последний переход мы прошли ночью. С восходом солнца мы близко уже подошли к Раимскому укреплению. Вид со степи на укрепление грустнее еще, нежели на Калу-иргиз.

На ровной горизонтальной линии едва-едва возвышается над валом длинная, камышом крытая казарма, — вот и весь [Раим?]. Навстречу нам вышел почти весь гарнизон. Бледные, безотрадные, точно у арестантов, лица. Мне сделалось страшно.

— Не свирепствует ли у вас какая-нибудь эпидемия? — спросил я у одного офицера.

— Слава богу, благополучно, — отвечал он мне.

Подъезжая к самому укреплению, открывается зеленая широкая полоса камыша, и кое-где из темной зелени выглядывает серебристая Сыр-Дарья.

Итак, я на Раиме.

Между двумя широкими озерами высовывается высокий мыс, на котором построено укрепление, называемое Раим, от абы, воздвигнутой здесь за сто лет над прахом батыря Раима, остатки которой вошли в черту укрепления.

Подробнейшее описание моего теперешнего местопребывания опишу вам в следующем листке, а теперь молюся богу о вашем здравии, мои милые, мои незабвенные хуторяне, и прошу вас, не забывайте меня в сей безотрадной пустыне.

Р. С. Степан Мартынович пускай подробно опишет мне, какова его школа и пасика, а Карлу Осиповичу просто кланяюсь, ему, я знаю, писать некогда».

Года два спустя по получении этого письма на хуторе я, по обязанностям службы, должен был прожить несколько месяцев в Золотоноше и в Переяславе. Во время пребывания моего в Переяславе я почти ежедневно посещал хуторян, как старых и близких моих друзей, и, разумеется, всегда участвовал почти в публичном чтении «Раимской Мухи», я говорю «почти публичном чтении» потому, что Никифор Федорович читал ее всем, кто посещал его хутор. Следя в продолжение зимы за «Мухой», я заметил в ней какое-то унылое, монотонное жужжание, чего, разумеется, хуторяне и не подозревали. Первые листки свои из степи он еще кое-как разнообразил, например, описывая быт кочующих полунагих киргизов, сравнивая их с библейскими евреями, а а к с а к а л о в ⁷³ их — с патриархом Авраамом. Иногда касается он слегка обитателей самого укрепления, сравнивая их с разнохарактерной толпой, выброшенной на необитаемый остров, а помещения юмористически сравнивает с хижинкой, которая не защищает ни от солнца, ни от дождя, ни от холода и рождает в несметном количестве блох и клопов; а от скорпионов и тарантулов расстилают на земляном полу хижины войлок, которого они, по сказаниям киргизов, страшно боятся, потому что от войлока пахнет бараном, а баран, как известно, лакомится ими, как мы (не в осуд будь сказано) устрицами.

В одном из листков своих описывает он (тоже в юмористическом тоне) земляка своего, находившегося при описанной экспедиции на Аральском море и возвратившегося в укрепление с широчайшей бородою, где уральские козаки (не исключая и офицеров) приняли его за своего расстригу-попа, за веру пострадавшего (земляк-то, видите, был из числа несчастных), — и он, знай, благословляет их большим крестом да собирает посильное подаяние натурою, т. е. спиртом.

И эта комедия продолжалась до тех пор, пока ротный командир не приказал ему сбрить бороду. С бородой, разумеется, и поклонения, и приношения прекратились. Впрочем, он пишет, что это человек неглупый, с которым он сошелся весьма близко, так близко, что если бы не словоохотный и образованный земляк, то он

мог бы назваться самым неистовым камедулом⁷⁴; и что этот счастливый земляк (счастливым он его называет потому, что, несмотря на его гнусное положение, настоящее и будущее, — ему уже за пятьдесят лет, — он не слышал от него в самой откровенной беседе ни малейшего ропота на судьбу свою, почему он его шутя и называет кантонистом⁷⁵, т. е. повитым, вместо пеленки, солдатской шинелью), и что (пишет он) этот счастливый земляк сообщил ему самые дельные сведения о берегах и островах Аральского моря, — такие сведения (в геологическом отношении), за сообщение которых сам Мурчисон⁷⁶ сказал бы спасибо.

В последнем конверте был получен и печатный приказ по Отдельному Оренбургскому корпусу, где напечатано, что Зосим Сокирин из унтер-офицеров в прапорщики производится за отличие, чему он немало и радуется, и удивляется, и сам себя спрашивает, чем он мог отличиться?

А самое последнее письмо, в котором он только и писал, что в укреплении свирепствует скорбут, а лошади от сибирской язвы десятками падают, — так это-то письмо читал уже почтеннейший Степан Мартынович на смертном одре лежащему Никифору Федоровичу. На другой день совершенно было над ним елеосвящение, а на третий, в 3 часа пополуночи, он отослал свою честную душу на лоно Авраамле.

В духовном своем завещании он назначил душеприказчиками меня и Степана Мартыновича, а Карл Осипович уехал этою же зимою на побывку в свой Дорпат, да там и остался. За Прасковьей Тарасовной в своем завещании утверждает власть матери только в отношении Савватия, а о Зосиме ни слова не упоминает. Еще завещает: чтобы отпевание совершено было в церкви Покрова и чтобы исторический образ покрова пресвятыя богородицы на время отпевания поставлен был в головах около его домовны; и что приносит он на церковь Покрова 2 пуда желтого воску и пудовый, ярого воску, ставник перед образ покрова; и чтобы бранные останки его были преданы земле непременно в пасике, и чтоб над его могилою была посажена липа в головах, а черешня в ногах; и чтоб ка-

менного креста в Трахтемирове не заказывали, потому, говорит, что камень только лишняя тяжесть на гробе грешника, а чтобы повесили на липе и черешне образа святых Зосимы и Савватия; и чтобы ежегодно в день покрова служить панихиду по его душе грешной и по душе праведного И. П. Котляревского, и чтобы раз в год кормить сытно нищую братию и кто пожелает — сто душ. Гусли же и летопись Конисского положить в шкаф с книгами, замкнуть и ключ по почте переслать Савватию. «А еще,— прибавляет он,— кто дерзнет (кроме моего Савватия) наложить святотатственную руку на сие неоцененное мое сокровище — да будет проклят!» Марине завещал по смерти ее выдавать ежегодно 10 рублей серебром, а Степану Мартыновичу 25 и 25 ульев пчел одновременно.

Похоронивши буквально по завещанию своего наилучшего друга, я вскоре уехал в Киев, на место службы, поручив Степану Мартыновичу писать ко мне ежемесячно подробно обо всем, что делается на хуторе.

Каждое первое число аккуратно я получал письмо от почтеннейшего моего товарища. Письма его, разумеется, не сверкали той ослепительной молнией ума и воображения, ни ученостью, ни новым взглядом на вещи, ни новыми идеями, ни даже блестящим слогом, как, например, поражают «Письма из-за границы» законодателя русского слова⁷⁷ или задушевного друга и помощника его «Письма из Финляндии»⁷⁸. Нет, в письмах моего товарища ничего этого не просвечивало. Зато в его нехитрых посланиях, как алмаз в короне добродетели, горела его непорочная душа.

Прочитывая его письма, я как бы сам присутствовал на хуторе, малейшие подробности я видел; видел, например, как неосторожную Марину, пришедшую на досуге в пасику, пчела за нос укусила, и она была такая смешная, что даже Прасковья Тарасовна улыбнулась.

Школу свою распустивши на пасху, он уже не собирал ее, чтобы иметь больше времени для наблюде-

ний за пасиками и вообще по хозяйству на хуторе; потому что Прасковья Тарасовна совершенно ото всего отказалась и собиралась уже принять чин инокини, только не во Фроловском монастыре в Киеве, а в чигиринской богоспасаемой пустыни. Уже было совсем собралась, и паспорт взяла, и котомку сшила, только вдруг, как с неба упал, явился на хуторе Зосим Никифорыч. Явился, и всё пошло вверх дном. Сначала он скрывал свои гнусные страстишки, потом слегка начал обнаруживаться, а потом завел в доме кабак и игорное сборище, отрешил от всякого вмешательства в дела по хозяйству смиренного моего товарища и, наконец, выгнал из дому почтеннейшую кроткую старушку Прасковью Тарасовну. Она, бедная, приютилась в школе у сердобольного Степана Мартыновича и более трех лет слушала неистовые песни пьяных картежников. Я хотел вступить за права законного наследника, но она меня умоляла не трогать Зосю, — авось либо само всё придет к лучшему концу.

Прошел еще и еще год, а лучшего конца не было. Наконец, я решился написать Савватию письмо, в котором советовал ему, если он хочет успокоить последние дни своей матери и сохранить хоть малую часть своего наследия, то взял бы, если можно, отставку, а нельзя, то шестимесячный отпуск и — чем скорее, тем лучше — приезжал на хутор.

Савватий так и сделал, — взял отставку, потому что срок службы, назначенный за воспитание правительством, был кончен, и, следовательно, он мог располагать собою по произволу. По приезде своем на хутор он тоже должен был приютиться в школе, потому что в дом срамно было войти. Сначала обратился он к брату с лаской, но тот вернул ему такое словцо, какого не найдете в словаре любого городничего. Тогда обратился он к властям, и в силу духовного завещания был введен во владение хутором и принадлежащими ему добрами, а Зосим был изгнан с посрамлением.

Возмутилось твое безмятежное, кроткое сердце, когда ты подошел с ключом в руках к заветному шкафу,

стерегущему святыню, в нем хранимую, проклятием умирающего человека. Возмутилось твое благородное сердце, когда ты прикоснулся к замку, уже сломанному. Возмутилось твое бедное сердце, когда ты, растворив шкаф, увидел заветные гусли, на которых бряцал вдохновенный, как Давид, Григорий Гречка и маститый благородный отец твой возмущал иногда тихими аккордами невозмутимое сердце своей подруги и безмятежное благородное сердце своего единого друга, Степана Мартыновича. Ты увидел их разбитыми, струны живые изорванными, а прекрасное изображение пляшущих пастушек запятнанное горячей табачной золою; псалтырь же его священная, Геродот⁷⁹ его, единая его радость — летопись Конисского наполовину изорвана для закуривания трубок.

Увидя все это, Савватий остолбенел. Слезы градом покатались по его мужественным бледным щекам, и он тихо, едва внятно проговорил: — Бог вам судия! Вандады! Варвары!

На третий день после этой сцены получил я разбитые гусли с письмом в Киеве и тотчас же отдал их искусному гардировщику; а когда они были готовы и струны натянуты, я уложил их в ящик, взял отпуск на 28 дней и уехал в Переяслав, т. е. на хутор. Я застал их еще в школе, но дом был уже вычищен, выбелен и к завтраму приглашено уже духовенство, т. е. соборный протоиерей с причетом и покровский отец Яков, тоже с причетом, чтобы освятить обновленное жилище. Раскупили гусли, и откуда взялась радость и веселие? Савватий, легонько касаяся струн, запел своим прекрасным тенором свою любимую песню:

Чи я така уродилась,
Чи без долі охрестилась,
Чи такії куми брали,
Талан-долю одібрали.

Степан Мартынович ему тихонько вторил, а Праксovia Тарасовна, сидя в уголку, навзрыд плакала.

На завтрашний день, часу около десятого, явилось духовенство с крестами и хоругвями. Освятивши дом, совершен был крестный ход вокруг хутора и пасики,

с пением псалмов и стихирей. Сам протоиерей, почерпнув воды из Альты и ссняя ее знамением животворящего креста, кропил сначала всех предстоящих, а потом каждого по одиночке, и по совершении священнодействия, разоблачась, благословил ястие и питье, сел за трапезу, а за ним и прочий чин духовный и светский.

Прасковья Тарасовна просто помолодела. Она вспомнила бывалые свои религиозные пиры и, как во время оно, обходила стол кругом с бутылкой и рюмкой, умаливая каждого гостя хоть по куштувать. Гости, разумеется, по обыкновению отнекивались. Один только либерал, стихарный соборный пономарь, не отнекивался.

Когда же трапеза приблизилась к концу и ничего уже не подавалось съедобного, опроче сливянки, тогда духовенство, не выходя из-за стола, встало и возгласило стройным хором:

Спаси уповающих на тя,
Мати незаходимого солнца.

По окончании гимна и послеобеденной благодарственной молитвы духовенство благодарило хозяев и снова село на места, уже не трапезы ради, а ради назидательной беседы. Низший чин духовный, как-то: дьячки, пономари и клир, вышли из светлицы и, погулявши малый час по саду, вышли на левую сторону, а там стоял ожеред только вчера сложенного сена; вот они, с общего согласия, расположились в тени и почили сном праведных все до единого.

В светлице же беседа длилась почти что до вечерен. Было говорено много о предметах, касающихся общезжития, и также о предметах, касающихся философии и богословия. Особенно отец Никанор, молодой священник, богослов, говорил много, и всё из писания, и всё по-римски, гречески и еврейски, всех писателей христианской древности так и валял наизусть. Старцы, дивясь его великому гениусу, только брадами белыми помавали и значительно посматривали друг на друга, как бы говоря: вот так голова! А Прасковья Тарасовна, слушая витию, просто плакала. Степан Мартынович, может быть, больше всего собора разумел говорящего,

но не обнаруживал этого ни единым движением. Когда же Прасковья Тарасовна заплакала, то он начал утешать ее, говоря, что отец Никанор читает совсем не жалобное, а более сатирическое.

Отец же протоиерей, чтобы положить конец сей слезоточивой трагедии, просил подать себе гусли. Гусли поданы, и он встал, расправил руками белоснежную свою бороду, завернул широкие рукава своей фиолетовой рясы, возложил персты своя на струны и тихим старческим голосом запел:

О всепетая мати!

К нему присоединился собор духовенства, Савватий и даже сам Степан Мартынович. Сверх ожидания пение было тихое и прекрасное. После этого гимна были петы еще разные канты духовного содержания. Дошло, наконец, и до песен мирского, житейского содержания. Уже начали было хором:

Зажурилась попадя
Своею бідою...

Но отец протоиерей, видя близкий соблазн и дремлющие силы врага человеческого, повелел садиться в брички и рушать во-свояси, что, к немалому огорчению Прасковьи Тарасовны, и было исполнено.

Причет же церковный вышел из-под сена уже в сумерки и, не заходя на хутор, перелез через тын и, выйдя на шлях, ведущий к городу, с общего согласия запел хором:

Жито, мати, жито, мати,
Жито не полова...

Вечер был тихий, и Степан Мартынович, подойдя к Альте, остановился и долго слушал стихающую вдаль песню и никак не мог догадаться, кто бы это мог петь так сладкогласно?

Исполнив священный долг душеприказчика, возложенный на меня покойным другом моим, Никифором Федоровичем Сокирою, я на другой день после описанного мною праздника уехал в Киев. Савватий Сокира мне чрезвычайно понравился своими правилами,—образом взгляда на вещи вообще и на человека в особен-

ности, своим юношеским девственным взглядом на всё прекрасное в природе. Когда он говорил о закате солнца или о восходе луны над сонным озером или рекою, то я, слушая его, забывал, что он медик, и радовался, что физические науки не погасили в его великосильной душе священной искры божественной поэзии.

Прощаясь с ним, я не мог ему (по праву старшинства) ничего лучше посоветовать, как следовать влечению собственных чувств и убеждений, и только завещал ему писать ко мне как можно чаще.

По приезде в Киев выгрузили из моей нетычанки и трехведерную кадущу белого, как сахар, липцу.

— Это,— говорит мой Ярема,— подарок Степана Мартыновича. Они сами поставили и крепко наказали, чтобы не говорить вам ни слова.

— Ну, спасибо ему, что полакомил нас с тобою, стариков. Нужно будет и ему что-нибудь послать, а? Как ты думаешь, Яремо?

— Разумеется, нужно, мы с вами не скотина какая-нибудь бесчувственная.

— Да что же ему послать-то такое? Право, не придумаю. Заказать разве Сенчилову образ для его пасики? Так образ у него есть хороший. Да! Он как-то говорил, что ему хотелось бы прочитать Ефрема Сирина. Прекрасно! Возьми, Яремо, эти деньги и эту записку и ступай в лавру, спроси там отца типографа, отдай ему всё это, а от него возьми большую книгу и принеси домой.

Через несколько дней Степан Мартынович сидел на своей пасике и пытался [найти] у Ефрема Сирина, отчего вышла такая противоположность между родными братьями, а прочитавши от доски до доски, он крепко призадумался. После раздумья написал письмо отцу типографу, прося его прислать ему Иустина Философа, на что и прилагает 5 рублей серебром. Но как Иустина Философа не нашлось в киево-печерской книжной лавке, то Степан Мартынович и остался при своем убеждении, что такие чудеса совершаются токмо единою всемогущею волею божиею, и что он не подозревает даже ниже малейшего влияния человека на человека.

Вместо Иустина Философа отец типограф прислал ему акафист пресвятой богородицы Одигитрии⁸⁰ и Киевский Патерик⁸¹, из которого он почерпнул прекрасные, назидательные идеи и решился по гроб свой подражать святому, прекрасному юному отроку праведного князя Бориса⁸².

В продолжение года получил я всего два письма от Савватия Сокиры, и те без всякого внутреннего содержания. Письма эти напоминали мне школьника, пишущего письмо к своим родителям по диктовке своего наставника. Впрочем, он сам чувствовал пустоту своих писем и извинялся тем, что материалов еще не накопилось для порядочного письма, говоря, что самая скучная и монотонная история — [история] самого счастливого народа.

Зато аккуратно, каждый месяц, снабжал меня длинными посланиями почтеннейший Степан Мартынович. Все происшествия, не имеющие никакого отношения к моим хуторянам, он описывал с усыпляющими подробностями, например: «Накануне воздвижения честного и животворящего креста господня у приятеля моего мещанина Карпа Зозули кобыла ожеребилась буланым жеребчиком, а у соседа нашего той же ночи вола украдено». Что же касалось собственно хуторян, тут плодовитости его не было пределов. Словом, он воображал себя душеприказчиком, а меня своим товарищем.

В одном из своих нелаконических писем описывает он появление Зосима на хуторе в самом жалком виде:

«Он постучался в двери моей школы, когда я уже совершил молитвы на сон грядущий и читал уже третий кондак акафиста пресвятой богородицы Одигитрии. Страх и трепет прииде на мя.

— Кто там? — воскликнул я во гневе.

— Отвори, — говорит, — христа ради, Степан Мартынович!

Я чувствую, что называет меня по имени, взял ка-

ганец, пошел и отворил двери. Свет помрачился в очах моих, когда увидел я едва рубищем прикрытого входящего в школу блудного сына Зосю.

— Что,— говорит,— не узнал меня, дядюшка? А, каков я молодец?

— Очам своим не верю! — говорю я.

— Ну, так ощупай хорошенько и рукам поверь.

— Не верю! — проговорил я снова.

— Я,— говорит он,— твой бывший ученик, а теперь заслуженный вор, пьяница и привилегированный картежник — Зосим Сокирин. Ну, теперь знаешь?

— Знаю,— говорю я.

— А коли знаешь, так и толковать больше нечего: посылай за сивупле! Разумеешь? За водкой. Да поищи, нет ли где заплесневелого кныша от прошлогодней хавтуры⁸³.

— Горилки,— говорю,— нет, и послать некого.

— Давай денег, я сам пойду.

Я дал ему на квартиру денег, и он поспешно удалился. Достал я из коморы меду, хлеба, поставил на стол и хотел было продолжать акафист, но дух мой был возмущен и помышления мои омрачены были внезапным видением. Долго ходил я по школе, как в лесу неисходимом, а Зося не являлся. Свеча перед образом догорела, я другую засветил, и та уже наполовине, а Зоси нет как нет.— Господи,— думаю себе,— живой на небесах, сердцеведче наш! Не навождение ли сатанинское было надо мною? — И, прочитавши «Да воскреснет бог», я успокоился духом, прочитал снова акафист пресвятой богоматери Одигитрии и осенил крестным знамением двери, окна и к б м ы н, прочитал трижды «Да воскреснет бог» и отошел ко сну.

На другую ночь повторилось то же самое видение, на третью тоже, и я все ему даю на квартиру горилки, и оно исчезает. Я сообщил о сем видении Прасковье Тарасовне, и она, бедная, изъявила желание провести ночь в моей школе, чтоб увидеть сие видение.

Вечеру мы с Прасковьей Тарасовной вышли из хутора, как будто на проходку. Савватий Никифорович были в городе по долгу службы. Когда смерклося, мы пришли в школу. Я засветил свечу и достал Патерик.

Начал читать, утешения ради, житие преподобного мученика Моисея Угурина, за целомудрие пострадавшего от некия блудныя болярыни. И дочитал уже, как он, прекрасный юноша, в числе прочих плененных, по разделу достался на долю вдовы воеводыни, лицом зело красныя, а сердцем аспиду подобныя. Первая услышала стук в двери Прасковья Тарасовна, а потом уже я. Закрывши книгу, я пошел отворить дверь, и она вышла за мною, чтобы спрятаться в сенях и не быть видимою. Но когда я отворил дверь, с каганцом в руке, и она увидела лицо, смраченное развратом, своего Зоси, то вскрикнула и повалилася на землю, лишенная всякого чувства. Он же рыкнул на меня, аки лев свирепый:

— А, подлец, христопродавец, ты меня продать хотел! Говори, кто здесь, а не то тут тебе и аминь!

И так сдвинул мне горло, что я едва выговорил:

— Твоя маты.

— А, когда она только, то это хорошо. Мне давно с ней переговорить хотелось. Где она?

Я посветил ему каганцом и указал на распростертую на земле Прасковью Тарасовну. Он, взглянув на нее, проговорил:

— Ничего, пусть отдохнет, а мы с вами побеседуем. А что, исполнил ты мое приказание? Сегодня последний срок: деньги, или молися богу,— говорит.

В это самое мгновение Прасковья Тарасовна застонала. Я вышел в сени, взял ее, бедную, на руки и, как дитя малое, положил на мое суровое ложе. Немного погодя она пришла в себя и проговорила:

— Зосю мой! Зосю мой! Сыну мой единый!

— Я здесь, маменька, что прикажете?

Она взглянула на него и залилася горькими слезами. Он долго молча смотрел на ее горькие слезы и, наконец, проговорил:

— Вот что, маменька! Ни обмороки, ни слезы, ни молитвы, ни даже ваши проклятия не в силах поколебать меня: это всё вздор, чепуха! Одно, скажу вам, что меня может обратить на путь истинный,— это деньги, и только одни деньги. Дайте денег, и чем больше, тем лучше. Да и в самом деле, за что же я лишен

своего наследства? Верно, по протекции вашей! Ну, теперь и раскошеливайся!

— Зосю мой! сыну мой единый! — проговорила она снова.

— Нечего тут «единый»! Я тебе такой же сын, как ты мне мать. Ну! поворачивайся, Степан Мартынович! Она тебе после отдаст!

Достал я из бодни всё, что у меня было, и передал ему в руки. Он взял деньги, пересчитал их и сказал:

— Больше нет?

— Нету,— говорю,— все до единого пенязя.

— Смотри, врать грешно, ты сам меня учил. Ну, на первый раз достаточно. Теперь марш на Пидварки! Теперь я им покажу, кто я таков! До свидания, маменька! Потрудитесь заплатить долг.

И с этим словом он вышел из школы. Прасковья Тарасовна еще раз проговорила:

— Зосю мой! сыну мой единый! — и упала на постель аки мертвая.

Оставя ее в беспмятстве, я пошел на хутор дать знать Савватию Никифоровичу о случившемся и просить помощи, но он, возвратясь из города, лег спать, того не зная, что матери дома нету; он думал, что она тоже спит. Когда я возвратился в школу, Прасковья Тарасовна уже сидела на кровати и тяжело плакала. Я не рассудил утешать ее в горести, а, засветивши свечу перед образом, начал читать акафист божией матери Одигитрии. Она тоже встала на ноги и, горько плача, молилася. По акафисте прочел я еще канон той же божией матери Одигитрии, а потом молитвы на сон грядущий и с коленопреклонением прочел молитву «Господи, не лиши меня небесных твоих благ». По отпуске я молча вышел из школы, и когда возвратился, то она уже спала сном праведницы на моем старческом одре. Я тихо раскрыл Ефрема Сирина — и, охраняя сон праведницы, сидел я за книгой до самого утра.

Поутру пошли мы на хутор, и я рассказал Савватию Никифоровичу всё случившееся вночѣ. И на рассказ мой он только заплакал.

Вечеру того же дня получил он предписание от городничего произвести медицинское освидетельство-

вание, по долгу уездного врача, над обезображенным телом, найденным в пустке покрытки N. на Пидварках.

Прочитавши сие предписание, он молча посмотрел на Прасковью Тарасовну, а та залилась слезами и проговорила:

— Зосю мой! сыну мой единый!

Между прочими мелкими событиями на хуторе сообщил мне почтенный мой сотоварищ и это довольно крупное событие, но сам Савватий не писал мне об этом ни слова, ни даже о том, что он занимает теперь место уездного врача в г. Переяславе.

Далеко, очень далеко от моей милой, моей прекрасной, моей бедной родины я люблю иногда, глядя на широкую безлюдную степь, перенестись мыслию на берег широкого Днепра и сесть где-нибудь, хоть, например, в Трахтемирове, под тенью развесистой вербы, смотреть на позолоченную закатом солнца панораму, а на темном фоне этой широкой панорамы, как алмазы, горят переяславские храмы божии, и один из них ярче всех сверкает своею золотою головою; это собор, воздвигнутый Мазепою. И много, много разных событий воскресает в памяти моей, воображая себе эту волшебную панораму.

Но чаще всего я лелею мое старческое воображение картинами золотоглавого, садами повитого и тополями увенчанного Киева. И после светлого, непорочного восторга, навеянного созерцанием красоты твоей неувядающей, упадет на мое осиротевшее старое сердце тоска, и я переносуся в века давноминувшие и вижу его, седовласого, маститого, кроткого старца с писаною большою книгою в руках, проповедующего изумленным дикарям своим и кровожадным и корыстолюбивым поклонникам Одина⁸⁴. Как ты прекрасен был в этой ризе кротости и любомудрия, святой мой и незабвенный старче!

И мы уразумели твои кроткие глаголы и тебя, как старого и ненужного учителя, не выгнали и не забыли,

а одели тебя, как Горыню-богатыря, в броню крепкую. Сначала осурили твое кроткое сердце усобицами, кровосмешениями и братоубийствами, сделали из тебя настоящего варяга и потом уже надели броню и поставили сторожить поработенное племя и пришельцами поруганную, самим богом завещанную тебе святыню.

Кто, посещая Киево-Печерскую лавру, не отдыхал на типографском крыльце, про того можно сказать, что был в Киеве и не видал киевской колокольни.

Мне кажется, нигде никакая внешность не дополнит так сердечной молитвы, как вид с типографского крыльца.

Я долго, а может быть, и никогда не забуду этого знаменитого крыльца.

Однажды я, давно когда-то, отслушав раннюю обедню в лавре, вышел по обыкновению на типографское крыльцо. Утро было тихое, ясное, а перед глазами вся Черниговская губерния и часть Полтавской. Я хотя был тогда и не меланхолик, но перед такой величественной картиной невольно предался меланхолии. И только было начал сравнивать линии и тоны пейзажа с могущественными аккордами Гайдна, как услышал тихо произнесенное слово: «Мамо!»

— Мне, мамо, всегда кажется, что я на этом крыльце как бы слушаю продолжение обедни.

Я оглянулся невольно.

Грешно прерывать нескромным взглядом такое прекрасное настроение человеческой души, но я согрешил, потому что говор этот показался [мне] паче всякой музыки. Говорившая была молодая девушка, стройная, со вкусом и скромно одетая, но далеко не красавица. А кого она называла «мамо», это была женщина высокого роста, сухая, смуглая и когда-то блестящая красавица. Она была в черном шерстяном капоте или длинной блузе, опоясана кожаным поясом с серебряною пряжкой. Голова накрыта была, вместо обыкновенной женской шляпы, белым широким, без всяких украшений, чепцом. Я, не знаю, почему-то не предложил им скамейку, а они, тоже не знаю почему, с минуту молча посмотрели на пейзаж и ушли. Я тоже встал и ушел за ними.

Они прошли лаврский двор, тихо разговаривая между собою, и вышли в святые ворота Николы Святоши, и я за ними. Они вышли из крепости, и я за ними. Они пошли по направлению к «Зеленому трактиру», и я за ними. Они вошли в ворота трактира, и я тут только опомнился и спросил у самого себя, что я делаю? И, не решивши вопроса, я вошел в трактир и стал разбирать иероглифы, выведенные мелом на черной доске. По долгом разбирании таинственных знаков разрешил, наконец, тайну, что такой-то № занят такой-то с воспитанницею. Я хотя и теперь даже не могу похвалиться знанием тактики в деле волокитства, а тогда и подавно. Разобравши хитрое изображение, я, и сам не знаю как, очутился в общей столовой и спросил себе, тоже не знаю, чего-то, а с слугою заговорил тоже о чем-то, случившемся когда-то. А после всего этого я зашел к здесь же, на Московской улице, квартировавшему моему знакомому — художнику Ш., недавно приехавшему из Петербурга. Поговорил с ним об искусствах вообще, о живописи в особенности и, думая пойти в лавру, я пошел в сад. (Здесь, видимо, предопределения дело.)

Хожу только я себе по большой аллее один-одиночек (день был будний) и присяду иногда, чтобы полюбоваться старым Киевом, освещенным заходящим солнцем, только смотрю, из-за липы, из боковой аллеи, выходят мои утренние незнакомки. Тут я встал, вежливо раскланялся и предложил скамейку — отдохнуть немного, извиняясь, что поутру этого не сделал на типографском крыльце. Они молча сели, и сестра милосердия (так я тогда думал) спросила меня:

— Вы, вероятно, живописец?

Я отвечал: — Да.

— И рисуете виды Киева?

Я отвечал: — Да.

После длинной паузы она спросила:

— Вы давно уже в Киеве?

Я отвечал: — Давно!

— Нарисуйте для меня этот самый вид, которым мы теперь любуемся, и пришлите в «Зеленый трактир» в номер N. N.

Рисунок акварельный был у меня давно начат; я его тщательно окончил и на первом плане между липами нарисовал моих незнакомок, и себя тоже нарисовал, сидящего на скамейке в поэтическом положении, в соломенном бриле.

На другой день поутру я сидел с оконченным рисунком на типографском крыльце и дожидался моих незнакомок, как будто они мне велели самому принести рисунок не в «Зеленый трактир», а на типографское крыльцо. Не успел я помечтать хорошенько, как незнакомки мои явились.

— А! вы уже здесь? — почти воскликнула старшая.

— Здесь, — ответил я.

— Давно?

— Давно, — ответил я.

— Да и портфель с вами, вы верно рисовали?

— Нет, не рисовал! — и вынул из портфеля рисунок, заказанный ею вчера.

Она долго молча смотрела на рисунок и на меня, потом взяла мою руку, крепко пожала и сказала:

— Благодарю вас, — и будете знакомыми, хорошими приятелями, а если можно — друзьями. А это, кажется, возможно! — прибавила она, глядя на свою молодую подругу.

— Сядемте, отдохнем немного, — сказала она, и мы все трое сели.

После непродолжительного молчания она обратилась ко мне и сказала:

— А знаете ли, Глафира у меня выиграла сегодня пари. Мы с нею вчера спорили. Я уверяла ее, что вы идиот, а она доказывала противное!

— Благодарю вас, — сказал я младшей, а старшей сказал: — не стоит благодарности, — после чего мы все расхохотались и сошли с типографского крыльца.

Следующую осень прожил я у них в деревне и уже называл их своими родными сестрами, а к концу осени старшую называл уже мамою, а меньшую невестою. Я совершенно был счастлив. Весной они приехали в Киев, но увы! меня уже там не было. Я далеко уже был весною, и о мелькнувшей радости вспоминал как о волшебном очаровательном сне.

Вот почему так люблю мне вспоминать о типографском крыльце.

Много лет и зим пролетело после этого события над моею одинокою, уже побелевшею головою. Я опять в Киеве, и опять посещаю заветное крыльцо, и теперь, накануне праздника успения богородицы, после ранней обедни, вышел я на типографское крыльцо и, любуясь пейзажем, вспоминал то счастливое, давно мелькнувшее счастье и как бы слушал голос ангела, произносящего слово «мамо». Я так предался воспоминанию, что мне как бы действительно послышалось это детское милое слово, так живо, что я оглянулся. И представьте мое изумление: из коридора на крыльцо выходила Прасковья Тарасовна, а за нею, как журавль, шагал другой и сотоварищ Степан Мартынович, но таким щеголем, что, если бы не жиденькая белая бородка, то я подумал бы, что он просто жениться приехал в Киев. Сюртук на нем длинный из гранатового дорогого сукна, шляпа черная пуховая с широкими полями, сапоги, правда, личные, но тщательно вычищенные, а патерица просто архиерейская, с серебряным набалдашником. Франт, да и только!

После первых приветствий и лобызаний я усадил их на скамейку и спросил, давно ли они в Киеве.

— Уже третий день,— отвечал Степан Мартынович,— и привезли вам письмо от Савватия Никифоровича, та не можем найти Рейтарскую улицу, она где-то на старом Киеве, а мы еще там не были. Сегодня думаем итти на акафист Варвары великомученицы, а завтра, если господь даст, приобщимся святых таин христовых здесь, в лавре, и тогда уже думали искать Рейтарскую улицу. А господь дал так, что и искать ее не нужно: вы сами нам ее покажете. Письмо бы я вам и теперь отдал, да оно у меня в шкатуле на квартире, а квартира наша здесь жё, на Печерском, в доме мешанки Сиволапихи.

Я, слушая этот монолог, смотрел на Прасковью Тарасовну. Она сидела, закрывши очи, и казалась мне уснувшею страдальцей; на кротком лице ее выражалось так много сердечного горя, что я не мог смотреть

на нее и обратился с новым вопросом к Степану Мартиновичу:

— Ну, что у вас хорошего на хуторе творится?

— Хвала милосердому богу, всё хорошо и всё благополучно. Скоро думаем совершить бракосочетание. Но об этом вам сам Савватий Никифорович подробно пишет.

— Куда же намерены теперь идти?

— А мы думаем, если господь благословит, поклониться святым угодникам печерским. Только теперь тесно и мы подождем, пока благочестивые поклонники выйдут из пещер, и тогда думаем просить отца ключаря повести нас самому или же послать с нами кого из братии.

Мне был знаком отец Досифей, настоятель большого монастыря, и я отправился к нему просить оказать нам великую услугу и просить кого следует, чтобы позволено было посетить нам пещеры не в числе многочисленных богомольцев. Просьба моя была уважена, и с нами послали в провожатые маститого старца отца Иоакима.

Поклонившись святым угодникам печерским, мы отправились на квартиру. Взявши письмо, я оставил своих приятелей и пошел домой, и по обыкновению зашел в сад, сел на своей любимой скамейке и, раскрывши письмо, читал вот что:

«Бесценный друже отца моего и мой заступниче и покровителю!

Простите меня великодушно за мое долгое молчание, ничем не извиняющее мою ленивую натуру. И то правда, что писать письмо без содержания — то же самое, что переливать из пустого в порожнее. Правда, материалы случались для откровенного дружеского письма, но материалы такого рода, что не подымалось перо сообщать их кому бы то ни было. Теперь же грустные тяжелые тучи скрываются за горы и на горизонте показывается блестящая Аврора, предшественница моего светлого, невозмутимого счастья. Проще сказать, я женюсь. Невеста моя живет теперь со своею ма-

терью в школе доброго, моего будущего посаженного отца, Степана Мартыновича, и дожидает вашего благословения. Приезжайте, мой благодетелю, и благословите ее, сироту, на великий путь новой улыбающейся жизни. У нее, как у меня, отца нет, только мать осталась, и мы, с согласия матерей наших, решили, чтобы ее благословили вы, а меня — мой единственный, благородный мой друг и наставник Степан Мартынович. Приезжайте хоть только взглянуть на мою прекрасную невесту!

По обязанности уездного медика я часто теперь хутор наш передаю во владение Степана Мартыновича и, кажется, скоро совсем его передам.

Однажды по обязанностям службы я еду проселочною дорогою; грязь была; лошадка обывательская едва передвигала ноги; смеркало, дождик накрапал, словом, перспектива была неотрадная. Возница мой, тоже не видя в будущем ничего отрадного, предложил мне подночевать.

— Да где же, — говорю я, — серед шляху, что ли?

— Крый боже, серед шляху! Нехай ляхи, татары ночують в таку непогодь серед шляху, а мы звернемо — он бачите лисок?

— Бачу, — говорю я.

— Отже в тим лиску есть хутир пани Калытыхы. От вона нас и впустыть ночувать.

— Добре, — говорю я: — звертай з шляху!

— Стрива́йте, отут буде шляшок.

Проехавши с полверсты, я увидел едва заметную дорожку, ведущую к сказанному хутору. Мы поехали по этой едва заметной дорожке и вскоре очутились в лесу. Возница мой начал насвистывать какую-то заунывную песню, а я задумался бог знает о чем.

— Сей лис зоветься, пане, «Лапын риг», — проговорил возница, — а за що ёго так зовуть, то бог ёго знае. Брешуть стари люды, що тут жив колысь давно розбойнык Лапа и що вельки сокровыща поховав тут у озерах. И стари люды говорят, що як высохнуть ти болота та озера, то можна буде мишкáмы золото носыть. Бог ёго знае, колы то те буде. А он и хутир.

Действительно, огонь показался между деревьями,

и вскоре мы подъехали к затворенным воротам. Собаки страшным лаем нас встретили, потом раздался женский довольно грубый голос:

— Кто тут?

— Благословить, матушка, переночувать на вашем хутори,— отвечал мой возница.

— Боже благословы, тилько сами вже одчиняйте ворота, бо мои наймиты вечерають, им николы, а я не в сылах.

Возница мой слез с телеги, отворил ворота, втащил меня с телегою и своєю лошадкою на двор, снова затворил ворота и, обращаясь к хозяйке, сказал:

— Добрывечир, матушко!

— Добрывечир, добрый чоловіче! Видкиля бог несе?

— Та от везу панка з Глемязова, та бачите, яка непогодь.

Я тоже подошел к хозяйке и сказал:

— Позвольте, если можно, переночевать у вас.

— Извольте, с большим удовольствием,— отвечала она мне, с едва заметным малороссийским акцентом: — прошу покорно в комнату.

Я взошел на крылечко. На пороге меня встретила девушка со свечой в руке, по-крестьянски одетая, но опрятно и даже изысканно. Отступая назад в комнату, она сказала чисто по-русски: — Прошу покорно! — из чего я заметил, что это не служанка.

Войдя в комнату, мы остановились друг против друга и простояли до тех пор, пока не вошла хозяйка хутора в комнату и не сказала:

— Наташа, что же ты не просишь гостя садиться? Стоит себе со свечою, как пономарь. Рекомендую вам, это полтавская институтка! Прошу покорно, садитесь! И бог их знает, чему они их учат в том институте. Ну, я уже по хозяйству у своей и не спрашиваю, да хоть бы человека чужого умела привитать, а то стоит себе.

Потом обратилась она к девушке, сказала ей что-то шопотом, и та вышла в другую комнату. Хозяйка ушла вслед за нею, сказавши: — Извините нас! — Я между тем стал осматривать комнату. Комната была для хутора довольно большая и по величине своей низкая, но

чистая и опрятная; мебель старинная и разнохарактерная; на стене висел в черной деревянной раме портрет Богдана Хмельницкого, а на круглом столе, рядом с каким-то вязаньем, лежала книжка «Отечественных Записок»⁸⁵, развернутая на «Давиде Копперфильде»⁸⁶. В это время вошла хозяйка. Я теперь только обратил на нее должное внимание. Это была женщина высокого роста, полная, не до безобразия, с лицом довольно еще моложавым и добродушным. Одета она была на манер богатой мещанки или солидной попадьи, а если б у нее на голове вместо платка был кораблик, то я подумал бы, что это явилась передо мною с того света какая-нибудь сотничиха или полковница.

— Что это вы,— сказала она, снявши со свечи,— любопытствуете, что читает моя Наташа? Да, она у меня, слава богу, большая охотница читать, да и меня на старости лет приучила, так что мне теперь и скучно сидеть с работой без чтения. Думаю на будущий год выписать еще «Современник»⁸⁷, а то одной книги в месяц для нас мало, мы ее наизусть выучиваем.

Вскоре был подан чай, то есть самовар, а вслед за самоваром вышла и Наташа, одетая уже барышнею.

— Не втерпила-таки,— проговорила мать, улыбувшись, и потом прибавила: — Наливай же чаю, Наталочко! Я ее, знаете, приучаю понемногу к хозяйству,— сказал она, обращаясь ко мне.

— И прекрасно делаете,— ответил я.— Зачем они только костюм переменили? Им наш народный костюм к лицу.

— Мне она сама больше нравится в простом платье, так вот подите, поговорите с нею!

Наташа покраснела, покраснела и, наконец, покраснела как вишня и выбежала из комнаты.

— Ах ты, бессерезная! — проговорила ей мать вслед и принялась сама разливать чай.

Незнакомки мои принадлежали к числу тех немногих людей, с которыми сходишься при первом свидании. В продолжение трех часов я с ними совершенно освоился и со всеми подробностями узнал их домашний быт, склонности, привычки, доходы и расходы и даже часть их биографии.

Елена Петровна Калита, вдова небогатого помещика нашего уезда, воспитывалась тоже в институте, голько хутор, как говорит она, перевоспитал ее по-своему.

— А когда Наташа родилась у нас, то мы с покойным моим Яковом того же дня положили, чтобы каждый год уделять из наших бедных доходов маленькую сумму собственно для воспитания Наталочки. От и воспитали,— прибавила она шутя,— а она не умеет и чаю налить.

После ужина я с ними простился, чтобы завтра с рассветом пуститься в дорогу.

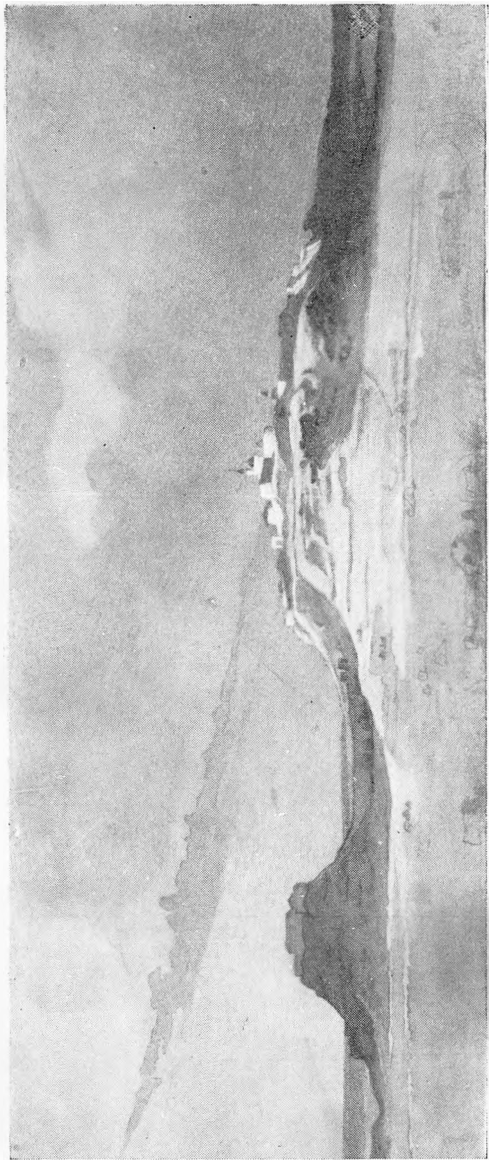
И действительно, перед восходом солнца я оставил хутор. Меня проводило за ворота стадо индеек и стадо гусей; кроме них, никто еще на хуторе не шевелился. Лошадки отдохнули, возница мой повеселел и, еще не садясь в телегу, насвистывал какую-то песенку.

Выехавши за ворота, он поворотил вправо, а мне казалось, что нужно взять влево. Но так как вчера ночью приехали на хутор, то я и не мог утвердительно сказать, которая наша дорога, а потому и рассудил положиться на опытность возницы, говоря сам себе: — Он же меня завез на хутор, он и вывезет.— Пустив вожжи, словоохотный возница, после панегирика хозяйке хутора и ее дочке, стал мне описывать ее богатство.

— Оце все, що тилько оком скинешь лису, все ии. А лис-то, лис мыленный,— дуб, наголо дуб, хоч бы тоби одна погана осыка! Та що тут лис? А други добра, а степы, а озера, а ставы та млыны та що й казать! Сказано — пани, так пани и есть... А ще я вам скажу...

Тут лошади остановились. Возница, увлекшись рассказом, не посмотревши вокруг себя, прикрикнул на лошадей, лошади дернули и задняя ось отскочила, а я вывалился из телеги. Тогда он закричал: — Прруу, скажени! — и, посмотревши вокруг, проговорил: — От тоби й на!.. Дывыся, проклятый пень де став: якраз посеред шляху. Я ще вчора думав, що мы в цим диявольским лиси де-небудь та зачепимось.— Воно так и сталося.

— Що ж мы тепер будемо робить? — спросил я.



Т. Г. Шевченко. Новопетровське укріплення з Хівинського шляху, 1856—1857 рр. (акварель).

— А бог ёго знае, що тут робыць! — и, подумавши, прибавил:

— Эх, головко бидна, сокыры нема, а то б повалыв дуба,— от тоби и вись. Вернімося на хутир, там чи не дамо якои рады.

Я обрадовался, не знаю почему, этой благой идее и, разумеется, беспрекословно изъявил согласие, и, пока возница укладывал колесо на телегу, я тихо пошел между деревьями по направлению к хутору.

Солнце уже прорезывало золотыми полосками чашу леса, когда я подошел к живой изгороди хутора. Тут я остановился, чтобы подумать, в которой руке я оставил дорогу. В эту минуту разлился как-то чудно по лесу прекрасный девичий голос. У меня сердце замерло, и я, как окаменелый, стоял и долго не мог вслушаться в мелодию. Голос ко мне близился, я уже стал разбирать слова песни:

Ой ти, козаче, ти, зелений барвіночку!
Хто ж тобі постеле в полі білу постіленьку?

Голос становился слабее и слабее и, наконец, совсем замолк. Я, освободившись от обаяния лесной музыки, пошел около изгороди и вскоре очутился на хуторе. Первое, что мне попалося на глаза, это была выходящая из садовой калитки Наташа. Она мне показалась настоящею богинею цветов: вся голова в цветах, между волосами, вместо жемчуга, бусы из белых черешен. Будь она одета барышней, эффект был бы не полный, но к наряду крестьянки так шли эти огромные цветы и черешневые бусы, что пестрее, гармоничнее и прекраснее я в жизнь свою ничего не видывал. Она, с минуту простоявши, исчезла за калиткой, а на крыльце показалась мать, одетая по-вчерашнему. Увидя меня, она громко засмеялась и проговорила:

— Что, далеко уехали?

Я приветствовал ее с добрым утром и вошел на крыльцо.

— Что, небось, с нами не скоро разделаетесь? — говорила она, смеясь.— Прошу покорно,— прибавила она, указывая на скамейку.

Я сел.

— Наталочко! — закричала она: — скажи Одарци, нехай самовар вынесе сюда на ганок! Я с нею так привыкла к своему простому языку, что иногда и гостей забываю.

— Я сам чрезвычайно люблю наш язык, особенно наши прекрасные песни.

Вслед за Одаркою, выносившею самовар, потупя голову, скромно выступала зардевшаяся Наташа.

— Слышишь, Наталочко, они тоже любят наши песни. А уж она у меня так и во сне их, кажется, поет и, знаете ли, ни одного романса не знает. По возвращении из Полтавы пела, бывало, иногда какой-то «Черный цвет», а теперь и тот забыла.

Я рассеяннo слушал и любовался Наташей, и мне почти досадно было, зачем она опять нарядилась барышней.

— Ах, я божевильная,— воскликнула вдруг хозяйка.— А ты, Наталочко, и не напомнишь! Ведь сегодня суббота, а мы в субботу собирались ехать в Переяслав. Одарко! — Служанка появилась в дверях, сказавши тихо:

— Чого?

— Скажи Корниеви, щоб брычку лагодыв и кони годував, а пообидавши, рушимо в дорогу.

— Добре,— сказала Одарка и скрылась.

— Как же это хорошо, что я во-время вспомнила! Если вы не торопитесь, то пообедайте с нами и будьте нашим кавалером до города.

— Даже и в городе, если вам угодно.

До обеда я гулял с Наташей в саду и около хутора, осматривали и критиковали их уютный прекрасный хутор. Показывала она мне в саду и собственное хозяйство, т. е. цветник. Правда, в нем не было больших редкостей, зато была чистота, какой не найдете и у голландского цветовода. Я с наслаждением смотрел на ее незатейливый цветник.

— Я маме,— говорила она самодовольно,— я маме каждое утро с мая и до октября месяца приношу букет цветов. А барвинок у нас зеленеет до глубокой осени. А с весны так он еще под снегом зеленеть начинает; я ужасно люблю барвинок.

— Да, барвинок превосходная зелень. А имеете ли вы плющ?

— Нет, не имеем.

— Так я обещаю вам несколько отсадков.

— Благодарю вас.

Я только вслух обещал ей плющ, а втихомолку обещал много разных цветов, и даже выписать цветочных семян из Риги, но, не знаю почему, мне не хотелось сказать ей об этом.

После обеда, без особенных сборов, мы сели в бричку, а Одарку усадили в мою реставрированную телегу и пустились в путь. К вечеру мы были уже в Переяславе, и мне большого труда стоило залучить моих новых знакомок к себе на хутор. Наконец, они согласились. Они прогостили у нас два дня и так подружились с [моей] матерью, что расстались со слезами. Маменька была в восторге от своих друзей и в продолжение этих двух дней была бы совершенно счастлива, если б не свежее воспоминание о покойном Зосе, которое не дает ей покою ни днем, ни ночью.

Взаимные наши посещения продолжались без малого год и кончились тем, что я уже другой месяц в роли жениха, и совершенно счастлив. Приезжайте же, благословите мое счастье, а чтобы не откладывать в долгий карман, то соберитесь на скорую руку и приезжайте вместе с маменькой и моим посаженным отцом и другом, Степаном Мартыновичем. Приезжайте, незабвенный мой, искренний друже. Много не пишу вам собственно потому, чтобы удивить вас прекрасною неожиданностью. До свидания.

Ваш почтительный сын и искренний друг

С. Сокира».

Сборы в дорогу старого холостяка немногосложны. Ярема мой всё устроил, а я только потрудился влезть на нетычанку, и мы в дороге.

Вслед за мною приехала на хутор и Прасковья Тарасовна со своим чичероне Степаном Мартыновичем. К свадьбе было всё приготовлено, и мы в первое же воскресенье поехали к заутрене, потом к обедне в цер-

ковь Покрова, и после обедни окрутили, с божим благословением, наших молодых и задали пир на всю переяславскую палестину, словом, пир такой, что Степан Мартынович, несмотря на свои лета и сан, ни даже на свой образ, пустился танцевать «журавля».

После свадьбы я прожил еще недели две в школе Степана Мартыновича и был свидетелем полного счастья своих названных детей.

Прасковья Тарасовна вполне разделяла мою радость, только иногда, глядя на юную прекрасную подругу своего Савватия, шопотом сквозь слезы повторяла:

— Зосю мой! Зосю мой! Сыну мой единый!

10 июня—20 июля [1856].

ХУДОЖНИК





Великий Торвальдсен¹ начал свое блестящее артистическое поприще вырезыванием орнаментов и тритонов² с рыбьими хвостами для тупоносых копенгагенских кораблей. Герой мой тоже, хотя и не так блестящее, но тем не менее артистическое поприще начал растиранием охры и мумии в жерновах и крашением полов, крыш и заборов. Безотрадное, безнадежное начинание. Да и много ли вас счастливых гениев-художников, которые [иначе] начинали? — Весьма и весьма немного! В Голландии, например, во время самого блестящего золотого ее периода, Остаде³, Бергем⁴, Теньер⁵ и целая толпа знаменитых художников (кроме Рубенса⁶ и Ван-Дейка⁷) в лохмотьях начинали и кончали свое великое поприще. Несправедливо бы было указывать на одну только меркантильную Голландию. Разверните Вазари⁸ и там увидите то же самое, если не хуже. Я говорю потому — хуже, что тогда даже политика наместников святого Петра требовала изящной декорации для ослепления толпы и затмения еретического учения Виклефа и Гуса⁹, уже начинавшего воспитывать неустрашимого доминиканца Лютера¹⁰. И тогда, говорю, когда Лев X и Леон II¹¹ спохватились и сыпали золото встречному и поперечному маляру и каменщику, и в то золотое время умирали великие художники с голоду, как, например Корреджио¹² и Цампиери. И так случалось (к несчастью, весьма нередко) всегда и везде, куда только проникало божественное животворящее искусство!

[Случается] и в наш девятнадцатый просвещенный

век, век филантропии и всего клонящегося к пользе человечества, при всех своих средствах отстранить и укрыть жертвы,

Карающей богине обреченной.

За что же, вопрос, этим олицетворенным ангелам, этим представителям живой добродетели на земле выпадает почти всегда такая печальная, такая горькая доля? Вероятно, за то, что они ангелы во плоти.

Эти рассуждения ведут только к тому, что отдаляют от читателя предмет, который я намерен ему представить как на ладони.

Летние ночи в Петербурге я почти всегда проводил на улице или где-нибудь на островах, но чаще всего на академической набережной. Особенно мне нравилось это место, когда Нева спокойна и, как гигантское зеркало, отражает в себе со всеми подробностями величественный портик Румянцевского музея, угол сената и красные занавеси в доме графини Лаваль. В зимние длинные ночи этот дом освещался внутри, и красные занавеси, как огонь, горели на темном фоне, и мне всегда досадно было, что Нева покрыта льдом и снегом и декорация теряет свой настоящий эффект.

Любил я также летом встречать восход солнца на Трицком мосту. Чудная, величественная картина!

В истинно художественном произведении есть что-то обаятельное, прекраснее самой природы,— это возвышенная душа художника, это божественное творчество. Зато бывают и в природе такие чудные явления, перед которыми поэт-художник падает ниц и только благодарит творца за сладкие, душу чарующие мгновения.

Я часто любовался пейзажами Щедрина¹³, и в особенности пленяла меня его небольшая картина «Портичи перед закатом солнца». Очаровательное произведение! Но оно меня никогда не очаровывало так, как вид с Трицкого моста на Выборгскую сторону перед появлением солнца.

Однажды, насладившись вполне этою нерукотворною картиною, я прошел в Летний сад отдохнуть. Я всегда, когда мне случалось бывать в Летнем саду,

не останавливался ни в одной аллее, украшенной мраморными статуями: на меня эти статуи делали самое дурное впечатление, особенно уродливый Сатурн¹⁴, пожирающий такое же, как и сам, уродливое свое дитя. Я проходил всегда мимо этих неуклюжих богинь и богов и садился отдохнуть на берегу озера и любовался прекрасною гранитною вазою и величественною архитектурою Михайловского замка¹⁵.

Приближаясь к тому месту, где большую аллею пересекает поперечная аллея и где в кругу богинь и богов Сатурн пожирает свое дитя, я чуть было не наткнулся на живого человека в тиковом грязном халате, сидящего на ведре, как раз против Сатурна.

Я остановился. Мальчик (потому что это действительно был мальчик лет четырнадцати или пятнадцати) оглянулся и начал что-то прятать за пазуху. Я подошел к нему ближе и спросил, что он здесь делает.

— Я ничего не делаю, — отвечал он застенчиво. — Иду на работу, да по дороге в сад зашел. — И, немного помолчав, прибавил: — Я рисовал.

— Покажи, что ты рисовал.

И он вынул из-за пазухи четвертку серой писчей бумаги и робко подал мне. На четвертке был назначен довольно верно контур Сатурна.

Долго я держал рисунок в руках и любовался запачканным лицом автора. В неправильном и худощавом лице его было что-то привлекательное, особенно в глазах, умных и кротких, как у девочки.

— Ты часто ходишь сюда рисовать? — спросил я его.

— Каждое воскресенье, — отвечал он, — а если близко где работаем, то и в будни захожу.

— Ты учишься малярному мастерству?

— И живописному, — прибавил он.

— У кого же ты находишься в ученье?

— У комнатного живописца Ширяева¹³.

Я хотел расспросить его подробнее, но он взял в одну руку ведро с желтой краской, а в другую желтую же обтертую большую кисть и хотел идти.

— Куда ты торопишься?

— На работу. Я и то уж опоздал, хозяин придет, так достанется мне.

— Зайди ко мне в воскресенье поутру, и если есть у тебя какие-нибудь рисунки своей работы, то принеси мне показать.

— Хорошо, я приду, только где вы живете?

Я записал ему адрес на его же рисунке, и мы расстались.

В воскресенье поутру рано я возвратился из всепощной своей прогулки, и в коридоре перед № моей квартиры встретил меня мой новый знакомый, уже не в тиковом грязном халате, а в чем-то похожем на сюртук коричневого цвета, с большим свертком бумаги в руке. Я поздоровался с ним и протянул ему руку. Он бросился к руке и хотел поцеловать. Я отдернул руку: меня сконфузило его раболепие. Я молча вошел в квартиру, а он остался в коридоре. Я снял сюртук, надел блузу, закурил сигару, а его всё еще нет в комнате. Я вышел в коридор, смотрю, приятеля моего как не бывало. Я сошел вниз, спрашиваю дворника: — Не видал такого? — Видал, — говорит, — малого с бумагами в руке, выбежал на улицу. — Я на улицу, — и след простыл. Мне стало грустно, как будто я потерял что-то дорогое мне. Скучал я до следующего воскресенья и никак не мог придумать, что бы такое значил внезапный побег моего приятеля. Дождавшись воскресенья, я во втором часу ночи пошел на Троицкий мост и, любовавшись восходом солнца, пошел в Летний сад, обошел все аллеи, — нет моего приятеля. Хотел было уже итти домой, да вспомнил Аполлона Бельведерского¹⁷, т. е. пародию на Бельведерского бога, стоящего особнячком у самой Мойки. Я туда, а приятель мой тут как тут. Увидя меня, он бросил рисовать и покраснел до ушей, как ребенок, пойманный за кражею варенья. Я взял его за дрожащую руку и, как преступника, повел в павильон и мимоходом велел трактирному заспанному гарсону принести чаю.

Как умел, обласкал моего приятеля и, когда он пришел в себя, я спросил его, зачем он убежал из коридора.

— Вы на меня рассердились, и я испугался, — отвечал он.

— И не думал я на тебя сердиться,— сказал я ему.— Но мне неприятно было твое унижение. Собака только руки лижет, а человек этого не должен делать.— Это сильное выражение так подействовало на моего приятеля, что он опять было схватил мою руку. Я рассмеялся, а он покраснел, как рак, и стоял молча, потупя голову.

Напившись чаю, мы расстались. На расставанье я сказал ему, чтобы он непременно зашел ко мне или сегодня, или в следующее воскресенье.

Я не имею счастливой способности сразу разгадывать человека, зато имею несчастную способность быстро сближаться с человеком. Потому, говорю, несчастную, что редкое быстрое сближение мне обходилось даром, в особенности с кривыми и косыми. Эти кривые и косые дали мне знать себя! Сколько ни случалось мне с ними [встречаться], хоть бы один из них порядочный человек.— Начисто дрянь. Или это уж мое такое счастье.

Всего третий раз я вижу моего нового знакомого, но я уже с ним сблизился, я уже к нему привязался, уже полюбил его. И действительно, в его физиономии было что-то такое, чего нельзя не полюбить. Физиономия его, сначала некрасивая, с часу на час делалась для меня привлекательнее. Ведь есть же на свете такие счастливые физиономии!

Я пошел прямо домой, бояся, чтобы не заставить приятеля своего ждать себя в коридоре. Что же? Вхожу на лестницу, а он уже тут, в том же коричневом сюртучке, умытый, причесанный и улыбающийся.

— Ты порядочный скороход,— сказал я.— Ведь ты еще заходил к себе на квартиру? Как же ты успел так скоро?

— Да я торопился,— отвечал он,— чтобы быть дома, как хозяин от обедни придет.

— Разве у тебя хозяин строгий? — спросил я.

— Строгий и...

— И злой, ты хочешь сказать?

— Нет, скупой, хотел я сказать. Он побьет меня, а сам рад будет, что я опоздал к обеду.

Мы вошли в комнату. У меня стояла на мольберте

[копия] со старика Веласкеса¹⁸, что в Строгановой галерее, и он прильнул к ней глазами. Я взял у него из рук сверток, развернул и стал рассматривать. Тут было всё, что безобразит Летний сад, от вертлявых, сладко улыбающихся богинь до безобразного Фраклита и Гераклита¹⁹, а в заключение несколько рисунков с барельефов, украшающих фасады некоторых домов, в том числе и барельефы из купидонов, украшающие дом архитектора Монферрана, что на углу набережной Мойки и Фонарного переулка.

Одно, что меня поразило в этих более нежели слабых контурах, это необыкновенное сходство с оригиналами, особенно контуры Фраклита и Гераклита. Они выразительнее были своих подлинников, правда, и уродливее, но все-таки на рисунки нельзя было смотреть равнодушно.

Я в душе радовался своей находке. Мне и в голову тогда не пришло спросить себя, что я буду делать с моими больше нежели ограниченными средствами с этим алмазом в кожуре? Правда, у меня и тогда мелькнула эта мысль, да тут же и окунулась в поговорку: «бог не без милости, козак не без доли».

— Отчего у тебя нет ни одного рисунка оттушеванного? — спросил я его, отдавая ему сверток.

— Я рисовал все эти рисунки поутру рано, до восхода солнца.

— Значит, ты не видал их, как они освещаются?

— Я ходил и днем смотреть на них, но тогда нельзя было рисовать: люди ходили.

— Что же ты намерен теперь делать: остаться у меня обедать или итти домой? — Он, с минуту помолчав и не подымая глаз, едва внятно сказал:

— Я остался бы у вас, если вы позволите.

— А как же ты после разделаешься с хозяином?

— Я скажу, что спал на чердаке.

— Пойдем же обедать.

У мадам Юргенс еще посетителей никого не было, когда мы пришли, и я был очень рад. Мне неприятно бы было встретить какую-нибудь чиновничью выютюженную физиономию, бессмысленно улыбающуюся, глядя на моего, далеко не щеголя, приятеля.

После обеда я думал было повести его в Академию и показать ему «Последний день Помпеи», но не всё вдруг. После обеда я предложил ему или итти погулять на бульвар, или читать книгу. Он выбрал последнее, я же, чтобы проэкзаменовать его в этом предмете, заставил читать вслух. На первой странице знаменитого романа Диккенса «Никлас Никльби»²⁰ я заснул, но в этом ни автор, ни чтец не повинны,— мне просто хотелось спать, потому что я ночью не спал.

Когда я проснулся и вышел в другую комнату, мне как-то приятно бросилась в глаза моя отчаянная студия: ни окурков сигар, ни табачного пеплу нигде не было заметно, везде всё было убрано и выметено, даже палитра, висевшая на гвозде с засохшими красками, и она была вычищена и блестела как стеклышко; а виновник всей этой гармонии сидел у окна и рисовал маску знаменитой натурщицы Торвальдсена — Фортунаги.

Все это было для меня чрезвычайно приятно. Эти услуги ясно говорили в его пользу. Я, однако ж, не знаю почему, не дал ему заметить моего удовольствия. Поправил ему контур, проложил тени, и мы отправились в «Капернаум» чай пить. «Капернаум», сиречь трактир «Берлин» на углу Шестой линии и Академического переуллка,— так окрестил его, кажется, Пименов²¹ во времена своего удалого студенчества.

За чаем рассказал он мне про свое житье-бытье. Грустный, печальный рассказ. Но он рассказал его так наивно-просто, без тени ропота и укоризны. До этой исповеди я думал о средствах к улучшению его воспитания, но, выслушавши исповедь, и думать перестал: он был крепостной человек.

Меня так озадачило это грустное открытие, что я потерял всякую надежду на его переобразование. Молчание длилось по крайней мере полчаса. Он разбудил меня от этого столбняка своим плачем. Я взглянул на него и спросил, чего он плачет?

— Вам неприятно, что я...

Он не договорил и залился слезами. Я разуверил его как мог, и мы возвратились ко мне на квартиру.

Дорогой встретился нам старик Венетианов²².

После первых приветствий он пристально посмотрел на моего товарища и спросил, добродушно улыбаясь:

— Не будущий ли художник?

Я сказал ему:— И да, и нет. — Он спросил причину. Я объяснил ему шопотом. Старик задумался, пожал мне крепко руку, и мы расстались.

Венецианов своим взглядом, своим пожатием руки как бы упрекнул меня в безнадежности. Я ободрился и, вспомнив некоторых художников, учеников и воспитанников Венецианова, увидел, правда, неясно, что-то вроде надежды на горизонте.

Protégé мой ввечеру, прощаясь со мною, просил у меня какого-нибудь эстампика срисовать. У меня случился один экземпляр, в то время только что напечатанный,— «Геркулес Фарнезский», выгравированный Слюджинским²³ по рисунку Завьялова, и еще «Аполлино» Лосенка²⁴. Я завернул оригиналы в лист петергофской бумаги, снабдил его итальянскими карандашами, дал наставление, как предохранять их от жесткости, и мы вышли на улицу. Он пошел домой, а я к старику Венецианову.

Не место, да и некстати распространяться здесь об этом человеколюбце-художнике; пускай это сделает один из многочисленных учеников его, который подробнее меня знает все его великодушные подвиги на поприще искусства.

Я рассказал старику всё, что знал о моей находке, и просил его совета, как мне действовать на будущее время, чтобы привести дело к желаемым результатам. Он, как человек практический в делах такого рода, не обещал мне и не советовал ничего положительного. Советовал только познакомиться с его хозяином и по мере возможности стусевывать его настоящее жесткое положение.

Я так и сделал. Не дожидаясь воскресенья, я на другой день до восхода солнца пошел в Летний сад, но, увы, не нашел там моего приятеля; на другой день тоже, на третий тоже, и я решился ждать, что воскресенье скажет.

В воскресенье поутру явился мой приятель и на вопрос мой, почему он не был в Летнем саду, сказал

мне, что у них началась работа в Большом театре (в то время Кавос²⁵ переделывал внутренность Большого театра) и что по этой причине он теперь не может посещать Летний сад.

И это воскресенье мы провели с ним, как и прошедшее. Вечеру уже, расставаясь, я спросил имя его хозяина и в какие часы он бывает на работе.

На следующий же день я зашел в Большой театр и познакомился с его хозяином. Расхвалил безмерно его припорохи и потолочные чертежи собственной его композиции, чем и положил прочный фундамент нашему знакомству.

Он был цеховой мастер живописного и малярного цеха, держал постоянно трех, иногда и более замарашек в тиковых халатах под именем учеников и, смотря по надобности, от одного до десяти нанимал, подневно и помесечно, костромских мужичков — маляров и стекольщиков, — следовательно, он был в своем цеху не последний мастер и по искусству, и по капиталу. Кроме помянутых материальных качеств, я у него увидел несколько гравюр на стенах, Одрана²⁶ и Вольпато²⁷, а на комодe несколько томов книг, в том числе и «Путешествие Анахарсиса Младшего»²⁸. Это меня ободрило. Но, увы! когда я ему издали наметнул об улучшении состояния его тиковых учеников, он удивился такой дикой мысли и начал мне доказывать, что это не повело бы ни к чему больше, как к собственной их же гибели.

На первый раз я ему не противоречил, да и напрасно было б уверять его в противном: люди материальные и неразвитые, прожившие свою скудную юность в грязи и испытаниях и кое-как выползшие на свет божий, не веруют ни в какую теорию. Для них не существует других путей к благосостоянию, кроме тех, которые они сами прошли, а часто к этим грубым убеждениям примешивается еще грубейшее чувство: меня, дескать, не гладили по головке, за что я буду гладить.

Мастер живописного цеха, кажется, не чужд был этого античеловеческого чувства. Мне, однако, со временем удалось уговорить его, чтобы он не препятство-

вал моему protégé посещать меня по праздникам и в будни, когда работы не бывает, например, зимою. Он хотя и согласился, но все-таки смотрел на это как на баловство, совершенно ни к чему не ведущее, кроме гибели. Он чуть-чуть не угадал.

Минуло лето и осень, настала зима. Работы в Большом театре были окончены, театр открыт, и очаровательница Тальони начала свои волшебные операции. Молодежь из себя выходила, а старичье просто бесновалось. Одни только суровые матроны и отчаянные львицы упорно дулися и во время самых неистовых аплодисментов с презрением произносили:— Mauvais genre, — а неприступные пуританки хором воскликнули:— Разврат! разврат! открытый публичный разврат!— И все эти ханжи и лицемерки не пропускали ни одного спектакля Тальони. И когда знаменитая артистка согласилась быть princesse Troubescou — они первые оплакивали великую потерю и осуждали женщину за то, чего сами не могли сделать при всех косметических средствах.

Карл Великий²⁹ (так называл покойный Василий Андреевич Жуковский покойного Карла Павловича Брюллова) безгранично любил все прекрасные искусства, в чем бы они ни проявлялись, но к современному балету он был почти равнодушен, и если говорил он иногда о балете, то не иначе, как о сахарной игрушке. В заключение своего триумфа Тальони протанцовала качучу в балете «Хитана»³⁰. В тот же вечер разлетелась качуча по всей нашей Пальмире³¹, а на другой день она уже властвовала и в палатах аристократа, и в скромном уголке коломенского чиновника³². Везде качуча: и дома, и на улице, и за рабочим столом, и в трактире, и... за обедом, и за ужином, — словом, всегда и везде качуча. Не говорю уже про вечера и вечеринки, где качуча сделалась необходимым делом. Это всё ничего — красоте и юности всё это к лицу, а то почтенные матери и даже отцы семейств — и те туда же. Это просто была болезнь св. Витта³³ в виде качучи. Отцы и матери вскоре опомнились и нарядили в хитан своих едва начинавших ходить малюток. Бедные малютки, сколько вы слез пролили из-за этой

проклятой качучи! Но зато эффект был полный, эффект, дошедший до спекуляции. Например, если у амфигриона не имелось собственного карапузика, то вечеринка украшалась карапузиком-хитаном, взятым напрокат.

Свежо предание, а верится с трудом!

В самый разгар качучемании посетил меня Карл Великий (он любил посещать своих учеников), сел на кушетке и задумался. Я молча любовался его умной кудрявой головой. Через минуту он быстро поднял глаза, засмеялся и спросил меня:

— Знаете что?

— Не знаю,— ответил я.

— Сегодня Губер ³⁴ (переводчик «Фауста») обещал мне достать билет на «Хитану», пойдемте.

— В таком случае пошлите своего Лукьяна к Губеру, чтобы он достал два билета.

— Не сбегает ли этот малый?— сказал он, показывая на моего протеже.

— И очень сбегает, пишите записку.

На лоскутке серой бумаги он написал итальянским карандашом: «Достань два билета. К. Брюллов». К этому лаконическому посланию я прибавил адрес, и Меркурий ³⁵ мой полетел.

— Что это у вас, модель или слуга?— спросил он, показывая на затворяющуюся дверь.

— Ни то, ни другое,— отвечал я.

— Физиономия его мне нравится — не крепостная.

— Далеко не крепостная, а между тем... — Я не договорил, остановился.

— А между тем, он крепостной?— подхватил он.

— К несчастью, так,— прибавил я.

— Барбаризм! — прошептал он и задумался. После минуты раздумья он бросил на пол сигару, взял шляпу и вышел, но сейчас же воротился и сказал:

— Я дождусь его: мне хочется еще взглянуть на его физиономию,— и, закуривая сигару, сказал: — Покажите мне его работу.

— Кто вам подсказал, что у меня есть его работа?

— Должна быть,— сказал он решительно.

Я показал ему маску Лаокоона ³⁶, рисунок окон-

ченый, и следок Микель-Анджело, только проложенный. Он долго смотрел на рисунки, т. е. держал в руках рисунки, а смотрел — бог его знает, на что он смотрел тогда.

— Кто его господин? — спросил он, подняв голову.

Я сказал ему фамилию помещика.

— О вашем ученике нужно хорошенько подумать. Лукьян обещался угостить меня ростбифом, приходите обедать.

Сказавши это, он подошел к двери и опять остановился:

— Приведите его когда-нибудь ко мне. До свидания!

И он вышел.

Через четверть часа возвратился мой Меркурий и объявил мне, что они, т. е. Губер, хотели сами зайти к Карлу Павловичу.

— А знаешь ли ты, кто такой Карл Павлович? — спросил я его.

— Знаю, — отвечал он, — только я его никогда в лицо не видел.

— А сегодня?

— Да разве это он был?

— Он.

— Зачем же вы мне не сказали, я хоть бы взглянул на него, а то я думал, так просто какой-нибудь господин. Не зайдет ли он к вам еще когда-нибудь? — спросил он после некоторого молчания.

— Не знаю, — сказал я и начал одеваться.

— Боже мой, боже мой! Как бы мне на него хоть издали посмотреть! Знаете, — продолжал он, — я, когда иду по улице, всё об нем думаю и смотрю на проходящих — ищу глазами его между ними. Портрет его, говорите, очень похож, что на «Последнем дне Помпеи»?

— Похож, а ты все-таки не узнал его, когда он был здесь. Ну, не горюй, если он до воскресенья не зайдет ко мне, то в воскресенье мы с тобой сделаем ему визит. А пока вот тебе билет к мадам Юргенс: я сегодня дома не обедаю.

Сделавши такое распоряжение, я вышел.

В мастерской Брюллова я застал В. А. Жуковского и М. Ю. графа Виельгорского. Они любовались еще неоконченной картиной «Распятие Христа», писанной для лютеранской церкви Петра и Павла. Голова плачущей Марии Магдалины уже была окончена, и В. А. Жуковский, глядя на эту дивную плачущую красавицу, сам заплакал и, обнимая Карла Великого, целовал его, как бы созданную им красавицу.

Нередко случалось мне бывать в Эрмитаже вместе с Брюлловым. Это были блестящие лекции теории живописи, и каждый раз лекция заключалась Теньером и в особенности его «Казармой». Перед этой картиной надолго, бывало, он останавливался и после восторженно-сердечного панегирика знаменитому фламандцу говорил:

— Для этой одной картины можно приехать из Америки.

То же самое можно теперь сказать про его «Распятие» и в особенности про голову рыдающей Марии Магдалины.

После объятий и поцелуев Жуковский вышел в другую комнату. Брюллов, увидевши меня, улыбнулся и пошел за Жуковским. Через полчаса они возвратились в мастерскую, и Брюллов, подойдя ко мне, сказал улыбаясь: — Фундамент есть. — В это самое время дверь растворилась, и вошел Губер, уже не в путейском мундире, а в черном щегольском фраке. Едва успел он раскланяться, как подошел к нему Жуковский и, дружески пожимая ему руку, просил его прочитать последнюю сцену из «Фауста», и Губер прочитал. Впечатление было полное, и поэт был награжден искренним поцелуем поэта. Вскоре Жуковский и граф Виельгорский вышли из мастерской, и Губер на просторе прочитал нам новорожденную «Терпсихору», после чего Брюллов сказал:

— Я решительно не еду смотреть «Хитану».

— Почему? — спросил Губер.

— Чтобы сохранить веру в твою «Терпсихору»³⁷.

— Как так?

— Лучше верить в прекрасный вымысел, нежели...

— Да ты хочешь сказать,— прервал его поэт,— что мое стихотворение выше божественной Тальони. Мизинца, ногтя на ее мизинце не стоит, богом тебе божусь! Да, я чуть было не забыл: мы сегодня у Александра едим макароны и стофатто³⁸ с лакрима-кристи³⁹. Там будет Нестор, Миша etc., etc., и, в заключение, Пьяненко. Едем!

Брюллов взял шляпу.

— Ах, да! Я и забыл...— продолжал Губер, вынимая из кармана билеты: — вот тебе два билета, а после спектакля к Нестору на биржу (так в шутку назывались литературные вечера Н. Кукольника).

— Помню,— отвечал Брюллов и, надевая шляпу, подал мне билет.

— И вы с нами? — сказал Губер, обращаясь ко мне.

— И я с вами,— ответил я.

— Едем! — сказал Губер, и мы вышли на коридор. Лукьян, затворяя двери, проворчал:

— Вот тебе и ростбиф!

После макарон, стофатто и лакрима-кристи компания отправилась «на биржу», а мы, т. е. я, Губер и Карл Великий, пошли в театр. В ожидании увертюры я любовался произведениями моего protégé. (Для всех орнаментов и арабесок, украшающих плафон⁴⁰ Большого театра, рисунки были сделаны им по указаниям архитектора Кавоса. Это сообщил мне не сам он и не честолюбивый его хозяин, а машинист Карташов, который присутствовал постоянно при работах и по утрам рано угощал чаем моего протеже.) Я хотел было сказать Брюллову про арабески своего ученика, но увертюра грянула. Все, в том числе и я, устремили глаза на занавесь. Увертюра кончилась, занавесь вздрогнула и поднялась, начался балет. До качучи всё шло благополучно: публика держала себя как и всякая благовоспитанная публика. С первым ударом кастаньет всё вздрогнуло и затрепетало. Аплодисменты тихо, как раскаты грома вдали, пронеслись по зале, потом громче и громче, и — качуча кончена, и гром разразился. Благовоспитанная публика, в том числе и я, грешный, взбеленилась, ревет, кто во что горазд: кто bravo, кто da caro⁴¹, а кто только стонет да ногами и

руками работает. После первого припадка взглянул я на Карла Великого, а у него, бедного, пот катится,— работает руками и ногами и что есть духу кричит: — Да саро! — Губер тоже. Я немного перевел дух да и себе ну валять за учителем. Мало-помалу ураган начал стихать, и в десятый раз вызванная чаровница выпорхнула на сцену и после нескольких самых грациозных приседаний исчезла. Тогда Карл Великий встал, вытер пот с чела и, обращаясь к Губеру, сказал:

— Пойдем на сцену, познакомь меня с ней.

— Пойдем,— сказал Губер восторженно, и мы пошли за кулисы. За кулисами уже роилась толпа поклонников, состоящая большею частью из почтенных лысин, очков и биноклей. Мы и себе пристроились к толпе. Не без труда просунулись мы в центр этой массы. И боже, что мы там увидели! Порхающая, легкая, как зефир, очаровательница лежала в вольтеровских креслах с разинутым ртом и раздутыми, как у арабской лошади, ноздрями, а по лицу, как мутные ручьи весной, текут смешанные с потом белила и румяна.

— Отвратительно! — сказал Карл Великий и обратился вспять. Я за ним, а бедный Губер — воистину бедный! — он только что кончил приличный случаю комплимент и, произнося фамилию Брюллова, оглянулся вокруг себя, а Брюллов исчез. Не знаю, как он выпутался из беды.

Оставался еще один акт балета, но мы оставили театр, чтобы не портить десерта капустой, как выразился Брюллов. Не знаю, посещал ли он балет после «Хитаны», знаю только, что он никогда не говорил о балете.

Обращаюсь к моему герою. После слов, сказанных мне Брюлловым: «Фундамент положен», в воображении моем надежда начала принимать более определенные формы. Я начал думать, чем бы лучшим занять моего ученика,— домашние средства мои ничтожны. Я думал об античной галерее. Андрей Григорыч (смотритель галереи), пожалуй, и согласился бы, да в галерее статуи так освещены, что рисовать невозможно.

После долгих размышлений я с двугривенным обратился к живому Антиною⁴², натурщику Тарасу, чтобы он в неклассные часы пускал моего ученика в гипсовый класс. Так и сделано. В продолжение недели (он и обедал в классе) нарисовал он голову Люция Вера⁴³, распутного наперсника Марка Аврелия, и голову «Гения», произведение Кановы⁴⁴. Потом перевел я его в фигурный класс и велел ему на первый раз нарисовать анатомию с четырех сторон. В свободное время я приходил в класс и поощрял неутомимого труженика фунтом ситника и куском колбасы, а постоянно он обедал куском черного хлеба с водою, если Тарас воды принесет. Бывало, и я полюбуюсь Бельведерским торсом, да не утерплю и сяду рисовать. Дивное, образцовое произведение древней скульптуры! Недаром слепой Микель-Анджело ошупью восхищался этим куском отдыхающего Геркулеса. И странно, некий господин Герсеванов в своих путевых впечатлениях так художнически верно оценивает педантическое произведение Микель-Анджело «Страшный суд»⁴⁵, фрески божественного Рафаэля⁴⁶ и многие другие знаменитые произведения скульптуры и живописи, а в торсе Бельведерском⁴⁷ видит только кусок мрамора, ничего больше. Странно!

После анатомии сделал он рисунок Германика⁴⁸ и танцующего фавна, и в одно прекрасное утро я его представил Карлу Великому. Восторг его был неописанный, когда Брюллов ласково и снисходительно похвалил его рисунки.

Я в жизнь мою не видел веселее, счастливее человека, как он был в продолжение нескольких дней.

— Неужели он всегда такой добрый, такой ласковый?— спрашивал он меня несколько раз.

— Всегда,— отвечал я.

— И эта красная — любимая его комната?

— Любимая,— отвечал я.

— Всё красное! Комната красная, диван красный, занавеси у окна красные, халат красный и рисунок красный,— всё красное! Увижу ли я еще его когда-нибудь так близко?

И после этого вопроса он начинал плакать. Я, разумеется, не утешал его. Да и какое участие, какая

утеха может быть выше этих счастливых, этих райских, божественных слез? — Всё красное! — повторял он сквозь слезы.

Красная комната, увешанная большею частию восточным дорогим оружием, сквозь прозрачные красные занавеси освещенная солнцем, меня, привыкшего к этой декорации, на минуту поразила, а ему она осталась памятною до гроба. После долгих и страшных испытаний забыл он всё: и искусство, духовную жизнь свою, и любовь, отравившую его, и меня, искреннего друга своего, — всё и всё забыл; красная декорация и Карл Павлович были его последним словом.

На другой день после этого визита встретился я с Карлом Павловичем, и он спросил у меня адрес, имя и фамилию его господина. Я сообщил ему. Он взял извозчика и уехал, сказавши мне: — Вечером зайдите!

Вечеру я зашел.

— Это самая крупная свинья в торжковских туфлях! ⁴⁹ — этими словами встретил меня Карл Павлович.

— В чем дело? — спросил я его, догадавшись, о ком идет речь.

— Дело в том, что вы завтра сходите к этой амфибии, чтобы он назначил цену вашему ученику.

Карл Великий был не в духе. Долго он молча ходил по комнате, наконец плюнул и проговорил:

— Вандализм! Пойдемте наверх, — прибавил он, обращаясь ко мне, и мы молча пошли в верхние комнаты, где помещалась его спальня, библиотека и вместе столовая. Он велел подать лампу, попросил меня читать что-нибудь вслух, а сам сел кончать рисунок — сепию «Спящая одалиска» для альбома, кажется, Владиславева.

Мирные занятия наши, однако ж, продолжались недолго. Его, как видно, всё еще преследовала свинья в торжковских туфлях.

— Пойдемте на улицу, — сказал он, закрывая рисунок.

Мы вышли на улицу, долго ходили по набережной, потом вышли на Большой проспект.

— Что, он у вас теперь дома? — спросил он меня.

— Нет, — отвечал я, — он у меня не ночует.

— Ну, так пойдёмте ужинать.— И мы зашли к Дели.

Я видел немало на своем веку разного разбора русских помещиков: и богатых, и средней руки, и хуторян. Видел даже таких, которые постоянно живут во Франции и в Англии и с восторгом говорят о благосостоянии тамошних фермеров и мужичков, а у себя дома последнюю овцу у мужика грабят. Видел я много оригиналов в этом роде, но такого оригинала, русского человека, который бы грубо принял у себя в доме К. Брюллова, не видал.

Любопытство мое в сильной степени было возбуждено; я долго не мог заснуть, всё думал и спрашивал сам себя, что это такое за свинья в торжковских туфлях. Любопытство мое, однако ж, охладело, когда я на другой день поутру стал надевать фрак. Благоразумие взяло верх. Благоразумие говорило мне, что эта свинья не такая интересная редкость, чтобы из-за нее жертвовать собственным самолюбием, хотя дело требовало и большей жертвы. Но вот вопрос: а если и я, по примеру моего великого учителя, не выдержу пытки,— тогда что?

Подумавши немного, я снял фрак, надел свое повседневное пальто и отправился к старику Венецианову. Он практик в подобных делах, ему, верно, не раз и не два приходилось иметь стычки с этими оригиналами, стычки, из которых он [выходил] с честью.

Венецианова я застал уже за работою. Он делал тушью рисунок собственной же картины «Мать учит дитя молиться богу». Рисунок этот предназначался для альманаха Владиславлева «Утренняя заря».

Я объяснил ему причину несвоевременного визита, сообщил адрес амфибии, и старик оставил работу, оделся, и мы вышли на улицу. Он взял извозчика и уехал, а я возвратился на квартиру, где уже и застал моего веселого, счастливого ученика. Веселость его и счастливость как будто омрачались чем-то. Он был похож на человека, желающего поделиться с приятелем великою тайной, но и боится, чтобы эта тайна не сделалась не тайной. Прежде чем я снял пальто и надел блузу, я заметил, что с моим приятелем что-то так, да не так.

— Ну, что же у тебя новенького?— спросил я его.—

Что ты делал вчера ввечеру? Как поживает твой хозяин?

— Хозяин ничего,— отвечал он, запинаясь.— Я читал «Андрея Савояра», пока не легли спать, а потом зажег стеариновую свечу, что вы мне дали, и рисовал.

— Что же ты рисовал? — спросил я его.— С эстампа или так что-нибудь?

— Так,— сказал он краснея.— Я недавно читал сочинения Озерова, и мне понравился «Эдип в Афинах», так я пробовал компоновать...

— Это хорошо. Ты принес с собой свою композицию? Покажи мне ее.

Он вынул из кармана небольшой сверток бумаги и, дрожащими руками развертывая его и подавая мне, проговорил:

— Не успел пером обрисовать.

Это было первое его сочинение, которое с таким трудом решился он показать мне. Мне понравилась его скромность или, лучше сказать, робость: это верный признак таланта. Мне понравилось также и самое сочинение его по своей несложности: Эдип, Антигона и вдали Полиник, только три фигуры. В первых опытах редко встречается подобный лаконизм: первоначальные опыты всегда многосложны. Молодое воображение не сжимается, не сосредоточивается в одно многоговорящее слово, в одну ноту, в одну черту. Ему нужен простор, оно парит и в парении своем часто запутывается, падает и разбивается о несокрушимый лаконизм.

Я похвалил его за выбор сцены, посоветовал читать, кроме поэзии, историю, а больше всего и прилежнее срисовывать хорошие эстампы, как, например, с Рафаэля, Вольпато или с Пуссена, Одрана.— И те и другие есть у твоего хозяина, вот и рисуй в свободное время, а книги я тебе буду доставать.— И тут же снабдил его несколькими томами Гилиса («История древней Греции») ⁵⁰.

— У хозяина,— проговорил он, принимая книги,— кроме тех, что на стенах висят, у него полная портфель эстампов, но он мне не позволяет рисовать с них: боится, чтобы я не испортил. Да...— продолжал он, улыбаясь,— я сказал ему, что вы водили меня к Карлу Пав-

ловичу и показывали мои рисунки, и что...— тут он запнулся,— и что он... да, впрочем, я сам тому не верю.

— Что же? — подхватил я.— Он не верит, что Брюллов похвалил твои рисунки?

— Он не верит, чтобы я и видел Карла Павловича, и назвал меня дураком, когда я его уверял.

Он хотел еще что-то говорить, как в комнату вошел Венецианов и, снимая шляпу, сказал усмехаясь:

— Ничего не бывало! Помещик, как помещик! Правда, он меня с час продержал в передней. Ну, да это уж у них обычай такой. Что делать, обычай — тот же закон. Принял меня у себя в кабинете. Вот кабинет мне его не понравился. Правда, что всё это роскошно, дорого, великолепно, но всё это по-японски великолепно. Сначала я повел [речь] о просвещении вообще и о филантропии в особенности. Он молча долго меня слушал со вниманием и наконец прервал:— Да вы скажите прямо, просто, чего вы хотите от меня с вашим Брюлловым? Одолжил он меня вчера. Это настоящий американский дикарь! — И он громко захохотал. Я было сконфузился, но вскоре оправился и хладнокровно, просто объяснил ему дело.

— Вот так бы давно сказали, а то филантропия! Какая тут филантропия! Деньги, и больше ничего! — прибавил он самодовольно.— Так вы хотите знать решительную цену? Так ли я вас понял?

Я ответил:— Действительно так.

— Так вот же вам моя решительная цена: 2500 рублей! Согласны?

— Согласен,— отвечал я.

— Он человек ремесленный,— продолжал он,— при доме необходимый...— И еще что-то хотел он говорить, но я поклонился и вышел. И вот я перед вами,— прибавил старик, улыбаясь.

— Сердечно благодарю вас.

— Вас благодарю сердечно! — сказал он, крепко пожимая мне руку.— Вы мне доставили случай хоть что-нибудь сделать в пользу нашего прекрасного искусства и видеть, наконец, чудака,— чудака, который называет нашего великого Карла американским дикарем.— И старик добродушно засмеялся.

— Я,— после смеха сказал он,— я положил свою лепту, теперь за вами дело, а в случае неудачи я опять обращуся к Аглицкому клубу⁵¹. До свидания пока!

— Пойдите вместе к Карлу Павловичу,— сказал я.

— Не пойдю, да и вам не советую. Помните пословицу: «не во время гость хуже татарина», тем паче у художника, да еще и поутру,— это бывает хуже целой орды татар.

— Вы меня заставляете краснеть за сегодняшнее утро,— проговорил я.

— Нисколько. Вы поступили как истинный христианин. Для труда и отдыха мы определили часы, но для доброго дела нет назначенных часов. Еще раз сердечно благодарю вас за ваш сегодняшний визит. До свидания! Мы сегодня обедаем дома, приходите. Бельведерского, если увидите, тащите и его за собой,— прибавил он уходя. Бельведерским называл он Аполлона Николаевича Мокрицкого⁵², ученика Брюллова и страстного поклонника Шиллера.

На улице расстался я с Венециановым и пошел сообщить Карлу Павловичу результат собственной дипломатии, но, увы, даже Лукьяна не нашел. Липин, спасибо ему, выглянул из кухни и сказал, что они ушли в портик. Я в портик — и там заперто. (Портиком называлось у нас здание за теперешним академическим садом, где помещались мастерские Брюллова, барона Клодта⁵³, Заурвейда⁵⁴ и Басина⁵⁵.) Через Литейный двор я вышел на улицу и, проходя мимо лавки Довициели, увидел в окне кудрявый профиль Карла Великого. Увидя меня, он вышел на улицу.

— Ну что? — спросил он.

— Где вы сегодня обедаете? — спросил я.

— Не знаю, а что?

— А вот что,— говорю я,— пойдите к Венецианову обедать. Он вам такие чудеса расскажет про амфибию, каких вы, наверное, никогда не слыхали да никогда и не услышите.

— Хорошо, пойдём,— сказал он, и мы отправились к Венецианову.

За обедом старик рассказал нам историю своего сегодняшнего визита, и, когда дошла речь до американ-

ского дикаря, все мы захохотали, и обед кончился истерическим смехом.

Между Большим и Средним проспектом, в Седьмой линии, в доме Кастюрина нанималась большая квартира Обществом поощрения художников для своих пяти пансионеров. Кроме комнат, занимаемых пансионерами, там еще были две учебные залы, украшенные античными статуями, как-то: Венерой Медицейской, Аполлоном, Германиком и группой гладиаторов. Этот приют (вместо гипсового класса под покровительством Тараса-натурщика) я прочил для своего ученика. Кроме сказанных статуй, там был еще человеческий скелет, а познание скелета для него было необходимо, тем более, что он наизусть рисовал анатомическую статую Фишера, а о скелете не имел понятия.

С такою-то благою целью, на другой день после обеда у Венецианова, сделал я визит бывшему тогда секретарю Общества В. И. Григоровичу⁵⁶ и испросил у него позволения моему ученику посещать пансионерские учебные залы.

Обязательный Василий Иванович дал мне в виде билета на вход записку к художнику Головне, живущему вместе с пансионерами в виде старшины.

Не следовало бы мне останавливаться [на таком] жалком явлении, как художник Головня, но как он явление редкое, тем более редкое между художниками, то я и скажу о нем несколько слов.

Сильно, резко нарисованная фигура Плюшкина бледнеет перед этим антихудожником Головнею. У Плюшкина по крайней мере была юность, а следовательно и радость, хоть не полная, не ликующая радость, но все-таки радость, а у этого бедняка ничего и похожего не было на юность и на радость.

Он был пансионером Общества поощрения художников, и, когда он, по конкурсу Академии художеств, должен был исполнить программу на вторую золотую медаль (сюжет программы был: Адам и Ева над трупом своего сына Авеля), для исполнения картины понадобилась женская модель; а ее в Петербурге не легко, а главное, не дешево достать можно. Парень смекнул

делом и отправился к щедрому покровителю художников и тогдашнему президенту Общества поощрения художников Кикину просить вспомоществования, т. е. денег для наемки натурщицы, и, получивши сторублевую ассигнацию, зашил ее в тюфяк, а первозданную красавицу написал с куклы, которую употребляют живописцы для драпировок.

Кто знает, что значит золотая медаль для молодого художника, тот поймет отвратительную душонку юноши-скареды. Перед ним Плюшкин просто мотыга.

Этому-то нравственному уроду представил я при записке моего нравственно прекрасного найденыша.

На первый раз я сам вынул из шкафа скелет, усадил его на стуле в позиции самого отчаянного кутилы и, легкими чертами назначивши общее положение скелета, предложил ученику своему нарисовать подробности.

Через два дня я с великим удовольствием сравнивал его рисунок с анатомическими литографированными рисунками Басина и находил подробности отчетливее и вернее. Но это, может быть, увеличительное стекло виновато, в которое я смотрел на своего найденыша. Как бы то ни было, только мне его рисунок нравился.

Он продолжал в разных положениях рисовать скелет и, под покровительством натурщика Тараса, статую повешенного Аполлоном Мидаса⁵⁷.

Всё это шло своим чередом, и своим же чередом зима уходила, а весна близилась. Ученик мой заметно стал худеть, бледнеть и задумываться.

— Что с тобой? — спрашивал я его. — Здоров ли ты?

— Здоров, — отвечал он печально.

— Чего же ты плачешь?

— Я не плачу, я так.

И слезы ручьем лилися из его выразительных прекрасных очей. Я не мог разгадать, что всё это значит, и начинал уже думать, не стрела ли злого амура поразила его непорочное молодое сердце, как в одно почти весеннее утро он сказал мне, что ежедневно посещать меня не может, потому что с понедельника начнутся работы и он должен будет опять заборы красить.

Я как мог ободрял его, но о намерениях Карла Павловича не говорил ему ни слова, и более потому, что

сам я положительно ничего такого не знал, на чем бы можно было основать надежду.

В воскресенье посетил я его хозяина с тем намерением, что нельзя ли будет заменить моего ученика обыкновенным простым маляром.

— Почему нельзя? Можно, — отвечал он, — пока еще живописные работы не начались, а тогда уж извините: он у меня рисовальщик, а рисовальщик, вы сами знаете, что значит в нашем художестве. Да вы как полагаете, — продолжал он, — в состоянии ли он будет поставить за себя работника?

— Я вам поставлю работника.

— Вы? — с удивлением спросил он меня. — Да из какой радости, из какой корысти вы-то хлопчете?

— Так, — отвечал я, — от нечего делать, для собственного удовольствия.

— Хорошо удовольствие — зря сорить деньгами! Видно, у вас их и куры не клюют? — И, улыбнувшись самодовольно, он продолжал: — Например, по сколько вы берете за портрет?

— Каков портрет, — отвечал я, предугадывая его мысль, — и каков давалец. Вот с вас, например, я более ста рублей серебра не возьму.

— Ну, нет, батюшка, с кого угодно берите по сту целковых, а с нас кабы десяточек взяли, так это еще куда ни шло.

— Так лучше же мы сделаем вот как, — сказал я, подавая ему руку. — Отпустите мне месяца на два вашего рисовальщика, вот вам и портрет.

— На два? — проговорил он в раздумьи, — на два много, не могу. На месяц можно.

— Ну, хоть на месяц, согласен, — сказал я. И мы, как барышники, ударили по рукам.

— Когда же начнем? — спросил он меня.

— Хоть завтра, — сказал я, надевая шляпу.

— Куда же вы, а могоарычу-то?

— Нет, благодарю вас, когда кончим, тогда можно будет. До свидания!

— До свидания!

Что значит один быстрый месяц свободы между многими тяжелыми, длинными годами неволи? В чет-

верике маку одно зернышко! Я любовался им в продолжение этого счастливого месяца. Его выразительное юношеское лицо сияло такою светлою радостью, таким полным счастьем, что я, прости меня, господи, позабывал ему. Бедная, но опрятная и чистая его костюмировка казалась мне щегольской, даже фризровая шинель его казалась мне из байки, и самой лучшей рижской байки. У мадам Юргенс во время обеда никто не посматривал искоса то на него, то на меня,— значит, не я один в нем видел такую счастливую перемену.

В один из этих счастливых дней мы шли вдвоем к мадам Юргенс и встретили на Большом проспекте Карла Павловича.

— Куда вы? — спросил он нас.

— К мадам Юргенс, — отвечал я.

— И я с вами. Мне что-то вдруг есть захотелось, — сказал он и повернул с нами в Третью линию.

Карл Великий любил изредка посетить досужую мадам Юргенс. Ему нравилась не сама услужливая мадам Юргенс и не служанка ее Олимпиада, которая была моделью для Агари покойному Петровскому⁸⁵, ему нравилось, как истинному артисту, наше разнохарактерное общество. Там он мог видеть и бедного труженика, сенатского чиновника, в единственном, весьма не с иголочки вицмундире, и университетского студента, тощего и бледного, лакомившегося обедом мадам Юргенс за деньгу, полученную им от богатого бурша-кутилы за переписку лекций Фишера. Тут многое он видел такое, чего не мог видеть ни у Дюме, ни у Сен-Жоржа⁵⁹. Зато всегда, когда он приходил, внимательная мадам Юргенс предлагала ему в особой комнате накрытый стол и особенное какое-нибудь кушанье, наскоро приготовленное, от чего он, как истинный социалист, всегда отказывался. В этот же раз не отказался и велел накрыть стол в особой комнате на три прибора и послал Олимпиаду к Фоксу⁶⁰ за бутылкой Джаксона.

Мадам Юргенс земли под собой не слышала, — так забегала, засуетилась, что чуть-чуть было свой новый парик не сдернула вместе с чепцом, когда вспомнила, что надо чепец переменить для столь дорогого гостя.

Для нее он был действительно дорогой гость. С того самого дня, как он в первый раз посетил ее, нахлебники стали множиться со дня на день. И какие нахлебники! Не шушера какая-нибудь — художники да студенты, да двугривенные сенатские чиновники, а люди, для которых нужна была бутылка Медоку⁶¹ и какой-нибудь особенный бефстек.

И это весьма естественно. Если платят четвертак за то, чтобы посмотреть даму из Амстердама, то почему же не заплатить тридцать копеек, чтобы посмотреть вблизи на Брюллова? И мадам Юргенс вполне это понимала и по мере возможности пользовалась.

Ученик мой молча сидел за столом, молча и бледнея выпил стакан Джаксона и молча пожал он руку Карла Великого и на квартиру пришел молча, а дома уже, не раздеваясь, упал на пол и проплакал остаток дня и целую ночь.

Еще неделя оставалась его независимости, но он на другой день после описанного мною обеда свернул в трубку свои рисунки и, не сказавши мне ни слова, вышел за двери. Я думал, что он пошел по обыкновению в Седьмую линию, а потому и не спрашивал его, куда он идет. Пришло время обеда, — его нет, и ночь пришла, — его нет. На другой день я пошел к его хозяину, и там нет. Я испугался и не знал, что думать. На третий день перед вечером он приходит ко мне более обыкновенного бледный и растрепанный.

— Где ты был? — спрашиваю я. — Что с тобою? Ты болен? Ты нездоров?

— Нездоров, — едва внятно отвечал он.

Я послал дворника за Жадовцевым, частным лекарем, а сам принялся раздевать его и укладывать в постель. Он, как кроткий ребенок, повиновался мне.

Жадовцев пощупал у него пульс и посоветовал мне отправить его в больницу. — Потому, — говорит, — что горячку при ваших средствах дома лечить опасно.

Я послушался его и в тот же вечер отвез своего бедного ученика в больницу св. Марии Магдалины, что у Тучкова моста.

Благодаря влиянию Жадовцева, как частного лекаря, больного моего приняли без узаконенных формаль-



Т. Г. Шевченко. Портрет К. П. Брюллова, 1835 р. (олівець).

ностей. На другой день я дал знать его хозяину о случившемся, и форма была исполнена со всеми аксессуарами.

Я посещал его каждый день по несколько раз, и всякий раз, когда я выходил из больницы, мне становилось грустнее и грустнее. Я так привык к нему, я так сроднился с ним, что без него я не знал, куда мне деваться. Пойду, бывало, на Петербургскую сторону, сверну в Петровский парк (в то время еще и [не] начинавшийся), выйду к дачам Соболевского и опять назад в больницу, а он всё еще горит огнем. Спрашиваю у сиделки:

- Что, не приходит в себя?
- Нет, батюшка.
- Не бредит?
- Одно только: красный и красный!
- Ничего больше?
- Ничего, батюшка.

И я опять выхожу на улицу, и опять прохожу Тучков мост и посещаю дачу г. Соболевского, и опять возвращаюсь в больницу. Так прошло восемь дней. На девятый он пришел в себя, и, когда подходил я к нему, он посмотрел на меня так пристально, так выразительно, так сердечно, что я этого взгляда никогда не забуду. Хотел он сказать мне что-то и не мог, хотел протянуть мне руку и только заплакал. Я ушел.

В коридоре встретившийся мне дежурный медик сказал, что опасность миновала, что молодая сила взяла свое.

Успокоенный добрым медиком, я пришел к себе на квартиру. Закурил сигару, сигара как-то плохо курится, я бросил ее, вышел на бульвар. Всё что-то не так, всё чего-то недостает для моей радости. Я пошел в Академию, зашел к Карлу Павловичу, — его нет дома. Выхожу на набережную, а он стоит себе у огромного сфинкса и смотрит, как по вскрывшейся Неве скользит ялик с веселыми пассажирами и за ним тянется длинная тоненькая серебряная струйка.

— Что, вы были у меня в мастерской? — спросил он меня, не здороваясь.

— Не был, — отвечал я.

— Пойдемте.

И мы молча пошли в его домашнюю мастерскую. В мастерской застали мы Липина. Он принес с свежими красками палитру и, усевшись в спокойные кресла, любовался еще не высохшим подмалевком портрета Василия Андреевича Жуковского. При входе нашем бедный Липин соскочил, переконфузился, как школьник, пойманный на месте преступления.

— Спрячьте палитру, я сегодня работать не буду,— сказал Карл Павлович Липину и сел на его место. По крайней мере полчаса молча смотрел он на свое произведение и, обращаясь ко мне, сказал:

— Взгляд должен быть мягче. Его стихи такие мягкие, сладкие. Не правда ли?

И, не дав мне ответить, продолжал:

— А знаете ли вы назначение этого портрета?

— Не знаю,— отвечал я.

Еще минут десять молчания. Потом он встал, взял шляпу и проговорил:

— Пойдемте на улицу, я расскажу вам назначение портрета.

Выйдя на улицу, он сказал:

— Я раздумал, об этих вещах не рассказывают прежде времени. Притом же я вполне уверен, что вы не любопытны,— прибавил он шутя.

— Если вам так хочется,— сказал я,— пусть это останется загадкой для меня.

— Только до другого сеанса. Ну, что ваш протеже, лучше ли ему?

— Начал приходить в себя.

— Стало быть, опасность миновала?

— По крайней мере так медик говорит.

— До свидания,— сказал он, протягивая руку.— Зайду к Гальбергу. Едва ли он, бедный, встанет,— прибавил он грустно, и мы расстались.

Меня чрезвычайно заинтересовал этот таинственный портрет. Я издалека догадывался о его назначении, и как ни сильно хотелось мне убедиться в истине моей догадки, однако, я имел столько мужества, что даже и не намекнул о ней Карлу Великому. Правда, в одно прекрасное утро сделал я визит В. А. Жуков-

скому, под предлогом полюбоваться сухими контурами Корнелиуса⁶² и Петра Гессе⁶³, а на самом деле, не проведаю ли чего о таинственном портрете. Однако ж, я ошибся.

Кленц⁶⁴, Валгалла, Пинакотека и вообще Мюнхен заняли всё утро, так что даже о Дюссельдорфе не было помянуто ни одного слова, а портрета просто на свете не существовало.

Восторженные похвалы германскому искусству незабвенного Василия Андреевича были прерваны приходом графа М. Ю. Виельгорского.

— Вот вина и причина теперешних хлопот ваших,— сказал Василий Андреевич, указывая на меня графу.

Граф с чувством пожал мне руку. Я сделал уже проект на вопрос, как вошел слуга и проговорил какую-то незнакомую мне превосходительную фамилию. Я нашел свой проект неудобоисполнимым, раскланялся и вышел, как говорится, с носом.

А между тем молодое здоровье брало свое. Ученик мой, как тот сказочный пресловутый богатырь, оживал и крепчал не по дням, а по часам. Он в какую-нибудь неделю после двухнедельной горячки стал на ноги и ходил, придерживаясь за свою койку, но так скучно и невесело, что я, невзирая на наставление медика не говорить с ним об отвлеченных предметах, спросил его однажды:

— Ты здоровеешь, тебе весело, чего же ты скучаешь?

— Я не скучаю, мне весело, но я не знаю, чего мне хочется... Мне хотелось бы читать.

Я спросил у медика, можно ли ему дать читать что-нибудь.

— Не давайте, тем более чтения серьезного.

— Что же мне с ним делать? Сиделкой его я не могу быть, а более помочь ему нечем.

В этом тяжелом раздумье вспала мне на память «Перспектива» Альберта Дюрера⁶⁵ с русским толкованием, которую я во время оно изучал, изучал, да и бросил, не добравшись толку. И странно, я вспомнил о путанице Альберта Дюрера и совсем забыл о толковом прекрасном курсе линейной перспективы нашего

профессора Воробьева. Чертежи этого курса перспективы у меня были в портфели (правда, в беспорядке). Я собрал их и, сначала посоветовавшись с медиком, отдал их ученику своему вместе с циркулем и треугольником и тут же прочитал ему первый урок линейной перспективы. Второй и третий уроки перспективы мне уже нечего было толковать ему: он как быстро выздоравливал, так быстро и понимал эту математическую науку, не зная, впрочем, четырех правил арифметики.

Уроки перспективы кончились. Я просил старшего медика выписать его из больницы, но медик гигиенически растолковал мне, что для окончательного излечения ему необходимо еще пробыть под медицинским надзором по крайней мере месяц. Скрепя сердце я согласился.

В продолжение этого времени часто я встречался с Карлом Павловичем, видел раза два или три портрет Василия Андреевича после второго сеанса. В разговоре с Карлом Павловичем замечал неумышленные намеки на какой-то секрет, но, не знаю почему, я сам отстранял его откровенность. Я как будто чего-то боялся, а между прочим почти угадывал секрет.

Тайна вскоре открылась. 22 апреля 1838 года поутру рано получаю я собственноручную записку В. А. Жуковского такого содержания:

«Милостивый государь N. N!

Приходите завтра в одиннадцать часов к Карлу Павловичу и дождитесь меня у него, дождитесь меня непременно, как бы я поздно ни приехал.

В. Жуковский.

Р. S. Приведите и его с собою».

Слезами облил я эту святую записку и, не доверяя ее карману, сжал в кулаке и побежал в больницу. Швейцар, хотя и имел приказание пропускать меня во все часы дня, на этот раз, однако ж, не пустил, сказавши: — Рано, ваше благородие, больные еще спят.—

Меня это немного охолодило. Я разжал кулак, развернул записку, прочитал ее чуть-чуть не по складам, бережно сложил ее, положил в карман и степенными шагами воротился на квартиру, в душе благодаря швейцара за то, что он остановил меня.

Давно, очень давно, еще в приходском училище, украдкой от учителя читал я знаменитую перелицованную «Энеиду» Котляревского и

Коли чого в руках не маеш,
То не кажи, що вже твое.

Эти два стиха так глубоко мне врезались в память, что я и теперь их, повторяя, часто применяю к делу. Эти-то два стиха и пришли мне на память, когда я возвращался на квартиру. И в самом деле, знал ли я наверное, что эта святая записка относится к его делу? Не знал, только предчувствовал, а предчувствие часто обманывает. А что, если б оно и теперь обмануло? какое бы я страшное сделал зло, и кому еще? Любимейшему человеку! Я сам себя испугался при этой мысли.

В продолжение этих длинейших суток я раз двадцать подходил к двери Карла Павловича и с каким-то непонятным страхом возвращался назад. Чего я боялся, и сам не знаю. В двадцать первый раз я решился позвонить, и Лукьян, выглянувши в окно, сказал: — Их нет дома. — У меня как гора с плеч свалилась, как будто я совершил огромный подвиг и наконец вздохнул свободно.

Бодро выхожу я из Академии на Третью линию, и [тут] как тут Карл Павлович навстречу. Я совершенно растерялся и хотел было бежать от него, но он остановил меня вопросом:

— Вы получили записку Жуковского?

— Получил, — едва внятно ответил я.

— Приходите же ко мне завтра в одиннадцать часов. До свидания! Да... если он может, приведите и его с собой, — прибавил он, удаляясь.

— Ну, — подумал я, — теперь ни малейшего сомнения, а все-таки:

Коли чого в руках не маеш,
То не кажи, що вже твое.

Прошло несколько минут, и это мудрое изречение выпарилось из моей весьма непрактической головы. Мною овладело непреодолимое желание привести его завтра к Карлу Павловичу. А позволит ли медик? Вот вопрос. И чтобы разрешить его, я пошел к доктору на квартиру, застал его дома и рассказал ему причину моего внезапного визита. Доктор привел мне несколько фактов умопомешательства, причиною которых были внезапная радость или внезапное горе.— А тем более,— заключил он,— что ваш протеже не совсем еще оправился после горячки.— На такие аргументы отвечать было нечем, и я, поблагодаривши доктора за добрый совет, откланялся и вышел на улицу. Долго шлифовал я мостовую без всякого намерения. Хотел было зайти к старику Венецианову, не скажет ли он мне чего определеннее, но было уже за полночь, а он не наш брат холостяк,— следовательно, и думать нечего о полунощном посещении. Не пойти ли мне, подумал я, на Троицкий мост полюбоваться восходом солнца? Но до Троицкого моста не близко, а я начинал уже чувствовать усталость. Не ограничиться ли мне безмятежным сидением у сих огромных сфинксов? ⁶⁶ Ведь все равно та же Нева. Та же, да не та. И, подумавши, я направился к сфинксам. Севши на гранитную скамью и прислонясь к бронзовому грифону, я долго любовался на тихо-струйную красавицу Неву.

С восходом солнца пришел на Неву за водой академический швейцар и разбудил меня, приговаривая вроде поучения: — Благо еще люди не ходят, а то подумали б, какой гулящий.

Поблагодарив гривенником швейцара за услугу, я отправился на квартиру и заснул уже настоящим, как говорится, хозяйским сном.

Ровно в одиннадцать часов явился я на квартиру Карла Павловича, и Лукьян, отворяя мне двери, сказал: — Просили подождать.— В мастерской в глаза мне бросилась только по славе и Миллерову эстампу знаемая знаменитая картина Цампиери «Иоанн Богослов». Опять недоумение! Не по случаю ли этой картины пишет мне Василий Андреевич? Зачем же он пишет: «приведите и его с собою»? Записка была при мне,

я достал ее и, прочитавши несколько раз *post scriptum*, немного успокоился и подошел к картине поближе, но проклятое сомнение мешало мне вполне наслаждаться этим в высшей степени изящным произведением.

Как ни мешало мне сомнение, однако ж я не заметил, как вошел в мастерскую Карл Великий в сопровождении графа Виельгорского и В. А. Жуковского. Я с поклоном уступил им свое место и отошел к портрету Жуковского. Они долго молча любовались великим произведением бедного мученика Цампиери, а я замирал от ожидания. Наконец Жуковский вынул из кармана форменно сложенную бумагу и, подавая мне, сказал:

— Передайте это ученику вашему.

Я развернул бумагу. Это была его отпускная, засвидетельствованная графом Виельгорским, Жуковским и К. Брюлловым.

Я набожно перекрестился и трижды поцеловал эти знаменитые рукоприложения.

Благодарил я, как мог, великое и человеколюбивое трио и, раскланявшись как попало, вышел в коридор и побежал прямо к Венецианову.

Старик встретил меня радостным вопросом: — Что нового? — Я молча вынул из кармана драгоценный акт и подал ему.

— Знаю, всё знаю,— сказал он, возвращая мне бумагу.

— Да я-то ничего не знаю! Ради бога, расскажите мне, как это всё совершилось?

— Слава богу, что совершилось, а мы сначала пообедаем, а потом и примусь рассказывать. История длинная, а главное — прекрасная история.

И, возвыся голос, он прочитал стих Жуковского:

Дети, овсяный кисель на столе, читайте молитву!⁶⁷

— Читаем, папаша,— раздался женский голос, и в сопровождении А. Н. Мокрицкого вышли из гостиной дочери Венецианова, и мы сели за стол. За обедом, против обыкновения, как-то было шумнее и веселее. Старик воодушевился и рассказал историю портрета

В. А. Жуковского, и почти не упомянул о собственном участии в этой благородной истории. Только в заключение прибавил:

— А я только был простым маклером в этом великодушном деле.

А самое-то дело было вот как.

Карл Брюллов написал портрет Жуковского, а Жуковский и граф Виельгорский этот самый портрет предложили августейшему семейству за 2500 рублей ассигнациями и за эти деньги освободили моего ученика, а старик Венецианов, как он сам выразился, разыграл в этом добром деле роль усердного и благородного маклера.

Что же мне теперь делать? Когда и как мне объявить ему эту радость? Венецианов повторил мне то же самое, что и врач сказал, и я совершенно убежден в необходимости этой предосторожности. Да как же я потерплю! Или прекратить свои посещения на некоторое время? Нельзя, он подумает, что я тоже заболел или покинул его, и будет мучиться. Подумавши, я вооружился всею силою воли [и] пошел в больницу Марии Магдалины. Первый сеанс я выдержал как лучше не надо, за вторым и третьим визитом я уже начал его понемногу готовить. Спрашивал медика, как скоро его можно выписать из больницы, и медик не советовал торопиться. Я опять начал мучиться нетерпением.

Однажды поутру приходит ко мне его бывший хозяин и без дальних околичностей начинает меня упрекать, что я ограбил его самым варварским образом, что я украл у него лучшего работника и что он через меня теряет по крайней мере не одну тысячу рублей. Я долго не мог понять, в чем дело и каким родом я попал в грабители. Наконец он мне сказал, что вчера призывал его помещик и что рассказал ему весь ход дела и требовал от него уничтожения контракта; и что вчера же он был в больнице, и что он [больной] ничего про это не знает.

— Вот тебе и предосторожность! — подумал я.

— Чего же вы теперь от меня хотите? — спросил я у него.

— Ничего, хочу узнать только, правда ли всё это. Я отвечал:— Правда.— И мы расстались.

Я был доволен таким оборотом дела. Он теперь уже приготовлен и может принять это известие спокойнее, чем прежде.

— Правда ли? Можно ли верить тому, что я слышал? — таким вопросом встретил он меня у дверей своей палаты.

— Я не знаю, что ты слышал.

— Мне говорил вчера хозяин, что я...— И он остановился, как бы боясь окончить фразу, и, помолчав немного, едва слышно проговорил: — что я отпущен!.. что вы...— И он залился слезами.

— Успокойся,— сказал я ему: — это еще только похоже на правду.— Но он ничего не слышал и продолжал плакать.

Через несколько дней выписался из больницы и поместился у меня на квартире, совершенно счастливый.

Много, неисчислимо много прекрасного в божественной, бессмертной природе, но торжество и венец бессмертной красоты — это оживленное счастьем лицо человека. Возвышеннее, прекраснее в природе я ничего не знаю. И этою-то прелестью раз в жизни моей удалось мне вполне насладиться.

В продолжение нескольких дней он был так счастлив, так прекрасен, что я не мог смотреть на него без умиления. Он переливал и в мою душу свое безграничное счастье. Восторги его сменялись тихой, улыбающейся радостью. Во все эти дни хотя он и принимался за работу, но работа ему не давалась, и он, было, положит свой рисунок в портфель, вынет из кармана отпускную, прочитает ее чуть не по складам, перекрестится, поцелует и заплачет.

Чтобы отвлечь его внимание от предмета его радости, я взял у него отпускную под предлогом засвидетельствования ее в гражданской палате, а его каждый день водил в академические галереи. А когда было готово платье, я, как нянька, одел его, и пошли мы в губернское правление. Засвидетельствовавши драгоценный акт, сводил я его в Строганова галерею,

показал ему оригинал Веласкеса, и тем кончились в тот день наши похождения.

На другой день, часу в десятом утра, одел я его снова и отвел к Карлу Павловичу, и как отец любимого сына передает учителю, так я передал его бессмертному нашему Карлу Павловичу Брюллоу.

С того дня он начал посещать академические классы и сделался пансионером Общества поощрения художников.

Давно уже я собирался оставить нашу Северную Пальмиру для какого-нибудь смиренного уголка гостеприимной провинции. В текущем году желаемый уголок опростался при одном из провинциальных университетов, и я не преминул воспользоваться им. Во время оно, когда я посещал гипсовый класс и мечтал о стране чудес, о всемирной столице, увенчанной куполом Буонаротти⁶⁸, — в то время, если бы мне предложили место рисовального учителя при университете, я бросил бы карандаш и воскликнул: — Стоит ли после этого изучать божественное искусство! — А теперь, когда уравновесилось воображение с здравым смыслом, когда в грядущее не сквозь радужную призму, а так просто смотришь, то против воли лезет в голову поговорка: «Не сули журавля в небе, а дай синицу в руки».

Еще зимою мне следовало отправиться на место, но кое-какие собственные делишки, а в особенности дело ученика, теперь уже не моего, а К. Брюллоу, меня задержали в столице, потом болезнь его и продолжительное выздоровление и, наконец, финансы. Когда все это пришло к благополучному концу, я, как сказал уже, приютил своего любимца под крылом Карла Великого и в первых числах мая оставил, и надолго оставил, столицу.

Оставляя возлюбленного моего, я передал ему свою квартиру с мольбертом и прочею мизерною мебелью и со всеми гипсовыми вещами, которые тоже нельзя было взять с собою. Советовал ему до следующей зимы пригласить товарища к себе, а зимой приедет к нему Штернберг, который был тогда в Малороссии и с которым я условился встретиться у одного общего

знакомого нашего в Прилуцком уезде и при этой встрече [собирался] просить добрейшего Вилю, по возвращении в столицу, поселиться с ним на квартире, что и случилось к величайшей моей радости. Советовал еще ему посещать Карла Павловича, но осторожно, чтобы не надоедать ему частыми визитами, не манкировать классами и как можно больше читать, а в заключение просил его писать мне чаще письма, и писать так, как он бы писал отцу родному.

И, поручивши его покрову предвечной матери, я расстался с ним, и, увы, расстался навеки.

Первые письма его однообразны и похожи на подробный и монотонный дневник школьника, и только для меня они интересны, ни для кого больше. В последующих письмах начали проявляться и склад, и грамотность, а иногда и содержание, как, например, его девятое письмо.

«Сегодня, в десятом часу утра, свернули мы на вал картину распятия Христова и с натурщиками отправили в лютеранскую Петропавловскую церковь. Карл Павлович поручил мне сопровождать ее до самой церкви. Через четверть часа он и сам приехал, при себе велел натянуть опять на раму и поставить на место. Так как она не была ещё покрыта лаком, то издали и не показывала ничего, кроме темного матового пятна. После обеда пошли мы с Михайловым⁶⁹ и покрыли ее лаком. Вскоре пришел и Карл Павлович; сначала сел он на передней скамейке; недолго посидевши, он перешел на самую последнюю. Тут и мы подошли к нему и тоже сели. Долго он сидел молча и только изредка проговаривал: — Вандал! Ни одного луча свету на алтарь.— И для чего им картины? — Вот если бы,— сказал он, обращая к нам и показывая на арку, разделяющую церковь,— если бы во всю величину этой арки написать картину «Распятие Христа», то это была бы картина, достойная богочеловека.

О, если бы хоть сотую, хоть тысячную долю мог я

передать вам того, что я от него тогда слышал! Но вы сами знаете, как он говорит. Его слова невозможно положить на бумагу, они окаменеют. Он тут же сочинил эту колоссальную картину со всеми мельчайшими подробностями, написал и на место поставил. И какая картина! Николая Пуссена ⁷⁰ «Распятие» — просто суздальщина ⁷¹, а про Мартена и говорить нечего.

Долго он еще фантазировал, а я слушал его с благоговением; потом надел шляпу и вышел, а вслед за ним и я с Михайловым. Проходя мимо статуй апостолов Петра и Павла, он проговорил: — Куклы в мокрых тряпках! А еще с Торвальдсена! — Проходя мимо магазина Дациаро ⁷², он вмешался в толпу зевак и остановился у окна, увешанного раскрашенными французскими литографиями. — Боже мой, — подумал я, глядя на него, — и это тот самый гений, который сейчас только так высоко парил в области прекрасного искусства, теперь любит приторными красавицами Гревидона ⁷³. Непонятно! А между прочим, правда.

Сегодня в первый раз я не был в классе, потому что Карл Павлович не пустил меня, усадил нас с Михайловым за шашки двоих против себя одного и проиграл нам коляску на три часа. Мы поехали на острова, а он остался дома дожидать нас ужинать.

Р. S. Не помню, в прошедшем письме писал ли я вам, что я в сентябрьский третней экзамен переведен в натурный класс за «Бойца» номером первым.

Если бы не вы, мой незабвенный, и через год меня бы не перевели в натурный класс. Я начал посещать анатомические лекции профессора Буяльского. Он теперь читает остов. И тут вы причина, что я знаю наизусть остов. Везде и везде вы, мой единственный, мой незабвенный благодетель! Прощайте!

Всем существом моим преданный вам N. N.»

Я намерен досказать его историю собственными его письмами, и это будет тем более интересно, что в своих письмах он часто описывает занятия и почти вседневный домашний быт Карла Павловича, которо-

го он был и любимым учеником, и товарищем. Для будущего биографа К. Брюллова я со временем издам все его письма, а теперь помещу только те, которые непосредственно касаются его занятий и развития на поприще искусства и развития его внутренней высоко- нравственной жизни.

«Вот уже октябрь месяц в исходе, а Штернберга всё нет, как нет. Я не знаю, что мне делать с квартирой. Она меня не обременяет, я плачу за нее пополам с Михайловым. Я почти безвыходно нахожусь у Карла Павловича, только ночевать прихожу домой, а иногда и ночую у него, а Михайлов и на ночь домой не приходит. Бог его знает, где он и как он живет. Я с ним встречаюсь только у Карла Павловича да иногда в классах. Он очень оригинальный, доброго сердца человек. Карл Павлович предлагает мне совсем к нему перейти жить, но мне и совестно, и, боюсь вам сказать, мне кажется, что я свободнее при своей квартире, а во-вторых, мне ужасно хочется хоть несколько месяцев прожить вместе с Штернбергом, потому собственно, что вы мне так советовали, а вы мне дурного не посоветуете.

Карл Павлович чрезвычайно прилежно работает над копиею с картины Доменикино «Иоанн Богослов». Копию эту заказала ему Академия художеств. Во время работы я читаю. У него порядочная своя библиотека, но совершенно без всякого порядка. Несколько раз мы принимались дать ей какой-нибудь толк, но только всё безуспешно. Впрочем, недостатка в чтении нет. Карл Павлович обещался Смирдину⁷⁴ сделать рисунок для его «Ста литераторов», и он служит ему всею своею библиотекою. Я прочитал уже почти все романы Вальтера Скотта и теперь читаю «Историю крестовых походов» Мишо⁷⁵. Мне она нравится лучше всех романов, и Карл Павлович то же говорит. Я начертил эскиз, как Петр Пустынный⁷⁶ ведет толпу первых крестоносцев через один из германских городков, придерживаясь манеры и костюмов Реча. Показал Карлу Павловичу, и он мне строжайше запретил брать

сюжеты из чего бы то ни было, кроме библии, древней греческой и римской истории.— Там,— сказал он,— всё простота и изящество, а в средней истории — безнравственность и уродство.— И у меня теперь на квартире, кроме библии, ни одной книги нет. «Путешествие Анахарсиса» и «Историю Греции» Гилиса я читаю у Карла и для Карла Павловича, и он всегда слушает с одинаковым удовольствием.

О, если бы вы видели, с каким вниманием, с какой сердечною любовью кончает он свою копию! Я просто благоговею перед ним, да и нельзя иначе. Но что значит волшебное, магическое действие оригинала! Или это просто предубеждение, или время так очаровательно ступшествовало эти краски, или Доменикино... Но нет, это грешная мысль, Доменикино никогда не мог быть выше нашего божественного Карла Павловича. Мне иногда хочется, чтобы скорее унесли оригинал.

Как-то раз за ужином зашла речь о копиях, и он сказал, что ни в живописи, ни в скульптуре он не допускает истинной копии, т. е. воссоздания, а что в словесной поэзии он знает одну-единственную копию,— это «Шильонский узник» Жуковского, и тут же прочитал его наизусть. Как он дивно стихи читает! Ей-богу, лучше Брянского⁷⁷ и Каратыгина⁷⁸.

Кстати, о Каратыгине. На-днях случайно зашли мы в Михайловский театр. Давали «Тридцать лет, или жизнь игрока»⁷⁹ — пересоленная драма, как он выразился. Между вторым и третьим [актом] он ушел за кулисы и одел Каратыгина для роли нищего. Публика бесновалась, сама не знала отчего. Что значит костюм для хорошего актера!

Тальони уже приехала в Петербург и вскоре начнет свои волшебные полеты. Он, однако ж, что-то ее не жалуется. Ах, если бы скорее Штернберг приехал! Я, не выдавши, полюбил его. Карл Павлович для меня слишком колоссален и, несмотря на его доброту и ласки, мне иногда кажется, что я один. Михайлов прекрасный и благородный товарищ, но ничем не увлекается, никакая прелесть его, кажется, не чарует; а может быть, я его не понимаю. Прощайте, мой незабвенный благодетель!»

«Я в восторге! Давно и так нетерпеливо ожидаемый мною Штернберг наконец приехал. И как внезапно, нечаянно! Я испугался и долго не верил своим глазам: думал, не видение ли. Я же в то время компоновал эскиз «Иезекииль на поле, усеянном костями». Это было ночью, часу во втором. Вдруг двери растворяются,— а я углубился в «Иезекииля» и двери забыл запереть на ключ,— двери растворяются, и является в шубе и в теплой шапке человеческая фигура. Я сначала испугался и сам не знаю, как проговорил:— Штернберг? — Штернберг,— отвечал он мне, и я не дал ему шубу снять, принялся целовать его, а он отвечал мне тем же. Дождь—мы молча любовались друг другом, наконец он вспомнил, что ящик у ворот дожидается, и пошел к ящику, а я к дворнику — просить перенести вещи в квартиру. Когда всё это было сделано, мы вздохнули свободно. И странно! Мне казалось, что я встретил старого знакомого или, лучше сказать, вижу вас самих перед собою. Пока я расспрашивал, а он рассказывал, где и когда он вас видел, о чем говорили и как расстались, пока всё это было, и ночь минула. И мы тогда только рассвет заметили, когда увидели от подсвечника упавшую яркоголубую тень.

— Теперь, я думаю, можно и чаю напиться,— сказал он.

— Я думаю, можно,— отвечал я, и мы пошли в «Золотой Якорь».

После чаю уложил я его спать, а сам пошел сказать о моей радости Карлу Павловичу, но он тоже спал. Делать нечего, я вышел на набережную и не успел пройти несколько шагов, как встретил Михайлова, тоже, кажется, всю ночь не спавшего. Он шел с каким-то господином в пальто и в очках.

— Лев Александрович Элькан⁸⁰,— сказал Михайлов, указывая на господина в очках.

Я сказал свою фамилию, и мы пожали друг другу руку. Потом я сказал Михайлову о приезде Штернберга, и господин в очках обрадовался, как прибытию давножданного друга.

— Где же он? — спросил Михайлов.

— У нас на квартире,— отвечал я.

— Спит?

— Спит.

— Ну, так пойдем в «Капернаум», там, верно, не спят,— сказал Михайлов.

Господин в очках в знак согласия кивнул головою, и они, взявшись под руки, пошли, и я вслед за ними. Проходя мимо квартиры Карла Павловича, я заметил в окне голову Лукьяна, из чего и заключил, что маэстро уже встал. Я простился с Михайловым и Эльканом и пошел к нему. В коридоре я [встретил его] со свежей палитрой и чистыми кистями, поздоровался с ним и возвратился назад: теперь я не только вслух, и про себя читать был не в состоянии. Походивши немного по набережной, я пошел на квартиру. Штернберг еще спал; я тихонько сел на стуле против его постели и любовался его детски-непорочным лицом. Потом взял карандаш и бумагу и принялся рисовать спящего вашего, а следовательно, и моего друга. Сходство и выражение вышло порядочное для эскиза, и только я очертил всю фигуру и назначил складки одеяла, как Штернберг проснулся и поймал меня на месте преступления. Я сконфузился, он это заметил и засмеялся самым чистосердечным смехом.

— Покажите, что вы делали? — сказал он вставая.

Я показал. Он снова засмеялся и до небес расхвалил мой рисунок.

— Я когда-нибудь отплачу вам тем же,— сказал он смеясь и, вскочив с постели, умылся и, развязавши чемодан, начал одеваться.

Из чемодана, из-под белья, вынул он толстую портфель и, подавая ее мне, сказал:

— Тут всё, что я сделал прошлого лета в Малороссии, кроме нескольких картинок масляными красками и акварелью. Посмотрите, если время позволяет, а мне нужно кое-куда съездить. — До свидания! — сказал он, подавая мне руку. — Не знаю, что сегодня в театре, я ужасно за ним соскучился. Пойдемте вместе в театр.

— С большим удовольствием,— сказал я,— только вы зайдите за мною в натуральный класс.

— Хорошо, зайду,— сказал он уже за дверями.

Если бы не пришел за мною Лукьян от Карла Павловича, мне обед и на мысль не пришел бы, мне даже досадно было, что для Лукьяновского ростбифа я должен был оставить портфель Штернберга. За обедом я сказал Карлу Павловичу о моем счастье, и он пожелал его видеть. Я сказал ему, что мы условились с ним быть в театре. Он изъявил желание сопутствовать нам, если дают что-нибудь порядочное. К счастью, в тот день на Александринском театре давали «Заколдованный дом»⁸¹. В конце класса Карл Павлович зашел в класс, взял меня и Штернберга с собою, усадил в свою коляску, и мы поехали смотреть Людовика XI. Так кончился первый день.

На второй день поутру Штернберг взял свою толстую портфель, и мы отправились к Карлу Павловичу. Он был в восторге от вашей однообразно-разнообразной, как он выразился, родины и от задумчивых земляков ваших, так прекрасно-верно переданных Штернбергом.

И какое множество рисунков и как всё прекрасно. На маленьком лоскутке серенькой оберточной бумаги проведена горизонтально линия, на первом плане ветряная мельница, пара волов около телеги, наваленной мешками. Всё это не нарисовано, а только намекнуто, но какая прелесть! — очей не отведешь. Или под тенью развесистой вербы у самого берега беленькая, соломой крытая хатка вся отразилась в воде, как в зеркале. Под хаткою старушка, а на воде утки плавают, вот и вся картина, и какая полная, живая картина!

И таких картин или, лучше сказать, животрепещущих очерков полна портфель Штернберга. Чудный, бесподобный Штернберг! Недаром его поцеловал Карл Павлович.

Невольно вспомнил я братьев Чернецовых⁸². Они недавно возвратились из путешествия по Волге и приносили Карлу Павловичу показать свои рисунки: огромная кипа ватманской бумаги, по-немецки аккуратно перышком исчерченная. Карл Павлович взглянул на несколько рисунков и, закрывши портфель, сказал,— разумеется, не братьям Чернецовым: — Я здесь

не только матушки Волги, и лужи порядочной не надеюсь увидеть.— А в одном эскизе Штернберга он видит всю Малороссию. Ему так понравилась ваша родина и унылые физиономии ваших земляков, что он сегодня за обедом построил уже себе хутор на берегу Днепра, близ Киева, со всеми угожьями в самой очаровательной декорации. Одно, чего он боится и чего никак устранить от себя не может,— это помещики или, как он называет их, феодалы-собачники.

Он совершенное дитя, со всею прелестью дитя!

И сегодняшней день мы заключили спектаклем; давали Шиллеровых «Разбойников». Оперы почти не существует, изредка появится или «Роберт», или «Фенелла»⁸³. Балет или, лучше сказать, Тальони всё уничтожила. Прощайте, мой незабвенный благодетель!»

«Вот уже более месяца, как мы живем вместе с несравненным Штернбергом, и живем так, как дай бог, чтобы братья родные жили. Да и какое же он доброе, кроткое создание! Настоящий художник! Ему всё улыбается, как и он сам всему улыбается. Счастливый, завидный характер! Карл Павлович его очень любит. Да и можно ли, зная, не любить его?

Вот как мы проводим дни и ночи: поутру, в девять часов я уйду в живописный класс. (Я уже делаю этюды масляными красками и в прошедший экзамен получил третий номер.) Штернберг остается дома и делает из своих эскизов или рисунки акварелью, или небольшие картины масляными красками. В одиннадцать часов я или захожу к Карлу Павловичу, или прихожу домой и завтракаем с Штернбергом чем бог послал. Потом я опять уйду в класс и остаюсь там до трех часов. В три часа мы идем обедать к мадам Юргенс. Иногда и Карл Павлович с нами, потому что я почти каждый день в это время заставлял его у Штернберга, и он часто отказывался от роскошного аристократического обеда для мизерного демократического супа. Истинно необыкновенный человек! После обеда я отправляюсь в классы. К семи часам в классы приходит Штернберг, и мы идем или в театр, или, немного погу-

лявши по набережной, возвращаемся домой, и я читаю что-нибудь вслух, а он работает, или я работаю, а он читает. Недавно мы прочитали «Вудсток» Вальтера Скотта. Меня чрезвычайно заинтересовала сцена, где Карл II Стюарт, скрывающийся под чужим именем в замке старого баронета Ли, открывается его дочери Юлии Ли, что он король Англии, и предлагает ей при дворе своем почетное место наложницы. Настоящая королевская благодарность за гостеприимство! Я на-чертил эскиз и показал Карлу Павловичу. Он похвалил мой выбор и самый эскиз и велел изучать Павла Делароша ⁸⁴.

Штернберг недавно познакомил меня с семейством Шмидта. Это какой-то дальний его родственник, прекрасный человек, а семейство его — это просто благодать господня. Мы часто по вечерам бываем у них, а по воскресеньям и обедаем. Чудное, милое семейство! Я всегда выхожу от них как будто чище и добрее. Я не знаю, как и благодарить Штернберга за это знакомство.

Еще познакомил он меня с домом малороссийского аристократа, того самого, у которого вы с ним встретились прошедшее лето в Малороссии. Я редко там бываю и то, собственно, для Штернберга: не нравится этот покровительственный тон и подлая лесть его неотесанных гостей, которых он кормит своими роскошными обедами и поит малороссийскою сливянкой. Я долго не мог понять, как это Штернберг терпит подобные картины. Наконец, дело открылось само собой. Он однажды возвратился от Тарновских ⁸⁵ совершенно не похож на себя, т. е. сердитый. Долго молча ходил он по комнате, наконец лег в постель, встал и опять лег; и это повторил он раза три, наконец успокоился и заснул. Слышу — он во сне произносит имя одной из племянниц Тарновского. Тут я начал догадываться, в чем дело. На другой день Виля мой опять отправился к Тарновским и возвратился поздно ночью в слезах. Я притворился, будто не замечаю этого. Он упал на диван и, закрыв лицо руками, рыдал как ребенок. Так прошло по крайней мере час. Потом поднялся он с дивана, подошел ко мне, обнял меня, поцело-

вал и горько улыбнулся, сел около меня и рассказал мне историю любви своей. История самая обыкновенная. Он влюбился в старшую племянницу Тарновского, а та хоть и отвечала ему тем же, но в деле брака предпочла ему какого-то лысого доктора Бурцева. Самая обыкновенная история. После исповеди он немного успокоился, и я уложил его в постель.

На другой и третий день я его почти что не видел: уйдет рано, придет поздно, а где он проводит дни, бог его знает. Пробовал я с ним заговаривать, но он едва мне отвечает. Предлагал посетить Шмидтов, но он отрицательно кивнул головою. В воскресенье поутру предложил ему поехать в оранжереи Ботанического сада, и он, правда, принужденно, но согласился. Оранжереи на него подействовали благотельно. Он повеселел, начал мечтать о путешествии в те волшебные края, где растут все эти удивительные растения, как у нас чертополох.

Выйдя из оранжерей, я предложил пообедать на Крестовском в немецком трактире. Он охотно согласился. После обеда мы послушали тирольцев, посмотрели, как с гор катаются, и поехали прямо к Шмидту. Шмидты в тот день обедали у Фицтума (инспектора университета) и на вечер там остались. Мы туда, нас [встретили] вопросом с восклицанием — где мы пропадали? У Фицтума, насладившись квинтетом Бетховена и сонатою Моцарта, где солировал знаменитый Бем ⁸⁶, — часу в первом ночи возвратились на квартиру. Бедный Виля опять задумался. Я не утешаю его, да и чем я его могу утешить?

На другой день, по поручению Карла Павловича, я пошел в магазин Смирдина и между прочими книгами взял два номера «Библиотеки для чтения», где помещен «Никлас Никльби», роман Диккенса. Я думаю устроить литературные вечера у Шмидтов и пригласить Штернберга. Как затеяно, так и сделано. В тот же день, после вечерних классов, отправились мы к Шмидтам с книгами подмышкой. Выдумка моя была принята с восторгом, и после чая началось чтение. Первый вечер читал я, второй Штернберг, потом опять я, потом опять он, и так мы продолжали, пока кончили

роман. Это имело прекрасное влияние на Штернберга. После «Никласа Никльби» таким же порядком прочитали мы «Замок Кенильворт», потом «Пертскую красавицу» и еще несколько романов Вальтера Скотта. Часто просиживали мы за полночь и не видали, как и рождественские праздники наступили. Штернберг почти пришел в себя, по крайней мере работает и меньше грустит. Даст бог, и это пройдет. Прощайте, мой отец родной! Не обещаюсь писать вам в скором времени, потому что праздники наступают, а я уже сделал себе по милости Штернберга, кроме Шмидтов, еще некоторые знакомства, и знакомства, которые следует поддерживать. Сделал я себе к празднику новую пару платья и из английской байки пальто, точно такое, как у Штернберга, чтобы недаром нас Шмидты называли Кастором и Поллуксом⁸⁷. А к весне думаем заказать себе камлотовые шинели. У меня теперь деньги водятся. Я начал рисовать акварельные портреты, сначала по-приятельски, а потом и за деньги, только Карлу Павловичу еще не показываю, — боюсь. Я больше придерживаюсь Соколова⁸⁸, Гау⁸⁹ мне не нравится — приторно-сладкий. Думаю еще заняться французским языком, это необходимо. Предлагала мне свои услуги одна пожилая вдова с тем, чтобы я ее сына учил рисовать. Взаимное одолжение, но мне оно не нравится: во-первых, потому, что далеко ходить (в Эртелев переулок), а во-вторых, возиться два часа с избалованным мальчуганом — это тоже порядочная комиссия. Лучше же я эти два часа употреблю на акварельный портрет и заплачу учителю деньги. Я думаю, и вы скажете, что лучше. У Карла Павловича есть Гиббон⁹⁰ на французском языке, и я не могу смотреть на него равнодушно. Не знаю, видели ли вы его эскиз или, лучше сказать, небольшую картину «Посещение Рима Гензерихом». Теперь она у него в мастерской. Чудная! как и всё чудное, что выходит из-под его кисти. Если не видали, то я сделаю небольшой рисунок и пришлю вам. «Бахчисарайский фонтан» тоже пришлю. Это, кажется, еще при вас начато?

Ах, да! чуть-чуть было не забыл. Готовится необыкновенное событие: Карл Павлович женится, после

праздника свадьба. Невеста его — дочь рижского почетного гражданина Тимма. Я не видел ее, но, говорят, удивительная красавица. Брата ее я встречаю иногда в классе: он ученик Заурвейда, чрезвычайно красивый юноша. Когда всё это совершится, то опишу вам с самомельчайшими подробностями, а пока еще раз прощайте, мой незабвенный благодетель!»

«Вот уже два месяца, как я не писал вам. Такое долгое молчание непростительно, но я как будто нарочно выжидал, пока кончится интересный эпизод из жизни Карла Павловича. В последнем письме писал я вам о предполагаемой женитьбе. Теперь опишу вам подробно, как это совершилось и как разрушилось.

В самый день свадьбы Карл Павлович оделся, как он обыкновенно одевается, взял шляпу и, проходя через мастерскую, остановился перед копией Доменикино, уже оконченной. Долго стоял он молча, потом сел в кресла. Кроме его и меня, в мастерской никого не было. Молчание длилось еще несколько минут. Потом он, обращаясь ко мне, сказал:

— Цампиери как будто говорит мне: «не женись, погибнешь».

Я не нашелся, что ему сказать, а он взял шляпу и пошел к своей невесте. Во весь этот день он не возвращался к себе на квартиру. Приготовлений к празднику не было совершенно никаких, даже ростбифа Лукьян не жарил в этот день, — словом, ничего похожего не было на праздник. В классе я узнал, что будет он венчаться в восемь часов вечера в лютеранской церкви св. Анны, что на Кирочной. После класса взяли мы с Штернбергом извозчика и отправились на Кирочную. Церковь уже была освещена, и Карл Павлович с Заурвейдом и братом невесты был в церкви. Увидя нас, он подошел, подал нам руку и сказал: — Женюсь. — В это самое время в церковь вошла невеста, и он пошел ей навстречу. Я в жизнь мою не видел да и не увижу такой красавицы. В продолжение обряда Карл Павлович стоял, глубоко задумавшись. Он ни разу не взглянул на свою прекрасную невесту.

Обряд кончился, мы поздравили счастливых супругов, проводили их до кареты и по дороге заехали к Клею, поужинали и за здоровье молодых выпили бутылку Кликко⁹¹. Всё это происходило 8 января 1839 года. И у Карла Павловича свадьба кончилась бутылкой Кликко. Ни в тот, ни в последующие дни не было никакого праздника.

Через неделю после этого события встретился я с ним в коридоре, как раз против квартиры графа Толстого, и он зазвал меня к себе и оставил обедать. В ожидании обеда он что-то чертил в своем альбоме, а меня заставил читать «Квентин Дорварда»⁹². Только что я начал читать, как он остановил меня и довольно громко крикнул: — Эмилия! — Через минуту вошла ослепительная красавица, жена его. Я неловко поклонился ей, а он сказал:

— Эмилия! На чем мы остановились? Или нет, садись ты сама читай. А вы послушайте, как она ма-стерски читает по-русски.

Она сначала не хотела читать, но потом раскрыла книгу, прочитала несколько фраз с сильным немецким выговором, захохотала, бросила книгу и убежала. Он позвал ее опять и с нежностью влюбленного просил ее сесть за фортепиано и спеть знаменитую каватину из «Нормы». Без малейшего жеманства она села за инструмент и после нескольких прелюдий запела. Голос у нее не сильный, не эффектный, но такой сладкий, чарующий, что я слушал и сам себе не верил, что я слушаю пение существа смертного, земного, а не какой-нибудь воздушной феи. Или это магическое влияние красоты, или она действительно хорошо пела, теперь я вам не могу сказать основательно, только я и теперь как будто слышу ее волшебный голос. Карл Павлович тоже был очарован ее пением, потому что сидел он сложа руки над своим альбомом и не слышал, как вошел Лукьян и два раза повторил: — Кушанье подано.

После обеда на тот же стол подал Лукьян фрукты и бутылку лакрима-кристи. Пробило пять часов, и я оставил их за столом и ушел в класс. На прощанье Карл Павлович подал мне руку и просил приходить

к ним каждый день к обеду. Я был в восторге от такого приглашения.

После классов встретил я их на набережной и присоединился к ним. Вскоре они пошли домой и меня пригласили к себе. За чаем Карл Павлович прочитал «Анджело» Пушкина и рассказал, как покойный Александр Сергеевич просил его написать с его жены портрет и как он бесцеремонно отказал ему, потому что жена его косая. Он предлагал Пушкину с самого его написать портрет, но Пушкин отплатил ему тем же. Вскоре после этого поэт умер и оставил нас без портрета. Кипренский изобразил его каким-то денди, а не поэтом.

После чаю молодая очаровательная хозяйка выучила нас в «гальбе-цвельф» и проиграла мне двугривенный, а мужу каватину из «Нормы» и сейчас же села за фортепиано и расплатилась. После такого великолепного финала я поблагодарил очаровательную хозяйку и хозяина и отправился домой. Это уже было далеко за полночь. Штернберг еще не спал, дожидаясь меня. Я, не снимая шляпы, рассказал ему свои похождения, и он назвал меня счастливецом.

— Позавидуй же и мне,— сказал он.— Меня приглашает генерал-губернатор Оренбургского края к себе в Оренбург на лето, и я был сегодня у Владимира Ивановича Даля⁹³, и мы условились уже насчет поездки. На будущей неделе — прощай!

Меня это известие ошеломило. Я долго говорить не мог и, придя в себя, спросил его:

— Когда же это ты так скоро успел всё обделать?

— Сегодня,— отвечал он,— часу в десятом присылает за мною Григорович. Я явился. Он предлагает мне это путешествие, я соглашаюсь, отправляюсь к Далю,— и дело кончено.

— Что же я буду без тебя делать? Как же я буду жить без тебя? — спросил я его сквозь слезы.

— Так, как и я без тебя,— будем учиться, работать и одиночества не заметим. Вот что,— прибавил он,— завтра мы обедаем у Иохима. Он тебя знает и просил меня привести тебя к себе. Согласен?

Я отвечал: — Согласен,— и мы легли спать.

На другой день мы обедали у Иохима. Это сын известного каретника Иохима, веселый, простой и прекрасно образованный немец. После обеда показывал он нам свое собрание эстампов и, между прочим, несколько тетрадей только что полученных превосходнейших литографий Дрезденской галереи. Так как это было в субботу, то мы и вечер провели у него. За чаем как-то речь [зашла] о любви и о влюбленных. Бедный Штернберг как на иголках сидел. Я старался переменить разговор, но Иохим, как нарочно, раздувал его и, в заключение, про самого себя рассказал следующий анекдот:

— Когда я был влюблен в мою Адельгейду, а она в меня нет, то я решился на самоубийство. Я решил-ся умертвить себя угаром. Приготовил всё, что следует, как-то: написал записки нескольким друзьям, и между прочим ей (и он указал на жену), достал бутылку рому и велел принести жаровню с холодным угольем, лучины и свечу. Когда всё это было готово, я запер на ключ двери, налил стакан рому, выпил, и мне начал грезиться «Пир Валтасара» Мартена⁹⁴. Я повторил дозу, и мне уже ничего не грезилося. Уведомленные о моей преждевременной и трагической смерти друзья сбежались, выломали двери и нашли меня мертвецки пьяного. Дело в том, что я забыл уголья зажечь, а то бы непременно умер. После этого происшествия она сделалась ко мне благосклоннее и, наконец, решила сделать меня своим мужем.

Рассказ свой заключил он добрым стаканом пунша.

Иохим мне чрезвычайно понравился своей манерой, и я вменил себе в обязанность навещать его как можно чаще.

Воскресенье мы провели у Шмидта, в одиннадцать часов возвратились на квартиру и уже раздеваться начали. Штернбергу понадобился носовой платок, он сунул руку в карман и вместо платка вынул афишу.

— Я и забыл! Сегодня в Большом театре маскарад,— сказал Штернберг, развертывая афишу.— По-едем!

— Пожалуй, поедем: спать рано,— сказал я, и, надевши вместо сюртуков фраки, поехали сначала к По-

лицейскому мосту в магазин костюмов, взяли капюшоны, черные полумаски и отправились в Большой театр. Сияющий зал быстро наполнялся замаскированной публикой, музыка гремела, и в шуме общего говора визжали маленькие капюшоны. Скоро сделалось жарко, и маска мне страшно надоела, я снял ее, Штернберг тоже. Может быть, иным показалось это странным, да нам-то какое дело!

Мы пошли в верхние боковые залы вздохнуть от тесноты и жару. Нас, хоть бы на смех, не преследовала ни одна маска. Только на лестнице встретил нас Элькан, тот самый господин в очках, что встретился мне однажды с Михайловым. Он меня узнал, Штернберга он тоже узнал и, хохоча во всё горло, заключил нас в свои объятия. В это время подошел к нему молодой мичман, и он отрекомендовал нам, называя его своим искренним другом Сашею Оболонским. Был уже третий час, когда мы поднялись наверх. В одной из боковых зал накрытый стол и жующая публика возбудили во мне аппетит. Я это сообщил Штернбергу шопотом, а он вслух изъявил согласие. Но Элькан и Оболонский против этого протестовали и предложили ехать к неизменному Клею и поужинать как следует.

— А то, — прибавил Элькан, — здесь не накормят, а возьмут вдесятеро.

Мы единодушно изъявили согласие и отправились к Клею.

Мне молодой мичман понравился своею разбитною манерою. До сих пор встречался я только со своими скромными товарищами, а светского юношу еще в первый раз увидел вблизи. Каламбурами и остротами так и сыплет, а водевильных куплетов без счету, — просто прелесть юноша! Мы просидели у Клея до рассвета, и как удалой мичман был немного подгулявши, то мы взяли его к себе на квартиру, а с Эльканом растались в трактире.

Вот как я нынче живу! По маскарадам шляюсь, в трактире ужинаю, деньги как попало трачу, а давно ли, давно ли сияло над Невою то незабвенное утро, в которое вы меня в первый раз увидели в Летнем саду перед статуей Сатурна? Незабвенное утро, незабвенный мой

благодетель! Чем я и как я достойно возблагодарю вас? Кроме чистой сердечной слезы-молитвы, я ничего не имею.

В девять часов я, по обыкновению, пошел в класс, а Штернберг с гостем остались дома; гость еще спал. В одиннадцать часов зашел я к Карлу Павловичу и получил милейший выговор от милейшей Эмилии Карловны. До второго часу играли мы в «гальбе-цвельф». Она хотела, чтобы я до обеда оставался с ними. Я уже начал было соглашаться, но Карл Павлович заметил, что манкировать не должно, и я, сконфуженный по уши, пошел в класс. В три часа я опять явился, а в пять часов оставил их за столом и опять ушел в класс.

Так проводил я все дни у них, как вышеописанный, кроме субботы и воскресенья. Суббота была посвящена Иохиму, а воскресенье — Шмидту и Фицтуму. Вы замечаете, что все мои знакомые — немцы, но какие прекрасные немцы! Я просто влюблен в этих немцев.

Штернберг в продолжение недели хлопотал о своем путешествии и, верно, что-нибудь забыл, это в его натуре. В субботу мы отправились к Иохиму, встретили там старика Кольмана, известного акварелиста и учителя Иохима.

После обеда заставил Кольман ученика своего показать нам свои этюды с деревьев, на что ученик неохотно согласился. Этюды сделаны черным и белым карандашом на серой бумаге, и сделаны так превосходно, так отчетливо, что я не мог налюбоваться ими. За один из этюдов он получил вторую серебряную медаль, и добрый Кольман, как торжество ученика своего, хвалил этот рисунок до небес и всем святым божился, что он сам не нарисует так прекрасно.

Так как Штернбергу оставалось только дня два, не более, провести с нами, то Иохим и спросил у него, как он намерен распорядиться этими днями? Штернберг, кажется, об этом и не подумал. И Иохим предложил вот что: завтра, т. е. в воскресенье, посетить Строганова и Юсупова галереи, а в понедельник Эрмитаж. Проект был принят, и на другой день заехали

мы к Иохиму и отправились в галерею Юсупова. Доложили князю, что такие-то художники просят позволения посмотреть его галерею, на что вежливый хозяин велел сказать нам, что сегодня воскресенье и прекрасная погода, а потому и советует нам, вместо изящных произведений, насладиться лучше великолепной погодой. Нам, разумеется, осталось поблагодарить князя за обязательный совет и больше ничего. Чтобы не выслушать подобного совета и у Строганова, мы отправились в Эрмитаж и часа три наслаждались, как истинные поклонники прекрасного искусства. Обедали у Иохима, а вечер провели в театре.

В понедельник поутру Штернберг получил записку от Даля. Владимир Иванович писал ему, чтобы он в три часа был готов к выезду. Он поехал проститься со своими друзьями, а я принялся укладывать его чемодан. К трем часам мы уже были у Даля, а в четыре мы поцеловались с Штернбергом у Средней рогатки, и я один возвратился в Петербург, чуть-чуть не в слезах. Думал было заехать к Иохиму, но мне хотелось уединения и не хотелось ехать к себе на квартиру: я боялся пустоты, которая меня поразит дома. Отпустив у заставы извозчика, я пошел пешком. Пространство, пройденное мною, не утомило меня, как я этого ожидал, и я долго еще [ходил] по набережной против Академии. В квартире Карла Павловича светился огонь. Огонь вскоре погас, и через минуту вышел он с женою на набережную. Я, чтобы не встретиться с ними, ушел к себе и, не зажигая огня, разделся и лег в постель.

Я теперь почти не бываю дома: скука и пустота без Штернберга. Михайлов опять поселился со мною и по-прежнему не сидит дома. Он тоже где-то познакомился с мичманом Оболонским, вероятно, у Элькана. Он часто приходит ночью, и если Михайлова нет дома, то он ложится спать на его постели. Юноша этот мне начинает менее нравиться, чем прежде: или он действительно однообразен, или это мне так кажется, потому что я сам теперь на себя не похож. И в самом деле, классы посещаю попрежнему исправно, но ра-

ботаю вяло. Карл Павлович это заметил; мне это досадно, и я не знаю, как исправиться. Эмилия Карловна со мною попрежнему любезна и попрежнему играет со мною в «гальбе-цвельф». Вскоре после отъезда Штернберга он велел мне приготовить карандаши и бумагу. Он хочет нарисовать 12 головок с жены своей в разных поворотах для предполагаемой картины из баллады Жуковского⁹⁵ «Двенадцать спящих дев». Бумага и карандаши лежат, однако ж, без всякого употребления.

Это было в конце февраля; я, по обыкновению, обедал у них. В этот роковой день она мне показалась особенно очаровательною; за обедом потчевала меня вином и была так любезна, что когда пробило пять часов, то я готов был забыть про класс, однако ж, она сама мне про него напомнила. Делать было нечего, я встал из-за стола и ушел, не прощаясь, обещаясь зайти из класса и непременно обыграть ее в «гальбе-цвельф».

Классы кончились, захожу я, по обещанию, к ним. Меня в дверях встречает Лукьян и говорит, что барин никого принимать не приказали. Я немало удивился такому превращению и пошел к себе на квартиру. Против обыкновения, застал я дома Михайлова и удалого мичмана. Вечер пролетел у нас в веселой болтовне. Часу в двенадцатом они пошли ужинать, а я лег спать.

На другой день поутру из класса захожу я к Карлу Павловичу, вхожу в мастерскую, и он встречает меня весело такими словами:

— Поздравьте меня, я холостой человек!

Сначала я его не понял, но он повторил мне еще раз. Я все еще не верил, и он прибавил совсем не весело:

— Жена моя вчера после обеда ушла к Заурвейдовой и не возвращалась.

Потом он велел Лукьяну сказать Липину, чтобы тот подал ему палитру и кисти. Через минуту всё было подано, и он сел за работу. На станке стоял неоконченный портрет графа Мусина-Пушкина⁹⁶. Он принялся за него. Как ни старался он казаться рав-

нодушным, работа ему сильно изменяла. Наконец, он бросил палитру и кисти и проговорил как бы про себя:

— Неужели это меня так тревожит? Работать не могу.

И он ушел к себе наверх.

Во втором часу я ушел в класс, все еще не совсем уверенный в случившемся. В три часа я вышел из класса и не знал, что делать: идти ли мне к нему или оставить его в покое. Лукьян встретил меня в коридоре и разрешил мое недоумение, сказавши: — Барин просят обедать.— Обедал я, однако ж, один, а Карл Павлович ни до чего не дотронулся, даже за стол не садился, жаловался на головную боль, а сам курил сигару. На другой день он слег в постель и пролежал две недели. В это время я не отходил от него. В нем по временам показывался горячечный бред, но он ни разу не произнес имя жены своей. Наконец, он начал поправляться и в один вечер пригласил брата своего Александра и просил его рекомендовать ему адвоката, чтобы хлопотать о формальной разводной. Теперь он уже выходит и заказал Довициели большой холст — думает начать картину «Взятие на небо божией матери» для Казанского собора, а в ожидании холста и лета начал портрет во весь рост князя Александра Николаевича Голицына⁹⁷ и Федора Ивановича Прянишникова. Старик будет изображен в сидячем положении, в андреевской ленте и в сером фраке.

Не пишу вам о слухах, какие ходят о Карле Павловиче и в городе, и в самой Академии. Слухи самые нелепые и возмутительные, которые повторять грешно. В Академии общий голос называет автором этих гадостей Заурвейда, и я имею основание этому верить. Пускай всё это немного постареет, и тогда я вам сообщу мои подозрения, а пока скопятся и выработаются материалы, прощайте, мой незабвенный благодетель!

Р. S. От Штернберга из Москвы получил я письмо. Добрый Виля! Он и вас не забывает, кланяется вам и просит, если случится вам встретить в Мало-

россии племянницу Тарновского, госпожу Бурцеву, то засвидетельствуйте ей от него глубочайшее почтение. Бедный Виля, он всё еще ее помнит!»

Следующее за этим письмо я не помещаю, потому что оно, кроме нелепых сплетен и самой гнусной клеветы, адресованной на имя Карла Великого, ничего в себе не заключает, а такие вещи не должны иметь места в сказании о благороднейшем из людей. Несчастное его супружество кончилось любовной сделкой, т. е. разводом, за который он заплатил ей 13.000 рублей ассигнациями. Вот и весь интерес письма.

«Петербургского серенького лета как не бывало. На дворе сырая, гнилая осень, а в Академии нашей блистательная выставка. Что бы вам приехать взглянуть на нее? А я на вас бы полюбовался. По части живописи из ученических работ особенно замечательного ничего нет, кроме программы Петровского «Явление ангела пастухам». Зато скульпторы отличились — Рамазанов и Ставассер⁹⁸, особенно Ставассер. Он исполнил круглую статую молодого рыбака, и как исполнил! Просто прелесть, особенно выражение лица — живое, дыхание затаившее лицо следит за движением поплавок. Я помню, когда статуя была еще в глине, Карл Павлович нечаянно зашел в кабинет Ставассера и, любуясь его статуею, посоветовал ему вдавить немного нижнюю губу рыбака. Он это сделал, и выражение изменилось. Ставассер готов был молиться на великого Брюллова.

О живописи вообще скажу вам, что для одной картины Карла Павловича стоило приехать из Китая, а не только из Малороссии. Чудо-богатырь за один присест и подмалевал, и кончил, и теперь угощает алчную публику своим дивным произведением. Велика его слава и необъятен его гений!

Что мне вам про себя самого сказать? Получил первую серебряную медаль за этюд с натуры. Еще написал небольшую картину масляными красками —

«Сиротка мальчик делится милостыней с собакою под забором». Вот и все. В продолжение лета постоянно занимался в классах и рано по утрам ходил с Иохимом на Смоленское кладбище лопухи и деревья рисовать. Я более и более влюбляюсь в Иохима. Мы с ним почти каждый день видимся, он постоянно посещает вечерние классы, хорошо сошелся к Карлом Павловичем, и часто бывают друг у друга. Иногда мы позволяем себе прогулки на Петровский и Крестовский острова с целию нарисовать черную ель или белую березу. Раза два ходили пешком в Парголово, и там познакомил я его со Шмидтами. Они летом живут в Парголово. Иохим чрезвычайно доволен этим знакомством. Да кто не будет доволен этим знакомством. Да кто не будет доволен семейством Шмидта!

Расскажу вам еще одно презабавное происшествие, недавно со мною случившееся. В одном этаже со мною поселился недавно какой-то чиновник с семейством. Семейство его — жена, двое детей и племянница, прекрасная девушка, лет пятнадцати. Каким родом я узнал все эти подробности, я вам сейчас расскажу.

Вы помните хорошо вашу бывшую квартиру: из крошечной прихожей дверь отворяется на общий коридор. Однажды я створюю эту дверь, и представьте мое изумление! Передо мною стоит прекрасная девушка, сконфуженная и раскрасневшаяся до ушей. Я не знал, что сказать ей, и, с минуту помолчавши, поклонился, а она, закрыв лицо руками, убежала и скрылась в соседней двери. Я не мог понять, что бы это значило, и после долгих догадок и предположений пошел в класс. Работал я плохо, мне все мешала загадочная девушка. На другой день она [встретилась мне?] на лестнице и вспыхнула, как и прежде, я тоже попрежнему остолбенел. Через минуту она захохотала так детски, так чистосердечно, что я не утерпел и начал ей вторить. Чьи-то шаги слышались на лестнице и уняли наш смех. Она приложила палец к губам и убежала. Я тихо поднялся по лестнице и вошел в свою квартиру, еще больше озадаченный, чем в первый раз. Она мне несколько дней покою не давала. Я поминутно выходил в коридор в надежде встретить знакомую

незнакомку, но она если и выбегала на коридор, то так быстро пряталась, что я не успевал ей кивнуть головою, а не то чтобы порядочно поклониться. В таком положении прошла целая неделя. Я уже начал было ее забывать. Только слушайте, что случилось. В воскресенье, часу в десятом утра, входит ко мне Иохим, и отгадайте, кого он ввел за собою? Мою таинственную раскрасневшуюся красавицу.

— Я у вас поймал вора,— говорил он смеясь.

При взгляде на загадочную шалунью я сам сконфузился никак не меньше пойманного вора. Иохим это заметил и, выпуская руку красавицы, лукаво улыбнулся. Освобожденная красавица не исчезла, как можно было предполагать, а осталась тут же и, поправивши косыночку и косу, осмотрелась и проговорила:

— А я думала, что вы как раз против дверей сидите и рисуете, а вы вон где, в другой комнате.

— А если бы против дверей он рисовал, тогда бы что? — сказал Иохим.

— Тогда бы я смотрела в дырочку, как они рисуют.

— Зачем в дырочку? Я уверен, что товарищ мой настолько вежлив, что позволит оставаться в комнате во время работы.

И я, в подтверждение слов Иохима, кивнул головою и предложил стул гостье. Она, на мою вежливость не обратив внимания, обратилась к стоявшему на станке недавно мною начатому портрету госпожи Соловой. Только что она начала приходить в восторг от нарисованной красавицы, как послышался резкий голос в коридоре:

— Где же это она пропала! Паша!!

Гостья моя вздрогнула и побледнела.

— Тетенька,— прошептала она и бросилась к дверям, у дверей остановилась и, приложив пальчик к губам, с минуту постояла и скрылась.

Посмеявшись этому оригинальному приключению, отправились мы с Иохимом к Карлу Павловичу.

Приключение это само по себе ничтожно, но меня оно как будто беспокоит; оно у меня из головы не выходит, я об нем постоянно думаю; Иохим иногда подтрунивает над моей задумчивостью, и мне это не нра-

вится. Мне даже досадно, зачем он случился при этом приключении.

Сегодня я получил письмо от Штернберга. Он собирается в какой-то поход на Хиву и пишет, чтобы не ждать его к праздникам, как он прежде писал, в Петербург. Мне скучно без него. Он для меня никем не заменимый. Михайлов уехал к своему мичману в Кронштадт, и я уже более двух недель его не вижу. Прекрасный художник, благороднейший человек и, увы, самый безалаберный! На время его отсутствия я пригласил к себе, по рекомендации Фицтума, студента Демского. Скромный и прекрасно образованный и, вдобавок, бедный молодой поляк. Он целый день проводит в аудитории, а по вечерам занимается со мною французским языком и читает Гиббона. Два раза в неделю, по вечерам, я хожу в зал Вольного экономического общества слушать лекции физики профессора... Хожу еще, вместе с Демским, раз в неделю слушать лекции зоологии профессора Куторги. У меня, как вы сами видите, даром время не проходит. Скучать совершенно некогда, а я все-таки скучаю. Мне чего-то недостает, а чего — я и сам не знаю. Карл Павлович теперь ничего не делает и почти дома не живет. Я с ним вижуся весьма редко, и то на улице. Прощайте, мой незабвенный, мой благодетель! Не обещаю вам писать вскоре: время у меня проходит скучно, монотонно, писать не о чем, и я не хотел бы, чтобы вы дремали над моими однообразными письмами так, как я теперь дремлю над этим посланием. Еще раз прощайте!»

«Я обманул вас: не обещал вам писать вскоре, а вот не прошло еще и месяца после последнего моего послания, я опять принимаюсь за послание. Событие поторопило. Оно-то обмануло вас, а не я. Штернберг заболел в хивинском походе, и умный, добрый Даль посоветовал ему оставить военный лагерь и возвратиться во-свояси, и он совершенно неожиданно явился передо мною 16 декабря ночью. Если бы я был один в комнате, то я принял бы его за видение и, разумеется, испугался бы, но мы были с Демским и переводили

самую веселую главу из «Брата Якова» Поль де Кока⁹⁹, следовательно, явление Штернберга мне показалось почти естественным явлением, хотя удивление и радость мои от этого нисколько не уменьшились. После первых объятий и лобзаний отрекомендовал я ему Демского, и как еще было только десять часов, то мы отправились в «Берлин» выпить чаю. Ночь, разумеется, прошла в расспросах и рассказах. На рассвете Штернберг изнемог и заснул, а я, дождавшись утра, принялся за его портфель, такую же полную, как и прошлого года он привез из Малороссии. Но здесь уже не та природа, не те люди. Хотя всё так же прекрасно и выразительно, но совершенно всё другое, кроме меланхолии, но это, может быть, отражение задумчивой души художника. Во всех портретах Ван-Дейка господствующая черта — ум и благородство, и это объясняется тем, что Ван-Дейк сам был благороднейший умница. Так и я толкую себе общую экспрессию прекрасных рисунков Штернберга.

О, если б вы знали, как весело, как невыразимо быстро и весело мелькают для меня теперь дни и ночи. Так весело, так быстро, что я не успеваю выучивать миниатюрного урока г. Демского, за что и грозит он вовсе от меня отказаться. Но, боже сохрани, я себя до этого не доведу. Знакомства наши не уменьшились, не увеличились, всё те же, но все они расцвели, так повеселели, что мне просто не сидится дома. Хотя, правду вам сказать, дома у меня тоже не без прелести, не без очарования. Я говорю о соседке, о той самой воровке, что у дверей поймал Иохим. Что это за милое, невинное создание. Настоящий ребенок, и самый прекрасный, неиспорченный ребенок. Она ко мне каждый день несколько раз забежит, попрыгает, полепечет, и выпорхнет, как птичка. Просит меня иногда рисовать ее портрет, но никак более пяти минут не высидит — просто ртуть. Недавно понадобилась мне женская рука для дамского портрета. Я попросил ее поддержать руку, она, как добрая, согласилась. И что ж вы думаете? — секунды не подержит спокойно. Настоящий ребенок. Так я бился, бился и, наконец, должен был пригласить модель для руки. Что ж вы

думаете? Только что я усадил модель и взял палитру в руки, вбегает в комнату соседка, как всегда резвая, смеющаяся, и только увидела натурщицу, вдруг окаменела, потом зарыдала и, как тигренок, бросилась на нее. Я не знал, что и делать. По счастью, случилась у меня малиновая бархатная мантилья той самой дамы, с которой я портрет писал. Я взял мантилью и накинул ей на плечи. Она опомнилась, подошла к зеркалу, полюбовалась на себя с минуту, потом бросила на пол мантилью, плюнула на нее и выбежала из комнаты. Я отпустил модель, и рука попрежнему осталась незаконченной.

Три дня после этого происшествия не показывалась соседка в моей квартире. Если встречалась со мной в коридоре, то закрывала лицо руками и убегала в противоположную сторону. На четвертый день, только что я пришел из класса домой и начал готовить палитру, как входит соседка, скромная, тихая,— я просто не узнавал ее. Молча обнажила по локоть руку, села на стул и приняла позицию изображаемой дамы. Я, как ни в чем не бывало, взял палитру, кисти и принялся за работу. Через час рука была окончена. Я рассыпался в благодарности за такую милую услугу, но она хоть бы улыбнулась, встала, опустила рукав и молча вышла из комнаты. Меня это, признаюсь вам, задело за живое, и я теперь ломаю голову, как восстановить мне прежнюю гармонию. Так прошло еще несколько дней, гармония начала видимо восстанавливаться. Она уже не бегала от меня в коридоре, а иногда даже и улыбалась. Я уже начинал надеяться, что вот-вот дверь растворится и влетит моя птичка красноперая. Дверь, однако ж, не растворялась и птичка не показывалась. Я начинал беспокоиться и придумывать силок для коварной птички. И когда рассеянность моя стала делаться несносною не только мне самому, но и добрейшему Демскому, в это самое время, как ангел с неба, является ко мне Штернберг из киргизской степи.

Теперь я живу совершенно одним Штернбергом и для одного Штернберга, так что если б соседка не попадалась мне иногда в коридоре, то, может быть, я бы и совсем ее забыл. Ей ужасно хочется забежать ко мне,

но вот горе: Штернберг постоянно дома, а если уходит со двора, то и я с ним ухожу. На празднике она, однако ж, не утерпела, и так как нас по вечерам дома не бывает, то она замаскировалась днем и прибежала к нам. Я притворился, что не узнаю ее. Она долго вертелась и всячески старалась показать, чтобы я узнал ее, но я упорно стоял на своем. Наконец, она не вытерпела, подошла ко мне и почти вслух сказала:

— Несносные, ведь это я!

— А когда вы, снимите маску,— сказал я шопотом,— тогда я узнаю, кто вы.

Она немного замаялась, потом сняла маску, и я рекомендовал ей Штернберга.

С того дня у нас пошло все попрежнему. С Штернбергом она не церемонится точно так же, как и со мною. Мы ее балуем разными лакомствами и обращаемся с нею, как добрые братья с родною сестрою.

— Кто она такая? — однажды спросил меня Штернберг.

Я не знал, что отвечать на этот внезапный вопрос. Мне никогда и в голову не приходило спросить ее об этом.

— Должно быть, или сирота, или дочь самой беспечной матери,— продолжал он.— Во всяком случае она жалка. Умеет ли она хоть грамоте?

— И этого не знаю,— отвечал я нерешительно.

— Давать бы ей читать что-нибудь,— всё бы голова не совсем была пуста. А кстати, узнай, если она читает, то я ей подарю весьма моральную и мило изданную книгу. Это «Векфильдский священник»¹⁰⁰ Гольдсмита. Прекрасный перевод и прекрасное издание.

А минуту спустя продолжал он, обращаясь ко мне с улыбкою:

— Ты замечаешь, я сегодня чувствую себя в припадке морали. Например, вопрос такого рода: чем могут кончиться визиты этой наивной резвушки?

По мне пробежала легонькая дрожь, но я сейчас же оправился и отвечал:

— Я думаю, ничем.

— Дай бог,— сказал он и задумался.

Я всегда люблю его благородной, детски-беззаботной физиономией, но теперь эта милая физиономия мне показалась совсем не детской, а созревшей и прочувствовавшей на свою долю физиономией. Не знаю почему, но мне невольно на мысль пришла Тарновская, и он как бы подстерег мою мысль, посмотрел на меня и глубоко вздохнул.

— Береги ее, мой друг,— сказал он,— или сам берегись ее. Как ты сам себя чувствуешь, так и делай, только помни и никогда не забывай, что женщина — святая, неприкосновенная вещь и вместе так обольстительна, что никакая сила воли не в силах противостоять этому обольщению, кроме только чувства самой возвышенной евангельской любви. Оно одно только может защитить ее от позора, а нас от вечного упрека. Вооружись же этим прекрасным чувством, как рыцарь железным панцырем, и иди смело на врага.

Он на минуту замолчал.

— А я страшно постарел с прошлого года,— сказал он, улыбаясь.— Пойдем лучше на улицу, в комнате что-то душно кажется.

Долго молча мы ходили по улице, молча возвратились на квартиру и легли спать.

Поутру я ушел в класс, а Штернберг остался дома. В одиннадцать часов я прихожу домой и что же вижу? Вчерашний профессор морали нарядил мою соседку в бобровую с бархатным верхом и с золотою кистью татарскую шапочку и какой-то красный шелковый, татарский же, шугай, и сам, надевши башкирскую остроконечную шапку, наигрывает на гитаре качучу, а соседка, что твоя Тальони, так и отделяет соло.

Я, разумеется, только всплеснул руками, а они хоть бы тебе глазом повели — продолжают себе качучу, как ни в чем не бывало. Натанцовавшись до упаду, она сбросила шапочку, шугай и выбежала в коридор, а моралист положил гитару и захохотал как сумасшедший. Я долго крепился, но наконец не вытерпел и так чисто-сердечно завторил, что прямо заглушил. Нахохотавшись до упаду, уселись мы на стульях один против другого, и, с минуту помолчав, он первый заговорил:

— Она самое увлекательное создание. Я хотел

было нарисовать с нее татарочку, но она не успела нарядиться, как принялась танцевать качучу, а я, как ты видел, не утерпел и, вместо карандаша и бумаги, схватил гитару, а остальное ты знаешь. Но вот чего ты не знаешь. До качучи она рассказала мне свою историю, разумеется, лаконически, да подробности едва ли она и сама знает, но все-таки, если б не эта проклятая шапочка, она бы не остановилась на половине рассказа, а то увидела шапку, схватила, надела — и всё забыто. Может быть, она с тобою будет разговорчивее, выступи у нее хорошенько, ее история должна быть самая драматическая история. Отец ее, говорит она, умер в прошлом году в Обуховской больнице.

В это время дверь растворилась, и вошел давно не виданный Михайлов, а за ним удалой мичман. Михайлов без дальних околичностей предложил нам завтрак у Александра. Мы переглянулись с Штернбергом и, разумеется, согласились. Я заикнулся было насчет класса, но Михайлов так неистово захохотал, что я молча надел шляпу и взялся за ручку двери.

— А еще хочет быть художником! Разве в классах образуются истинные великие художники? — торжественно произнес неугомонный Михайлов. Мы согласились, что лучшая школа для художника — таверна, и в добром согласии отправились к Александру.

У Полицейского моста мы встретили Элькана, прогуливающегося с каким-то молдаванским бояром и разговаривающего на молдаванском наречии. Мы взяли и его с собой. Странное явление этот Элькан: нет языка, на котором бы он не говорил, нет общества, в котором бы он не встречался, начиная от нашей братии и оканчивая графами и князьями. Он, как сказочный волшебник, везде и нигде: и на Английской набережной, у конторы пароходства — приятеля за границу провожает, и в конторе дилижансов или даже у Средней рогатки — тоже провожает какого-нибудь задушевного москвича, и на свадьбе, и на крестинах, и на похоронах, и всё это в продолжение одного дня, который он заключает присутствием своим во всех трех театрах. Настоящий Пинетти ¹⁰¹. Его иные остерегаются, как

шпиона, но я в нем не вижу ничего похожего на подобное создание. Он, в сущности, неумолкаемый говорун и добрый малый и, вдобавок, плохой фельетонист. Его еще в шутку называют Вечным Жидом, и это он сам находит для себя приличным. Он со мною иначе не говорит как по-французски, за что я ему весьма благодарен, это для меня хорошая практика.

Вместо завтрака у Александра мы плотно пообедали и разошлись во-свояси. Михайлов и мичман у нас переночевали и поутру уехали в Кронштадт. Святки прошли у нас быстро, значит весело. Карл Павлович велит мне готовиться к конкурсу на вторую золотую медаль. Не знаю, что-то будет. Я так мало еще учился, но с божиею помощью попробуем. Прощайте, мой незабвенный благодетель. Не имею вам ничего сказать более».

«Уже и масленица, и великий пост, и наконец праздники прошли, а я вам не написал ни одного слова. Не подумайте, мой бесценный, мой незабвенный благодетель, что я забываю вас. Боже меня сохрани от подобного греха. Во всех помышлениях, во всех начинаниях моих вы, как самое светлое, самое отрадное существо, присутствуете в моей благодарной душе. Причина же моего молчания очень проста: не о чем писать — однообразие. Нельзя сказать, чтобы это однообразие было скучное, монотонное,— напротив, дни, недели и месяцы для меня летят незаметно. Какое благодетельное дело труд, особенно если он находит поощрение! А я, слава богу, в поощрении не нуждаюсь: на экзаменах я постоянно не сажусь ниже третьего №. Карл Павлович постоянно мною доволен — какое же может быть отраднее, существеннее поощрение для художника? Я безгранично счастлив. Эскиз мой на конкурсе приняли без малейшей перемены, и я уже принялся за программу. Сюжет я полюбил, он мне совершенно по душе, и я весь ему предался. Это сцена из «Илиады» — Андромаха над телом Патрокла¹⁰². Теперь только я совершенно понял, как необходимо изучение антиков и вообще жизни и искусства древних греков и как мне

в этом случае французский пригодился. Я не знаю, как [благодарить] доброго Демского за эту услугу.

Мы очень оригинально встретили праздник христового воскресения с Карлом Павловичем. Он днем еще говорил мне, что намерен итти к заутрене в Казанский собор, чтобы посмотреть свою картину при огненном освещении и крестный ход. Вечеру велел он подать чай в 10 часов, чтобы незаметнее прошло время. Я налил ему и себе чаю, он закурил сигару, лег на кушетку и начал читать вслух «Пертскую красавицу», а я ходил взад и вперед по комнате, только я и помню. Потом слышу неясно как будто гром, раскрываю глаза— в комнате светло, лампа на столе едва горит, Карл Павлович спит на кушетке, книга на полу лежит, а я лежу в креслах и слушаю, как из пушек стреляют. Погасивши лампу, я тихонько вышел из комнаты и пошел к себе на квартиру. Штернберг еще спал. Я умылся, оделся и вышел на улицу. Люди уже с освященными пасхами выходили из Андреевской церкви. Утро было настоящее праздничное. И знаете, что меня больше всего занимало в это время? Совестно сказать, а сказать необходимо, необходимо потому, что мне грешно было бы скрывать от вас какую бы то ни было мысль или ощущение. Я был в это время настоящий ребенок. Меня больше всего занимал тогда мой новый непромокаемый плащ. Не странно ли? Меня тешит праздничная обнова. А если подумать, так и не странно. Глядя на полы своего блестящего плаща, я думал: давно ли я в затрапезном, запачканном халате не смел и помышлять о подобном блестящем наряде, а теперь! Сто рублей бросаю за какой-нибудь плащ. Просто Овидиево превращение!¹⁰³ Или, бывало, промыслишь как-нибудь эту бедную полтину и несешь ее в раек, не выбирая спектакля. И за полтину, бывало, так чисто-сердечно нахохочуся и горько наплачуся, что иному и во всю жизнь свою не придется так плакать и так смеяться. И давно ли это было? Вчера, не дальше,— и такая чудная перемена. Теперь, например, я уже иначе не иду в театр, как в кресла и редко когда в места за креслами, и иду смотреть не что попало, а норовлю попасть или на бенефис, или на повторение бе-

нефиса, или хоть и старое что-нибудь, но всегда с выбором. Правда, что я утратил уже тот непритворный смех и искренние слезы, но мне их почти не жаль. Вспоминая всё это, я вас вспоминаю, мой незабвенный благодетель, и то святое утро, в которое вас сам бог навел на меня в Летнем саду, чтобы взять меня из грязи и ничтожества.

Праздник встретил я в семействе Уваровых. Не подумайте графов — боже сохрани, мы еще так высоко не летаем. Это простое, скромное купеческое семейство, но такое доброе, милое, гармоничное, что дай бог, чтобы все семейства на свете были таковы. Я принят у них как самый близкий родной. Карл Павлович тоже их нередко посещает.

Праздник провели мы весело. В продолжение недели ни разу не обедали у мадам Юргенс, а всё в гостях — то у Иохима, то у Шмидта, то у Фицтума, а вечера или в театре, или у Шмидта. Соседка наша по-прежнему нас посещает, и всё такая же шалунья, как и прежде была. Жаль, что она не может служить мне моделью для Андромахи: слишком молода и субтильна, если можно так выразиться. Я удивляюсь, что это за женщина ее тетенька. Она, кажется, и не думает о своей шалунье-племяннице. Она иногда у нас бесится часа два сряду, а тетеньке и нуждушки нет. Странно! Штернберг досказал мне ее историю. Матери она не помнит, а отец ее был какой-то бедный чиновник и, как кажется, пьяница, потому что, когда они жили в Коломне, то он каждый день приходил из должности «краснехонькой» (как она сама выразилась) и сердитый и если у него были деньги, то он посылал ее в кабак за водкою, а если денег не было, то посылал ее на улицу просить милостыню, а вицмундир носил всегда с прорванными локтями. Тетка ее, теперешняя покровительница, а его родная сестра, иногда приходила к ним и просила его, чтобы он Пашу отдал ей на воспитание, но он и слышать не хотел. Долго ли они так жили в Коломне, она не помнит. Только однажды зимою он из должности не пришел ночевать на квартиру, она одна ночевала дома и ничего не боялась. На другую ночь он тоже не приходил, а на третий день уже пришел за

нею от отца из Обуховской больницы служитель. Она пошла к нему, и служитель дорогой ей рассказал, что отца ее будочники ночью подняли на улице и отправили в часть, а из части уже на другой день в горячке привезли его в больницу и что прошлой ночью он ненадолго пришел в себя, сказал свою фамилию, рассказал, где его квартира, и просил привести ее к себе. Больной отец не узнал ее и прогнал от себя. Тогда она пошла к тетке и осталась у нее.

Вот и вся ее грустная история.

На-днях подарил ей Штернберг «Векфильдского священника». Она схватила книгу, как дитя хватает хорошенькую игрушку, и, как дитя, поиграла ею, посмотрела картинки и бросила на стол, а уходя и не вспомнила о книге. Штернберг решительно уверен, что она безграмотна, я то же думаю, судя по ее печальному детству. У меня даже родилась мысль (если она действительно безграмотна) выучить ее по крайней мере читать. Штернбергу мысль моя понравилась, и он вызвался помогать мне. И он так уверен в ее безграмотности, что в тот же день пошел в книжную лавку и купил азбучку с картинками. Но благой проект наш только проектом и остался, вот почему. На другой день, когда мы хотели приступить к первой лекции, приехал из Крыма Айвазовский¹⁰⁴ и остановился у нас на квартире. Штернберг с восторгом встретил своего товарища, но мне, не знаю почему, на первый раз он не понравился. В нем есть, несмотря на его изящные манеры, что-то не симпатическое, не художническое, а что-то вежливо-холодное, отталкивающее. Портфели своей он нам не показывает, говорит — оставил в Феодосии у матери, а дорогой ничего не рисовал, потому что торопился застать первый заграничный пароход. Он прожил с нами, однако ж, с лишком месяц, не знаю по каким обстоятельствам, и в продолжение этого времени соседка нас ни разу не посетила: она боится Айвазовского, и я его за это готов каждый день проводить за границу. Но вот мое горе: с ним вместе и мой бесценный Штернберг уезжает.

Еще прошло несколько дней, и мы проводили моего Штернберга до Кронштадта. Около него собралось нас

человек десять, а около Айвазовского ни одного. Странное явление между художниками! В числе провожавших Штернберга был и Михайлов. И одолжил же он нас! После дружеского веселого обеда у Стюарта он заснул богатырски. Мы его хотели разбудить, но не могли и, взявши пару бутылок Клико, отправились с Штернбергом на пароход. На палубе «Геркулеса» выпили вино, вручили нашего друга г. Тыринову (начальнику парохода), простились и возвратились уже вечером в трактир. Михайлов уже полупроснулся. Мы принялись рассказывать ему, как провожали мы Штернберга, — он молчал, и как были на пароходе, — он всё молчал, и как выпили две бутылки Клико. — Негодяи! — проговорил он при слове «Клико», — не разбудили товарища проводить!..

Скучно мне без моего милого Штернберга, так скучно, что я не только от квартиры, где мне всё его напоминает, даже от резвой соседки своей готов бежать. Не пишу вам теперь ничего больше — скучно, а я вам не хочу навести скуку своим монотонным посланием. Примусь лучше за программу. Прощайте».

«Лето так у меня быстро промелькнуло, быстрее, чем у праздного денди одна минута. Я после выставки едва только заметил, что оно уже кануло в вечность. А между прочим, в продолжение лета мы с Иохимом несколько раз посещали на Крестовском острове старика Кольмана, и под его руководством я сделал три этюда: две ели и одну березу. Добрейшее создание этот Кольман!¹⁰⁵ Шмидты возвратились уже в город, и они-то мне напомнили своими упреками, что уже прошло лето. Я их ни разу не посетил: далеко, а у меня все дни и ночи были отданы программе. Зато как они искренне поздравляли меня с успехом. Да, с успехом, мой незабвенный благодетель! Какое великое дело для ученика программа! Это его пробный камень, и какое великое для него счастье, если он на этом камне оказался не поддельным, а истинным художником. Я это счастье вполне испытал. Не могу описать вам этого чудного, этого беспредельно сладкого чувства. Это

продолжительное присутствие всего святого, всего прекрасного в мире в одном человеке. Зато какое горькое, какое мучительное состояние души предшествует этой святой радости,— это ожидание. Несмотря на то, что Карл Павлович уверял меня в успехе, я так страдал, как страдает преступник перед смертной казнью, нет, больше. Я не знал, умру ли я или остануся в живых, а это, по-моему, тягостнее. Приговор еще не был произнесен, и в ожидании этого страшного приговора зашли мы с Михайловым к Дели сыграть партию в бильярд, но у меня дрожали руки, и я не мог сделать ни одного шара, а он, как ни в чем не бывало, так и режет. А ведь он тоже был под судом — его программа стояла рядом с моею. Меня бесило такое равнодушие, я бросил кий и ушел к себе на квартиру. В коридоре встретила меня смеющаяся, счастливая соседка.

— Что? — спросила она меня.

— Ничего, — ответил я.

— Как ничего? А я убрала вашу комнату, как для светлого праздника, а вы идете такой скучный.

И она тоже хотела сделать скучную мину, но никак не могла. Я поблагодарил ее за внимание и просил в комнату. Она так детски-непритворно [стала] утешать меня, что я не утерпел, расхохотался.

— Ничего еще неизвестно, экзамен еще не кончился, — сказал я.

— Так зачем же вы меня обманули, бессовестный! Если б знала, не убирала б и комнату.

И она надула розовенькие губки.

— У Михайлова, — продолжала она, — небось я не убрала. Пускай себе со своим мичманом валяются, как медведи в берлоге, мне какое дело.

Я поблагодарил ее за предпочтение и спросил ее, будет ли она рада, если Михайлов медаль получит, а я нет.

— Я ему руки переломая, глаза выцарапаю, я его убью до смерти!

— А если я?

— Я тогда сама умру от радости.

— За что же мне такое предпочтение? — спросил я ее.

— За что?.. За то... за то... что вы меня обещались зимою грамоте учить...

— И сдержу слово,— сказал я.

— Идите же в Академию,— сказала она,— и узнайте, что там делается, а я вас подожду в коридоре.

— Зачем же не здесь? — спросил я.

— А если придет мичман, что я тогда буду делать?

— Правда,— подумал я и, не говоря ни слова, вышел в коридор. Она замкнула дверь и ключ спрятала в карман.

— Я не хочу, чтобы они без вас вошли в вашу комнату и что-нибудь испортили.

— С чего она взяла, что они у меня что-нибудь испортят,— подумал я,— так просто, детский каприз.

— До свидания! — сказал я, спускаясь по лестнице.— Пожелайте мне счастья.

— От всей души! — сказала она восторженно и скрылась. Я вышел на улицу. Я боялся войти в Академию. Академические ворота мне показались разинутою пастью какого-то страшного чудовища. Побродивши до поту на улице, я перекрестился и пробежал в страшные ворота. Во втором этаже, в коридоре, как тени у Харонова перевоза¹⁰⁶, блуждали мои нетерпеливые товарищи. В толпу их и я вмешался. Профессора уже прошли из цыркаля в конференц-залу. Ужасная минута близилась. Андрей Иванович (инспектор) вышел из круглой залы, я ему первый попался навстречу, и он, проходя мимо меня, шепнул мне: — Поздравляю.— Я в жизнь свою не слышал и не услышу такого сладкого, такого гармонического звука. Я стремглав бросился домой и в восторге расцеловал мою соседку. Хорошо еще, что никто не видел, потому что это было на лестнице. Хотя я здесь ничего предосудительного не вижу, но все-таки слава богу, что никто не видел.

Так или почти так совершился этот душу потрясающий экзамен. И всё то, что я вам написал теперь, это только темный силуэт с живой природы, слабая тень настоящего происшествия. Его ничем нельзя выразить: ни пером, ни кистью, ни даже живыми словами.

Михайлову экзамен не удался. Боже сохрани, если

бы со мной случилось подобное несчастье, я бы с ума сошел, а он, как ни в чем не бывало, зашел на квартиру, надел теплое пальто и уехал к своему мичману в Кронштадт. Я не знаю, что у него за симпатия к этому мичману. Я в нем совершенно ничего не нахожу привлекающего, а он от него без души. Сначала, правда, он и мне понравился, но это ненадолго. А бедный мой учитель Демский! — вот истинно симпатичный человек. Он, бедный, болен, и неизлечимо болен: чахотка в последнем периоде. Он еще ходит, но едва-едва ходит. На-днях зашел поздравить меня с медалью, и мы с ним провели вечер в самой сладкой дружеской беседе. Он мне предсказывал мое будущее с таким убеждением, так натурально, живо, что я невольно ему верил. И бедный Демский, он и не подозревает своей болезни. Он так искренно увлекается своим будущим, как может увлекаться только полный здоровья юноша. Счастливее, если можно назвать мечту счастьем! Он говорит, что главное и самое трудное уже уничтожено, т. е. нищета, что он не обязан уже просиживать ночи над перепиской лекций за какой-нибудь рубль, что он теперь совершенно независим от нищеты, может предаться своей любимой науке, что он, если не превзойдет своего идола Лелевеля¹⁰⁷ в отечественной истории, то по крайней мере сравняется с ним, что будущая его диссертация откроет ему все средства осуществить свои блестящие надежды. А между тем бедняк кашляет кровью и старается это скрыть от меня. И, боже мой, чего бы я не отдал за осуществление его пламенных желаний! Но, увы, совершенно никакой надежды,— едва ли проживет он и до вскрытия Невы.

В минуту самых сердечных излияний Демского с шумом отворилась дверь и вошел удалой мичман.

— Что, Мишка у себя? — спросил он, [не снимая] шапки.

— Он вчера еще уехал к вам,— отвечал я.

— Значит, мы с ним разъехались. Пусть его прогуляется. А между прочим, я у вас ночую.

И он вошел в комнату Михайлова. Я ему подал свечу. Что мне было делать? Я Демскому предложил

постель Михайлова в совершенной надежде, что у нас ее никто не завоюет. Демский заметил мое невыгодное положение, улыбнулся, взял шапку и протянул мне руку. Я тоже молча взял шапку и вышел с ним на улицу, предоставив мичмана самому себе. Проводивши Демского до его квартиры, я весьма неохотно возвратился назад, и что же застаю дома? Соседка моя не знала, что меня дома нет, и забежала в мою комнату, а удалой полураздетый мичман схватил ее и хотел было дверь на ключ запереть, но в это время я подошел к двери и помешал ему. Соседка вырвалась у него из рук, плюнула ему в лицо и убежала.

— Настоящая ртуть,— сказал мичман, утираясь.

Меня эта сцена оскорбила, но я этого не дал ему заметить, и как еще было не поздно, то без церемонии оставил его на квартире, а сам пошел искать лучшего товарища коротать осенний вечер.

Визиты мди товарищам были неудачны, я кланялся только замкам дверей, к Шмидтам итти было поздно, Карла Павловича тоже не было дома, и я не знал, что с собою делать. Меня мучил проклятый мичман, я ненавидел его. Не знаю, была ли то ревность или просто чувство отвращения к человеку, который поругал святое чувство скромности в женщине. Женщина, какая бы она ни была, мы ей обязаны если не уважением, то по крайней мере приличием, а мичман пренебрег и то и другое. Он просто пьян или в глубине души мерзавец. Я как-то невольно верую в последнее.

В квартире Карла Павловича засветился огонь, и я зашел к нему и у него переночевал. Карл Павлович заметил, однако ж, мое ненормальное состояние, но был так любезен, что не сделал мне ни одного вопроса, велел мне сделать постель в одной комнате с собою и сам стал читать вслух. То была книга Вашингтона Ирвинга¹⁰⁸ «Христофор Колумб». Читая, он тут [же] импровизировал картину, как неблагодарные испанцы выводят с баркаса на берег обремененного цепями великого адмирала. Какая грустная, поучительная картина. Я предложил ему лоскуток бумаги и карандаш, но он отказался и продолжал читать.

Так однажды во время ужина, рассказывая свое

путешествие по древней Элладе, он набросал чудную картину под названием «Афинский вечер»¹⁰⁹. Картина представляла афинскую улицу, освещенную вечерним солнцем. На горизонте вчерне оконченный Парфенон, но еще леса не убраны. На первом плане, среди улицы, пара буйволов везет мраморную статую «Река Илис» Фидия. Сбоку сам Фидий, встречаемый Периклом и Аспазией¹¹⁰ и всем, что было славного в перикловых Афинах, начиная со знаменитой гетеры и до Ксантиппы¹¹¹. И все это освещено лучами заходящего солнца. Великолепная картина! Что «Афинская школа» перед этой животрепещущей картиной? А он именно потому только ее и не исполнил, что уже существует «Афинская школа». И сколько подобных картин он оканчивает или вдохновенным словом, или вершковым эскизом в своем весьма невеликолепном альбоме. Так, например, прошедшей зимой он начертил несколько самых миниатюрных эскизов на одну и ту же тему. Я ничего не мог понять и только догадывался, что великий мой учитель замышляет что-то великое. И я не обманулся в своих догадках.

Нынешнее лето я стал замечать, что он до восхода солнечного ежедневно начал уходить в свою мастерскую, в портик, в своей серой рабочей куртке, и оставался там до самого вечера. Один Лукьян только знал, что там совершается, потому что он приносил ему воду и обед. Я тогда работал над программой и не мог предложить ему услуг книгочия, хотя я был уверен, что он охотно принял бы такую услугу, потому что он любит чтение. Так прошло три недели. Я трепетал от нетерпения. Никогда он так постоянно не посещал свою студию. Должно быть, что-нибудь необыкновенное. Да и что обыкновенное создает такой колоссальный гений!

Однажды я перед вечером отпустил натурщика, хотел выйти на улицу. В коридоре встретился мне Карл Павлович с небритой бородою. Он пожелал видеть мою программу. Я с трепетом ввел его в свой кабинет, он сделал несколько неважных замечаний и сказал: — Теперь пойдем смотреть мою программу. — И мы пошли в портик.

Я не знаю, рассказывать ли вам о том, что я там

увидел? Рассказать я вам должен, но как я расскажу нерассказываемое?

Отворив двери в мастерскую, мне представилось огромное темное полотно, натянутое на раму. На полотне черной краской написано: «Нач. 17 июля». За полотном музыкальный ящик играл хор ноблей из «Гугенотов»¹¹². С замиранием сердца прошел я за полотном, оглянулся, и у меня дыхание захватило: передо мною стояла не картина, а со всем ужасом и величием живая осада Пскова¹¹³. Вот где смысл крошечных эскизов. Вот для чего он прошедшее лето делал прогулку в Псков. Я знал о его предположении, но никогда не мог вообразить себе, чтобы это так быстро исполнилось. Так быстро и так прекрасно! Пока я сделаю для вас небольшой контур с этого нового чуда, опишу вам его, разумеется, весьма ограниченно.

На правой стороне от зрителя, на третьем плане картины, взрыв башни; немного ближе пролом в стене и в проломе — рукопашная схватка, да такая схватка, что смотреть страшно. Кажется, слышишь крики и звон мечей о железные ливонские, польские, литовские и бог знает еще о какие железные шлемы. На левой стороне картины, на втором плане, крестный ход с хоругвями и иконой божией матери, торжественно-спокойно предшествуемый епископом с мечом святого Михаила, князя псковского. Какой удивительный контраст! На первом плане, в середине картины, бледный монах с крестом в руке, верхом на гнедой лошади. По правую сторону монаха издыхающий белый конь Шуйского, а сам Шуйский бежит к пролому с поднятыми вверх руками. По левую сторону монаха благочестивая старуха благословляет юношу или, лучше сказать, мальчика на супостата. Еще левее девушка поит водою из ведра утомленных воинов, а в самом углу картины полуобнаженный умирающий воин, поддерживаемый молодою женщиною, быть может, будущей вдовою. Какие чудные, разнообразные эпизоды! И я вам их и половины не описал. Мое письмо было бы бесконечно и все-таки не полно, если бы я вздумал описывать все подробности этого совершенства искусства.

Удовольствуйтесь на первый раз хоть этим прозаическим очерком в высшей степени поэтического произведения. Со временем пришло вам контур с него, и вы тогда яснее увидите, что это за божественное произведение.

О чем же мне еще писать вам, мой незабвенный благодетель? Я так редко и так мало пишу вам, что мне совестно. Упреки ваши, что я ленив писать, не совсем справедливы. Я не ленив, а не мастер об обыденной жизни своей рассказывать увлекательно, как это другие умеют делать. Я недавно (собственно для писем) прочитал «Клариссу»¹¹⁴, перевод Жюль Жанена, и мне понравилось одно предисловие переводчика, а письма такие сладкие, такие длинные, что из рук вон. И как это достало терпения у человека написать такие бесконечные письма. А письма из-за границы мне еще менее понравились: претензии много, а толку мало, педантизм и больше ничего. Я, признаюсь вам, имею сильное желание выучиться писать, да не знаю, как это сделать. Научите меня. Ваши письма так хороши, что я их наизусть выучиваю. А пока овладею вашим секретом, буду вам писать как сердце продиктует, и моя простосердечная откровенность пускай пока заметит искусство.

Переночевавши у Карла Павловича, я часу в десятом весьма неохотно пошел к себе на квартиру. Михайлов уже был дома и наливал в стакан едва проснувшемуся мичману какое-то вино, а моя ветреная соседка, как ни в чем не бывало, выглядывала из моей комнаты и хохотала во всё горло. Никакого самолюбия, ни тени скромности. Простая ли это, естественная наивность, или это следствие уличного воспитания,— вопрос для меня неразрешимый, неразрешимый потому, что я к ней безотчетно привязан, как к самому милочному ребенку. И, как настоящего ребенка, я посадил ее за азбучку. По вечерам она твердит склады, а я что-нибудь черчу или с нее же портрет рисую. Головка просто прелесть! И замечательно что? С тех пор, как она начала учиться, перестала хохотать, а мне смешно становится, когда я смотрю на ее серьезное детское личико. От нечего делать в продолжение зимы я

думаю написать с нее этюд при огненном освещении, в таком точно положении, как она сидит, углубившись в азбучку с указкою в руке. Это будет очень миленькая картина — à la Грез¹¹⁵. Не знаю, совладаю ли я с красками? В карандаше она порядочно выходит.

На-днях я познакомился с ее тетушкой и весьма оригинально. По обыкновению, в одиннадцать часов утра возвращаюсь я из класса; в коридоре встречает меня Паша и именем тетеньки просит к себе на кофе. Меня это изумило, я отказываюсь. Да и в самом деле, как войти в незнакомый дом и прямо на угощение? Она, однако ж, не дает мне выговорить слова, тащит меня за рукав к своим дверям, как упрямого теленка. Я, как теленок, упираюсь и уже чуть-чуть не освободил свою руку, как растворилась дверь и явилась на помощь сама тетенька. Не говоря ни слова, схватывает меня за другую руку, и втаскивают в комнату, двери на ключ — и просят быть как дома.

— Прощу покорно, без церемонии,— говорит запыхавшись хозяйка,— не взыщите на простоте. Пашенька, что же ты рот разинула? Неси скорее кофе!

— Сейчас, тетя,— отозвалась Паша из другой комнаты и через минуту явилась с кофейником и чашками на подносе, настоящая Геба¹¹⁶. Тетя тоже немного смахивала на Тучегонителя¹¹⁷.

— Нам с вами давно хотелось познакомиться,— так начала гостеприимная хозяйка,— да всё как-то случаю не выпадало, а сегодня, слава богу, я таки поставила на своем. Уж вы нас извините за простоту. Не угодно ли чашечку кофею? Давно что-то нашей охтянки не видать, а в лавочке сливки — такая дрянь. Да что будешь делать? Ко мне Паша давно уже пристаёт, чтобы я познакомилась с вами, да вы-то такой нелюдим, настоящий затворник, и в коридор-то вы лишний раз не выглянете. Кушайте еще чашечку. Вы с нашей Пашенькой просто чудо сотворили. Мы ее просто не узнаем: с утра до ночи за книжкой, воды не замутит, так что даже любо. А вчера, вообразите наше удивление, достала с картинками книжку, ту самую, что ваш товарищ подарил ей, раскрыла и принялася читать, правда, еще не совсем бойко, но понимать

совершенно всё можно. Как бишь называется эта книга?

— «Векфильдский священник»,— сказала Паша, выходя из-за перегородки.

— Да, да, священник. Как он, бедный, и в остроге сидел, как он и дочь свою беспутную отыскивал. Всю книжку, как есть, прочитала, куда и сон девался.— Кто выучил тебя?— спрашиваю я ее. Она говорит — вы. Вот уж, правду сказать, одолжили вы нас. Кирило Афанасьич мой если не в должности, так дома сидит за бумагами. Настанет вечер, мы и примемся за молчанку, и вечер тебе годом кажется. А теперь, да я просто и не видала, как он пролетел! Не угодно ли еще чашечку?

Я отказался и хотел уйти. Не тут-то было. Самым нецеремонным образом хозяйка схватила меня за руку и усадила на свое место, приговаривая: — Нет, у нас, не знаем, как у вас, так не делают — вошел и вышел. Нет, просим покорно побеседовать с нами да закусить, чем бог послал.

От закуски и от беседы я, однако ж, отказался, ссылаясь на боль в животе и на колотье в боку, чего у меня, слава богу, никогда не бывало. А дело в том, что мне нужно было итти в класс,—первый час уже был на исходе. На честное слово я был отпущен до семи часов вечера. Верный данному слову, в семь часов вечера я явился к гостеприимной соседке. Самовар уже был на столе, и она меня встретила со стаканом чаю в руках. После первого стакана чаю она отрекомендовала меня хозяину своему, как она выразилась, лысому в очках старичку, сидевшему в другой комнате за столиком над кипюю бумаг. Он встал со стула, поправил очки и, протянувши мне руку, сказал:— Прошу покорно, садитесь.— Я сел, а он снял с носа очки, протер их носовым платком, надел их опять на нос, сел молча на свое место и попрежнему углубился в свои бумаги. Так прошло несколько минут. Я не знал, что мне делать, положение мое становилось смешным. Хозяйка, спасибо, меня выручила.

— Не мешайте ему,— сказала она, выглядывая из другой комнаты.— Идите к нам, у нас веселее.

Я молча оставил трудолюбивого хозяина и перешел к хлопотунье хозяйке. Смирённая Паша сидела за «Векфильдским священником» и рассматривала картинки.

— Видели нашего хозяина? — сказала хозяйка. — Вот он всегда такой, так он привык к этим бумагам, что минуты без них не проживет.

Я сказал какой-то комплимент трудолюбию и попросил Пашу, чтобы она читала вслух. Довольно медленно, но правильно и внятно прочитала она страницу из «Векфильдского священника» и была награждена от тетьки стаканом чаю внакладку и панегириком, которого и на трех страницах не упишешь, а мне, как ментору, кроме бесконечной благодарности, предложено было рому с чаем. Но как он был еще у Фогта и Паша должна была за ним сбегать, то я отказался от рому и от чаю, к немалому огорчению гостеприимной хозяйки.

В одиннадцатом часу поужинали, и я ушел, давши обещание навещать их ежедневно.

Не могу вам ясно определить, какое впечатление произвело на меня это новое знакомство, а первое впечатление, говорят, весьма важно в деле знакомства. Я доволен этим знакомством потому только, что знакомство мое с Пашей до сих пор казалось мне предосудительным, а теперь как бы всё это устранилось и наша дружба как будто бы скреплялась этим нечаянно-новым знакомством.

Я стал бывать у них каждый день и через неделю был уже как старый знакомый или, лучше сказать, как свой семьянин. Они мне предложили у себя стол за ту самую цену, что и у мадам Юргенс, и я изменил доброй мадам Юргенс и не раскаиваюсь: мне наскутила беззаботная холостая компания, и я охотно принял предложение соседки. У них мне так хорошо, тихо, спокойно, всё это по-домашнему, всё это так в моем характере, так в гармонии с моею миролюбивою натурой. Пашу я называю сестрицей, а тетеньку ее своей тетенькой называю, а дяденьку никак не называю, потому что я его только и вижу за обедом. Он, кажется, и по праздникам ходит в должность. Мне так хорошо у них, что я почти никуда не выхожу, кроме

Карла Павловича. У Иохима не помню когда и был, у Шмидтов и Фицума тоже. Сам вижу, что нехорошо я делаю, но что же делать: не умею врать перед добрыми людьми. Недостаток светского образования, ничего больше. В следующее воскресенье сделаю им всем визиты и вечер у Шмидта проведу, а то как бы и в самом деле не раззнакомиться. Всё это ничего, всё это как-нибудь уладится, а вот мое горе: не могу поладить с Михайловым, т. е. собственно не с Михайловым, а с его сердечным другом мичманом: он почти каждую ночь ночует у нас. Это бы еще ничего, а то наведет с собою бог знает каких людей и напролет всю ночь — карты и пьянство. Не хотелось бы мне переменять квартиры, а, кажется, придется, если эти оргии не прекратятся. Хоть бы скорее весна настала, — пускай себе ушел в море этот несносный мичман.

Начал я этюд с Паши красками при огне. Очень миленькая выходит головка, жаль только, что проклятый мичман мешает работать. Хотелось бы к празднику кончить и начать что-нибудь другое, да едва ли. Я пробовал уже у соседок расположиться с работой, да всё как-то неловко. Мне так понравилось огненное освещение, что, окончивши эту головку, я думаю начать другую, — с Паши же — весталку. Жаль только, что теперь нельзя достать белых роз для венка, а это необходимо. Но это еще впереди.

Паша начинает уже хорошо читать и полюбила чтение. Это мне чрезвычайно приятно, но я затрудняюсь в выборе чтения для нее. Романы, говорят, нехорошо читать молодым девушкам, а я, право, не знаю, почему нехорошо. Хороший роман изощряет воображение и облагораживает сердце, а сухая какая-нибудь умная книга, кроме того, что ничему не научит, да, пожалуй, еще и поселит отвращение к книгам. Я ей на первый раз дал «Робинзона Крузо»¹¹⁸, а после предложу путешествие Араго¹¹⁹ или Дюмон-Дюрвиля, а там опять какой-нибудь роман, а потом Плутарха¹²⁰. Жаль, что нет у нас переведенного Вазари, а то бы я ее познакомил и со знаменитостями нашего прекрасного искусства. Хорош ли мой план, как вы находите? Если имеете что-нибудь сказать против него, то сообщите.

щите мне в следующем письме, и я вам буду сердечно благодарен. Меня она теперь занимает, как будто что-то близкое, родное. Я на нее, грамотную, теперь смотрю, как художник на свою неоконченную картину, и великим грехом считаю для себя предоставить ей самой теперь выбор чтения или, лучше сказать, случай чтения, потому что ей не из чего выбирать. Лучше было не учить ее читать. Я надоел вам своими соседками, но что делать? По пословице: «У кого что болит, тот о том и говорит».

А если правду сказать, то у меня теперь и говорить больше не о чем. Нигде не бываю и ничего не делаю. Не знаю, что-то мне судьба готовит будущее лето, а я его не без трепета ожидаю. Да и можно ли его ожидать иначе, — будущее лето должно положить настоящий фундамент избранному мною или, лучше сказать, вами поприщу. Карл Павлович говорит, что вскоре после праздников будет объявлена программа на первую золотую медаль. Со мной чуть-чуть не делается обморок при одной мысли об этой роковой программе. Что, если мне удастся? Я с ума сойду. А вы? Неужели вы не приедете посмотреть трехгодовую выставку и взглянуть на мою одобренную программу и на смиренного творца ее, как на свое собственное создание? Я уверен, что вы приедете. Напишите мне о вашем приезде в следующем письме, и я буду иметь благовидный предлог отказать Михайлову от квартиры. Мичман, кажется, и ему уже надоел. Хорошо еще, что я имею приют у соседок, а то пришлось бы бегать собственной квартиры. Напишите, сделайте милость, что вы приедете, тогда я все разом покончу.

Прощайте, мой незабвенный благодетель. В следующем письме сообщу вам о дальнейших успехах моей ученицы и о следствиях предстоящего конкурса. Прощайте.

Р. S. Бедный Демский уже из комнаты не может выйти. Не пережить ему весны».

По получении этого письма я написал ему, что не к выставке, а, может быть, и к святой неделе приеду,

к нему в гости и что приеду к нему прямо на квартиру, как Штернберг приезжал. Я написал ему это для того собственно, чтобы избавить его от неотвязчивого мичмана. Я, правду сказать, опасался за его еще неустановившийся молодой характер. Чего доброго, как раз может сделаться двойником беспардонного мичмана. Тогда прощай всё — и гений, и искусство, и слава, и всё очаровательное в жизни. Всё это уляжется, как в могиле, на дне всепожирающей рюмочки. Примеры эти, к несчастью, весьма и весьма даже нередки, в особенности у нас в России. И что за причина? Неужели одно пьяное общество может умертвить всякий зародыш добра в молодом человеке? Или тут есть еще что-нибудь для нас непонятное? А впрочем, народная мудрость вывела одно заключение: скажи, с кем ты знаком, и я тебе скажу, кто ты таков. А Гоголь, вероятно, тоже не без основания, заметил, что русский человек, коли хороший мастер, то непременно и пьяница. Что бы это значило? Ничего больше, я полагаю, как недостаток всеобщей цивилизации. Так, например, сельский или другой какой писарь в кругу честных безграмотных мужичков — все равно, что Сократ в Афинах, а посмотрите — самое безнравственное, беспросыпно-пьяное животное, потому именно, что он мастер своего дела, что он один-единственный грамотей между сотнею простодушных мужичков, на счет которых он упивается и распутничает; а они только удивляются его досужеству и никак не могут себе растолковать, что бы такое значило, что такой умнейший человек и такой великий пьяница. А простакам и невдомек, что он один между ними мастер письменного или другого какого дела, что нет ему соперника, что давальцы его навсегда останутся ему верны, потому что кроме него не к кому обратиться, и он себе, спустя рукава, кое-как делает свое дело, а легкие заработки пропивает.

Вот, по-моему, одна-единственная причина, что у нас, коли мастер своего дела, то непременно и горький пьяница. А кроме этого, замечено, что и между цивилизованными нациями люди, выходящие из круга обыкновенных людей, одаренные высшими душевными качествами, всегда и везде более или менее были

читателями, а нередко и усердными поклонниками веселого бога Бахуса ¹²¹. Это уже, должно быть, непреходящее свойство необыкновенных людей.

Я лично и хорошо знал гениального математика нашего О[строградского] ¹²² (а математики вообще люди неувлекающиеся), с которым мне случилось несколько раз обедать вместе. Он, кроме воды, ничего не пил за столом. Я и спросил его однажды:

— Неужели вы вина никогда не пьете?

— В Харькове еще когда-то я выпил два погребка, да и забастовал,— ответил он мне простодушно.

Немногие, однако ж, кончают двумя погребками, а непременно принимаются за третий, нередко и за четвертый и на этом-то роковом четвертом кончают свою грустную карьеру, а нередко и самую жизнь.

А он, т. е. мой художник, принадлежал к категории людей страстных, увлекающихся, с воображением горячим, а это-то и есть злейший враг жизни самостоятельной, положительной. Хотя я и далеко не поклонник монотонной трезвой аккуратности и вседневной однообразной воловьей деятельности, но не скажу, чтобы и я был открытым врагом положительной аккуратности. Вообще, в жизни средняя дорога есть лучшая дорога, но в искусстве, в науке и вообще в деятельности умственной средняя дорога ни к чему, кроме безымянной могилы, не приводит.

В художнике моем хотелось бы мне видеть самого великого, необыкновенного художника и самого обыкновенного человека в домашней жизни, но эти два великие свойства редко уживаются под одной кровлей.

Сердечно желал бы я предвидеть и предотвратить всё вредно действующее на молодое воображение моего любимца, но как это сделать,— не знаю. Мичмана я решительно боюсь, да и от соседки нельзя ожидать ничего доброго. Это ясно как день. Теперь еще это могло бы кончиться разлукой и слезами, как обыкновенно кончается первая пламенная любовь, но при содействии тетушки, которая ему так понравилась с первого разу, кончится всё это факелом Гименя и, дай бог мне ошибиться, развратом и нищетой.

Он мне прямо не говорит, что он влюблен по уши

в свою ученицу, да и какой юноша прямо открывает эту священную тайну? По одному слову своей обожаемой он бросится в огонь и в воду, прежде чем выговорит ей словами свое нежное чувство. Таков юноша, любящий искренно. А бывают ли юноши, любящие иначе?

Чтобы хоть сколько-нибудь отвлечь его от соседок, с умыслом не упоминая об них ни слова, я советовал ему посещать как можно чаще Шмидта, Фицтума и Иохима, как людей, необходимых для его внутреннего образования, навещать старика Кольмана, которого добрые советы по части пейзажной живописи ему необходимы, и каждый божий день, как храм, как святильник прекраснейшего искусства, посещать мастерскую Карла Павловича и во время этих посещений сделать для меня акварелью копию с «Бахчисарайского фонтана». А в заключение описал ему всю важность предстоящей программы, для которой он должен посвятить всего себя и все свои дни и ночи до самого дня экзамена, т. е. до октября месяца,— такой срок и такого рода занятие мне казались достаточными, чтобы хотя немного охладить первую любовь,— и что если мне нельзя будет на всё лето остаться в столице, то к осени я непременно опять приеду собственно для его программы.

Письмо мое, как я и ожидал, имело свое доброе действие, но только вполовину: программа ему удалась, а соседка — увы! Но зачем прежде времени подымать завесу таинственной судьбы? Прочитаем еще одно и последнее его письмо.

«Волею или неволею, не знаю, а знаю только то, что вы меня жестоко обманули, мой незабвенный благодетель. Я дожидал вас как самого дорогого моему сердцу гостя, а вы,— бог вам судия... И зачем было обещать? А сколько было хлопот мне с моими жильцами! Насилу выжил. Михайлов, правда, сейчас же согласился, но неугомонный мичман дотянул-таки до самой весны, т. е. до страстной недели, и на расставаньи мы чуть было с ним не поссорились. Он непременно хотел остаться и на святую неделю, но я реши-

тельно сказал ему, что это невозможно, потому, говорю ему, что я вас дожидаю.

— Эка важная фигура ваш родственник! И в трактире может поселиться! — сказал он, покручивая свои глупые усы. Меня это взбесило, и я готов уже был наделать бог знает каких дерзостей, да, спасибо, Михайлов остановил меня. Я не знаю, что ему особенно понравилось в нашей квартире, вероятно, только то, что она даровая, не нанятая. Зимой, бывало, Михайлов по несколько ночей дома не ночует и днем изредка заглянет и сейчас же уйдет. А он только и выйдет пообедать да напиться пьяным и опять лежит на диване — или спит, или трубку курит. Последнее время он уже было и чемодан с бельем перетащил, и когда уже совсем я ему отказал от квартиры, так он всё еще приходил несколько раз ночевать, — просто бессовестный. И еще одна странность: до самого его выезда в Николаев (он переведен в Черноморский флот) я его каждый вечер, возвращаясь из класса, встречал или в коридоре, или на лестнице, или у ворот. Не знаю, кому он делал вечерние визиты. Но бог с ним, — слава богу, что я от него избавился.

Какие успехи сделала в продолжение зимы моя ученица, просто чудо! Что если бы начать ее учить в свое время, — из нее могла бы быть просто ученая. И какая она сделалась скромная, кроткая, просто прелесть. Детской игривости и наивности и тени не осталось.

Правду сказать, мне даже жаль, что грамотность, если это только грамотность, уничтожила в ней эту милую детскую резвость. Я рад, что хоть тень той милой наивности осталась у меня на картине. Картинка вышла очень миленькая. Огненное освещение, правда, не без труда, но удалось. Прево предлагает мне сто рублей серебром, на что я охотно соглашаюсь, только после выставки. Мне непременно хочется представить мою милую ученицу на суд публики. Я был бы совершенно счастлив, если бы вы не обманули меня в другой раз и приехали к выставке, а она в нынешнем году особенно будет интересна: многие художники — и наши, и иностранцы из-за границы — обещают при-

слать свои произведения, в том числе Орас Верне, Гюден и Штейбен¹²³. Приезжайте, ради самого Аполлона и девяти его прекрасных сестриц¹²⁴.

До сих пор моя программа идет тупо. Не знаю, что дальше будет. Композицией Карл Павлович доволен, больше ничего не могу вам о ней сказать. С будущей недели примусь вплотную, а до сих пор я ее как будто бегаю. Не знаю, что это значит. Ученица моя,— и та уже начинает понукать меня. Ах, если б я вам мог рассказать, как мне нравится это простое доброе семейство. Я у них как сын родной. Про тетушку и говорить нечего: она постоянно добрая и веселая. Нет, угрюмый и молчаливый дядюшка, и тот иногда оставляет свои бумаги, садится с нами около шумящего самовара и исподтишка отпускает шуточки, разумеется, самые незамысловатые. Я иногда позволяю себе роскошь, разумеется, когда лишняя копейка зазвенит в кармане: угощаю их ложей третьего яруса в Александринском театре, и тогда всеобщее удовольствие безгранично, особенно если спектакль составлен из водевилей. А ученица и модель моя несколько дней после такого спектакля и во сне, кажется, поет водевильные куплеты. Я люблю или, лучше сказать, обожаю всё прекрасное как в самом человеке, начиная с его прекрасной наружности, так само, если не больше, и возвышенное, изящное произведение ума и рук человека. Я в восхищении от светски-образованной женщины и мужчины тоже. У них всё, начиная от выражений до движений, приведено в такую ровную, стройную гармонию, у них во всех пульс, кажется, одинаково бьется. Дурак и умница, флегма и сантвиник,— это редкие явления, да едва ли они и существуют между ними, и это мне бесконечно нравится,— ненадолго, однако ж. Это, может быть, потому, что я родился и вырос не между ними, а грошовым воспитанием своим и недавно не могу равняться с ними, и потому-то мне, несмотря на всю очаровательную прелесть их жизни, мне больше нравится семейный [быт] простых людей, таких, например, как мои соседи. Между ними я совершенно спокойный, а там всё чего-то как будто боишься. Последнее время я и у Шмидтов чувствую себя нелов-

ко и не знаю, что бы это значило. Бываю я у них почти каждое воскресенье, но не засиживаюсь, как это прежде бывало. Может быть, это оттого, что нету милого незабвенного Штернберга между нами. А кстати, о Штернберге. Я недавно получил от него письмо из Рима. Да и чудак же он препорядочный! Вместо собственных впечатлений, какие произвел на него вечный город ¹²⁵, он рекомендует мне: и кого же вы думаете?— Дюпати ¹²⁶ и Пиранези ¹²⁷. Вот чудак! Пишет, что у Лепри видел он великий собор художников, в том числе и Иванова ¹²⁸, автора будущей картины «Иоанн Предтеча проповедует в пустыне». Русские художники подтрунивают исподтишка над ним, говорят, что он совсем завяз в Понтийских болотах ¹²⁹ и все-таки не нашел такого живописного сухого пня с открытыми корнями, который ему нужен для третьего плана своей картины. А немцы вообще в восторге от Иванова. Еще встретил он, в кафе Греко, безмерно расфранченного Гоголя, рассказывающего за обедом самые сальные малороссийские анекдоты. Но главное, что он встретил при въезде в вечный город, в виду купола св. Петра и в виду бессмертного великана Колизея ¹³⁰,— это качуча, грациозная, страстная, такая, как она есть в самом народе, а не такая чопорная, нарумяненная, как ее видим на сцене. «Вообрази себе,— пишет он,— что знаменитая Тальони копия с копии с того оригинала, который я видел бесплатно на римской улице». Но для чего мне делать выписки? Я пришлю вам его письмо в оригинале. Там вы и про себя кое-что небезынтересное прочтаете. Он, бедный, все еще вспоминает о Тарновской. Вы ее часто видите. Скажите, счастлива ли она со своим эскулапом? Если счастлива, то не говорите ей ничего про нашего друга, не тревожьте пустым воспоминанием ее тихого семейного покоя. Если же нет, то скажите ей, что друг наш Штернберг, благороднейшее создание в мире, любит ее до сих пор так же искренно и нежно, как и прежде любил. Это усладит ее сердечную тоску. Как бы человек ни страдал, какие бы ни терпел испытания, но если он услышит одно приветливое, сердечное слово, слово искреннего участия от далекого неизменного друга, он забывает гне-

тущее его горе хоть ненадолго, хотя на час, на минуту. Он совершенно счастлив, а минута полного счастья, говорят, заменяет бесконечные годы самых тяжелых испытаний.

Прочитывая эти строки, вы улыбнетесь, обожаемый мой друже, и, чего доброго, подумаете, не терплю ли и я какого-нибудь испытания, потому что так красно рассуждаю об испытании. Божусь вам, у меня никакого горя, а так что-то взгрустнулось. Я совершенно счастлив, да и может ли быть иначе, имея таких друзей, как вы и милый незабвенный Виля? Немногим из людей выпадает такая сладкая участь, как выпала на мою долю. И если бы не вы, пролетела бы мимо меня слепая богиня, но вы ее остановили над заброшенным бедным замарашкой. О, боже мой, боже мой! я так счастлив, так беспредельно счастлив, что мне кажется, я задохнуся от этой полноты счастья, задохнуся и умру. Мне непременно нужно хоть какое-нибудь горе, хоть ничтожное, а то, сами посудите, что бы я ни задумал, чего бы я ни пожелал, мне все удается. Все меня любят, все ласкают, начиная с нашего великого маэстро, а его любви, кажется, достаточно для совершенного счастья.

Он часто заходит ко мне на квартиру, иногда даже и обедает у меня. Скажите, мог ли я тогда думать о таком счастье, когда я в первый раз увидел его у вас в этой самой квартире? Многие и весьма многие вельможи-царедворцы не удостоены такого великого счастья, каким я, неизвестный нищий, пользуюсь. Есть ли на свете такой человек, который не позавидовал бы мне в настоящее время?

На прошедшей неделе заходит ко мне в класс, взглянул на мой этюд, сделал наскоро кое-какие замечания и вызывает меня на пару слов в коридор. Я думал, что и бог знает какой секрет, и что же? Он предлагает мне ехать с ним вместе на дачу к Уваровым обедать. Мне не хотелось оставить класс, и я начал было отговариваться, но он мои резоны назвал школьничеством и неуместным прилежанием и [сказал?], что один класс — ничего не значит пропустить.

— А главное,— прибавил он,— я вам дорогою про-

читаю такую лекцию, какой вы и от профессора эстетики никогда не услышите.

Что я мог сказать на это? Убрал палитру и кисти, переоделся и поехал. Дорогой, однако ж, и помину не было об эстетике. За обедом, как обыкновенно, был веселый общий разговор, а после обеда уже началась лекция. Вот как было дело.

В гостиной, за чашкой кофе, старик Уваров завел речь о том, как быстро летят часы и как мы не дорожим этими алмазными часами.— Особенно юноши,— прибавил старик, глядя на сыновей своих.

— Да вот вам животрепещущий пример,— подхватил Карл Павлович, показывая на меня:— он сегодня оставил класс, чтоб только побаклушничать на даче.

Меня как кипятком обдало, а он, ничего не замечая, прочитал мне такую лекцию о всепожирающем быстролетящем времени, что я теперь только почувствовал и понял символическую статую Сатурна, пожирающего детей своих. Вся эта лекция была прочитана с такой любовью, с такой отцовской любовью, что я тут, в присутствии всех гостей, заплакал, как ребенок, уличенный в шалости.

После всего этого, скажите, чего мне еще недостает? Вас! Только одного вашего присутствия недостает мне. О! дождусь ли я той великой радостной минуты, в которую обниму вас, моего родного, моего искреннего друга! А знаете что? Не напишите вы мне, что вы приедете ко мне к святой, я непременно посетил бы вас прошедшею зимой. Но, видно, святые в небе позавидовали моему земному счастью и не допустили этого радостного свидания.

Несмотря, однако ж, на всю полноту моего счастья, мне иногда бывает так невыносимо грустно, что я не знаю, куда укрыться от этой гнетущей тоски. В эти страшно продолжительные минуты одна только очаровательная моя ученица имеет на меня благотворное влияние. И как бы мне хотелось тогда раскрыть ей мою страдающую душу, разлиться, растаять в слезах перед нею... Но это оскорбит ее девственную скромность, и я себе скорее лоб разобью о стену, чем позволю оскорбить какую бы то ни было женщину, тем



К. П. Брюллов. Портрет В. А. Жуковського, 1838 р.

более ее, ее — прекрасную и пренепорочную отроковицу.

Я, кажется, писал вам прошедшей осенью о моем намерении написать с нее весталку в pendant прилежной ученице. Но зимою трудно было достать лилии или белой розы, а главное, мне мешал несносный мичман. Теперь же эти препятствия устранены, и я думаю между делом, т. е. между программю, привести в исполнение мой задушевный проект, тем более это возможно, что программа моя немногосложна, всего три фигуры. Это Иосиф ¹³¹ толкует сны своим соузникам — виночерпию и хлебодару. Сюжет старый, избитый, и поэтому-то нужно хорошенько его обработать, т. е. сочинить. Механической работы тут немного, а впереди еще с лишком три месяца времени. Вы мне пишете о важности моей, быть может, последней программы и советуете как можно прилежнее изучить ее, или, как вы говорите, проникнуться ею. Все это прекрасно, и я совершенно убежден в необходимости всего этого. Но, единственный мой друже, я боюсь выговорить: «Весталка» меня более и постоянно занимает, а программа — это второй план «Весталки». И как я ни стараюсь поставить ее на первый план, — нет, не могу, уходит, и что бы это значило — не знаю. Думаю прежде окончить «Весталку» (она у меня уже давно начата). Окончу, да и с рук долой, тогда свободнее примуся за программу.

Программа! Я что-то недоброе предчувствую с моею программю. И откуда берется это роковое предчувствие? Не отказаться ли мне от нее до следующего года? Но потерять год времени! Чем вознаградится эта потеря? — Верным успехом. А кто поручится за этот успех? Не правда ли, я болен? Я, действительно, немножко как будто бы рехнулся, я становлюсь похожим на «Метафизика» Хемницера ¹³². Бога ради, приежайте, восстановите мою падающую душу.

Какой же я бессовестный эгоист! На каком основании я почти требую вашего визита? Во имя какой разумной идеи вы должны оставить ваши занятия, ваши обязанности и ехать за тысячу верст для того только, чтобы увидеть какого-то полудиота?

Прочь недостойное малодушие! Ребячество, ничего больше, а я уже, слава богу, допущен к программе на первую золотую медаль. Я уже человек кончающий... нет, нет, художник, начинающий свою, быть может, великую карьеру. Мне стыдно перед вами, мне стыдно самого себя. Если только не имеете крайней надобности, то, бога ради, не ездите в столицу, не приезжайте, по крайней мере, до тех пор, пока я не окончу мою программу и мою задушевную «Весталку». А тогда, если приедете, т. е. к выставке, о, тогда моя радость, мое счастье будет бесконечно.

Еще одно и странное, и постоянное мое желание: мне ужасно хочется, чтобы вы хоть мимоходом взглянули на модель моей «Весталки», т. е. на мою ученицу. Не правда ли, странное, смешное желание? Мне хочется показать вам ее, как самое лучшее, прекраснейшее произведение божественной природы. И, о самолюбие!— как будто и я споспешествовал нравственному украшению этого чудного создания, т. е. выучил русской грамоте. Не правда ли, я бесконечно самолюбив? А кроме шуток, грамотность придала ей какую-то особенную прелесть. Один маленький недостаток в ней, и это маленькое несовершенство недавно я заметил: она, как мне кажется, неохотно читает. А тетенька ее давно уже перестала восхищаться своей грамотницей Пашей. После праздников дал я ей прочитать «Робинзона Крузо». Что ж бы вы думали? Она в продолжение месяца едва-едва прочла до половины. Признаюсь вам, такое равнодушие меня сильно огорчило, так огорчило, что я начал уже раскаиваться, что и читать ее выучил. Разумеется, я ей этого не сказал, а только подумал. Она же как будто подслушала мою думу. На другой же день дочитала книгу и ввечеру за чаем с таким непритворным увлечением и с такими подробностями рассказала бессмертное творение Дефо своей равнодушной тетеньке, что я готов был расцеловать свою умницу-ученицу. В этом отношении я нахожу много общего между ней и мною. На меня иногда находит такое деревянное равнодушие, что я делаю совершенно ни на что не способен. Но со мною, слава богу, эти припадки непродолжительны бывают,

а она... и что для меня непонятно: с тех пор, как оставил меня неугомонный мичман, сделалась как-то особенно скромнее, задумчивее и равнодушнее к книге. Неужели она?.. Но я этого допустить не могу: мичман — создание чисто антипатическое, жесткое, и едва ли может он заинтересовать женщину самой грубой организации. Нет, это мысль нелепая. Она задумывается и впадает в апатию просто оттого, что ее возраст такой, как уверяют нас психологи.

Я вам надоедаю своею прекрасною моделью и ученицей. Вы, чего доброго, пожалуй, подумаете, что я к ней неравнодушен. Оно, действительно, на то похоже. Она мне чрезвычайно нравится, но нравится как что-то самое близкое, родное, нравится как самая нежная сестра родная.

Но довольно о ней. А кроме нее, в настоящее время мне и писать вам больше не о чем. О программе теперь писать еще нечего, она едва подмалевана, да и по окончании ее я вам писать не буду. Мне хочется, чтобы вы о ней в газете прочитали, а больше всего мне хочется, чтобы сами ее увидели. Я говорю с такою самоуверенностью, как будто уже всё кончено, остается только медаль взять из рук президента и туш на трубах прослушать.

Приезжайте, мой незабвенный, мой сердечный друг! Без вас мой [триумф] неполный будет, потому неполный, что вы один-единственный виновник моего настоящего и будущего счастья.

Прощайте, мой незабвенный благодетель! Не обещаю вам писать вскоре. Прощайте!

Р. S. Бедный Демский и вскрытия Невы не дождался: умер, и умер как истинный праведник, тихо, спокойно, как будто бы заснул. В больнице Марии Магдалины мне часто удавалось наблюдать за последними минутами угасающей жизни человека, но такого спокойного, равнодушного расставанья с жизнью я не видел. За несколько часов перед кончиной я сидел у его кровати и читал вслух какую-то брошюру легкого содержания. Он слушал, закрывши глаза, и по време-

нам едва заметно приподымались у него углы рта, это было что-то вроде улыбки. Чтение продолжалось недолго. Он раскрыл глаза и, обратя их на меня, едва слышно проговорил:

— И охота же вам на такие пустяки дорогое время тратить.

И, переведя дух, прибавил:

— Лучше бы рисовали что-нибудь, хоть с меня.

Со мной, по обыкновению, была книжка, или так называемый альбом, и карандаш. Я начал очерчивать его сухой, резкий профиль. Он опять взглянул на меня и сказал, грустно улыбаясь:

— Не правда ли, спокойная модель?

Я продолжал рисовать. Тихонько растворилась дверь, и в дверях обернутое чем-то грязным показалось грязное лицо квартирной хозяйки, но, увидя меня, спряталось, и дверь притворилась. Демский, не раскрывая глаз, улыбнулся и дал знак рукою, чтобы я наклонился к нему. Я наклонился. Он долго молчал и, наконец, едва внятно, со вздрагиванием, проговорил:

— Заплатите ей, бога ради, за квартиру. Даст бог, сквитаемся.

Со мною не было денег, и я тотчас пошел на квартиру. Дома меня, не помню, что-то задержало, тетюшкин кофе или что-то в этом роде,— не помню. Пришел я к Демскому уже перед закатом солнца. Комнатка его была освещена ярко оранжевым светом заходящего солнца, так ярко, что я должен был на несколько минут глаза зажмурить. Когда я раскрыл глаза и подошел к кровати, то под одеялом уже остался только труп Демского, в таком точно положении, как я его оставил живым. Складки одеяла не сдвинулись с места, улыбка на пол-линии не изменилась, глаза закрыты, как у спящего. Так спокойно умирают только праведники, а Демский принадлежал к сонму праведников. Я сложил ему на груди полуостывшие руки, поцеловал его в холодное чело и прикрыл одеялом. Нашел хозяйку, отдал ей долг покойника, просил распорядиться похоронами на мой счет, а сам пошел к гробовщику. На третий день пригласил я священника из церкви

св. Станислава, взял ломового извозчика, и с помощью дворника вынесли и поставили скромный гроб на роспуски и двинулись с Демским в далекую дорогу. За гробом шел я, патер Посяда и маленький причетник. Ни одна нищая не сопутствовала нам, а их немало встречалось дорогою. Но эти бедные тунеядцы, как голодные собаки, носом чуют милостыню. От нас они не предвидели подачи и не ошиблись: ненавижу я этих отвратительных промышленников, спекулирующих именем христовым. С кладбища пригласил я патера на квартиру покойника, не с тем, чтобы тризну править, а затем, чтобы показать ему скромную библиотеку Демского. Вся библиотека заключалась в небольшом, едва сколоченном ящике и состояла из пятидесяти с чем-то томов, большею частью исторического и юридического содержания, на языках: греческом, латинском, немецком и французском. Ученый патер весьма неравнодушно перелистывал греческих и римских классиков весьма скромного издания, а я откладывал книги только на французском языке. И странно, кроме Лелевеля, на польском языке — только один крошечный томик Мицкевича¹³³, самого лубочного познанского издания, больше ничего не было. Неужели он не любил своей родной литературы? Не может быть! Когда библиотека была разобрана, я взял себе французские книги, а все остальные предложил ученому патеру. Добросовестный патер никак не соглашался приобрести такое сокровище совершенно даром и предложил на свой счет положить гранитную плиту над прахом Демского. Я со своей стороны предложил половину издержек, и мы тут же определили величину и форму плиты и надпись сочинили. Надпись самая нехитрая: «Leonard Demski, mort. anno 18...»¹³⁴. Покончивши всё это и взявши всякий свою долю наследства, мы расстались как давнишние приятели.

Странно, однако ж, неужели покойный Демский не приближал к себе и сам не приближался ни к кому, кроме меня? В квартире его я никогда никого не встречал, но когда выходили мы с ним на улицу, на улице часто встречались его знакомые, по-приятельски здоровались, а некоторые даже пожимали ему руку. И всё

это были люди порядочные. И то правда, так называемый порядочный человек посетит ли труженика бедняка в его мрачной лачуге? Грустно! Бедные порядочные люди!

Прощайте еще раз. Не забывайте меня, мой незабвенный благодетель».

Из этого пространного и пестрого письма я вычитал, во-первых, что художник мой, как и следует быть истинному художнику, в высокой степени благородный и кроткий человек. Простые люди не могут так искренно, так бескорыстно прилепляться к таким горьким, всеми покинутым беднякам, каков был покойник Демский. В этой прекрасной, бескорыстной привязанности я ничего не вижу особенного; это обыкновенное следствие взаимного сочувствия ко всему великому и прекрасному в науке и в человеке. По своей природе и по завещанию нашего божественного учителя мы все должны быть таковы. Но, увы, весьма и весьма немногие из нас соблюли святую заповедь его и сохранили свою божественную природу в любви и целомудрии. Весьма немногие! И потому-то нам и кажется необыкновенным чем-то человек, любящий бескорыстно, человек истинно благородный. Мы, как на комету, смотрим на такого человека и, насмотревшись досыта, чтобы наше грязное, себялюбивое существо не так резко самим нам бросалось в глаза, начинаем и его, чистого, пачкать, сначала скрытой клеветой, потом явной, а когда и эта не взяла, обрекаем его на нищету и страдания. Это еще счастье, если запрем в дом умалишенных, а то просто вешаем, как самого гнусного злодея. Горькая, но, увы, истина!

Я, однако ж, некстати зарапортовался.

Второе, что я вычитал из нескладного письма моего возлюбленного художника, — это то, что он, сердечный, сам того не замечая, влюбился по уши в свою хорошенькую вертлявую ученицу. Это в порядке вещей, это хорошо, это даже необходимо, тем более художнику, а иначе закоптится сердце над академическими этюдами. Любовь есть животворящий огонь в душе чело-

века, и всё, созданное человеком под влиянием этого божественного чувства, отмечено печатью жизни и поэзии. Всё это прекрасно, но только вот что: эти, как называет их Либельт¹³⁵, огненные души удивительно как неразборчивы в деле любви. И часто случается, что истинному и самому восторженному поклоннику красоты выпадет на долю такой нравственно безобразный идол, что только дым кухонного очага ему впору, а он, простота, курит перед ним чистейший фимиам. Очень и очень немногим этим огненным душам сопутствовала гармония. От Сократа, Бергхема и до наших дней одна и та же безобразная нескладница в обыденной жизни. И, к большому горю, эти огненные души влюбляются совсем не по-кавалерийски, а хуже всякого самого мизерного пехотинца, т. е. на всю жизнь. Вот что для меня непонятно и чего я боюсь в моем художнике.

Пожалуй, и он, по примеру всемирных гениев, закабалит свою нежную, восприимчивую душу какому-нибудь сатане в юбке. И хорошо еще, если он, подобно Сократу и Пуссену, шуточкой отделается от домашней сатаны и пойдет своею дорогой, а в противном случае — прощай искусство и наука, прощай поэзия и всё очаровательное в жизни, прощай навеки. Сосуд разбит, драгоценное миро пролито и с грязью смешано, а лучезарный светильник мирной артистической жизни погас от ядовитого дыхания домашней медяницы. О, если бы могли эти светочи мира обойтись без семейного счастья, как бы прекрасно было! Сколько бы великих произведений не потонуло в этом домашнем омуте, а остались бы на земле в назидание и наслаждение человечеству. Но, увы! и для гения, вероятно, как и для нашего брата, домашний камин и семейный кружок необходим. Это, верно, потому, что для души, чувствующей и любящей всё возвышенно-прекрасное в природе и в искусстве, после высокого наслаждения этой обаятельной гармонией необходим душевный отдых, а сладкий этот успокоитель утомленного сердца может существовать только в кругу детей и доброй, любящей жены. Блажен, стократ блажен тот человек и тот художник, чью так несправедливо называемую

прозаическую жизнь осенила прекрасная муза гармонии. Его блаженство, как господний [мир], необъятно.

В наблюдениях своих по делу семейного счастья я вот что заметил. Замечание мое относится вообще к людям, но в особенности к вдохновенным поклонникам всего благого и прекрасного в природе. Они-то, бедные, и бывают тяжкою жертвою своего обожаемого идола — красоты. И их винить нельзя, потому что красота вообще, а красота женщины в особенности, действует на них всеокрушительно. Иначе и быть не может, а это-то и есть мутный, всеотравляющий источник всего прекрасного и великого в жизни.

— Как так? — закричат неистовые юноши.— Красавица богом создана для того только, чтобы усладить нашу исполненную слез и треволений жизнь.— Правда, назначение ее от бога такое, да она-то или, лучше сказать, мы ухитрились изменить ее высокое божественное назначение и сделали из нее бездушного, безжизненного идола. В ней одно чувство поглотило все другие прекрасные чувства,— это эгоизм, порожденный сознанием собственной всеокрушающей красоты. Мы еще в детстве дали ей почувствовать, что она будущая раздирательница и зажигательница сердец наших. Правда, мы ей только намекнули, но она так это быстро смекнула, так глубоко поняла и почувствовала эту будущую силу, что с того же рокового дня сделалася невинной кокеткой и домогильной поклонницей собственной красоты. Зеркало сделалось единственным спутником ее жалкой одинокой жизни. Ее не может переменить никакое воспитание в мире. Так глубоко упало случайно брошенное нами зерно себялюбия и неизлечимого кокетства.

Таков результат моих наблюдений над красавицами вообще, а над привилегированными красавицами в особенности. Привилегированная красавица ничем не может быть кроме красавицы — ни любящей кроткою женою, ни доброй, нежной матерью, ни даже пламенной любовницей. Она деревянная красавица и ничего больше. И было бы глупо с нашей стороны и требовать чего-нибудь больше от дерева.

Вот почему я и советую любоваться этими прекрас-

ными статуями издали, но никак с ними не сближаться, а тем более не жениться, в особенности художникам и вообще людям, посвятившим себя науке или искусству. Если необходима красавица художнику для его любимого искусства, для этого есть натурщицы, танцовщицы и прочие мастерицы цеховые, а в доме ему как и простому смертному, необходима добрая, любящая женщина, но никак не привилегированная красавица. Она, привилегированная красавица, на одно только мгновение осветит яркими ослепительными лучами радости мирную обитель любимца божия, а потом, как от мелькнувшего метеора, так от этой мгновенной радости и следа не останется. Красавице, как и истинной актрисе, необходима толпа поклонников, истинных или ложных, для нее все равно, как для древнего идола: были бы поклонники, а без них она, как и древний кумир, — прекрасная мраморная статуя и ничего больше.

Не всякое слово в строку, — говорит наша пословица, бывают же исключения и между красавицами: природа бесконечно разнообразна. Я глубоко верую в это исключение, но верю как в самое необыкновенное явление; потому я так осторожен в своем веровании, что прожил уже между порядочными людьми слишком полвека, а такого чудного явления не случилось мне видеть. А нельзя сказать, чтобы я принадлежал к числу мизантропов или к числу беспардонных хулителей всего прекрасного. Напротив, я самый неистовый поклонник прекрасного как в самой природе, так и в божественном искусстве.

Недавно со мною вот что случилось. Далеко, очень далеко от порядочного или цивилизованного общества, в захолустьи, почти необитаемом, досталось мне случайно прозябать довольно не короткое время, и в это самое захолустье залетела, только не случайно, светская красавица, — такую, по крайней мере, она впоследствии сама себя называла. Вот я знакомлюсь, а я, нужно вам заметить, на знакомства не очень туг. Знакомлюсь, наблюдаю новую знакомку-красавицу, и — о чудо из чудес! Ни тени сходства с прежде виденными мною красавицами. — Не одичал ли я в этой пусты-

не? — думаю себе. Нет, во всех отношениях прекрасная женщина: и умная, и скромная, и даже начитанная, и, что называется, ни тени кокетства. Мне советно самому стало моею наблюдательности, и я всякую недоверчивость в сторону и делаюся не то что поклоником, — это ремесло мне не далось, — а делаюся добрым, искренним приятелем. Не знаю, за что, но и я ей понравился, и мы сделались почти друзьями. Я не навосхищаюсь моим открытием, так даже, что в старом сердце пошевелилось [нечто] больше обыкновенной простой привязанности, и я чуть-чуть было не сыграл роль водевильного старого дурака. Случай спас, и самый обыкновенный случай. Однажды поутру, — я был принят ими в доме как свой, так что они меня часто на утренний чай приглашали, — так однажды поутру я заметил у нее над самым затылком в мелкие косички заплетенные волосы. Мне это открытие не понравилось. Я прежде думал, что у нее естественно завиваются волосы на затылке, а это вот что. И это-то самое открытие остановило меня к признанию в любви. Я снова стал простым добрым приятелем. Почти ежедневно разговаривая о литературе, музыке и прочих искусствах, с образованной женщиной совестно же сплетничать. В этих разговорах я заметил, и то уже на другой год, что она весьма поверхностна и о прекрасном в искусстве или в природе говорит довольно равнодушно. Это немного поколебало мою веру. Далее, нет на свете на немецком и русском языке такой книги, которой бы она не читала, и ни одной не помнит. Я спросил причину. Она сослалась на какую-то женскую болезнь, которая отшибла у нее память еще в девицах. Я простодушно поверил. Только замечаю: какие-нибудь пошленькие стишки, читанные ею еще в девицах, она и теперь читает наизусть. После этого мне стало совестно говорить с нею о литературе, а после этого вскоре я заметил, что у них ни одной книжки в доме, кроме памятной на текущий год. По вечерам зимою она играла в карты, если собиралась партия, но это из приличия, а того и не замечал, что она была ужасно не в духе, ежели ей не удавалось составить партию, — у нее сейчас же начинала страшно

голова болеть. Если же партия собиралась у мужа, то она, как ни в чем не бывало, садилась около стола и смотрела в карты игрских, как бы в свои собственные карты, и это милое занятие часто продолжалось у нее далеко за полночь. Я, как только начиналась эта бездушная сцена, сейчас же уходил на улицу. Отвратительно видеть молодую прекрасную женщину за таким бесчувственным занятием. Я тогда совершенно разочаровывался, и она казалась мне тогда полипом или, вернее, настоящей привилегированной красавицей.

И если бы продлилось ее уединение еще год-другой в этом темном углу без кровожадных обожателей, т. е. без львов и онагров, я уверен, что она бы одурела или сделалась бы настоящей идиоткой. Состояния полудиотки она уже достигла, а я-то, я-то, простофиля, вообразил себе, что вот, наконец, открыл Эльдorado¹³⁶, а это Эльдorado — просто деревянная кукла, на которую я впоследствии не мог смотреть без отвращения.

Прочитывая эту грозную сентенцию красавицам, иной подумает, что я второй Буонаротти в этом роде, — ничего не бывало. Такой же самый поклонник, как и любой из леопардов, а может быть, еще и неукротимее. А дело в том, что люблю открывать мои убеждения во всей их наготе, несмотря на чин и звание. Притом же я это делаю теперь собственно для друга моего художника, а не с намерением печатать свое мнение о красавицах. Боже меня сохрани от этой глупости. Да меня тогда сестра родная готова б была повесить на первой осине как Иуду-предателя. Впрочем, она не красавица: ее нечего опасаться.

Где же начало этого зла? А вот где: начало в воспитании. Если нежных родителей бог благословит красавицей дочечкой, они сами начинают ее портить, предпочитая ее другим детям, а об образовании своей любимицы они вот [что] думают и даже говорят: — Зачем напрасно убивать дитя над пустою книгою? Она и без книги и даже без приданого сделает себе блестящую карьеру. — И красавица, действительно, делает блестящую карьеру. Предсказание родителей сбылось, чего же больше. Это начало зла. А продолжение

(я впрочем, не уверяю, а только предполагаю), продолжение вот где.

Наше любезное славянское племя хотя и причисляется к семейству кавказскому, но наружностью своею немногим взяло перед племенами финским и монгольским. Следовательно, у нас красавица — явление весьма редкое. И это редкое явление, едва только из пеленок, мы начинаем его набивать своими нелепыми восторгами, себялюбием и прочею дрянью и, наконец, делаем из нее деревянную куклу на шарнирах, наподобие той, какую живописцы употребляют для драпировок.

В странах, которые бог благословил породю прекрасных женщин, там они должны быть обыкновенными женщинами, а обыкновенная женщина, по-моему, есть самая лучшая женщина.

К чему же это я развел такую длинную рацею о раздирательницах сердец человеческих, в том числе и моего? Кажется, в назидание моему другу. Но я думаю, что это наставление будет для него совершенно лишнее. Да и весталка его, сколько мог я заключить из его описаний, едва ли способна залезть поглубже в сердце художника, который так прекрасно чувствует и понимает всё возвышенно-прекрасное в природе, как мой приятель. Это должна быть быстроглазая, курносенькая плутовка, вроде швей или бойкой горничной, а подобные субъекты не редкость, и они совершенно безопасны.

А вот такие субъекты, как ее шелковая тетушка, они тоже не редки, но чрезвычайно опасны. Тетушка ее, хотя и сладко он ее описывает, напоминает мне гоголевскую сваху, которая отвечает на вопрос искателя невесты, оженит ли она его: — Ох, оженю, голубчик! Да так ловко, что и не услышишь. — Приятель мой, разумеется, не имеет ничего общего с гоголевским героем, и в этом отношении я за него почти не опасюсь. Огонь первой любви хотя и жарче, но зато и короче. Но опять, как подумаю, нельзя и не опасаться, потому что эти удивительные браки без услышанья очень часто случаются не только с умными, но даже с осторожными людьми, а в друге моем я большой остo-

рожности не предполагаю, эта добродетель — не художника. На всякий случай, я написал ему письмо, разумеется, не назидательное (боже меня сохрани от этих назидательных посланий). Я написал ему дружески-откровенно, чего я опасюсь и чего он должен опасаться, указал ему без церемонии на милую тетеньку, как на самую главную и самую опасную западную. На письмо мое я не получил, однако ж, ответа, вероятно, оно ему не понравилось. А это худой знак. А впрочем, в продолжение лета он был занят программой, так немудрено, что мог и забыть о моем письме.

Прошло лето, прошел сентябрь и октябрь месяц, приятель мой ни слова. Читаю в «Пчеле»¹³⁷ разбор выставки, бойко написанный, должно быть, Кукольников. «Весталку» моего друга превозносят до небес, а о программе ни слова. Что бы это значило? Неужели она ему не удалась? Я написал ему еще письмо, прося его объяснить мне свое упорное молчание, о программе и вообще о его занятиях не упоминая ни слова, зная из опыта, как неприятно отвечать на приятельский вопрос: — Каково идет работа? — когда работа идет скверно. Через месяца два получил я на письмо мое ответ, ответ лаконический и крайне бестолковый. Он как бы стыдился или боялся высказать мне откровенно то, что его терзало, а его что-то ужасно терзало. Между прочим, в письме своем он намекает на какую-то неудачу (вероятно, на программу), которая его чуть в гроб не свела, и если он существует на свете, то существованием своим он обязан добрым своим соседям, которые в нем приняли самое живое, самое искреннее участие, что он теперь почти ничего не работает, страдает и душевно, и физически и не знает, чем всё это кончится.

На всё это я [смотрел], разумеется, как на преувеличение. Это обыкновенно в молодых восприимчивых натурах: они всегда делают из мухи слона. Мне хотелось узнать что-нибудь обстоятельнее о его положении; меня что-то беспокоило. Но как, от кого? От самого его я толку не добьюсь. Я обратился к Михайлову, прося его написать мне всё, что он знает о моем друге. Обязательный Михайлов не заставил долго

ждать своего оригинального и откровенного послания. Вот что написал мне Михайлов:

«Друг твой, брат, дурак, да еще какой дурак. От сотворения мира не было еще такого необыкновенного дурака. Ему, видишь ли, не удалась программа, что же он сделал с отчаяния, вот уже не отгадаешь: женился, ей-богу, женился. И знаешь, на ком? На своей весталке, да еще на беременной! Вот потеха: беременная весталка. И, как он сам говорит, беременность именно и заставила его жениться. Но не думай, чтобы он сам был причиной этого греха. Ничего не бывало, это бестия мичман напакостил, — она сама созналась. Молодец мичман! Накуралесил, да и уехал себе в Николаев, как ни в чем не бывало. А твой-то великодушный дурак и — бух, как кур во щи. Куда, говорит, она теперь денется? Кто ее приютит теперь, бедную, когда родная тетка выгоняет из дому? Взял да и приютил. Ну, скажи сам, видал ли ты подобного дурака на белом свете? Верно, и не слышал даже. Правду сказать, беспримерное великодушие или, вернее, беспримерная глупость. Это всё еще ничего, а вот что до бесконечности смешно: он написал с нее свою «Весталку», с беременной, да как написал! просто прелесть! Такого, такой наивно-невинной прелести я еще не видывал ни на картине, ни в природе. На выставке толпа от нее не отходила. Она сделала в публике такой шум, как, помнишь, когда-то сделала «Девушка с тамбурином» Тыранова¹³⁸. Превосходная вещь! Сам Карл Павлович перед нею много раз останавливался, а это что-нибудь да значит. Ее купил какой-то богатый вельможа и хорошо заплатил. Копий и литографий с нее — во всех лавках и на всех перекрестках, одним словом, успех полный. А он, дурак, женился. На-днях я заходил к нему и нашел в нем какую-то неприятную перемену. Тетушка, кажется, его прибрала к рукам. У Карла Павловича он никогда не бывает, — вероятно, стыдится. Начал он со своей жены и не со своего дитяти мадонну с предвечным младенцем, и если он кончит так хорошо, как начал, то это превзойдет «Весталку». Экс-

прессия младенца и матери удивительно хороша. Как это ему не удалась программа, я удивляюсь. Не знаю, допустят ли его, как женатого, будущий год к конкурсу; кажется, нет. Вот всё, что я могу тебе сообщить о твоём бестолковом друге. Прощай! Карл Павлович наш не совсем здоров; весною думает начать работать в Исаакиевском соборе.

Твой М.»

Невыразимая грусть овладела мною по прочтении этого простого приятельского письма. Блестящую будущность моего любимца, моего друга я видел уже оконченную, оконченную на самом рассвете лучезарной славы, но помочь горю уже было невозможно. Как человек, он поступил неблагоразумно, но в высокой степени благородно. Будь он простой живописец-ремесленник, это событие не имело бы на его занятия никакого влияния, но на него, на художника, на художника истинно пламенного, это может иметь самое гибельное влияние. Потерять надежду быть посланным за границу на казенный счет — этого одного достаточно, чтобы уничтожить самую сильную энергию. На свой счет побывать за границей — об этом ему теперь и думать нечего. Если усиленный труд и даст ему средства, то жена и дети отнимут у него эти бедные средства прежде, нежели он подумает о Риме и его бессмертных чудесах.

Итак,

Италия, счастливый край,
Куда в волшебном упоеньи
Летит младое вдохновенье
Узреть мечтательный свой рай, —

этот счастливый, очаровательный край закрылся для моего друга навсегда. Разве какой необыкновенный случай раскроет ему двери этого не мечтательного рая. Но эти случаи весьма и весьма даже редки. У нас перевелись те истинные покровители, которые давали художнику деньги, чтобы он ехал за границу и учился. У нас теперь если и рискнет какой-нибудь богатый человек на подобную роскошь, то из одного только детского тще-

славия: он берет художника с собою вместе за границу, платит ему жалованье, как наемному лакею, и обращается с ним как с лакеем, заставляет его рисовать отель, где он остановился, или морской берег, где жена его принимает морские ванны, и тому подобные весьма нехудожественные предметы, а простофили барабаният: — Вот истинный любитель и знаток изящного, художника с собою возил за границу! — Бедный художник! Что в твоей кроткой душе совершается при этих неистовых глупых возгласах? Не завидую тебе, бедный поклонник прекрасного в природе и искусстве. Ты, как говорится, был в Риме и папы не видал, и слава, что ты был за границею, тебе должна казаться жесточайшим упреком. Нет, лучше с котомкой итти за границу, нежели с барином ехать в карете, или вовсе отказаться видеть

Мечтательный свой рай,

а приютиться где-нибудь в уголку своего прозаического отечества и втихомолку поклоняться божественному кумиру Аполлона.

Глупо, удивительно как глупо распорядился своею будущностию мой приятель. Вот уже недели две, как я ежедневно прочитываю откровенное письмо Михайлова и все-таки не могу убедиться в истине этой непростительной глупости. До того не верится, что мне приходит иногда мысль побывать самому в Петербурге и собственными глазами увидеть эту отвратительную истину. Если бы это было каникулярное время, я и не задумался бы, но, к несчастью, теперь учебные месяцы, следовательно, отлучка если и возможна, то только двадцативосьмидневная, а в половину этих дней что я могу сделать для него? Ровно ничего, — увижу разве только то, чего бы не желал и во сне видеть. Подумавши хорошенько и оправившись от первого впечатления, я решил ждать, что скажет старый Сатурн ¹³⁹, а между тем завести постоянную переписку с Михайловым. На его письма я потерял надежду, а надежда на письма Михайлова совершенно не сбылася. Рассчитывая на Михайлова, я упустил из виду, что этот человек менее всего способен к постоянной переписке, и если я полу-

чил от него ответ на мое письмо, и так скоро, как и не ожидал, то я должен был считать это осьмым чудом, и по одному письму никак не должно было рассчитывать на постоянную переписку. Делать нечего, ошибся, да и кто же не ошибается? Сгоряча я написал ему несколько писем и в ответ не получил ни одного. Это меня не остановило, я — еще, и чем далее, тем чувствительнее. В ответ ни слова. Наконец, я вышел из себя и написал ему грубое и самое недлинное письмо. Это подействовало на Михайлова, и он прислал мне ответ такого содержания:

«Удивляюсь, как у тебя [хватает] терпения, времени и, наконец, бумаги на твои уморительные, чтоб не сказать глупые, письма. И о ком ты пишешь? О дураке. Стоит ли он того, чтобы о нем думать, не только писать, да еще такие уморительные письма, как ты пишешь? Плюнь ты на него, — пропавший человек, ничего больше. А чтобы тебя утешить, то я вот еще что прибавлю: он вместе с женою и мамашею, как он ее величает, начал тянуть проволоку, т. е. принялся за сивуху. Сначала он повторял всё свою «Весталку», и повторял до того, что и на толкучем перестали брать его копии; потом принялся раскрашивать литографии для магазинов, а теперь не знаю, что он делает. Вероятно, пишет портреты по целковому с рыла. Его никто не видит, забился где-то в Двадцатую линию. В угоду твою я пошел его отыскивать на прошлой неделе. Насилу нашел его квартиру у самого Смоленского кладбища. Самого его не застал дома, жена сказала, что на сеанс ушел к какому-то чиновнику. Полюбовался его неоконченной «Мадонной» и, знаешь ли, мне как-то грустно стало: за что, подумаешь, пропал человек. Не дождавшись его самого, я ушел, и с хозяйкой не простился — мне она показалась отвратительною.

Карл Павлович, несмотря на болезнь, начал работать в Исаакиевском соборе. Доктора советуют ему оставить работу до будущего года и уехать на лето за границу, но ему не хочется расставаться с начатой работой. Что ты не приедешь хоть на короткое время в

Питер, хоть только [взглянуть] на чудеса нашего чудотворца Карла Павловича? Да и своим бы дураком полюбовался. Ты, кажется, тоже женился, только не признаешься? Не пиши ко мне, отвечать не буду. Прощай!

Твой М.»

Боже мой! Неужели одна-единственная причина, эта несчастная женитьба, могла так внезапно, так быстро уничтожить гениального юношу! Другой причины не было. Печальная женитьба!

С нетерпением ожидал я каникул. Наконец, экзамены кончились, я взял отпуск и марш в Петербург. Карла Павловича я уже не застал в Петербурге. Он, по совету врачей, оставил работу и уехал на остров Мадеру¹⁴⁰. С большим трудом нашел я Михайлова. Этот оригинал никогда не имел своей постоянной квартиры, а жил как птица небесная. Я встретил его на улице об руку с удалым мичманом, теперь уже лейтенантом. Не знаю, каким родом он очутился снова в Петербурге. Я не мог смотреть на этого человека. Поздоровавшись с Михайловым, я отвел его в сторону и начал спрашивать адрес моего приятеля. Михайлов сначала захохотал, а потом, едва удерживая смех, он обратился к мичману и сказал:

— Знаешь ли, чью квартиру он спрашивает? Своего любимца N. N.

И Михайлов снова захохотал. Мичман ему вторил, но неискренно. Михайлов бесил меня своим неуместным смехом. Наконец, он опомнился и сказал мне:

— Твой друг живет теперь в самой теплой квартире, на седьмой версте. Его, видишь ли, не допустили к конкурсу, так он, недолго думавши, спятил с ума, да и марш в теплое место. Не знаю, жив ли он теперь.

Я, не простясь с Михайловым, взял извозчика и отправился в больницу Всех скорбящих. Меня к больному не пустили, потому что он был в припадке бешенства. На другой день я его увидел, и если бы не сказал мне смотритель, что № такой-то — художник N. N., то сам бы я никогда его не узнал, — так страшно изменило его безумие. Он меня, разумеется, тоже не узнал, при-

нял меня за какого-то римлянина с рисунка Пинелли ¹⁴¹, захохотал и отошел от решетчатых дверей.

Боже мой, какое грустное явление—обезображенный безумием человек! Я не мог и несколько минут пробыть зрителем этого печального образа, простился со зрителем и возвратился в город. Но несчастный друг мой не давал мне нигде покоя, ни в Академии, ни в Эрмитаже, ни в театре, словом, нигде. Его страшный образ везде преследовал меня, и только ежедневное посещение больницы Всех скорбящих мало-помалу уничтожило первое ужасное впечатление.

Бешенство его с каждым днем становилось слабее и слабее, зато и силы физические быстро исчезали. Наконец, он уже не мог подняться с кровати, и я свободно мог входить к нему в комнату. По временам он как будто приходил в себя, но всё еще меня не узнавал. Однажды я приехал поутру рано: утренние часы были для него легче. Застал я его совершенно спокойного, но такого слабого, что он не мог рукою пошевелить. Долго он смотрел на меня, как будто что-то припоминая. После долгого задумчивого, умного взгляда он едва слышно произнес мое имя, и слезы ручьями хлынули из его просветлевших очей. Тихий плач перешел в рыдание, в такое душу терзающее рыдание, что я и не видел, и дай господи не видеть никогда так страшно рыдающего человека.

Я хотел его оставить, но он знаками остановил меня. Я остался. Он протянул руку; я взял его за руку и сел около него. Рыдания мало-помалу утихли, катились одни крупные слезы из-под опущенных ресниц. Еще несколько минут — и он совершенно успокоился и задремал. Я потихоньку освободил свою руку и вышел из комнаты, в полной надежде на его выздоровление. На другой день, также рано поутру, приезжаю я в больницу и спрашиваю попавшегося мне навстречу его сторожа: — Каков мой больной? — И сторож мне ответил: — Больной ваш, ваше благородие, уже в покойнице. Вчера как уснул поутру, так и не проснулся.

После похорон я оставался несколько дней в Петербурге, сам не знаю для чего. В один из этих дней встретился мне Михайлов. После рассказа о том, как он

проводил вчера мичмана в Николаев и как они кутнули на Средней рогатке, речь зашла о покойнике, о его вдове и, наконец, о его неоконченной «Мадонне». Я просил Михайлова проводить меня на квартиру вдовы, на что он охотно согласился, потому что ему самому хотелось еще раз посмотреть на неоконченную «Мадонну». В квартире покойника мы ничего не встретили, что бы свидетельствовало о пребывании здесь когда-то художника, кроме палитры с засохшими красками, которая теперь заменяла разбитое стекло. Я спросил о «Мадонне». Хозяйка не поняла меня. Михайлов растолковал ей, чтобы она показала нам ту картину, которую когда-то смотрел он у них. Она ввела нас в другую комнату, и мы увидели «Мадонну», служившую заплатой старым ширмам. Я предложил ей десять рублей за картину; она охотно согласилась. Я свернул в трубку свое драгоценное приобретение, и мы оставили утешенную десятью рублями вдову.

На другой день я простился с моими знакомыми и, кажется, навсегда оставил Северную Пальмиру. Незабвенный Карл Великий уже умирал в Риме.

4 октября 1856.

**ПРОГУЛКА
С УДОВОЛЬСТВИЕМ
И НЕ БЕЗ МОРАЛИ**





ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

*Посвящаю Сергею Тимофеевичу Аксакову¹
в знак глубокого уважения.*

I

Вздумалось мне в прошлом году встретить нашу прекрасную украинскую весну где-нибудь подальше от города, хотя и в таком городе, как садами укрытый наш златоглавый Киев, она не теряет своей прелести; но все же — город, а мне захотелось уединенного тихого уголка. Эта поэтическая мысль пришла мне в голову в начале или в половине апреля, не помню хорошенько. Помню только, что это случилось в самый развал нашей знаменитой малороссийской грязи. Можно бы и подождать немного, — весною грязь быстро сохнет. Но уж если что мне раз пришло в голову, хотя бы самое несбыточное, так хоть роди, а подавай. На этом пункте я имею большое сходство с моими неподатливыми земляками. Писатели наши и вообще люди приличные чувство это называют силою воли, а его просто можно назвать воловьим упрямым, — оно живописнее и выразительнее.

Долго я перебирал в памяти своей моих добрых приятелей, укрывшихся в тени уединения, т. е. посвятивших себя совершенному бездействию. После тщательной переборки я остановился на одном отставном гусаре, называвшем меня своим родичем, чему я совершенно не противоречил. Лежал он или, как бы выразиться иначе, прозябал он в самом живописном уеди-

ненном уголке Киевской губернии, в верстах трех от местечка Лысянки. На него-то и пал мой выбор.

На тройке добрых почтовых лошадей я с Трохимом и с чемоданом поутру рано выехал из Киева. До первой станции, Веты, мы добрались без особых приключений и Вету оставили благополучно. Только как раз против самого Белоکنяжего поля, не доезжая каплицы, или часовни, у левой пристяжной лопнули постромки. Мы думали было на паре кое-как дотащить до Василькова. Не тут-то было. Грязь по ступицы, и наша пара ни с места. К счастью нашему, мужик вез лозы для изгороди, мы у него, не без труда, правда, выпросили пару лозин и устроили себе кое-как постромку.

В Василькове мы закусили с Трохимом фаршированной жидовской щукой, крепко приправленной перцем, и потянулись дальше. Пошел мелкий, тихий дождик, потом крупнее и крупнее, наконец, полил как из ведра; можно бы было заехать в корчму в Мытнице (село) и переждать дождь, но я как сказал себе, чтобы нигде не останавливаться до Белой Церкви, так и сделал. В Белую Церковь приехали мы уже ночью. Посоветовавшись с Трохимом, решились мы ночевать на почтовой станции и, я вам скажу, мы хорошо сделали, что так придумали умно, а иначе мне, может быть, никогда не пришлось бы писать этой «Прогулки», а вам читать ее, мои терпеливые читатели, потому что узел описываемого мною происшествия завязался именно в эту достопамятную ночь. Только не на почтовой станции, как это большею частию случается, а... но зачем забегать вперед!

Решившись ночевать на станции, я спросил у смотрителя, есть ли у них комната для проезжающих.

— Есть две,— отвечал он,— только обе заняты. Какая-то барыня, должно быть, с [молодою] дочерью, заняли обе комнаты.

— Барыня с молодою дочерью? — подумал я.— Эх, как досадно, что я не гусар или хоть просто [не] военный, я бы знал, как тут распорядиться: просто по праву проезжающего по казенной надобности (военные не ездят на почтовых по своей надобности) закупорил бы мать с дочерью в одну комнату, а в другой сам рас-

положился и на досуге занялся бы обсервациею в замочную скважину. Вот вам и начало романа, чисто в гусарском вкусе: я, было, признаться, и того... да нет, не хватило духу. Сказано: кому не написано на роду быть военным человеком, так тот хоть в аршин запусти усы, а все останется штафиркой².

До местечка оставалось еще с добрую версту, а до жидовского трактира, где мы предположили провести ночь, по крайней мере версты две, но делать было нечего, и мы потащились ночью под проливным дождем отыскивать жидовский трактир. Трохим, не совсем довольный моим решением, начал было что-то возражать, но я махнул рукою, и мы пустились в дорогу. Через час времени мы благополучно достигли желаемой цели.

Пользуясь сим удобным случаем, я мог бы описать вам белоцерковский жидовский трактир со всеми его грязными подробностями, но фламандская живопись³ мне не далась, а здесь она необходима. Замечу мимоходом: во-первых, меня никто не вышел встретить, как то бывает в русских трактирах, но этому могла быть причиною темная, ненастная ночь,— причина важная для самого храброго жидовина; во-вторых, по скользким ступеням вскарабкивался я кое-как в темный коридор и наткнулся на что-то железное,— так ловко наткнулся, что чуть себе лба не раскроил. Поутру я [у]же увидел, что это были дроги с рессорами из-под какого-то экипажа. Таково было мое вшествие в иудейскую гостеприимную обитель. В комнате уже меня встретил жид, довольно благовидной наружности, помог мне стащить с плеч насквозь промокшую непромокаемую шинель и униженно спросил, что мне будет угодно? — Чаю и комнату,— отвечал я. Жид сказал: — З а р а з,— и скрылся за дверь. В ожидании жидовского «зараз» — я грелся и разминался, ходя взад и вперед по комнате. Комната была что-то вроде лавки, с шкафами около стен и стеклянным ящиком вдоль комнаты вроде застойки. Перед ящиком я остановился и между галантерейными безделушками, как бы вы думали, что я увидел? Книгу в желтой обертке. А я только хотел было сказать Трохиму, чтобы достал книгу из чемодана, а тут она сама

в руки лезет, и Трохима тревожить не нужно. Беру со стола свечу и читаю заглавие, кажется, славянскими буквами: «Украинская поэзия» Т. Падуры⁴.— Поди-ка, голубчик, сюда, я тебя давно не видал.— Ящик, однако ж, был заперт. Я позвал хозяина, но вместо хозяина явился какой-то жидок с рыжей бородкой. Я просил его достать мне из ящика книгу, но он рекомендовался мне, что он фактор, а не хозяин лавки. Я велел ему позвать хозяина. Явился хозяин, тот самый благовидный жид, что помогал мне снимать непромокаемую шинель. Я просил его достать книгу. Он достал и, подавая ее мне, сказал:

— Десять золотых.

— А если только прочитать,— спросил я, принимая книгу,— что будет стоить?

— Пять золотых,— сказал жид, побрякивая ключами.

Делать нечего, я отдал пять золотых и спросил нож, чтобы разрезать дорогую книгу, но это было напрасно,— книга была разрезана и даже запачкана. Кроме сальных пятен, я заметил на полях листов то прямые черты, крепко проведенные где ногтем, а где и карандашом, то знак восклицательный, то знак вопросительный, то черт знает что.

— Ай, ай! — подумал я,— да ты побывала уже в руках у нашего брата критика.

Портить карандашом или ногтем чужую книгу непростительно, но тут все-таки есть хоть какая-нибудь мысль, что я, дескать, читал такую книгу и нашел в ней это хорошо, а это дурно, хотя это подобного читателя совсем не извиняет в порче чужой собственности. Чем же извинить господ, портящих стекла на почтовых станциях своим драгоценным алмазом, выводя на стекле свой замысловатый вензель, как на каком-нибудь важном документе, четко и выразительно? Чем извинить этих господ? Для чего они это делают? Какая тут мысль? А какая-нибудь да кроется же в этих замысловатых вензелях и росчерках? Неужели только та, что такой-то и такой проезжал здесь с алмазным перстнем? Только, и ничего больше. Какое мелкое, ничтожное тщеславие! А говорят и даже пишут, будто

бы знаменитый лорд Байрон⁵ изобразил где-то в Греции на скале свою прославленную фамилию. Неужели и этот крупный человек не чужд был сего мелкого, ничтожного тщеславия?

Странно, между прочим, это мелкое тщеславие заставляет меня (да, может быть, и не одного меня) смотреть, разумеется, от нечего делать, на эти исцарапанные стекла и прочитывать давно знакомую книгу, исчерченную карандашом и ногтем,— так и теперь со мной случилось. Поэзия Падуры мне известна и переизвестна, а я заплатил за нее пять золотых так, из одной прихоти, как говорится, чтобы себя потешить. А между тем, когда увидел каракули на полях,— начал читать как бы никогда не читанную книгу.

Над песней под названием «Запорожская песня» было весьма четко написано: «Скальковский врет»⁶. Что бы значила эта весьма нецеремонная заметка? Я прочитал песню. Песня начинается так: «Гей, козаче, в имя бога». Какое же тут отношение к ученому автору «Истории нового коша»? Не понимаю. Ба! вспомнил. Эту самую песенку ученый исследователь запорожского житья-бытья вкладывает в уста запорожским лыцарям. Честь и слава ученому мужу! Как он глубоко изучил изображаемый им предмет. Удивительно! А может быть, он хотел просто подсмеяться над нашим братом-хохлом и больше ничего? Бог его знает, только эта волыно-польская песня столько же похожа на песню днепровских лыцарей, сколько похож я на китайского богдыхана.

— А что же чай и комната? — спросил я, закрывая книгу.

— Зараз,— сказал торчащий в углу рыжебородый жидок. И он вышел в другую комнату.

— Ах вы, проклятые жидаы! Я уже целую книгу прочитал, а они и не думали приготовить чаю!

Через минуту жидок возвратился и снова притаился в углу.

— Что же чай? — спросил я.

— Зараз закипит,— отвечал жидок.

— Чего же ты тут переминаешься с ноги на ногу? — спросил я у услужливого жидка.

— Я фактор. Может быть, пан чего потребует, то я все зараз для пана доставить могу,— прибавил он, лукаво улыбаясь.

— Хорошо! — сказал я.— Так ты говоришь, что все, чего я пожелаю?

— Достану все,— отвечал он, не запинаясь.

— Какую же мне задать ему задачу, так что-нибудь вроде пана Твардовского? — спросил я сам себя и, подумавши, сказал ему: — Ты знаешь английский портер под названием «Браунстут Берклей Перкенс и компания»?

— Знаю,— отвечал он.

— Достань мне одну бутылку,— сказал я самодовольно.

— Зараз,— сказал жидок и исчез за дверью.

— Ну,— подумал я,— пускай поищет. Теперь этого вражеского продукта и в самой столице не достанешь, не только в Белой Церкви.

Не успел я так подумать, как является мой жидок с бутылкой настоящего «Браунстута». Я посмотрел ярлык на бутылке и только плечами двинул, но виду не показал, что это меня чрезвычайно удивило. Жидок поставил бутылку на стол и, как ни в чем не бывало, стал себе попрежнему в углу, и только пот с лица утирает полою своего засаленного пальто. Чудотворцы же эти проклятые факторы!

— Скажи ты мне истину,— сказал я, обращаясь к фактору,— каким родом очутился английский портер в вашей Белой Церкви?

— Через наш город,— отвечал жидок,— возят из Севастополя пленных аглицких лордов,— так мы и держим для них портер.

— Дело,— сказал я,— значит, ящик просто отпирался.

— Не прикажете ли еще чего-нибудь достать вам на ночь? — спросил фактор.

— Подожди, братец, подумаю,— сказал я.— Какой бы ему еще крючок загнуть, да такой, чтобы проклятый жид зубами не разогнул? — подумал я и, подумавши хорошенько, вот какой загнул я ему крючок, истинно во вкусе Твардовского.

— Вот что, любезный чудотворец,— сказал я, обращаясь к мизерному Меркурию,— если уж ты достал мне портеру... Постой, у вас есть в городе книжная лавка?

— Книжной лавки нет в городе,— отвечал он.

— Хорошо,— так достань же мне новую неразрезанную книгу, и тогда я поверю, что ты все можешь достать.

— Зараз,— сказал невозмутимо рыжий Меркурий, поворотился и вышел.

II

— Эй, хозяин! Что же чаю? — сказал я громче обыкновенного, обращаясь к растворенной двери.

— Зараз,— откликнулся из третьей комнаты жидовский женский голос.

— А чтобы вам своего мессии ждать и не дождать так, как я не дождусь вашего чаю!

Не успел я проговорить эту гневную фразу, как в дверях показалась кудрявая черноволосая прехорошенькая жидовочка, но такая грязная, что смотреть было невозможно.

— Где же чай? — спросил я у запачканной Гебы.

— У нас чаю нет,— а не угодно ли...

— Как нет! Где хозяин? — прервал я запачканную Гебу.

— Хозяин пошли спать,— отвечала она робко.

— Если чаю нет, так что же у вас есть? — спросил я ее с досадой.

— Фаршированная щука и...

— И больше ничего,— прервал я ее.

А меня прервал вошедший в комнату фактор с двумя новенькими книгами в руках. Я изумился, но сейчас же пришел в себя и велел подать щуку и потом уже обратился к фактору, равнодушно взял у него книги. Смотрю,— книги действительно новые, неразрезанные. Я хотя и привык, как человек благовоспитанный, скрывать внутренние движения, но тут не утерпел, ахнул и назвал жидка настоящим слугою пана Твардовского. Жидок улыбнулся, а я на обертке прочитал:

«Морской Сборник»⁸ 1855 года, № 1. Я еще раз удивился и, обратясь к фактору, сказал:

— Скажи же ты мне, ради самого Моисея, какую ты силою творишь подобные чудеса, и расскажи, как и от кого достал ты эти книги?

— О!.. Эти книги дорого стоят, если рассказывать вам их историю,— сказал жидок и провел по голове пальцами, как бы поправляя ермолку.

— Сослужи же мне последнюю службу,— сказал я ласково своему рыжему Меркурию,— расскажи ты мне историю этих дорогих книг.

Жидок замаялся и почесал за ухом. Я посулил ему золотый на пиво, это его ободрило, он вежливо попросил позволения сесть и, почесавши еще раз за ухом, рассказал мне такую драму, что если бы не его жидовская декламация, то я непременно бы расплакался. Содержание драмы очень просто и так обыкновенно, что поневоле делается грустно. Происшествие такого рода.

Из Севастополя в Смоленскую губернию ехал какой-то флотский офицер, бог его знает, раненый ли, или просто больной, с двумя малютками детьми и с женой. Дело было зимой или в конце зимы; дорога так его, бедного, измучила, что он принужден был остановиться в Белой Церкви на несколько дней — отдохнуть. Болезнь усилилась и положила его в постель. Что им оставалось делать? Сидеть в жидовской грязной и дорогой хате и дожидать какого-нибудь конца. Началась распутица, все вздорожало. Своих денег не было, расходовались прогоны, и прогоны израсходовались, а больной не вставал. Какой-то проезжий медик навестил его и только покачал головой — и ничего больше. Рецепт не для чего было писать, потому что в местечке какая аптека? На другой день после визита медика больной умер, оставив свою вдову и детей, что называется, без копейки. Что оставалось ей, бедной, делать в таком горьком положении? Она написала письмо родственникам мужа в Смоленскую губернию, а в ожидании ответа начала продавать за бесценок мужнин гардероб и иные бедные крохи, чтобы удовлетворить самую крайнюю необходимость. Услужливый за деньги

жид, если узнает, что у вас наличных и в виду не имеется, то он вам и воды не даст напиться, а о хлебе и говорить нечего. А впрочем, русский человек сделает то же, с тою только разницею, что побожится и перекрестится, что у него все было и все вышло, а денежному гостю подаст все, что бы тот ни просил, и принесет все требуемое перед вашим же носом. При слове «деньги» редкий из нас — не жид. Бедная вдова продавала все, даже необходимое, если оно имело хотя какую-нибудь цену в глазах покупателя-жида. Книги, которые мне принес всеведущий фактор, были взяты у нее и, вероятно, за бесценок. В хозяйстве вдовы они были только лишнею тяжестью, да и покойник, как видно, не высоко ценил печатную мудрость, — он книги даже не разрезал. Ну, да как бы то ни было, только я был изумлен и обрадован таким беспримерным явлением.

— Что же ты заплатил за книги? — спросил я фактора, разрезывая первый номер.

— Два карбованца — меньше не отдает, — отвечал он запинаясь.

— Врешь, сребролюбец Иуда — подумал я, а уличить его нечем.

— Хорошо, — говорю я ему, — деньги я отошлю с моим мальчиком завтра, ты только покажешь ему квартиру.

— Я уже деньги заплатил, она в долг не поверила, — сказал он, обтирая рукой свою грязную шляпу.

— Жаль, — я больше полтинника тебе не дам за книги.

— Зачем же вы испортили книгу? — сказал он почти дерзко.

— Чем же я ее испортил? — спросил я.

— Всю ножом изрезали, теперь она не возьмет книгу назад. За мое жито мене и быто, — проговорил он едва внятно и замолчал.

— Утро вечера мудренее, — сказал я ему. — Ложись спать, а завтра рассчитаемся.

Он поклонился и вышел.

По уходе фактора я разбудил Трохима, который спал себе сном невинности около чемодана во всем своем промокшем облачении. Велел я ему полуразобла-

читься и, войдя в другую комнату, сказал довольно громко, почти крикнул:

— А что же шука?

— Зараз,— слышался прежний женский голос, и через минуту явилась та же самая курчавая запачканная жидовочка.

— Что шука? — повторил я.

— Уже готова, только на стол поставить,— проговорила жидовочка.

— Ставь же ее на стол скорее, да не забудь и водку поставить.

Жидовочка ушла и вскоре опять явилась со шукою и с осьмиугольным штофом с какой-то буро-красноватой водкой.

Я принялся за шуку и, несмотря на то, что она крепко была приправлена перцем и гвоздикой, с таким аппетитом убирал ее, что если бы Трохим провозился со своим разоблачением еще хоть минуту, то застал бы одну голову да хвост, но он поторопился и захватил еще порядочную долю шуки. После шуки спросил я у запачканной Гебы, нет ли еще чего-нибудь заглушить перец и гвоздику? Она отвечала, что ничего они больше сегодня не варили. Я велел подать графин воды, стакан и расположился на скрипучей, вроде дивана, деревянной скамейке, а Трохим, окончивши шуку, помолился богу и тоже расположился на каком-то войлоке у печки, на полу. Тишина водворилась в жидовской обители. Снявши со свечи, я начал перелистывать «Морской Сборник» № 1-й.

III

Перелистывая машинально книгу, я начал было дремать и поднял уже руку за щипцами, чтобы погасить свечу и заснуть, а случилось не так. Я нечаянно взглянул на реестр увечных, выздоровевших, но неспособных продолжать службу нижних чинов; я стал читать, и что же я прочитал? Прочитал я то, чего не прочитывал ни в одной печатной книге, а я их так немало прочитал.

Прогулка с удовольствием и не без морали.

Часть вторая

Глава 1.

Итак, мы с приятелем вдвоем, то-бишь, в родимой, поехали в гости к невос-траченной, оставив у меня болтушку Кузачу дома обдумывать подруга какъ ей вести себя съ выскоккой огаровителной соседкой. Выехали из села, и потом из липовой там-ной рощи, мы ощутилишь кучу влистола тиво пнеола проселка въощишь пооткри-тостью полу, изредка чета влетенно му оучен-ными суховрихити дубами. Прохити в лег-кой прыго верити два, родити мой велела кучеру отана витье около колосилного сухого дуба, положившаго свои обнаежные, сухие корни, какъ дмные безобразные ноги поперекъ дороги.

— Хотите... — указал родити обривител камня
— в киле похишу темную историгескую
букву? Вы иловаже угенни, немалит петта.
Можетъ битъ вы е и рогогитасте. —

Я просил родити ^{показати мне} эту историгескую
темную букву. Онъ указал мне на кучу
лую и болбушу дину въ тболте дуба. изъ

«Прогулка с удовольствием и не без морали».

Повість, ч. II. Сторінка автографа.

Дело вот в чем. В присутствии комитета раненых были спрошены эти увеченные бедняки, какую кто из них пожелает себе награду за верную службу престолу и отечеству. Бедняки сначала отказались от всякой награды, только чтобы их отпустили на родину. Комитет настаивал, чтобы они, кроме этого, требовали себе всякий то, что ему нужно. Иные попросили денежной награды, другие — чтобы освободить детей их из кантонистов, а последний из них, молодой матрос, со слезами на глазах просил, чтобы освободили сестру его родную от крепостного звания. Великодушная просьба этого простого человека меня поразила, я дальше не мог читать, закрыл книгу и погасил свечу.

Мне, однако ж, не спалось. Матрос расшевелил мое воображение и отогнал услужливого Морфея⁹. Простое и самое естественное дело простого человека рисовалось в моей душе яркими, лучезарными красками. Должно быть, я сильно обнищал сердцем, когда меня так поразило это, повидимому, обыкновенное явление. Неужели вместе с цивилизацией так плотно к нам прибивается эгоизм, что мы, т. е. я, — едва верил в подобное бескорыстие? Должно быть, так. А по-настоящему не должно быть так: образование должно богатить, а не окрадывать сердце человеческое. Но, к несчастью, это теория. Подобное ни к чему не ведущее рассуждение не давало мне заснуть, и чем глубже я входил в эти рассуждения, тем возвышеннее, благороднее казался мне поступок увеченного бедняка матроса. Он отдал всё сестре, а себе ничего не оставил, кроме суммы и костыля. Как хотите, а подвиг не совсем обыкновенный. — Что если бы, — подумал я, — удалось мне этот простой сюжет облачить в форму героической поэмы, или... Но нет, никакая другая форма поэзии, кроме поэмы, нейдет этому сюжету. Поэма или ничего. — И я начал сочинять поэму.

Во дни минувшие, во дни невинности моей, как говорит поэт, и я втихомолку кропал стишонки, да и кто из нас их не кропал? Следовательно, мне это рукоделье было несколько знакомо. Оставалось придумать ход действий и обстановку; а место действия — страшный четвертый бастион в Севастополе, еще страшнее лаза-

рет там же и, в заключение, укрытое цветущими вишневыми садами малороссийское село, и среди улицы этого очаровательного села встречается свободная сестра своего великодушного калеку брата. Канва готова,—осталось подобрать тени, и за работу. Я уже начал было и тени раскладывать, не теряя из виду общего эффекта. Слушаю, в комнате будто что-то шепчет. Не бредит ли Трохим во сне после жидовской шуки? Прислушиваюсь, действительно Трохим, только не бредит, а наяву про себя шепчет:

— А... хочется пить, а не хочется встать.

Минуту спустя он еще раз повторил громче свое желание, а через минуту он проговорил его почти вслух.

— Трохиме,— сказал я громко.

Трохим молчит.

— Трохиме! — повторил я тем же тоном.

— Чего? — отозвался он как бы спросонья.

— Подай мне графин с водою.

Он глубоко и продолжительно вздохнул, лениво поднялся с постели, отыскал впотьмах графин и подал мне.

— Напейся сам,— сказал я ему,— а я не хочу пить.

Трохим напился, поставил графин на место и проговорил:

— Покорно вам благодарю.

— То-то ж, дурню,— сказал я ему вместо наставления, но он едва ли это наставление слышал, потому что спал.

Оригинал порядочный этот Трохим. Я опишу его когда-нибудь в другом, более приличном месте, а теперь буду продолжать собственное похождение.

Я принялся было опять за прерванную нить своей поэмы, но Морфей-приятель задернул занавес, и едва зримая и великолепная декорация скрылась от моих очей.

На другой день, очень рано, мы оставили Белую Церковь. Это потому, что я заснул уже на рассвете; сначала матрос не давал мне покою, а потом жидовские блохи.

Дорога была по-вчерашнему скверная, если не

хуже: от продолжительного дождя густая грязь превратилась в настоящую кашу, как выразился недовольный Трохим. Дорога, впрочем, меня мало беспокоила: я ее почти не замечал. Меня, если можно так выразиться, поглотила моя поэма. Я все устанавливал подробности действия и так увлекся этими подробностями, что начал уже стихи импровизировать. Импровизация моя была прервана не самым обыкновенным происшествием. Кони наши остановились перед берлином, или дормезом ¹⁰, по самый кузов зарезавшимся в грязь. Четыре пары добрых волов едва-едва двигали его вперед, а почтовая четверка, вся в мыле, отдыхала по ту сторону плотины.— Не вчерашняя ли это барыня с дочерью с таким комфортом путешествует? — спросил я сам себя и нечаянно взглянул на Трохима. У него была такая кислая, недовольная рожа, что я расхохотался. Он как будто бы не замечал моего хохота и оттого делался еще смешнее.

— О чем это вы так задумались, Трохим Сидорович? — наконец, спросил я его шутя. Трохим мой вздохнул, повернулся лицом к дормезу и проворчал что-то похожее на брань.

— Не «отче-наш» ли вы читаете? — спросил я его, едва удерживаясь от смеху.

— «Отче наш», — проговорил он сквозь зубы.

— За чью ж это душу? — спросил я его, смеясь.

— За чортову, — отвечал он тем же тоном и, оборотясь ко мне, сказал:

— Правду сказал жид, у которого мы ночевали, что вы не похожи не только на пана, не ходите даже на простого шляхтича голопуз...

Последнего слова он не договорил и опять отвернулся от меня.

Так вот где причина, почему благообразный жид вчера и сегодня не ухаживал за мною, как это обыкновенно делают они, особенно содержатели заезжих домов и так называемых уездных трактиров; а я уже думал, что бы значило, что хозяин так равнодушно принял меня, так равнодушно, что не почел нужным попотчевать даже чаем, а вот он где секрет. Интересно бы знать, за кого он меня принял?

— За кого же он меня принял? Не говорил тебе жид? — спросил я у Трохима.

— Так, говорит, ни то ни се, и еще прибавил какое-то слово по-своему, я не понял, а верно, что-нибудь скверное, потому что, сказавши это слово, он плюнул.

— Ах он, проклятый жид! Еще и плюнул! Ну, а ты как думаешь, Трохиме, похож ли я на пана, хотя сбоку? — спросил я его шутя.

— Ни сбоку, ни спереду, — отвечал он не задумавшись и, отворотясь от меня, продолжал вполголоса: — Не только пан, порядочный мужик в такую погоду собаки из хаты не выгонит, а он поехал в гости — очень нужное дело! Да еще хочет, чтобы его паном жида величали. Небось, жида знают, как кого назвать.

Последнее слово он проговорил шопотом. Я внутренно смеялся досаде озлобленного Трохима. В это время сзади нас послышался почтовый колокольчик. Я оглянулся: в полуверсте за нами тащилась по грязи тройка, такая же, как и наша.

— Слава тебе, господи! — вскрикнул протяжно Трохим и перекрестился.

— А что? — спросил я его.

— Выехали из грязи, — сказал он весело.

Дормез действительно стоял уже по ступицы в грязи, а волы, совершивши свой подвиг, попарно вылезали из болота на более сухое место. Вдали слышимый колокольчик запел уже у меня за плечами. Я снова оглянулся и, кроме тройки и ямщика, увидел стоящую в телеге фигуру в черной бурке и в каком-то мудреном картузе. Чрез минуту тройка, телега и стоящая в ней фигура очутились у самых окон дормеза. Фигура на минуту наклонилась к окну, как бы спрашивая о здоровье закупоренных в подвижной светлице красавиц. Потом фигура в бурке и картузе приподнялась и хриплым голосом стала кричать на ямщиков, чтобы подавали скорее лошадей. Я занялся фигурой, Трохим не знаю чем занимался, ямщик накладывал табак в свою носогрейку, а кони, опустив морды в самую лужу, о чем-то призадумались.

— Что же ты не трогаешь? — сказал я ямщику.

— А я думал, — сказал ямщик, не вынимая трубки

изо рта, — что мы [так] за ними и поедем до самой станции.

— Ах ты, хохол! Как ты скверно думал. Трогай-ка лошадей проворнее! — сказал я, и мы оставили фигуру в бурке и дормез.

Когда мы проезжали около дормеза, я заглянул в окно, и передо мной мелькнула необыкновенно прекрасная женская головка, повитая чем-то черным. У меня как будто бы молотком ударило в сердце, и я уже до самой станции ничего не видел, кроме очаровательной головки.

— Самовар есть? — спросил я у станционного смотрителя, вылезая из телеги.

— Есть, — отвечал он.

— А коли есть, так прикажите его нагреть. — И, обращаясь к Трохиму, прибавил:

— Делать нечего, Трохиме, чемодан нужно развязать, а то мы пропадем без чаю.

— А разве жидовский вам не понравился? — проговорил он иронически, вынимая чемодан из телеги.

Правду сказать, так чай был только предлогом, а настоящим делом-то была волшебница, закупоренная в подвижном тереме. Мне ужасно хотелось еще хоть мельком взглянуть на эту дивную головку. Казалось, что я рассчитал недурно: они непременно войдут в комнату, пока им лошадей перепрягут, и я... всё случиться может, буду иметь счастье предложить ей стакан чаю. В дороге что за церемония! Пока я так предполагал, самовар кипел уже на столе, и Трохим вытирал черный глиняный чайник и зеленоватые кабачные стаканы. Ну, как же я в таком стакане предложу ей чаю? Срам и... еще что-то я хотел подумать, как растворилась дверь и в комнате явилась фигура в бурке и в мудреном картузе. Не снимая картуза, фигура хриплым басом спросила стоявшего пред ней смотрителя:

— Есть ли лошади?

— Есть, — отвечал почтительно смотритель.

— Мне нужен осьмерик, — проговорила фигура.

— И осьмерик будет, — ответил смотритель тем же тоном.

Фигура бросила дорожную на стол и, заметя третье лицо, т. е. меня, приподняла картуз и кивнула головой. Я отвечал тем же, только немного скромнее, и предложил фигуре стакан чаю с дороги. Фигура не отказалась, пожалела только, что даже в Киеве нельзя достать порядочного араку. Я не противоречил, и разговор наш тем кончился. Фигура, не допивши стакана чаю, скрылась за дверь. Так как этот субъект играет или будет играть не последнюю роль в нашем повествовании, то не мешает его очертить с некоторыми подробностями.

«Отставной ротмистр гвардии, помещик Курнатовский» — так гласила дорожная, которую я прочитал не без любопытства.

О подробностях фигуры господина гвардии отставного ротмистра не могу сказать ничего положительно, потому что она скрывалась под буркой. А лицо? Лицо довольно обыкновенное, особенного ничего не выражает, такие лица можно встретить на конной ярмарке в Бердичеве или в Полтаве, между ремонтерами. Нос большой, довольно аляповатый и довольно красный, глаза тоже красные, навывкате. Губы толстые, особенно нижняя, усы искрасна-черные, большие; о волосах на голове тоже ничего положительно не могу сказать, потому что он не снимал своей затейливой фуражки. Вот вам и вся недолга. Если всмотреться в него попристальнее, так, может быть, нашлись бы какие-нибудь особенности, но я не успел попристальнее всмотреться и подробнейшее окончание портрета оставляю до следующего сеанса.

— Опять посахали волами! — сказал Трохим, входя в комнату.

— Вели долить самовар и прибавить угольев, — сказал я ему и вышел из комнаты.

— Во что бы то ни стало, а я ее дождусь, — говорил я сам себе, глядя на бесконечную плотину, по которой четыре пары волов едва двигали знакомый мне дормез. Час, если не больше, дожидался я заветного дормеза, наконец, остановился он перед воротами почтовой станции.

— Не угодно ли будет, — не совсем смело сказал я

отставному ротмистру, — вашим дамам выпить горячего чаю с дороги?

Ротмистр кивнул головой и подошел к окну экипажа. Через минуту огромный лакей разложил ступени, отворил дверцы и из подвижного терема высадил... кого бы вы думали, кого? Вместо прекрасной волшебницы — бабу-ягу, закутанную во что-то черное. — А чтоб ты провалилась! — подумал я; а лакей между тем сложил ступеньки и тихонько притворил дверцы.

— А что же панна Гелена? — спросил по-польски старуху ротмистр.

— Спит, — отвечала старуха и поплелась в комнату, поддерживаемая огромным гайдуком.

Ротмистр закурил колоссальный трубочок и пошел на конюшню посмотреть, каких ему лошадей заложат, а я посмотрел грустно на экипаж, как лисица на виноград, и отправился скрепя сердце потчевать старуху чаем. Напрасно я беспокоился, — она уже сама себя потчевала, и когда я взошел в комнату, она даже и не взглянула на меня. Я сказал Трохиму, чтобы он налил себе стакан чаю и укладывал чемодан. Старуха тогда взглянула на меня и отвернулась, а я вышел из комнаты, как бы не замечая ее взгляда. Лошади для меня были готовы, и я, дождавшись Трохима и чемодана, посмотрел еще раз на облепленный грязью дор-мез, сел в телегу и уехал в полной надежде увидеть таинственную красавицу на следующей станции, т. е. в городе Тараше.

Тараша — город! Не понимаю, зачем дали такое громкое название этой грязной жидовской слободе. Наверное можно сказать, что покойный Гоголь и мельком не видал сего нарочито грязного города, иначе его родной Миргород показался бы ему если не настоящим городом, то по крайней мере прекрасным селом. В Миргороде, хотя и не пышной Растреллиевской или Тоновской византийской архитектуры¹¹, а все-таки есть беленькая каменная церковь. Хоть небольшое белое пятно на темной зелени, а оно делает свой приятный эффект в однообразном пейзаже. В Тараше и этого нет. Стоит себе на пригорке над тухлым болотом старая темная деревянная церковь, так называемая козацкая,

т. е. постройка времен козачества. Три восьмиугольных конических купола с пошатнувшимися черными железными крестами, и ничего больше. И все это так неуклюже, так грубо, печально, как печальна история ее неугомонных строителей. Едва-едва к вечеру дотащились мы до сего так называемого города. О дальнейшем следовании и думать было нечего, о дормезе и спящей красавице тоже. Следовательно, я могу смело распоряжаться одной-единственной комнатой в почтовой станции. Так и сделано. Трохиму предоставил я распорядиться насчет ужина. Но как усердно ни распорядился Трохим, а ужин наш ограничился парюю сушеных карасей, ломтем черного хлеба и рюмкой вонючей водки. Трохим был, как говорится, в своей тарелке и подтрунивал над чернечью в ечерю, — так называл он наш ужин. Трунил он собственно не над ужином, а над мной, что, дескать, как приятно путешествовать во время такой прекрасной погоды! Мне самому было досадно, но я молчал и старался не думать о погоде, а о чем-нибудь другом. Другое мне, однако ж, плохо давалось. Я вспомнил о матросе и — вообразите мою досаду — я вспомнил, что мы забыли «Морской Сборник» в Белой Церкви. Спрашиваю у станционного смотрителя, не найдется ли из ямщиков охотник съездить верхом в Белую Церковь. Охотник нашелся, я рассказал ему, в чем дело. Он запросил у меня за поездку три целковых, я не торговался и дал задаток. Ямщик тотчас же отправился в дорогу, а мы с Трохимом, помолясь богу, привели утомленные тела свои в горизонтальное положение, — он на скамейке, а я тоже на скамейке, обгороженной с трех сторон чем-то вроде перил, что делало ее похожею на чухонские сани.

IV

«Морской Сборник» таки не дешево мне обошелся, а интересного в нем, я думаю, один только и есть матрос; впрочем, я еще и не просмотрел его хорошенько. Но дело не в том, интересен он или нет, а в том дело, что я с собою взял только две или три книги, и то не

знаю, какие. Трохим у меня и по этой части распорядился. А нужно вам сказать, что книги для меня, как хлеб насущный, необходимы, и две недели, которые я предполагал посвятить моим родичам, без какой-нибудь книги покажутся бесконечными. Поэтому-то я дорожил «Морским Сборником», и еще потому, что родич мой, хотя и не без образования человек, но книги боялся как чумы и, следовательно, на его библиотеку нечего было рассчитывать. Станным и ненатуральным покажется нам, грамотным, человек, существующий без книги! А ежели всмотреться попристальнее в этого странного человека, то он покажется нам самым естественным. Родич мой, например, начал свое образование в каком-то кадетском корпусе, а окончил его в каких-то казармах и в лагере. Когда же и где ему можно было освоиться с книгою? Штык и книги — самая дикая дисгармония. И родич мой, выходит, самый натуральный человек, и тем еще натуральнее, что он не притворяется читающим, как делают это другие, ему подобные, как, например, делает его благоверная половина, а моя прекрасная родичка, или, яснее, кузина, у которой вся библиотека состоит из «Опытной хозяйки»¹², переписанной каким-то не совсем грамотным прапорщиком. А как занесется о литературе, так только слушай. Другой, пожалуй... да что тут говорить про другого, — я сам сначала уши развесил, да потом уже спохватился. Я познакомлю вас, мои терпеливые читатели, хоть слегка с моей кузиной-красавицей (правда, не первой молодости). С такими субъектами, как она, не мешаешь иногда познакомиться. Сам я познакомился с нею, когда она была еще невестой моего родича, и, правду сказать, чуть-чуть было не втюрился по уши, — извините за выражение, другого не мог придумать, — тогда она была восхитительно хороша. А это известно: если женщина восхитительно хороша собой, то значит, что она и добра, и умна, и образованна, и одарена ангельскими, а не человеческими свойствами. Это уж так водится. А на самом-то деле, чем женщина красивее, тем более похожа она на движущуюся прекрасную, но бездушную куклу. Это я говорю по собственному многолетнему опыту. Красавицы только в романах олицетво-

ренные ангелы, а на деле они автоматы или просто гипсовые фигурки.

И кухня моя во время бно казалась мне ангелом кротости и образцом воспитания. Я не волочился за ней открыто, это не в моей натуре, но втайне боготворил ее. Это общая черта антивоенного характера. Вскоре она вышла замуж за моего родича и с ним уехала в деревню. Я поохладил свою глубоко-робкую любовь двухлетним несвиданием и потом уже видался с нею довольно часто, но не как пламенный обожатель, а просто как старый знакомый и притом родственник. Тут-то и стал я наблюдать отчетливее за моим бывшим кумиром. Как-то раз зашла речь (это было в деревне) о германской поэзии. Кроме Гете и Шиллера, она с восторгом говорила о Кернере¹³, мне это понравилось, я и выписал сдуру экземпляр Кернера да и послал ей в деревню. Через год или больше случилось мне завернуть к ним мимоездом, и что же? Мой Кернер валяется под диваном, и даже неразрезанный. Это меня заставило усомниться в любви к немецкой поэзии моей красавицы-кузины. Для чего же она так непритворно восхищалась этим Кернером? Неужели эти, сквозь слезы, восклицания была ложь? Увы, да! Она, как я впоследствии узнал, боготворила всё, что имело какое-нибудь подобие военного, начиная от скромного ученого кантика до великолепного кавалерийского штандарта, а об аксельбантах и говорить нечего: аксельбанты были для нее выше всякого обожания. Так извольте видеть, в чем секрет: при берлинском издании сочинений Кернера, которое она где-то видела, приложен портрет поэта в военном мундире, а мой экземпляр был другого издания и без портрета, так она его и швырнула под диван. Вот вам и секрет. Книги она просто ненавидит, и если бы была какой-нибудь маркграфиней¹⁴ во времена Гутенберга¹⁵, то не задумалась бы возвести знаменитого типографа на костер. Это верно. Зато озолотила бы изобретателя тузов, королей, дам, валетов и т. д., словом, изобретателя карт,— она воздвигла бы кумир и молилась ему, как богу-просветителю человеческого рода. Из какого болота вытекает и так широко разливается эта топорная, безобразная

страсть в мягком, нежном сердце женщины? Вопрос не головоломный: из болота бездействия и из тины нравственной пустоты. Врожденных таких отвратительных способностей я не признаю даже в ремонтере ¹⁶. У нас говорят про пьяницу, вора и тому подобного художника, что он, беденький, уж с этим и родился. Пренаивное понятие! И если бы спросить и у знаменитого череповеда Лафатера ¹⁷, то и он, положив руку на сердце, сказал бы: — Пренаивное понятие! — Играть самому в ералаш, в носки и прочая, — тут есть еще удовольствие, разумеется, удовольствие не совсем эстетическое, но все-таки удовольствие, — по крайней мере длинные минуты праздной жизни делаются короче. Но какая нравственная радость просидеть у стола игроков до трех часов пополуночи и безмолвно считать выигрыш и проигрыш безмолвных картежников? Совершенно не понимаю! А прекрасная кузина моя находит в этом созерцании высокое наслаждение, она готова неделю не есть, не пить, только бы сидеть автоматом и смотреть, как играют в ералаш или даже в три листика; а если ей самой удастся составить партию для ералаша, то она готова, как Илья Муромец ¹⁸, сиднем просидеть за картами месяцы и годы без куса хлеба и стакана воды. Неужели так тлетворно действует на пустую красавицу отсутствие толпы обожателей, ее единой насущной пищи? Действительно, так, — по крайней мере я другой причины не знаю. Красавицы в обществе заняты делом, т. е. кокетничеством, а дома, да еще и в деревне, что ей прикажете делать? Не румяниться же и белиться для своего медведя мужа. Всё это ничего! Всё это только отвратительно, а вот что горько. У моей прекрасной кузины растет прекраснейшее дитя, девочка лет четырех или около этого, резвая, милая, настоящий херувим, слетевший с неба. И херувим этот, это прекраснейшее создание отдано в руки грязной деревенской бабы. А нежная мамаша шнурует себе да припекает папилютки, даже на затылке, и знать больше ничего не хочет. Однажды привез я для Наташи (так называется дитя) азбуку и детскую естественную историю с картинками. Надо было видеть, с каким недетским во-

сторгом она любовалась моим подарком и с каким любопытством расспрашивала она свою красавицу-мамашу о значении каждой картинки; но мамаша, увы! обращалась или ко мне, или просто посылала ее к няньке играть в куклы. Мне стало грустно, и я не совсем издали повел речь об обязанностях матери; кузина сначала слушала меня, но когда я вошел поглубже в предмет и начал живо и рельефно рисовать перед ней эти священные обязанности, она вполголоса запела: «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан». — Хоть кол на голове теши, — подумал я и чуть-чуть было не выкинул штуки, т. е. хотел плюнуть и уйти, однако ж удержался и только закурил сигару и вышел в другую комнату.

Зачем они детей родят, эти амфибии, эти бездушные автоматы? С какой целью они выходят замуж, эти мертвые красавицы? Чтобы сделать карьеру, как выражается моя кузина; а дети — это уже необходимое следствие карьеры, и ничего больше. Бедные бездушные матери! Вы свой долг, свою священную обязанность передаете наемнице гувернантке и, еще хуже, деревенской неграмотной бабе. И диво ли после этого, что порода хорошеньких кукол у нас не переводится? Да и будет ли когда-нибудь конец этой породе? Едва ли, — она страшно живуча на нашей тучной заматерелой почве.

Но не пора ли оставить мою темную красавицу-родственницу в покое и обратиться к более светлым предметам?

На другой день поутру ящик с книгами явился передо мной, как лист перед травой. Я расплатился с ним окончательно и спросил его, не видал ли он на дороге берлина.

— Ночуе посеред гребли в Ковшоватий, — отвечал он и вышел. — Значит, я ее более не увижу, — подумал я и велел старосте запрягать лошадей.

Через несколько минут лошади были готовы, книги в чемодан спрятаны, и, помолившись богу, мы благополучно отправились в дорогу.

Станный, однако ж, человек этот сочинитель, — подумает благосклонный читатель. — Ругает на чем свет

стоит свою родственницу, а сам к ней в гости едет,— тут что-то да не так.— Совершенно так,— отвечаю я благосклонному читателю,— и, по моему мнению, так и следует: хлеб-соль ешь, а правду режь,— говорит пословица, и пословица говорит благородно. Если бы мы, не только сочинители, но вообще люди честные, не смотрели ни на родство, ни на покровительство, а указывали пальцем прямо, благородно на шута-родственника и на грабителя-покровителя, то эти твари, по крайней мере днем бы, не грабили и не паясничали.— Да это невозможно,— скажут честные люди вообще, а сочинители в особенности.— Какое нам дело до его хозяйства, до его средств и источников? Он ведет себя хорошо, безукоризненно хорошо и притом покровительствует даже... даже художникам. Чего ж нам более? А родственник?.. Да бог с ним, если он приличный человек,— пускай себе паясничает на здоровье, а нам какое дело. Если же он, вдобавок, и богатый человек, это дело другого рода, тут даже извинительно отчасти и себе поподличать; тут даже можно и очень поподличать,— это не бог знает какой грех. А между тем, если уж на большее нельзя рассчитывать, так по крайней мере можно лишний раз хорошенько пообедать. То-то и есть, что все мы более или менее лисицы с пушком на рыльце.

Всё это так, всё это в порядке вещей,— скажет благосклонный читатель.— Да как же ехать в гости за двести верст к людям, которые не нравятся? Ну, а если она как-нибудь да прочитает этот ядовитый пасквиль, эту желчную правду, тогда что? У всякого свой вкус: во-первых, я еду для прекрасного весеннего сельского пейзажа, а не для карикатурных фигур на первом плане этого прекрасного пейзажа. А насчет второго замечания я совершенно спокоен. Если бы даже я посвятил сие нехитрое творение моей милой кухне и даже поднес бы ей экземпляр в сафьянном великолепном переплете, то, я уверен, и тогда бы она скорее употребила его на папильотки, чем удосужилась бы прочесть сие неложное изображение собственной персоны. Она... да ну ее с богом! Разносился я со своей красавицей-кузиной, как дурень с писаной торбой.

Правда, что она весьма интересный, я не говорю --- редкий, сюжет для наблюдателя; но... пора знать и честь.

Только к вечеру дотащились мы до Баранполя. Переезд сам по себе небольшой, но, кроме грязи, место довольно гористое. Во время этого, на удивление медленного, переезда я занимался моим героем, т. е. матросом, и по временам совершенно против воли предугадывал, кто такая была обитательница подвижного терема, т. е. рыдвана. Жена ли она усатого ротмистра, или дальняя родственница, или же просто красавица, взятая напрокат по кавалерийскому обычаю, — решить было трудно, и потому я старался ее забыть. Но она, как чертенок, вертелась в моем воображении и прерывала стройный ход моей задушевной поэмы.

Трохим советовал заночевать в Баранполе и хоть кусок хлеба съесть: мы, действительно, в продолжение дня ничего не ели. Я и спросил смотрителя, нет ли чего перекусить. Оказалось, что перекуски никакой не было. — Потому, — прибавил смотритель, — что теперь страстная неделя. — Резон, — подумал я и велел поставить самовар, но и самовара не оказалось. — Хоть хлеба и воды дайте нам, — сказал я равнодушному смотрителю. Он молча отворил что-то вроде шкафа, висевшее на стене, и вынул оттуда тоже что-то вроде пирога. Это был черствый кныш с постным маслом. Трохим не без труда отломил кусок кныша, поморщился и начал есть, предлагая мне остальное, но я отказался. Голод меня, не знаю почему, не беспокоил. Предоставив распоряжение кнышом Трохиму, я велел вопреки ему, — что я редко позволял себе, — запрягать лошадей. Не успел он первого куса дожевать, как лошади были готовы. Не без негодования посмотрел он на меня, спрятал остальной кусок за пазуху, лениво вскарабкался на телегу, и мы пустились дальше.

Вскоре настала ночь — тихая, теплая и темная. Удивительная ночь! Красноватые звезды казались крупнее обыкновенного и как-то особенно прекрасно горели на темном фоне. Очаровательная ночь! Таким очарова-

тельными ночам обыкновенно предшествует продолжительный весенний дождь, а это не редкость в Малороссии. Жаль, что луны не было. А люблю я ее полную, круглую, румяную, перерезанную длинными золотыми тучками и в каком-то обаятельном тумане поднимающуюся над едва потемневшим горизонтом. Как ни прекрасна, как ни обаятельна лунная ночь в природе, но на картине художника, как, например, Калама¹⁹, она увлекательнее, прекраснее. Высокое искусство (как я думаю) сильнее действует на душу человека, сильнее, нежели самая природа. Какая же непостижимая божественная тайна сокрыта в этом деле руки человека; в этом божественном искусстве? Творчеством называется эта великая божественная тайна, и... завидный жребий великого поэта, великого художника. Они братья наши по плоти, но, вдохновенные свыше, уподобляются ангелам Божиим, уподобляются богу, и к ним только относятся слова пророка, их только создал он по образу своему и по подобию, а мы — толпа безобразная и ничего больше.

Догадливый почтарь или ямщик, вместо русской телеги, в которой и самый отчаянный фельдъегерь едва ли вздремнет, заложил нам бричку, вроде не тычанки, длинную и широкую, а, вдобавок, навалил в нее сена. Трохиму это так понравилось, что он, не дожевавши своего кныша, заснул, с куском в руке, сном свежей юности и непорочности. Немного погодя и аз многогрешный последовал его мудрому примеру.

V

Как мы проехали эту станцию, кроме ямщика и лошадей никто из нас не знает. Я проснулся на рассвете у самой ц а р ы н ы, или выгона, местечка Лысянки, а Трохима я разбудил уже перед дверьми почтовой станции. Так как конец моего путешествия был уже очень не в далеком расстоянии, — не принимая, разумеется, в расчет грязь и полуверстовую греблю, — то я и рассудил, что лучше немного отдохнуть в Лысянке и потом уже пуститься дальше. До Будищ, т. е. до

резиденции моего родича, оставалось версты две, не более. Долго ли их проехать? Час, а много два,— так я рассчитывал. Но как я сомневаюсь во многом, то и в этом расчете усомнился, и, чтоб определить это предположение точнее, я спросил Трохима, что он на это скажет. А он, подумавши, сказал, что если мы поедем сейчас же, то приедем в Будища не ранее полудня.

— Одна гребля чего стоит! — прибавил он. Я согласился с его тонким замечанием и попросил смотрителя дать мне лошадей в сторону, т. е. от почтовой дороги. Он охотно согласился,— разумеется, за двойные прогоны, считая прогоны не за две версты, как я думал, а за двадцать с чем-то, до следующей станции, до Звенигородки. Он не только меня, но даже Трохима уверил, что ему совершенно всё равно. Делать нечего, я согласился. На деле оказалось, что Трохим прав, сказавши, что мы раньше полудня не будем в Будищах; и смотритель прав, считая полуверстную греблю за 20 верст.

Напившись чаю и, хотя не совсем плотно, закусивши, мы тронулись в дорогу. При выезде из Лысянки мы со всею осторожностью въехали на греблю и завязли, что называется, по самые уши в грязи. Тут пришлось нам в первый раз употребить волов в дело. Это было заключение и без того монотонно-длинного спектакля. Я выкарабкался кое-как из телеги на близстоящую развесистую вербу, потом спустился на землю и сторонкой, выделявая через лужи антраша, перебрался через греблю и, немного отдохнувши, поднялся на гору и у памятника на жидовском кладбище расположился отдохнуть. Лысянка передо мной, как на ладони, красовалась. Все жидовские лачуги можно было пересчитать, а христианские нельзя, потому что они закрыты темными, еще обнаженными садами. Долго я искал глазами в этом лесу груш и яблонь давно и хорошо знакомый мне домик отца диакона Ефрема, у которого я давно когда-то брал первые уроки не рисования, а прямо живописи. Отец Ефрем, чтобы испытать, есть ли у меня способность к этому хитрому делу, заставил меня на листе железа тереть

какую-то чернобурую краску. Я не выдержал испытания и на другой же день показал пяты отцу диакону. Многое переиспытал я после этого первого урока, но ничто так не врезалось в моей памяти, как это первое наивное испытание. Но перейдем лучше к чему-нибудь другому, пока волы вытащат из грязи телегу с Трохимом.

Местечко Лысянка имеет важное значение в истории Малороссии. Это родина отца знаменитого Зиновия Богдана Хмельницкого, Михайла Хмиля²⁰. И еще замечательна (если верить туземным старикам) своей вечерней, не хуже сицилийской вечерни²¹, которую служил здесь ляхам и жидам Максим Железняк в 1768 году²². Да если считать все подобные события, недостойные памяти человека, замечательными, то не только какая-нибудь Лысянка,— каждое село, каждый шаг земли будет замечателен в Малороссии, особенно по правую сторону Днепра. В чем другом, а в этом отношении мои покойные земляки ничуть не уступили любой европейской нации, а в 1768 году Варфоломеевскую ночь²³ и даже первую французскую революцию перещеголяли. Одно, в чем они разнились от европейцев: у них все эти кровавые трагедии были делом всей нации и никогда не разыгрывались по воле одного какого-нибудь пройдохи, вроде Екатерины Медичи²⁴, что допускали нередко у себя западные либералы.

Наконец, смешная и скучная процессия с телегой была кончена. Я полтинником поблагодарил угрюмого мужика, а выпачканного грязью мальчугана, его усердного сотрудника, поощрил гривною меди и, благополучно усевшись в телеге, продолжал финальный акт монотонной комедии, т. е. последние версты моей бесполовой поездки.

Трохим мой хотя и не знахарь, а будущее определяет не хуже любого знахаря. Во время самого обеда телега наша остановилась перед домом моего гостеприимного родича. Встретил он меня на крыльце с салфеткою в руке, а кухня в столовой с озабоченным лицом и с выпачканным в муке носом. Это значило, что куличи в печке и еще не поднялись до определен-

ной высоты, — этот важный процесс еще не свершился и своей томительной неизвестностью тревожил заботливую хозяйку. Я только так догадывался и, разумеется, не без основания. Страстная неделя уже была на исходе, а в эти дни известно, чем белятся и румянятся усердные ученицы профессорши Авдеевой.

Подобно Чацкому, который, как выразился бессмертный поэт, попал с корабля на бал, а я с телеги да прямо за стол, и еще чуть-чуть не в непромокаемом плаще и в калошах.

Два раза, с извинением, хозяйка вставала из-за стола и куда-то на минуту выходила и опять возвращалась, храня глубокое молчание. В третий раз она, уже и не извинясь, оставила нас за столом, промедлила минутой более, чем в первые отсутствия, и возвратилась с сияющим лицом и с умытым носом. Значит, великий химический процесс совершился к общему в доме благополучию. Слава богу! Теперь только посыпались вопросы и расспросы о Киеве, о родне, о знакомых, о приятелях и приятельницах и, наконец, о монахах. Я отвечал как попало, — меня занимал рычаг, которым была двинута моя неподвижная кухня на такую необыкновенную деятельность. Рычаг этот ничего больше, как крошечное тщеславие: ей захотелось блеснуть, что называется, своими куличами перед необразованными провинциал[к]ами, — так обыкновенно называла она своих соседок. К концу обеда и я немного поразмялся, передал, разумеется, с безукоризненной точностию, глубочайшие поклоны моим родичам; сообщил им новорожденные, свеженькие городские сплетни и, в заключение, рассказал про дормез и заключенную в нем красавицу, про встречу мою с ротмистром Курнатовским и, наконец, про старую дуэнью, которая так невежливо распорядилась моим чаем.

— Так он теперь только возвращается с контрактов? — воскликнула хозяйка. А хозяин одностонно прибавил:

— Это наш хороший сосед по имению.

— И во всех отношениях прекраснейший человек. Жаль только, что он рано оставил службу, а с таким

состоянием, как он имеет, можно бы далеко уйти. Настоящий кавалерист! — прибавила хозяйка неравнодушно.

— А кто такая эта молодая красавица, что с ним путешествует? — спросил я, обращаясь к ней.

Ее заметно сконфузил мой вопрос, она замялась, покраснела, быстро встала из-за стола и побежала в пекарню. Я посмотрел вслед удалившейся хозяйке и хотел обратиться с таким же вопросом к хозяину. Но, увы! Родич мой почти спал с недопитым стаканом сливянки в руке. Постный обед возымел свое действие. Он бессмысленно взглянул на меня, и мы молча встали из-за стола, пожали друг другу руки и расстались, проговоривши: — До свидания.— Что же значит мой вопрос о путешествующей красавице, от которого моя не весьма конфузная кузина так сконфузилась? Тут что-то интересное кроется, а что именно, известно одному аллаху и, наверное, моей кузине. А когда известно ей, значит, известно всем и всякому, кроме меня, но я постараюсь открыть этот таинственный ларчик. А для чего? И на этом серьезном вопросе я заснул на уготованном мне ложе, в так называемом флигеле, в квартире № 1.

Квартира № 1 состояла из небольшой одной комнаты с узеньким, вроде готического, окном. Где же я помещу своего Трохима? — Это был первый вопрос, представившийся мне, когда я проснулся и осмотрел мою временную обитель. В этой коморке невозможно, здесь и одному тесно, а он у меня, как истинный хохол, любит развернуться, ему необходим простор. Где же мне его поместить? Оставить его на произвол самого себя невозможно. Он, пожалуй, приютится у ленивой и избалованной дворни, и чрез неделю я своего Трохима не узнаю. Нет, это непозволительно и грешно даже. Он, не знаю, что вперед будет, а в настоящее время чист и непорочен, как новорожденное дитя, и по наивно-оригинальному характеру своему несколько не подходит к категории лакеев, а тем более крепостных лакеев.

Хотя он, т. е. Трохим, и не первопланная фигура на изображаемой мною картине, но по своей оригиналь-

ности требующая некоторой отделки, а тем более, что я дал слово читателю очертить его с некоторыми подробностями. А у меня слово закон, и я теперь намерен сделать два дела за одним присестом: исполнить закон и пополнить пробел сегодняшнего дня, т. е. дня прибытия моего к родичам.

Породою своею Трохим не принадлежит к слоям высшего круга людей. Он просто сын киевского мещанина, и когда взял я его к себе в жокеи, то он большею частью лежал на ларе в передней, но не спал, а глубокомысленно смотрел в потолок. Чтобы переменить род его занятия и предохранить от скорбута, я принялся учить его русской грамоте. Ленивый мальчуган сверх ожидания оказался прилежен и чрезвычайно понятлив. В продолжение месяца он начал читать гражданской печати книгу не хуже своего учителя, т. е. меня. Выучивши грамоте Трохима, я успокоился насчет скорбута и его умственного застоя. Прошло несколько времени, я замечаю, что Трохим мой опять потолком любит, как будто он совершенно неграмотный.

— Что же ты не возьмешь какую-нибудь книгу и не читаешь? — сказал я ему однажды.

— Я не хочу читать ваши книги, — отвечал он, вставая с ларя. — Они все толстые, их и в год не прочитаешь, да и непонятные, — прибавил он.

— Резон, — подумал я и, в виде пробы его вкуса и понятия, дал ему полтинник и послал его в книжную лавку Должикова купить себе книгу по своему нраву. Ушел Трохим мой и пропал. Мне нужно было выйти со двора, а квартиру не на кого оставить. Я сердился, но это не помогло. Он возвратился уже в сумерки. Я против обыкновения моего спросил его сердито, где он пропадал во весь день.

— Та всё на Подоле, — отвечал он как ни в чем не бывало. — Там всё про войну говорили, так я и слушал, — прибавил он, вынимая из кармана книги.

В это время наши войска блокировали Силистрию²⁵; меня подстрекнуло любопытство спросить Трохима, что же он слышал о войне.

— Я ничего не слышал, потому что далеко стоял.— И, подавая мне книги, прибавил: — Посмотрите-ка, какое я себе добро купил.

Я чуть не захохотал на его ответ о войне. Книги на меня произвели такое же действие. Одна из них была какая-то физика времен Екатерины II с чертежами, а другая, на синей, толстой бумаге,— переписка той же Екатерины II с Вольтером²⁶.— Пропали мои труды и деньги,— подумал я и, отдавая книги, спросил его, для чего он накопил себе этой дряни? Вопрос мой его озадачил, но он тут же оправился.

— Не дрянь,— сказал он, развертывая переписку фернейского мудреца: — вы только пощупайте бумагу, просто лубок. Не только на мой век,— и детям, и внукам достанет такой дебелий книги.

— Хорошо,— сказал я.— Ну, а другую книгу кому ты после себя оставишь? — спросил я.

— Это ничего, что в ней листы немного потоньше, зато она с кунштами.

И минуту спустя спросил он меня:

— А вы мне будете рассказывать, что значат эти куншты?

— Лучше закажи ты завтра столярю липовую таблицу (доску), разведи в чем-нибудь мелу и принимайся писать, выучишься писать, тогда я и расскажу тебе, что значат эти картины,— сказал я ему и велел ставить самовар. На другой день Трохим принялся за каллиграфию и так же быстро постиг тайну сего изобразительного искусства, как и тайну букваря. Исписавши дести две бумаги, он стал записывать довольно красиво и четко мелочной расход и переписывать песни из московского песенника, который достался ему от отца и лежал до сих пор в сундуке без всякого употребления.

Нужно мне было съездить в Каменец-Подольский, я и Трохима взял с собой, а чтобы занять его чем-нибудь в дороге, я дал ему чистую тетрадку и велел записывать всё, что случится во время дороги, начиная с названия почтовых станций, сел, городов и рек. Я был доволен моей выдумкой. Но кто проникнет зрячим оком непроницаемую тьму грядущего

щего? — со вздохом должен был я сказать впоследствии.

Возвратясь из путешествия, я, как порядочный хозяин, велел Трохиму показать мне вещи, которые братья были в дороге. Увы! чемодан был наполовину опорожнен.

— А где же такие и такие-то вещи? — спросил я Трохима.

— А бог их знает,— отвечал он спокойно.

— Хороший же ты слуга. А я еще, как доброму, слов утку купил. Чего же ты смотрел в дороге? — прибавил я с досадой.

— Я всё смотрел, что мне нужно было записывать в тетрадку. Вы же сами приказали,— сказал он с упреком.

Он был совершенно прав, а я кругом виноват. Заставить лакея дорожный журнал вести! Глупо, оригинально глупо!

— Покажи же мне свою тетрадку, я посмотрю, что ты там записывал?

Он вынул из кармана запачканную тетрадку и самодовольно подал мне свое произведение. Манускрипт начинался так:

«До света рано выехали мы из Киева и на десятой версте перед уездным трактиром остановились, спросили у горбатого трактирщика рюмку лимонówki, кусочек бублика и поехали дальше.

Того же дня и часа, станция Вита. Пока запрягали кони, я сидел на чемодане, а они (т. е. я) сидели на рундуку, пили сливянку и с курчавою жидовкою жартовали».

— Ты слишком в подробности вдаешься,— сказал я ему, отдавая тетрадку.— Спрячь ее, в другой раз я дочитаю.— И, почесавши затылок, пошел к портному и заказал новое платье вместо растерянного в дороге. С тех пор я уже не заставляю его вести путевые записки.

Оригинал порядочный мой Трохим, но что в особенности мне в нем нравится, так это отсутствие малейшей лакейской способности.

Постный обед, а в особенности постный борщ, который едва ли едал и сам великий знаток и сочинитель борщей, гетман Скоропадский, так на меня подействовал, что я, проснувшись после этого постного обеда, часа два по крайней мере лежал, что называется, пластом. Сам Лукулл²⁸ не доказал бы такой удали. Лень пальцем пошевелить; чувствую, что начинает темнеть в комнате,— лень на окно взглянуть. Такого рода припадок может случиться только в деревне, и то после постного обеда. Принимался думать о моем матросе,— куда тебе, и чепуха даже в голову не лезет. Просто оцепенение моральное и физическое. Пришел Трохим, постоял у дверей, посмотрели мы молча минут пять друг на друга, и на том кончилось наше свидание. Я хотел было посоветоваться с ним насчет помещения, но решительно не мог. Что бы подумал честный, аккуратный или, лучше сказать, умеренный немец, если бы прочитал сие простодушное сказание? — Варвар,— подумал бы умеренный немец. А будь у немцев такой постный борщ, как у нас, православных, то и немец бы не в силах был ничего подумать, а только сказал бы, что всё это в порядке вещей.

В комнате едва можно было уже различать предметы, а я всё еще находился под влиянием великопостного обеда и был, как бы сказал крючкодей минувших дней,— был нем, аки рыба, и недвижим, аки клада. Что же вывело меня из этого полусуществования? Никто, и даже сам знахарь, не отгадает. За стеной, во втором номере, раздался молодой женский голос. Я вздрогнул, как будто чего испугался. Оправившись, я приложил ухо к стене или, правильнее, к перегородке и только стал вслушиваться в волшебные звуки, как вошел в комнату оборванный, запачканный казачок и именем барыни просил меня в покои кушать чай. Не успел я сказать ему: приду,— как вошел Трохим с фонарем в руках; это меня окончательно уже поставило на ноги.

— А знаете, кто приехал к нам в гости? — спросил меня Трохим, ставя фонарь на стол.

— Не знаю,— отвечал я, стараясь быть равнодушным.

— Берлин, что мы оставили на дороге,— сказал он просто, а не таинственно, как бы следовало.

— Не может быть! Ты ошибаешься,— сказал я, то ропливо одеваясь. Он молча взглянул на меня, как бы говоря: разве я могу ошибаться?

Я оделся тщательнее обыкновенного и вышел на двор. Среди двора темнело что-то вроде экипажа; я подошел поближе,— действительно, это был знакомый мне дормез. Не веря собственным глазам, я пощупал рессору, замарал грязью руку и медленно, в ожидании чего-то необыкновенного, пошел в дом.

Растворяя дверь, услышал я знакомый мне хриплый бас и потом такой же хохот ротмистра Курнатовского. Весьма несмело взошел я в гостиную и остановился в изумлении: за чайным столом сидела одна хозяйка и никого больше из нежного пола. Поклонившись хозяйке и поздоровавшись с ротмистром как со старым знакомым, я против воли заглянул в другую комнату, хозяйка это заметила, немного поморщилась и предложила мне стул. Я, как провинившийся, но уже прощенный школьник, сел осторожно на стул и молча всё время сидел. Хозяйка необыкновенно была любезна с ротмистром и совершенно не по-светски позволяла [себе] трунуть над моею задумчивостию; мне это не понравилось, и я, тоже не по-светски, взял стакан чаю и вышел в другую комнату. Тут я нашел еще не совсем проснувшегося хозяина, глотавшего постные сухари с чаем. Не только умеренный немец, но и рыжий Джон Буль²⁹ стал бы втупик, увидя, как уплетал мой едва проснувшийся родич сухари с чаем после такого гомерического обеда³⁰, какой мы с ним уходили. На меня, однако ж, это курьезное явление не произвело должного впечатления. Я был погружен в вопрос, куда девалась непостижимая красавица. Загадка, таинственный сфинкс для меня эта обитательница подвижного терема! А может быть, она и теперь, как заколдованная, спит в своем тереме? Где же ее старая спутница? Опять сфинкс! Но этот последний если и останется неразгаданным, то мы с читателем не много

потеряем. А первый необходимо разгадать. Я вспомнил женский тоненький голосок, слышанный мною из-за стены, и, грешный человек, подумал, как бы теперь кстати была замочная скважина. Прочь, недостойная мысль! Я порядочный человек и с препорядочной лысиной, а не гусар и не Дон-Жуан ³¹ какой-нибудь. Ну, что ж, что красавица? И моя кузина красавица, да чорт ли в ней. Она, верно, теперь кокетничает перед зеркалом,— натешится досыта, оденется, и она же к нам придет, а не мы к ней.

И чай уже убрали со стола, и хозяйка вышла в темную столовую со своим дорогим гостем, а красавица не являлась. Верно, она нашла себя неавантажной с дороги и сказалась больной. Завтра всё объяснится. Я хотел уже итти в свою келию, но нашел это невежливым и остался.

Хозяйка долго хохотала со своим дорогим кавалеристом в темной столовой и говорила про какую-то мадам Прехтель, которая, по ее словам, вся позеленеет от зависти, когда увидит ее гениальные кулички.

— И поделом, не скромничай, не секретничай,— сказала она, укротив свой голосок настолько, однако ж, что я из третьей комнаты мог слышать все ее слова.— Сегодня я послала ей подарок, живого барашка. Вежливость, ничего больше. И между прочим велела своей посланнице хоть мимоходом взглянуть на ее произведения,— я говорю о куличах. Она ведь полька, а польки, вы знаете, гениальны на эти вещи. Мне хотелось иметь хотя отдаленное понятие о высоте ее произведений. Вообразите же вежливость мадам Прехтель! И на двор не пустила мою женщину, за воротами встретила и приняла мой подарок,— настоящая светская женщина!

— Сама? За ворота? По этой грязи? — спросил с расстановкой изумленный ротмистр и во все горло захохотал.

— А как бы вы думали? — взаимно спросила восторженная ораторша.

— Это ужасно! — воскликнул вежливый слушатель, и, довольные друг другом, они возвратились в гостиную.

— Кухарка ты, кухарка, моя милая кузина! — подумал я, — да и кухарка-то еще сомнительная. Зато несомненная сплетница.

В гостиной они поместились на чем-то вроде кушетки домашнего изделия, и поместились так близко друг к другу, как только помещаются кум с кумою. Гость, опустя на грудь свои щетиновые усы, глубоко-мысленно погрузился в созерцание одной из замысловатых пуговиц на своей венгерке, напоминавшей ему о недавно минувших попойках и о прочих гусарских подвигах. А гостеприимная хозяйка, положив свою полную, до плеча обнаженную белую руку на осьмиугольный столик, тоже домашнего изделия, с немым участием смотрела на, увы! недавно бывшего гусара.

Не только я, — сам почтеннейший родич мой любовался этим живым изображением самой неллицемерной дружбы.

Глубокая тишина была нарушена глубоким вздохом хозяйки, потом продолжительным «ах... да...» и быстро обращенным вопросом к бывшему гусару.

— Правда ли... нам привез эту милую новость один наш хороший приятель, — она взглянула искоса на меня, — будто бы эполеты уничтожают? Это несбыточно. Я скорее поверю пришествию жидовского мессии, чем этой нелепой басне!

— И я тоже, — сказал бывший гусар.

— И я тоже, — отозвался полуспящий хозяин.

— Да с чем же это сообразно! — подхватила неистово хозяйка. — Да тогда ни одна порядочная девица замуж не выйдет, все останутся в девках, разве какая-нибудь...

Что она еще хотела сказать, — не знаю.

— А скажите, — прервал ротмистр, обращаясь к негодующей заступнице эполет, — какой тогда порядочный человек вступит в военную службу? Какая перспектива для порядочного человека? Что за карьера для порядочного молодого человека? Решительный вздор! И кто вас одолжил этой бессмыслицей? Не из Кирилловского ли монастыря (дом умалишенных в Кневе) вырвался ваш хороший приятель, скажите бога ради, это чрезвычайно любопытно?!

Кузина с торжествующей улыбкой взглянула на своего уничтоженного врага, т. е. на меня, а простодушный мой родич, тот просто показал на меня пальцем и воскликнул: — Вот он!

— Хватили же вы, батюшка, шилом патоки! — сказал популярно бывший гусар, обращаясь ко мне, забывши, что он светский человек. Так велико было торжество его. А я, как блокированная со всех сторон крепость, чтобы не раздражить напрасным сопротивлением сильного неприятеля, т. е. чтобы прекратить грубую пошлость, сдался на капитуляцию и сказал, что я пошутил.

— Хороша шутка! — воскликнул неистово ротмистр-оратор. — Да знаете ли вы, чем пахнет эта пошлая шутка? Порохом, милостивый государь! Да, порохом! А если пойдет дальше да выше, так, пожалуй, и Сибирью не отделаетесь! — И, переведа дух, он продолжал: — За такую шутку, сударь, вам каждый порядочный, и говорить нечего, — каждый, сударь, офицер имеет полное право предложить шутку поострее вашей, — я говорю о шпаге, — понимаете? — Небольшая пауза. — Хотя я теперь и не ношу этого благородного украшения, т. е. эполет, но случись это не в вашем доме, — тут он обратился к улыбающейся хозяйке, — я первый готов предложить эту полюбовную сделку!

И, заложив руки в карманы, ярый заступник благородного украшения гордо прошелся несколько раз по комнате, потом остановился перед ликующей моей кузиною и, покручивая свои темнокрасные щетинистые усы, сказал самодовольно:

— В наш просвещенный девятнадцатый век, — он грозно взглянул на меня, как бы говоря: каково! — турки, персияне, китайцы даже надели эполеты. А мы, кажется, не азиатские варвары, а слава богу, европейцы, если не ошибаюсь. Не так ли, madame?

Madame в знак согласия кивнула головой и, хлопая рукою о тюфяк кушетки, сказала: — Не угодно ли? — Оратору было угодно, и он под самым носом своей приятельницы закурил темную огромную сигару и развалился, как только мог, на узенькой кушетке.

Я растерялся и не знал, что с собою делать. Я всегда

верил в непритворное обожание эпозет всех вообще красавиц, а родственницы моей в особенности, но такое шаманское поклонение мишуре я в первый раз увидел. Значит, я до этого вечера не встречал ни истинной красавицы, ни истинного гусара. Однако, что же мне теперь с собою делать? Доказывать ослам, что они ослы,— нужно самому быть хоть наполовину ослом; это неоспоримая истина. Что же мне предпринять? Взять шапку и уйти в свою светлицу? Это было бы чересчур по-родственному; однако ж я взял шапку в руки и в ожидании счастливой мысли, как застенчивый школьник перед бойкими экзаминаторами, остановился у дверей, поворачивая в руках свою шапку, как будто бы допытываясь у ней ответа на бойко заданный вопрос. Не думаю, чтоб это было сделано с умыслом (на подобную вежливость ее не хватит), однако ж она сама, т. е. моя кузина, вывела меня из затруднительного положения, переменивши фронт: она открыла снова свирепый огонь, сначала повзводно, а потом всем дивизионом, по беззащитной madame Прехтель. Эта езуитка, как называет ее моя кузина, должна быть порядочная женщина, потому что кузина ее ненавидит. Я, однако ж, был доволен, что она хоть на порядочную женщину обратила свои ядовитые стрелы и вывела меня из осады в чистое поле.

Ободрился я и начал подумывать о ретиреде, как подошел ко мне хозяин, глупо улыбаясь, хлопнул меня по плечу и сказал:

— Что, брат, попался? То-то же, приятель, вперед будь осторожнее с подобными новостями, в особенности...— и, понизя голос, он прибавил: — с кавалеристами,— это народ беспардонный!

— Теперь я и сам вижу, что беспардонный, да вижу-то поздно,— сказал я ему шопотом, поблагодарив его за дружеский совет, и обратился к хозяйке с поклоном и с пожеланием покойной ночи.

— А ужинать? — сказала она.

— Я никогда не ужинаю,— сказал я и соврал: за неимением волчьего или помещичьего желудка я вынужден был на такую уловку.

— А какие пирожки с луком и грибами! Просто

гениальные! — сказала она и сделала мину самую гостеприимную.

Но я и от гениальных пирожков отказался, на что светский кавалерист заметил мне, что я препорядочный оригинал.

— Решительный монах! — сказал хозяин; а хозяйка, лениво подымаясь с кушетки, с самою очаровательною улыбкою едва внятно проговорила:

— Чудак! (т. е. дурак).

Отвесив по поклону за любезные эпитеты, я оставил своих остроумных собеседников и удалился в свою мрачную келью.

VII

Вошел я в свою комнату и остановился у двери, чтобы полюбоваться настоящей Рембрандтовой картиной ³². Трохим мой, положив крестообразно руки на раскрытую огромную книгу, а на руки голову, спал себе сном невозмутимым, — едва-едва освещенный нагоревшей свечою, а окружающие его предметы почти исчезали в прозрачном мраке; чудное сочетание света и тени разливалось по всей картине. Долго я стоял на одном месте, очарованный невыразимой прелестью гармонии. Я боялся пошевелиться, даже дохнуть боялся. Как мираж степной исчезает при легчайшем ветерке, так, мне казалось тогда, исчезнет вся эта прелесть от моего дыхания.

Насладившись до усталости этой импровизированной картиной, я тихо подошел к столу, с сожалением снял со свечи и разбудил Тροхима. Спросонья он что-то бормотал; я спросил его: — Что ты говоришь? — И он внятно и медленно прочитал:

— Глаз есть орган, служащий проводником впечатлений света.

— Что ты читаешь? — спросил я его. Он повторил ту же самую фразу и тем же тоном. Я посмотрел ему в лицо: глаза были закрыты. Он спал. Я хотел испытать, может ли двигаться спящий человек, взял его за руку с тем, чтоб провести по комнате, но он проснулся.

— Что ты видел во сне? — спросил я его.

— Нашу квартиру в Киеве, — отвечал он.

— А что ты во сне читал?

— Свою физику.

— А перед сном что ты читал? — спросил я его, глядя на большую раскрытую книгу.

— Житие и страдание священномученика Евстафия Плакиды, — и, протирая глаза, он прибавил, глядя на книгу:

— А я думал, что мы в Тараще на станции.

— Напрасно ты так думал, — сказал я, раздеваясь.

— Я сам теперь вижу, что напрасно.

— Где же ты достал такую большую книгу?

— У здешнего священника.

— Разве ты знаком с ним?

— Я был сегодня у вечерни и познакомился, попросил для чтения какую-нибудь книгу, он и дал мне «Житие святых отец», — эту самую, — прибавил он, указывая на книгу.

— Это хорошо, что ты познакомился со священником, и хорошо, что достал себе такую святую книгу. А не узнал ли ты чего-нибудь о гостях, приехавших в берлине? — спросил я его как бы случайно.

— Как же, я всё узнал, — отвечал он самоуверенно, — мне всё до ниточки рассказал их высокий лакей.

— Наконец-то я раскрыл эту курьезно-таинственную завесу, — подумал я.

— Что же тебе до ниточки рассказал высокий лакей? — спросил я его как бы случайно, мимоходом.

— Они поехали в Киев на контракты, — я весь превратился в слух, — да там и зазимовали. На середокрестной неделе отговелись в лавре, а на пятой выехали из Киева. В Василькове поставили свой берлин на колеса и, дождавшись грязи, поехали дальше.

— Для чего же они дожидались грязи, — спросил я его, — и для чего она им понадобилась?

— Не знаю, так говорил лакей, — ответил он просто душно и продолжал свой рассказ.

— А сюда заехали для того, чтобы оставить свой берлин, пока хоть немного грязь подсохнет, потому что проселочной дорогой его с места не сдвинет и десять

пар волов, а им завтра нужно быть дома: они где-то недалеко живут,— забыл, как он называл свое село. Здесь они завтра переседут в бричку и в ней уже поедут в свое село. Да, чуть было не забыл,— сказал он и остановился.

— Теперь-то,— подумал я,— польется вся эссенция рассказа.

— Сам пан верхом поедет, а в бричке только они.

— Кто они? — спросил я с нетерпением.

— Лакей с барынями,— сказал он спокойно и, отойдя в угол, стал развертывать и расстилать свою постель.

— А что же дальше? — спросил я его с досадой.

— Ничего,— отвечал он преспокойно.

— А кто же эта молодая панна и старуха, что ехали в берлине?

— Не знаю, я не спрашивал,— отвечал он тем же тоном и, прочитав молитву «Да воскреснет бог», потом перекрестил изголовье своей постели и лег спать.

Я только посмотрел на него и ничего больше.

— Ловко же ты разведал всё до ниточки,— тебе только и служить у какого-нибудь Дон-Жуана, а не у меня,— подумал я, раздеваясь и следуя его благо-разумному примеру.

За стенкой было совершенно тихо. Мне не спалось. Что же я буду делать? Кстати вспомнил я о «Морском Сборнике» и, доставши из чемодана № 1, принялся перелистывать. На реестре увечных бедняков, как на чем-то трогательно-привлекательном, я остановился. Долго не мог я отвести глаз от этого заветного реестра или, лучше сказать, от моего героя — великодушного матроса. Я уже начинал чувствовать обаяние дремоты, хотел уже положить книгу и погасить огонь, но мне жаль было расстаться с прозрачным полумраком, образовавшимся от нагоревшей свечи. Я начал ощущать удивительно приятную середину между сном и бдением. В гармоническом полумраке я искал воображением и почти с закрытыми глазами какого-нибудь хотя слабо освещенного предмета, на чем бы остановить погасающее зрение. Мрак становился гуще и свет слабее. Ресницы мои тихо сближались между собою и,

наконец, сомкнулись. Мрак сделался прозрачней и светлее, а в глубине этого синевато-бледного полусвета едва видимо образовался темный, широкий, ровный, как по линейке очерченный горизонт; за горизонтом тихо, медленно начал являться слабый розоватый свет и, усиливаясь, он принимал какой-то серо-мрачный тон. Горизонт потемнел и издавал гул наподобие соснового бора. Я превратился в слух и зрение. Еще минута, гул сделался слышнее, а горизонт темнее. Еще минута, и я уже слышал не неопределенный гул, а страшный рык какого-то чудовища. Свет усиливался и принимал серовато-млечный колорит. Из-за темного необозримого горизонта бесконечною стеною с огромными фантастическими куполами медленно подымались тучи. Подымаясь выше и выше, они теряли свои колоссальные причудливые формы и обращались в темносерую массу нескончаемого пространства. Над горизонтом становилось светлее, и тихо, едва заметно-тихо, как бы из самого горизонта, подымался огромный беловато-серебристый шар, только одним абрисом похожий на солнце. Свет проник повсюду и окончил прекрасно-страшную картину моря, под названием «Пролог ужасной бури». Бледный шар подымался выше и выше и становился бледнее и бледнее, наконец, как бы растопился и исчез в млечно-серой массе. Буря, как миллионы невидимых чудовищ, ревела на просторе. На фоне темных туч блестели стаями белые мартины, а на белых скалах длинными вереницами уселись, как любопытные зрители, черные бакланы. Рев бури спустился как будто бы тоном ниже и стал ослабевать, как усердный бас в конце обедни. В густой и тихой октаве бури мне послышалась грустно-заунывная мелодия нашей народной думы, «Думы об Алексее, пирятинском поповиче». Мелодия сделалась слышнее, слова внятнее, и так, наконец, внятны, что я мог вторить поющему и голосом, и словами. И я вторил следующие стихи:

На морі синьому, на камені білому
Ясний сокіл квилить-проквіляє,
На синее море пильно поглядає,
З моря добичі вижидає, виглядає.

Мелодия, которой я начал вторить, переходит в речитатив и медленно стихает, как безнадежные стоны одиноко умирающего страдальца, наконец, и речитатив умолк. А из-за огромной белой скалы на прибрежный влажный песок выходит Трохим и ведет за собою высокого согбенного, с белою, как снег, бородою слепого старца в синем кафтане и в черной высокой бараньей шапке. В правой руке у старика длинный посох, а левой рукой придерживает он что-то похожее на ящик, покрытое полою длинного кафтана. Это непременно лирник либо кобзарь.— Да где же мог встретить Трохим в такие дни божьего человека? — так спрашивал я сам себя.— Знает, лукавец, что мне нужно, выкопалтаки, несмотря и на страстную пятницу.— Когда я стал пристальнее всматриваться, то и увидел, что это был не лирник и не кобзарь, а шотландский королевский нищий, так живо описанный Вальтер Скоттом в его «Антиквари». — Каким же чудом,— опять я спрашиваю сам себя,— принесло из Шотландии в Будища королевского нищего, да и зачем? Разве в плен попался как-нибудь под Севастополем? Ведь англичане народ оригинальный: они и на войне не чуждаются домашнего комфорта.— Я, однако ж, ошибался,— это был настоящий лирник. Он сел у самого дормеза, положил лиру на колени и начал строить свою лиру, а Трохим, нагнувшись, шепчет ему на ухо: — Про Ивася Коновченка заспивайте, дядюшка.— Старик тихо кивнул головою, повернув колесо лиры, проиграл прелюдию и начал речитативом заунывную рапсодию про славного лыцаря Ивана Коновченка. Окно, т. е. стекло дверец дормеза, опустилось, зеленая шторка поднялась, и в окне показалась чудной, невыразимой красоты женская головка, с большими карими глазами, немножко заспанными. Я вздрогнул и проснулся. В комнате уже серело и страшно воняло погасшей сальной свечкой. Я наскоро надел сапоги, плащ, фуражку и вышел на двор. Весеннее утро сияло во всей своей прелести, из ворот в поле потянулась бричка с двумя пассажирами, сопровождаемыми всадником в венгерке и в затейливом картузе.

— Это они, непременно они,— подумал я, глядя на

удалявшуюся брочку.— Прощай, лукавая надежда! — прошептал я и пошел навстречу уже бодрствующему хозяину.

После словесных и ручных приветствий он предложил мне прогулку в парке,— так называл он небольшой ольховый и дубовый лесок, перерезанный узкою, аршина в три, просекою, именуемой большой аллеєю. Балансируя по намощенным доскам, кое-как добрались мы до калитки так называемого парка. Аллея была суха и даже посыпана толченым кирпичом, но, по причине ее убогой широты и необрезанных ветвей, мы не могли итти рука об руку, а прогуливались гуськом, а следовательно, не могли завести разговора даже о погоде! Итак, хозяин мой молчал, а я красноречиво слушал и, слушая его мудрое молчание, думал. Сначала думал я о таинственной красавице, потом о моем герое-матросе, а потом о том, что я видел во сне прошлую ночь: море, буря,— всё это мимо, думы мои остановились на лирныке. Сон в руку, как говорится. Я искал рукавиц, а они за поясом торчат; я искал образца для своего будущего произведения, и искал чорт знает где; перебрал в памяти литературы всех образованных и древних и новых народов, кроме литературы санскритской и своей возлюбленной родной. Чудаки мы, в том числе и я.

Недавно кто-то печатно сравнивал наши, т. е. мало-российские, исторические думы с рапсодиями хиосского слепца, праотца эпической поэзии, а я смеялся такому высокомерному сравнению. А теперь, как разобрал да разжевал, так и чувствую, что сравнитель прав, и, с своей стороны, я готов даже увеличить его сравнения. Я читал, разумеется, в переводе Гнедича³³, и вычитал, что у Гомера ничего нет похожего на наши исторические думы-эпопеи, как, например, дума «Иван Коновченко», «Савва Чалый», «Алексей, попович пирятинский», или «Побег трех братьев из Азова», или «Самойло Кишка», или, или,— да их и не перечтешь. И все они так возвышенно-просты и прекрасны, что если бы воскрес слепец хиосский да прослушал хоть одну из них от такого же, как и сам он, слепца, кобзаря или лирныка, то разбил бы вдребезги свое лукошко,

называемое лирой, и поступил бы в михоноши к самому бедному нашему лирныку, назвавши себя публично старым дурнем. Увы! теперь я себя так назвать должен, во-первых, за то, что хотел подражать, а во-вторых, за то, что не знал, кому подражать. А где причина этой несамознательности, этой безнравственной несамознательности? Известно где, в школе. В школе нас всему, совершенно всему научат, кроме понимания своего милого родного слова. О школа, школа, как бы тебя скорее перешколить! Я знаю, как это сделать, только не знаю, как бы сделать это так, чтобы кузина моя не пронюхала о моем замысловатом проекте. Она тогда проклянет меня, потому что по смыслу этого хитрого проекта ее, как мать, первую придется отвести в школу, да еще и в хорошую школу, а за нею и прочих на нее похожих матерей, а об отцах и говорить нечего, в особенности о моем родиче. Неправда ли, глубокомысленный проект?

Неблагодарный! — скажет с негодованием благородный читатель. — Ежели ты попрал священные узы родства и дружбы, то вспомнил бы вчерашний обед, вспомнил бы, кому ты обязан гостеприимством, вспомнил бы, против кого ты ухищряешься, на кого ты руку подымаешь. — Нехорошо, сам вижу, что нехорошо делаю, что проект мой хотя и удобоисполнимый, но суровый, бесчеловечный! Но, увы! — один-единственный и необходимый.

После, нельзя сказать, приятной, но, смело можно сказать, оригинальной прогулки по трехрашинной просеке хозяин предложил мне еще прогулку по конюшням и коровникам, недавно им воздвигнутым по иностранному образцу, напечатанному в каком-то журнале. Несмотря на такую заманчивую рекомендацию, я отказался от обозрения монументальных зданий. Не выдавши этих построек, я имел об них ясное понятие: это должны быть собачьи конуры, а не конюшни и коровники. Ты, брат, из какого хочешь образца делаешь на свой образец: в моем бедном родиче совершенно всё выравнено и выглажено. Не думайте, однако ж, чтобы тут светское образование работало,

нисколько: сама всемогущая природа его так оболванила. Ни одной черты, ни одного малейшего бугорка, ни одного пятнышка, словом, ничего такого, за что бы можно было ухватиться и дойти хоть до пошлой самобытности характера. От лакированных сапогов до узенького плоского лба — всё гладко. Его можно бы назвать ничем, если бы он не был помещиком нескольких сот душ крещеной собственности и если бы он строил свои конюшни и коровники, как их обыкновенно строят, просто, прочно и просторно, — а он всё это делает совершенно напротив: вычурно, мелко и только на один год. В особенности мелко. Начиная с парка и просеки, по которой нельзя иначе ходить как гуськом, до домашней мебели и фальшивого циферблата, нарисованного в треугольнике фронтона, всё у него мелко, непрочное и крайне безобразно. Вот одна-единственная черта в абрисе этого человека, на которой может остановиться глаз даже и не быстроглазого наблюдателя. Сказавши друг другу — «до свидания», мы расстались; он пошел в свои чуланы, а я в свой чулан.

Войдя в комнату, то бишь в чулан, я разбудил Трохима и послал его в село искать для себя квартиру, а сам, как был в плаще и сапогах, лег на постель и, как это обыкновенно бывает после ранней прогулки, заснул. Спасибо вежливым хозяевам, что не разбудили к чаю. Я проспал бы до вечера, если бы Трохим, возвратившись около полудня из села, не разбудил меня, сказавши, что я похож на пьяного чумака. Сходство, действительно, было небольшое, но я не обратил на его колкое замечание никакого внимания и напустился на него, зачем он так долго шлялся.

— Шлялся! — процедил он сквозь зубы. — Ни до одной светлицы приступу нет, а их в селе что хата, то и светлица.

— Что же это значит? — спросил я с удивлением, принимая слово «приступу» за дороговизну.

— А то значит, что солдаты только вчера выступили в поход, так бабы сегодня и принялись мазать свои хаты. Просто содом и гомор в селе, — и где они столько белой глины взяли? И меня одна сердитая

баба чуть не вымазала белой глиной, — прибавил он, оглядывая свое платье.

— Что же нам теперь делать без светлицы? — спросил я у Трохима.

— Я уже всё сделал! — отвечал он.

— Что же ты сделал?

— А вот что я сделал. Из бурсы приехал попович на праздники. Ему и отвели квартиру в саду, в той клетке, где летом матушка варенья варит и разные настойки делает. Так вот они, т. е. матушка с батюшкой и сам попович, просят меня, чтобы я приходил ночевать к их поповичу, чтобы ему не так было страшно. Так вы теперь дома ночуйте одни, а я буду ходить к поповичу. Он привез с собою много тетрадок и одну большую, всю исписанную разными стихами, так мы ее и будем по вечерам читать, чтобы не страшно было.

— Сама судьба за тебя, Трохиме! С богом! — Я еще что-то хотел сказать, но грязный казачок вошел в комнату и сказал, что барин с барыней меня ждут обедать. Я вспомнил вчерашний обед и призадумался. Не итти — нехорошо: подумают, что я сержусь за вчерашние эполеты. А итти тоже нехорошо: обожруся по-вчерашнему. Подумавши, я решился на последнее зло.

Была пятница, — и обед, хоть не совсем умеренный, но был совершенно постный, т. е. без рыбы, это-то и спасло меня от объедения. Однако ж, я все-таки всхрапнул часика два после обеда. Всхрапнувши, я вышел на двор, но кроме парка совершенно некуда было выйти, и я пошел в парк. Узенькая аллея показалась мне просторнее, и я принялся ее мерять. Утренние мысли посетили меня снова и были уже гораздо розовее и нисколько не касались ни родственников, ни вообще современного человека. Они витали в минувшей бурной жизни, в уныло-сладких песнях задумчивых земляков моих. Мне было весело, приятно, меня сладко волновали эти задушевные унылые думы. Я был околдован ими. Я был настроен на их заунывный тон, и, несмотря на то, что близился вечер, самый восхитительный весенний вечер, я пошел в свою комнату, достал чистую бумагу, перо, чернила и написал эпиграф к первой части своей будущей поэмы:

«На морі синьому, на камені білому» и проч.

Потом достал огня, зажег свечу, лег на кровать, и, странное дело, мысли мои вдруг перешли от поэмы в мое собственное прошлое. Мне представилась комната в 9-й линии, в доме булочника Донерберга, комната со всеми ее подробностями, не говорю с мебелью — это была бы неправда. Вдоль передней стены над рабочим столом висят две полки; верхняя уставлена статуэтками и лошадками барона Клодта, а нижняя в беспорядке завалена книгами. Стена, противоположная полузакрытому единственному окну, увешана алебастровыми слепками следков и ручек, а посреди них красуется маска Лаокоона и маска знаменитой натурщицы Фортунаты. Непонятное украшение для нехудожника. Вдобавок, мне вообразился тот самый день, когда мы с покойным Штернбергом на последние деньги купили себе простую рабочую лампу, принесли ее в нашу келью и среди белого дня засветили, поставили среди стола и, как маленькие дети, восхищались нашим приобретением. После первых восхищений Штернберг взял книгу и сел по одну сторону лампы, а я взял какую-то работу и сел по другую сторону лампы. Так мы днем с огнем просидели до пяти часов вечера, в пять часов пошли в Академию и всему натурному классу разблаговестили о своем бесценном приобретении. Некоторых из товарищей пригласили полюбоваться нашим дивом и по этому случаю задали вечерку, т. е. чай с сухарями. Мы были тогда бедные, но невинные дети. Боже мой! Боже мой! Куда умчались эти светлые, эти золотые дни? Куда девалась прекрасная семья непорочных вдохновенных юношей?

Иных уж нет, а те далече,
Как Сади некогда сказал³⁴.

Я так искренно, так чистосердечно предался моему прекрасному прошедшему, что несколько раз принимался плакать, как дитя, у которого отняли красивую игрушку, и эти благодатные слезы обновили, воскресили меня. Я внезапно почувствовал ту свежую, живую силу духа, которая одна способна чудо сотворить в нашем воображении. Передо мною открылся чудный,

дивный мир самых восхитительных, самых грациозных видений. Я видел, я осязал эти волшебные образы, я слышал эту небесную гармонию, словом, я был одержим воскреснувшим духом живой святой поэзии.

Грязный казачок приходил меня звать на чай, но я сказался нездоровым и не пошел.

Успокоившись немного и приведя в порядок свои возмущенные мысли, я, помолившись богу, принялся за работу.

VIII

Последний день страстной, вся святая и половина фоминой недели невидимо мелькнули надо мною. Я только и помню, что приходил Трохим, приносил обед и свежую воду, ставил всё это осторожно на столе и молча выходил в двери. В среду, уже на фоминой неделе, перед рассветом, я написал последний стих, поставил точку, положил перо, вздохнул, перекрестился и сказал: — Слава тебе, господи! — После всего этого попытался я заснуть, но попытка мне не удалась, и я напрасно только погасил свечу. Дождать рассвета в горизонтальном положении и впотьмах мне показалось скучным, я оделся как мог и вышел на двор. На дворе тоже было темно и тихо, как в моей келии. Свежий чистый воздух и упоительный аромат распушавшейся земли оживил меня, как усталого путника в пустыне оживляет глоток свежей воды. Под ногами уже было сухо, и я попробовал сделать несколько шагов вперед, — тоже сухо; я еще отошел немного. Из-за какого-то сарая или конюшни я увидел вдали освещенные окна церкви. Заутренья. — Должно быть, сегодня праздник, — подумал я и хотел идти в церковь, но опасался вместо церкви попасть в лужу, что весьма естественно в теперешнее время. Вскоре птички в воздухе зачиликали и начало светать. Я ошупью пошел далее по направлению к церкви, но тут случился забор, окружающий господский двор, нужно было переменить направление и поискать сначала выхода. Рассветало быстро, и я без большого труда нашел ворота и вышел на площадь, или царыну. Через царыну я прямо

пошел к слабо освещенной церкви. Солнце вступило в свои права, и свет огня бледнел, как трус, в круглых оболонках темной старинной церкви. Заутрени кончилась, и народ выходил на паперть, когда я подошел к церковной ограде. Трохим, увидя меня, пробрался сквозь толпу и с радостным лицом бросился ко мне на шею; я показался ему из гроба вставшим. Обнявшись братски, мы с ним похристосовались и отошли в сторону, чтоб не затруднять мужичков сниманием шапок. За толпою из церкви вышел и священник, человек средних лет с едва заметною проседью в волнистой бороде и раскинутой по плечам косе. Наружность его мне понравилась. Снявши шапку, я подошел к священнику, и после троекратного благословения мы с ним похристосовались. Я отрекомендовал ему себя. Он отвечал тем же мне, сказавши: — Отец Савва Нестеровский, — и тут же просил меня с Трохимом Сидоровичем на чашку чаю после обедни. Я дал слово, и мы расстались.

— Эге, — подумал я, — Трохим мой, значит, не уронил себя. Молодец! — Мне это очень понравилось.

Утро было самое прекрасное, и мне не хотелось возвращаться в свою мрачную обитель. Я предложил Трохиму прогуляться немного со мною по улицам села, предложил ему как человеку уже знакомому с местностью и могущему служить мне хорошим чичероне³⁵, а в случае нужды оборонить и от собак, — последнее для меня было важнее первого. Пройдя десятка два шагов, я остановился и нечаянно взглянул на церковь. Церковь была обыкновенная. Ее вы увидите в каждом селе в Малороссии: деревянная, темная, с трех осьмиугольных конических куполах, с почерневшими узорными железными крестами. Самая обыкновенная церковь, но теперь она показалась мне необыкновенно грациозною. Солнечные лучи трепетали розовым огнем на ее круглых оболонках и осьмиугольных, бляхою крытых куполах. Развесистые старые вербы и стройные высокие тополи, окружая, полузакрывали ее, выпукло и мягко тушуясь солнечным розовым цветом. Виньетка, какой не увидите ни в самом роскошном кипсеке³⁶.

Налюбовавшись досыта этой очаровательной

виньеткой, пустились мы далее. Село хоть куда! Хаты большие, не пошатнувшиеся в разные стороны, как пьяные бабы на базаре. Чистые, белые, нередко с светлицами и почти все окруженные темными фруктовыми садами, клунами и стогами разного хлеба. И скотины разной также немало выгоняют из дворов на выгон свежие, здоровые девки, в новеньких белых свитках, в красных и желтых сапогах на вершковых подковах. Везде всё чисто и опрятно, так что хоть бы и в казенном имени, так впору. Выходит, что родич мой, хотя и не книгочий, а человек хоть куда и, как видно, хозяин не из последних. Исполать тебе, Лукьян Алексеевич! Пойми ж теперь и уразумей этот неразгаданный иероглиф, эту курицу без перьев под именем человека! Он, кажется, и думает только о том, как бы поуютнее, т. е. потеснее или поуже, конюшню или голубятню выстроить, и больше ничего. Нет, не так. Он и в игрушки играет, и молча свое человеческое дело делает. А другой такой же, кажется, человек, да не такой. Всё у него громадность — от хлыстика, шпор и до голубятни. Кричит, распинается за новые идеи, за цивилизацию, за человечество, а сам...

Мужичков под пресс кладет
Вместе с свекловицей³⁷.

Пойми ж теперь, уразумей этот неразгаданный иероглиф, этого хитро созданного человека!

Проект мой о перевоспитании благовоспитанных родителей, действительно, проект превосходный, но если бы мне привелось его приводить в исполнение, то, не обинюясь, я исключил бы своего родича из общей категории. Кузина — это другое дело. Ее тоже можно бы исключить, но совершенно на других данных, по пословице, например: горбатого могила исправит.

Кривая, неправильная улица, обведенная плетнями и частоколами, вывела нас на такую же криво, неправильно, но прочно устроенную плотину с двумя небольшими, соломой крытыми мельницами, увенчанными огромными гнездами аистов, уже возвратившихся с зимовки и тщательно обновлявших свои на время покинутые жилища. Вода лилась из открытых шлюзов и

шумела, не шевеля огромных мельничных колес. Религиозные земляки-мои не только своим волам и коням, воде своей не позволяют работать в праздник. За широким прудом, на желтовато-бледной возвышенности из молодого березника и олешника выглядывает несколько белых хат с размалеванными ставнями и с аистовыми гнездами на гребешках. Хаты, как нарядные сельские красавицы в чистых белых свитках, подошли к зеркалу пруда полюбоваться своей красотой. А весь этот незатейливый пейзаж оглашался стаями плававших по воде крикливых гусей и уток. Я сел на инвалидном жерновом камне, лежавшем на берегу пруда, полюбоваться этой живописной картиной. А любознательный Трохим сообщал мне свои топографические сведения о представляющейся перед нами местности. Он сообщил мне, что это не просто пруд, а речка, называемая Гнилой Тикич, и что село называется не просто Будища, а Гнилые Будища, а такие, просто Будища, находятся за Шестеринцами. Трохим соврал: за селом Майдановкою просто Будища находятся, а не Шестеринцами. У меня эта местность крепко засела в памяти. Я изучил ее еще тогда, когда ходил искать себе маляра-учителя и нашел его в персоне отца диакона Ефрема, у которого я, как уже известно читателям, не выдержал первого искуса.

Заблаговестили к обедне, и мы отправились на квартиру. Побрившись и одевшись наскоро, мы пошли в церковь. После обедни зашли к отцу Савве на «отче наш» или, пожалуй, на чашку чаю.

Дом отца Саввы наружностью своею ничем не отличался от большой мужицкой хаты, разве только двумя дымарями, одним белым, а другим закопченным, и небольшим навесом над дверями на точеных столбиках. И внутренность дома, т. е. светлицы, тоже не многим отличалась от внутренности хаты зажиточного мужика, разве только липовым чистым полом, посыпанным белым, как сахар, киевским песком. Такой роскоши мне не случалось видеть не только у богатого мужика, ниже у полупанка. Дубовый резной с в о л о к с надписью, кем и в котором году дом сей построен, и такие же резные косяки у дверей и окон. В переднем

углу образ почаевской божьей матери, и вместо лампы теплились простого желтого воску свечи. Стол обыкновенной величины и фигуры покрыт неважным килымом (ковром) и сверху как снег белой скатертью. Вместо стульев около стен широкие, чистые липовые лавы (скамьи); между окнами боковой стены небольшой столик с фигурными ножками; на столике лежат раскрытые гусли с изображением на внутренней стороне крышки пляшущих пастушек и играющего на флейте пастушка. Над гуслиями, в почерневшей золотой раме, портрет Богдана Хмельницкого с гетманским гербом на фоне, окруженным какими-то буквами. Портрет или, как матушка его называет, «запорожец» — старинного, но нехитрого письма. Над портретом длинная полка, уставленная большими и маленькими книгами в темных кожаных переплетах. Налево от двери, в углу, толстая неуклюжая печка из разрисованных кафель, очень похожая на свою хозяйку матушку Евдокию в штофной узорчатой споднице и такой же юпке с золотыми позументами. На нескольких кафлях между цветами и птицами нарисованы двуглавые орлы. Они мне напомнили наивный рассказ Конисского о таком же изображении на кафле, стоявшей бедному хохлу пытки и жизни. Самое же лучшее украшение светлицы отца Саввы — это безукоризненная чистота и обаятельная свежесть. Не успел я, как говорится, оглянуться в сей обители мира и тишины, как стол уже был уставлен разнокалиберными графинами с разноцветными жидкостями и тарелками с разнородными закусками, а в заключение — около стола стояла свежая, розовая поповна с подносом в руках, уставленным чашками с чаем. Отец Савва прочитал «отче наш», благословив ястие и питие сие, налил в рюмку какой-то настойки, перекрестился и выпил, а другую рюмку предложил мне. Я от рюмки отказался, он предложил ее Трохиму, а меня просил выкушать чашку чаю. После чаю сама матушка предлагала какой-то особой наливки, под названием «семибратняя кровь» и жареную утку с яблоками, но я опять-таки отказался. А Трохим Сидорович не устояли против «семибратней крови» и утки

с яблоками, чем и сделали величайшее одолжение гостеприимной матушке Евдокии. Поблагодарив за угощение хозяина и хозяйку и сказавши «до приятного свидания», я вышел в сопровождении хозяев на двор. На дворе нам встретился человек без левой руки и с солдатским георгием в петлице. Хозяева остановились с незнакомцем, а я вышел на улицу. У ворот на улице стояла бричка, небольшая, о паре лошадей и с кучером мальчиком. Не обращая внимания на это весьма обыкновенное явление, я пошел далее. Дорогою спросил я у Трохима о его друге поповиче, и он сказал мне, что ученый друг его попович еще во вторник отправился в Киев, и начал мне описывать самыми радужными красками своего ученого бурсака, а в заключение прибавил, что он к нам придет в Киеве и принесет тетрадку, называемую «Слово о птицах небесных, як стали жити и бога хвалити и беса проклинати». Хорошее, должно быть, сочинение. Я просил Трохима сообщить мне его, когда будет можно. У ворот господского дома мы расстались с Трохимом; он возвратился в село, а я отправился с визитом к моей милой кухне и почтенному моему родичу.

Встретился я с ними в столовой,— они работали над какой-то бабой и холодным поросенком. Приличное «ах!» вылетело из жующих губ кухни, и безмолвное поднятие руки родича с вилкой приветствовало мой внезапный приход. После поздорованья они нашли, что я очень похудел, и советовали поправляться после болезни. Я смиренно подсел к ним, последовал их мудрому совету и принялся за поросенка с бабою, как за прелюдию грядущего обеда. Не успел я воткнуть вилку в фаршированный желудок приятеля, как у крыльца загремел экипаж. Кухина вскрикнула: — Мосье Курнатовский! — бросила нож, вилку и убежала в другую комнату. Размашисто и ловко вошел ротмистр в столовую и, мимо хозяина протягивая мне руку, сказал:

— Я виноват перед вами! Простите! Эполеты существуют только до нового года.

Из третьей комнаты вылетело «ах!» и вслед за ахом тревожный вопрос кухни:

— А аксельбанты остаются?

— Остаются! — сказал ротмистр и распростер свои объятия над изумленным хозяином.

Чрез минуту, много чрез две, явилась кухня, точно «Аврора» Гвидо Рени, свежая, улыбающаяся, румяная, как едва развившийся лепесток сантифолии. Склонив на грудь голову, ротмистр благоговейно подошел к ручке, и после поклонения они пошли в гостиную, а мы с хозяином принялись снова за фаршированного приятеля. Я дивился волшебному превращению кухни. — Давно ли, — думал я, — видел ее, эту самую женщину, самой обыкновенной женщиной, а теперь — фея³⁸, нимфа и т. д. Недаром сказал вдохновенный царь Давид: «Господь умудряет слепцы», он же умудряет и красавицу до гробовой доски оставаться если не красавицей, так по крайней мере кокеткой. Лакеи не дали мне кончить моих размышлений и фаршированного приятеля. Они стали раскрывать и накрывать стол, а я, положи оружие, волею-неволею должен был удалиться в гостиную. В гостиной увидел я совершенно не то, что ожидал. Вместо любезной милой болтуни, кухня моя сидела молча на кушетке ничуть не в живописном положении, щипала свой батистовый платок и едва обращала внимание на отборные восторги ротмистра. — Что бы это значило? — спросил я сам себя и посмотрел на родича, но тот даже бровью не мигал на мой вопросительный взгляд. В недоумении я хотел удалиться, опасаясь быть лишним человеком, но меня предупредил лакей в нитяных перчатках и с салфеткой, одним концом наверху на большой палец левой руки. Он доложил, что закуска подана. Кухня молча подала руку ротмистру, а мы с родичем, взглянув друг на друга, тоже взялись за руки и пошли чинно в столовую. За обедом та же самая история. После пирожного уже кухня как бы нехотя сообщила, что на второй неделе праздника была у ней с визитом madame Прехтель и, увидевши куличи ее и бабы, так вот вся и позеленела от зависти.

— Коварная женщина! — проговорил ротмистр, и мы встали из-за стола. Сейчас же после обеда ротмистр раскланялся, сел в свою нетычанку и уехал. Я тоже

взялся за шапку с благим намерением удалиться в свой приют, но кузина меня остановила, сказавши:

— А знаете ли, зачем приезжал к нам Курнатовский?

— Буду знать, если удостоюсь вашей доверенности! — сказал я не без лукавства.

— Просит меня в посаженные матери, а его, — она показала на уже дремавшего своего супруга, — посаженным отцом. Я наотрез отказала, — сказала она с негодованием. — И в самом деле, — продолжала она тем же тоном, — что я ему за маменька такая далась? Бессовестный! Да и партию-то делает какую? Ни больше, ни меньше, как своя собственная крепостная девка! Прекрасная! превосходная! самая блестящая партия! — воскликнула она в исступлении.

— А нам-то какое дело? — перебил ее разбуженный супруг. — Крепостная, так крепостная, нам с ней не детей крестить, перевенчали да и баста! Пускай с нею возится, как знает. Да! — сказал он, обращаясь ко мне. — В следующее воскресенье он хочет венчаться в нашей церкви, просил вас тоже быть свидетелем обряда и расписаться в церковной книге.

— С удовольствием, — сказал я и удалился в свою каюту.

IX

В ожидании воскресенья или, лучше сказать, в ожидании этой архилюбопытной свадьбы я принялся было за свою поэму, но дело у меня не клеилось: нужно было дать ей время вылежаться, как выражается вообще пишущее сословие. Утвердившись в этом благом мнении, я в одно прекрасное утро собрал разбросанные листочки моего заветного творения, перенумеровал их и, как самая нежная мать укладывает в колыбель дитя свое, так я уложил в портфель свою поэму, свое бесценное сокровище. Утро было, действительно, прекрасное, и я, как Вальтер Скотт, перевесил кожаную сумку с карандашами и бумагой через плечо и, вооружась походною дубиной, отправился к пруду и мельницам. Пройдя пруд и мельницы чрез плотину, я уеди-

нился в молодую березовую рощу, что по ту сторону пруда, или, правильнее, Гнилого Тикича, и в тени распускающихся деревьев, обаянных самым свежим ароматическим дыханием весны, предался созерцанию оживающей божественной природы. Для одного такого утра, думал я, без сожаления можно оставить в городе образованных друзей и поваляться недельку-другую с медведями в берлоге. Прогулки я возобновлял каждое утро, и каждое утро с новым наслаждением. Бывало, выйду из тенистой березовой рощи на светлую поляну и по извилистой дорожке подымусь на пригорок, сяду себе подле креста (такие кресты ставятся на возвышенностях для знака о близости воды), достану из сумы карандаш, бумагу и рисую себе широкую прекрасную долину Гнилого Тикича, освещенную утренним весенним солнцем. Это были для меня самые сладкие минуты, и тем более сладкие, что панорама, лежавшая предо мною, живо напоминала мне мастерской рисунок незабвенного моего Штернберга, сделанный им с натуры где-то в Башкирии.

Когда солнце подыметя над бесконечным горизонтом и широкие тени спрячутся за кусты и пригорки, тогда я бережно укладываю мою работу в сумку и продолжаю свою прогулку в тени развесистых дубов и вязов. В одну из таких прогулок я нечаянно попал на совершенно рюисдалевское болото (известная картина в Эрмитаже), даже первый план картины с мельчайшими подробностями тот же самый, что и у Рюисдала³⁹. Я просидел около болота несколько часов сряду и сделал довольно оконченный рисунок с фламандского двойника. Интересно бы было сличить его с знаменитой картиной. На другой день я сделал небольшой этюд с суховерхой старой ивы; хотел было сделать такой этюд и с полуусохшего старого береста, но на живой его половине не развернулась еще зелень, так я ограничился только одним остовом. И такой рисунок не пролежит даром места в портфеле доброго художника. Много еще нарисовал я верб и берестов в ожидании заветного воскресенья, или курьезной свадьбы.

В субботу вечером, возвращаясь в село, встретил я на плотине своего Трохима, гуляющего с безруким ка-

валером, с тем самым, что встретился мне на дворе у отца Саввы. И теперь, как и прежде, я не обратил на него особенного внимания и прошел мимо. Около квартиры догнал меня Трохим и без дальних околичностей сказал мне, что я ничего не знаю.

— А ты много знаешь? — спросил я его также фамильярно.

— А я знаю, что завтра будет свадьба, да еще знаете ли, какая свадьба? — прибавил он таинственно.— Тот самый пан, что мы видели на дороге и что заезжал сюда, тот самый пан женится на своей подданке, на той самой, что видели тогда в берлине и что ночевала у нас за стеной.

— Так вот где она — таинственная загадка! — подумал я.— И как всё это просто и натурально, а мне-то сдуру и бог знает каким она неразгаданным сфинксом показалаась.

— А кто этот кавалер, с которым ты гулял на плотине? — спросил я у Трохима.

— Он-то мне и рассказал всю эту историю, — отвечал Трохим.

— Да сам-то он кто такой?

— А я его и не спросил, кто он такой. Бог его знает, что он за человек. Отец Савва говорит, что он отставной солдат.

— Не матрос ли? — спросил я, прерывая длинноречивого Трохима.

— Нет, не матрос, а просто солдат, — на своем стоял невозмутимый Трохим.

— Хорошо, пускай будет и солдат, — сказал я и, не заходя в квартиру, как был с сумкою и с походною дубиной, пошел навстречу моему амфитриону и его благоверной половине.

— А знаете ли, что я вам скажу? — кричала мне кузина издали.

— Буду знать, когда вы скажете, — отвечал я, приближаясь.

— Я завтра на свадьбе! — сказала она торжественно: — и к вам, как к артисту, обращаюсь с моей просьбою. Посоветуйте, как мне одеться так, чтоб

было сообразно с ролью, которую я займу в этой комедии.

— Оденьтесь так, как вы всегда одеваетесь,— сказал я.

— Какой вы любезный артист,— сказала она и сделала самую пленительную гримасу.— Как всегда! Разве я каждый день играю роль посаженной матери? Растрепанный вы человек! — сказала она полушутя, полусерьезно и еще пленительнее улыбнулась.

— Вы, кажется, отказались от этой высокой чести? — сказал я в недоумении.

— Никак невозможно! Он пишет ко мне так убедительно, пишет так, что я не в силах отказать ему. Прочитайте, как он пишет.— И подала мне розовую раздушенную записку. Я повертел ее в руках, понюхал и отдал обратно.— Фу! какое ледяное равнодушие. Хотя бы на почерк посмотрел. А кто привез мне это розовое послание, так уж этого ни за что не скажу,— сказала она, бережно укладывая записку в ридикюль.

— Лакей или кучер, кому же больше,— сказал я наугад.

— Ошиблись, подымайте выше! Так и быть, не буду вас больше мучить. Сам родной брат невесты, какой-то отставной матрос. Я его не видала, сам не изволил подать письмо, а переслал от священника. Тоже гордость! Ну, как же я завтра оденусь? Добьюсь ли я от вас какого-нибудь совета или нет? — спросила она меня в ту самую секунду, как я вспомнил о безруком кавалере.

Я сказал ей что-то невпопад, и она захохотала самым непорочным девичьим смехом. Непорочный этот хохот толкнул меня на мысль самую лукавую, и я, оправившись, сказал:

— Оденьтесь вы завтра... это для вас ничего не значит. Оденьтесь вы завтра так, чтобы уничтожить и его красавицу невесту, и его самого.

— А самого-то как? — спросила она с волнением.

— Сделайтесь похожей на его дочь, вот и все!..

— И прекрасно! — прервала она в восторге.— Я сама то же думала, это будет маленькая мистификация, не правда ли? — прибавила она, обращаясь

к мужу, а тот в знак согласия кивнул головой и, глядя на меня, как бы говорил: да и ты, брат смиренник — штука препорядочная!

Довольная моим проектом, кузина позволила мне, не переодеваясь, пожаловать к ней на чай. Я повиновался и, следуя по стопам красавицы, думал чуть-чуть не вслух:

— Неужели вы, красавицы, так слепы, так удивительно слепы в отношении собственных прелестей, что, не говоря уже о морщинах, седых волос у себя не замечаете?

А это, действительно, так. Я совершенно убежден в этой горькой истине. Во времена оны, бывало, пригласят меня нарисовать портрет с какой-нибудь, действительно, почтенной матери семейства. Старушка благочестивая, богомольная, тихая, кроткая, вся в черном, лучшей модели не может быть для отшельницы готических времен: садись и рисуй без малейшей фантазии. Попробуй же нарисовать портрет этой отшельницы без малейшей фантазии, т. е. а-ля Жерар Доу. Да тебе не только не заплатят, — из дому выгонят, как злейшего карикатуриста. Тогда и узнаешь, кто такая благочестивая отшельница.

Я долго переносил подобные неприятные приключения, пока не смекнул, в чем дело. Догадался, и пошло как по маслу! Простота матушка.

Пишу я сию мою заповедь молодым друзьям моим, имеющим несчастье прокладывать себе художественную дорогу такими жалкими, такими горькими средствами.

В продолжение вечера кузина моя была, что называется, в своей тарелке: острила, смеялась и чуть-чуть не танцевала, как девчонка при одном слове о газовом платье и о какой-то еще невиданной в мире тюнике. Она до того была весела и любезна, что сделалась приторною и, наконец, несносною. Чужая радость вообще как-то нас мало радует, а несносная радость моей кузины меня просто бесила. Чтобы не быть безмолвным зрителем глупости и пошлости, я забрал свою мизерию и вышел, от ужина даже отказался. А после такой прогулки, как сделал я в этот день, это была

большая жертва. С досады попробовал я заснуть, — проба совершенно не удалась. Попробовал читать — еще хуже. Какую-то отвратительную скуку наваяла на меня кухня своей глупой радостью. Как безобразная каракатица, скука ошутала меня своими гнусными ветвями и во всю ночь не давала мне покою. Что бы я ни вспомнил, о чем бы ни подумал, всё скучно, всё невыносимо, противно. Если английская хандра имеет хоть фамильное сходство с нашей русской тоскою, то я верю в возможность путешествия пешком на Камчатку, как это сделал какой-то лорд, да еще вдобавок и женился на дочери петропавловского пономаря. Свадьба, например, кажется, веселый, радужный предмет для размышления? Попробуйте же вы размышлять о нем во время скуки. Да он вам покажется таким черным, таким гадким предметом, что вы и глаза закроете, а если вы уже с проседью, с лысиной и не женаты вдобавок, то лучше и не размышляйте о свадьбе. Тут вам ползет в голову и старость, и одиночество, и кончится тем, что вы на первой же попавшейся вам дуре возьмете да и женитесь во избежание одиночества. Правда, участь старого холостяка самая незавидная, но и участи старого мужа молодой жены нельзя позавидовать. По-моему, лучше доживать свой век старым холостяком, нежели окружить себя чужими розовыми крошками, а свою лысую почтенную голову украсить украшением, не внушающим ни малейшего почтения.

Перед рассветом немного освободился я от этой проклятой ведьмы-скуки и заснул, а проснулся уже на благовест к обедне. Хорошо еще, что Трохим, бог его знает, каким наитием, догадался с вечера фрак и прочее приготовить; так я духом оделся и вышел из квартиры в ту самую минуту, как разодетая моя кухня садилась в коляску, чтобы ехать к обедне. Она предложила мне место около своей пышной персоны, но я отказался от этой чести и пошел пешком. Я думал уже около церкви увидеть великолепные экипажи жениха и невесты, — ничего не бывало: одна только коляска моей кухни красовалась да какая-то маленькая бричка с маленьким кучером. В церкви, как обыкновенно, мужички усердно шопотом молились богу. На

клиросе дьячок выводил басом «херувимы», с помощью вчерашнего безрукого кавалера. А где же молодые? Не случилось ли какого-нибудь недоразумения, как это часто бывает в подобных случаях? После обеда отец Савва просил меня и Трохима Сидоровича на чашку чаю, и мы не отказали. Едва успел отец Савва прочитать «отче наш» и благословить ястие и питье сие, как вошел в светлицу усердный помощник охрипшего дьячка, безрукий кавалер. Матушка, после обыкновенного приветствия, назвала его Осипом Федоровичем и просила садиться. Сначала он повесил свою шапку на колышек, нарочно для этого около дверей вбитый в стенку, и потом уже сел, почти у порога, на чем-то вроде табурета. Эта скромность понравилась мне, а тем более в военном человеке. Я стал наблюдать его внимательнее. Это был молодой здоровый парень, с черными жесткими волосами, остриженными под гребенку, с такими же черными густыми бровями и с подстриженными усами. Глаза он постоянно опускал и прятал под черными длинными ресницами, а потому об них положительно сказать ничего нельзя, как и о верхней губе, которой контур прятался под усами, а нижняя была прекрасно очерчена, только немного толстовата. Вообще же он казался физиономии грубой, но такой кроткой и выразительной, что я невольно им любовался. В разговор наш он не ввязывался, как это делают обыкновенно бывалые ребята его сословия. Если отец Савва адресовался к нему с каким-нибудь вопросом, то он отвечал коротко и основательно. Так, например, матушка спросила его, когда намерен их посетить господин Курнатовский. Он отвечал: — Перед вечером, — и тем кончилось.

Полюбовавшись скромным незнакомцем, я, поблагодарив хозяина за угощение, ушел, а Трохима Сидоровича оставила матушка у себя обедать. В продолжение дня незнакомец вертелся у меня на уме. И сам не знаю, чем он мог меня так заинтересовать. Отставной солдат, и больше ничего. За обедом я порывался было спросить у кузины, не брат ли это невесты стоял на клиросе, но кузина была сегодня не в ударе, и я спрятал в карман свой нескромный вопрос. Думал

после обеда спросить у родича, но тот за обедом еще чуть не захрапел. Трохим не являлся до самого вечера; и мое любопытство оставалось неудовлетворенным до самого вечера.

Х

Дни ожидания так скучны и длинны, как этот нехитросплетенный рассказ. А часы ожидания еще длиннее и скучнее. И странно, мы постоянно надеемся и ожидаем, и не можем приучить себя к этому томительному чувству, не можем сократить бесконечного часа ожидания ни одной секундой. Несмотря на то, что я дурно спал ночью, и на то, что я не весьма умеренно пообедал, а все-таки после обеда хотя и пробовал, но заснуть не мог. А всё нелепое ожидание мешало. Чего же я жду и что меня тревожит? И сам не знаю, а чувствую, что тревожит что-то. Чтобы избавиться от этого чего-то, я надел свою рабочую блузу, взял сумку, дубину и пошел на свой любимый пригорок, осененный дубовым крестом. День был прекрасный, небо светлое, голубое, глубокое и ясное, как мысль великого поэта. Белые прозрачные тучки-красавицы, как непорочные сновидения младенца, сменялись одна другою, и, пролетая небесное пространство, они набрасывали широкие темные пятна на мою ненаглядную панораму. С этими очаровательными пятнами панорама казалась и шире, и глубже, и бесконечнее. Я глаз не мог отвести от этого импровизированного освещения. Мне казалось, что я вижу на бесконечном горизонте и Звенигородку, и Тальное, и даже самую Умань.

Я принялся за работу. Разложил темные и светлые пятна на моем неоконченном рисунке, и рисунок ожил, заговорил и сам собою окончился. Вот где твои чары, колдовство твое, очаровательный Каналетти! ⁴⁰.

Освещение изменилось. Рисунок я положил в портфель и хотел уже идти в село. Смотрю, золотое солнце повисло над фиолетовым горизонтом и рассыпало свои изумрудные лучи по всему необъемлемому пространству. Новая прелесть! Новое очарование! Пораженный чудной гармонией, я в безмолвии опустил

руки и, не переводя дыхания, смотрел на эту величественную ораторию без звуков.

Солнце уже закатилось, а я всё ещё стоял ошоломлён крестом, и, не странно ли, мне слышалась из березовой рощи флейта, играющая прелюдию вальса Авроры. А ничего этого не было, о флейте никто и не слышал в этом околотке. Родич мой говорит, что он когда-то превосходно играл на флейте, но потерял ключ от футляра, где хранится инструмент, и перестал играть. И он не шутит, по его понятиям это совершенно в порядке вещей. В эти недолгие минуты я был настоящим поэтом и носился мыслию бог ведает где, в каких надзвездных областях. Но как житель земли, то и вспомнил, правда, довольно поздно, про земное, т. е. про свадьбу.— Фи! какой циник! — скажет влюбленная читательница.— Свадьбу называет просто земным делом.— Согласен, пускай это будет делом самого Ориона ⁴¹, только я об нем вспомнил уже в сумерки.

Спотыкаясь на пни и кочки, кое-как пробрался я сквозь березовую рощу и вышел на плотину. Смотрю, церковь уже освещена. Я прибавил шагу и, как был с сумой и в блузе, прямо пошел в церковь, хорошо, что догадался шляпу снять. Спрятался я за какого-то плечистого мужика и выглядываю, как мышь из ларя. Обряд уже начался, и безрукий мой кавалер-незнакомец держит венец над головой невесты. Сбоку вижу, что невеста красавица, а посмотреть в лицо нельзя. Досадно. Стало быть, этот кавалер — ее брат, больше быть некому. Жаль, что не познакомился я с ним покороче. Тут непременно кроется какая-нибудь романическая драма. Да и какие могут быть отношения между богатым помещиком и бедняком, изувеченным инвалидом? Нужно поручить Трохиму разведать всё это дело хорошенько, — не выкроится ли из этой материи какая-нибудь историйка, а может быть, и оперетка вроде «Москаль-чаривный». Да, не иначе, как чарами, заставляет он надменного ротмистра жениться на своей крепостной крестьянке. Как я тщательно ни прятал свою особу за плечистым мужиком, а все-таки спрятать не мог от зоркого глаза Трохима. Он меня заметил и, подойдя, сказал шопотом:

— Молодые прошены на чай в дом. Если и вы пойдете, то нужно приготовить фрак и сапоги почистить.

— Ступай, чисти,— сказал я ему лаконически. Трохим вышел. Дождавшись «Исаия, ликуй», и я вышел из церкви и бегом шустился на квартиру. Вот еще беда немалая: в моем изысканном гардеробе белого галстука не оказалось, а он теперь необходим. Что делать? Трохим догадался, сложил белый носовой платок, и вышел препорядочный галстук, бант только оказался не надлежащей величины. Приведя к концу свое облачение, напялил я фрак и пошел в комнату. В дверях встретили меня общим смехом; особенно кухня так усердно заливалась, что я подумал, не над моим ли галстуком они смеются, и страшно сконфузился. Оказалось совсем другое. После первого пароксизма смеха кухня меня взяла за руку и подвела к зеркалу. О ужас! у меня все лицо было выпачкано карандашом. Не говоря ни слова, выбежал я из комнаты. Во время работы я отгонял комаров запачканными карандашом руками, хватался за лицо, да и отделал свою физиономию а-ля Отелло ⁴², а зоркий глаз Трохима и не заметил, когда повязывал галстук.

Преобразившись, я в другой раз явился в гостиную и после обыкновенных поклонений и пожеланий взглянул на невесту. Господи, что это за красота совершенная! До седых волос дожил, а не видывал ничего подобного этой неописанной красоте. Знаменитая красавица графиня Коловрат (которую я видел в парижской литографии) при всевозможных косметических средствах едва ли выдержала бы роль наперсницы при этой скромной героине. Долго я не мог глаз отвести от этого типа совершенной красоты. И чем внимательнее и хладнокровнее смотрел я на нее, тем более видел прелесть и гармонию в чертах ее удивительного лица. Божественному Рафаэлю и во сне не снилась подобная красота и гармония линий. А знаменитый Канова вдребезги разбил бы свою сахарную «Психею», если бы увидел это божество, грациозно принимающее чашку с чаем. А между тем в ее красоте ничего не было общего с очертаниями принятой кра-

соты, это была самобытная одушевленная красота. Это был тип моей землячки, в высшей степени совершенный. И как ты побледнела, как ты потемнела, моя бедная кузина, перед этой лилией, едва распутившейся. Где твой смех? Где твои хитрые вчерашние затеи? Не помогли тебе ни притиранья, ни умыванья, ниже газовое платье! Бедная ты, жалкая ты красавица!

Молодые недолго гостили. После чаю они сейчас же уехали, я тоже раскланялся и ушел к себе на квартиру, далеко не в нормальном состоянии духа. Красота на меня, в чем бы она ни проявлялась, в существе ли живущем или прозябающем, всегда имеет одинаковое и благодетельное влияние. Под ее благим влиянием я чувствую себя другим, обновленным человеком, чем-то вроде старого младенца. Мне тогда необходим хоть какой-нибудь человек, чтоб разделить свои добрые ощущения или хоть наговориться досыта. А иначе я похож на того пьяного, который не заснет, пока не отрезвится. Я тоже долго не мог заснуть, но это была не утомительная, а успокоительная бессонница. Приятное, невыразимо приятное ощущение! Благодарю тебя, всемогущий боже, что одарил ты меня чувством человека, любящего и видящего прекрасное, совершенное в твоём нерукотворном бесконечном творении. Если бы красота во всех ее образах хотя на половину человечества имела свое благодетельное влияние, тогда бы мы быстро близились к совершенству и, наконец, олицетворили бы собой божественную заповедь нашего божественного учителя. Тогда бы Шварц⁴³ и Ривольер пошли по миру с своими гениальными изобретениями или открыли бы лучшие и благороднейшие источники человеческих усовершенствований.

Долго я фантазировал на эту прекрасную тему, пока, наконец, физика пересилила мораль, и я заснул. Во сне повторилось виденное мною наяву, с тою только разницею, что вместо ротмистра возле невесты сидел с козлиными ногами и рогами рубенсовский сатир⁴⁴, с лица очень похожий на ротмистра. Сатир жметя к нимфе, шепчет ей что-то на ухо. Нимфа улыбнулась, я вздрогнул и проснулся. Солнце уже заглядывало в готическое окно моей миниатюрной кельи;

когда я вздрогнул и проснулся. Трохим нечаянно, но весьма кстати явился передо мною. Я объявил ему; что имею намерение сегодняшней же день после обеда выехать в Лысянку, взять почтовых лошадей и — во-свояси. Он против обыкновения не прекословил моей воле и тут же начал складывать фрак и прочие доспе-хи, живо напомнившие мне о вчерашнем происше-ствии.

Прежние благородные обладатели крепостных душ только гаремы заводили из собственных девок, а те-перь жениться начали. Выходит, что идея о коммуниз-ме не одна только пустая идея, не глас вопиющего в пустыне, а что она удобоприменима к настоящей про-заической жизни. Честь и слава поборникам новой цивилизации! Трохим с увлечением занялся чемоданом, а я, чтоб не мешать ему, заблагорассудил сделать про-щальный визит отцу Савве. Но на пороге моей идил-лической мирной обители встретил меня сам отец Сав-ва вместе с безруким кавалером.

— Вы к нам, а мы к вам собрались на визита-циум,— говорил весело отец Савва.— Сей божий че-ловек,— прибавил он, указывая на кавалера,— имеет к вам экстраординарное послание.

Не успел я притти в изумление от этой неожидан-ности, как сей божий человек достал из пустого рукава миниатюрный, разрисованный наподобие конфетки конверт и, подавая его мне, сказал:

— Зять и сестра, ваше благородие, кланяются и просят вас пожаловать к себе сегодня вечером.

Я не отнекивался, как пьяница от рюмки водки, и, не читая раздушенного послания, сказал: — Буду.— Тогда он подал мне другой такой же конверт и просил передать супруге Лукьяна Алексеевича, т. е. моей ку-зине. Я обещался. Отец Савва заметил, что не мешало бы самому господину кавалеру отдать письмо и лично просить их милость. Кавалер, не сказав ни слова на это замечание, только как-то чрезвычайно выразитель-но улыбнулся. Отказавшись от приглашения отца Сав-вы на чашку чаю и прочее такое, я с ними простился и пошел к себе на квартиру сказать Трохиму, чтобы он фрака не укладывал.

— А чтобы он сгорел, ваш этот проклятый фрак! Только и дела, что с ним возимся. Пообедать некогда.

И много еще кое-чего было сказано в пользу фрака, чего уж я не слышал, потому что ушел передать дружеское послание кузине. Она встретила меня восклицанием:

— А какова невеста!..

Я отвечал, что в жизнь мою не видывал такой красавицы.

— Значит, вы не так разборчивы, как я полагала,— сказала она холодно.— Для вас, значит,— прибавила она тем же тоном,— образование в женщине вещь совершенно лишняя?

— Не тебе бы говорить, а не мне бы слушать,— подумал я и вместо возражения передал ей раздушенное письмо.

За обедом речь опять зашла о невесте,— опять заметила мне язвительно кузина, что я в грош не ставлю хороший тон и образование в женщине. Я отмалчивался, ее это бесило.

— Да! — сказала она, зеленея,— вы художник, а художнику нужна только модель, натурщица, а не женщина.

Опять подумал я: — Не тебе бы говорить, а не мне бы слушать.— Но вслух не нашел приличного возражения на ее весьма не тонкое замечание, и молчание воцарилось.

Как истинный гомерид, родич мой уходил чуть не всего жареного с капустою гуся, с наслаждением запил его не последней величины стаканом сливянки и, самодовольно улыбнувшись, сказал:

— Вот теперь так! Подавай, что там еще есть у тебя,— сказал он казачку.

Казачок вышел.

— Да,— продолжал он, приняв тон таинственности,— это такая, я вам скажу, история, что хоть в газетах публикуй.

— Какая это история? — спросил я не совсем равнодушно.

— Да хоть бы вчерашняя свадьба,— сказал он, взглянув на жену.

— А что такое? — спросил я и тоже посмотрел на кухню.

— Да так-с, ничего-с,— сказал он тоном человека, владеющего великой тайной.— Вы заметили вчера невестинного шафера? — спросил он меня и снова взглянул на свою мрачную супругу.

— И даже сегодня имел честь его видеть,— отвечал я.

— Это не больше, не меньше, как отставной матрос, родной и единственный брат теперешней госпожи Курнатовской и помещицы пятисот душ крестьян, чистых, незаложенных,— сказал он, наливая еще стакан сливянки.

При слове «матрос» я невольно вздрогнул: — Не герой ли это моей поэмы? — подумал я и, обращаясь к родичу, просил его пояснить мне эту загадочную историю.

— А вот какая это история...

Кухина фыркнула, выскочила из-за стола и уже из другой комнаты проговорила:

— Невежа, мужик! От тебя, кроме пошлости, ничего не услышишь.

Он спокойно перекрестил дверь, из которой летели эти слова, и сказал:

— Вот такая это история. Господин Курнатовский, или, как она его называет, мусье Курнатовский, человек во всех отношениях благородный. Мы его от души любим, как вы это сами могли заметить. Одно только: несмотря на его святую наружность, ужаснейший волокита. После первой женитьбы он оставил службу и приехал, как говорится, на покой в деревню: жена — прекраснейшая была женщина — не перенесла первых родов и умерла, оставив ему в залог любви своей здоровенькое прекрасное дитя. Молодец наш, как попечительный и нежный отец, кроме кормилицы, для большего соблюдения ребенка приставил к нему еще четырех молодых красивых няnek. Изо всей деревни выбрал, разбойник. В число этих няnek попала и теперешняя жена его. Дитя вскоре умерло. Кормилицу-то он отпустил, а нянюшек при себе оставил в доме. Предполагал, видите ли, завести коверную фабрику, плут!

Вместо фабрики он образовал небольшой домашний гаремик. Ничего, всё шло хорошо. Женатые соседи на первых порах отказали от дому, да после раздумали. По-моему, самое лучшее не обращать внимания на чужие недостатки. «Всякий Еремей про себя разуме́й!» — говорит наша пословица. Хорошо, вот дошла очередь и до Оленки, теперешней госпожи Курнатовской. Только не тут-то было. Оленка заартачилась, он около нее и так и сяк, — нет, да и баста! Ни ласки, ни угрозы, ни усовещивание — ничто не помогло. А главной причиной упрямства ее был брат, теперешний отставной матрос. Чтобы устранить эту помеху, наш молодец не задумался — в первый же набор и царाप приятеля в солдаты. Одним ударом всё покончил. Так по крайней мере он вообразил себе, а на деле вышло совершенно не то, что он вообразил себе. Красавица пуще прежнего заломалась, — и близко не подходи! Бежала было в Киев, к губернатору, да, слава богу, во-время схватились и поймали уже за Лысянкой. Наделала бы кутерьмы, если б удалось ей до Киева добраться! Приятель наш таки порядочно было тухнул. Дело-то, знаете, опекою запахло, если не больше. А из-за чего? Из-за сущей дряни! Из-за капризной девки. Правду сказать, так наши помещики порядочно избалованы, — позволяют иногда себе такие причуды, за которые в другом месте не посмотрели бы, что он помещик... ну, да что об этом толковать, наше дело сторона. Проходит год, прошел другой, приятель наш из кожи лезет, а дело ни на шаг не подвинулось вперед. С лица переменялся, позеленел. — Брось, — говорю, — плюнь на нее. — Не могу, — говорит. — Что значит эта проклятая страстишка! Сначала он держал ее за замком, как невольницу, но увидел, что это не помогает, дал ей полную свободу. Мало, отдал ей весь дом в ее распоряжение, окружил ее всевозможною роскошью. Сам сделался ее лакеем, чего ей больше? Нет, батюшка, не тут-то было! И на глаза не пускает. Вот оно где хохлацкое упрямство или вообще упрямство женское. Помучился он с нею полгода и думал уже бросить ее, окаянную, и ехать на воды лечиться, как бац! от предводителя дворянства письмо или, луч-

ше сказать, формальное требование, чтобы он, ротмистр такой-то, по требованию высшего начальства назначил цену крепостной своей крестьянке такой-то и получил деньги из комитета раненых на законном основании. Он с этою бумагою прямо ко мне, я прочитал и, признаюсь, стал втупик.— Уж не проведало ли высшее начальство,— подумал я,— о его шашнях? Да нет, высшему начальству теперь не до того.— Думали мы, думали, да тем и кончили, что ничего не выдумали. Прошел еще месяц. Приятель наш ни гу-гу, дожидает, не пройдет ли гроза мимо. Не прошла гроза: получается другая бумага от того же предводителя, с прибавлением, что такой-то матрос Яков Обеременко за свою храбрость и увечье, полученное им при защите Севастополя, просит у комитета раненых освободить родную сестру его от крепостного состояния, а в заключение было сказано, чтобы он [Курнатовский] или сам, или доверил кому получить деньги в Киеве — сумму, какую он сам назначит. А он, чтобы не назначать и не получать этой суммы, он уехал с нею в Киев, да там и обручился. Каков молодец! Он и венчаться там же думал, да ей-то захотелось, чтобы брат венец над нею подержал.

— Вот тебе и героическая поэма! — подумал я.

— Не правда ли, прекрасная история? — спросил родич, зевая.

— Порядочная! — отвечал я рассеянно.

Часа за два до захода солнца кузина подвязала себе щеку и осталась дома, а мы с родичем поехали к новобрачным.

Дорогой я передал свою героическую поэму на сию скромную «Прогулку с удовольствием и не без морали», а что дальше будет, увидим.

К. Дармограй.

30 ноября 1856.



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

Итак, мы с приятелем вдвоем, то бишь с родичем, поехали в гости к новобрачным, оставив мнимобольшую кузину дома обдумывать на досуге, как ей вести себя с выскочкой, очаровательной соседкой. Выехав из села и потом из липовой темной рощи, мы очутились на извилистом живописном проселке, вьющемся по открытому полю, изредка уставленному огромными суховерхими дубами. Проехав легкой рысью версты две, родич мой велел кучеру остановиться около колоссального сухого дуба, положившего свои обнаженные сухие корни, как длинные безобразные ноги, поперек дороги.

— Хотите, — сказал родич, обращаясь ко мне, — я вам покажу темную историческую букву? Вы человек ученый, не нам чета, может быть, вы её и прочитаете.

Я просил родича показать мне эту историческую темную букву. Он указал мне на круглую небольшую дыру в стволе дуба, из которой в это мгновение вылетела сова.

— Вишь ты, куда спряталась, — сказал кучер, глядя на улетающую сову. А родич спросил меня, знаю ли я это дупло? Я отвечал, что не знаю.

— Так отгадайте, если мудрец, — продолжал он таинственно.

— Дятел выдолбил на досуге, я думаю, — сказал я, ни о чем не думая.

— Дятел, только не простой, а чугунный. Посмотрите хорошенько да пощупайте, так и узнаете, какой там сидит дятел,— проговорил он самодовольно.

Я вышел из экипажа, посмотрел в загадочное дупло, и как бы вы думали, что я там увидел? — Величины в добрый кулак чугунное ядро.

— Каков дятел, а? — спросил родич, смеясь.

— Хорош,— отвечал я, подходя к экипажу.

— Каким же родом и когда он сюда залетел? — спросил я своего спутника.

— А это уже ваше дело. Мы люди темные, как и эта историческая буква. Стало быть, и вы не прочитаете? — продолжал он иронически.

— Не читаю,— сказал я, садясь в коляску.

— Полагать надо, что здесь происходило когда-то в старину большое сражение,— проговорил он значительно и, подумавши, прибавил: — А может быть, и артиллерийская мишень где-нибудь близко стояла.

— И то быть может,— сказал я, и мы пустились далее.

Его простая догадка разом разрушила мои мрачные исторические предположения насчет засеваемого в дупле ядра, и я взглянул веселее на едва позеленевшее поле, уставленное изредка суховерхими дубами.— И какое могло быть сражение на этой райской местности? — спросил я сам себя простосердечно, забыв, что и в самом даже раю зарезал брат брата. Едва успел я вспомнить это первое братоубийство, как на горизонте райского поля нарисовались два кургана, и на одном из них торчал какой-то пирамидальный маяк. За двумя большими курганами открылось еще несколько могил меньшего размера, а у самой опушки темного леса, в котором прятался наш извилистый проселок, показалось небольшое земляное четырехугольное укрепление. Точно такой формы и величины, как на поле около Листвена, близ Чернигова, где Мстислав Удалой⁴⁵ резался с единоутробным братом своим Ярославом,— с тою разницею, что лиственское укрепление засеивается хлебом, а в этом забытом исто-

рией бастионе догадливый хозяин сложил в скирды собранный с поля хлеб. Прежде боевая ограда теперь служит оградой плодов трудолюбивого земледельца. Отрадное превращение!

— А мой дурак экономя, небось, не догадается устроить и у себя такой же фольварок, — проговорил мой спутник, глядя на укрепление, украшенное скирдами прошлолетнего хлеба.

— У вас разве есть такое же гнездо? — спросил я.

— Есть, только поросшее лесом, — отвечал он. — А знатная выдумка! Непременно велю вырубить лес и устроить у себя такую же штуку.

Я не сказал ему ни слова на эту гениальную агрономическую затею, и мы безмолвно въехали в темный безмолвный лес.

От берегов тихого Дона до кремнистых берегов быстротекущего Днестра — одна почва земли, одна речь, один быт, одна физиономия народа; даже и песни одни и те же, как одной матери дети. А минувшая жизнь этой кучки задумчивых детей великой славянской семьи не одинакова. На полях Волыни и Подолии вы часто любуетесь живописными развалинами древних массивных замков и палат, некогда великолепных, как, например, в Остроге или Корце. В Корце даже церковь, хранилище бальзамированных трупов фамилии графов Корецких, сама собою в развалину превратилась. Что же говорят, о чем свидетельствуют эти угрюмые свидетели прошедшего? О деспотизме и рабстве! О хлопах и магнатах! Могила, или курган, на Волыни и Подолии — большая редкость. По берегам же Днепра, в губерниях Киевской, Полтавской, вы не пройдете версты поля, не украшенного высокой могилой, а иногда и десятком могил; и не увидите ни одной развалины на пространстве трех губерний, кроме разве у богатого затейника-помещика — нарочно развалившийся в саду деревянный размалеванный храм Весты⁴⁶ а-ля ротонда Тиволи⁴⁷. Что же говорят пытливому потомку эти частые темные могилы на берегах Днепра и грандиозные руины дворцов и замков на берегах Днестра? Они говорят о рабстве и свободе. Бедные, малосильные Волынь и Подолия! Они охра-

няли своих распинателей в неприступных замках и роскошных палатах. А моя прекрасная, могучая, вольнолюбивая Украина туго начинала своим вольным и вражьем трупом неисчислимые огромные курганы. Она своей славы на поталу не давала, ворога-деспота под ноги топтала и — свободная, нерастленная — умирала. Вот что значат могилы и руины. Не напрасно грустны и унылы ваши песни, задумчивые земляки мои. Их сложила свобода, а пела тяжкая одинокая неволя.

Пока я разоблачал эту мрачную археологическую задачу, темный лес, которым мы ехали, стал еще темнее. Верхушки высоких старых кленов и ясеней, недавно блестевших на светлофиолетовом фоне неба, потемнели. Значит, солнце закатилось. — Не мешало бы и шагу прибавить, — подумал я. Да прибавить-то его трудно: на каждом шагу или выбоина, наполненная жидкой грязью, или древесный корень, как бревно, растянулся поперек дороги и ждет, как бы доброму человеку колесо сломать или иначе как-нибудь напакостить.

Случится иногда шагов десятка два-три и хорошей дороги. Зато, как нарочно, сухой пень выйдет из лесу, как разбойник Гаркуша⁴⁸, и станет посередине бархатной дороги. Что хочешь, то и делай. Несколько поколений чубатых земляков моих ломают оси о подобного разбойника, а он стоит себе как ни в чем не бывало, только белые бока его немного выпачканы смолою, и ничего больше. Хоть бы зарубка, хоть бы тень намерения уничтожить этого сокрушителя осей. Ничего, ни малейшего знака. — Пускай стоит себе, где его бог поставил, — говорят наивно земляки мои и преспокойно продолжают ломать свои крепкие грабовые оси. Это еще ничего. В лесу не штука сломать одну-другую ось. Сказано — лес. А попробуйте-ка вы доказать эту удаль среди бела дня и среди гладкой широкой степи. Вот это так штука, и немцу, пожалуй, не ухитрится! А земляк мой ухитрился. Он, изволите видеть, ехал столбовой дорогой, вез сено в город продать москалям уланам. Это было утром рано. Волы двигались тихо вперед, а земляк мой, лежа на сене,

тоже тихо пел песню, вероятно, панегирик своим круторогим товарищам. Пел, пел, да, не кончивши песни, и уснул. А круторогие товарищи шли, шли себе потихоньку, да и остановились, задев осью за размалеванную новую версту, как нарочно поставленную край дороги. Под влиянием ароматического сена и плотного сна да пня, т. е. завтрака, земляк мой таки порядочно всхрапнул. Проснулся он в самый полдень, благодаря палящим лучам солнца. Проснулся и видит, что его круторогие братья лукавят, остановились. Он взмахнул на них длинным бато́гом своим, братья тронулись, и передней оси как не бывало, а изумленный земляк мой с мягкой душистой постели скатился на жесткую сухую землю. Лениво поднялся он, осмотрелся вокруг себя и, видя размалеванную причину катастрофы, с расстановкою проговорил:

— Проклятая нимста що наробыла, доброму чоловікови и в степу тисно стало!

О мои милые, непорочные земляки мои! Если бы и материальным добром вы были так богаты, как нравственной сердечной прелестью, вы были бы счастливейший народ в мире! Но увы! Земля ваша как рай, как сад, насажденный рукою бога-человеколюбца, а вы только безмездные работники в том плодоносном, роскошном саду. Вы Лазари убогие, питающиеся падающими крупичами от роскошной трапезы ваших прожорливых ненасытных братьев.

— Напрасно,— сказал я, обращаясь к родичу,— вы взяли коляску, в бричке мы бы скорей приехали.

— Думали, что и барыня поедет с нами,— ответил кучер за безмятежно храпевшего своего барина.

— А далеко еще до Курнатовских? — спросил я у кучера.

— А бог его знает,— отвечал он.— Если бы вырубить этот проклятый лес да поставить версты, то можно бы их сосчитать и тогда сказать. А так как его скажешь, недолго до греха, пожалуй и совершь. А если не вырубить лес да поставить версты, так, я вам скажу, и версты ничего не помогут. Сказано — лес,— прибавил он, обращая ко мне лицо.— Пустыня непроходимая! Того и смотри, экипаж сломаешь, да и про-

стоишь сутки, другие. Вот тебе и версты! Они только помеха в лесу, ничего больше.

— Какая же помеха? — спросил я его.

— А такая помеха. Заглядишься на его, ирода размалеванного, а пень или ухабина как тут. Будто сам сатана, не при нас будь сказано, — и он перекрестился, — подсунет под экипаж. Вот вам и версты. Вам-то, разумеется, ничего. Вы любуетесь ею сколько хотите, читаете себе цифру и ничего больше, а нашему брату так не подстать этим делом заниматься. Слава богу, что я неграмотный, а то бы часто доставалось мне за эти иродовы версты. И кто их повывдумывал? Верно, москали, чтобы в поход ходить было веселее. Больше некому выдумать такую штуку.

Проговоривши остроумное заключение, он достал из-за пазухи трубку, огниво и стал высекать огонь.

Густая, темная пустыня мало-помалу начинала редеть, проясняться и, наконец, совсем расступилась. Остались только черные великаны дубы по сторонам дороги, как заколдованные пастухи вокруг заколдованного черного стада.

Дорога была ровная, гладкая. Коляска, однако ж, двигалась так же медленно, как и в лесу. Осторожный философ кучер покуривал трубочку и не давал воли своему кнуту. А разумные копи и подавно не давали воли своим быстрым ногам. Мы двигались, что называется, ощупью. Через несколько минут лошади укоротили свой и без того короткий шаг. Я почувствовал, что мы спускаемся с горы.

— Не нужно ли затормозить? — спросил я у кучера.

— Не нужно. Гора не крутая и дорога хорошая, — отвечал он, не вынимая изо рта трубки. И мы продолжали спускаться потихоньку. Спустившись с горы, мы опять очутились в лесу. Только тут дорога уже была заметно шире и ровнее. Вправо показались конические черные верхушки тополей. Подъехав к тополям, кучер взял круто направо, и мы очутились в широкой тополевой аллее. На горизонтальной линии показались огоньки, не в равном один от другого расстоянии.

— Вот вам и Курнатовка,— проговорил кучер, по-прежнему не вынимая трубки изо рта.

— А где это огни видно? Не на фабрике ли какой-нибудь? — спросил я его, глядя на разной величины светящиеся пятна.

— Какое на фабрике! Это в господском доме,— отвечал он насмешливо.— Там такие палаты, что вы только ахнете. У нашего пана кошары лучше будут,— прибавил он тем же тоном и медленно махнул кнутом.

Лошади фыркнули от этой нечаянности и пошли едва заметной рысцей. Из широкой тополевой аллеи мы въехали на широчайший двор, окруженный с трех сторон одноэтажным приземистым зданием. В углу налево, над растворенной небольшою дверью, горели два фонаря. Неужели это парадный подъезд? Не успел я задать себе этот вопрос, как коляска остановилась именно у этой дыры, освещенной двумя фонарями.

II

Не без труда разбудил я своего любезного спутника, и мы выгрузились из экипажа. В дверях нас встретил колоссальный великолепный швейцар с булавою и чистейшим моим родным наречием спросил, как мы прикажем о себе доложить п а н о в и. Доложение оказалось лишним, потому что сам пан выбежал в коридор и принял нас в свои широкие объятия. После неоднократных лобызаний хозяин вывел нас из узенького коридора в большую, но низкую и грязную комнату, освещенную одной зеркальной солнцеобразной лампой. В комнате пахло подвалом. Мы отдали верхнее платье заспанному и тоже колоссальному лакею и последовали за хозяином. Вошли в длинную, узкую и тоже низкую, вроде коридора, комнату, обитую красными под штоф обоями, освещенную великолепной лампой с бумажным разноцветным колпаком. Кроме овального стола и красного длинного оттомана, мебели никакой не было в этой уродливой комнате. Из этой уродливой комнаты, и также вслед за хозяином, про-

никнули мы в потайную, иначе назвать нельзя, узенькую и низенькую дверь, покрытую такими же обоями, как и стены комнаты, в бесконечно длинный узкий коридор, освещенный двумя солнцеобразными лампами. Не пройдя и половины коридора, хозяин открыл такую же потайную дверцу и впустил нас в большую четырехугольную комнату, уставленную разношерстными, не домашней, а чуть ли не Гамбсовой работы кушетками и также освещенную столовой лампой с каким-то бородатым оруженосцем, поднявшим на копье разноцветный бумажный колпак.

— А что же ваша милейшая Агата к нам не пожаловала? — спросил хозяин у моего родича, пожимая ему руки.

— Она что-то не совсем здорова, — отвечал мой спутник запинаясь.

— Жаль, очень жаль! — проговорил хозяин трогательно и тоже запинаясь. — А мы бы составили преферансик. Жаль, очень жаль. Прошу садиться, господа! — прибавил он развязно, указывая на разношерстные кушетки, и, лукаво улыбаясь, прибавил: — На каком угодно инструменте.

Хлопнул в ладоши, и на этот султанский зов явился мальчик в красной гусарской куртке.

— Чай и трубки! — сказал хозяин, и гусарик исчез.

Из той самой двери, в которой скрылся миниатюрный гусар, вылезла высокая, тощая, лысая, с огромными усами, довольно грязная фигура в военном спортуке без эполет.

— Рекомендую, — сказал хозяин, указывая на представшую фигуру: — однополчанин, однокашник, Иван Иванович поручик Бергоф.

Незнакомец молча поклонился и протянул нам свои длинные, костлявые руки. Мы ответили тем же, и тощая длинная фигура молча отошла в угол и расположилась на одном из инструментов. Тишина была нарушена миниатюрным гусариком, явившимся с бесконечными чубуками и бесконечным, как чубуки, лакеем, принесшим на огромном серебряном подносе чай в стаканах и ром в реповидном зеленом графине, не миниатюрного размера. Хозяин бесцеремонно долил ро-

мом нарочито неполный стакан моего родича и передал графин мне.

— Гелена моя...— сказал хозяин и остановился.— Гелена моя,— продолжал он, усаживаясь на кушетку с ногами,— сегодня тоже не совсем здорова.

— Что с нею? — спросил я с участием.

— Так, ничего... Я на эти вещи совершенный философ: пускай их что хотят, то и говорят. Собаки лают да и перестанут.

Я совершенно ничего на понял из сказанного хозяином-философом. Родич мой значительно кивал головой и улыбался, из чего я заключил, что и он понял не больше моего.

После третьих стаканов чаю с прибавкою речь зашла о лошадях, о собаках и, наконец, о соседях и соседках. В числе последних несколько раз произносилась фамилия мадам Прехтель, и всякий раз с каким-нибудь додаточным, например, каракатица или кубическая.

Верно, эта мадам Прехтель порядочная женщина, а иначе они с уважением бы об ней говорили. Разговор становился оживленнее, бестолковее и грязнее и кончился тем, что хозяин велел подать стол, карты и просить панну Дороту. В одну минуту всё было исполнено, а в довершение всего явилась и панна Дорота. Она молча кокетливо присела и подошла к столу. Не без удивления узнал я в панне Дороте ту самую старую дуэнью⁴⁹, у которой я так нецеремонно отнял свой чай на почтовой станции.

Игроки уселись по местам, и я остался не при чем.

В обществе картежников, занятых своей профессией, самая жалкая и пошлая фигура — это зритель. А кухня моя, не тем будь помянута, не знает в своей жизни ничего трепетнее и сладостнее, как безмолвно созерцать чужие двойки и тройки. Это для нее выше всякой картинной галереи, все равно, что для Скоттина⁵⁰ свинарник, если не сладостнее. Но, увы, она не предвидела блаженства, случайно выпавшего на мою долю, и сдуру повязала щеку и осталась дома. Простофиля! А я дурень неотесанный! Чтобы не играть роли автомата, любимой роли моей красави-

цы-кузины, я оставил равнодушно сонмище картежников и вышел из кабинета или гостиной, — чорт его знает, что оно такое, — в ту самую дверь, из которой выползла безмолвная панна Дорота. Пройдя узенький недлинный коридорчик, очутился я в большой круглой комнате, раскрашенной синими и красными полосами, на манер турецкой палатки. Круглый большой, посередине, стол и красный турецкий диван около стен составляли украшение и мебель комнаты, да еще о четырех рожках висячая лампа ярко освещала затейливую залу и длинновязого лакея, убиравшего со стола чайные атрибуты. Простак, не видя меня, приложил горлышко зеленого репообразного графина к своим огромным губам, но, увы! вотще, — хозяин и гости ничего не оставили.

Из мнимой турецкой палатки было четыре выхода, и я выбрал противоположный тому, из которого вошел в мнимую палатку. Новое, и совершенно новое явление! Длинная галерея, освещенная несколькими тоже солнцеобразными лампами, разделялась с одной стороны деревянными перегородками на небольшие чуланы, занумерованные римскими золотыми цифрами. Чуланов было десять, и каждый из них украшался горбатой кушеткой и топорной работы картиной отвратительного содержания. Это ничего больше, как домашний гарем господина Курнатовского, открытый и лампами освещенный вертеп разврата! Гнусно! отвратительно гнусно! Не это ли та самая всевозможная роскошь, которою окружил он теперешнюю жену свою и о которой мне говорил мой простодушный родич? Еще гнуснее и отвратительнее! Посмотрим, что дальше откроется. Из возмутительной галереи вошел я в осьмиугольную большую комнату, размалеванную в китайском вкусе и освещенную китайскими фонарями. Комната имела тоже четыре выхода, украшенные надписями красными буквами. Над дверью, из которой я вышел, было написано: «Наслаждение», над противоположной дверью — «Движение», направо — «Отрада», а налево — «Награда». Со стороны «Отрады» и «Награды» несло конюшней и псарней; я выбрал фирму «Движение» и очутился в темном ароматическом саду.

Не успел я сделать несколько шагов по узенькой дорожке, как услышал звуки шарманки, наигрывавшей какой-то вальс. Звуки неслися с левой стороны и казались недалеко от меня. Я сделал еще несколько шагов вперед и остановился. Влево тянулась длинная и узкая тополевая аллея, а в конце ее светился красный фонарь. Я направился к красному фонарю. Пройдя аллею, я остановился в изумлении. Передо мной нарисовался ярко освещенный павильон или что-то вроде сарая, и в нем-то визжала неугомонная шарманка и двигались какие-то белые фигуры. Шарманка играла вальс, а фигуры не кружились, как бы этого следовало ожидать, а двигались взад и вперед, звучно притопывая ногами.— Странная дисгармония,— подумал я, подходя тихонько к павильону. Осторожно, как кошка, подкрался я к одному окну и увидел... Как бы вы думали, что я увидел? Толпу прехорошеньких деревенских девушек в белых свитках, преусердно танцующих метелыцю. А мой великодушный однорукий герой еще усерднее играет на шарманке вальс.

Из толпы прекрасных наивных танцовщиц бросилась в глаза [одна], прекраснее и грациознее своих подруг, с барвинковым венком на голове. Это была сестра моего героя, мадам Гелена Курнатовская. Я прильнул к окну так плотно, что чуть стекла не выдавил своим лысым портретом. Танцовщицы так искренно, чистосердечно делали свое дело, что я не опасался за свою нескромность. Они не только меня,— и пожару не заметили бы в эти блаженные минуты.

Это, впрочем, меня несколько не извиняет. Я все-таки немного смахивал на волокиту Актеона. Недоставало только быстроглазой Дианы, чтобы увенчать меня венцом, недоверчивым мужьям приличным.

Вчера — пышная прекрасная невеста богатого пана, а сегодня — крестьянка, подруга своих бедных подруг. Сегодня она прекраснее и великолепнее вчерашней пышной невесты. И как она искренно обнимает и целует своих подруг... Я замирал от умиления, глядя

на этот простор непорочного и высокоблагородного сердца.

Пан Курнатовский, значит, соврал. Его Геленочка здорова и совершенно счастлива. Она и не думала приглашать к себе своих высокомерных и пустых соседей. Она, как верная, любящая подруга, пригласила своих таких же верных и любящих подруг и просто-сердечно-весело празднует с ними свое необыкновенное веселье (свадьбу).

Неутомимый виртуоз устал, наконец, вертеть шарманку, отнял свою единственную руку от блестящего завитка и медленно опустился на стул. Танец кончился. Первая из танцовщиц подошла к нему его сестра, поклонилась ему чуть не до земли, заплакала, зарыдала, судорожно обвила его широкие плечи своими белыми руками и прильнула к его суровому лицу своим нежным прекрасным лицом. Суровый оборонитель Севастополя не устоял. Как жемчуг светлый, заблестели крупные слезы на его смуглых щеках и покатались на расплетенные черные косы счастливейшей сестры.

Если это не полное счастье, так полного счастья нет между людьми. Я прильнул еще плотнее к стеклу, а она, изменница, отскочила от своего всхлипывавшего брата и скрылась в толпе тоже всхлипывающих подруг. Подруги одна за другою чинно подходили к своему обязательному музыканту, кланялись в пояс и благодарили за труды. А между тем явилась и она, зардевшись, с огромным подносом в руках, заваленным разнородными сладостями, и с припрашиванием потчевала своих воистину дорогих гостей.

Неутомимый виртуоз, принявши должную дань трудолюбию и искусству, спокойно встал со стула, пощупал шарманку с другой стороны и принялся вертеть. Шарманка вместо вальса запищала полонез Огинского⁵¹, а танцовки, завернув торопливо в платочки неконченные лакомства, стали одна против другой в прежнем порядке и дружно приударили прежнюю метельцу.

После продолжительного танца была отдана та же честь трудолюбивому музыканту и то же угощение

неутомимым танцоркам. Окончив потчевание, хозяйка поставила тяжелый поднос на шарманку, сказала что-то шопотом брату, а обратившись к подругам, проговорила вслух:

— Нумо, сестры, вечерять!

— Нумо,— отозвались подруги в один голос.

Я рассудил за благо оставить свой обсервационный пост и убраться во-свояси с миром, дивясь бывшему. Да и что интересного в жующих людях, а тем более в девушках? Плотоядные, травоядные животные, и только. Даже в зоологическом отношении не интересно.

Как ловкий вор, невидимкою нырнул я в какой-то колючий кустарник, пробрался к красному фонарю и выполз на знакомую тополевою аллею.

Только что почувствовал я себя вне опасности быть открытым, как передо мной показались два мужика с большими корзинами на головах. Нечаянная встреча эта так меня ошеломила, что я совершенно растерялся, остановился среди аллеи и не знал, что с собою делать. Мужики проходили мимо меня, и один из них, забыв о своей ноше, вздумал мне поклониться. Корзина потеряла равновесие, и звонкие тарелки с громом посыпались на землю и окончательно меня уничтожили. На этот предательский гром выбежала из павильона сама хозяйка и за нею несколько девушек, а я сделал три шага им навстречу,— глупее я ничего не мог сделать,— и остановился. А вежливый виновник всей этой суматохи на вопрос хозяйки — что случилось? — подбирая битые тарелки и бережно их складывая в корзину, проговорил едва слышно: — Паньч! (так называли они Курнатовского). — Хозяйка взглянула вокруг и, увидя меня, бросилась ко мне, обхватила руками мою преступную голову и принялась целовать, восторженно приговаривая: — Серце мое! Дружико моя! — и я почувствовал ее теплую слезу у себя на лице. — Ты приходил посмотреть на мою свадьбу, на мою радость? — Тут я догадался, в чем дело: она приняла меня за своего мужа. С сожалением, правда, я отвел ее лицо от моего лица. Мы взглянули друг на друга.

— Боже мой, что я сделала! — вскрикнула она, закрыв лицо руками.

Через минуту она открыла лицо и, обращаясь ко мне, сказала:

— Простите мне, я приняла вас за своего мужа. Я думала, он пришел посмотреть мою деревенскую свадьбу.

— Вы меня простите ли за мою нескромность? — [сказал я] и тут же ей открыл все свое похождение.

— Так вы гость наших добрых соседей? — сказала она с расстановкой и, взяв меня за руки, прибавила: — Так будьте же и моим дорогим гостем. Зайдите хоть на минуточку, хоть только взгляните на мою свадьбу и на моего единого друга, на моего милого брата!

Едва она кончила фразу, как брат ее стоял уже перед нами и неловко кланялся. Как старому знакомцу, я протянул ему руку, хозяйка взяла меня за другую, и мы пошли к павильону. У самого входа у меня родилась оригинальная мысль. Я остановился, просил сестру и брата оставить меня за дверью и выслать ко мне мужика — виновника суматохи. Мужик тотчас вышел. Я не без труда уговорил его надеть мой фрак, а сам нарядился в его праздничную белую свитку. Преобразившись таким образом и взявшись за руки, вошли мы в павильон. Брат и сестра после мгновенного недоумения с восторгом обняли меня и, взявши под руки меня и моего товарища, подвели к тесно скучившимся девушкам в другом конце залы. Девушки сначала молчали, но, взглянув на своего Герасима во фраке и в беспредельно широких шароварах, фыркнули и звонко захохотали во весь девичий молодой хохот.

— Майстер! Майстер! Герасым майстер! — повторяли они сквозь хохот.

А Герасим, майстер тарелки бить, не в шутку рассердился и начал было снимать с себя смехотворный фрак, чего ему, однако ж, не позволили. А когда угомонились и меня осмотрели девушки, то в один голос назвали настоящим гречкосием, чем я был сердечно доволен. Простодушные, они не знали, что сказали мне любезнейший комплимент как актеру. После

этого чистосердечного комплимента я так вошел в свою роль, что, не говоря о гостях, сама хозяйка и ее брат, оставив принужденное великороссийское наречие, заговорили со мной по-своему, т. е. по-малороссийски.

Сколько я был весел, развязен и счастлив, столько бедный Герасим-майстер угрюм, связан и несчастлив. Насмешницы не давали ему покоя и довели его, бедного, до того, что он снял с себя фрак, и если б хозяйка не удержала его мощные руки, то не рисоваться бы мне больше на свадьбах и крестинах в моем долговечном, неизносимом фраке. Он разорвал бы его и бросил, как тряпку, негодную даже на онучи, чем, между нами будь сказано, Трохим был бы очень доволен, а мне пришлось бы продолжать роль гречкосия до возвращения к родичам. Кончилось, однако ж, тем, что по настоянию хозяйки майстер Герасим натянул на себя снова фрак. И до того повеселел и развернулся неуклюжий Герасим, что, когда после ужина вынесли стол из павильона и шарманка загудела снова какой-то вальс, майстер Герасим, взявшись в боки, так ударил казачка, что только окна зазвенели. Хозяйка, гости, я и даже молчаливый защитник Севастополя залились самым чистосердечным смехом.

И, правду сказать, было чему смеяться. Если бы мертвый встал из гроба да взглянул на земляка моего, одетого как Герасим теперь был одет, и [тот] плясал бы, вдобавок, казачка, то, уверяю вас, если бы он не захохотал, то по крайней мере улыбнулся бы. Такое смешное превращение и самому Овидию Назону в голову не приходило.

Хозяйка и гости уже устали хохотать и только усмехались, поглядывая друг на друга, а неутомимый майстер Герасим, казалось, только что начал входить в душу своих бесконечно выразительных па. Резвые насмешницы, наконец, и улыбаться перестали, и только некоторые из них от избытка удивления восклицали: — Оце-то так! — Настоящий пан в кургузому жупани! — прибавляли другие. Но Герасим, ничего не видя и не слыша, продолжал с успехом начатое дело.

— Та цур тоби, Гарасыме! — сказали девушки в один голос. — Який ты там у чорта пан! Ты наш насто-

ящий майстер Герасым! — Танцор, услышав, что с него снято позорное название пана, остановился, выдернул из-под рукава фрака широкий рукав своей белой рубашки, вытер им мокрое свое лицо и, начиная с хозяйки, перецеловал всех насмешниц, приговаривая: — От вам и пан! От вам и пан! — Потом снял с себя фрак и, подавая мне, поклонился и сказал:

— Спасыби за позычки!

— И вам спасыби, пане майстре Герасыме! — сказал я, передавая ему свитку. Он надел свою свитку, поклонился хозяйке и вышел из павильона. Тогда я обратился к одной из девушек и спросил:

— Какой Герасим майстер?

— Всякий,— отвечала она.— Що схоче, то те й зробыть.

Немного же узнал я о настоящей профессии Герасима.

Гости, почувствовав, что лучшего финала им не придумать, поблагодарили звонкими поцелуями свою счастливую подругу за угощение и вышли вслед за Герасимом.

Хозяйка велела другому мужику, товарищу Герасима, погасить огни и ложиться спать, где ему заблагорассудится; потом, взяв меня и брата за руки, вывела нас в сад. В саду сказала она брату:

— Иди ты, Осипе, приготовь квартиру нашему дорогому гостю в новом доме и приставь к ней старого Прохора для услуги. А вы, мой дорогой единственный гость,— прибавила она, дружески пожимая мою руку,— проводите меня в покои.

Расставшись с моим героем, мы тихо молча пошли вдоль аллеи.

IV

Проходя молча знакомую тополевою аллею, мы несколько раз останавливались и слушали, как резвые подруги моей прекрасной грустной спутницы пели свадебные песни, удаляясь от павильона. В последний раз мы остановились у самой двери, ведущей в дом под фирмою «Движение», и долго слушали исчезаю-

щие звуки веселой песни. Постепенно стихая, звуки, наконец, затихли, а спутница моя всё еще стояла молча, как бы прислушиваясь к родным сердцу, милым звукам.

— По хатам разошлись мои подруги, — едва слышно она проговорила и, как ребенок, зарыдала.

Малейшим движением я не смел нарушить ее глубокого тихого стенания. Она искренно, чистосердечно просталась со своими подругами, со своей бедной девичьей волею. Она теперь только сознавала свое тесное рабство. Теперь только она почувствовала над собою волю немилостивого и чуждого ей человека во всех отношениях. Бедная, что ждет тебя впереди? Что встретишь ты на избранной тобой дороге?

— Не правда ли, я совершенно счастлива? — сказала она, утирая слезы и судорожно пожимая мне руку.

Я недоверчиво взглянул на нее, и она продолжала:

— Вы не верите? Скажите же, друже мой добрый, имела ли хоть одна на всем свете сестра такого брата, как я имею? И как я виновата перед ним! — прибавила она вполголоса. — Мне бы надо идти в черницы и молиться за него богу, а я что сделала?

И она снова заплакала.

«Минуты счастья минули, настали годы испытаний!» — говорит какой-то поэт, а я, глядя на мою героиню, сказал: — Если останешься навсегда такою чистою и непорочною, как теперь, то минута твоей светлой радости продлится до гроба. — Она, как бы подслушала мою мысль, вдруг остановила слезы, перекрестилась, кротко взглянула на меня, улыбнулась, и мы молча вошли в китайскую комнату.

— Видите, какое у нас сегодня праздничное освещение в доме? — сказала она, снимая с головы своей барвинковый венок. — Он, муж мой, ждал к себе сегодня гостей, а гости, кроме вас, и не приехали. Значит, я наполовину угадала. Да и кто теперь поедет к нему? Никто, кроме Прехтелей, а он сам их чуждается.

— Скажите мне, бога ради, что за люди эти Прехтели? — прервал я ее.

— Наши близкие соседи, добрые люди. Он искусный доктор, а она лучшая женщина во всем околотке.

Значит, я не ошибся, выводя заключение из слов моей милой кузины и ее благородного друга.

Молча и быстро прошли мы галерею о десяти загадочных чуланах и очутились в круглой комнате, раскрашенной под палатку, перед лицом самой панны Дороты.

Она стояла у круглого стола, покрытого белой чистой скатертью. Засучив рукава и повязав салфетку вместо фартука, она глубокомысленно приготавливала к ужину кресс-салат с душистым огуречником.

— Моя кохана панно Дорото, — сказала по-польски моя спутница, — витай моего дорогого гостя, пока я переоденуся. — И она мгновенно скрылась.

Панна Дорота медленно подняла голову, неопределенно взглянула на меня и едва заметно кивнула головой. Я сделал то же. Она прошептала: — Прошу садиться. — Я сел. Я чувствовал, что мое положение самое незавидное, если не самое глупое. В критических обстоятельствах, в таких, например, как теперь, я тупо ненаходчив, да и панна Дорота, кажется, не острее меня. Долго молча сидел я и смотрел на старую идиотку и, наконец, подумал:

— Так это твоя мать, наставница и гувернантка? Хороша, нечего сказать! От кого же ты, моя милая героиня, выучилась русскому и польскому языку? А главное, от кого ты приняла и так глубоко усвоила этот нежный такт и эти милые, сердечные манеры? От бога? от природы? Так, но и помощь людская тут необходима.

Такие и подобные вопросы и задачи вертелись в голове моей до тех пор, пока тихо, как ласковая кошечка, вошла в комнату моя прекрасная спутница, одетая изящно и просто. Пока я удивлялся ее превращению, она, приложив пальчик к губам, на цыпочках зашла в тыл панне Дороте и быстро закрыла ее опущенные глаза своими детски маленькими ручками. Пока панна Дорота вытирала салфеткой свои мокрые руки, шалунья отняла свои руки и быстро, как

кошечка же, отпрыгнула ко мне и, падая на диван, звонко засмеялась.

— Сваволишь, Гелено! — ворчала недовольная панна Дорота, поправляя свой измятый чепец.

— Не буду, не буду, моя добрая, моя любая мамочко! — говорила Гелена и, подойдя к старой ворчунье, нежно поцеловала ее в лоб. Старуха улыбнулась и, возвратив шалунье поцелуй, спросила ее о чем-то шопотом. Та отвечала ей тем же тоном. Вероятно, речь шла обо мне. Пока всё это происходило, я продолжал удивляться превращению резвушки: ни тени бывшей крестьянки; от волоска до ноготка барышня, да еще и барышня какая! Самая элегантная. В какой школе, в каком институте она выучилась так к лицу, так изящно-просто одеваться? Удивительная вещь чувство изящного! На ней было темносерое шелковое платье с такими широкими прекрасными складками, какими щеголяют только одни Рафаэлены музы. В темной роскошной косе с несколькими листочками зелени, как яхонт, блестел яркий синий барвинковый цветок. Узенький воротничок и такие же рукавчики довершали ее изящный наряд. Кому бы в голову пришло, глядя на эту четвертую грацию, спросить у нее, читает ли она русскую грамоту? Вот же мне пришел в голову такой, и скажу, основательный вопрос.

— О чем это вы так тяжко задумались, мой драгоценный гость? — проговорила она, подходя ко мне.

— О том, о том, — говорил я, глядя в ее прекрасные умные глаза и чуть-чуть не проговорился.

— О чем же, скажите? — спросила она вкрадчиво.

— Завтра скажу, а сегодня не могу. Или вот что, — прибавил я нерешительно, — наденьте опять барвинковый веночек, тогда скажу.

— Скажете?

Не успел я произнести «да», как она выпорхнула в галерею с отвратительными чуланами, и пока я поднимался с мягкого оттомана, как впорхнула она опять в круглую комнату с барвинковым венком на голове.

— Муза Терпсихора! — воскликнул я от изумления.

— Где музыка? — спросила она наивно.

— Вы муза гармонии! Вы самая вдохновенная, самая возвышенная музыка! — отвечал я восторженно.

Я восхищался ее замешательством, ее восхитительно живописной юной головкой в барвинковом венке с яркими синими цветами. Иной хват тут же бы упал на колени, как перед богиней, и в любви объяснился. Я сделал иначе. Налюбовавшись досыта моею музою, я усадил ее на оттомане и, полюбовавшись еще немножко, сказал:

— Вы прекрасно объясняетесь по-русски и по-польски; читаете ли вы хоть на одном каком языке?

— Читаю,— отвечала она без малейшего смущения,— и даже писать начинаю. По-польски меня учит панна Дорота, а по-русски старший Прохор, тот самый, что будет вам прислуживать.

— Простите же мне мой грубый, но дружеский вопрос, мадам Гелена,— прибавил я почтительно.

— Как хотите, так и называйте, только полюбите меня и моего единственного брата,— прибавила она, сквозь слезы улыбаясь.— А за вопрос ваш я вам сердечно благодарна. Вы мне желаете добра...

Она хотела еще что-то сказать, как вошел в комнату длинный лакей и, подойдя к безмолвной слушательнице нашего разговора, спросил:

— Не пора ли на стол накрывать?

Панна Дорота отвечала тихим наклонением головы и, обращаясь к нам, проговорила по-русски:

— Не угодно ли будет пожаловать в кабинет?

— Не угодно ли вам самим пожаловать в кабинет? Я буду за порядком смотреть. Я теперь хозяйка.

— И прекрасно,— сказал я дружески и последовал за непрекословною панною Доротою в кабинет.

Молча, как безобразные привидения, в облаках табачного дыма сидели приятели и резались в штос или, как выражается мой немногословливый родич, недоимку собирали.

Так как талия была в ходу,— она лилась из искусных костлявых рук Ивана Ивановича Бергофа,— то наше присутствие в кабинете и не было никем замечено. Пользуясь неизвестностью, я отошел в темный

угол и кое-как уселся на горбатой кушетке. Панна Дорота тоже воспользовалась неизвестностью и, поморщившись, отошла в сторону от немилосердно курящих рыцарей зеленого стола и тоже кое-как опустилась на горбатую кушетку и призадумалась. Полно, так ли? Она, кажется, просто бессмысленно смотрела на густой табачный дым и совершенно ничего не думала. Глядя на ее жалкую фигуру, я в первый раз спросил себя, кто она и что она у господина Курнатовского? Дальняя ли родственница, шляхтянка бесприютная? нянька ли его и тоже шляхтянка бесприютная? Может быть, и то и другое, кроме порядочной женщины. Порядочная женщина несовместна в доме у человека, даже ближайшего родственника, который заводит гарем из собственных крепостных крестьянок, и, женившись на одной из одалисок своих, он и не думает сделать ее другом, ее заступником. Он попрежнему ее владыка, он настоящий султан, гусар: на второй день после свадьбы понтирует себе молодецки и знать ничего не хочет. Он сделал свое дело, да и в сторону. А она, простодушная, с восторгом встречает его в саду, думает, что он, добрый, идет разделить с нею ее непорочную радость, хотя в окно взглянуть на ее счастье, на ее задушевный праздник! А он... животное! Самое отвратительное животное! А что же панна Дорота? Также грязное животное. Порядочная женщина скорее протянет руку во имя Христа за гнилым огрызком хлеба, чем станет готовить салат для роскошного стола сластолюбца и развратителя.

Не слишком ли я прогулялся насчет панны Дороты? Она, если не любит, по крайней мере, не презирает бывшей невольницы. А это много. Развращенная женщина этого не сделает. Кузина моя? Но это дело другого рода. Что же, наконец, такое эта безмолвная панна Дорота? Иероглиф пока, таинственный иероглиф, над которым сам Шампольон⁵² призадумался бы. Но время открывает истину. Время и прилежное исследование открывает возмутительные дела сильных мира сего, давно уже забытых великодушным потомством. Время, надеюсь, и мне объяснит эту, пока загадочную, жалкую панну Дороту.

А пока не войдет лакей и не возвестит об уготованной трапезе, нарисую вам, благосклонные слушатели, картину самого задорного штоса, а в особенности штос-мейстера, т. е. банкомета. Нет, не могу! Я не живописец пошлых, отвратительных сцен и бледных, деревянных физиономий. Да и что нового, оригинального в этой безнравственной, гнусной картине? Содержание ее одно и в Сан-Франциско, и в кабинете Курнатовского, и на любой ярманке. Декорация только не одна. В Сан-Франциско, например, там — содержатель игорного вертепа нанимает женщину, т. е. подобие женщины, чтобы она, как адская царица Прозерпина⁵³, на троне присутствовала при состязающихся шулерах.

Нет худа без добра. Хорошо, что моя милая кузина ничего не читает, — иначе она прочитала бы записки Ротчева⁵⁴ о Калифорнии и заставила бы своего тетерю ограбить крестьян и ехать прямо в Сан-Франциско для того только, чтобы покрасоваться в интересной роли Прозерпины. Шепнуть ей разве когда-нибудь об этой назидательной роли? Да она меня расцелует за эту новость, забудет все нанесенные мною ей оскорбления, забудет даже, что я первый сообщил ей известие об уничтожении ее идола — эполет, забудет всё, но все-таки усомнится о таком неслыханном блаженстве на земле.

Но не о ней речь, — она нечаянно под перо подвернулась, а речь о том, где у нас в России та великая академия, которая образует таких бездушных автоматов, штос- и банкмейстеров, как, например, Иван Иванович Бергоф? Нигде больше, я думаю, как в кавалерии. Хотя и пехотинец иной при случае лицом в грязь не ударит, но все-таки далеко не то, что кавалерист. Далеко не то. Недаром моя милая кузина благоговеет перед кавалеристами, в особенности перед гусарами.

Наконец, длинный лакей явился и сильным басом возгласил об уготованной трапезе. Картежники не шевельнулись, они как будто ничего не слышали, а мы с панной Доротой молча вышли в круглую залу, она же и столовая.

Посередине залы стоял круглый, великолепно сервированный стол, а посередине стола возвышалась поставленная в серебряную вазу античной формы сосновая ветка, увешанная конфетами, пучками колосьев овса и повитая гирляндой из барвинковых цветов. Это была не немецкая елка, а так называемое гильце, непременно украшение свадебного стола у малороссиян.

Безмолвная панна Дорота взглянула на милую затею своей Гелены, улыбнулась и прошла к дивану. Я тоже, безмолвный, остановился перед наивным украшением, возведенным до изящества. Сам бог тебя умудряет, моя прекрасная Елена. Самой прекрасной Елены не было в зале, когда я так думал, любуясь ее милым произведением. И, чтобы хоть с кем-нибудь разделить свой тихий восторг, я обратился к безмолвно улыбающейся панне Дороте и сказал ей по-польски какой-то современный ее юности комплимент за воспитание ее милой Гелены. Она вместо улыбки сделала гримасу, и любезность ее тем кончилась.

Один за другим вошли в залу картежники и, ничего не замечая, молча, торопливо сели за стол, не рядом и не один против другого, а так, как попало.

— Подавай! — сказал хозяин длинному лакею. Лакей скрылся в одну дверь, а из другой двери тихо, плавно, как лучезарная Аврора⁵⁵, вышла хозяйка в белом шелковом платье такого же самого покроя, как и прежде. Я замер от восторга и едва мог подняться с оттомана, чтобы благоговейно приветствовать восходящее светило. Картежники не заметили ее торжественного появления. Они мрачно погрузились в свои серебряные приборы. Она, как испуганная белая голубка, на мгновение остановилась, робко взглянула на гостей, тихо, едва слышно подошла к мужу, поцеловала его в зардевшийся лоб и молча села возле него, давая мне знак, чтобы я садился рядом с нею. Я повиновался. Панна Дорота села с другой стороны около своего фаворита. Тишина царила в нашей разнообраз-

ной компании. Наконец, хозяин возмутил ее мрачное владычество, сказавши, обращаясь к жене:

— Я думал, ты сегодня не совсем здорова.

— Совершенно здорова,— сказала она, принужденно улыбаясь.— И совершенно счастлива,— прибавила она, глядя ему в очи.

— А я не совсем счастлив,— проворчал он.

— Что случилось? — спросила она быстро.

— Ничего, друг мой, продулся малую толику,— отвечал он принужденно.

Она не поняла в чем дело и, минуту помолчав, сказала:

— А у меня сегодня были гости, мои подруги. И как мы танцевали! Как было весело! Особенно, когда пришел к нам наш дорогой гость,— и, улыбаясь, она взглянула на меня.

— Кто же это такой наш дорогой гость? — спросил он ее, набивая свой широкий рот ароматическим па-тефуа.

— Мой сосед,— сказала она, показывая на меня.

— Я думаю, вам было очень приятно в таком милом обществе? — сказал хозяин иронически.

— Больше, нежели приятно, весело! — сказал я.

— Правда, вы художник, это в вашем вкусе,— проговорил он, гложа кость.

Я не нашел нужным подтверждать его справедливое замечание, и тишина снова воцарилась.

Прекрасная хозяйка растерялась и не находила слов для своих мрачных гостей. Как голодные собаки, они молча грызли кости и запивали каким-то вином. Гости торопились и давились костями,— им было недосуг. Изумленная и оскорбленная хозяйка, как овечка кроткая, робко поглядывала на своих волков-гостей и не знала, чему приписать эту мрачную торопливость. После жаркого картежники выпили по стакану шампанского, налили по другому, переглянулись меж собой, встали из-за стола, молча поклонились хозяйке и вышли в кабинет вместе с хозяином и со стаканами в руках.

— А пирожное! а яблоки! — сказала смущенная хозяйка.

— Пришли нам в кабинет, — говорил ротмистр, возвращаясь, и, оскаля свои белые большие зубы, прибавил, протягивая жене руку:

— Поддай мне на счастье свою руку.

Она молча подала ему руку и вскрикнула от нелицемерного пожатия. А он, как ни в чем не бывало, повернулся и вышел из залы.

Как беломраморная надгробная статуя, опустила она свою прекрасную голову на высокую грудь и неподвижно, молча сидела оскорбленная, моя прекрасная Елена. Я смотрел на нее, прекрасную, поруганную, и с замиранием сердца чего-то ожидал. Она тяжело вздохнула, грустно улыбнулась, взглянула мне в глаза и едва слышно прошептала:

— Весилля! — и, как жемчуг, крупные блестящие слезы полились из-под ее длинных опущенных ресниц.

Панна Дорота смотрела на нее и молчала. Я тоже не мог выговорить ни слова. А она плакала, тихо и горько плакала. Я дыханием не смел нарушить тишины. Тишины, во время которой на алтарь семейного счастья приносилась великая таинственная жертва. Она, простая, бедная крестьянка, она, пламенная, непорочная, любящая и так грубо оскорбленная, — она глубоко и в первый раз в жизни почувствовала эту ядовитую горечь оскорбления и заплакала, не как обыкновенная женщина, но как женщина возвышенная, глубоко сознающая собственное и вообще женское достоинство. Горе тебе, едва распустившаяся лилия Эдема! ⁵⁶ Тебя сорвала буря жизни и бросила под ноги человеку грубому, сластолюбцу холодному. Теперь только ты узнала настоящее горе и, как над дорогим сердцу покойником, ты заплакала над своим умершим счастьем.

— От вам и весилля! — сказала она, улыбаясь и утирая слезы. — Я думала, что не буду сегодня плакать, да и заплакала... А вы, моя милая панна Дорота, — продолжала она дрожащим голосом, — что же вы не плачете? Вы моя мать, вы меня замуж снаряжаете. — И она снова зарыдала.

Панна Дорота посмотрела на нее пристально и при-

нялася чистить яблоко. Я понимал настоящую причину ее слез и, как мог, растолковал ей, что значит картежник. Она поняла меня и непритворно успокоилась, а вскоре до того развеселилась, что налила себе, мне и панне Дороте в бокалы шампанского.

— За здоровье вашего брата! — сказал я, подымая бокал.

Она медленно, сердечно, нежно посмотрела мне в глаза, молча подала мне руку, мы чокнулись и дружно выпили вино.

— Гелено, сваволишь! — проворчала панна Дорота. А Гелена вместо ответа вполголоса запела:

Упилася я,
Не за ваші я:
В мене курка неслася,
Я за яйця впилася.

И, кончивши куплет, наклонилась к своей старой ворчунье, крепко поцеловала ее в нахмуренный лоб.

— Сваволишь, Гелено! — повторила панна Дорота, и мы встали из-за стола.

— Что же нам теперь делать? — сказала хозяйка, опускаясь на оттоман.

— Спать, — сказал я добросовестно.

— Я спать не хочу. Я теперь бы танцевала, до самого утра танцевала бы, — говорила она, смеясь и лукаво поглядывая на панну Дороту.

— За чем же дело стало? — сказал я. — Пойдем опять в павильон, я буду вертеть шарманку, а вы танцуйте с панной Доротой.

— Нет, не так, — мы панну Дороту заставим играть, а с вами будем танцевать. Мамуню моя! — прибавила она, нежно целуя свою дуэнью. — Пойдем в павильон!

— Сваволишь, Гелено! — проворчала невозмутимая старуха и отрицательно кивнула головой.

— А я вам не буду читать «Остапа и Ульяну», когда вы ляжете спать. Я ей каждую ночь читаю, — продолжала она, обращаясь ко мне, — а она один час не хочет для меня повертеть шарманку. Ей-богу, читать не буду! А завтра и цветы не полью до восхода

солнца. Пускай вянут! Вам же хуже будет: придется другие садить, а я и другие не полью. Пойдем же, моя мамусенько, хоть на один часочек! — и она нежно прижалась к панне Дороте.

— Сваволишь, Гелено! — проговорила та своим деревянным голосом. Гелена задумалась на минуту и потом сказала, обращаясь к своей дуэнье:

— Пойдем лучше спать. Я вас раздену, моя мамочко, накрою вас и буду вам читать, до самого утра буду вам читать.

— Желаю вам короткой ночи, — сказал я, кланяясь.

— Подождите, я вас проведу до швейцара, а то вы заблудитесь в нашем Вавилоне, и передам вас на руки старому Прохору, — говорила она, вставая и охорашиваясь.

Я не отнекивался от этой милой услуги и вслед за хозяйкой вышел в одну из четырех дверей. Пройдя узкий коридор и известную уже читателю красную комнату, мы вышли опять в коридор и очутились у выхода на двор. Она постучала в дверь, и вместо колоссального швейцара явился маленький жиденский старичок с фонарем в руке.

— От вас и Прохор, — сказала она мне и, обращаясь к старичку, продолжала: — А ты, Прохоре, будь ласкав, як очей своих стережи сёго папа. — Прощайте, — сказала она, подавая мне руку.

Едва успел я выговорить «прощайте!», как она уже исчезла в глубине коридора, и только шум шелкового платья долетал до меня.

Я стоял неподвижно и слушал этот гармоничный шум. Прохор, казалось, тоже был под влиянием этой безгласной гармонии. Так прошло несколько минут. Прохор первый очнулся и выпустил меня на двор.

Пройдя небольшое пространство за Прохором или, вернее, за фонарем, мы очутились на лестнице и, взойдя во второй этаж, всшли в чистую небольшую комнату, а потом в большую, освещенную восковой свечой. Я поблагодарил и отпустил Прохора, разделся, погасил свечу и утонул в чистой свежей постели.

Против обыкновения я скоро заснул. Спал крепко, но не долго. Едва начал проникать слабый свет сквозь белые прозрачные сторы, как я проснулся. Отвернувшись к стене, попробовал было заснуть снова, но напрасно и пробовал. Происшествия минувшей ночи разом завертелись в моем воображении и не давали мне покоя. Не припомню, которой ногой я встал с постели и подошел к окну, чтобы взглянуть на фасад этого безобразного лабиринта, в котором я встретил такую прекрасную волшебницу.

Приподнял стору, и первое, что мне попалося на глаза, это старый Прохор. Он шел через двор с умывальной посудой в руках и с полотенцем через плечо. Ничего не могло быть для меня больше кстати. Стало быть, Прохор непромах в лакейской профессии, а с виду-то он не похож на члена этого многочисленного праздного, растленного сословия. Он более смахивал на скотника, дворника или огородника, но никак не на лакея. И что ей вздумалось назначить мне такую нецеховую прислугу? Не сказал ли ей кто-нибудь, что я терпеть не могу цеховых мастеров лакейского дела? Сочувствие, ничего больше. А между тем в переднюю комнату тихо вошел мой личарда⁵⁷. Минуту спустя он едва слышно кашлянул и, отворив тихонько дверь, показал мне свою кроткую, тощую физиономию.

— Добрыдень вам! — сказал он хриплым дискантом. — Чом же вы не спыте? — прибавил он, растворяя дверь.

— Не спытсья, Прохоре! — отвечал я ему его же наречием.

— Не спытсья? — повторил он едва слышно. — Дыво, и в карты не граете, и не спыте. Так будем умыватсья, колы так, — говорил он, ставя умывальный прибор на стул.

— А разве паны всё еще играют в карты? — спросил я его.

— Грають, — отвечал он лаконически.

— Молодцы! — подумал я тоже лаконически и, любясь кроткой, грустно улыбающейся миной Прохора,

спросил его, не был ли он когда-нибудь садовником или пастухом чужого стада?

— И садовником, и пастухом був,— отвечал он, глядя на меня пытливо.

— А еще чем был? — спросил я его.

— И паламарем, и бродягою, и кобзаря слипого водыв колысь, ще малым. От и в лакеях бог велив побувать.— Последние слова проговорил он едва слышно.

После омовения я наскоро, без помощи Прохора, оделся, взял шапку, палку и вышел в переднюю.

— Вы, мабуть, такой самый пан, як я ваш лакей,— сказал Прохор, оглядывая меня.— Я еще и сапоги не вычистил, а вы вже и одяглись.

— Завтра вычистишь, Прохоре,— сказал я и вышел за двери.

— Не заблудить в наших вертепах,— сказал догадливый Прохор, притворяя дверь.

Вышел я на середину широкого, покрытого зеленой муравой двора и посмотрел вокруг себя. И во сне не видал я безобразно-оригинальное здания, какое увидел теперь наяву. Ни тени стройности, ни малейшей симметрии! Двух окон во всем здании нет одной величины. Во всем здании какое-то умышленное безобразное разнообразие. Окна, двери, крыши, трубы — всё ссорилось между собою, как пьяные бабы на базаре. Из-за какого-то сарая с круглым окном и шестиугольной дверью выглядывали три старые вяза, точно три мужика подошли полюбоваться на свое пьяное неугомонное подружие. Всё, что я видел вокруг себя, было, действительно, похоже на базар в самом развале. С какой мыслью, с какой целью нагромождено это бестолковое безобразие?

Необходимо войти в ближайшие отношения с Прохором. Он должен знать хоть по преданию этого сумасшедшего строителя. Интересно узнать такого чудака. Мне кажется, тут есть что-то общее между панной Доротой и этим зданием. Да нет ли еще в народе легенды или песни про этот Вавилон? Ежели есть, то Прохор, верно, ее знает. Решено: во что бы то ни стало, а я добыюся толку в этом бестолковом деле.

А пока со двора вышел я на ширскую тополевую аллею, по которой мы вчера въехали в этот лабиринт. Пройдя аллею, вышел я на пригорок. Посмотрел вокруг — лес непроходимый, из лесу кой-где рядами в разных направлениях торчали верхушки тополей и вился яркий голубой дымок по направлению к дому. — Не бывший ли это разбойничий притон? — спросил я сам себя и возвратился вспять, дивясь виденному.

Мне хотелось пробраться как-нибудь в сад. Но как? Этого я не знал и благоразумно представил это дело случаю. Случай не замедлил представиться. Из аллеи, по которой я выходил и теперь возвращался в дом, показалась мне в правой руке узенькая дорожка, или, как говорят земляки мои, волчья стезька. Я воспользовался волчьей стезей и вошел в темный липовый лес. Пройдя шагов сотню, в лесу показался фруктовый сад без всякой ограды. Пройдя фруктовый сад, я, как околдованный богатырь, остановился перед тремя ветвями расхолованной дорожки. Подумал с минуту и выбрал крайнюю слева, ведущую, как мне казалось, к дому. Избранная мною дорожка вилась между старой лещиной (орешник), между которой торчали тоже старые, толстые, развесистые липы и такие же суховерхие грабы и клены. Всё это было освещено теплым утренним солнцем и, как пишется, само просило под кисть живописца. Но мне в это время было не до живописи, меня занимал вопрос, куда приведет меня волчья дорожка? А чтобы разрешить эту задачу, я удвоил шаги, и только что я удвоил шаги, как наткнулся на толстый белый корень, лежащий поперек дорожки. Я остановился, поднял голову. Смотрю — и вижу: старый, сухой огромный клен распустил свои обнаженные ветви, как патриарх седой воздел дряхлеющие руки над чадами чад своих, моля о благословении вездесущего.

Как ни был я занят результатом таинственной дорожки, но перед дряхлым праотцем орешника остановился и чуть-чуть было не снял шапку. Так иногда случается встретить на улице благообразного старца, и рука невольно подымается к шапке. Это прекрасное

чувство, я думаю, врожденное уже в человеке, а не воспитанием усвоенное. Как бы там ни было, только я, как перед живым существом, с благоговением остановился перед усохшим величественным кленом. Солнечные лучи, проскользнувши сквозь густые ветви орешника, упали на его древние, обнаженные стопы, т. е. на корни, и так эффектно, так ярко, прекрасно осветили их, что я сколько можно дальше отодвинулся назад, уселся в тени орешника и, как настоящий живописец, любовался светлым, прекрасным пятном на темном серо-зеленом фоне.

Как долго я наслаждался этой картиной, не помню. Помню только, как крупная капля росы с листьев орешника упала на лицо и разбудила меня.

Проснувшись, я рассудил, что тут мне делать нечего, потому что светлое пятно исчезло. Остался только сухой клен и его самые обыкновенные корни. Лениво приподнялся я, стряхнул с себя сухие листья и, как ни в чем не бывало, пустился дальше по волчьей дорожке. Дорожка привела меня к какому-то сараю без окон и дверей, примкнутому к главному корпусу здания с разнокалиберными окнами. Сарай, вероятно, заключал в себе какую-нибудь фирму «Отраду» или «Наслаждение», т. е. конюшню или псарню. Дорожка, коснувшись помянутого сарая, повернула вправо. Я пошел далее. Кустарники орешника сменились кустарниками бузины, крыжовника и смородины. Значит, я добрался уже до настоящего господского сада. Ладно, думаю себе, и продолжаю свой загадочный путь. Вскоре вышел я в тополевою аллею. Смотрю, в конце аллеи белеет какое-то здание. Не вчерашний ли это павильон? Он же и есть. Я прибавил шагу и через минуту очутился у знакомого павильона. Двери были растворены, вхожу и вижу безмолвную панну Дороту, сидящую за круглым столом перед блестящим огромным серебряным кофейником.

— Доброго рана,— сказал я ей, кланаясь.

— Доброго полудня,— ответила она, кивнув головой, и почти улыбнулась.

Едва успел я нецеремонно сесть против панны Дороты, как вбежала или, лучше сказать, впорхнула в

павильон ранней птичкой моя прекрасная Елена и повисла у меня на шее.

— Сваволишь, Гелено! — проворчала дуэнья и принялась разливать кофе.

— Где вы пропадали? — быстро спросила у меня резвушка Гелена и, не дав мне выговорить ответа, продолжала:

— А брат хотел уже ехать за вами в Будища. А бедный Прохор плачет от горя. Я тоже чуть-чуть не заплакала, — прибавила она, улыбаясь.

— Да! — сказала она, как бы вспоминая что-то. — Мне нужно вам приятную новость сказать по секрету.

И, наклонясь ко мне, прошептала:

— Вы понравились панне Дороте!

— Рад стараться, — сказал я смеясь, а про себя подумал: «убил бобра!»

— Не смейтесь, — сказала она серьезно. — Это большая редкость. Ей даже брат мой не нравится. Я не знаю, чтобы ей кто нравился, кроме меня и Прохора. А вы третий, вот что! — прибавила она, взглянув на безмолвную панну Дороту.

— А когда так, — сказал я шутя, — так нечего напрасно время тратить: честным пирком да и за свадьбу.

— Она не пойдет замуж, — пресерьезно сказала прекрасная Елена. — Она давно уже черница, сестра-кармелитка, и для меня только остается здесь и не едет в свой кляштор⁵⁸.

— Гелено! кофе стынет! — сказала громко панна Дорота.

— Зараз, моя мамочко! — сказала нежно моя прекрасная собеседница и протянула руку к чашке.

После минутного молчания она снова обратилась ко мне и сказала:

— Я слышала, что вы умеете рисовать портреты. Нарисуйте мне мою мамочку, мою милую панну Дороту.

— Сваволишь, Гелено! — проворчала панна Дорота и едва заметно улыбнулась.

— Не сваволю, моя любая мамуню, не сваволю. Когда вы уедете в свой кляштор, я буду смотреть на

портрет ваш и буду ему книгу читать, как вам теперь читаю. Нарисуете? — прибавила она, быстро обращаясь ко мне.

Я дал слово исполнить ее желание.

— И брата нарисуете? — спросила она наивно.

— И вас, и брата, и всех нарисую.

— Как я рада! Как я рада! — сказала она, хлопая в ладоши.

— А есть ли у вас краски? — спросила она после минутного восторга.

— Есть в Будищах, — сказал я.

— Так это всё равно, что и здесь, — сказала она и выбежала из павильона.

Через полчаса она возвратилась назад и сказала:

— Брат сам едет в Будища и привезет вам всё, и даже вашего Трохима. Брат мой его очень любит, а я его еще и не видала, — прибавила она. — Должен быть хороший человек, когда брат полюбил.

— Родной внук вашему Прохору, — сказал я.

— Ну, так, верно, хороший. И грамотный?

— Грамотный, — отвечал я.

— Как бы я была рада и счастлива, если бы мой брат выучился грамоте, — сказала она как бы про себя и призадумалась, склонив свою прекрасную головку на плечо траурной, неподвижной панны Дороты.

— Я сама его выучу читать, — сказала она, как бы от сна пробуждаясь. — А кто же его писать выучит? Прохор тоже писать не умеет, он и читает только одну псалтырь. Посоветуйте, что мне делать? — прибавила она, обращаясь ко мне.

— Не только посоветую, даже помогу вам в этом добром деле, — сказал я и тут же предложил своего Трохима в наставники моему однорукому герою.

Теперь уже не по привычке и не напрасно проворчала панна Дорота: — Сваволишь, Гелено! — потому что ее шалунья Гелена не дослушала моего предложения, бросилась ко мне на шею и принялась целовать меня со всей нежностью пламенно любящей сестры.

— Чем же мы с братом заплатим вам за любовь вашу? — сказала она, успокоившись.

— Любовью, — отвечал я спокойно. — Выслушайте

меня,— продолжал я.— Вот мой план. Я вам оставляю моего Трохима на весь год. А вы отпустите со мною своего Прохора в Киев тоже на весь год.

Панна Дорота взглянула на меня и как бы испугалась.

— Если только Прохор согласится оставить вас.

Панна Дорота попрежнему опустила голову.

— О, наверно согласится. Я уговорю его.

Панна Дорота поморщилась и взглянула на свою Гелену, а та, поняв ее взгляд, со слезами на глазах бросилась перед нею на колени и, целуя ее руки, приговаривала:

— Мамуню моя! Серце мое! Я сама возьму заступ и буду копать твои гряды еще лучше Прохора. Только отпусти его, моя мамочко, мое серденько!

Панна Дорота, с минуту помолчав, наклонилась к ней, поцеловала ее в голову и едва слышно проговорила:

— Згода.

В это время робко вошел в павильон Прохор и, увидя меня, перекрестился и сказал:

— Слава тебе господи, царю небесный, найшлыся-таки! А я думав, що вы вже од нас на Бассарабию помандрувалы,— прибавил он, улыбаясь и утирая пот с лица.

Подойдя к Прохору, я объяснил ему, в чем дело, не подозревая его несогласия. Но вышло иначе. Он выслушал меня внимательно, призадумался, а через несколько минут раздумья посмотрел на панну Дороту и лаконически сказал:

— Не поиду.

— Почему? — спросил я тоже лаконически.

— А на чии руки я их покину? — сказал он, указывая на панну Дороту.

— На их руки,— сказал я, указывая на хозяйку.

— Молоде! — сказал он и вышел из павильона.

Решительный отказ этого полуубитого бедняка мне чрезвычайно понравился. Это задело за живое мою хохлацкую натуру. Он человек, а не безответный раб, который умеет только сказать: как прикажете! Я тут же дал себе слово склонить его на свою сторону.

С этим упрямым намерением я обратился к своим собеседницам, сказал им про отказ Прохора и просил их уговорить его ехать со мною в Киев, хоть бы для того только, чтобы поклониться печерским чудотворцам.

— От вас теперь зависит,— прибавил я,— привести мой проект в исполнение.

Панна Дорота обещала свое содействие, я поцеловал ее костлявую руку. Предложил прекрасной Елене прогуляться со мной, но прекрасная Елена мне, своему Парису, отказала. Я раскланялся и вышел в сад.

VII

— А куды вас теперь бог понесе? — спросил меня стоявший за дверями Прохор.

— А куда глаза глядят,— отвечал я.

— Куда глаза глядят,— повторил он шопотом.— А де вас тоди шукать, як заблудыте в нашому Вавилони?

На разумный его вопрос я не знал, что сказать ему, а он, глядя на меня, улыбался, поворачивая в руках свою шапку-чабанку.

Я никогда не любил прогулки с кем бы то ни было, ни даже с прекрасной и не сентиментальной женщиной. Прогулка сам на сам имеет для меня какую-то особенную прелесть, и я был в душе доволен отказом даже прекрасной Гелены. Теперь же, сознавая истину слов предусмотрительного Прохора, я готов был просить его сопутствовать мне по загадочному лабиринту или, как он сказал, по Вавилону. И оно было бы весьма кстати: во время прогулки я мог бы завести речь о панне Дороте и узнать всю подноготную, а ее подноготная меня сильно интересует.

— Не пойдешь ли ты, Прохоре, со мною погулять по вашему Вавилону?

— Ходимо,— сказал он, улыбаясь и накрывая свою лысину чабанкой.

В это самое мгновение выглянула из дверей очаровательная Гелена и позвала Прохора к панне Дороте. Я понял причину этой внезапной аудиенции и, отложив

розыск о панне Дороте до другого раза, пустился на-удалую, куда глаза глядят.

Между заглохшими колючими кустарниками смородины и крыжовника выбрался я к жиденькому обветшалому мостику, перекинутому через буро-зеленую лужу без всякой надобности, потому что лужу скорее и безопаснее можно обойти. Я благоразумно обошел болото и по уступам между такими же колючими кустарниками поднялся на гору. На горе торчали в беспорядке старые, полуусохшие тополи и одна широкая, развесистая липа, как добрая купчиха между тощими ассессоршами. Я прилег отдохнуть на горе, разумеется, около купчихи. Передо мною открылась панорама, на удивление неживописная в этом живописном уголке моей прекрасной родины. Прямо перед глазами — широкий сплошной черный лес, из которого торчали кое-где конические верхушки тополей и выглядывали широко и неправильно раскинутые черепичные крыши господского дома, уставленные безобразными трубами, из которых вился голубоватый дым. В правой стороне леса блестел широкий пруд. За прудом по косоугору раскинулось серенькое село, а в центре села торчала тоже серенькая деревянная церковь безымянной архитектуры. За селом, на отлогой возвышенности, махали крыльями, как будто жаркий спор вели между собою, две ветряные мельницы, а между ними по зеленому полю вилась темная дорожка и исчезала в узком однообразном горизонте, украшенном двумя небольшими могилами.

Неотдаленный горизонт для меня имеет, не скажу прелесть, но своего рода очарование. Меня всегда подмывает выйти на него и посмотреть, что за ним скрывается. Это неугомонное чувство мне еще в детстве покою не давало. Так, однажды, будучи лет шести или семи, смотрел я на подобный же горизонт, и мне вообразилось, что за ним небо склонилось к земле и непременно уперлось на железные столбы, а иначе как же бы оно держалось? Я не мог отказать себе в удовольствии взглянуть на эту интересную колоннаду. Пошел — и, к невыразимой досаде, увидел на медленно открывшемся таком же горизонте точно такое же село,

как и наше. Так и теперь: лежу под липою, а самого так и подергивает посмотреть, что за картина откроется за этими неутомными мельницами? Но философ Бэкон⁵⁹ учит сначала удовлетворять необходимое, а потом уже и любопытное. И я последовал его мудрому совету, тем более, что желудок мой начинал уже хлопотать о необходимом.

Любопытное я отложил до другого раза и тем же путем возвратился к павильону. Там уже никого не было. Не изменяя прежнего маршрута, я через час времени благополучно прибыл в штаб-квартиру. На дворе, как надо полагать, перед окнами кабинета, стояла коляска моего родича, а через двор его же кучер вел лошадей к экипажу.

— Поедем домой? — спросил я кучера.

— Поидемот назад пъятамы,— отвечал он с неудовольствием, закручивая поводья около дышла.

Что бы значил его замысловатый ответ? Неужели мой плоский бесстрастный родич — не совсем плоский, и бескровный? Неужели он не устоял против искушения и храбро загнул угол на свою капитальную подвижность? Но «прежде заключения необходимо убеждение»,— учит не Бэкон, а какой-то другой философ-юрист.

Войдя в свою комнату, я полуразделся, привел свою особу в горизонтальное положение и задумался о виденном вчера и сегодня. Дума поселила во мне неприятное, оскорбляющее чувство. Одна она, моя прекрасная, непорочная Елена, она, как светлая звездочка, горит в этом густом, тлетворном мраке, и для контраста ей, точно Магелланово облако⁶⁰, эта темная, неразгаданная старая идиотка панна Дорота! Интересно бы узнать, на чем она покончила с Прохором: едет ли он со мной в Киев или поставил на своем? Эта ли мысль или что другое заставило меня встать и подойти к окну. Прохор медленно шел через двор к моей квартире, а кучер моего родича, тоже медленно, шел ему навстречу. Они встретились, взяли за шапки, на минуту остановились и разошлись.

— Что проиграл? — спросил я входящего Прохора.

— И кони, и коляску, и Корния. Нашому Ивану

Ивановичу. А до вечера,— прибавил он,— може бог поможе, и себе програе. Наш Иван Иванович молодець!

— Да и родич мой, как видно, непромах,— подумал я и спросил Прохора, чем он кончил с панной Доротой.

— Повезу вас у Киев,— сказал он нехотя.

— И давно бы так,— сказал я, сердечно радуясь, что переупрямил старого хохла. Полюбовавшись его кроткой физиономией, я самодовольно возвратился в комнату с намерением привести свою особу в горизонтальное положение и достойно отпраздновать одержанную викторию. Вслед за мною вошел в комнату Прохор и своим присутствием разрушил мое гордое намерение. Он остановился у дверей и молчал, а я ходил по комнате и тоже молчал. Он, кажется, ждал, пока я заговорю, а я ждал, что он мне скажет. Наше немое тет-а-тет могло быть очень продолжительным,— это в хохлацкой натуре,— если бы не нарушил его стук колес, раздавшийся под окнами моей квартиры. Этот неожиданный стук заставил Прохора открыть уста с намерением произнести: «ах!» — но этот глубокомысленный проект ему не удался. Стук колес еще отдавался в ушах моих, как в комнату вошел однокорый герой мой и после приветствия отрапортовал мне, что приказания мои в точности исполнены.

— А где же Трохим? — спросил я моего героя, усердно пожимая ему руку.

— Они едут в карете,— отвечал он.

— Трохим? В карете? — восклицал я от удивления.— Расскажите мне ради бога, как это Трохим попал в карету? — спросил я улыбающегося моего героя.

— Весьма просто. Здешняя дорожная карета с поста еще оставалась в Будищах, а чтобы она там не гнила на дворе, я рассудил привезти ее в свое место.

— Прекрасно! — прервал я его.— Значит, вы лошадей взяли у моего родича? — Вопрос этот я сделал для того, чтобы лошадей сейчас же возвратить назад, а то как бы они не очутились на какой-нибудь шестерке или четверке.

— Зачем напрасно гонять кони? — отвечал он. — Я позычил две пары волов у отца Саввы, ее на волах и привезут сюда вместе с вашими вещами и с Трохимом Сидор... — Последнее слово почему-то он не договорил.

Я внутренне смеялся, воображая себе моего Трохима, величаво выглядывающего из великолепного дормеза, влекомого четырьмя волами. Я поблагодарил моего героя за хлопоты и думал уже итти навстречу Трохиму.

— Бог знает, кто о ком хлопочет, — сказал он кротко и выразительно, хватая меня за руку. Я отдернул свою руку, тогда он охватил мою шею своей единственной рукой, и карие глаза его сверкнули слезою. Он принялся целовать мою голову. Безмолвно-красноречивая эта сцена была прервана входом старого Прохора; он спрашивал меня, где я хочу обедать, с панями ли в кабинете или с панями в саду?

— Ни там, ни там, — сказал я, — а ты принеси нам сюда, мы будем обедать вместе с Осипом Федоровичем.

— И так добре! — сказал Прохор и скрылся за дверью.

Герой мой начал было отнекиваться от моей импровизированной вежливости, но я уверил его, что его компания интереснее для меня генеральской и даже адмиральской компании. Последнее выражение смутило простака, и он скрыл [смущение] в пестром бумажном носовом платке.

А Прохор-то, старый немощный Прохор! Словно казачок покоёвый, так и бегаёт взад и вперед. Не прошло и десяти минут, как уже всё было готово. Водка, закуска и серебряная ваза с супом дымилась на столе. А Прохор, как ни в чем не бывало, стоял себе у дверей с салфеткой в руке и только улыбался.

Едва успели мы сесть за стол, как дверь растворилась и впорхнула к нам легкокрылой бабочкой сама очаровательная хозяйка.

— И я с вами обедаю, — сказала она, садясь между мной и братом. — А панна Дорота, — продолжала она, — поцеремонилась, пускай одна обедает.

— Ей, я думаю, совершенно всё равно, — сказал я.

— О, нет! Панна Дорота любит веселую компанию.

Едва успела она проговорить последнее слово, как вошел длинный лакей с высокою серебряною вазою и с торчащею в ней бутылкой шампанского. Ставя на стол сию интересную посудину, лакей проговорил:

— Панна Дорота приказали.

— Поблагодари панну Дороту. А ты, Прохоре, принеси бокалы, — прибавила она.

В продолжение обеда Прохор работал быстрее и ловчее французской камеристки⁶¹. Я восхищался моим будущим слугою. Но когда дело дошло до шампанской бутылки, тут не только Прохор и мой благородный герой, я сам призадумался. Таинства сего гусарского искусства для меня закрыты, но заменить меня было нечем, и я принялся за дело. После долгих усилий пробка, наконец, вылетела и ударилась в потолок, а вино фонтаном брызнуло на стол. Я, однако ж, не растерялся, а как следует направил бешеную струю в законное русло. Хитрая моя операция привела старого Прохора в восторг. А чтобы продлить это наивное восхищение, я предложил ему выпить бокал «скаженной» воды. Он решительно отказался. С помощью милой хозяйки, наконец, я его уверил, что не так черт страшен, як ёго малюють. Против такого сильного аргумента сказать было нечего, и мы все четверо чокнулись и дружно выпили сердитое вино. Прохор легонько крякнул и едва слышно проговорил:

— Ничого сказать, смашна собака!

VIII

Очаровательная хозяйка после обеда сейчас же удалилась вместе с братом. За ними последовал и догадливый Прохор, а я, подумавши немного, сладко, мягко, бархатно-мягко сомкнул мои очарованные вежды, уложив свою особу на мягкой постели. Но увы! Не успел я переступить границу действительности, как до полуслуха моего коснулись какие-то странные неяс-

ные звуки, похожие на чтение псалтыря над покойником. Вслушиваюсь, действительно, чтение, и чтение церковное. И голос как будто знакомый, но где этот знакомый голос, за стеной или под полом, не пойму. Я раскрыл глаза, но зрение слуху не помогло. Я встал, подошел тихонько к двери, растворил ее, смотрю,— в передней никого нет, а звуки сделались явственнее и все-таки похожи на чтение псалтыря. Нет ли и в самом деле у меня соседа какого-нибудь преставльшегося? Отворяю другую дверь, выхожу на лестницу — и ларчик просто отворялся: псалмолюбивый сторож мой Прохор, чтобы не беспокоить меня своим псалмолюбием, расположился на самой последней ступеньке лестницы и по всем правилам дьячковской декламации борзо читает: — «Не ревнуй лукавнующим, ниже завидуй творящим беззаконие». — С удовольствием прослушал я псалом до конца и возвратился во-своих, дивясь бывшему.

Благоговейное чтение Прохора теперь на меня действовало иначе. Через несколько минут неясные звуки совсем исчезли, и мне уже начало представляться какое-то очаровательное видение, вроде прекрасной Елены, как вдруг раздалось прозаическое громкое: — Цабе-цабе!.. соб! тпрру! — Не могу сказать, что именно, но мне представилось что-то страшное. Я вскочил, подбежал к окну,— и, о зрелище, достойное кисти Вувермана! ⁶² Великолепный дормез, запряженный четьрьмя огромными серыми волами, остановился против моей квартиры. Прохор отворил дверцу и, как какого-нибудь кардинала ⁶³, высаживал из дормеза моего непышного Трохима. Эта оригинальная сцена во мне уничтожила даже мысль не только о сне, но и о самом полежаньи.

Земляки мои, в том числе и я, самую серьезную материю не могут не проткать хоть слегка, хоть едва заметной шуточкой. Земляк мой (разумеется, невольно) в потрясающий финал «Гамлета» всучит такое словцо, что сквозь слезы улыбнешься. В доказательство я приведу пример исторический.

Сообщники Искры и Кочубея ⁶⁴, поп N. N. и писарь Подобайло, после доброй пытки кнутом лежали

окровавленные на полу под рогожею и рассуждали о том, что не мешало бы позычить у москаля кропила (кнута) для своих непослушных жен. Не правда ли, на своем месте шуточка?

Вот и я теперь готовлю своего Трохима в педагога, к делу в высокой степени благородному и серьезному. Так бы и начать следовало это доброе дело. Нет, я вздумал его начать шуточкой, а от шуточки чуть было в прах не рассыпалось мое доброе и серьезное намерение.

Без малейшей причины пришла мне в голову нелепая фантазия притвориться сердитым на Трохима и посмотреть, что из этого выйдет. Когда он с помощью Прохора внес чемодан в комнату, я даже не взглянул на него, т. е. на Трохима. Он это заметил и взглянул на меня недоверчиво. Я продолжал свою роль. Не обращая внимания на сконфуженного Трохима, приказываю Прохору принять по счету белье, книги и прочие вещи, а сам наскоро одеваюсь и ухажу. Глупо, удивительно глупо! Но я, как школьник, был доволен этой импровизированной глупостью.

Известной уже читателю волчьей тропинкой прошел я мимо патриарха-клена в также известную аллею и потом в заветный павильон. Тут встретила меня с братом прекрасная Елена и панна Дорота с чашкой чаю в руке. После чаю и веселого живого разговора герой мой взялся за шарманку. Она завизжала какой-то вальс, а я с прекрасною Еленюю, как неистовый немец, закружился под это визжанье. Панна Дорота выглядывала из-за самовара и заметно улыбалась. А между тем начало уже заметно темнеть в павильоне. Мы вышли в сад, и тут-то я вспомнил о Трохиме и сообщил о его прибытии моему герою. Герой мой, как умел, раскланялся и пошел приветствовать своего профессора и друга. Я предложил моим спутницам прогулку по волчьей тропинке, они охотно согласились, и мы без особенных приключений засветло еще добрались до большой тополевой аллеи, ведущей к дому. В аллее встретился нам Иван Иванович Бергоф, едущий четверней в коляске моего возлюбленного родича. Гордый успехом, Иван Иванович показал вид, что нас

не видит, а мы даже отвернулись, когда он проехал мимо нас. И поделом тебе, немецкий шулер!

При входе на широчайший двор нас встретил герой мой и с ужасом объявил нам, что Трохим пропал.

— Вот тебе и шуточка! — подумал я, раскланиваясь со своими спутницами, и побежал на квартиру.

— Где Трохим? — спросил я торопливо Прохора.

— А бог ёго святы́й знае, — ответил он равнодушно.

— Он тебе ничего не сказал, когда уходил? — спросил я нетерпеливо.

— Сказал... — и Прохор остановился.

— Что же он тебе сказал, говори скорее?

— Он сказал... та цур ёму! он нехорошее слово сказал...

— Говори скорее, я всё хочу знать!

— Он сказал, что на вас не только добрый человек, сам чорт не угодит, и что когда он вам понадобится, так чтобы вы его и в Киеве не шукалы.

— Попроси ко мне Осипа Федоровича, — сказал я Прохору.

Он поспешно скрылся, а через минуту явился ко мне опечаленный герой мой. Я объяснил ему, в чем дело, и просил его не медля отправиться в погоню за Трохимом.

— Он, верно, теперь в Будищах, у отца Саввы, — прибавил я.

Герой мой вышел. Я остался и от нечего делать начал углубляться в смысл моей глупой шуточки.

Значит, я плохо знал моего Трохима, когда позволил себе подобную выходку. Глупо и еще раз глупо! И даже неоригинально глупо! Прохор первый думает теперь, что я тиран, что я бешеная собака, что со мною не только добрый человек, сам чорт не уживется. Еще раз глупо!

— Пожалуйте, вас просят в покои, — проговорил Прохор, отворяя дверь.

— А в покоях ничего не говорят о Трохиме? — спросил я его экспромтом.

— А бог их святы́й знае. Назар лакей говорит, что...

— Что Назар лакей говорит? — перебил я его.

— Что, говорит, Трохим от вас убежал.

— Врет он! Трохим забыл в Будищах очень нужную мне книгу и пошел за нею. Кто же виноват? Не забывай!— прибавил я экспромтом, весьма неудачно и даже непростительно глупо. Ну, к чему мне было врать перед Прохором? Чтобы утвердить его мнение, что я действительно бешеная собака, да еще и хитрая собака. Одна ошибка ведет за собой другую. Это в порядке вещей. Как бы, однако ж, вывернуться из этого глупого порядка вещей?

Прохор лукаво посмотрел на меня, а я, как будто ничего не замечая, беспечно просвистал качучу, взял шапку и вышел.

— Врет да еще и присвистывает,— наверное, так подумал Прохор. Скрепя сердце вошел я в известную круглую залу а-ля турецкая палатка. В зале никого не было. Скрепя сердце расположился я на оттомане в ожидании кого-нибудь. Наскучив ожиданием, скрепя сердце вошел я в кабинет хозяина и наткнулся на происшествие такого свойства: хозяин и мой возлюбленный родич сидели молча за испачканным ломберным столом, вперив багровые глаза и такие же носы в стаканы с дымящимся пуншем. По временам произносилось слово: «моя», и за словом передвигался целковый с одного конца стола на другой. Я долго не мог понять, что между ними происходит. Они играют, это верно, но в какую игру? Наконец, я догадался. Они забавляются в муху, т. е. в чей стакан прежде упадет муха, того и приз.— Хороши мальчишки! — подумал я, глядя на приятелей, и, гнушаясь их отвратительной забавой, я вышел из кабинета, не замеченный ими.

Я оставил приятелей, ругающихся за сомнительное плиэ⁶⁵. В палатке-зале попрежнему никого не было. Мимо десяти загадочных чуланов прошел я в китайскую залу с загадочными фирмами. И там никого не было. Я вышел в сад — никого, в павильоне — тоже. Куда же скрылась моя прекрасная Елена со своею дуэньей? Задавши себе такой вопрос, я прежними переходами возвратился в свою квартиру, лег и занялся внимательным созерцанием потолка. В непродолжительном времени Прохор отворил дверь и сказал, что

меня просят на вечерю. Я отказался от вечери и снова принялся за потолок. Не помню, на чем я остановился в своих тонких наблюдениях, помню только, что я проснулся, погасил свечу, повернулся к стене и опять заснул.

Проснулся я рано, и мне живо представился заманчивый горизонт с двумя ветряными мельницами. Сем-ка проведаю, что там делается за мельницами! Встал, надел шапку, взял палку и вышел.

Златовласая, румяноланитая Аврора уже умылася алмазною росой и радостно улыбалась сладко дремавшей земле. Вдохнув свежим влажным воздухом, вздрогнул легонько и, помолившись богу, направился к широкой тополевой аллее. Пройдя аллею, остановился я на распутии двух дорог. Одна мне знакома, она ведет в село Будища, а другая бог знает куда приведет. Я выбрал ту, которая бог знает куда приведет. Иду. Направо лес, налево поле, а впереди сереет село, подернутое облаком прозрачного дыма. Вхожу в село. Извилистая улица спускается вниз и соединяется с греблей. Ниже гребли мельница и винокурня, а по другую сторону, почти в уровень с греблей, блестящий широкий пруд. За прудом такое же сероватое село и вьющаяся улица по красноватому пригорку. На пригорке шинок, за шинком царына, поле и две ветряные мельницы. Вас-то мне и нужно, голубушки!

— Добрыдень, батьку! — сказал я седобородому старику, прилаживавшему лубочные двери к своему куреню. — Нехай бог помагае! — прибавил я, приподымая шапку.

— Добрыдень, сыну! Нехай и вам бог помагае, — проговорил он, снимая шапку. — А куда бог несе? — спросил он почтительно.

— Гуляю, батьку! — ответил я, проходя мимо него.

— Гуляй соби с богом, сыну! — проговорил он, надел шапку и снова принялся за лубковую дверь. А я вышел в поле и пошел себе шляхом-дорогою, на свистывая какую-то украинскую песню.

Прошел я мимо ветряных мельниц и шаг за шагом, незаметно поднялся на заманчивую возвышенность, и вдруг остановился. Передо мною открылася не ориги-

нальная и не новая для меня, но очаровательная картина. Обрамленная темным лесом, широкая и бесконечно длинная поляна раскинулась на отлогой покалости, уставленная в беспорядке старыми суховерхими дубами. Налюбовавшись доотвалу, мне вдруг пришла охота пощупать ногами эту старую, неоригинальную картину. Крепко захотел — вполовину сделал. Проговоривши эту святую истину, пустился я ощупывать старую картину, и, переходя от дуба к дубу, нечаянно наткнулся на широкий и глубокий ров. Смотрю, за рвом на большом пространстве, приблизительно двух квадратных верст, зеленеет бархатная молодая пажить. А между этой тучной, роскошной зелени, как темные ленты, протянулись два обнижка (межа), и на одном из них гуляет высокий человек, весь в белом. Я далек от веры в заколдованные клады, которые счастливым являются тоже в белом. Но тут чуть-чуть не приблизился я к этой нелепой вере. Хорошо, что этот мнимый клад, увидя меня, стал ко мне приближаться. Когда он подошел на несколько шагов ко рву, я приподнял шапку, пожелал ему доброго утра и спросил:

— Чья это такая прекрасная пшеница?

— Доктора Прехтеля, т. е. моя.— Он приподнял белую фуражку и прибавил: — Имею честь рекомендоваться.

Я посмотрел на него внимательнее. Это был белый, свежий, худощавый, высокого роста старик в кавалерийском белом кителе и в таких же широких шароварах. С минуту стояли мы молча друг против друга. Я уже намерен был сказать что-то, как он внезапно уничтожил мой проект вопросом:

— Вы нездешний и, вероятно, заблудились?

— Ваша правда, я нездешний. Я художник Дармограй,— отвечал я, как будто растерявшись, что со мною делается всегда при первой встрече.

— Вашу руку! Я люблю художников, истинных божьих детей,— проговорил он быстро и протянул мне руку. Я сделал то же и очутился в канаве. Он сделал мне сначала выговор за несторожное движение, потом подал мне руку и вытащил, аки пророка Дании-

да⁶⁶ из рва львиного, — немного выпачканного грязью.

— Теперь здравствуйте как следует! — сказал он, улыбаясь и пожимая мои руки.

— Ваше имя? — спросил я его.

— Степан Осипович Прехтель. А ваше? — прибавил он быстро.

Я сказал ему свое имя.

— Очень хорошо. Теперь пойдем к моей старухе. Она, как и я сам, тоже любит художников. — И, говоря это, он вывел меня на обнижок. Но как эта дорога оказалась тесною для двоих пешеходов, то он пустил меня вперед, а сам пошел за мною. Молча прошли мы зеленую ниву и вступили в молодую, аккуратно подчищенную дубовую рощу. Тут нас встретил красивый здоровый парень в белой чистой рубашке и таких же широких шароварах. Парень снял смушевую черную шапку и, кланяясь, проговорил:

— Добрыдень, дядюшка!

— Добрыдень, Сыдоре! — отвечал ему мой новый знакомый. — Что хорошее скажешь, Сыдоре? — спросил он его.

— Тетушка София Самойловна вас послали шукать, — отвечал парень, кланяясь.

— Добре, скажи — приедем! — сказал доктор Прехтель моим родным наречием, что меня немало удивило, приняв в соображение его ученую степень и немецкую фамилию.

Пройдя дубовую рощу, мы очутились перед белою большою хатою с ганком (крылечко) и четырьмя, одной величины, окнами. Из-за хаты выглядывали еще какие-то строения, но я не успел их рассмотреть, потому что в дверях показалась кубическая, свежая, живая старушка в ширококрылом белом чепце и в белой широкой блузе.

— Рекомендую вам мою Софью Самойловну, — сказал Прехтель, показывая на приближающуюся к нам старушку.

Я поклонился и проговорил свое имя и звание.

— Ах! — произнесла моя новая знакомка и, обратясь к мужу, спросила:

— Где это ты взял такого дорогого гостя?

— Бог нам послал, друг мой,— сказал он, нежно целуя свою Софью Самойловну.

— Я вам пришлю кофе сюда в рощу, в комнатах еще беспорядок,— сказала она скороговоркой и скрылась в хату.

— Филемон и Бавкида ⁶⁷,— подумал я, возвращаясь с хозяином в рощу.

IX

— Теперь отдохнем,— сказал мой вожатый, садясь на дерновую полукруглую скамейку.

— Отдохнем,— повторил я, опускаясь на ту же скамейку.

Через минуту к нам подошла белолицая, свежая девушка в малороссийском костюме и, кланяясь, сказала едва слышно:

— Де, дядюшка, прикажете стол поставить?

— Хоть за воротами, мне совершенно все равно, давай нам только кофе,— сказал мой амфитрион, улыбаясь.

Девушка вспыхнула и закрыла лицо белым широким рукавом рубахи.

— Ты слова путного никогда не скажешь,— сказала тут же очутившаяся Софья Самойловна.— Принеси скорее, Параско, круглый столик,— прибавила она, обращаясь к своей сконфуженной сотруднице. А старик взглянул на меня и лукаво мигнул глазом, как бы говоря: каков я!

В одну минуту белолицая Геба-Параска уготовала для нас пир с самомалейшими подробностями. На небольшом круглом столике она поместила всё: и кофейник, и кофейничек, и кипяченые сливки в миниатюрных горшочках, и булки, и булочки, и сухарики, и, наконец, две большие черные сигары и зажигательные спички. Недоставало одной Софьи Самойловны. Не замедлила и она явиться, но уже не в блузе, а в черном шелковом пальто и в щеголеватом свежем чепчике. Она присоседилась к нам, и после первой чашки кофе беседа завязалась. Я рассказал им подробно, кто

я и что я. А они или, лучше сказать, она рассказала мне, не вдаваясь в мелочи, как это обыкновенно бывает у женщин ее лет, она рассказала мне всё про свое житье-бытье, не касаясь ни одним словом своих соседок. Большая редкость у женщины даже и не ее лет. В заключение она сказала мне, что у них есть дочь, красавица, в киевском институте, и что через месяц она оставит институт, и как она ее будет дома учить хозяйничать, и как замуж думает выдать. Тут только она вдалась в подробности, но матери это прости-тельно.

Есть на свете такие счастливые люди, которым не нужна никакая рекомендация, с которыми не успеешь осмотреться хорошенько, как уже, сам того не замечая, делаешься своим, родным, без малейшего с твоей стороны усилия. А есть и такие несчастнейшие люди, с которыми и из семи печей хлеба поешь, а все-таки не узнаешь, что оно такое, человек или амфибия.

Не вставая с дерновой скамьи и до половины не докурив сигары, я узнал, что Степан Осипович Прехтель был когда-то штаб-лекарем в Курляндском драгунском, теперь уланском, полку, и что учился в Дорпате, и что Софья Самойловна — воспитанница графини Гудович, жены командира того самого Курляндского драгунского полка, в котором он служил когда-то медиком, и что в местечке Ольшане (Киевской губернии) они спозналися с Софьей Самойловной, там же и побрались, и что сначала было не без нужды, пока Степан Осипович не окрылился, т. е. пока не выслужил пенсию и не оставил службу. Потом купили себе этот хуторок, обзавелись хозяйством да и живут, как у бога за дверью.

В свою очередь и я разговорился и нарисовал им самыми радужными красками мою прекрасную Елену и ее благородного великодушного рыцаря-брата. Я так увлек стариков своим рисунком, что они со слезами на глазах стали меня просить познакомить их с братом и сестрою, о которых они уже слышали, но еще не имели счастья видеть благородную чету. Я обещал. Я предвидел от этого знакомства много прекрасного

и полезного для моей героини и еще более для образованной красавицы, дочери Софьи Самойловны. Они разделят свое нравственное добро как родные сестры, и обе будут богаты.

Старики предложили мне остаться у них обедать. Я не отказался, а в ожидании обеда Степан Осипович предложил мне прогуляться по его палестине. Я тоже не отказался, и мы пустились соглядать не широкое, но милое, чистое, аккуратное хозяйство медика-агронома.

О подробностях виденного мною я распространюся в другом месте, а теперь и не место, и не время, потому что Софья Самойловна послала уже своего Сидора-Меркурия просить нас к обеду. Я, однако ж, ошибся: Сидор, действительно, шел искать к обеду, только не нас, а карасей в пруду. И когда мы проходили греблю, то я увидел сквозь тростник, как он вытащил тяжелую вершу и из нее посыпались в човен крупные золотистые караси. Я посмотрел и только облизался.— Каковы же эти приятели будут поджаренные со сметаной! — подумал я и еще раз облизался. Приятели оказались, действительно, такими, как я думал. А вообще обед превзошел мое воображение своею простотою и чистотою до педантизма. После обеда Степан Осипович пригласил меня в свою лабораторию-библиотеку прочитать, как он выразился, знаменитое творение осьмого и первого мудреца Морфея. Перейдя темные сени, вступили мы в половину Степана Осиповича. Это была большая комната с четырьмя небольшими окнами, украшенными разной величины бутылками с разноцветными жидкостями. В промежутках окон помещались шкафы — одни с аптекарскими банками, а другие с книгами. На столах сушились первовесенние ароматические травы, а венцом украшения комнаты были две койки с чистыми свежими постелями, на которые мы возлегли и заснули, да не как-нибудь по-воровски, а заснули похозяйски, т. е. до заката солнца.

Чтение знаменитого творения мудреца Морфея продлилось бы и долее, если бы не послышался из-за дверей знакомый звонкий голос Софьи Самойлов-

ны, спрашивавшей, не желаем ли мы чаю, на что Степан Осипович лаконически отвечал: — Желаем!

— А когда желаете, так выходите в сад,— сказала Софья Самойловна, стукнувши чем-то металлическим в дверь, вероятно, ключом.

Встряхнулись, умылись, оделись и, как ни в чем не бывало, вышли мы, уже не в дубовую рощу, а в настоящий фруктовый сад, расположенный по другую сторону хаты. Уселись мы на дерновой скамье под старую огромную липу, раскинувшейся посередине сада.

— А как бы нам кто-нибудь преподнес воды и сахару или варенья,— сказал Степан Осипович идущей к нам Софье Самойловне.

— Ты настоящий немец! — сказала она, улыбнувшись одним углом рта, что делало ее необыкновенно милою старушкою.— Все бы ему воду да сахар. А чай куда денешь? Настоящий немец! — повторила она.

— И не сидит около немца! — сказал без улыбки Степан Осипович, закуривая сигару.

Софья Самойловна возвратилась в хату. И в скором времени белолицая, чернобровая Геба-Параска вынесла на подносе требуемый продукт, поставила на скамейку и проговорила краснея:

— Дяденька!.. Тетенька велели спросить у вас, не подать ли вам еще чего-нибудь.

— Перцу с луком и горчицы немного попроси у своей тетеньки, а потом уже чаю,— прибавил он не улыбаясь.

Как спелое яблоко, зарделася белолицая Геба и, закрыв лицо рукавом, убежала в хату.

Зачайная речь вертелась сначала на шуточках Степана Осиповича, потом перешла на прекрасную сестру и великодушного брата и, наконец, на панну Дороту.

— Что за субъект эта безмолвная панна Дорота? — спросил я у Степана Осиповича.

— Мрачный психический феномен,— отвечал он.— Она идиотка вследствие обмана и оскорбления. Ее печальная история тесно и даже родственно связана с гнусной историей старого Курнатовского, отца тепе-

решного владельца. Я вам расскажу ее историю, мне она более, нежели кому другому, известна. И, по-моему, такие истории не только рассказывать — печатать следует. Эти растлители-беззаконники законом ограждены от кнута, то их следует и должно печатно казнить и позорить, как гнусное нравственное безобразие.

Только что Степан Осипович вошел в сущность речи, а я превратился в слух, как подошла ко мне белолицая Геба и, краснея, вполголоса сказала, что меня какой-то однорукий пан спрашивает. Я теперь только хватился, что я сделал непростительную глупость: ушел из дому, не сказал даже Прохору, куда я ушел. А впрочем, я и сам тогда не знал, куда я ушел.

— Что случилось? — спросили меня вдруг оба мои амфитрионы.

— Ничего особенного, — отвечал я смутившись. — Меня, как беглеца, разыскивают в околотке.

— Кто вас ищет?

— Человек, великодушием которого мы недавно восхищались.

— Неужели он сам? Где он?

— Отут стоять за хатюю, — отвечала простодушная Геба.

— Что же ты останвилась? Проси их сюда к нам, — сказала Софья Самойловна, обращаясь к Гебе.

— Вы нам сегодня гору золота подарили, — говорил Степан Осипович, пожимая мне руку.

Белолицая Параска пошла просить гостя до компании, а мы все трое, вслед за Параскою, пошли триумфально встретить моего героя.

— Вы меня знаете, а я вас еще лучше знаю, и конечно, — так встретил Степан Осипович своего гостя и, пожимая ему руку, прибавил, показывая на Софью Самойловну: — А вот и моя старая немка. Прошу любить.

Софья Самойловна сделала книксен и благоговейно посмотрела на моего героя. А он, простодушный, покраснел, как девушка при встрече с незнакомым юношей, и, подойдя ко мне, шепнул на ухо: — За воротами Трохим вас дожидает. — Я исчез как кошка.

За воротами стояла бричка, а в бричке сидел, пуня голову, мой оскорбленный Трохим. Увидя меня, он отвернулся. Подходя к бричке, я слегка кашлянул. Он еще больше отвернулся. Я вижу, что дело плохо, зашел с другой стороны. Он отвернулся в противоположную сторону. Плохо, нужно переменить маневр.

— Здравствуйте, Трохим Сидорович,— сказал я, едва удерживаясь от смеха.

— Здравствуйте и вам,— сказал он и еще отвернулся от меня.

— Не хотите ли чего покушать?

— Не хóчу,— сказал он протяжно и оборотился ко мне спиною.

Не без труда умаслил я моего Трохима и ввел его в освещенный гинекей⁶⁸ Софьи Самойловны. На дворе уже было темно. Я отрекомендовал его как моего верного слугу и сподвижника и как будущего учителя моего героя.

— Bravo, молодой профессор! Будем учиться, и всё пойдет хорошо,— проговорил Степан Осипович, пожимая ему руки.

Софья Самойловна приласкала его, как сына, потчевала ватрушкой и посадила около себя на диване. Трохим не без церемонии исполнил ее желание, сначала поцеловав ее руку, из чего я заметил, что он парень бывалый.

После весьма нелегкого ужина, к немалому изумлению Софьи Самойловны, мы собрались в путь. А она уже велела в клуне на соломе и постели нам приготовить. Услыхав о такой роскоши, я уже было и нюни распустил, но герой мой, как истинный спартанец, решительно отказался от этого невинного плотугодия, и тем более, что панна Дорота вчера вечером крепко захворала и сестры некем переменить у ее постели.

— Так вот где причина вчерашнего безмолвия,— подумал я. И, пожелав хозяевам покойной ночи, мы вышли на двор, дав слово навещать их чаще и чаще.

— А все-таки лучше было б, если бы вы переночевали,— говорила ярко освещенная свечой Софья Самойловна.

Степан Осипович, проводив нас до ворот и прощаяся, просил учителя и ученика без церемонии обращаться к нему за учебными книгами и удостаивать его сведениями о ходе своих занятий по педагогической части. Я молча пожал ему руку, и мы расстались.

Х

Западный небосклон еще рделся, как потухающее зарево отдаленного пожара. На мягком красноватом фоне рисовалась темная прозрачная дубовая роща. Из-за рощи фиолетовой игривой струйкою подымался вверх дым, вероятно, из кухни Софьи Самойловны. Глядя на этот невозмутимый мир природы, сладкие успокоительные грезы посетили мою тревожную душу:

Не для волнений, не для битв —
Мы рождены для вдохновений,
Для звуков сладких и молитв⁶⁹.

Стихи Пушкина не сходили у меня с языка, пока мы не подъехали к селу. При въезде в село вместо царынного д и да нам отворил ворота Прохор, и вместо обыкновенного приветствия произнес он клятвенное обещание о том, что не будь он Прохор Хиврыч, а будь он собачий сын, если он с этого часу отпустит меня от себя хотя на две пяди. Возьму, говорит, на веревку, та й буду водить, як того медведя, и что другой рады он не может дать с таким божевильным паном, как я. При этих словах Трохим посмотрел на меня значительно, как бы говоря: что, небось, неправда?

— Посупись к тому боку, — сказал Прохор Трохиму, влезая в бричку. — С самого ранку на ногах, як той хорт на ловли! Рушай! — сказал он кучеру усаживаясь.

Мимо едва освещенного шинка спустилися мы тихо с пригорка и очутилися на гребле. На гладком зеркале пруда кое-где всплескивала рыбка и оставляла по себе тихо расширявшийся на воде круг. Проехав село и тополевую аллею, мы остановились на широком дворе.

Из темного фона выдвигалась черная женская фигура. Я узнал в ней мою прекрасную Елену.

— Чи вси дома? — спросила она, встречая нас.

— Все! — сказал я, выскакивая из брички.

— Где вы пропадали до сих пор? — спросила она, взяв меня за руку. Я сказал ей о моей находке.

— А что, разве я не говорила тебе, что они непременно там, — сказала она, обращаясь к брату.

— Да почему вы узнали, что я именно там? — спросил я ночную красавицу.

— Потому, что вы рано поутру прошли за царыню и не возвращались, а до хутора Прехтеля недалеко, я и догадалась.

— Умница, — подумал я и подал ей руку, и мы молча отошли от брички.

— Как здоровье вашей панны Дороты? — спросил я мою молчаливую спутницу.

— Очень нехорошо. Завтра необходимо попросить Степана Осиповича, и я не знаю, как это сделать. Муж уехал, а я...

— Куда ваш муж уехал? — прервал я ее, как будто меня тяготило его присутствие.

— Не знаю куда. Он уехал с вашим родичем, верно, в Будища, — отвечала она, не изменяя тона.

Разговор наш как-то не вязался. Она сегодня не была похожа на себя. Я ей это заметил, и она сказала, что ей сегодня скучно. Я нарисовал ей привлекательную Софью Самойловну и в заключение объявил ее искреннее желание познакомиться с нею. Она и эту любезность приняла заметно сухо, из чего я мог догадаться, что мне осталось пожелать ей приятных сновидений и ретироваться во-свояси, что я благоразумно и исполнил.

Что ее так сильно беспокоит? Неужели болезнь панны Дороты, этого живого автомата? Или отсутствие беспутного мужа? Или и то и другое? И то и другое поодиночке дрянь, а вместе — безнравственная гадость. А она скучает без них. Странно!

Долго я еще шлялся в темноте по двору и повторял зады, пока, наконец, устал и пошел к себе на квартиру.

В ожидании меня Трохим читал вступительную лекцию своему ученику. Когда я входил в комнату, он заставлял его узнавать буквы на обертке «Морского Сборника» и прехитро толковал ему, что означают две палочки с перекладиной наверху и что значат такие же две палочки с перекладиной посередине. Прохор же, не обращая ни малейшего внимания на любознательную молодежь, читал вслух псалмы Давидовы, осторожно переворачивая пожелтевшие листы псалтыря. Эта новая сцена освободила меня от томительного впечатления предшествовавших ощущений. Похвалив моего героя за понятливость и прилежание, Трохима за точное исполнение своей новой обязанности, а Прохора за борзое чтение «писания», я хотел поклониться им и ложиться спать, как Прохор выступил вперед и взял смелость спросить у меня, что значит «Коль возлюбленна селения твоя, господи сил». Я, признаюсь, был озадачен таким нечаянным вопросом, но, сейчас же оправившись, отвечал ему наудалую:

— «Селение возлюбленное господне»,— сказал я ему,— означает не что иное, как монастырь.

Прохор посмотрел на меня с благоговением, а на предстоящих с удивлением, и больше ничего.

— Я и сам так думал,— говорил Прохор, придя в себя.— А может быть, и не так, думаю себе, а спросить не у кого. Панна Дорота — они хотя и читают книгу, так не по-нашему, а по-польски, так ее и спрашивать нечего. Слава богу, что вас господь послал к нам, а то бы я и до гробовой доски не выразумел сего святого слова. Чи вы вечерялы? — спросил он меня внезапно.

— Вечерял,— отвечал я.

— Кладитея ж с богом та спить. Ходимо, хлопци! — прибавил он, обращаясь к своим собеседникам.

В продолжение речи Прохора я, как бы от нечего делать, перелистывал «Морской Сборник» и, найдя то место, где было сказано о подвиге моего героя, заставил Трохима прочесть вслух. Героя моего этот напечатанный секрет на минуту озадачил, но он вскоре оправился и сказал:

— Да если бы не сам граф Виельгорский, царство

ему небесное, нас тогда допрашивал, то я другому бы и слова не высказал.

— Мир праху твоему, достойный представитель человеколюбия! — почти вслух проговорил я и, пожелав покойной ночи честной компании, ушел в свою комнату.

Расставшись с моими protégé-друзьями, я неліцемерно принялся мерить вдоль и поперек свою комнату. Но как я тщательно ни работал над ее измерением, а кончил тем, что, не узнавши точной величины, я потушил огонь и лег спать. Я рассчитывал на богатый сон, а вышло совсем не так. Меня что-то беспокоило, а что именно меня беспокоило, этого я, как ни старался, определить не мог. В эти жестокие и бесконечно длинные минуты я немного смахивал на влюбленного, следовательно, и на помешанного. Но этого сходства быть не может, во-первых, потому, что я не прапорщик, а во-вторых, что я уже хотя и не в чинах, то по крайней мере в летах и, вдобавок, совершенно не эротической комплекции. А между тем, о чем бы я ни задумался — о старых красавцах дубах, о белом ли Прехтеле, о Софье ли Самойловне, о ее милой оригинальной улыбке, — везде и во всем проглядывает она, она, прекрасная и непорочная моя простушка героиня. — Боже мой! Боже мой! — восклицал я мысленно. — Сохранит ли она свежесть, эту девственную чистоту, как сохранила ее Софья Самойловна? Едва ли. Она полна самой нежной, самой возвышенной любви. Ей необходима по крайней мере привязанность, ей необходима опора, на которой бы она могла сосредоточиться, ей необходим разумный, верный друг, а не пьяный сластолюбец ремонтер или жалкая идиотка панна Дорота, к которой она привязана из необходимости к кому-нибудь привязаться. А если эта жалкая руина совсем рушится, тогда что? Тогда... тогда всё может случиться. Хорошо еще, если она после томительной холодной пустоты сделается только похожею на мою бездушную кухню. А если, что также естественно, утратив святое женское достоинство, она прямо перейдет в поднощицы своего растлителя? И, наконец, истощив слабые остатки

нравственной силы, она разом увидит всю отвратительную мерзость собственного унижения, тогда... тогда она — второй экземпляр жалкой юродивой панны Дороты! Как же отвести эту темную густую тучу от ее блистательно прекрасной головки? И я, как великий Франклин⁷⁰, задумался над этим нравственным отводом.

После долгих соображений я остановился на Софье Самойловне и ее институтке дочери. И, не откладывая в длинный ящик, решил завтра же познакомить между собой моих приятельниц. Эта неоригинальная мысль так мне понравилась, что я развил ее до самой дикой несбыточности и, убаюканный республиканцами, внучатами моей прекрасной Елены, и прочими тому подобными мечтами, заснул сном блаженного.

Проснулся я довольно поздно, и первое, что представилось моему уже бодрствующему воображению, это вчерашний проект с самомалейшими подробностями. Несмотря на то, что это было чадо моей собственной фантазии, я не узнал его. Оно было слишком вычурно. Я его уничтожил и на тех же данных принялся строить другое здание — солиднее, положительнее, приноравливая его более к климату и обычаям.

— А не пора ли вам вставать? — сказал Прохор, тихонько отворяя дверь.

— Не знаю, как ты думаешь? — спросил я его, вставая с постели.

— Я так думаю, что пора. Уже два раза вас приходили просить на чай туда, в сад, — говорил он, развертывая полотенце.

Через несколько минут я уже подходил к дверям заветного павильона, и как дверь была растворена, то я издали внутри его увидел белую блестящую голову Степана Осиповича.

— Какими судьбами вы здесь очутились? — сказал я, подходя к нему и кланяясь его собеседнице, прекрасной Елене.

— Очень просто: я — медик, — отвечал он, протягивая руку.

— А какова ваша больная? — спросил я его.

— Как вообще больные,— сказал он, улыбаясь.

Хозяйка ушла проведать свою больную, я принялся за чай, а Степан Осипович закурил сигару и принялся за панегирик моей прекрасной Елене. И только что дошел он до самого пафоса, как вошла в павильон сама героиня и объявила своему новому поклоннику, что больная заснула.

— И слава богу,— сказал, улыбаясь, Степан Осипович и предложил прогулку сначала в саду, а потом к себе на хутор.— Сон в руку,— подумал я и, разумеется, охотно согласился на его милое предложение. Прекрасную Елену затрудняла больная, но Степан Осипович, как медик, уверил ее, что больная проспит до вечера и проснется здоровою. Она согласилась, приказала приготовить экипаж и догонять себя за цариною.

По дороге я забежал на квартиру, взял портфель, карандаш и палку и пустился по следам моих спутников. Едва успели мы выйти за село, как нагнала нас коляска и приняла в свои мягкие недра. Проезжая мимо одного старого дуба, я велел кучеру остановиться и, к изумлению моих спутников, вышел из коляски. На вопрос, что я намерен делать, я показал на дерево и сказал, что намерен нарисовать этого суховерхого патриарха. Степан Осипович молча махнул рукой и велел кучеру трогать, а я на некотором расстоянии обошел вокруг широковетвистого Мафусаила ⁷¹ и, не найдя желаемого пункта по причине полдневного освещения, прилег в тени того же Мафусаила, любовался издали на его могучих сверстников да и задремал.

Когда проснулся я, то увидел, что лесковая густая тень изменила мне: она отскочила от меня сажени на три. Хорошо еще, что я догадался лицо закрыть платком от мух, а иначе из меня сделался бы препорядочный англичанин. А где же мой портфель? Странническая дубина здесь, а портфеля нет. Обошел я несколько раз вокруг патриарха, заглянул в его широкое дупло,— нет моего портфеля. А освещение самое настоящее, и лысый Мафусаил как бы смеется надо мною, показывая свои соблазнительно-широко освещенные сучья и ветви. С досады я подошел к другому патри-

арху,— тот еще лучше, к третьему — еще лучше, а четвертый как будто бы убежал из портфеля Калама и опять напрашивается под карандаш. Я чуть не плакал с досады.

Послав дюжину проклятий бессовестному вору, вышел я на дорогу и направил стопы своя к хутору Прехтеля. Кроме Софьи Самойловны и белолицой Параски, я на хуторе не нашел никого больше. На вопрос, обедал ли я, я отвечал отрицательно, и тотчас был введен на половину Софьи Самойловны и начинен всеми съедобными благодатями и, между прочим, узнал, что героиня моя просто очаровала Софью Самойловну и что она гостила недолго, потому что боялась за свою большую панну Дороту, и что Степан Осипович поехал вместе с нею, а что она, Софья Самойловна, едет к ней на вечерний чай и просит меня быть ее кавалером,— честь, от которой я не отказался,— и мы полчаса спустя отправились в дорогу.

XI

В тополевой аллее, против самой волчьей тропинки, я велел остановиться и просил свою спутницу выйти из брички, намереваясь провести ее этой волчьей дорогой прямо в павильон, где предполагал я найти хозяйку и ее седого гостя. Предположение мое не сбылось, потому что не успели мы ступить на тропинку, как в конце аллеи, к стороне дома, показалась сама хозяйка, сопровождаемая Степаном Осиповичем и своим благоверным ротмистром. Мы пошли им навстречу. С непритворной радостью обнялись и поцеловались новые знакомки, а сам хозяин с ловкостью истинного гусара отрекомендовался Софье Самойловне и просил ее жаловать в комнаты.

— Удался ли вам сегодня рисунок?— спросил меня лукаво Степан Осипович.

— Очень,— отвечал я, стараясь быть серьезным.

— Правду ли вы говорите? — спросил он, глядя на меня пристально.

— Правду,— отвечал я тем же тоном.

— Нельзя ли нам полюбоваться вашей работой? — сказала хозяйка, смеясь.

— И вы против меня, — сказал я ей, тоже смеясь.

Довольный Степан Осипович пожал ей дружески руку и тут же рассказал, как было дело: как я изменил их тройственному союзу во имя прекрасного искусства и как они на обратном пути заметили меня глубоко преданного этому божественному искусству. — До того глубоко, что он не заметил, как мы у него из рук портфель украли, — так заключил свой рассказ Степан Осипович. Рассказ его возбудил всеобщий смех, в том числе и мой.

Мне необходимо было зайти на квартиру, и я ненадолго расстался с моими веселыми друзьями. Прохор встретил меня на лестнице покиванием главы, как бы говоря: горбатого могила исправит. Я показал вид, что не замечаю его тонкого и справедливого упрека. Тут же встретил меня герой мой с предложением [посмотреть], сколько им книг привез Степан Осипович. Комната, в которую он меня ввел, была его и Трохима квартира и класс. Корзина с книгами разной величины и формы стояла на полу, над нею, как хищный беркут, сидел Трохим, погрузившись в изображение исторических героев, в систематическом порядке выведенных на хитрую таблицу по методу Язвинского ⁷².

Я освидетельствовал дорогой подарок и сделал приличное случаю наставление моим приятелям, как они должны быть внимательны и благодарны Степану Осиповичу за этот истинно драгоценный подарок. Окончивши речь с достоинством оратора, я оставил моих приятелей думать о случившемся, а сам вышел на двор. На дворе уже никого не было. Я пошел в дом; пройдя коридор и красную комнату-коридор, я потом вошел в другой коридор и потом в круглую залу-палатку; тут нашел нашу компанию за чайным столом, потешаемую любезным хозяином каким-то тривиально-гусарским анекдотом. Дверь, ведущая в коридор с недвусмысленными десятью чуланами, была заставлена столом, украшенным разными сладостями и бутылкою какого-то вина. Кто это так мило догадался заслонить

коридор беззакония? Во всяком случае не хозяин. Он в этой гнусной декорации не видит ничего предосудительного, иначе он бы ее давно уничтожил.

Между разного содержания небылицами хозяин рассказал одну былицу — о том, с каким триумфом был встречен мой проигравшийся родич своею пеистовою половиной. И когда торжественные проклятия дошли до самого бешеного пиччикато, внезапно явился в комнату Иван Иванович Бергоф, точно с креста снятый, — истощенный, измятый, в каком-то лакейском чекмене, выпачканном грязью и кровью.

— Он, изволите видеть, — заключил хозяин поучительную былицу, — он затесался куда-то в доброе место, в Звенигородку, кажется, к уральским козачкам; те его, добра молодца, в один денек облупили как липочку, да, вдобавок, поколотили. И поделом! В чужой монастырь с своим уставом не суйся. — Трагический рассказ был ловко замкнут поговоркой. Чайное угощение сменилось конфетным, конфетное — ужином, за которым любезный хозяин чуть-чуть не по-гусарски нализался. Кончилось всё, однако ж, как следует, — расставаньем, поцелуями и приличным числом «до свидания».

Проводив моих старых друзей до брички, пожелав им счастливой дороги и покойной ночи, посмотрел, как они утопают во тьме ночной, да и сам отправился на боковую.

Следующий и несколько последующих дней я, как порядочный артист, провел за работой. Результатом моего грудолюбия вышел акварельный рисунок, представляющий мою героиню в том виде, как я ее подсмотрел в павильоне, в кругу своих нелицемерных подруг. Рисунок вышел эффектный и в отношении сходства очень удачный. В особенности хорош вышел герой мой, невозмутимо вертящий шарманку. Когда я окончил и показал рисунок свой во всеузрение, то Курнатовский десять раз сряду побожился, что он в жизнь свою не видел ничего прекраснее, художественнее, чему я совершенно верю, потому что он в жизнь свою ничего не видел, кроме бутылки и карт. Но чтобы довершить свое торжество, я прибавил и его портрет

в полутоне. Прибавка эта произвела желаемое впечатление. Курнатовский пришел в неописанный восторг: называл меня и другом, и братом, товарищем по чувствам и в заключение предложил мне 1000 рублей, от которых я должен был отказаться, потому что я делал рисунок для жены его и без всякого возмездия. Мое бескорыстие его озадачило. Он посмотрел на меня не как на товарища по чувствам, а как на заморского зверя и, посоветовавшись со своим экономом, предложил мне бричку-нетычанку, пару добрых коней и кучера. От последнего я отказался, а прочее с благодарностью принял. У меня давно была мысль обзавестись этою в моем кочующем быту необходимой мебелью, но всё как-то не удавалось, а тут разом удалось, и удалось недорого. Прохору удивительно как по нутру пришлось мое внезапное приобретение, из чего я заметил, что у него орган скотолобия преимущественно развит.

— А не пора ли нам собираться в поход? — спросил я его, обревизовавши в десятый раз свое новое добро.

— Если вы в карты не играете, то не пора, а если играете, то пора,— сказал он, лукаво улыбнувшись.

Я похвалил его за остроумное слово, и мы решили завтра же отправиться во-свояси, о чем было объявлено и гостеприимной хозяйке, и хозяину. И так как это дело было к вечеру и погода благоприятствовала, то мы и решили сообща сделать визит Прехтелям, а завтра по пути и моим милым родичам. Я велел Прохору вооружить свою бричку и самому вооружиться. Вооружение быстро совершилось, и я поехал к Прехтелям в своей собственности.

Когда я объявил моим старым друзьям о моем крепком намерении завтра оставить их, то они приняли это за шутку, и даже неуместную. Они пренаивно думали, что я непременно дождуся их милой Маши из института, нарисую ее портрет да тогда и поеду себе куда угодно. А если захочу, то и у них могу остаться хоть на всю жизнь.

— А какого бы я из вас сделал превосходного немца! — сказал Степан Осипович, пожимая мне руку.

— У тебя только немцы на уме,— прервала его

Софья Самойловна.— Тут нужно говорить дело,— прибавила она и задумалась.

— О каком же это деле ты так глубоко призадумалась, моя старая немка? — спросил ее Степан Осипович ласково.

— А вот о каком,— отвечала она, улыбнувшись.— Теперь в исходе май, в июне будет выпуск, возьмите и меня с собою в Киев,— прибавила она, быстро обращаясь ко мне.

— С удовольствием,— сказал я, принимая ее слова в прямом смысле. А Степан Осипович перекрестил ее большим крестом, на что она улыбулась и посоветовала ему самому перекреститься, что он и исполнил.

— А теперь что прикажете? — спросил он, вытягивая руки по швам.

— Теперь ничего, а завтра готовить бричку и кормить лошадей, а послезавтра я поеду в Киев. Вот вам и вся недолга,— прибавила она, прищелкнув пальцем.

Итак, по желанию Софьи Самойловны я решился отложить до послезавтра мою поездку, после чего Курнатовские и я пожелали старикам покойной ночи и поехали в дом свой.

Следующий день прошел в сборах и наставлениях Трохиму, как должно вести себя с чужими людьми. Вечером побывал я у моих старых друзей, узнал, что и как и когда именно мы пустимся в дорогу. Решено было выехать из дому рано, чтобы обедать в Богуславе и на ночь поспеть в Потоки. Порешивши эту важную статью, я расстался со стариками.

За ужином у Курнатовских объявил я о нашем непреложном решении, причем героиня моя медленно, сердечно-мягко посмотрела на меня, а хозяин велел подать бутылку шампанского на прощанье.

Солнце еще покоилось за горизонтом, а мы уже были на ногах. Прохор возился около брички и лошадей, герой мой с Трохимом — около чемодана и корзины с пирожками и прочим добром, а я ничего не делал. Когда всё пришло к концу и Прохор торжественно воссел на козлах, тогда я вышел на двор, перекрестился, и процессия двинулась. За бричкою пошел Трохим с моею палкою и с портфелем в руках, за

Трохимом последовали мы с моим героем, взявшись за руки. В таком порядке мы прошли двор и часть тополевой аллеи. Тут порядок шествия был нарушен внезапным появлением моей прекрасной Елены. Она, как лучезарная денница, явилась пред нами и осветила наше мрачное шествие. Но этот лучезарный свет исчез в одно мгновение: грустно опустя на грудь свою прекрасную головку, она молча пошла между мною и братом. И, когда бричка выехала из аллеи, взяла круто вправо и скрылась за деревьями, тогда она остановилась и, быстро схватив мою руку, поднесла ее к своим губам. Не успел я ахнуть, как она уже легче газели неслася по аллее к дому. Я посмотрел на улыбающегося моего спутника и не знал, что сказать на это.

— Она придет с вами проститься к Софье Самойловне,— проговорил он простодушно, и мы молча пошли за бричкой. За селом к нашей процессии присоединился с тощей собакою мой старый знакомый, царынный дид. А когда мы уселись в бричку, то Прохор, прощаясь со своим ровесником, сказал ему:

— Зробы ж!

— Добре! — отвечал тот, и наша бричка покати-лась по дороге. Молчание царило над нами до самого хутора.

На хуторе Филемон и Бавкида хлопотали уже около своего ковчега, т. е. около дорожной брички или, правильнее, крытого фургона. Белолицая Параска выносила из хаты ворочки, узелки, корзинки, ящички и всё это передавала Степану Осиповичу, а он, тщательно осмотревши предлагаемую вещь, передавал ее бережно Софье Самойловне, а та, осмотревши вещь так же тщательно, укладывала ее на свое место.

— Бог помочь! — сказал я, подходя к бричке.

— Гут морген! — отвечал мне Степан Осипович, улыбаясь. В это время были вынесены подушки и огромная перина, а когда и это добро было всунуто в ковчег, Степан Осипович снял свою белую фуражку, перекрестился и сказал: — Слава тебе, господи!

— А ковер, душко, и забыли,— сказала Софья Самойловна, выглядывая из фургона. Вынесен был и ковер.

— Теперь всё, душко? — сказал Степан Осипович.

— Всё! — отвечала Софья Самойловна.

— Еще раз слава тебе, господи! И... — старик еще что-то хотел сказать, но не успел: в это время к нам подходили Курнатовские, оставив свой экипаж за воротами.

После взаимных приветствий и лобызаний был осмотрен всем комитетом ковчег. После удовлетворительного осмотра хозяйка предложила кофе и легонький фриштик, состоящий из жареной индейки, дюжины цыплят и тому подобной овощи. Во время завтрака Степан Осипович просил моего героя и его профессора быть его постоянными гостями до приезда молодой хозяйки. Тогда Софья Самойловна обратилась к ним с просьбою, чтобы поберегли ее старого немца, а белолицей Параске крепко-накрепко наказала, чтобы гости без нее не голодали. А иначе она обещалась привезти ей из Киева дулю, а не гостинец.

— Ты не знаешь, какой он у нас? — прибавила она, показывая на Степана Осиповича. — По нем, хоть волк траву ешь, ему все равно, ему был бы только флейш, а другие хоть с голоду умри, он и не подумает о других. Я уже его, — продолжала она, обращаясь к гостям, — немного приучила к рыбному, а прежде ни среды, ни пятницы не знал, настоящий тата... — да на этом «тата» и остановилась, ласково посмотрела на своего улыбающегося Филемона, как бы прося прощения за такое нехристианское сравнение.

После кофе и так называемого легкого завтрака мы помолились богу, на минутку присели по принятому обычаю и, помолясь еще раз, пошли по своим местам. Курнатовские вызвались нас провожать до Шендериевки, чему я был очень рад. Курнатовский, как истинный кавалерист, поехал верхом, а я занял его место в коляске возле моей прекрасной Елены.

До самого места расставания прекрасная Елена ничего не говорила. Я тоже молчал. Мы были очень похожи на жениха и невесту, едущих к венцу по воле родителей.

Сцена расставания, наконец, настала. Героиня моя молча пожала мне руку и едва внятно проговорила: —

Благодарю вас за брата.— Ротмистр, не слезая с лошади, тоже пожал мне руку и благодарил за какое-то одолжение, а Степан Осипович, пожимая мне руку, просил поберечь его добрую старую немку. На том и расстались.

ХИ

Герой мой не так прост, как я себе воображал его. Он смекнул делом, что предполагаемый нами ночлег в Потоке состояться не может по причине так называемого легкого завтрака и вообще расставанья. Основываясь на этих данных, он незаметным образом обогнал нас и, не останавливаясь в Шендериевке, пустился далее в Богуслав с мыслию, которая сделала бы честь любому леопарду,— с мыслию приготовить квартиру для Софьи Самойловны. Каков матрос! Солнце уже опускалось за горизонт, когда он с профессором своим встретил нас по сю сторону Роси и проводил на приготовленную квартиру. Софью Самойловну до слез тронула эта неожиданная любезность. Герой мой в глазах Софьи Самойловны всегда был необыкновенным человеком, а теперь сделался и человеком светским. В глазах женщины это венец всем добродетелям. Всё бы хорошо, только вот что случилось: едва успела Софья Самойловна показаться на улице перед своей квартирой, как ее окружила густая грязная толпа самых отчаянных факторов и почти на руках внесла ее в комнату. Бедная до того растерялась от этой новой печальности, что не могла выговорить слова и только отмахивалась носовым платком, как от мух, от услужливых хриstopродавцев. Но эта кроткая мера ни к чему не повела. Жидки и не думали отступить. Тогда она схватила в обе руки свой огромный ридикюль и начала прокладывать себе дорогу обратно к своему мирному ковчегу. Я вступил в дело и с помощию севастопольского защитника рассеял толпу израильтян и уговорил Софью Самойловну возвратиться в комнату, а на случай внезапного нападения поставил на часах у дверей неустрашимого Трохима.

На другой день рано поутру, напившись вместе чаю,

я окончательно простился с моим доблестным героем и с моим бывшим сподвижником и верным слугою.

Из Богуслава через Росаву и Поток мы на другой день благополучно приехали в Триполье, а из Триполья, понад Днепром, дремучим бором, на другой день приехали мы в Киев, тоже благополучно. Можно было бы и в три дня совершить этот путь, но мы, как добрые хозяева, щадили скотину и, как люди неравнодушные к прелестям природы, останавливались по п а с а т ь у ручейка или над широким плесом Днепра, нечаянно врезавшимся в дремучий лес. И пока Софья Самойловна с Прохором хлопотала около кофейника, я рисовал сосну или березу, а лошади задумчиво траву щипали да хвостами помахивали. Словом, мы путешествовали, как следует путешествовать и всем порядочным людям. На последнем по п а с е, или привале, я рисовал группу сосен и, для масштаба, пасущуюся лошадь. Софья Самойловна варила кофе и как-то нечаянно заговорила с Прохором о панне Дороте и о старом Курнатовском. Я приготовил уши, а карандаш только так, для блезиру, держал в руке, и в продолжение получаса узнал всю отвратительную подноготную седого сластолюбца и трогательно жалкую историю бедной панны Дороты, историю, к несчастью, обыкновенную даже в наше время.

В своем месте я сообщу моим терпеливым читателям эту глубоко грустную и поучительную историю и, если умудрюсь, словами самого Прохора, а теперь поведу речь о пребывании Софьи Самойловны в Киеве.

Квартира у меня была в Киеве как раз против института, не на Крещатике, а на горе. Я предложил ее Софье Самойловне, а сам поселился на время в трактире, не на водах, а на Крещатике, в доме архитектора Беретти. В тот же день с помощью добрых людей представил я моей спутнице опрятную, скромную и расторопную хохлячку Марину, которая вполне ей заменила белолицую Параску. Устроивши всё как следует, мы держали совет, посещать ли Машу в институте или переждать экзамены и явиться прямо на акт. Как благоразумная и нежная мать, она отказала себе в радости поцеловать единое дитя свое прежде экза-

мена, чтобы не развлечь и не повредить ему в день испытания. В ожидании этого блаженного дня я развлекал мою гостью, как мог и как умел: потчевал ее прогулками по церквам и монастырям, возил раза два в «Кинь-грусть»⁷³, уже было начал посвящать ее в таинства киевских древностей, как слух пронесся о выпускном акте и бале в институте, на котором покажут себя публично будущие пантеры и львицы.

Не помню почему, я не мог сопровождать мою гостью на это высокое торжество и видеть ее красавицу Машу в критические минуты испытания. На другой день уже увидел я ее в объятиях счастливой рыдающей матери. Это была юная, стройная, как леторосль тополи, гибкая прекрасная брюнетка, с бледным матовым лицом и с большими умными черными глазами. Через полчаса мы были уже свои люди и к неопisanному восторгу матери пели в два голоса малороссийскую песню:

Зійшла зоря ізвечора,
не назорілася,
Пришов милий із походу,
я не надивилася.

Она превосходно владела своим баритоном, который сначала показался мне грубым для ее возраста. Я тут же окрестил ее знаменитым именем Альбони⁷⁴. Прошло еще полчаса, и мы уже друг друга о б о ж а л и. Она мне, как обожаемому и обожателю, рассказала, разумеется, по секрету, кого из учителей все девицы обожали, а кого только некоторые, и которого как они называли: минеролога Ф., например, они называли купчиком за то, что он на лекцию приходил всегда с ящичком, а инспектора П.,— так заключила она свою детскую исповедь,— ни одна девица не обожала, потому что у него глаза кошачьи.

Наговорившись по секрету о предметах первой важности, я рассказал ей, тоже по секрету, историю про моего героя и про его очаровательную сестру. Внимательно выслушала она мою повесть и, чего я не чаял от ее возраста, глубоко задумалась. Я тоже призадумался и, глядя на нее, сам себя спрашивал, не сочиняет ли и она теперь поэму на эту возвышенную

тому, как я сочинял? А почему же и не так? Ее непорочной душе это доступнее, нежели записному поэту.

— Какой прекрасный, какой благородный брат! — проговорила она, едва удерживая слезы. — Мамо! — сказала она, обращаясь к матери, — а когда мы домой поедем?

— А как отговеемся, мое сердце, так тогда и поедем, — отвечала Софья Самойловна, целуя свое задумчивое дитя. — Что ты такая невеселая, пташечко моя, рыбка моя красноперая? За папою скучаешь? Не скучай, мое серденько, скоро, скоро увидишь. — На ласки матери она задумчиво вздохнула

— Что вы с нею сделали? — спросила меня Софья Самойловна.

— Они рассказали мне историю про матроса.

— Про нашего соседа? Про Осипа Федоровича? — прервала ее догадливая Софья Самойловна и, вдохновенная свыше, она повторила мой рассказ с таким задушевным красноречием, что я слушал ее, как бы никогда не знал о случившемся происшествии. Она открыла в моем герое такие романические прелести, каких я и не подозревал. Например, мне и в голову не приходило, что мой герой владеет даром слова, а по словам Софьи Самойловны он настоящий златоуст.

Рассказ про обожаемого матроса и его прекрасную сестру повторялся каждый день с новыми вариациями. Я начал бояться, чтобы герой мой от частых повторений не опошлел в воображении его пламенной обожательницы. Опасения мои были напрасны. В последнюю ночь перед выездом из Киева она его уже видела во сне, прекрасным, очаровательным.

Благочестивые мои приятельницы отслужили молебен Варваре великомученице и в одно прекрасное утро закупорились в свой ковчег и пустились во-свояси. Я проводил их до самого того места, где я рисовал группу старых сосен и слушал трогательный рассказ Прохора про панну Дороту и про старого грешника Курнатовского. На прощанье просила меня Софья Самойловна приискать для Машеньки фортепиано и до зимы прислать им на хутор, что я не замедлил исполнить как нельзя удачнее.

В Киеве мне не сиделось, и я, посоветовавшись с Прохором, в одно прекрасное утро оставил его вместе с Прохором.

Завидное, очаровательное положение в свете человека ни от кого не зависимо. Едешь себе, куда вздумается, в собственной бричке и на собственных лошадях, остановишься, где захочется, нарисуешь, что тебе понравится, и едешь далее. Волшебное состояние! И сколько есть этих независимых счастливых в свете, которые и не подозревают своей независимости. Бедные, жалкие рабы ничтожно узеньких страстишек и тонко обдуманной необходимости!

Измеривши вдоль и поперек Воынь и Подолию и дождавшись в Житомире осенней грязи, мы возвратились благополучно в Киев.

Из Житомира послал я пачку огородных и садовых семян Степану Осиповичу, собранных мною у воыньских и подольских агрономов, а юным прекрасным друзьям моим тетрадку малороссийских песен, записанных мною от подолян и воынян. И по возвращении в Киев, недели две спустя, я получил от Степана Осиповича письмо такого содержания:

«Любезный и незабвенный земляче!

С самого начала не удивляйтесь, что я вас называю земляком своим. Я сам до сих пор был уверен, что я настоящий дейч, а вышло, что я такой же немец, как и вы, т. е. настоящий хохол. И знаете, кому я обязан этим открытием? С самого начала вам, т. е. вашему фортепиано и тетрадке хохлацких песен; потом моей Маше и вашей приятельнице Курнатовской; да и старуха моя туда же. Но — минуту терпения, я вам расскажу всё по порядку. С первого свидания Маша моя влюбилась в вашу приятельницу до обожания, как она сама выразилась. Мы с Сонечкой чрезвычайно обрадовались их сближению. Проходит неделя, другая, новые друзья неразлучны, как Кастор и Поллукс. Только замечает сначала Сонечка, а потом и я, что неразлучные друзья украдкою от нас какую-то книгу читают. Нам это не понравилось, и я стал внимательнее сле-

дять за поведением неразлучных друзей, да в одно прекрасное утро и накрыл приятелей под липою в саду.— Какую это ты книгу в карман спрятала? — спрашиваю я свою.— Не покажу,— говорит она. Настоящая хохлячка! А приятельница ваша так и вспыхнула. Я сделал около своей искусный вольт да и выхватил из кармана книгу. Вообразите же себе мое изумление: вместо пошлого романа у меня в руках была немецкая грамматика.— Дурочки! — говорю я им,— зачем же вы прячетесь с этим добром? — Гелена,— говорит моя хохлячка,— хотела вам сюрприз сделать, нечаянно заговорив с вами по-немецки.— Каковы проказницы! Потом моя повисла мне на шею да и просит, чтобы я учил ее Гелену по-немецки, а она будет учить ее по-французски. Я, разумеется, охотно взялся за это святое дело, и тем более охотно, что я, старый дурак, вообразил себя окруженного немками с Шиллером в руках. А какие удивительные способности у вашей приятельницы! Фортепиано всё дело испортило, т. е. не всё,— немецкий и французский язык идет своим порядком, да я-то сильно одурачен. Вместо чтения Шиллера и Гете, пою под фортепиано хохляцкие песни да еще и ногою притопываю. Вот что сделали из меня ваши хохлячки! Я попробовал ключ прятать от инструмента и задать большие уроки — ничего не помогло. Через полчаса урок готов, и по уговору инструмент должен быть открыт. Так вот какого рода обстоятельства. А ротмистра Курнатовского вы теперь не узнаете. Настоящий барашек. Выписывает из Петербурга рояль для своей обожаемой Гелены. А вы пришлите для меня еще тетрадку хохляцких песен да, если можно, и с нотами. На праздники приедут к нам погостить герой ваш и его ученый профессор. Приезжайте-ка и вы с Прохором, а пока целуют вас ваши хохлячки, а мои будущие немки, и я. Прощайте! Благодарю вас за житомирскую присылку.

Р. S. Панна Дорота, увы! — не выдержала она, бедная, окончательно помешалась. И, боже, какая она жалкая! Я в жизнь мою не видал такого жалкого субъекта. Помешательство ее тихое, спокойное и тем грустнее и безнадежнее. Яд этот медленно, с самой ранней

юности, вливался в ее нежную организацию,— что я говорю,— в ее кроткую, непорочную душу. И богу известно, когда кончится это горькое существование. Она может прожить еще несколько лет, в истории душевных болезней эти примеры не редки. Каков должен быть человек, решившийся очумить душу в то самое время, когда она только что начала сознавать прелесть и очарование жизни. Ужасное и безнаказанное преступление!

Но я заболтался с вами. Дети кончили уроки и требуют ключ от инструмента,— пойду. Не забывайте вашего старого земляка и моих будущих немок. Еще раз прощайте!» И так далее...

Я имею благородную привычку отвечать сейчас же на полученное письмо. Под влиянием прочитанных известий, какие бы они ни были, как-то легче пишется: не чувствуешь работы, не замечаешь того томительного труда, который сопряжен с ответом запоздалым, где необходимо извиняться, а нередко и врать, а это мне пуще ножа острого. Самая невинная ложь в моих глазах — уголовное преступление. Я начал письмо мое так:

«Многоуважаемый мой друже и новый мой земляк!»

Не успел я поставить знак восклицания, как вошел в комнату Прохор и сказал, что сегодня погода такая прекрасная, что грешно было бы сидеть дома и смотреть в окно на улицу, и тем более, что у нас, слава богу, всё есть свое для езды.

— Ты дело говоришь, Прохоре,— сказал я ему и начал придумывать, куда бы этак махнуть подальше. А в ожидании доброй мысли я прочитал ему письмо Степана Осиповича, на что он весьма основательно заметил, что всё хорошо написано, а одного так и совсем не написано.

— А чего же, по-твоему, тут недостает? — спросил я его.

— А, по-моему, недостает тут Осипа Федоровича да Трохима Сидоровича.

— Правда твоя, я напишу ему об этом, а пока иди да готовься в дорогу.

Прохор вышел, а я занялся вопросом, почему мне старый немец ничего не пишет о моем герое и его учителе. Сказал только, что они приедут к ним на праздники в гости, а откуда они приедут, ничего неизвестно. Странно! Предположениям моим и конца бы не было, если бы Прохор не постучал в окно и не сказал, что он готов хоть на край света.

ХІІІ

Я по природе моей принадлежу к категории людей рассеянных и отчасти нерешительных. Эти, можно сказать, невинные недостатки нередко ставили меня в смешное, а иногда и в неприятное положение. Теперь, например, совершенно невинно, а постриг себя в такие дурни, что хоть на выставку, так впору. Поехали мы с Прохором в Бровари, ну, и довольно,— воротиться бы назад, написать письмо Прехтелю, и дело в шляпе. Нет, нужно было проехать в Оглав да заехать в Барышевку навестить старого прокурора бориспольца. Очень нужно! А между тем прошел месяц, а письмо не написано. Хорошо еще, что я догадался послать ноты, книги и еще тетрадку малороссийских песен. А то бы мои добрые хуторяне могли подумать, что я уже на лоне Авраамле. Мало того, что нехорошо,— бессовестно. Прекрасная мысль! и как раз пришлась по моей комплекции: не писать до весны, а весной вдруг как с облаков свалиться. А каков будет эффект! А после эффекта все-таки придется извиняться, врать и краснеть. Лучше теперь же напишу, пускай что хотят думают, а я, по крайней мере, очищу совесть, нужно только написать так, чтобы видна была правда, но правда опозитизированная. Для этого я начал письмо следующим эпиграфом:

Как в наши лучшие года,
Мы пролетаем без участия
Помимо истинного счастья.
Мы молоды, душа горда;

Как в нас заносчивости много!
Пред нами светлая дорога,
Проходят лучшие года.

Да вместо одного куплета выписал всё стихотворение, да в этом же тоне и письмо нахватал. Эффект был необыкновенный. Под стихами забыл я написать: В. Курочкин⁷⁵, и приятельницы мои не задумались вклеить меня в пантеон мировых поэтов. Вот какие могут быть последствия так называемой невинной рассеянности! Без всякого намерения можно попасть в самозванцы, и я отделался только тем, что послал моим хуторянам декабрьскую книжку «Библиотеки для чтения» за 1856 год, и после такого аргумента они разочаровались во мне только вполовину. В их понятиях я все-таки остался великим поэтом за то только, что я им сообщил это гениальное стихотворение.

Зима с контрастами и прочими радостями невидимо мелькнула предо мною. Перед лицом мартовского солнца сконфузился и почернел белый снег. Ручьи весело зашевелились в горах и побежали к своему пращуру Днепру-Белограду сказать о приближении праздника богини Яры⁷⁶. С любовью принял лепечущих крошек старый Белоград и распахнул свою синеполую ризу чуть-чуть не по самые Бровари. Рязанова трактир, как голова утопленника, показывается из воды, а гигант-мост, как морское чудовище, растянулся поперек Днепра и показывает изумленному человеку свой темный хребет из блестящей пучины. Прекрасная, величественная картина!

Не говорю, весна, — один запах весны меня способен вывести в поле не только из Киева, — из самого Парижа, что я и доказал в прошлом году моей черепашьей прогулкой по неисходимой грязи. Но я годом постарел и сделался хладнокровнее к внешним впечатлениям. А все-таки трудно было мне выговорить роковое слово: — Не поеду! — т. е. пока грязь не угомонится. Я, однако ж, сказал это роковое слово, а уж если я что однажды сказал, так это все равно, что напечатал: никакая земная сила не заставит меня переменить однажды принятого намерения. Этим я без хвастовства могу похвалиться.

Сижу я скрепя сердце в Киеве, а седьмое апреля (день пасхи), так сказать, на носу висит. А грязь, как нарочно, жиже и жиже растворяется. Дождь за дождем так и льется. Всё против меня — и небо, и земля. Посмотрим, кто кого пересилит! И я, наверное, переупрямил бы и небо, и землю, да случилось вот что. В самое лазарево воскресенье получаю я письмо от нового земляка моего Прехтеля. Письмо самого курьезного содержания. Оно-то и поколебало мою энергическую или, лучше сказать, хохлацкую натуру. А чтобы недоверчивые читатели не сказали, что я хвостом верчу, то, как доказательство моей непорочности, прилагаю при сем письмо многоуважаемого мною Степана Осиповича Прехтеля, чтобы они сами могли рассудить, основательно ли я поступил в этом необыкновенном случае.

«Вселюбезнейший земляче!

Начать с того, что вы эгоист, и самый закоренелый, холодный эгоист. Хотя простодушные немки мои и уверяют меня, что вы только лентяй и, следовательно, один из величайших поэтов-художников (не правда ли, наивное понятие?), но меня, старого воробья, на мякине не проведешь. Видал я вашу братью, великих чудотворцев. Но дело не в том, а вот в чем дело. Все мы, начиная с вашей приятельницы Гелены, глаза проглядели, дожидаячи вас к себе на праздниках, а вы?.. Ну, не эгоист ли вы после всего этого? А как у нас было весело — чудо! Героя вашего и его достойного профессора вы бы не узнали: эlegantы, первого сорта эlegantы! Маша моя... ну, да бог с нею. Мне нужен человек, а не мишурная тряпка. А герой ваш... но об этом после. Жаль, что вы не приехали. Вас только и недоставало для полной хохлацкой ассамблеи. Приезжайте же к пасхе, непременно приезжайте! Вы у нас увидите большие перемены. Сонечка моя помолодела и похорошела, я тоже. Маша и ее друг Гелена сделались настоящими немками, и я думаю к приезду вашему открыть немецкие литературные вечера, если только вы не привезете новых хохлацких песен. Рот-

мистра Курнатовского вы совсем не узнаете,— прелесть мужик! Кузину вашу называет бездушной куклой, а ее благоверного сожителя — ослом в гусарском вицмундире. Панну Дороту вы совсем не увидите, и скажите слава богу: она недавно умерла. Приезжайте, я вам сообщу интересные данные для ее печально-поучительной биографии. А теперь, чтобы более заинтересовать вас, скажу, что она была родною матерью ротмистра Курнатовского. Прощайте! Целуют вас мои немки и я.

Р. С. Болтал, болтал, а главного не сказал. Что Курнатовский из гусара делается человеком, вот вам доказательство. Он ломает отцовское гнездилище и строит новое, человеческое, жилище. Не играет в карты, не пьет и вашего бывшего слугу Трохима воспитывает на свой счет в белоцерковской гимназии. Как обстановка изменяет человека! С прошлой осени герой ваш и его гимназист-профессор живут в Белой Церкви и учатся. Статью эту, правду сказать, я обделал с помощью вашей прекрасной Елены. Да это все равно, кто бы ни сделал, только бы сделал хорошо. И вам будет большой грех, если вы не приедете к нам на праздник, хотя бы для того только, чтобы взглянуть на своего Трохима-гимназиста и на храброго защитника Севастополя, на моего будущего... да что тут за секреты, на моего будущего зятя».

— Прохоре! Прохоре! — закричал я, выбегая в переднюю. С псалтырью в руках явился Прохор.

— Едем, собирайся! Сегодня едем! — сказал я ему скороговоркой, на что он равнодушно произнес: — Добре! — и пошел собираться в дорогу.

К. Дармограй.

Февраля 16.
1858.

П Р И М І Т Ь И

Примітки до тома склав
М. П. ПИВОВАРОВ

НАЙМИЧКА

1. *Ромоданов шлях* — на Полтавщині ромоданами називали шляхи, якими чумаки їздили на південь по рибу та сіль.

2. *Григорій Ромодановский* — російський боярин-воєвода, один із начальників російського війська на Україні в другій половині XVII століття.

3. *Петр Дорошенко* — в рр. 1665—1676 був гетьманом Правобережної України (пом. 1698 р.). В союзі з турками та кримськими татарами воював проти Москви і лівобережного гетьмана Самойловича.

4. *Орельские земляные укрепления, или так называемая линия* — річка Орель — ліва притока Дніпра, в кінці XVIII століття була південно-східним кордоном Гетьманщини; по ній проходила «українська укріплена лінія»; землі від Орелі до річки Самари належали запорозькій старшині, яка добувала тут селітру.

5. *Карл XII* — король Швеції; 27 червня 1709 року розбитий Петром I під Полтавою.

6. *Церера* — в римській міфології богиня землеробства.

7. *Сорокоуст* — 40-денна церковна молитва за померлого.

8. *Мария египетская* — одна з християнських святих, грішниця, що розкаялась.

9. *Бель фам* (франц.) — красива жінка.

10. *Патефуа* (франц.) — паштет з гусячої печінки.

11. «*Исаия, ликуй*» — церковна пісня, що виконується під час вінчання.

12. *Сердечная Оксана* — героїня повісті Г. Ф. Квітки-Основ'яненка (1778—1843) «Сердешна Оксана».

13. *Кобыла* — лава, на яку клали людей, що їх карали канчуками.

14. *Мать Энея* — Венера, в римській міфології богиня кохання.
15. *Богиня Пафоса* — Венера, храм якої в давні часи знаходився в місті Пафосі на острові Кіпрі.
16. *Фортуна коловратная* — доля мінлива.
17. *Отдаймо и кесарево кесареви* — тут в розумінні: займемось «мирськими» справами.
18. *Симеон Столпник* — один з християнських святих, що мучив своє тіло довгим стоянням на кам'яному стовпі.
19. *Тимпан и орга́ны* — музичні інструменти, що згадуються в біблій.
20. *Часослов* — церковна богослужбна книга.
21. *Большое повечерие* — церковна відправа.
22. *Кафизма* — частина псалтиря.
23. *Трость скорописца* — в старовину перо з очерету, тут у значенні вміння добре й швидко писати.
24. *Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна* — дійові особи твору Гоголя «Старосветские помещики».
25. *Ефрем Сирин* — церковний письменник IV віку.
26. «*Всякому городу нрав и права*» — початок однієї з пісень Сковороди.
27. *Елисавет* — Єлисаветград (тепер Кіровоград).
28. *Маслосвятие* — церковна відправа над тяжкохворим.

ВАРНАК

1. *Варнак* — таврований каторжник.
2. *Соляная Защита* — інакше Ілецька Защита — місто, центр соляних промислів на Оренбурщині (тепер Чкаловська область).
3. *Моисей-боговидец* — славнозвісна статуя італійського художника Мікельанджело (XVI в.).
4. *Гомеровский Нестор* — один з героїв «Іліади» Гомера, красномовний і мудрий старик.
5. *In quarto* — в четверту частину аркуша.
6. *Четьи-Минеи* — від слова — читати (те, що читають) і грецького слова — мен (мін) — місяць: щомісячна читанка — збірка життєписів християнських святих.
7. *Разумовский* — Кирило Розумовський, останній український гетьман (1750—1765).
8. *Цампьеры, Доменикино* (1581—1641) — італійський художник.
9. *Боккаччио, Ариосто, Тассо* — італійські письменники епохи

Відродження (XIV—XVI віків). Джованні Боккачіо (1313—1375) — автор збірки новел «Декамерон» та інших творів; Людо-віко Аріосто (1474—1533) — поет, автор поеми «Несамовитий Роланд»; Торквато Тассо (1544—1595) — автор героїчної поеми «Визволений Єрусалим».

10. *«Божественная комедия»* — твір видатного італійського поета Данте Аліг'єрі (1265—1321).

11. *Во времена уни* — тобто після 1596 року, коли верхівка духовенства України і Білорусії підкорилася папі римському.

12. *Кармелитка* — черниця католицького ордену кармелітів.

13. *Себастиан Бах* (1685—1750) — німецький композитор і органіст.

14. *Святая Цецилия* — католицька свята, що вважалася покровителькою церковної музики.

15. *Китаевская пустынь* — монастир під Києвом.

16. *Андрей Боголюбский* — в 1155—1156 рр. був князем у Вишгороді (під Києвом), потім — князем Володимиро-Суздальським (1157—1174).

17. *Ринальдо-Ринальдини* — легендарний розбійник, герой багатьох пригодницьких романів.

18. *Кременец, королева Бона* — Кременець — місто на Волині, яке до 1509 року було в складі Литовської держави і деякий час перебувало у володінні королеви Бони, дружини короля польського і великого князя литовського Сігізмунда I Старого (1506—1548).

19. *Кременецкий лицей* — заснований 1819 року; після придушення польського повстання 1831 року був ліквідований царським урядом.

20. *Благородный Чацкий* — Чацький, Тадеуш (1765—1813), польський історик і громадський діяч, був інспектором училищ в колишніх губерніях Волинській, Подільській та Київській.

КНЯГИНЯ

1. *Уманский и Петергофский...* сади — славнозвісні парки — Софіївський в Умані (зараз державний заповідник) і Петергофський під Ленінградом (тепер Петродворець).

2. *Нестихарный дячок* — дяк, що не був призначений на посаду, а тільки обраний прихожанами за згодою попа («настоятеля»).

3. *Тму-мну, тля-мля* — складні церковнослов'янської мови,

4. *Псалтырник* — той, ко́го навчають читати псалтир.
5. *Спартанец* — житель Спарти в Греції; тут у значенні витривалої людини.
6. *«Мал бех»* (слов.) — «Я був малий» — початок останнього псалма, що входить до складу псалтиря.
7. *Сковородинские псалмы* — вірші, написані українським поетом і філософом Григорієм Савичем Сковородою (1722—1794).
8. *«Без любви, без радости юность пролетела»* — не точно цитовані рядки з поезії О. В. Кольцова (1809—1842).
9. *Черная рада* — рада, скликана з вимоги козаків, селян, міщан 17—18. VI 1663 року в Ніжині. Народні маси, обдурені обіцянками І. Брюховецького зменшити побори і обмежити права старшини, обрали його на цій раді гетьманом Лівобережної України.
10. *Растрелли, Варфоломей* (1700—1777) — видатний архітектор, італієць, за проектами якого побудовано багато церков та палаців у Росії.
11. *Наталия Розуми́ха* — мати гетьмана Кирила Розумовського.
12. *Жирар Доу* (1613—1675) — голландський художник.
13. *Запросят на «отче наш»* — на закуску, перед якою піп читав молитву «отче наш».
14. *Контракты* — великий щорічний ярмарок у Києві, починаючи з 1797 року, під час якого укладали контракти — договори на оренду маєтків та підприємств, а також на продаж сільсько-господарських продуктів, переважно зерна.
15. *Просодомили та прогоморили* — дієслова від назв двох міст, згаданих у біблії — Содом та Гоморри, жителі яких були відомі своєю розпущеною.
16. *Мамай* — татарський хан, розбитий зі своїм військом Дмитрієм Донським 1380 року на Куликовому полі.
17. *К. Дармограй* — псевдонім Шевченка — «Кобзар Дармограй».

МУЗЫКАНТ

1. *Бодянский, Илья* — прилуцький протопоп, батько історика й етнографа Павла Бодянського, редактора газети «Полтавские губернские ведомости».
2. *Монастырь Густыня* — Густинський монастир на Прилуччині, заснований 1612 р. князем Михайлом Вишневецьким, якому належали величезні володіння на Лівобережжі.
3. *Сенклерское аббатство* — місце дії в романі англійської

письменниці Анни Радкліф («Лес или Сен-Клерское аббатство»,— російський переклад — 1801 р.).

4. *Самойловичев пам'ятник* — пам'ятник Самойловичу, що був гетьманом Лівобережної України між 1672—1687 рр.

5. *Киевская археологическая комиссия* — офіціальна назва цієї установи була «Комиссия для разбора древних актов». Завданням її було дослідження історичних археологічних пам'яток. Шевченко був співробітником Комісії в 1845—1846 рр.

6. *Репнин, Николай Григорьевич* (1778—1845) — військовий губернатор Лівобережної України. Дочка Репніна, Варвара Миколаївна, протягом багатьох років була близьким другом Шевченка.

7. *Иеремия Вишневецкий Корибут* (1612—1651) — один з найбільших польських магнатів, власник майже всієї Полтавщини, відзначався особливою жорстокістю під час визвольної війни українського народу проти польської шляхти. Мати його — Раїна Могилянка — була православною і заснувала монастир біля Лубен 1618 року.

8. *Прилуцький полковник* — Гнат Галаган, служив спочатку у війську Мазепи, а потім одним з перших перейшов на бік Петра I і був спочатку призначений полковником чигиринським, а потім, з 1714 р.—прилуцьким. *Мазепа, Іван Степанович* (1644—1709) — гетьман України в рр. 1687—1708. Під час Північної війни Росії з Швецією зрадив український народ і перейшов на бік шведського короля Карла XII.

9. *Штернберг, Василий Иванович* (1818—1845) — художник, друг Шевченка по Академії художеств. Серед його картин є багато творів на українські теми: «Ярмарок у м. Ічні», «Вітряк на степу», «Краєвид у Києві» та ін.

10. *Бельведер* — баштова надбудова над домом.

11. *Амазонки и амазоны* — тут просто вершники і вершниці.

12. *Грум* — слуга, що супроводжує вершника.

13. *Виргилій* — цим ім'ям Шевченко називає героя своєї повісті, який подорожував з ним по Україні, подібно до того, як у творі Данте «Божественна комедія» римський поет Вергілій подорожує разом з автором по пеклу.

14. *Полтавская битва* — бій під Полтавою в 1709 році між військом Петра I і шведськими інтервентами на чолі з Карлом XII.

15. *Заряно, Сергей Константинович* (1818—1870) — російський художник-портретист.

16. *Марш из «Вільгельма Телля»* — марш з опери італійського композитора Джакомо Россіні (1792—1868) «Вільгельм Телль», за драмою німецького письменника Ф. Шіллера.

17. *Персеполис* — столиця стародавньої Персії в IV ст. н. е.

18. «*Фрегат Надежда*» — повість російського белетриста О. О. Марлінського-Бестужева (1797—1837).

19. *Амфітрион* — один з образів античної міфології; тут у розумінні «гостинний хазяїн».

20. *Гросс-фатер* — тут старовинний німецький танець.

21. *Бальзак, Оноре* (1799—1850) — великий французький письменник-реаліст, автор багатотомного циклу романів «Людська комедія». Серед них є роман «Тридцятилітня жінка».

22. *Гольбейн, Ганс* (1497—1543) — німецький художник епохи Відродження, «Танець смерті» (правильна назва «Образи смерті») — серія його гравюр.

23. *Нимфи* — у грецькій міфології жіночі божества, в яких уособлено сили природи.

24. *Актеон-пастух* — міфічний герой-мисливець, перетворений цнотливою богинею полювання Діаною в оленя за те, що бачив, як вона купалась.

25. *Просперо* — один з героїв п'єси «Буря» Шекспіра (1564—1616).

26. *Шпор, Людвіг* (1784—1859) — німецький скрипаль і композитор.

27. *Мендельсон-Бартольди* (1809—1847) — німецький композитор.

28. *Серве Адриен-Франсуа* (1807—1866) — віолончеліст-віртуоз, що користувався світовою славою. Шевченко слухав його гру в Петербурзі, куди Серве приїжджав на гастролі в 30—40-х рр.

29. *Вебер, Карл-Марія* (1786—1826) — німецький композитор. «Преціоза» — одна з його опер.

30. *Миннезингери* — назва народних і рицарських мандрівних німецьких співців-поетів XII—XIII століть.

31. *Каватина* — невелика арія з нескладною ліричною мелодією, витриманою в одному темпі.

32. «*Норма*» — опера італійського композитора Белліні Вінченцо (1801—1835).

33. *Орфей* — міфічний грецький співець.

34. *Качановка* — колишній маєток українських поміщиків Тарновських на Чернігівщині. Тут бували Гоголь, Максимович, Глінка, Шевченко.

35. *Качуча* — іспанський народний танець.
36. *Алембик* — скляний перегінний куб невеликого розміру.
37. *Томагаук* — первісна зброя індіців Північної Америки на зразок сокири.
38. *Нумизматические редкости* — старовинні монети. Нуміз-
матика — наука про монети.
39. *Золотаренко, Иван Никифорович* — полковник козацького
війська, на чолі якого в 1654—1655 рр. воював разом з російським
військом проти Польщі.
40. *«Реквием»* — траурна музична композиція Моцарта.
41. *На морі синьому, на камені білому*
Ясний сокіл квилить-проквіляє...
— слова з народної думи про Олексія Поповича.
42. *Византийский стиль* — стиль візантійських церков. Візан-
тія — східна імперія в IV—XV століттях нашої ери.
43. *Соломон* — єврейський цар X століття до нашої ери. Біб-
лійна легенда приписувала йому особливу мудрість. В Єрусалимі
при ньому збудовано великий храм, від якого залишилися решт-
ки стін («Стіна плачу»).
44. *Меценат* — ім'я римського вельможі, що стало загальним
іменем для покровителя мистецтв.
45. *Автомедон* — образ античної міфології — провідник.
46. *Антикварий* — в старовину людина, яка вивчала старо-
давні речі, згодом продавець цих речей, зокрема книг, або зби-
рач, аматор їх.
47. *Буонаротти, Микельанджело* (1475—1564) — великий іта-
лійський художник, архітектор і скульптор епохи Відро-
дження.
48. *Одалиска* — рабня або прислужниця в гаремі.
49. *Лист, Франц* (1811—1886) — видатний угорський компо-
зитор і піаніст.
50. *Сумароков, Александр Петрович* (1718—1777) — росій-
ський письменник. «Сінеус і Трувор» — одна з його трагедій.
51. *Висковатов, Степан Иванович* (1786—1831) — російський
драматург, що переробив трагедію Шекспіра «Гамлет».
52. *Офелия* — героїня трагедії «Гамлет».
53. *«Лев Гурыч Синичкин»* — назва водевіля, написаного
Д. Т. Ленським (1805—1860), водевілістом і актором.
54. *«Руслан и Людмила»* — опера Глінки на сюжет поеми
Пушкіна, написана в Качанівці, коли там перебував і Шевченко.
55. *Плакатные билеты* — паспорти.

56. *Ромберг, Бернард* (1767—1841) — німецький віолончеліст і композитор.

57. *Енгельгардт В. В.* — аристократ, знайомий Пушкіна, в будинку якого відбувалися прилюдні вистави, бали, вечори.

58. *Вьетан, Анри* (1820—1881) — бельгійський скрипач і композитор.

59. *Фанфарон* — хвалько.

60. *Ораторія* — тут духовна музична композиція з хорами та аріями, що призначається для концертного виконання.

61. *Гайдн, Йосиф* (1732—1809) — австрійський композитор, відомий численними музичними творами, серед яких ораторія «Створення світу» займає одно з перших місць.

62. *Манеж* — закрите приміщення для навчання вершників і тренування коней. Михайловський манеж у Петербурзі.

63. *Виельгорський, Михаїл Юрьевич* (1788—1856) — граф, відомий в 40-х рр. у Петербурзі аматор мистецтв, що сам займався музикою.

64. *Литовський замок* — місце ув'язнення в Петербурзі.

65. *Феб або Аполлон* — бог сонця в грецькій міфології.

66. *Фетида* — богиня моря в античній міфології.

67. *Бепе* (лат.) — добре, *benissimo* — неправильний найвищий ступінь від бепе — дуже добре.

68. *Фронгиспис* — гравюра перед титульною сторінкою в книзі.

69. *Серенада* — вечірня любовна пісня, виконувана під акомпанемент струнного інструмента.

70. *Прометей* — у грецькій міфології — титан, що викрав з неба огонь і навчив людей користуватися ним.

71. *Семирамида* — легендарна ассірійська цариця.

72. *Клеопатра* — цариця Єгипту (I ст. до н. е.), що ушлявилась красою.

73. *Партитура Мендельсона «Сон в Ивановскую ночь»* — увертюра Мендельсона до комедії Шекспіра «Сон в літню ніч».

НЕСЧАСТНЫЙ

1. *Екзерцис-гауз* — приміщення, де відбувалось навчання солдатів.

2. *Конфірмація* — затверджений судовий вирок.

3. *Ежен Сю* (1804—1857) — французький письменник, автор романів «Паризькі таємниці», «Вічний Жид» та ін.

4. *Ктитор* — церковний староста або той, чиім коштом побудована церква.
5. *Ван-Остаде, Адриан* (1610—1685)—голландський художник.
6. *Клеопатрина цгла* — єгипетський обеліск, чотирикутна колона, що закінчується вістрям.
7. *Анахорет* — пустинник, той, що веде самотнє життя.
8. *Метаморфоза* — перетворення, видозміна.
9. *Квазімоды в сарафанах* — потвори у сарафанах. Квазімодо — потворний горбань, герой роману французького письменника Віктора Гюго (1802—1885) «Собор паризької богоматері».
10. *Юпитер* — в римській міфології — цар богів.
11. *Фрейшютц* — одна з найбільш популярних опер Вебера, в російському перекладі має назву «Волшебный стрелок».
12. *На лоно Авраамле* — тобто «на той світ», помер.
13. *Смольный монастырь* — пізніше Смольний інститут в Петербурзі. Закритий учбовий заклад для дівчат дворянського походження.
14. *Демикотон*—особливий сорт бавовняної смугастої матерії.
15. *Покотиловку проживешь* — проживеш все своє майно.
16. *Манускрипт* — рукопис.
17. *Сирены* — міфологічні морські діви, напівбогині, що заманювали своїм чудовим співом моряків на свій острів.
18. *Аудитор* — військовий діловод-юрист.
19. *Фортуна* — у стародавніх римлян богиня щастя і випадку, яку звичайно зображають з пов'язкою на очах. Звідси у Шевченка — «слепа́я богиня».
20. *Консистория* — установа, в якій було зосереджено духовне управління єпархією — церковним округом.
21. *Автор «Путешествия Гулливера»* — відомий англійський сатирик Свіфт (1667—1745).

КАПИТАНША

1. *Братский монастырь* — монастир у Києві на Подолі, заснований «Київським братством».
2. *Быть на пище святого Антония* — голодувати, постити.
3. *Tableau de genre* (франц.) — жанровий малюнок.
4. *Гомеровское описание* — опис, що своїм характером наближається до старогрецьких епічних поем Гомера.
5. *«Записки русского офицера»* — точніше «Письма русского офицера» — належать перу Глінки, Федора Миколайовича (1786—

1880) — російського письменника, учасника Вітчизняної війни 1812 р. і походів у Францію в 1813—1815 рр.

6. *Цысарец* — підданий «цесаря», тобто імператора колишньої Австро-Угорщини.

7. *Почтенный Н. Кукольник* — Кукольник, Нестор Васильович (1809—1868) — російський реакційний письменник. Деякі з своїх п'єс він сам називав «драматичними фантазіями» («Торквато Тассо», «Доменикин» та ін.).

8. *Федр* — римський байкар (I ст. до н. е.).

9. *Барков И. С.* (1731 чи 1732—1768) — автор порнографічних віршів, між іншим, перекладав байки Федра, сатири Горация та ін.

10. *Херасков, Михаил Матвеевич* (1733—1807) — російський письменник XVIII ст.; автор поеми «Царь, или спасенный Новгород».

11. *Блюхер, Gebhard* (1742—1819) — головнокомандувач пруської армії в часи війни Наполеона.

12. *Брамбеус барон* — псевдонім Осипа Сенковського (1800—1858), реакційного белетриста і журналіста, редактора журналу «Библиотека для чтения».

13. *Клавикорды* — старовинний музичний клавішний інструмент.

14. *Бон-мо* (франц.) — дотеп, гостре слівце.

15. *Брамины* — індуські жерці, які становили вищу касту в Індії.

16. *Пария* — за кастовим розподілом в Індії нижчий стан, з яким інші касты вважають оскверненням мати будь-які стосунки.

17. *Субретка* (франц.) — тут спритна пустотлива дівчина.

18. *Шляхетный кадетский корпус* — середній військовий учбовий заклад для дітей дворян та офіцерів.

19. *Владиславлев, «Памятная книжка для штаб-офицеров».* Владиславлев, Володимир Андрійович (ум. 1856 р.) — військовий белетрист та видавець альманаху «Утренняя Заря» (1839—1843).

20. *Sórka Regimentu* — польський переклад популярної в той час опери італійського композитора Доніцетті (1797—1848) — «Дочка полку».

21. *Промчался гений войны* — Вітчизняної війни 1812 року проти французьких інтервентів.

22. *Узы Гименей* — шлюбні узи. Гіменей в грецькій міфології — бог шлюбу.

23. *Ланкастер, Джозеф* (1778—1838) — англійський педагог, прихильник народної освіти, організатор сітки народних шкіл.
24. *«Благонамеренный»* — журнал, який видавався письменною і журналістом Є. О. Ізмайловим в 1818—1826 рр.
25. *Московские ведомости* — «Московские Губернские ведомости» — щотижнева газета.
26. *Давыдов, Денис Васильевич* (1784—1839) — поет, учасник партизанської війни з французькими військами в 1812 р.
27. *Беранже, Пьер-Жан* (1780—1857) — відомий французький революційний поет-сатирик, автор популярних народних пісень.
28. *Конклав* — тут в розумінні рада, збори.
29. *Вагенбург* — обоз, який ішов слідом за армією.
30. *Кипренский, Орест Адамович* (1782—1836) — російський художник-портретист, автор часто репродукованого портрета Пушкіна зі схрещеними на грудях руками і статуеткою музи на фоні.
31. *Рембрандт ван-Рейн* (1606—1669) — видатний голландський живописець і гравер.
32. *Форнарина* — кохана Рафаеля, увічнена його картинами.
33. *Рени, Гвидо* (1575—1642) — відомий італійський художник.
34. *Беатриче Ченчі* — дочка римського вельможі, жила в другій половині XVI ст. За старими переказами, Беатриче Ченчі вбила свого батька, який хотів її згвалтувати. Надзвичайна краса та трагічна доля Беатриче відображені в численних творах літератури і мистецтва.
35. *Брегет* — старовинний годинник, що дістав назву від імені відомого французького майстра Брегета.
36. *Польская революция* — польське повстання 1830—1831 рр. проти російського царизму.
37. *Гетман Скоропадський* — Іван Скоропадський, який був гетьманом України в роках 1708—1722.
38. *Данилович* — Олександр Данилович Меншиков (1673—1729), один з найближчих соратників Петра I.
39. *Астролябья* — приладдя, яке вживалося до початку XVIII століття для визначення положення небесних світил, а пізніше для геодезичних вимірювань.
40. *Эскулап* — лікар (іронічно).
41. *Гомерического размера* — такого розміру, що виходить з ряду звичайного.
42. *Сфинксы* — великі кам'яні статуї — фігури в Єгипті, що зображують істоту з головою дівчини, з тулубом левиці.

43. *Циклопический* — в переносному значенні — величезний.
44. *Слепец хиосский* — Гомер, який, за одним із переказів, народився на острові Хіосі; його зображували сліпим дідусем.
45. *Кадм* — в грецькій міфології основоположник міста Фів, герой-богатир.
46. *Златоустый вития* — красномовний оратор.
47. *Скопас* (IV вік до н. е.) — грецький скульптор.
48. *Фидий* (500—430 рр. до н. е.) — видатний скульптор епохи розквіту старогрецької культури.
49. *Озеров, Владислав Александрович* (1769—1816) — російський драматург початку XIX ст. Тут мова йде про його трагедію «Едип в Афинах».
50. *Эдип* — фіванський цар. В стародавній Греції перекази про його долю послужили матеріалом для багатьох трагедій.
51. *Сократ* (469—399 рр. до н. е.) — видатний старогрецький філософ.
52. *Меттерних* (1773—1859) — австрійський дипломат, один з діячів феодально-монархічної реакції в Європі після падіння Наполеона I.

БЛИЗНЕЦЫ

1. *Усатое сословие* — військові. В часи Миколи I цивільним чиновникам вуси носити було заборонено.
2. «*Письмовник*» *знаменитого Курганова* — популярний у XVIII столітті збірник правил усної і письмової мови, анекдотів, оповідань і т. п., складений Миколою Гавриловичем Кургановим (1726—1796).
3. *Учение Зороастро* — Зороастр (Заратустра) — міфічний пророк, реформатор релігії стародавніх персів.
4. «*Ключ к таинствам природы*» *Эккартсгаузена* — містичний твір німецького автора Карла Еккартсгаузена (1752—1803).
5. *Егоров, Алексей Егорович* (1776—1851) — художник-академік, чудовий педагог.
6. *Гребенка* — Гребінка, Євген Павлович (1812—1848) — український письменник, близький знайомий Шевченка.
7. *Сказка о Еруслане Лазаревиче* — популярна лубочна казка.
8. *Каноник* — тут церковна книга.
9. *Дюма* — Дюма Олександр (1803—1870), французький письменник, автор популярних романів «Три мушкетери», «Граф Монте-Крісто» та ін.

10. *Тарасова ніч* — розгром військ польської шляхти гетьмана Конєцпольського 22 травня 1630 року повстанцями-селянами Придніпров'я, на чолі з гетьманом Тарасом Федорівичем.

11. *Геральдический дуб* — т. зв. «родословне дерево», родовід.

12. *Император Петр III* — царював в Росії в рр. 1761—1762; походженням був німець із Голштінії.

13. *Портупей-майор* — старовинний військовий чин.

14. *Иван Леванда* — церковний оратор (1736—1814).

15. *Великий Запорожский Луг* — низина лівобережжя Дніпра, нижче порогів, вкрита озерами та чагарниками; тут запорожці рибалили й полювали.

16. *Генерал Текелій* — генерал, під керуванням якого військо Катерини II захопило Запорозьку Січ в 1775 р.

17. *Читал Давида, Гомера и Горация* — тобто знав мови старовірської, класичну грецьку і латинську. Давидові приписувалося складання так званого «Псалтиря»; Гомерові — епічні поеми «Іліада» і «Одіссея». Гораций (65—8 рр. до н. е.) — римський поет, відомий своїми одами.

18. *Бортнянский, Дмитрий Степанович* (1751—1825) — композитор. З 1779 року був «директором вокальної музики і управителем придворної царської капели». Автор багатьох церковних музичних творів і деяких світських опер.

19. *Охочекомонное и охочепешее ополчение* — ополчення, що складалося з добровольців — кавалеристів і піхотинців.

20. *На супротивного галла* — проти французів, мобілізованих Наполеоном для походу на Росію.

21. *Зубастого французского зверя...* — мова йде про Наполеона I.

22. *А песен-то, песен каких восхитительных.* — Далі перераховуються сентиментальні пісні, що були в моді на початку XIX століття: «Стонет сизый голубочек» (слова І. Дмитрієва, 1760—1837) «Среди долины ровныя» (слова О. Мерзлякова, 1778—1830) і ін.

23. *Прокопович, Петр Иванович* (1775—1850) — організатор першої в Росії школи бджільництва, автор книги «Школа пчеловодения» та ін.

24. *Виргиліевы «Георгики»* — поема про сільське господарство римського поета Віргілія (70—19 рр. до н. е.), автора «Енеїди».

25. *Биронов брат* — брат временщика за царювання Анни Іоаннівни (1730—1740), німця Бірона — генерала російської армії. Карл Бірон відзначався своєю жорстокістю.

26. «Украинский вестник» — журнал, що видавався з 1816 по 1819 р. у Харкові.

27. *Гулак-Артемовский, Петр Петрович* (1790—1865) — український поет, відомий також переробками од римського поета Горация («Гараськові оди», «До Пархома» I і II).

28. *Эллиниста и гебраиста* — знавця мов грецької та старогрецької.

29. *Диоген наших дней* — Діоген (404—323 рр. до н. е.) — старогрецький філософ, який нехтував вигодами життя. Жив у бочці.

30. *Князь Шаховской, Александр Александрович* (1777—1846) — російський письменник початку XIX ст., автор п'єси «Казак-стихотворец» (1817), в якій дійові особи говорять яманою українською мовою.

31. *В знамение взятия Азова* — 1696 року російське військо, до складу якого входили і українські частини, здобуло у турків Азов.

32. *Матвеев, Андрей Моисеевич* (1701—1739) — російський художник-портретист.

33. *Разрушенный Батурин* — 1708 року російське військо під керуванням Меншикова здобуло і зруйнувало столицю Мазепи Батурин.

34. *Кой что из Шиллера* — Шіллер, Фрідріх (1769—1805) — німецький поет.

35. *Коцебу, Август-Фридрих* (1761—1819) — другорядний німецький письменник-драматург.

36. «Жизнь коротка, а наука вечна» — дещо змінені слова Мефістофеля з російського перекладу трагедії «Фауст» Гете (1749—1832), зробленого Е. Губером (1814—1847).

37. *Тит Ливий* — староримський історик (59 р. до н. е. — 17 р. н. е.), автор великої праці про історію Рима.

38. *Феодальный дукат* — герцог або інша знатна особа рицарського стану.

39. *Знаменитый пьяница Радзивилл* — Шевченко має на увазі князя Карла Станіслава Радзівілла (1734—1790), одного з литовсько-польських магнатів.

40. *Козак вельможа Троцинский, Дмитрий Прокопьевич* (1754—1829) — сенатор, міністр юстиції, український поміщик.

41. «Малороссийская Сафо» — оповідання кн. Шаховського, головною дійовою особою якого є легендарна складальниця пісень — Маруся Шурай.

42. *Великий ґрамматик наш Н. И. Греч* (1787—1867) — російський реакційний журналіст і словесник. «Великим» Шевченко називає Греча іронічно.

43. *Козак Климовский* — вигаданий складач пісень у XVIII ст. (йому приписується пісня «Їхав козак за Дунай»). Саме його і зображує Шаховський в «Козаке-стихотворце».

44. *Ессе homo!* (латин.) — Ось людина!

45. *Мажанди* — Франсуа Мажанді (1783—1855), французький учений-фізіолог.

46. *Эстамп* — тут репродукція.

47. *«Последний день Помпеи»* — картина видатного російського художника К. П. Брюллова (знаходиться в Ленінградському російському музеї), яка змальовує загибель міста Помпеї (біля Неаполя) під час виверження вулкана Везувія в 79 р. н. е.

48. *«Тень Наполеона на острове св. Елены»* — лубочна картина.

49. *«Библиотека для чтения»* — журнал, що видавався з 1838 по 1865 р.

50. *«Никлас — Медвежья Лапа»* — напівлубочний роман письменника Р. М. Зотова (1795—1871) «Никлас — Медвежья Лапа, атаман контрабандистов, или некоторые черты из жизни Фридриха II».

51. *«Повесть о капитане Копейкине»* — вставне оповідання в кінці першої частини «Мертвых душ» Гоголя.

52. *«Сен-Жорж»* — назва ресторану за ім'ям власника-француза.

53. *Тальони, Мария* (1804—1884) — італійська балерина, що наприкінці 30-х років з великим успіхом гастролювала в Петербурзі.

54. *Марцинкевич* — власник «увеселительного заведення» — штучних мінеральних вод в Петербурзі з залом для танців.

55. *«Эда» Баратынского* — поема відомого російського поета Баратинського (1800—1844), подібно до «Катерини», поеми Шевченка, і «Сердешної Оксани», повісті Квітки-Основ'яненка, малює сумну долю дівчини, спокушеної, а потім покинутої гусаром.

56. *Эллин* — грек.

57. *Вариации Липинского* — Карл Липинський (1790—1861) — польський скрипач, композитор і збирач народних пісень.

58. *Оссиан* — легендарний шотландський співець, під ім'ям якого були видані в Англії в кінці XVIII століття Джемсом Макферсоном переробки зібраних ним народних пісень («Поэмы Оссиана»).

59. *Мартын Пушкарь* — полковник полтавський, один з помічників Богдана Хмельницького.

60. *Пенелопа* — дружина Одиссея, героя знаменитих епічних поем античного світу «Іліади» й «Одіссеї» Гомера.

61. *После бесчисленных якшиолов* — якші-ол (киргизьке) — вигук на бенкеті, що означає — «хай живе».

62. *Чека* (вірменське) — ні.

63. *У Ефрема Сирина или же у Иустина Философа* — церковні письменники, перший — четвертого, другий — другого століття н. е.

64. *Тагищева крепость* — фортеця, під якою зазнало поразки військо Пугачова в 1774 році.

65. *Грозный Пугач* — Пугачов Ємельян, керівник повстання проти царизму селян і козаків на Поволжі та Приураллі в 1773—1775 рр.

66. *Брюллов, Александр Павлович* (1798—1877) — професор архітектури, брат Карла Брюллова.

67. *«Полтавская Муха»* — очевидно, назва рукописного сатиричного журналу І. П. Котляревського.

68. *У «П. И. Выжигина»* — «Петр Иванович Выжигин» — роман реакційного письменника Ф. Булгаріна (1789—1859), виданий в 1831 році.

69. *До «Четырех стран света»* — точніше «Три страны света» — роман М. Некрасова і Станицького (псевдонім А. Я. Панаєвої, 1819—1893).

70. *Подвысь!* — підійми шлагбаум.

71. *Титан Флаксмана* — Джон Флаксман (1755—1826), англійський художник, ілюстратор «Іліади» й «Одіссеї» Гомера. «Титан» — назва однієї із його картин.

72. *«Содом и Гоморра» Мартена* — Джон Мартен (1789—1854), англійський художник.

73. *Аксакалы* (казахське) — дослівно: білі бороди, тут у розумінні старійшини, найстаріші в роду.

74. *Камедул* (польське) — монах.

75. *Кантонисты* — сини солдатів, які з дня народження прикріплялися до військового відомства і яких готували до військової служби в спеціальних нижчих військових школах, так званих школах кантоністів.

76. *Мурчисон* — англійський геолог Родерік Мурчісон (1792—1871), автор великої праці з геології європейської частини Росії.

77. «*Письма из-за границы*» законодателя русского слова — «Письма русского путешественника» Миколи Михайловича Карамзіна.

78. «*Письма из Финляндии*» — твір російського поета Костянтина Миколайовича Батюшкова (1787—1855).

79. *Геродот* — грецький історик V ст. до н. е.

80. *Богородица Одигитрия* — назва ікони (Одигитрия — грецьке слово, означає — «указывающая путь»).

81. *Киевский Патерик* — збірка легенд про київських святих, так званий «Киево-печерський Патерик», складений в XIII столітті, багато разів перероблюваний і доповнюваний пізніше.

82. «*Юный отрок князя Бориса*» — очевидно, Мойсей Угрин, про непохитну цнотливість якого розповідає легенда «Патерика».

83. *Хавтуры* — попівські побори.

84. *Один* — за міфологією скандинавських народів — бог війни.

85. «*Отечественные записки*» — літературний журнал, що виходив з 1820 по 1884 рік.

86. «*Давид Копперфильд*» — роман видатного англійського письменника-реаліста Чарльза Діккенса (1812—1870).

87. «*Современник*» — літературний журнал, що був заснований в 1836 році О. С. Пушкіним. У 1847 році перейшов до М. О. Некрасова, І. І. Панаєва, а з 1856 року редагувався і М. Г. Чернишевським за найближчою участю М. О. Добролюбова.

ХУДОЖНИК

1. *Торвальдсен, Бертель* (1770—1844) — датський скульптор.

2. *Тритоны* — казкові морські істоти з тулубом людини і риб'ячим хвостом.

3. *Ван-Остаде, Адриан* — голландський художник-реаліст.

4. *Бергем* (1620—1688) — голландський художник.

5. *Теньер, Давид* (1582—1649) — якого називали «старшим» на відміну від «Теньера молодшого», сина (1610—1690) — фламандські художники, відомі реалістичними картинами з народного побуту.

6. *Рубенс, Петер-Пауль* (1577—1640) — видатний фламандський художник, автор портретів, картин на міфологічні та релігійні теми.

7. *Ван-Дейк, Антонис* (1599—1641) — після Рубенса — найвидатніший художник (портретист) фламандської школи.

8. *Вазари, Джорджіо* (1511—1574) — італійський художник і

вчений, автор книги «Життєписи видатних художників, скульпторів та архітекторів».

9. *Еретическое учение Виклефа и Гуса* — Джон Віклеф, англієць (XIV ст.) і Іван Гус, чех (XIV—XV стст.) — церковні реформатори і борці проти католицької церкви.

10. *Лютер, Мартин* (1483—1546) — німецький церковний реформатор.

11. *Лев X и Юлий II* (у Шевченка помилково Леон II) — римські папи, які витрачали свої величезні прибутки на картини відомих художників XVI ст. і на будівлі.

12. *Корреджіо, Антонио Аллегри* (1494—1534) — італійський художник.

13. *Щедрин, Сильвестр Федосеевич* (1791—1830) — російський художник-пейзажист XIX ст., відомий своїми краєвидами різних місць Італії.

14. *Сатурн* — в римській міфології один з найстарших богів; боячись замаху на свою владу з боку власних дітей, він поглинав їх живими.

15. *Михайловский замок* — один з петербурзьких палаців, де жив і був задушений змовниками в 1801 році імператор Павло I.

16. *Комнатный живописец Ширяев* (нар. 1795) — хазяїн артілі живописців-альфрейщиків, в якій працював і сам Шевченко.

17. *Аполлон Бельведерский* — антична статуя бога Аполлона, яка вважалась найдосконалішим зразком чоловічої краси.

18. *Веласкес, Диего* (1599—1660) — іспанський художник. Його картина «Старик» знаходилась в 30-х роках в галереї картин, що належала графу Строганову.

19. *Фраклит и Гераклит* — статуї, назви яких Шевченко приводить по пам'яті. Друга, можливо, зображала грецького філософа Геракліта; кого саме зображала перша — невідомо, тому що грецького імені Фракліт нема. Можна гадати, що перший — Демокріт, філософ, якого часто протиставляють Гераклітові.

20. «*Никлас Никльби*» — роман Чарльза Діккенса.

21. *Пименов, Николай Степанович* (1812—1864) — вихованець Академії художеств, скульптор.

22. *Венецианов, Алексей Гаврилович* (1780—1847) — російський художник; один з перших давав в своїх картинах сцени з життя російського селянства.

23. *Слюджинский, Франциск* — гравер. *Завьялов, Федор Семенович* (1810—1856) — художник, вихованець Академії художеств; згадувана його робота — малюнок статуї старогрецького

казкового героя Геркулеса (тип атлета). Статуя ця знаходиться у фарнезькому палаці в Римі (звідси — Фарнезький).

24. *Лосенко, Антон Павлович* (1737—1773) — художник, один з перших вихованців Академії художеств.

25. *Кавос, Альберт Катеринович* (1801—1863) — архітектор, будівник імператорських театрів Росії (Маріїнського і Михайловського в Петербурзі та ін.).

26. *Одран* — прізвище декількох французьких граверів по міді (з XVI по XVIII ст.).

27. *Вольпато, Джованни* (1733—1802) — італійський гравер XVIII ст.

28. *«Путешествие Анахарсиса Младшего»* — твір французького археолога Бартелемі (видано 1788 р. і потім перекладено російською мовою).

29. *Карл Великий* — Карл Павлович Брюллов (1799—1852), видатний російський художник, учитель Шевченка, близький знайомий і друг відомого поета Василя Андрійовича Жуковського; обидва брали найближчу участь у викупі Шевченка з кріпацької неволі.

30. *«Хитана»* — «Циганка», назва балету.

31. *Пальмира* — столиця одного стародавнього царства в Сирії. В 20—30-х роках XIX ст. і поети і прозаїки нерідко називали російську столицю Петербург «Північною Пальмірою».

32. *Қоломенский чиновник* — чиновник з Қоломни, однієї з околиць Петербурга.

33. *Болезнь св. Витта* — нервові посмикування тіла.

34. *Губер, Едуард Іванович* (1814—1847) — поет, перший перекладач трагедії великого німецького поета Гете — «Фауст» на російську мову. Служив військовим інженером шляхів сполучення.

35. *Меркурий* — в староримській міфології бог, який провіщає волю верховного бога Юпітера іншим богам і героям; тут, у переносному розумінні, посланець, вісник.

36. *Маска Лаокоона* — малюнок голови Лаокоона, з відомої античної статуї, яка зображає жерця Лаокоона і двох його синів, яких удушують змії.

37. *Терпсихора* — в античній міфології муза, покровителька мистецтва танців. Очевидно, Шевченко мав на увазі «Циганку» Губера, який змальовував Тальоні в балеті «Хітана».

38. *Стофатто* — м'ясне блюдо (штуфат).

39. *Лакрима-кристи* — італійське червоне вино.

40. *Плафон* — розписана стеля.
41. *Da capo* — по-італійськи — «давай спочатку»; те ж саме, що і «bis».
42. *Антиной* — вродливий юнак, якого не раз зображали античні скульптори II ст.
43. *Люцій Вер* — соправитель римського імператора Марка Аврелія (II ст.).
44. *Канова, Антоніо* (1757—1822) — італійський скульптор.
45. «*Страшний суд*» — велика фреска (стінна картина) Мікельанджело в одній з церков Рима.
46. *Рафаель, Санціо* (1483—1520) — італійський художник епохи Відродження, який, крім картин на полотні, створив ще ряд стінних картин (фресок) в Ватікані, палаці римських пап.
47. *Бельведерський торс* — частина статуї, яка зображує відпочиваючого Геркулеса.
48. *Рисунок Германіка и танцюючого фавна* — рисунок з гіпсових копій античних статуй, які зображують римського полководця Германіка (I ст.) і фавна (лісовика і польовика).
49. *Свинья в торжковских туфлях* — зроблених в місті Торжку, колишньої Тверської губернії, яке славилось сап'яновими та оксамитовими виробами. «Свинья» — поміщик Шевченка — Павло Васильович Енгельгардт.
50. «*История древней Греции*» *Гиліса* — твір англійського історика Джона Джіліса (1747—1836), що вийшов французькою мовою в п'яти томах в 1786 році.
51. *Опять обращаюсь к Аелицкому клубу* — Англійський клуб — назва ресторану, при якому були зали для гри в карти.
52. *Мокрицкий, Аполлон Николаевич* (1811—1871) — художник, учень Брюллова, товариш Шевченка.
53. *Клодт, Петр Карлович, барон* (1805—1867) — скульптор, професор Академії художеств, відомий статуями коней на Анічковому мосту в Ленінграді.
54. *Заурвейд, Александр Иванович* (1783—1844) — професор Академії художеств, автор картин на військові теми.
55. *Басин, Петр Васильевич* (1793—1877) — художник, професор Академії художеств.
56. *Григорович, Василий Иванович* (1786—1865) — конференц-секретар Академії художеств і Товариства заохочення художників; брав участь у викупі Шевченка з кріпацтва.
57. *Повешенного Аполлоном Мидаса* — Мідаса замість Марсія, з яким Аполлон за старогрецьким міфом вступив у музичне зма-

гання і, перемігши його, скарвав за те, що Марсій насмілювався змагатися з ним, богом музики.

58. *Петровский, Петр Степанович* (1814—1842) — художник, учень Брюллова, товариш Шевченка по Академії художеств.

59. *Ни у Дюме, ни у Сен-Жоржа* — прізвища відомих у Петербурзі 30-х років рестораторів.

60. *Фокс* — виноторговець.

61. *Бутылка Медока* — французького вина.

62. *Корнелиус, Петер* (1783—1867) — німецький художник т. зв. «назарейської школи», автор картин і малюнків релігійного змісту, зроблених в сухому ідеалістичному стилі.

63. *Гессе, Петер* (1792—1871) — німецький художник — баталіст і жанрист.

64. *Кленце, Валгалла, Пинакотека* — мова йде про т. зв. «мюнхенську школу» німецького мистецтва ХІХ ст. Кленце, Леон (1784—1864), архітектор, на замовлення баварського короля Людвіга І спорудив на березі Дунаю, поблизу Регенсбурга, Валгаллу — круглий будинок з мармуру, названий так за спогадами про старонімецьку міфологію (Валгаллою називається місце, де після смерті нібито живуть душі витязів, що загинули з славою в бою). Пинакотека — картинна галерея в Мюнхені.

65. *«Перспектива» Дюрера* — Дюрер, Альбрехт (1471—1528) — німецький художник і гравер, був також автором теоретичних праць, з яких найбільш відомі «Чотири книги про людські пропорції» (1528) і «Підручник до вимірювання» (або «Перспектива», про яку і згадує Шевченко).

66. *Сфінкси* — на набережній Неви в Петербурзі біля Академії художеств поставлені були в 1834 році два кам'яні сфінкси, привезені з Єгипту.

67. *«Дети, овсяный кисель на столе»* — початок перекладеного Жуковським з німецького поета Гебеля вірша «Вівсяний кисіль».

68. *Всемирная столица, увенчанная куполом Буонаротти* — Рим, куди в той час командували для удосконалення кращих вихованців Академії художеств після закінчення ними курсу. Купол Буонаротті — купол собора Петра в Римі, побудований за проектом Мікельанджело Буонаротті.

69. *Михайлов, Григорий Карпович* (1814—1867) — художник, учень Брюллова, товариш Шевченка.

70. *Пуссен, Николай* (1594—1665) — французький художник.

71. *Просто сурдальщина* — в розумінні: грубий ремісницький

виріб, в м. Суздалі, кол. Володимирської губернії, працювали іконописці-ремісники.

72. *Даццаро* — магазин художніх виробів на Невському в Петербурзі.

73. *Приторные красавицы Гревидона* — Гревідон, П'єр (1776—1860) — французький художник і літограф.

74. *Смирдин, Александр Филиппович* (1795—1857) — книгопродавець і видавець; видавав ілюстрований збірник «Сто русских литераторов», який припинився на третьому томі.

75. *Мишо, Жозеф-Франсуа* (1767—1839) — французький історик.

76. *Петр Пустынник* — чернець, якому приписують керівну участь в організації першого «Хрестового походу» (походу європейських феодалів на Схід для завоювання в арабів Палестини).

77. *Брянский, Яков Григорьевич* (1790—1853) — драматичний артист.

78. *Каратыгин, Василий Андреевич* (1802—1853) — визначний російський артист-трагік.

79. *«Тридцать лет, или жизнь игрока»* — п'єса французького драматурга і романиста Дюканжа (1783—1873).

80. *Елькан, Александр Львович* (1819—1869) — театральний критик і фейлетоніст 30—60 рр., широко відома у Петербурзі тих часів особа, яку порівнювали з Загорєцьким («Горе от ума» Грибоєдова) і Хлестаковим Гоголя. «Вездесущего» і «всеведущего» Елькана Шевченко не раз згадує і в щоденнику і в листах до знайомих і друзів, ставлячись до нього іронічно.

81. *«Заколдованный дом»* — п'єса німецького драматурга Ауфенберга, перекладена П. Ободовським (1805—1864).

82. *Чернецовы, братья* — Григорій (1801—1865) і Никанор (1804—1879) Григоровичі — художники-пейзажисти і побутописці.

83. *«Роберт», «Фенелла»* — «Роберт Диявол» — опера Мейєрбера, і «Фенелла» — Обера (французьких композиторів). Обидві були новинками в 30-х роках XIX ст.

84. *Деларош, Поль* (1797—1856) — французький художник.

85. *Тарновские* — сім'я українських поміщиків.

86. *Бем, Иосиф* (1785—1876) — відомий в той час скрипач.

87. *Кастор и Поллукс* — в античній міфології брати-близнюки; імена, що стали загальними для визначення вірної дружби.

88. *Соколов, Петр Федорович* (1791—1847) — художник, відомий своїми портретами, зробленими аквареллю.

89. *Гау, Владимир Иванович* (1816—1895) — портретист-аквареліст.

90. *Гиббон, Едуард* (1737—1794) — англійський історик, один з «просвітителів» XVIII ст., автор великої праці «Історія занепаду і руйнації Римської імперії» (в 1824 р. вийшло скорочене видання в перекладі російською мовою).

91. *Бутылка Кливо* — французьке шампанське, назване так за ім'ям власниці винних складів.

92. «*Квентин Дорвард*» — роман англійського письменника Вальтера Скотта (1771—1832) — з французької історії XIV ст.

93. *Даль, Владимир Иванович* (1801—1872) — белетрист, лексикограф, згодом упорядник відомого «Толкового словаря живого великорусского языка».

94. *Мартен, Джон* (1789—1854) — англійський живописець і гравер.

95. *Жуковский, Василий Андреевич* (1783—1852) — видатний російський поет романтичного напрямку. Брав участь у викупі Шевченка з кріпацтва.

96. *Граф Мусин-Пушкин, Алексей Иванович* (1744—1817) — археолог, любитель російської старовини. В 1795 році знайшов і опублікував (1800 р.) «Слово о полку Игореве».

97. *Голицын, Александр Николаевич* — князь, міністр епохи Олександра I і Миколи I.

98. *Рамазанов, Николай Александрович* (1815—1867) і *Ставассер, Петр Андреевич* (1816—1850) — художники-скульптори.

99. *Поль де Кок* (1794—1871) — французький письменник-романіст.

100. «*Векфильдский священник*» — сентиментально-моралістичний роман англійського письменника Гольдсмита (1728—1774).

101. *Пинетти* — фокусник-трансформатор.

102. *Андромаха над телом Патрокла* — Андромаха в старогрецькій поемі «Іліада» — дружина троянського царевича Гектора, забитого Ахіллесом, одним з вождів грецького війська, що облягло Трою. Шевченко помилково замість імені Гектора поставив ім'я Патрокла.

103. *Овидиево превращение* — жартівливий натяк на поета Овідія Назона (43 рік до н. е. — 17 рік н. е.) і його твір «Метаморфози», де розповідаються міфи про чудесні перетворення людей.

104. *Айвазовский, Иван Константинович* (1817—1900) — відомий російський художник, який уславив себе морськими пейзажами.

105. *Кольман, Карл Иванович* (1786—1847) — живописець-аквареліст, що змальовував міські вуличні сцени і селянський побут.

106. *Как тени у Харонова перевоза* — Харон в античній міфології — перевізник тіней померлих через підземну річку Ахерон в загробне царство.

107. *Своего идола Лелевеля* — Лелевель Іоахім (1786—1861) — польський історик, активний учасник польського повстання 1831 року.

108. *Вашингтон, Ирвинг* (1783—1859) — американський письменник, автор книжки «Життя Христофора Колумба» (відомого мореплавця, що відкрив Америку в 1492 році).

109. *«Афинский вечер»* — малюнок Брюллова, змальовує Елладу (стародавню Грецію) V ст. до н. е. та її культурний центр — Афіни. Парфенон — храм богині Афіни-Паллади в Афінській фортеці; Фідій — скульптор, який робив статуї з золота і срібла. З цим малюнком Шевченко зіставляє «Афінську школу» — фреску Рафаеля у Ватикані.

110. *Перикл и Аспазия* — Перікл — видатний державний діяч стародавніх Афін (IV ст. до н. е.). Аспазія — його кохана, відома своїм розумом і красою.

111. *Ксантиппа* — ім'я сварливої дружини філософа Сократа.

112. *Хор ноблей из «Гугенотов»* — опери Мейєрбера (1791—1864).

113. *«Осада Пскова»* — незакінчена картина Брюллова на історичну тему — облога міста Пскова польсько-литовськими військами Стефана Баторія в 1581—1582 рр.

114. *«Кларисса»* — роман в листах англійського письменника XVIII ст. Самуеля Річардсона, представника сентиментального реалізму, скорочено перекладений французькою мовою в XIX ст. Жюлем Жаненом.

115. *Грез, Жан Баттист* (1725—1805) — французький художник.

116. *Настоящая Геба* — в античній міфології Геба — богиня молодості і краси, прислужниця богів.

117. *Тучегонитель* — античний бог — «батько богів та людей» (у греків — Зевс, у римлян — Юпітер), владар грому й блискавки.

118. *«Робинзон Крузо»* — роман англійського письменника Денієля Дефо (1661—1731).

119. *Араго, Жак* (1790—1855) і *Дюмон-Дюрвиль* (1790—1842) — французькі мандрівники навколо світу, що залишили описи своїх подорожей.

120. *Плутарх* — грецький письменник I ст., відомий складеними ним паралельними біографіями грецьких та римських діячів.

121. *Веселий бог Бахус* — в античній міфології бог вина і виноробства.

122. *Остроградский, Михаил Васильевич* (1801—1861) — один із творців російської математики.

123. *Верне, Гюден, Штейбен* — художники; Орас Верне (1789—1863) — автор картин на воєнні теми; Теодор Гюден (1802—1880) — автор морських пейзажів. Карл Штейбен (1788—1856) — живописець на історичні теми.

124. *Аполлон и девять его сестер* — Аполлон — античний бог сонця, покровитель поетів і взагалі діячів мистецтва. Сестрами його Шевченко називає муз, яких стародавні люди вважали покровительками окремих мистецтв — поезії, танцю, трагедії, комедії і т. д.

125. *Вечный город* — Рим.

126. *Дюпати, Шарль* (1746—1788) — французький письменник, автор «Листів про Італію» 1785 р.

127. *Пиранези, Джованни-Баттиста* (1720—1778) — італійський архітектор, автор гравюру, де зображуються стародавні пам'ятники Рима.

128. *Иванов, Александр Андреевич* (1806—1858) — видатний російський художник, що багато років працював в Італії над картиною «Явлення Христа народу».

129. *Понтийские болота* — в Італії, в околицях Рима.

130. *Великан Колизей* — величезний цирк стародавнього Рима (на 80 тис. глядачів).

131. *Иосиф толкует сны* — картина, очевидно, змальовувала легендарного біблійного героя Йосифа в темниці, який вдало пояснило сні двох ув'язнених разом з ним царедворців єгипетського фараона (царя) — придворного виночерпія і придворного хлібодара.

132. «*Метафизик*» — байка Івана Івановича Хемніцера (1745—1784), яка висміювала любителів пофілософствувати з усякого приводу.

133. *Мицкевич, Адам* (1798—1855) — видатний польський поет.

134. *Mort anno 18...* (лат.) — помер в році 18...

135. *Либельт, Кароль* (1807—1875) — польський філософ-ідеаліст і теоретик мистецтва, учасник повстання 1831 року.

136. *Эльдорадо* — фантастична золота країна в іспанських легендах і казках; у переносному значенні — земний рай.

137. *Читаю в «Пчеле»* — в «Северной Пчеле», щоденній петер-

бурзькій газеті, редактором якої був реакційний журналіст і письменник Фаддей Булгарін.

138. *Тыранов, Алексей Васильевич* (1801—1859) — художник, учень Брюллова.

139. *Старый Сатурн* — час (образ з античної міфології).

140. *Остров Мадера* — острів в групі Канарських островів в Атлантичному океані, кліматична станція для хворих на легені і серце.

141. *Римлянин с рисунка Пинелли* — очевидно, Пінеллі Домеїка, італійського художника (1460—1530).

ПРОГУЛКА С УДОВОЛЬСТВИЕМ И НЕ БЕЗ МОРАЛИ

1. *Аксаков, Сергей Тимофеевич* (1791—1859) — відомий російський письменник, автор «Семейной хроники», «Детских лет Багрова внука».

2. *Штафирка* — презирлива назва, яку військові давали цивільним людям.

3. *Фламандская живопись* — мистецтво, однією з рис якого було змалювання подробиць побуту.

4. *Падура, Тимко* (1801—1861) — польський поет, представник українофільської течії в польській літературі першої половини XIX століття: писав вірші українською мовою.

5. *Знаменитый дорд Байрон* (1788—1824) — видатний англійський поет.

6. *Скальковский врет...* — Скальковський, А. С. (1808—1894) — історик, автор «Истории нового коша», точніше — «Истории Новой Сечи и последнего коша Запорожского» (Одеса, 1845). Подавав історію гайдамаччини в реакційному дусі.

7. *Пан Твардовский* — герой польських народних казок, що продав душу чортові, а потім давав йому різні доручення, які важко було виконати.

8. *«Морской Сборник»* — офіційне видання морського міністерства, що виходило в Петербурзі з 1848 року.

9. *Морфей* — бог сну в античній міфології.

10. *Берлин, или дормез* — велика закрита карета з віконцями.

11. *Тоновской византийской архитектуры...* — Тон, Костянтин Андрійович (1794—1881) — архітектор, професор Академії художеств, будівник церков у важкому «казарменному» стилі.

12. *«Опытная хозяйка»* — посібник для домашніх господарок.

13. *Кернер, Теодор* (1791—1813) — німецький поет, автор пере-

кладеної російською мовою в 30-х роках героїчної трагедії «Цріні».

14. *Маркграфиня* — велика землевласниця-аристократка.

15. *Времена Гутенберга* — Гутенберг Йоганн — один з перших друкарів (1400—1468).

16. *Ремонтер* — офіцер в царській армії, уповноважений закупувати коней для кавалерії.

17. *Лафатер, Йоганн* (1741—1801) — німецький письменник, представник френології (черепознавства) — псевдонауки, що намагалась визначати характер і нахили людини по будові її черепа.

18. *Илья Муромец* — за билінними оповіданнями богатир Ілля Муромець, перш ніж вирушити на подвиги, сидів сидьма тридцять і три роки.

19. *Калам, Александр* — (1810—1864) — швейцарський художник-пейзажист і гравер.

20. *Михайло Хмил* — батько Богдана Хмельницького, що загинув у бою з турецько-татарським військом у 1620 році.

21. *Сицилійская вечерня* — повстання проти французів — окупантів Сіцилії — в 1282 р.

22. *Максим Железняк* в 1768 *году* — Максим Залізняк, один з керівників повстання українського народу проти польських панів в 1768 р., відомого під назвою Коліївщини.

23. *Варфоломеевская ночь* — різня протестантів-гугенотів, прихильників реформації у Франції, влаштована католиками у Парижі в ніч з 23 на 24 серпня 1572 р.

24. *Медици, Екатерина* (1519—1589) — французька королева, католичка, мати короля Карла IX, натхненниця Варфоломіївської ночі.

25. *Силистрия* — місто на Дунаї в Болгарії.

26. *Вольтер, Франсуа (Аруэ)* (1694—1778) — французький письменник, філософ та історик.

27. *Кушты* (німецьке) — гравюри.

28. *Лукулл, Луцій Лициний* (106—56 до н. е.) — римлянин, що вів розкішне життя і відзначався надзвичайною ненажерливістю.

29. *Джон Буль* (англ.) — жартівливе прізвисько для визначення типових рис англійського буржуа, вперше вжите сатириком Свіфтом.

30. *Гомерический обед* — в розумінні розкішний, колосальний.

31. *Дон-Жуан* — тип чоловіка, основний зміст життя якого —

кохання до жінок. Образ Дон-Жуана показаний в творах світової літератури (Мольєр, Байрон, Пушкін, Леся Українка та ін.).

32. *Рембрантова картина* — подібна до картини Рембрандта (1606—1669) — видатного голландського художника.

33. *Гнедич, Николай Иванович* (1784—1833) — російський поет, перекладач «Іліади» Гомера.

34. *«Иных уж нет, а те далече, как Сади некогда сказал»* — із «Євгенія Онегіна» О. С. Пушкіна, гл. VIII, строфа 51.

35. *Чичероне* — провідник.

36. *Кипсек* — розкішне видання, що складається з самих гравюр.

37. *Мужичков под пресс кладет...* — з поезії «Современная песня» поета Дениса Давидова.

38. *Фея* — в народних оповіданнях Західної Європи фантастична істота, — жінка, що має чарівну силу.

39. *Рюйсдаль, Яков* (1628—1682) — голландський художник-пейзажист і гравер.

40. *Каналетти (Беллотто), Бернардо* (1720—1780) — італійський художник, відомий своїми краєвидами Венеції.

41. *Орион* — міфічний грецький мисливець, ім'ям якого названо сузір'я.

42. *Отелло* — головний герой п'єси під такою ж назвою англійського драматурга Шекспіра.

43. *Шварц, Бартольд* — католицький монах, який, за переказами, близько 1320 року винайшов порох.

44. *Сатур* — в грецькій міфології лісовик з цапинними рогами та ногами.

45. *Мстислав Удалой* (помер в 1036 р.) — Мстислав Володимирович, тмутараканський князь (на Таманському півострові). В 1024 році боровся проти брата Ярослава Володимировича Мудрого (1019 — 1054), князя київського. В бою під Лиственем (біля Чернігоза) Ярослав зазнав поразки і примушений був віддати Мстиславу Чернігів і всі лівобережні землі.

46. *Веста* — римська богиня жертовного вогню і домашнього вогнища.

47. *А-ля ротонда Тиволи* — Тіволі — місто в Італії, поблизу Рима. Ротонда — будова круглої форми з куполом.

48. *Гаркуша* — Семен Гаркуша, ватажок селян-повстанців, який наприкінці XVIII століття з своїм загоном нападав на поміщицькі садиби.

49. *Дузнья* — в старій Іспанії домашня наглядка за моральністю дівчини або дружини ревнивого чоловіка в дворянських сім'ях.

50. *Скотинин* — дійова особа комедії «Недоросль» Фонвізіна Д. І. (1745—1792).

51. *Полонез Огинського* — Огінський, Михайло (1775—1833) — польський культурний діяч, композитор, відомий створенням полонезів (назва танців).

52. *Шампольон, Жан-Франсуа* (1790—1832) — французький учений, що перший винайшов спосіб читати єгипетські ієрогліфи.

53. *Прозерпина* — в античній міфології дружина Плутона, царя підземного царства, країни мертвих.

54. *Ротчев, Александр Гаврилович* (1813—1873) — автор «Воспоминаний русского путешественника в Вест-Индии, Калифорнии и Ост-Индии» (1854).

55. *Лучезарная Аврора* — у римській міфології богиня ранкової зорі.

56. *Едем* — за уявленням стародавніх євреїв, земний рай, легендарне місце перебування перших людей — Адама і Єви.

57. *Личарда* — зброєносець, слуга.

58. *Кляштор* (польське) — монастир.

59. *Бэкон, Френсис* (1561 — 1626) — англійський філософ.

60. *Магелланово облако* — так названо на честь португальського мореплавця Магеллана дві великих туманних плями на небі в напрямі до Південного полюса.

61. *Камеристка* — старша покоївка.

62. *Вуверман, Филипп* (1619—1668) — голландський художник, пейзажист і баталіст.

63. *Кардинал* — вищий духовний сан у католицькій церкві.

64. *Искра и Кочубей* — козацькі старшини кінця XVII — початку XVIII стст., страчені в 1708 році Мазепою за донесення Петру I про зраду Мазепи.

65. *Плиэ* — термін карточної гри.

66. *Пророк Даниил* — один з староеврейських біблійних пророків. За переказами, був кинутий в яму, де знаходились леви.

67. *Филемон и Бавкида* — у грецькій міфології зразкове подружжя.

68. *Гинекей* — жіноча половина в стародавніх грецьких домах.

69. Не для волнений, не для битв —

Мы рождены для вдохновений,

Для звуков сладких и молитв.— Не зовсім точна цитата

із поезії «Чернь» О. С. Пушкіна («Не для користи, не для битв...»).

70. *Франклин, Вениамин* (1706—1790) — американський учений і державний діяч, дослідник у галузі електрики, винахідник громовідводу.

71. *Мафусаил* — за біблійною легендою, людина, яка дуже довго жила. Тут — дуб, якому вже кілька сот років.

72. *Язвинский, Александр Андреевич* — педагог, історик, винахідник мнемонічного методу вивчення історії, автор праці «Методы преподавания хронологической истории» (1837) та ін.

73. «*Кинь-грусть*» — назва мальовничої місцевості — садиби по дорозі до передмістя м. Києва Пущі-Водиці. За переказами, цю назву дала їй Катерина II — під час перебування в Києві.

74. *Альбони* — італійська співачка (1826—1894).

75. *Курочкин, Василий Степанович* (1831—1875) — відомий російський революційно-демократичний поет, перекладач Беранже. Його брат, Микола Степанович (1830—1884), також поет, був приятелем Шевченка і перекладав його поезії.

76. *Богиня Яра* — за стародавньою слов'янською міфологією, богиня сонця.
